

182 759

НОВЫЙ МИР

2-3

МОСКВА
1945

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г.

№ 2—3

Год издания XXII

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Путешествие в молодость, главы из поэмы. <i>Перевод с украинского Николая Ушакова</i>	2
МИХАИЛ СЛОНИМСКИЙ — Стрела, повесть	17
НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ — Стихи	47
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — Под Берлином, у Галльских ворот, рассказ	48
КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА — Давид-Строитель, исторический роман, окончание. <i>Перевод с грузинского Элисбара Ананиашвили</i>	61
А. ЛЕОНТЬЕВ — В освобожденном селе, стихотворение	103
АЛЛАН ХИНД — Паспорт предателя. <i>Перевод с английского М. Абкиной и Юр. Аксель</i>	104
ЛЕВ НИКУЛИН — Воспоминания о Шаяпине	138

ПАМЯТИ А. Н. ТОЛСТОГО	159
АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ — Умер Алексей Толстой	160
В. ЦЕРБИНА — «Петр I»	166
ЛЮДМИЛА ТОЛСТАЯ — Наброски третьей книги «Петр I»	189

И. НОВИЧ — Величие Герцена	190
ЛЕОНИД ГРОССМАН — Лесков и родина	200
Н. ВЕНГРОВ — «Маяковский»	204
А. МАКАРОВ — Литературная забава	208

ЗДЕНЕК НЕЕДЛЫ — Из истории связей советской и чехословацкой литературы	217

БИБЛИОГРАФИЯ	
О. РЕЗНИК — Слово от души	223
ЛЕВ БЛАГИНИН — Болгарская поэзия	225
О. ГРУДЦОВА — «На Бородинском поле»	228

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ

Главы из поэмы

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

Перевод с украинского Н. Ушакова

★

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия...

Пушкин

ПРОЛОГ

Родной народ передо мной сияет
Неугасимым огненным столпом
И сердце мне в ненастье согревает.

И я перед истории судом
Предстану — «птица малого полета»
И напоследок оглянусь кругом.

И спросит суд: «Завершена ль работа?
Ты не напрасно ль прожил на земле?
По чести говори, суд ждет отчета!

Ты ощущал ли на своем челе
Прикосновение трудовой ладони,
Грозящей всякой ржавчине и тле?»

В своем допросе — чуждый беззаконий —
Меня он спросит: «Волос твой седой,
Быть может, знак неистовой погони

За радостью, довольной лишь собой,
За песнею, тебе лишь только милой?
Гордиться можешь ли хотя б одной

Страницею, в какой бы чувство было,
В труде бессонном, в длительном бою
Нас наполняющее новой силой?»

Отвечу так: «Я прожил жизнь свою
И ошибался я неоднократно,
За что страданий чашу ныне пью.

Но не оставил я дороги ратной,
Призванья своего не утопив
В потоках лжи, обманщикам приятной.

Клянусь, что не был я себялюбив,
Мне вымыслов казалось мертвым море
И неживым мишурных грез разлиив.

С народом радость я делил и горе,
По ровному пути и крутизне
С ним вместе шел, его напевам вторя.

¹ Слова Мицкевича.

Я предан был душой своей стране, —
Сказать о том, что душу согревало,
На склоне жизни захотелось мне.

Хотел я отразить хоть в капле малой
Прошедшее, о нравах давних злых
Сказав все то, что тут сказать пристало.

О тех, кого давно уж нет в живых,
Но близких сердцу, мне так сладко пелось, —
Я видел простоту их душ прямых.

Я знал, земля по-новому оделась
И прошлое весна не озарит,
Но я служил, чему служить хотелось.

Отвечу так. И суд меня простит.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как много бабочек! Числа нет белым парам!
Мерцает их снежок на голубых цветах.
Недавно дождь прошел. Всё дышит теплым паром.
Травинки, лужицы в дорожных колеях.
Июнь уж недалек. Подобные отарам
Светлеют облака на влажных небесах.
И сердцу верится, и нет в душе сомненья,
Что будут жить и жить надежды и стремленья.

2

Удильщик, леса, крючок да поплавоч
(Снаряд куда как прост!) — вот удочка любая.
Барашки по небу блуждают без дорог,
По ветреным лугам, как тени, пробегая.
Мгновений слышится медлительный звонок.
Так капли падают в кувшин — одна, другая...
Отвязан челночок, раздался стук весла —
Подвижная тропа за челноком легла.

3

В той лодке — брат и я. Земля пусть над тобой
Пушкинкою лежит, Иван мой молчаливый!
Спасибо, братья, вам. Мечтатели душой,
Вы оба были так сердечны, незлобивы.
Покуда я живу, живете вы со мной —
Исчезнем вместе мы, как песни переливы,
Как песнь протяжная далеких чумаков,
Навек замолкшая меж заливных лугов.

4

Был не болтлив Иван. Молчаливика такого
С жемчужницей сравню, которая свой дом
Привыкла открывать лишь изредка. Ни слова
Не скажет брат, когда он в обществе чужом.
Зато, сменив пиджак на куртку рыболова,
В часы, когда вода мерцает серебром,
Он оживал, он пел, немало зная песен,
И анекдот его тогда был интересен.

5

Событий множество он помнил и имен,
Он в памяти хранил запас вещей огромный.
Когда он говорил, вставал из мглы времен
Отец горячий наш, с ним — Антонович скромный.
(Был с юных лет еще союз друзей креплен).
Их Юзефович гнал, бранил Пихно погромный,
А Лысенко любил, Старицкий уважал
И «диоскурами» Иван Франко назвал.

¹ Известные консерваторы, гонители всего украинского.

6

Еще студентами, бывало, что ни лето,
То лошадей возьмут, а то идут пешком.
Трав зеленеет шелк и солнцем все согрето.
Хлеба колышутся в разливе золотом.
Навстречу пешеход. Дедок Микита это...
На палку опершись, рассказом о былом
Неугомонный дед всегда потев делиться,
В один плетя венок и был, и небылицу.

7

То встретят в сумерках среди сырых полей
Ватагу косарей студент и сельский житель.
Им ужинать пора. И все темней, темней
Горит костер. Погас. Босой их предводитель
Благословил кулеш и рыбу косарей.
И ложки поднялись. «Садитесь, не хотите ль
Отведать кулеша?» Умаялся народ.
Кто косит для себя, лишь тот не устает.

8

Так или иначе, земля всему причина.
Землице б вольной быть: «Где хочешь, там и сей!»
Какой-нибудь Мусий (рябой, а молодчина)
В цель прямо угодит пословицей своей:
«Пшеница — мужики, а господа — мякина.
Бари лопату лишь да хорошенько вей!»
И с ложками опять к еде стремятся руки,
И бодрый смех гремит на десять верст в округе...

9

Так путешествуя, отец покойный мой
И песен всяческих наслышался немало.
Кто песню не любил! Лишь пень глухонемой
Не чувствует ее. Чье сердце не дрожало,
Когда звучал вдали девичий хор живой,
А солнце на воде под вербой угасало,
Последний кинув луч. Скажите, в ком из нас
Надежд не пробуждал такой вечерний час?

10

К девичьим голосам за речкой в час заката
Прибавятся еще и хлопцев голоса,
И ночь становится от пенья их крылата,
И песнями полны и рощи, и леса.
Как дышится легко! Как сладко пахнет мята!
Вдыхать бы грусть лугов... О ты, моя краса,
Песнь украинская, ты, в муках зачиная,
Тараса родила, великая, родная!

11

Подпанков и панов цветную галасрею
Студенты видели в экскурсиях своих.
Тот, простаком прослав, спокойно, не краснея,
Деревню обирал и грабил за троих,
Другой гуманностью прославился своею
(Шевченко нам в «Княжне» нарисовал таких) —
За радости любви голландскою короной
Покрыток награждал хозяин образцовый.

12

Иван рассказывал, а меж болотных трав
Дощаник наш скользил по ряске, мимо лилий,
И капли с удочки стекали за рукав,
Но первые лучи одежду нам сушили.
Казалось, целый мир в воде среди купав!
В травинках свет играл и тени в них бродили.
Ребенку малому — всё дивно было мне:
И тихий звук в воде, и отзвук в вышине.

13

Богдан был средний брат, Захожая Одарка
На брата моего лишь глазом поведет,
Иль пустомели речь души коснется жаркой,
Или в душе придет веселию черед,
Иль — что таиться в том — его сопрееет чарка,
Мой средний брат Богдан — ликует и поет.
На всё он песнею, как эхо, откликался,
На всё он отвечал, с чем бы другой не знался.

14

Как песня, странным был характером Богдан:
То весь в себя уйдет, то вспыхнет слоено порох,
То в голову ему придет великий план:
Скорее в Мексику! — На сцену! Лишь в актерах
Спасенье! — Просто жить, беря пример с крестьян!
И загорится весь в неисчислимых спорах,
Он в небе воздеицад свой замок золотой,
Но хатки на земле не вылепил простой.

15

Студентом будучи, считался он эсдеком,
Но, впрочем, в партии Богдан наш был навряд.
Все это далеко: однажды с другом-греком
Он призывал народ на гребни баррикад,
Ходил по городу с тем южным человеком
И «Варшавянку» пел, и люди говорят,
Что черносотенец Пахомов — парень ражий —
С тяжелым кулаком его знакомил даже.

16

И революция окончилась на том
Для брата моего, хоть был он честный малый.
Хотя душа была взыскательная в нем
И все ничтожное с презреньем отвергала
Ради великого. Казенный видя дом
Казармы иль тюрьмы, душа его желала
Спасенья общего, хотя не знал он сам
Пути, ведущего в прекрасный этот храм.

17

Есть люди между нас и большего масштаба:
Бывает, человек парит орла смелей,
А вниз опустится — ей-богу, бабой-баба!
Орел стад Паюшкиным... Я знал таких людей.
Но чаще сын земли — сейчас как будто жаба,
А через пять минут... куда твой соловей!
И снова жаба... Вот нравы существа земного.
Боюсь, что в мудрости я перегнал Прутковца.

18

А потому спешу на тихий пруд назад
К стрекозам, к бабочкам над синею былинкой.
С них начал я рассказ на очень старый лад,
Но кое в чем и я еще блесну новинкой...
Качнулся поплавок, насторожился взгляд:
Ужлейки да плотва, что делать мне с мальчишкой?
И вдруг уходит вглубь пусиный поплавок,
И рыбищу подсесть приходит самый срок...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Ясько Ольшевский жил в каморке крайне тесной,
Где писк стоял ребят, страдавших живостом.
Но жизнь в домишке том казалась мне чудесной:
Лишь в свете розовом я видел все кругом.
И фикус чуть живой — страдалец всем известный,
И Каквас — рыжий пес, не ладивший с котом,

И кот полуглухой, и сырость — все жилище
Романтике моей служило доброй пищей.

2

В иные времена был где-то экономом
Пригор Игнатович, родной отец Яська.
Начнет рассказывать, и сказка снежным комом
Растет себе, растет и тешит бедняка.
Знакомым сообщит, расскажет незнакомым,
Что карты он любил всем сердцем игрока
И как-то выиграл две шубы и карету
С четверкой вороных... А где они? — Их нету.

3

Свое минувшее припоминая не раз,
Припоминая вновь младенческие годы,
Я понял хорошо — с Яськом сроднили нас
Одни стремления и светлый мир природы.
Взяв семечек и груш набравши про запас,
Мы шли с приятелем в далекие походы,
А третьим Каквас был, и всем казался трем
Нам садик — пущею, скворец же — глухарем.

4

Нас влек и увлекал весь мир многоголосый
Смешением красок всех и запахов густых.
Любили мы смотреть, как медленные осы
(Знакомые у нас бывали между них)
Солидно, неспеша летят через покосы
Иль совещаются о всех делах своих,
А луч, жилища ос залив веселым светом,
Первоприсутствует на совещанье этом.

5

И было все полно невиданных чудес,
Все было создано, казалось, только ныне:
Вот ястреб на птенца свергается с небес,
Вот дождь мальков бежит по речке темносиней,
Овсом серебряным рассеялся, исчез, —
И щука плавает одна в речной ледяни,
Вот заяц — словно тень. Во мгле вечерней он
Кралется, клевером кудрявым привлечен.

6

Все звуки в тишине, весь трепет, все движенья,
Весь мир — таинственен, загадочен, хоть прост.
Мне только б слушать птиц, мне б наблюдать паренье
Их переплетное и трав весенних рост...
«Охотиться» зовет Ясько. От нетерпенья
Вежим мы по мосту — животрепещет мост.
Ясько в могиле спит, я поседел, лысею,
Но как расстаться мне с романтикой моею!

7

У Гершки Медника приобретаю арбуз,
Мы с ним бежали в сад, и нас листва скрывала.
Казался овощ тот божественным на вкус.
Мы чавкали во-всю, а эхо помогало!
Был этой тайною наш закреплен союз.
Как детство описать в одной странице малой?
Как оживить струну, замолкшую давно?
Зачем все прошлое — мгновение одно?

8

С былым восторгом мне под грушею корявой
Аксакова уже, наверно, не читать.
И есть ли груша та? Уж мне не есть лукаво
Запретного плода, чтобы не знала мать.
Уже вечерний свет над зимнею дубравой,
Но в сердце, чорт возьми, всех весен благодать.

Покамест греет кровь и жарки строки в песнях,
Читатель молодой, поэт — тебе ровесник.

9

Ты ходишь по земле неопытной стопой.
Позволь благословить твои пути-дороги!
Дыши и радуйся, — ведь молодость с тобой.
Не избегай борьбы и не беги тревоги.
Лети всегда вперед, как ветер молодой.
Твои пусть никогда не тяжелеют ноги.
Запомни, юноша: движения и крик
Бессмертны, хоть живут они короткий миг.

10

Об этом говорю, а тучи над страной¹.
Не лучше ль в ясный день о прошлом рассказать?
Не всю еще напасть железною метлою
Мы вымели с земли, еще рыдает мать
И, стиснув зубы, брат кремнистою тропой
Идет и падает, чтобы, упавши, встать.
Еще нам смерть грозит, и угрожают беды,
И камни ранят нас, но путь наш — путь победы.

11

Так! Правда будет жить! И это наша цель!
Вновь расцветет страна, и радость будет снова,
Но боли не забыть нам в несколько недель,
И, может быть, мое сейчас некстати слово,
Некстати, может быть, воспоминаний хмель
Пытаюсь я вплести в страны венок терновый.
И оскорбительно мои стихи звучат,
Когда война и месть ударили в набат.

12

Пусть мать поверит мне, пусть мне поверят дети,
Любя грядущее, которое для нас
Сверкает зорями сквозь ночи лихолетий,
О прошлых временах я свой веду рассказ.
Нет, не одни цветы срывал я в годы эти —
Мне видеть довелось и страшное не раз —
И скажет мастер-внук и внучка-мастерица:
«Все это было так, но это будто снится!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Денис с Кузьмою раз (была зима тогда),
По чарке выпивши (сказать по правде, пили!),
Разговорились. Стояли холода,
А добрые друзья о лете говорили,
О том, как может жить кукушка без гнезда
И черепахи чем рыбешек прогневили.
И утверждал Кузьма, что знает без наук:
В какое время дня обедает паук.

2

А молчаливый сад в уборе был нарядном:
Деревья в инее сияли за окном,
И поле белое казалось парадным.
Плыл розоватый дым над голубым селом.
Мир представлялся мне пособием наглядным,
Он был куда как прост, хоть тайны были в нем,
Хоть удивлялся я денисовым системам
И формулам Кузьмы — беседе Фабра с Бремом.

3

Что заставляло их настойчиво вникать
В мир, скрытый для других, в запретные глубины?

¹ Поэма начата в 1941 году, под осень.

Несытые, едва умевшие читать,
Старались истину найти простолюдины.
Пытливого ума глубокая печать —
Друзей отметили обильные морщины,
Была каждый знак такой фантазией прорыт.
Ведь без фантазии бессилён и Эвклид.

4

Охоту Каленюк почти что презирав,
Но ловлю рыбную занятим отменным,
Священнодействием мой Каленюк считал
И рыболовом слыл едва ль не вдохновенным.
Весь пруд романовский (он в зелени сверкал)
Ему покорствовал, что было несомненным,
Как Листу — инструмент, пилоту — синева,
Тарасу нашему — родные нам слова.

5

Уже не говорю, что был Денис певцом,
Что в пенье затмевал он самого Боплана,
Позднее я узнал еще и о другом:
Он сердцем обладал отнюдь не истукана.
Везде ходил рассказ почтительный о нем,
Что он у самого учился Дон-Жуана,
Что пальцы не клади ему, Денису, в рот
И что доставил он кое-кому хлопот.

6

Но представляю вам мечтателя другого:
Пред вами музыкант — сапожник Родион
Васильевич Очкур. Печально, бестолково
Свисает ус один, второй же, чтобы тон
Геройский задавать, подкручен вверх сурово...
Тихонько выгребешь на голубой затон —
И вдруг из камышей на водяной дороге
Редько покажется индейцем на пироге.

7

Каскетка с пуговкой (таких уж больше нет).
Другого картуза на нем не помнят люди.
Кивнул он, как велит рыбацкий этикет,
И по-сибирскому жемлет: «клев на уды».
Откуда это все?.. Бродяга и поэт —
Он путешествовал ни хорошо, ни худо,
Золотоносные объездив берега,
Четыре года с ним была дружна тайга.

8

Вернувшись, Родион и ветхого порога
От хаты не нашел, но не грустил, и вот —
Из глины с камышом, тесна, темна, убога,
Но хижина его на холмике встает.
К знакомому пруду его влекла дорога.
Пруд заменял ему поля и огород:
Удил легально он, сказать же между нами,
Он чаще промышлял запретными сетями.

9

Хозяином пруда был господин Рудой —
Начальник доблестный сыскного отделения.
Чтоб малость окрутить доход служебный свой,
Он кражи сочинял и сам в одно мгновенье
(У нас в Романовке ходил слушок такой)
Сейчас же раскрывал свои же преступления.
За эти фокусы лишен он места был,
Но место лучшее тотчас же подцепил.

10

Поросший камышом на радость нам, мальчишкам,
Являя в добрый день всех изобилий рог,
Хотя Рудого пруд был щедр и даже слишком.

Но прокормиться все ж Васильевич не мог
Одною удочкой, одним своим ружьишком,
И приходилось жать у пана за снопок
Пшеницу желтую и восковое жито.
А жал он мастерски, а жал он знаменито.

11

Но жито кончится, пшеница отойдет,
На просяных полях пиры начнутся уток.
Сегодня желтый лист то там, то здесь сверкнет,
И всюду желтизна через десяток суток.
Девичьи голоса все ласковой. Как мед —
Дни сытой осени. А там и первопуток
Расстелет рушники белее серебра,
А там и свадебки уже играть пора.

12

Скрипицу пыльную тогда с гвоздя снимает
Любитель музыки — усатый Родион.
И канифолью он смычок свой натирает,
И добрый слух его — ему же камертон.
Настраиивает он, колки он закрепляет:
Его сердечный друг, разгневанный, тромбон
Однажды в ярости разбил, и гриф, и деку,
Едва не превратив и скрипача в калеску.

13

А грянет Родион — все ноги ходуном:
Различных казачков (а казачков немало!)
Убогоньким своим, но мастерским смычком
Умел он извлекать из своего играла.
Водилося одно за нашим скрипачом:
Сыграв, не повторит и не начнет сначала —
Ударит новое. Готов покаяться я,
Он даже игрывал и «Польку соловья».

14

«Троистой»¹ музыки я не застал. Обычно
При мне уже премел на свадьбах у крестьян
Оркестрик смешанный, но слаженный отлично:
Кларнетец да труба, тромбон да барабан...
Под крики пьяные они гремели зычно,
И скрипка, так сказать, вела лишь задний план.
Но было в скрипочке задорное такое,
Что всей «капеллии» считалось душою.

15

А этот Родион, последний мужичок,
Обруганный не раз, не раз жестоко битый,
Был первым в дни торжестве: рванет его смычок —
Танцуют Ганны все и пляшут все Улиты
Усатой головой стрельнув куда-то в бок,
Он пустит перелив особо знаменитый,
И все сбегаются оттоле и отсель —
Послушать музыку и глянуть на кадрель.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Я помню — был сентябрь. Прозрачный, теплый, он
Казался мягким мне, созревшим виноградом.
Окутывала ночь задумчивый балкон.
Как будто женский хор, звеневший где-то рядом,
Весь Киев предо мной сиял в огнях, и сон
Бежал от глаз моих. Я ненасытным взглядом
Глядел, окно раскрыв и свесясь из него,
Какое дается на свете волшебство.

¹ Оркестр, состоящий из трех музыкальных инструментов: скрипки, бубна, и цимбал. (Прим. переводчика.)

2

Он на балконе был — волшебник, сам Микола
Витальевич. Сидел у мирного стола,
И седина его в сиянье ореола
Прекрасной старости, всей свежестью цвела!
Рождалась музыка. Она не поборола
Покамест немоты, и только в нем росла,
На нотный белый лист свои значки роняя,
Чтоб вскоре зазвучать, сердцами потрясая.

3

Он головою в такт мелодии кивал
(Что было у него характерной чертою),
Наверно, перед ним далекий сон вставал:
Село, хмель на жердях он видел пред собою.
В кругу кудрявых верб пруд перед ним сиял,
Девчат и парубков он видел, и рекою
Рябины терпкий дух, когда-то столь родной,
В согласье с песней тек вдоль улицы ночной.

4

О композиторе ходили анекдоты,
И родичи его любили рассказать,
Как прибыл он в село однажды для работы,
Какой-то вариант занятный записать
И, чемодан раскрыв (лишь было бы охоты),
Все вещи выкинул и начал наполнять
Подарками полей свой чемодан дорожный:
Цветами разными, травой всевозможной.

5

Я, класса третьего прилежный гимназист,
Жил у него тогда. Без памяти буквально
В него я был влюблен, на белый глядя лист,
Где музыка в тиши рождалась триумфально.
И лист, который был еще недавно чист,
Считал магическим. Как мальчик, беспечно
Потягиваясь, встал квартиродатель мой¹
И вышел в комнаты. Ловил я звук любой.

6

Квартира вся спала (мой брат Иван со мною
Жил в Киеве тогда. В ту зиму он кончал
Здесь университет). Над книгою большою,
В которой Митюков студентам излагал
Законы римские, брат спал. А за стеною
Творенье новое свое артист играл
Тихонько, для себя. А я, подобно вору,
Тайком, на цыпочках скользил по коридору.

7

Я с приглашением на свадьбу мог бы ныне
Ту музыку сравнить — с тем мигом золотым,
Когда жених идет с возлюбленной княгиней
Своей к венцу, и все дают дорогу им
С хвалебным шопотом... Но по другой причине
Дал волю музыкант способностям своим —
В честь клуба марш создал... Читатель, без сомненья,
Потребуете вы тотчас же разъясненья.

8

Когда еще стоял трухлявый царский дуб
И всюду старый строй лез со своим копытом,
Тогда не так легко открыть бывало клуб,
Украинский к тому ж: был случай знаменитым,
Достойным всяческих фанфар и прочих труб,

¹ Лысенко жил, а мы с братом квартировали у него на Маршиско-Благоденской (ныне Саксаганского) улице.

Звенящих серебром над повседневным бытом,
И Лысенко сложил соклубникам привет,
А первым слушал марш непризнанный поэт.

9

Живя у Лысенко — новейшего баяна
(Из львовской взят «Зорі» подобный титул мной),
Буквально я пьянея от звуков фортепьяно
И на цимбалах сам наигрывал порой,
Я в дар их получил от самого Ивана,
Не лишь «Ой на горі», иль «Казачок» простой —
Свое играя и был счастливей всех на свете.
Иван за четвертак купил цимбалы эти.

10

Щадя читателей, поэт, им не давай
Реестра всех страстей, изведанных тобою.
Я музыку любил и свист утиных стай,
Рубанок мой и сад равно владели мною.
Любил я синий плес, где в светлый месяц май
Клевали хорошо линии под бузиною.
Денис звал «линьями» тех памятных линий.
И вот пора пришла подумать и о ней.

11

Вечерний час. Теплынь. Журчит вода живая.
И с лейкой девочка опять передо мной,
Похожая на всех и вместе с тем другая,
Такая милая... Как в дымке голубой
Она склоняется, левкой поливая.
И это — дальше — мне кажется канвой,
И вышиты по ней не сон, не сновиденье,
А чувство первое — бессонницы томленье!

12

О, гимназисточка! Как мне забыть твой дом!
На Благовещенской жила ты рядом с нами.
Благодарю тебя за все, что мы зовем
Беседами без слов, безмолвными речами.
Благодарю тебя за каждый жест, в каком
Вся отразилась ты. Как я хотел губами
Прильнуть к твоим губам! Да только — вот беда:
Мы не были с тобой знакомы никогда.

13

Умчалась тучка вдаль, но влажный след остался
(Да это Лермонтов!). Твой образ сохраня
В воспоминаниях, я снова им предался.
Родные кто мои и как зовут меня
Не узнавала ты. Я тоже не справлялся
Об имени твоём и кто твоя родня...
Влюбленным заполнять подобную анкету
Ни милой девочке не надо, ни поэту.

14

Старушка милая (увы — мы старики!),
Очки свои надев, вы, может быть, прочтете
Писания мои до этой вот строки,
И всё поймете вы в лирическом отчете,
И сразу вспомните те дни, что далеки,
И станет страшно вам, и грустно вы вздохнете.
И вам покажется: вы — девочка, и вас
Левкой к себе зовет в вечерний теплый час.

15

И, может быть, мой сын, повитый дымом боя,
Товарищ неплохой и доблестный боец,
Вдруг с вашей дочерью, такою молодою,
Случайно встретится, и трепет двух сердец
Подслушает земля. (Она и нам с тобою

Дала и свет, и цвет, и в ней же свой конец
Мы некогда найдем.) Так будь благословенно
Всё то, что молодо, всё, что, как жизнь, нетленно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Учителям привет от их ученика!
Я с благодарностью о многих вспоминаю.
Хотя гулял иной под кличкой чудака,
Но передоновых меж ними я не знаю.
В один прекрасный день под перелив звонка
Класс снова поглотил живую нашу стаю,
И кто-то в этот миг вдруг крикнул: «Господа!
Словесник новый к нам!» — «В пенсне?» — «И лысый?» — Да.

2

В пенсне и лысоват наш Дмитрий Николаич,
Словесник молодой, спокójно в класс вошел.
Стихи Толстого он, к уроку приступая,
Чтец изумительный, уверенно прочел,
Чем и понравился бедовой нашей стае,
Чем уважение мальчишек приобрел.
Когда я взрослым стал, мы с ним дружили славно.
Преподаватель мой погиб совсем недавно.

3

Тогда ж я юным был, словесник — молодым,
И даже лысинка казалась молодой.
Бывало, вокруг него всем классом мы стоим,
А он поет для нас, одно поет, другое —
Былины, думы, все... И тот, кто одержим
В гимназии бывал и скукой, и тоскою,
И тот учителя мог слушать без конца —
Приятно посмотреть бывало на юнца!

4

«Рябинин сказывал так про Вольгу когда-то.
Так думы Шуть левал, а этак Вересай»...
И это в те года реакции проклятой,
Когда у нас кругом был непочатый край
Жандармов всяческих. Удачей не богатый,
Причастен к этому сам царь был Николай.
Коль украинского всего вы не чурались,
Вы подрывателем основ хуже считались.

5

Слова «роняет лес багряный свой убор»
Ты в сердце заронил, мой Дмитрий незабвенный,
Как радость бытия.... Артист, а не актер,
Ты красок не жалел, и тишиной мгновенной
Лентяев отвечал тебе бездумный хор,
Едва ты начинал — оратор вдохновенный —
О Тэне лекцию, помимо всех программ,
Или рассказывал о разных тропах нам.

6

И латиниста я любил, хотя не скрою,
Что двоек за латынь немало наживал...
Эней, покинувший разрушенную Трою,
Венера в облачке (глазами преспожал
Богиню добрый сын) и многое другое,
Все приключения, которые он знал, —

¹ Стихотворение А. К. Толстого «Курган» о неизвестном витязе, имевшем «громоносное» имя.

Все это в памяти и ныне в полной силе,
Ведь ясный небосклон¹ открыл и мне Виргилий.

7

А вот историк наш — охотник на жуков
И разных бабочек — искусней Цицерона
Рассказывать всегда и всюду был готов,
Забыв историю, о ловле махаона.
Он все же кое-чем снабдил учеников,
На чем в те времена лежал запрет закона:
О революции историк говорил.
Как жаль, что не всегда внимателен я был.

8

Педанты черствые и чудаки, таили
Какое-то в себе вы все-таки тепло.
Тому, что чужды мне порок и скверна были,
Что лодырем не стал, и что мое чело
Морщины дряхлости и до сих пор не взрыли,
Тебе обязан я... Хоть много лет прошло,
Как Пушкин свой лицей, тебя не забывая,
Благодарю тебя, гимназия родная!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Однажды в летний день над Унавой-рекою
Неосторожного чирка я подстрелил.
Он на воду упал. Там с тражкой водяною
Переплелся камыш. Я без собаки был:
Разделся до гола, и — в воду. Под ногою
Сперва я ощущал коварный вязкий ил,
Стараясь к берегу держаться все ж поближе,
Но дальше плыть пришлось по мутной зыбкой жиже.

2

За убегающим я и поплыл чирком,
Он, раненный в крыло, нырял и появлялся
Вновь предо мной, и я в сплетенье трав густом
За ним сквозь сабельник высокий продирался,
Кувшинки змеями скользили за пловцом,
И, горестный плывец, я понял, что попался:
И вырваться нельзя, и невозможно плыть,
Ну, словом, тут я стал водицу эту пить.

3

Барахтаясь в воде и воду ту глотая,
Я выбился из сил и к смерти был готов.
Хоть зелень вокруг меня сияла молодая,
Но уходил я в ночь. Скажу без лишних слов,
Я образ Лидочки увидел, утасая,
И в темноте угас далекой жизни зов.
Все стало тишиной, замолкло, замолчало.
«На помощь!» — из меня вдруг что-то закричало.

4

И, снова вынырнув, увидел я челнок.
Среди купав и трав ко мне спешил он, валок.
(Еще мгновение — и я б спастись не смог.)
И голос прохрипел (такие у русалок
Всегда простуженных: водица да лесок)...
Он нежен был... За борт я ухватился, жалок,
Но кто же крикнул мне: «Держись за лодку, друг!»
Но кто же спас меня? Конечно, Каленюк!

¹ Люблю с моим Мароном
Под ясным небосклоном
Близ озера сидеть.

5

Ах, краше чувства нет в прекрасном этом мире:
 Держась за милый борт, за добрым челночком
 Плывть прямо к берегу у жизни на буксире,
 Которая цветет так радостно крутом,
 В ушах полно воды, но солнышко в эфире
 И согревает все своим святым теплом,
 А Каленюк меня сетями прикрывает
 И вновь ловить платиц на речку поспешает.

6

С тех давних пор во мне то чувство всё росло,
 С каким хотел бы я быть взятым и могилой:
 Стократ я полюбил зеленый мир, тепло,
 Мурашек на траве, людей характер милый,
 Смиряющих в своих сердцах и душах зло.
 Но, впрочем, бог Зевес, спаси меня, помилуй,
 Вас всепрощению учить, читатель мой,
 Чему учил людей писатель Лев Толстой.

7

Студенческой скамьи не вспоминаю я,
 Года студенчества истратил я впустую.
 Признаться, мне дала не много та скамья,
 Усвоив истину несложную такую,
 Что дело не уйдет, по полю бытия
 Катясь бессмысленно, я жил наудалую,
 Лишь слыша изредка гуденье непогод,
 Лишь видя иногда, как вихрь деревья гнет.

8

Но я не обладал способностью антенны,
 Или сейсмографа — и разве я один!
 Не трогали меня дождей и вихрей смены.
 Гул грохотал низин, гремел набат вершин,
 И шопот слушали дворцов и хижин стены,
 Я ж, современности недальнорзоркий сын,
 По жизни странствовал, как перекасти-поле,
 Своею собственной, одною занят долей.

9

Мне очень жаль, что я прошел полуслепым
 Туманные года, чреватые великим.
 Но в день прозрения вдруг расступился дым
 Над современностью, над людом многолюким,
 И понял я тогда, чем был он одержим —
 Родимый мой народ, томимый гнетом диким,
 И все я понял сны, какие видел он
 Во мраке тягостном столыпинских времен.

10

Листок, каких миллион на дереве моем —
 Благодарю судьбу, что я не оторвался
 От ветки родственной, что слышал первый гром.
 Что был свидетелем того, как мир менялся,
 Как в испытаниях, в кипенье боевом
 Народ ликующий к вершинам подымался...
 Но приходилось мне немалый сделать путь,
 Чтоб, молодость догнав, себе ее вернуть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

1

Конец был февраля. На крышах снег чернел.
 Чирикал, как дитя, воробушек несытый.
 Я спал над книгою, когда ко мне влетел
 Приятель мой — студент, бездельник знаменитый.
 В одно мгновение он выпалить успел:
 «Отрекся Николай!.. Ей-богу! Посмотри ты,
 Свершилось!! Настает эпоха из эпох!»
 Так и посыпались слова, что твой горох.

2

И началось тогда. И грохот отдаленной
Доподлинной грозы, и грохоток речей,
Весьма сомнительных, одной объединенной
Текали симфонией, друг с другом споря в ней.
Министров чехарда над грязью беспардонной
Превесело вилась. Крича: «Вези скорей!».
Коня истории седлали те артисты,
Которых правильней назвать авантюристы.

3

Различных гетманов видали мы тогда,
Петяюр, деникиных мы всяческих знавали...
Чтоб рыбки наловить, пока мутна вода,
Трепали языком они и убивали;
«Ура» и «караул» сливались иногда,
И шлюхи в бантиках пунцовых щеголяли,
И «рыцарь вольности», «защитник всяких прав»
Страну распродал, свой идеал поправ.

4

Я был полуслепым в те годы, но по мере
Того, как прозревал, я многое узнал,
И ветер гнул людей, и кое-кто в партере.
При виде клоуна, ладоши отбивал,
И краснобай-делец, остря и лицемеря,
Святыню опошлял, и старый «радикал»
Себе доказывал, наивностью богатый.
Что, дескать, лошади отнюдь не виноваты¹.

5

А тот, кто сеял, жал и уголь добывал,
Отстраивал мосты через моря и бездны,
Кто до сих пор одним лишь правом обладал —
Смерть в плату получать за труд многополезный, —
Тот голову тогда все выше подымал,
Хоть путь лежал пред ним холодный и железный.
Хоть шел он, падая среди крутых громад,
Но ленинский гудел в его ушах набат.

6

В тропинках путанных я жизни видел поле,
Я видел множество путей-дорог кругом.
Мой путь меня привел однажды к ветхой школе.
Я, сидя за столом, а этот стол был хром,
Смотрел, как Петрики, Маруси, Грицы, Оли
Глядят во все глаза на карту над столом,
Все посетив моря и заодно приметя,
Какие звери есть столашные на свете.

7

В года позднейшие учеников моих
Случалось мне встречать — окрепших, загорелых
Одних на тракторах, за книгами других,
Одних в родном селе, других в иных пределах.
Я чувства добрые старался множить в них
И счастлив потому. Теперь они меж смелых
И славных воинов страны своей родной
Собою жертвуют для матери святой.

8

Привет вам, Петрики, Маруси, Оли, Грицы.
Но отчеству давно вас величать пора
И полным именем, а детским не годится;
У вас самих, быть может, детвора,

¹ «Лошади не виноваты» — рассказ Коцюбинского о либеральном помещике, у которого крестьяне постановили отобрать землю. Сын его вызвал казаков. Помещик сперва не хотел даже дать сена для казачьих лошадей, но быстро согласился, что лошади здесь не при чем, а затем нашел, что и сами казаки прибыли к нему в усадьбу очень кстати. (Прим. переводчика)

И воду знаний пьет из общей нам криницы,
А очень может быть, сегодня иль вчера
Красноармейцами ребятки стали эти,
Но как поверит мать, что дети — уж не дети!

9

Как погляжу с горы на мир перед собою,
Есть и цветы у нас и много есть тепла.
Но я хочу, чтоб жизнь была теплее вдвое.
Хочу, чтобы цветам не знали мы числа!
Пусть время трудное даровано судьбою,
Пусть рана ни одна в душе не зажила,
Пусть друг обманывал и стал немилым милый —
Для дружбы и борьбы во мне найдутся силы.

10

В годину тяжкую рассказ я начал свой
Для самого себя (в том старость виновата;
Состарясь, мы грустим о юности былой);
Для сына мой рассказ, для нашего солдата.
И вот опять земля святая предо мной,
В которой мирно спят моих родных два брата,
И милый мой Денис, и в небе в вышине
Победная заря сияет вам и мне.

11

Благословенна будь, родная, всеблагая!
Благодарю тебя за жар в душе моей!
Священные поля, где я бывал, блуждая,
Которые топтать решался лиходеи,
Я снова вижу вас, всем сердцем присягая,
Всей силой рук моих, моей надеждой всей,
Что молодость свою (я никому в угоду
Ее не расточал) я передам народу!

12

Народ! Рожден тобой добра великий друг —
Сковорода и сам Шевченко неуемный,
И дядя мой Кузьма, и милый Каленюк,
И смелый воин наш прославленный, но скромный,
И тот, кто воскресит поля, луга вокруг,
И тот, кто жизнь вернет вам, рудники и домны...
Так разрывай туман, сияй, как солнце, нам!
Мой честный дар кладу к твоим святым стопам.

Уфа—Москва—Киев, 1941—1944 г.

СТРЕЛА

Повесть

МИХАИЛ СЛОНИМСКИЙ



I

Инженер Шерстнев был автором нескольких работ по строительству железнодорожных мостов, некоторые его изобретения и рационализаторские предложения были одобрены и введены при скоростных строительствах, имя его можно было встретить не только в специальных технических изданиях, но иногда и в общей прессе. Специалист по мостам, он в последние годы много усилий отдавал проблеме крана. Ему чудился некий кран такой системы, которая максимально упростила бы установку пролетных строений на опоры.

Громоздкие сооружения для подъема и установки ферм, отнимавшие много времени, энергии и сил, раздражали Шерстнева. Он просто иной раз ненавидел все эти явно устаревшие, уродливые системы, тяжеловесные, неуклюжие, неудобные при быстрых темпах военных восстановительных работ. Чорт их подери! Ведь наверняка можно изобрести нечто гораздо более простое, этакий быстро действующий механизм, который решил бы дело. Анекдот о колумбовом яйце часто вспоминался Шерстневу, но он все не мог найти способ, как поставить это самое яйцо, как решить замысловатую задачу. Над этой проблемой трудилось много инженеров, но пока что сконструировать такой кран, о котором мечтал Шерстнев, не удавалось.

Новые идеи вторгались в обычную, ежедневную работу Шерстнева как бы внезапно. Вдохновение настигало его не всегда в таких условиях, при которых он свободен был реализовать его немедленно. Иногда оно налетало на него на деловом собрании, с которого нельзя было уйти, или в веселой болтовне с приятелями, или где-нибудь в пути — в поезде, в трамвае, в метро. Вдруг, от какого-то случайного впечатления оформится мысль, выплывет на поддержку ей весь запас зна-

ний и наблюдений, и он дергается, страдает, пока не засядет, наконец, за письменный стол. И тогда никакими силами не оттащить его от формул и чертежей.

Всегда казалось ему при этом, что он изобретает нечто гениальное, и всегда, когда работа была завершена, он удивлялся малым результатам своих больших мучений. Очередная работа его встречалась обычно с одобрением, но это было не то, совсем не то, что представлялось его необузданному воображению, когда он строчил, чертил, проверял. С годами он привык к этому несоответствию, и оно перестало изумлять его. Он просто понял, что даже маленькое новшество требует громадных усилий.

Постоянные, изящные мосты увлекали воображение Шерстнева. В часы и дни отдыха он любил сочинять невероятные, неосуществимые сооружения. Однажды, например, он привез из отпуска проект моста через Арктику. В этой его фантазии поражала безукоризненная точность расчета, подтвержденная даже таким придирчивым инженером, как Билибин, — но производство работ было не по человеческим силам. Доставка материала предполагалась воздушным путем, ряжевые опоры в глубину на несколько километров гондились только для фантастического романа, а самое веселое в этом проекте было использование белых медведей, тюленей и даже рыб как рабочей силы: медведи возили с ледяных аэродромов строительный материал, тюлени крепили ряжи, рыбы служили техразведкой.

Шерстнев заразительно, как ребенок, смеялся над этим забавным сочинением, он тешил себя такими шутками, но дети отнеслись к его выдумке очень серьезно и с большим увлечением. Шерстнев не отказался выступать с этой сказкой в школах, и дети так восторженно слушали его, что в одной из школ он построил — кстати, уже без всякого расчета — мост прямо на луну. Чего там! Позвали — так

уж терпите. Но когда одно издательство обратилось к нему с просьбой написать фантастическую повесть «Мост через Арктику», он замахал руками:

— Что вы! Меня же, между прочим, засмеют. Да и не умею я писать. Нет. Я же солидный инженер, мне нельзя шутить.

Шерстнев принимал участие в освободительных походах тридцать девятого и сорокового годов, он работал тогда по восстановлению разрушенных врагом мостов. Мосты, восстановленные в условиях войны, назывались временными: они были достаточно прочны для того, чтобы служить лет десять-двенадцать.

Опыт войн показал Шерстневу, что особенно нужен просто и быстро действующий кран в военное время — он значительно сократит сроки восстановления и тем самым ускорит темп наступления.

Весной сорок первого года была сформирована бригада для обследования временных мостов в приграничной зоне. На совещании, когда решен был уже и срок выезда, Шерстнев не воздержался от того, чтобы высказаться и на тему о кранах, хотя вопрос этот и не имел отношения к делу.

Шерстнев доказывал, что нужно в интересах обороны еще больше усилить работу по созданию нового крана и что наркомат уделяет попыткам конструкторов в этом направлении недостаточно внимания. Впрочем, конкретно он ничего не требовал — ни новых организационных мероприятий, ни ассигнований.

Когда он замолк, наступило молчание. Характер его хорошо известен был в наркомате, он часто говорил не к месту, забегая в сторону или вперед, и начальник отдела, который вел совещание, выдержав паузу, улыбнулся, потом заключил:

— Начальником исследовательской бригады назначается товарищ Билибин, на которого и возлагается вся организационная часть. — Он сделал ударение на слове «организационная». — Что касается проблемы крана, — обратился он к Шерстневу, — то, вполне соглашаясь с вами, должен заметить, что проект крана, такого, какой вам мыслится, — на слове «мыслится» он опять сделал ударение, — не предложен еще конструкторским бюро.

— Я только так, для памяти, — отозвался, взмахнув рукой, Шерстнев.

Назначение Билибина было неожиданностью для всех. Считалось бесспорным, что начальником будет Шерстнев. Нельзя было определить по лицу самого Билибина, явилось ли это неожиданностью для него. Билибин был большой мясистый человек, наголо бривший свою увесистую голову. Услышав свою фамилию, он не шевельнулся, не мигнул даже, в его больших выпуклых серых глазах нельзя было прочесть ничего. Иногда глаза его становились пустыми, ничего не выражаю-

щими. Мысли и чувства его за этим взглядом никто не мог бы угадать.

Выйдя из кабинета, где происходило совещание, Шерстнев резко сказал Билибину:

— Ты, как всегда, промолчал. Тебе и не нужно новых кранов.

Он никак не был задет назначением Билибина, он отличался абсолютным равнодушием к административным постам, принимая те, какие ему давали, и не претендуя ни на что больше. Но после каждой своей неуместной выходки Шерстнев залился на Билибина, у которого всякое действие было и к месту и ко времени, шло в то самое дело, какое было на очереди в данный момент.

Шерстнев тем более залился на Билибина, чем менее был похож на него. А тут еще перед самым совещанием Билибин убедительнейшим образом раскритиковал новый эскиз Шерстнева — проект облегченных ферм, опроверг отчетливо и точно, порекомендовав товарищу не демонстрировать эту работу никому. На этот раз сказка вторглась в расчет незаметно для Шерстнева, чего никогда с ним не случалось. Ни один из известных металлов не имел тех свойств, которые в одной из деталей предположил Шерстнев. Металлурги только посмеются, сочтя этот проект очередной шуткой, мистификацией известного им выдумщика.

— Если нет такого материала — так пусть будет, пусть, между прочим, почешут мозги все эти академики! — выкрикнул Шерстнев раздраженно, но эскиз при этом порвал.

Он в упор взглянул на Билибина и сразу же сурово отверг глаза. Что-то проскочило в их встретившихся на миг взглядах, передалось без слов. Билибин понял, что творится с Шерстневым, и удивился. Тот вздумал, кажется, ревновать его к делу.

Билибин терпеливо сносил все выпады Шерстнева, а Шерстнев, как ни ругал его, все же ему, первому, нес свои новые работы и как ни раздражался иной раз, но вынужден был принимать его справедливые и всегда обоснованные возражения. Одобрение Билибина было для него решающим, он чувствовал себя легким, прямо воздушным от радости и готов был полюбить всех, когда Билибин, хлопнув широким своим ладонью по эскизу, говорил с блеском в глазах:

— Вот это вещь! Это — точно!

Билибин заменял ему точнейший контрольный аппарат, совершенно необходимый в его работе.

Шерстнев не заметил, как и когда возникли у них такие отношения. Просто Билибин всегда с интересом относился к идеям Шерстнева и, свято храня тайну неудач, пропагандировал каждую удачу Шерстнева. К его бескорыстию Шерстнев

давно привык. А в серьезной борьбе, в напряженные минуты жизни Билибин был очень активен. Когда, например, Шерстнев неистовствовал в борьбе с «предельщиками», Билибин в то же время выступал на собраниях и в печати — всегда веско, хоть и кратко.

Шерстнев не задумывался над отношениями своими с Билибиным, он вообще не думал о том, как люди относятся к нему. На службе называли его «нервяк», «этот наш нервяк». А Елена Васильевна Власова, или попросту Леночка, секретарша-стенографистка, а когда бывало необходимо, и неплохая копировальщица, всячески изошлась на его счет в болтовне с подругами:

— Заладил мне диктовать. Торопится, ерошит волосы, галстук вечно набок...

Подрути посмеивались в ответ:

— Ладно уж, не оправдывайся. Знаем, все знаем.

Было действительно слишком заметно, как Шерстнев, являясь на работу, прежде всего искал Леночку. Одна только Леночка как-будто не понимала, что это значит.

II

Вернувшись с совещания, Шерстнев тотчас же попросил Леночку к себе. Когда она явилась стетрадкой и карандашами, он шагнул по кабинету, заложив руки в карманы синих со смятой складкой брюк. Остановился перед Леночкой, расставив короткие ноги, небольшой, взъерошенный, чернявый, и вдруг выпалил:

— Я вас прошу быть моей женой. Я люблю вас — вы это знаете, конечно. Я вас люблю...

Все-таки это было неожиданно. Леночка воскликнула:

— Оставьте, Николай Николаевич! Что вы, право!..

— Мы женимся? Да? — говорил Шерстнев и улыбался радостно. В улыбке лицо его принимало совершенно простодушное, почти ребячье выражение.

Леночка спросила скромно и язвительно:

— Это все, что вы хотели мне продиктовать?

Шерстнев отвечал:

— Да, это я и хотел сказать вам. Я вас полюбил. Я понял, что я люблю вас, и мы должны жениться. Я уеду с следовательской бригадой и...

Леночка возмущилась наконец.

— А обо мне вы подумали? — тихо осведомилась она.

Шерстнев продолжал радостно глядеть на нее — он был слишком полон собственными чувствами.

Леночка промолвила сухо, отчужденно, жестко:

— Я вам не нужна больше? Можно идти?

Шерстнев молчал, сдвинув брови. Он стоял перед ней, попрежнему расставив ноги, чернявый, небольшого роста инженер, но простодушная улыбка уже не освещала его лица. В глазах мелькало выражение озлобленное и упрямое. Затем он резко повернулся, сделал несколько шагов по комнате и вновь остановился.

— Все равно я вас люблю! — выкрикнул он.

— Я уже ответила вам.

При этом Леночка пошла к двери. Она немножко побаивалась сумасшедших глаз Шерстнева. На пороге она, полуобернувшись, осведомилась еще раз ровным служебным голосом:

— Разрешите идти?

Она была чрезвычайно взволнована. Такая настойчивость, повелительный тон... Но никому она не пожаловалась, а только рассказала обо всей этой сцене старшей чертежнице, большой толстой женщине, матери троих детей, которой привыкла поверять свои душевные тайны. Та заметила рассудительно:

— Уж если Шерстнев чего-нибудь добивается — так с ним не сладить. А чем плох? Инженер выдающийся, известный...

Конечно, известный, может быть, даже выдающийся — но как он смеет?..

На службу Леночка являлась всегда чистой, аккуратной, такой умытой, свеженькой, душистой, с таким счастливым девятнадцатилетним блеском в глазах, что подруги не уставали без всякой зависти радоваться ей. Поверх английских блузочек, розовых, голубых, желтеньких, она носила вязаные кофточки неярких, но очень приятных цветов. Она находила самое подходящее место, куда прикрепить какую-нибудь брошку, или цветочек, или бантик, и подружки могли подсказать, как получше приспособить какое-нибудь украшение. Она была моложе и лучше всех в отделе. Товарки всегда говорили ей, и сама она чувствовала, какое она сокровище. И вдруг к ней привязался этот фантазер!..

К концу дня маленькая вертлявая Женья из отдела кадров прибежала к Леночке и провела ей великий секрет — Шерстнев взял леночкин домашний адрес. Сообщив это, Женья фыркнула и убежала.

Домашний адрес был леночкиной бедой. Но она считала свою скверную комнату в коммунальной квартире временной бедой — только до той резкой и счастливой перемены судьбы, в которую она верила нерушимо. Все же ей грустно бывало, особенно к весне, когда она подходила к подъезду ветхого двухэтажного домика, в котором жила.

Невзрачный, подслеповатый фасад этого старинного кирпичного строения утратил первоначальный свой цвет — фасад был

грязно-желтый, с розовыми разводами, в пятнах и выбоинах самого разнообразного размера, расположенных так беспорядочно, как того пожелали время и непогода.

Домик стоял, понурившись, как нищая старушка на краю могилы, случайно задержавшаяся на земле. Это был один из тех домиков, каких еще немало в Москве. Стиснутые меж новых каменных зданий, они напрасно рассказывают о прелестях московской старины новым своим жильцам, желающим не воспоминаний о давних временах, а газа, ванны и телефона, и негодующим на штукатурку, которая сыпется с потолков, и на сырость, проникающую сквозь стены.

На лестнице каждая ступенька была непохожа на предыдущую, по-особенному скособоченная и треснутая. Дверь квартиры обита рваной черной клеенкой. Леночка входила в ночной мрак прихожей, особенно неожиданный в солнечные дни, как в могилу, темную, сырую, заплесневелую.

Леночкина комната была меблирована скудно и случайно, и каждый день приходилось ее чистить и мыть. Все — пол, покрытый линолеумом, кровать, диван, стол, стулья, шкаф — неравномерно белела, сыпавшаяся с потолка известка. А к весне над кроватью и диваном набухала темная полоса — вот-вот начнет протекать потолок.

При жизни отца, не так скучно было возвращаться домой. Отец ее был литератор, который сквозь все неудачи своей жизни пронес убеждение в том, что его произведения, как и его талант — замечательны. Он говаривал горько:

— Меня, как Стендаля, откроют через сто лет.

В комнате осталось одно утешение — солнце.

В комнату било солнце, живое и веселое.

Солнце звало к окну, за которым сверкала широкая улица, похожая на автостраду, приспособленная, казалось, специально для автомобилей и троллейбусов. Эта улица, сохранившая свое старинное, уже совершенно неподходящее к ней название, принадлежала новой, заново распланированной и отстроенной Москве, которую не поборот пошатнувшаяся старина, причудливо вкрапленная меж новейших архитектурных громад. Огороженный забором пустырек на углу этой автострады и тихой улочки, на которой доживал свой век древний домик, обозначал место, где вырастут многоэтажные здания.

Здесь, среди озабоченных, неинтересных соседей, Леночке не с кем было поделиться своим волнением, всем, что переполняло ее после объяснения с Шерстневым, и в чем она сама не могла хорошенько разобраться. Может быть, он вообра-

жает, что ей, ничтожной девчонке по сравнению с ним, видным инженером, остается только обрадоваться и сразу же броситься в его объятия? Так он узнает с кем имеет дело...

Она пожимала плечами и ужасно, досадовала, что не зазвала к себе сегодня никого из подруг. Может быть, кто-нибудь сам догадается зайти? Она была одна, совсем одна, и никогда еще ей не было так грустно, как сегодня. Надо, обязательно надо посоветоваться с Библиным, рассказать ему. Почему она не сделала этого? Почему? Ведь он всегда так приветлив с ней, так охотно вникает в ее маленькие делишки и огорчения. Почему же она не пошла к нему за советом? Она даже себе не хотела ответить на этот вопрос. И вдруг вечером Шерстнев явился к ней.

Вот уж подлинно все его поведение состоит из сюрпризов. Она немножко стыдлась своей комнаты, и чем больше стыдлась, тем более гордое и даже высокомерное выражение принимала.

Шерстнев отнесся к деталям ее быта, как к чему-то совершенно несущественному, ему явно нужна была она сама, а не обстановка, в которой она существовала. И видел он только ее суровость, огорчавшую его.

— Я чувствую, — начал он, снимая без приглашения пальто и шляпу и вешая их у двери, — что вы продолжаете сердиться на меня. Я умоляю простить меня. Я был не в себе. Со мной никогда еще такого не бывало... — Он огляделся. — Я жил когда-то в таком домишке, в такой же вот коммуналке...

И он потер маленькой своей рукой левую щеку.

— Между прочим, — вновь заговорил он, — я совершенно серьезно заявляю вам, что я просто не могу жить без вас. Уверяю вас, я на части разорвусь, чтобы вам было хорошо, вы не можете себе представить, как я вас люблю, и все это видать... — Тут он вернулся к своему пальто, оттопыренные карманы которого сразу же заметила Леночка. Вынул из одного кармана кулек, из другого — сверток и, совершенно как фокусник, вывернул откуда-то — Леночке показалось, что из рукава — коробку с шоколадными конфетами. — Примите, пожалуйста, от меня с просьбой простить мне мое сегодняшнее поведение. Но со всей серьезностью повторяю то, что вырвалось у меня сегодня в такой дикой форме: я прошу вас быть моей женой.

Он, видимо, постарался на этот раз обдумать каждое свое слово, но все равно получилось неловко, неуклюже, и он сам, должно быть, почувствовал это, потому что брови его сдвинулись, в нем воскрес тот Шерстнев, который испугал Леночку днем. Со всей женской способностью ужа-

ах в самое уязвимое место Леночка спросила тихо:

— Почему я должна выйти именно за вас? Подумайте — почему именно за вас, а, например, не за Билибина?

Шерстнев, который, чуть наклонившись вперед, выжидал, сидя на стуле, ее ответа, вскопчил.

— В таком случае прощайте! — крикнул он, и она даже проводить его не успела. Только дверь хлопнула непристойно громко.

Груда шоколадных конфет лежала на столе перед Леночкой. Она была опять одна, совершенно одна. И не за что ей на него жаловаться. Что он сделал ей плохого? Ничего. А она прогнала известного конструктора, уважаемого в стране. Она грезит наяву, неизвестно чего ожидая. Она ждет такой встречи, при которой все сомнения и колебания отпадут сразу. О ком, о чем мечтается ей? Бог весть. Во всяком случае, о чем-то непохожем на то, что она видит ежедневно, непохожем на все привычное, что окружает ее. Но разве похож Шерстнев на обычных людей?.. Почему прогнала она его?.. Нет, она просто его не любит. Она ждет любви и не знает, что это такое. А он любит ее, и эта его любовь называется безнадежной; у него та самая безнадежная любовь, о которой написано столько трогательных романов. Она не может спасти его, она не любит. Ей было грустно, и ночь не разогнала, а только, сгустила эту грусть.

— Какая ты сегодня томная! — сказала ей Женья из отдела кадров. — А твой Шерстнев веселый ходит.

Веселый? Леночка удивилась и обиделась. Но он действительно был очень весел. Она сама могла убедиться в этом, когда стенографировала его заметку для технического журнала. Он диктовал размеренно, ровным, спокойным голосом, веселые огоньки мелькали в его глазах, когда он поглядывал на нее. Кончив, он промолвил:

— Ваше дело, Леночка, безнадежное, Я — не сторонник мелодрам.

С этого дня начались страдания Леночки. Она была с ним то вежлива, то груба, то, забываясь, смеялась его остроумам. Но он был беспощаден. Он замучил ее ежедневными приходами, коробками шоколада, цветами, духами, которые он таскал ей домой, бурными объяснениями. Он так торопился, словно страх, что вот-вот ее отнимут у него, владел им.

Снег на улицах таял, с крыш капало, шла весна, и все возрастала торжествующая настойчивость Шерстнева. Визиты его не прекращались. И никакого сочувствия Леночке не было от подруг. Женья из отдела кадров прозвала ее даже гордышкой, а толстая старшая чертежница говорила ей:

— Смотри, счастья своего не упусти, капризуля. Николай Николаевич — человек хороший, выдающийся инженер...

Леночка задумывалась. Разве знает она, что такое счастье и где оно? Ничего она не понимает и не знает, только мечтает бог весть о чем в своем одиночестве. А теперь и подруги не одобряют ее.

Они отпраздновали свадьбу в ресторане, в компании сослуживцев. Значит, мечтать больше не о чем. Все, что смутно представлялось ночами, воплощено вот в этом невысоком, быстром в движениях и речи человеке с подвижным лицом, сияющими, прищуренными глазами и вихром на макушке. И вдруг она заплакала. Билибин, сидевший рядом, шепнул ей дружелюбно:

— Не надо. Успокойтесь. Я остаюсь вашим самым верным другом.

Никто не слышал этих слов.

Но она продолжала плакать, слезы текли неудержимо, ей казалось, что она навсегда прощается с молодостью и надеждами. А Шерстнев был доволен, счастливым, влюблен, и слезы Леночки не удивляли его: невесте полагается плакать, она еще ничего не понимает в жизни — потому-и плачет. А он понимает.

Она еще ни разу не была у него. И когда он привел ее к себе, в чистенько прибранную квартиру в огромном ведомственном доме, она втайне восхитилась, но сдержалась, не воскликнула, как ей хотелось: «Боже, как тут чудно!»

Она удивилась тому, что живет он очень прилично. Ее утешило это — значит, по крайней мере, не такой уж он неумелый и непрактичный, кое-что сообщает. На миг даже показалось ей странным, что так долго она раздумывала в своей трущобе. Но разве о квартире мечтала она по ночам так счастливо? Нет, совсем не то грезилося ей, а что — бог весть, она сама того не знает.

А он распоряжался весело, шумно, познакомил ее с горбатенькой старушкой, сказавши при этом:

— Это моя тетя, теперь она и твоя тетя.

И будь он за две комнаты от нее, все равно она чувствовала бы, как он в нее влюблен, и как ничего, кроме нее, не существует сейчас для него на всем свете. Это было приятно и немного страшно: Ей больше не хотелось плакать. Ей хотелось уже как можно скорей привыкнуть к нему, освоиться в своем новом положении жены инженера Шерстнева. Может быть она просто еще глупая девчонка, и никакой ошибки не произошло, а, напротив того, привалило счастье. Она была чрезвычайно возбуждена, глаза ее горели, она принялась помогать тете по хозяйству, удивляясь, что у известного инженера оказалась такая простецкая родственница.

III

На следующий день подруги пытали Леночку:

— Ну, как теперь?

Леночка только смеялась в ответ.

Она ничего не говорила о себе, о своем муже, о своей семейной жизни. Одевалась она попрежнему, работала попрежнему, только прежняя резкость чуть затихла.

Очень быстро выяснилось, что Шерстнев непристойно ревнив. На одной из вечеринок он чуть не избил перепившегося инженера, который, обняв Леночку, хотел поцеловать ее — его еле оттащили. И опять стало Леночке немного страшно, как в первый с ним вечер. Страшно и приятно. Все же она отчитала его самым строгим тоном и самыми суровыми словами.

Билибин почел долгом своим почествовать молодого человека у себя на дому особо. Он пригласил еще только одного гостя, зато это был известнейший профессор, приехавший на неделю из Ленинграда, один из лучших мостовиков в стране. Шерстневу будет полезно это знакомство.

Беседа у Билибина не миновала проблемы подъемного крана. Профессор скептически относился к попыткам изобрести быстро и просто действующий механизм, и вдруг Шерстнев сорвался. Он стукнул по столу и закричал:

— Ерунда! Ерунду же вы говорите! Это абсолютно возможно и будет наверняка...

Профессор при этом внезапно оскорбленный, при этом грубом выкрике «ерунда» вытянулся на стуле, как струна. Он был очень высок, этот профессор, длинный, тощий, сухой, с синими прожилками на длинном лице и тонкими бескровными губами. Движение, которым он вытянулся, очень запомнилось Шерстневу — оно было механично, жестко и что-то подсказывало: подсказывало какую-то техническую идею. Вот он сидел согнутый, сложенный — и вдруг вытянулся, стал длинным...

Билибин пустым взглядом глядел на спорщиков, и нос его висел, как груша, меж выушленных глаз.

Шерстнев взглянул на Леночку и перебил себя, потирая по своей привычке щеку:

— Простите, профессор, что я сгрубил... Но знаете... Все-таки же это ерунда...

Он, сам того не замечая, повторил пружинное слово, и тут профессор неожиданно расхохотался. Пронзая Шерстнева своими маленькими умными глазами, он хохотал, откинувшись на спинку стула, показывая коричневые корешки своих ветхих зубов. Он хохотал очень молодо.

Тогда и Билибин усмехнулся, и глазам его вернулось обычное, несколько печальное выражение.

Успокоившись, откашлявшись и отсморкавшись, профессор сказал Шерстневу:

— Ну, дорогой, вы не только кран — вы все изобретете. С вами не поспоришь, кажется, нет.

Профессор оказался очень славным, развеселился, наговорил невесте каких комплиментов Леночке, напросился в гости к Шерстневу, и остаток вечера прошел превосходно, почти уже без участия хозяина. Иногда профессор принимался опять хохотать, приговаривая:

— Однако, Елена Васильевна, какой у вас строгий муж, он же прямо за горло хватается...

А Шерстнев, которому профессор уже очень нравился, еле удерживался от сумасшедшего желания согнуть и потом вновь разогнуть этого сухощавого, длинного добряка, чрезвычайно удобного для такого рода экспериментов.

Был час ночи, когда Шерстневы пошли домой. Москва, омываемая лунным светом, лежала в полусне, блистая дугowymi и электрическими фонарями, фарами автомобилей, окнами домов и домиков, вздрагивая при прохоте позднего грузовика, при пьяном выкрике или дребезжании трамвая.

Леночка молчала. Шерстнев тоже молчал, ища в движении профессора, обычном быстром человеческом движении то, что почему-то поразило его. Это движение преследовало его, как неосознанный еще образ преследует поэта.

Вдруг Леночка сказала:

— Профессор очень умный. Он все повернул на шутку, но тебе это припомнится. Ты его оскорбил при Билибине, и он тебе этого не забудет. Ты совершенно зря называешь себе врагов.

— Врагов? — удивился Шерстнев. — Но чего же тут бояться, если человек настаивает на ерунде? Ерунда есть ерунда...

— Я не говорю о трусости, — перебила Леночка, — Было бы очень противно, если бы ты был трусом. Я говорю о такте.

— Бывает не до вежливости, — невнимательно отвечал Шерстнев. — Иногда за душу заберет. А старик — симпатичный, ничего он против меня не затаил. А затаил — так, значит, ничего не понимает. Ты заметила, между прочим, как он вытянулся на стуле? Очень интересное движение. Вообще механизмы создаются по образцу человеческого тела. Мы это иногда забываем. Сама природа подсказывает нам иногда решение сложнейших проблем...

И он пустился в рассуждения, которых уже не прервешь.

Вдруг вновь, как бывало до замужества, все поднялось в Леночке против этого человека.

— Ты ничего не соображаешь! — крикнула она так, что пожилой франт в синей фетровой шляпе и синем длинном пальто с любопытством оглянулся на них, пока-

зав свой удивительно прямой, длинный и тонкий нос.

— Ты только тогда поймешь, когда тебя в порошок сотрут.

Шерстнев и не подумал уступить.

— Леночка, — сказал он нежно, — я знаю эту логику. «Я его оскорбил — он мне при случае отомстит». Это, между прочим, случается слишком часто. Но я не хочу жить по этой логике. Не могу. Я живу по другой логике. «Он вредит делу — и кто бы он ни был, я буду бороться с ним, с его мнением». Я не могу иначе. И не нужно иначе. Иначе — как Билибин, который помалкивает, когда...

— Тебе бы поучиться у Билибина! — жестко оборвала Леночка.

Шерстнев даже остановился, чтобы сдержаться. Опять Билибин. Это — не случайно. Вновь поровнявшись с ней, он отозвался по возможности спокойно:

— Билибин — мой товарищ, и я должен за многое благодарить его. Он — хороший инженер, но никакой фантазии, никакого изобретательского таланта у него нету, он не может...

— А ты — гений?

— Ничего подобного я не говорю, Леночка, не кидайся на меня. Ну к чорту этого профессора и к чорту Билибина. Билибин — практик, деловитый, знающий, но, между прочим, ведь у каждого своя голова, свое сердце...

Леночка шла быстрым, энергическим, коротким шагом. Она молчала, сдвинув брови, глядя себе под ноги, почти не слушая его. Она не желает воспитывать или перевоспитывать своего мужа. В конце концов, ей нет еще и двадцати лет, и она — не гувернантка. Она сама не знает, как надо себя вести с людьми, только ее ужасно беспокоит эта неуживчивость мужа.

Конечно, он ее обожает, но при его любви — очень нелегкой будет жизнь. А что такое «легкая жизнь» и какой она хочет жизни — этого она сама не знала.

IV

Инженеры обследовательской бригады заняли несколько купе международного вагона. На столиках появились бутылки с пивом, тарелки с бутербродами, закулился табачный дым.

— Посчитайте, — говорил Шерстнев, — Германия, Австрия, Италия, Финляндия, Румыния...

Низенький седой инженер, похожий на капитана дальнего плавания, вынул трубку из рта и заметил:

— Австрию нельзя считать.

— Почему нельзя? Надо считать. Затем — Венгрия, такие фашистские страны, как Испания... Затем завоеваны Франция, Бельгия, Дания, Голландия, Норвегия, Чехословакия, Польша, Югославия, Албания, Греция...

— Люксембург, — подсказал молодой круглолицый инженер с тихим голосом, сладкими бесцветными глазами и преждевременной лысиной на темени. Он стоял у двери, скрестив ноги, и покуривал.

— Да, и маленький Люксембург! — воскликнул Шерстнев. — Там тоже люди.

Круглолицый инженер пожал плечами.

— Я вам и напоминаю.

— Вы, Барбашов, не всерьез это.

Барбашов пожал плечами и вышел в коридор.

— Так или иначе, а заводы Шкода работают на Германию, — продолжал Шерстнев. — Европейская индустрия работает на Германию. Европа кормит Германию. Лавали поставляют Германии пушечное мясо. И все — для чего? Был город, назывался Ковентри — и в одну ночь его не стало. А что сделано с Францией, с Чехословакией? Вот приезжал к нам этот американец, забыл фамилию... ну все равно. Он удивлялся — летел над черным затемненным миром и вдруг попал в какое-то счастливое царство, залитое огнями. Он прямо ошарашен был после Европы. Ведь не только Запад, но и весь Восток в войне — Япония, Китай... А мы, самая громадная страна в мире, светим посреди всего этого всеми огнями. Надолго ли? Готовы ли мы к войне? У нас колоссальные достижения в технике. По самолетам, моторам, артиллерии и так далее мы просто можем называть имена — Яковлев, Ильюшин, Микулин, Швецов, Грбин и так далее, и так далее. Все ясно. А у нас? У мостовиков? Проблема крана — не какая-нибудь незначительная проблема...

— Пилон, — сказал вновь появившийся у двери Барбашов.

— Пилон? — подхватил на этот раз Шерстнев. — А недостаточная мощность? Сложность манипуляций? Небольшой вылет стрелы? Тысяча недостатков. Их можно особенно ощутить, когда на тебя дают грузы, скопляются на путях, насаждают на плечи. Нужные фронту грузы, бронепоезда, боеприпасы. Я, между прочим, знаю это ощущение. Я был в двух войнах восстановителем, нам эти войны дали кое-какой опыт. Большая мощность, простота конструкции, быстрота операции — всего этого еще нет у нас.

Высокий рыжеволосый инженер с длинным веснушчатым лицом подтвердил:

— Это правда. Однако я вспоминаю, как мне один почтенный профессор, всю жизнь занимавшийся доменными печами, сказал, что доменная печь остается для него и теперь загадкой.

— Правильное ощущение, — обрадовался Шерстнев. — До тех пор, пока дело не доведено до совершенства, до того, чтобы быть полным хозяином его — это ощущение не проходит. Но вернемся к нашему скромному делу. Словом, если ползет на нас фашист, то наше,

мостовиков, дело — помогать фронту. Мы должны строить быстро и прочно. И в этом скромном, но необходимом деле тормозит проблема крана...

Барбашов встал тихо:

— На совещании вам правильно отвечено было — новая конструкция не предложена. Предложите.

Шерстнев помолчал, потирая рукой щеку. Против этого ничего нельзя было возразить.

— Предложите, — повторил Барбашов. — Не можете? Так ламентациями тут не поможешь. Тут требуется вдохновение, изобретательский талант. В восстановлении мостов вы правы, тут вам и карты в руки. Но будем ждать, когда талант ускорит строительство.

Этот был ядовитый мужчина. Получалось так, что от Шерстнева он не ждет этого изобретения, что Шерстнев вообще не талант.

— Да, — продолжал он, — ваш опыт в восстановлении мостов очень ценен. В то же время мы не должны забывать, что мост — это искусство. Мост должен войти в общую картину местности, в общую картину природы, он должен быть изящен, как произведение искусства, он не должен уродовать природу, а, напротив, призван завершать ее, как произведение рук человеческих...

Фантазии Шерстнева были известны ему, как и другим, он знал, что художник в Шерстневе побеждал подчас инженера, но тем приятнее ему было притворяться не знающим всего этого и поучать увлекающегося инженера, которого он не любил, намекая, что он в сущности не выше прораба.

— В чем другом — а уж тут Николай Николаевич не возразит, — улыбнулся рыжий инженер. — Но разговор-то идет о временных мостах.

Седенький инженер добавил, выбивая пепел из трубки:

— Да. Не о мосте через Арктику. Временные мосты создаются в условиях войны, но и в войне мы должны отстаивать красоту жизни и творчества.

Шерстнев вылил из бутылки остатки пива в стакан и выпил. В глазах его мелькнули веселые искорки, он промолвил:

— Уж если на то пошло, то тогда и кран должен быть изящен. А то слоны какие-то неповоротливые, а не краны, хоботы еле поднимаются, застревают... Зоологический сад.

Он помолчал.

— Поцелую того, кто изобретет новый кран, — сказал он.

— А если себя придется целовать? — спросил рыжий инженер, а седенький инженер, набивая трубку, засмеялся тихим смехом.

— Тогда Барбашов меня поцелует.

Барбашов знал любовь некоторых инженеров к Шерстневу, и она была неприятна

ему. От Шерстнева они ждали изобретений, открытий. И он был словно заброширован — его невозможно было задеть личными намеками, даже самыми язвительными и острыми. Он не обращал на них внимания. А в принципиальных спорах был опасен — тут он даже подтекст умел выловить и обрушить на голову противника. При нем Барбашов не позволял себе никаких сомнительных рассуждений, никакого скепсиса.

В ответ на фразу Шерстнева он раздвинул свои губы в улыбке, от которой складки собрались вокруг рта и глаз, и проговорил:

— Если вы разрешите мне приложиться к вам. Если я буду достоин.

Он вполне выдержал шутиливый, дружеский тон. Постояв у двери, отошел.

— Он все-таки неплохой специалист, — промолвил седенький инженер. — Любит виадукки. Почему именно виадукки?

— Слово изящное, — сказал Шерстнев, и все засмеялись.

В купе сунулся узкоплечий инженер в очках на скуластом лице.

— Требуется четвертый в домино. Кто?

— Постучим, — согласился седенький инженер и пошел.

Красивый блондин, одетый в великолепную серую с искрой пару, двинулся в купе, сел, подтянул брюки, и осведомился:

— Научные разговоры? А народ без тебя, Шерстнев, скучает. Идем к нам. У нас весело.

— А где Билибин? — спросил Шерстнев.

— Спит, конечно. Как сел в поезд, так снял сапоги, лег и спит беспробудно. Пива запасли ему и закуски. Неприкосновенный запас. На этот счет он — молодец. Идем. У нас патефон.

Шерстнев, любивший джаз, встал и пошел.

В коридоре вагона стояла Леночка.

— Ну где же ты? — сказала она. — Ищешь куда-то... Ужасно меня рассмешил Владимир Павлович, — она кивнула головой на блондина, — он так и сыплет анекдотами.

Глаза ее сияли, она наслаждалась. Первые ехала она в дальнюю поездку, за ней все ухаживали, ей хвалили мужа, она видела, что Шерстнева многие любят, и она сама сейчас очень любила его.

Билибин неожиданно включил ее в исследовательскую бригаду. Наверное, приятное хотел сделать Шерстневу он, упрямый быть его помощником. Он не назначил, а просил. Шерстнев сначала отнекивался, потом согласился.

Билибин проснулся поздно утром. Он проспал чуть ли не двадцать часов подряд. Он очень уважал в жизни хороший сон и хорошую пищу. Любил также долго мыться, фыркая, как бегемот, мять белье и чисто выбривать волосы на голове. Поговаривали, что много женщин любили его. Приведя себя в полный порядок,

он выпроводил всех из своего купе и заперся.

— Священнодействует, — заявил блондин. — Последние мазки по плану работ.

Стало тепло. Инженеры снимали пиджаки и на каждой остановке выскакивали за всякой снедью. Билибин, кончив свои занятия, вышел в коридор как раз тогда, когда блондин торжественно проносил груды соленых огурцов, как можно дальше отодвинув их от себя, с огурцов капало. Билибин проводил овощи жадным, настороженным взглядом и молча заторопился к выходу. Он вошел в базарную толпу и потерялся среди колхозниц. Потом вынырнул. Он шел медленно, и лицо его выражало необычайное довольство. Он нес целого гуся. Он нес гуся в купе, а губы его еще хранили следы выпитого молока. Оставив гуся в купе, он снова вышел и, когда уже на ходу вскочил в поезд, то корзинка, которую он цепко держал в руке, полна была разных продуктов, на дне ее лежал чудно прожаренный цыпленок.

Хорошенько помывшись, он стал есть. Три бутылки пива появились перед ним. Поев, он снова вымылся и молча посидел в купе, ощущая приятную сытость, тепло стремительное движение поезда — всю прелесть дороги. Наконец, он пригнул к себе план работ, папку с мостами, подлежащими проверке, и пригласил инженеров к себе. Он распределил их по объектам, разбив на группы. Людей он знал хорошо. Конечно, он и сам обедует все мосты с Шерстневым как своим помощником. Последний по плану участок он оставил на осмотр только себе и Шерстневу, остальных он вернет в Москву. Так будет экономней. Билибин как руководитель экспедиции был очень скуп и свято соблюдал нормы расходов по командировке.

Шерстнев уважал Билибина как организатора и как ни подшучивал над ним подчас, а подчинялся ему.

V

Если Леночка думала, что Билибин включил ее в бригаду для ее удовольствия, для приятной поездки, то ее ждало разочарование. Ни о Шерстневе, ни о ней он в данном случае не заботился. Просто он считал ее хорошим работником и потому нагружал сверх всякой меры. Она стенографировала, перепечатывала, сортировала, шивала, копировала, и ее вручную только отличное здоровье. Было уже не до развлечений.

— Устали? — говорил иногда Билибин к без всякого утешения добавлял: — Отдыха пока не ждите. Вот поедем на последний мост, тогда денек погуляем.

Обследование не обходилось без споров и ссор, подчас весьма запальчивых. Би-

либин к замечаниям относился с большим вниманием, тщательно проверял правильность каждой придирки. В этих трениях, среди этих уколов самолюбия, легко перерастающих в склоку, он был всегда, как спокойный центр циклона. Все его поведение клонилось к тому, чтобы самому остаться вне всяких столкновений. Он любил руководить, организовывать, он дорожил этой ролью главного среди товарищей и потому сам исподволь подготавливал себе назначение начальником обследовательской бригады.

Он никогда не терял своего увесистого спокойствия и неизменно, без всякой зависти, поощрял каждую новую идею, новую мысль. Он полагал, что талантливых людей надо беречь, подчас даже от самих себя, и в ссорах оставался высшим судьей, стараясь только помочь работе.

Наконец, пришла очередь и последнего моста. Из всей бригады остались только трое — Билибин, Шерстнев и Леночка.

Леночка стояла у открытого окна. Волосы ее трепались на ветру, лицо, освещенное добрым, не северным солнцем, улыбалось. Зелень мчалась за окном. Все было зелено: поля, леса, каждый кустик. А над всем этим пахучим зеленым миром — яркой синевы небо, синее-синее, без какого-либо оттенка, без белизны или желтизны. Здесь уж если что зеленое — так зеленое на совесть, синее — так такое синее, что ни с каким другим цветом не спутаешь.

Билибин лежал на диване, вытянув свои большие ноги в синих военных штанах с белыми штрипками (сапоги он снял), большой, мясистый, с длинной, большой напомадой бритой головой и глядел на Леночку. Она, видно, почувствовала его взгляд, отошла от окна и села напротив. Взяла книжку в руки и задумалась, забыв о нем, устремив глаза куда-то поверх его головы.

Билибин смотрел на Леночку и удивлялся тому, как она быстро расцвела в замужестве. Ее уже Леночкой не назовешь, она — Елена Васильевна, прелестная женщина в пышном обрамлении светлых, стриженных волос. Глаза ее сияют здоровьем, надеждой, любопытством, и грусть живет в них, и мало ли еще что есть в этих глазах, игру которых и не передашь. Она задумалась о чем-то своем, эта женщина в полном расцвете молодости и свежести, и глаза ее — как две больших капли, в которых отражается весь мир. Вся эта женская прелесть рядом с ним и так недостижима.

Нечто в роде досады на себя и зависти к Шерстневу шевельнулось в душе Билибина. Ведь она могла стать его женой. Он как бы впервые увидел ее по-настоящему и пожалел о своей холостяцкой жизни. Взгляд его, как всегда, когда он хотел скрыть от других свои чувства, приняв бессмысленное, тупое выражение. В сущ-

ности, этой женщине нужен он, Билибин, он может быть опорой в обычных для такой жены капризах. Не зря ее немножко тянуло к нему...

Вошел Шерстнев.

— Скоро подьдем, — сказал он. — Знакомые места. Я тут мучился с этим мостом. Скоро он будет. Граница здесь очень близко. Совсем близко.

И он снова вышел.

Река блеснула впереди голубизной.

— Гляди! Мост! — крикнула Шерстнев.

На станции их встречали с уважением. К вагону подошел начальник станции, толстенький, румяный человек, очень по-домашний и живой. Он представил им диспетчера станции:

— Разрешите познакомиться — товарищ Трегуб. Наш знатный диспетчер. Если вы не возражаете, он мечтает вас принять у себя.

Трегуб промолвил:

— У нас все приготовлено для дорогих гостей. Всегда московские товарищи у меня останавливаются.

Это был человек небольшого роста, светлый, приветливый, с усиками, аккуратно подстриженными у мягких углов рта.

— Спасибо, — сказал Билибин. — Воспользуемся вашим гостеприимством.

Он слышал об этом отличном диспетчере, который любит у приезжих выспрашивать о последних достижениях Москвы и всей страны. Трегуб тянулся к каждому знающему человеку.

Когда они шли к домику диспетчера, обвитому плющом, маленькому, уютному, с садиком впереди и огородом сбоку, начальник станции рассказывал про трудности работы, то и дело повторяя слово «спецгруппы». Билибин отдался междометиями и хмыканьем. Он был солиден, деловит, как приличествует важному начальнику, и начальник станции почувствовал к нему уважение и доверие.

Знакомая гостей со своей женой, Трегуб поглаживал усики, ладошкой прикрывая довольную улыбку, раздвигавшую его небольшой рот. Эта скромная, в синие ситцевое платье одетая, невысокая — в рост ему — тоненькая, остроносенькая женщина представлялась ему самой красивой и привлекательной в мире. Она угостила дорогих гостей такими варениками, что Билибин, отирая рот салфеткой, помотал головой и промолвил:

— Вот это да! В жизни не забуду.

А она, легонькая, тонкая, уже унеслась к ребятам, и из соседней комнаты был слышен ее немножко визгливый голос:

— Ты что, Витька, Катю обижаешь? Я тебе...

После сытного угощения гостям был показан весь выводок: семилетний Витька — точная копия отца, только сильно уменьшенная и без усиков; пятилетняя Катька с круглыми глазами, малюсень-

кой косичкой и большой куклой в руках и трехлетний Слава, державшийся за витькиин палец, как за единственное прибежище в этом необычайно интересном, но полным непредвиденных опасностей мире. А за ними возвышалась молоденькая мама. Изогнувшись, она уперлась левой рукой в бок, очень довольная детьми, мужем, гостями.

Шерстнев заговорил, вытаскивая «лейку»:

— Стойте, сейчас сниму. Один момент. Так. Готово. Еще раз. Так. Катька, ниже куклу: мордочку заслоняешь. Так. Леночка, бери аппарат, береги. Больше пленки нету.

Это были обещанные Билибиным полдня отдыха после утомительнейших работ по командировке.

Ночью все трое спали как никогда не случалось в Москве. В открытые окна шла свежесть и прохлада. Они были такие счастливые, что уж лучше и не рассказывать: словами только испортишь. Проснувшись поутру, Леночка воскликнула:

— Как тут хорошо!

Мост находился метрах в шестистах на восток от станции. Это был решетчатый металлический мост, висевший над небыстрыми, но глубокими водами реки.

Ранним утром Билибин приступил к обследованию.

Шерстнев пояснил:

— Отлично помню этот мост. Была подорвана промежуточная речная опора. Бык был разрушен полностью. Из обломков кладки образовался сплошной островок в форме усеченного конуса с верхней площадкой диаметром примерно в 15—12 метров. Оба пролетные строения упали в реку и уперлись концами в разрушенный бык. Были повреждения при падении, главным образом в панелях, что у опорных узлов. — Шерстнев рассказывал сухо, протокольно, словно давно известные формулы чертил. — Отдельные раскосы лопнули по основному сечению, заклепки были срезаны в отдельных узлах. Были в некоторых элементах и пробойны от снарядов, от осколков. В общем — обильная картина. Задачу решили так: поднять пролетные строения, поврежденные элементы усилить или заменить. — Он вдруг оживился. — Погляди, вот этот островок — бывший каменный бык — стал основанием для ряжевых опор. Досыпали еще бутовый камень. Девять с половиной метров — высота ряжей, вот какая у меня память. Ведь чуть ли не два года прошло с той поры — а помню. При подъеме пролетных строений использовали шпальные клеточки и комбинацию из шпальных клеток с рамным ярусом. Ну уж эта подьемка! Между прочим, из-за нее я, может быть, и залопатил так точно этот чертов мост. Материал то и дело задерживался. Где лес? Где шпалы? До чего тебя нехватало в техническом контроле. Павел. Я

хрип, изругался. Ты понимаешь — большие половины всех простоев произошли из-за неподачи материалов. А потом ремонт домкратов, насосов, лебедок... Хороший прораб — это драгоценность, я всегда это говорил. В условиях войны подбор кадров прямо решает, ты это прекрасно понимаешь. Вот этот мост дал мне опыт — как не надо работать. Мост хороший, но организация работ была из рук вон плоха. Я и с плотниками потел. Я — не организатор, не администратор, но тут вдруг я оказался руководителем. Нельзя было терпеть, когда в иные дни подымали только на 12 сантиметров. 12 сантиметров среднесуточного подъема! Я остался у этого моста. Я — на твоих ролях, организатором, техническим контролером, только без твоего хладнокровия. — Тут Библибин взглянул на него, и странное выражение выплыло из глубины его больших глаз и вновь спряталось, утонуло. — В условиях войны, между прочим, медлительность невозможна. Нужно решать мгновенно.

Библибин молчал, простукивая фермы моста.

Вдруг он обратился к Трегубу, свободному в этот день от работы и сопровождавшему обследователей:

— А вы соседей не боитесь?

— Договор есть, — ответил Трегуб сдержанно, и уже одно то, что он сразу понял, о каких соседях речь, говорило о его настороженности.

Библибин обернулся к Шерстневу, сказал:

— Что ж, если ты сам участвовал здесь с начала до конца и за прочностью ручаясь, то можно поверить, осматривать особо не приходится.

Он помолчал.

— Ты наверное оказался хорошим строителем, — промолвил он, не то спрашивая, не то утверждая.

— Да вот проверь мост как следует, — ответил Шерстнев. — Без скидки, пожалуй, самым тщательным образом.

Просматривая мост, Библибин не обнаружил даже слабости, дефектности заклепок, не говоря о ржавых грязных потеках, обычных при трещине металла.

— Все в порядке, — заключил он осмотр. — Завтра вечером можно обратно в Москву.

Вечер был такой, что в саду засиделись допоздна.

Шерстнев был тих и кроток. Ему все представлялось невесомым, нереальным как во сне. Состояние это было не мучительно, оно не доставляло страданий. Было ощущение, будто воды какие-то заливали его. «Здорово я, должно быть, устал», — подумал он.

Он переносился в детство, в питерскую рабочую семью, в которой вырос. Мать умерла рано. Отец, путиловский рабочий,

домой возвращался к ночи; он, мальчишка, был предоставлен тете, той самой, которая с ним в Москве сейчас. Тетя и до сих пор все удивляется ему и гордится, что он стал инженером. Отец погиб в девятнадцатом году в боях с Юденичем.

Он глядел в прожитую жизнь, и она представлялась ему удивительно длинной и богатой необычайными событиями.

Что ожидает его впереди? Однажды в детстве он заплыл далеко в море. Море казалось спокойным, и он плыл, не оборачиваясь, глядя вперед и вперед, туда, где все на том же расстоянии тянулась линия горизонта. И вдруг линия эта начала колебаться, она исчезала и вновь появлялась — на этом мирном море оказались высокие, сильные валы, без барашков на гребнях, с берега их и не заметишь и не догадаешься о них, а вот тут эти волны накатывались и накатывались, чувствовалась огромная глубина. Он был один далеко от берега, и некого позвать на помощь.

Но он доплыл тогда до берега, хватило силы и выдержки. Только в руках еще долго оставалось воспоминание о волнах, которые он разрезал сильными взмахами.

Леночка болтала с женой Трегуба. Трегуб вставила свои замечания. Вдруг он поднялся и, вынув из кармана большие на тяжелой медной цепочке часы, промолвил:

— Мне пора на дежурство. Скоро двенадцать.

Шерстнев тоже встал с травы, на которой лежал.

— Я пойду с вами, — сказал он.

— А мы думали, вы спите, — удивилась жена Трегуба.

— Нет, что-то совсем спать не хочется. Леночка, ты меня не жди. Я могу поздно вернуться.

Леночка знала, что иногда ему хочется побыть одному; обычно это случалось, когда начинала мерещиться ему какая-то новая идея. Одиночество, действительно, бывало необходимо ему. В одиночестве он чувствовал себя иной раз больше среди людей, чем в толпе.

Трегуб говорил по дороге на станцию:

— У меня есть просьба к вам. Есть у меня некоторые недоумения по моему делу, хотел бы посоветоваться...

— Рад буду помочь, — ответил Шерстнев, — но ведь у меня не та специальность...

— Вы сразу мне сможете подсказать, — сказал Трегуб, и в тоне его были чрезвычайное уважение и уверенность в том, что этот столичный инженер все знает. — Я весь имеющийся в работе опыт учитываю, но есть вопросы. Только ли, к примеру, при маневрах можно за ухо сцеплять — для скорости?

Шерстнев улыбнулся.

— Об этом лучше спросите товарища Библикина. Я скорость люблю и всегда за ухо сцеплял бы.

— Может быть можно мне при вас с товарищем Библикиным побеседовать? — попросил Трегуб. — Завтра бы занял вас на несколько минуток.

— Пожалуйста. Можно утром. К вечеру ведь мы уедем.

— Большое вам спасибо.

Здание станции было обвито плющом, как все дома и домики тут. В летнем сумраке празднично просвечивала сквозь темную зеленую белизна стен. Было очень тепло, и тысячи запахов веяли в воздухе, как в большом саду.

Паровоз, пыхтя солидно и с достоинством, прошел на запасный путь, где длинной вереницей ждали его покорные вагоны и платформы.

Шерстнев долго гулял по полю, затем прилег на опущке роштыцы.

Небо раскинулось над дремлющей землей, без единого облачка, расчерченное четкими, серебристыми пунктирами созвездий. Но оно только при беглом взгляде казалось искусно расписанной и разграфленной картой. Вглядишься — и откроется огромная, нескончаемая глубина, в которую кинута вся эта мерцающая звездная сеть. Она уходила в великую неизвестность, еще не исчерпанную человеком, не открытую человеческим умом.

Небо звало к деятельности, а не к покою, как все неизвестное и неизученное зовет человека к действию, будит воображение и распахивает безграничные просторы перед душой.

Великая неизвестность жила вокруг, и Шерстнев, оставшись один под этим звездным небом, видел в ней очарование и смысл жизни. Только то, что еще не известно, привлекало его — так думал он сейчас. Он готов чертить контуры будущего, создавать чертеж будущей жизни, будущего человека. Какой-нибудь мост или кран — это детали, только детали в общей картине, но он будет счастлив, если хоть эта малюсенькая деталь удастся ему. Он — не гений. Он не может охватить все своим умом, немощь которого он познавал достаточно часто. Но он живет в гениальное время, на его глазах изменившее облик его родной страны, и он несет в себе черты этого времени и гордится ими.

В то же время мысли его приобретали плотность, вес, объем, в мозгу перемещались конструкции, возникали и рушились. Шерстнев глядел в небо. Это было небо его юности, которое еще в школе мучило, волновало и звало его, которым он наслаждался, как простором необозримой деятельности, еще только предстоящей, как увлекательной, все обещающей, но еще недочитанной книгой.

VI

Трегуб работал в полную меру своих возможностей, и труд доставлял ему громадное удовлетворение. Он вообще был доволен своей жизнью.

Было у него огорчение в молодые годы. Без семьи — что за человек, а он к двадцати девяти годам все еще ходил неженатый. Одна скажет «да», а потом смеется над ним с другим парнем. Другая как будто полюбит, а потом вдруг оттолкнет, да еще обидит на прощанье. Третья просто с первой же встречи отвернется со всей резкостью, какая бывает у женщины, которая не любит и знает, что и не полюбит никогда.

Он стал бояться женщин. Что-то в нем, видимо, есть непривлекательное, неприятное, чего он в себе не знал. Или девушки попадались все не те?

Так было до Анюты. Но вот он клад нашел в паровозном депо, девушку в замасленной спецовке.

Когда она обратила к нему свое измазанное личико, у него сердце перевернулось на всю жизнь. Она утверждала, что и с ее сердцем случилось так с первыми же тогдашнего на него взгляда.

Вот он подошел к паровозу, а она воит у колеса, свернувшись в комочек. «Ты, пареня, поскорей», — сказал он грубовато, подойдя и встав над этим синим замасленным клубком. И тут она повернула к нему свое востроносое личико и победила в тот же миг. Так он и остался стоять над ней неподвижно. Может быть минута прошла, прежде чем он, наконец, высказался. «Так ты, оказывается, не парень, а девка», — промолвил он. А она засмеялась и снова принялась за работу. Он уж и торопить не мог и сойти с места не мог. Дальше и объясняться особо не пришлось. Так они друг другу с первого взгляда обрадовались, словно старые товарищи, век не видавшиеся, встретились наконец.

«И за что ты меня полюбил? — удивлялась иногда Аня. — Такая я была вся грязная, еле отмылась после работы, вся маслом пропахла». Но он ее полюбил. Глаза-то у нее были чистые. «Ты — однолюб, — говорила иной раз Аня, — не во мне тут дело, а в тебе, в твоём характере. Я про таких в книгах читала». Она много читала книжек. самых разных, она была развитей его — он признавал это с гордостью. И она всегда так хорошо занимает гостей и так любит, чтобы командированные обязательно оставались у них.

Трегубу было приятно, что московские инженеры гостят у него. Умные, знающие люди. Аняте интересно, и ему польза. Аня всегда внушала ему, что нужно быть культурным и образованным.

Это или приблизительно это мелькало на дежурстве в голове Трегуба. Было часа четыре утра, и рассвет уже вернул всю пестроту красок разноцветным клумбам перед станцией, когда рокот множества самолетов прозвенел в воздухе. Сначала Трегуб не обратил на это внимания — «наши летят». Но тотчас же удивился: слишком много да и летят с запада на восток. С чего бы это?

И вдруг грохнуло где-то вблизи. Да нет — просто же вот тут, в окно видать, какой фонтан земли, дерева и огня выплеснулось метрах в сорока от станции. Здание станции дрогнуло. Что за чорт!

Трегуб подбежал к окну, еще держа в руках карандаш, которым он чертил ланию по графику. А за окном уже бесновались кроваво-черные вихри, сметая зеленый поселок.

— Диспетчер! Диспетчер!

Это хрипло и натруженно звал рупор на столе.

Трегуб вернулся к столу.

— Я — диспетчер.

Рупор кричал голосом начальника дороги:

— Фашисты напали на нас. Гоните составы...

Страшный грохот, какой-то хлюпающий звук, словно кто-то палкется и харкает, то ли крик, то ли стон — и ничего больше не слышно, кроме оглушающего грохота, от которого дрожит земля. Не только бомбы, но и артиллерийские снаряды рвутся вокруг станции. Дымом застлало поселок. Дым ползет в комнату.

Трегуб вышел в окно.

Пламя терзало крыши и стены домов, а снаряды все рвались и рвались, разрушая, поджигая, уничтожая. Да, это были снаряды уже, а не бомбы. Немецкие снаряды, в этом нельзя сомневаться. Что же это такое? А договор? Без предупреждения, без объявления войны?... О, если б сюда побольше пушек!

Трегуб бросился к составу с цистернами, который надо было угнать в первую очередь. Если вспыхнет горючее — то... Трегуб не хотел вообразить, что будет, если воспламенятся цистерны с горючим. По дороге он крикнул машинисту, бегущему к паровозу:

— К цистернам!

Тут он споткнулся и чуть не упал.

Он споткнулся о тело начальника станции. Толстенький человек лежал, уткнувшись лицом в землю, неестественно выпятившись и зажав обеими руками живот.

«Анюта, дети...» — мелькнуло в голове и на миг, только на миг, показалось, что это он заснул, просто заснул на дежурстве и заслужит этим самый строгий выговор.

В стороне от пути на откосе сидел, почему-то на корточках, дежурный по

станции, громадный мужчина непомерной силы. Схватившись за голову, он вскрикивал тоненьким бабьим голоском:

— Ай, что такое!.. Ай, что такое!..

Трегуб заорал:

— К цистернам! Живо!

Но тот даже не двинулся, не устояв, видимо.

Трегуб подскочил к нему:

— К цистернам! Тебе приказываю, Яков!

Яков поднял на него бессмысленные от ужаса глаза и сказал тоненько:

— Ай, что такое...

От неожиданности и страха он даже голоса лишился.

Трегуб, пригнувшись, наотмашь ударил его по лицу, так что у Якова голова мотнулась набок.

— Вставай! Убью!

Яков вскочил, и Трегуб пнул его в спину кулаком, толкая к составу с цистернами.

Машинист уже подвел паровоз. Он выгнулся из будки и крикнул:

— В порядке будет, Витя!

Трегуб взглянул на него с благодарностью. Он сейчас очень нуждался в поддержке и утешении.

Машинист был старый, на пятнадцать лет старше Трегуба, участник гражданской войны, силач такой, что даже Якова опрокидывал. Лицо его было изрезано суровыми и добрыми морщинами. Брови седыми лохмами висели над светлыми, пристальными, как у моряка, глазами.

Он двинул состав с цистернами на главный путь.

Трегуб пустился обратно к станции, но его остановил Билибин.

Билибин схватил его за плечо и ударил на месте. Большой, мясистый, он возвышался над диспетчером, как гора.

— Ваших Витю и Славу я отправил с соседями, с Краюшкиными, с друзьями вашими, — сказал он, и отблески пламени, пожиравшего домики поселка, играли в его выпуклых, неподвижно устремленных на Трегуба глазах.

Он отпустил плечо Трегуба, но теперь Трегуб взял его за локоть — движение, которого он не позволил бы себе час назад.

— А жену, Анюту с Катей? — промолвил он и тотчас же отпустил локоть инженера. Все на миг умерло в нем. Дрожь и холод прошли по его спине, потому что он понял, что сейчас его сразит непоправимая беда.

Билибин вновь взял его за плечо и, все так же прямо глядя ему в глаза, резанул со всей точностью и решительностью хирурга:

— Ваша жена и дочка убиты. Она схватила Катю на руки и побежала к вам. Крикнула: «Витя, Славу возьми». Она убита с Катей на пути к вам. Витя и Слава — в безопасности.

— О-у-э, — какой-то странный стон вырвался сквозь стиснутые зубы у Трегуба, и лицо его сморщилось как у ребенка.

Билибин продолжал крепко держать его за плечо, потом вдруг притянул, обнял и поцеловал. Затем отстранил и приказал:

— Возьмите себя в руки.

Трегуб стоял, склонив голову, схватившись пальцами за рукав кителя, облегавшего большое тело инженера. Надо шагнуть через эту пропасть. Шагнуть. Но разве это возможно? Рука инженера все крепче сжимала его плечо.

VII

Ни одной звезды уже не отыщешь в небе, вернувшись себе свой синий цвет, утреннее солнце встало над землей, пробуждая щебет и чириканье в зеленой листве, а Шерстнев все еще лежал в траве.

Догадка не пришла сегодня. Нет, не пришла. Это немножко похоже на трудные роды. Надо встать и пойти к Леночке. Но он лежал неподвижно, и конструкции продолжали перемещаться в его мозгу. Вот если б Барбашов видел его в таком состоянии, было бы ему над чем посмеяться.

Когда между ним и небом повисла, гудя и сверкая, крылатая громада, и он явно различил знаки свастикки, он не шевельнулся, только глаза его перестали мигать. Но когда, отрываясь от самолетов, полетели вниз как ненужный балласт первые бомбы и грохот первых взрывов ворвался в утреннюю тишь, тогда он вскочил и пустился к станции. Все, что он думал минуту назад, отошло сразу. Отпор возник в нем сразу, он устремился к действию, но прежде всего надо отослать отсюда Леночку...

Он повернул к поселку. Зачем она здесь, а не в Москве?... Скорей, скорей услыть ее...

Нестерпимо просвистела бомба, упавшая прямо на домик диспетчера. Дом рухнул, занавесившись лохматым, взброшенным дымом. Шерстнев был еще далеко, но его все-таки слегка шатнуло взрывной волной.

Пламя вырвалось из дыма, пожирая останки вчерашнего благополучия, и мысль о Леночке ударила Шерстнева сильнее взрывной волны. Он так явно увидел Леночку, словно это действительно она колыхалась там в кроваво-черном облаке, он ощутил ее всем своим телом, он увидел ее всю сразу, она заполнила его и весь мир. Ему даже крик ее почудился, ее отчаянный зов. Широко раскрытыми глазами глядел он на эту внезапную и злую гибель, затем кинулся к пылающим руинам.

Сухой жар опалил его, дым ел глаза, и слезы срывались с ресниц, но он вглядывался, вслушивался, звал. Никого. Ни звука в ответ.

Он побежал к мосту.

Мост был привычным рабочим местом в его жизни, и он стремился к нему, как к вышке, с которой он оглядит все и все поймет, овладеет собой. «Спокойней, — твердил он себе, — спокойней».

Состав с цистернами пятился с запасного пути, платформа за платформой, лязгая и грохоча, выкатывалась на главный путь. На один миг остановилось быстрое движение, затем паровоз потянул, дернулись платформы, и когда Шерстнев подбежал к железнодорожному полотну, состав уже мчался к мосту. Промелькнула последняя платформа, и два неподвижных человека открылись глазам, как резкий контраст стремительному бегу поезда. Это Билибин и Трегуб стояли меж путей. Шерстнев стремглав бросился, почти прыгнул к ним. Быстро глянув на пониженного Трегуба, он крикнул Билибину:

— Что это он?!

Билибин ответил:

— Жену с дочкой убило.

Значит, и Леночка не успела уйти...

Трегуб продолжал беспомощно держаться за рукав инженера.

Огромная сила сопротивления всякому горю, всякой беде поднялась в Шерстневе. Он обнял Трегуба, как брата, и обратился к Билибину:

— Что ж ты его на эти цистерны не посадил? Отправь его — что ж ты стоишь? Не видишь разве, что с ним такое?..

Трегуб поднял голову. Кажется, его как слабого ребенка хотят услыть отсюда. И вся прежняя гордость отличного работника возмутилась в нем. Он отстранился от Шерстнева и сказал:

— Есть приказ начальника дороги угнать составы. Я выполняю приказ.

Даже голос его изменился.

И он пошел, держась очень прямо, слишком прямо.

Билибин пояснял, как бы оправдываясь:

— Неизвестно, что он выкинул бы, если б узнал вдруг, случайно... Уж лучше сразу сказать. Уезжая, надо знать, что остается...

— Куда уезжая? — не понял Шерстнев, глядя вслед Трегубу. — Не рухнет, — добавил он. — Прокومانдует.

Трегуб уже распоряжаясь, выкрикивая приказы новым, недобрым, жестким голосом, и Шерстнев видел и слышал в нем себя, свое горе.

— Елена Васильевна ждет тебя, — продолжал Билибин, и Шерстнев дрогнул, шагнул к нему.

— Леночка?... Но дом... я сам видел...

И он так тряхнул Билибина, словно вся сила, освобожденная от борьбы с бедой, передалась его рукам. Такое у него было чувство, будто кто разжал сжимавшие горло пальцы.

— Она уже за рекой, — говорил Билибин, невольно шагнув назад. — Причем тут дом?..

Шерстнев почувствовал себя легким, почти воздушным.

— Идем! — воскликнула он и заторопил-ся к мосту.

Билибин говорил:

— Остальные женщины и дети уже уехали. — Он не сказал, что это он отправил их. — А Елена Васильевна в дрезине, в тупичке за мостом. Выведем на пути — и доберемся до города. — Он называл ближайший крупный железнодорожный узел. — Там начальник дороги, там будут дальнейшие распоряжения...

Белый китель его был зеленым — видно, не раз при близких разрывах Билибин ложился наземь.

— Кто у моста остается? — спросил Шерстнев.

Они спешили к реке, и Шерстнев смотрел на мост, по которому мчались утоняемые прочь составы. Поезда стремились на восток, и мост спасал их.

Немецкие налетчики уже прогудели дальше, а те, кто отбомбился здесь, повернули обратно за новым смертоносным грузом. Артиллерия сузила область обстрела — огонь сосредоточивался в районе поселка и станции:

Билибин говорил:

— У моста команда подрывников. Командир убит, но есть толковый сержант. Ты видел его вчера — Ведерников. Диспетчер угонит составы. Люди все расставлены, нам тут больше нечего делать.

Шерстнев вскрикнул:

— Нечего делать?

Но тотчас же сдержался, заявил кратко:

— Я никуда не уеду.

И остановился.

Он стоял перед Билибиным на низком, поросшем осокой берегу, расставив короткие ноги, небольшой, взъерошенный, чернявый, в синем помятом костюме. Упрямый вихор торчал на его макушке.

— Я приказываю тебе, — проговорил Билибин. — Не время спорить.

— Какого чорта! Не уеду — и все. Оставлять мост, когда мало ли что может быть... Если тебе плевать, то я все-таки строил его!..

Он не столько Билибина оспаривал, сколько себя, мучительное желание свое обнять Леночку. Нет, он не должен поддаваться ни горю, ни счастью. Счастье, как и горе, может ослабить его.

Билибин крикнул нетерпеливо:

— Я приказываю тебе итти на дрезину! Извольте выполнять распоряжения, товарищ Шерстнев!..

Это он впервые кричал на Шерстнева. Он вообще никогда не возвышал голоса.

Они стояли у реки, катившей меж зеленых отлогих берегов свои небыстрые воды, голубые, зеркально-спокойные в этот час. Этот кусок земли вновь стал мирным, и странно было видеть отсюда, как пылали жоселок, как металась по всему району станции черные фонтаны разрывов, и слы-

шать грохот и гром грянувшей внезапно войны. Билибин старался не глядеть туда. На этом мирном куске земли он стоял перед Шерстневым, непохожий на себя, побагровевший, и кричал:

— Приказываю тебе немедленно отправляться! Ну?!..

Даже толстый нос его стал красным. Шерстнев промолвил тихо и решительно:

— Так оставлять мост нельзя, Павел. Если взорвут зря или не во-время... Нет, я должен быть тут.

— Но ведь тут военные действия.

— Потому я и должен быть тут. Я — майор железнодорожных войск, хоть и в штатском пока. А уж этот мост я знаю как никто больше. Я лучше сержанта разберусь в обстановке.

Билибин не кричал больше. Он молча стоял перед Шерстневым, удивляясь тому, как уверенно этот инженер ставил себя выше специалиста-подрывника.

Шерстнев заговорил таким тоном, словно вопрос решен и можно уже не возвращаться к нему:

— Если Леночка будет рваться ко мне, вообще, если понадобится, ты скажи ей, что я уже уехал. Это проще всего. Словом, успокой и увози ее. Не забудь материалы наши в копии передать начальнику дороги. Состояние мостов при начале военных действий — это ты сам пони-маешь...

Билибин взглянул на него с изумлени-ем.

«Материалы?..»

И большое лицо его дрогнуло.

Разбуженный грохотом канонады, он выскочил из домика диспетчера без материалов, он не захватил их с собой, не распорядился о них. Он только крикнул Леночке:

— К дрезине за мостом!

Он отослал за мост всех женщин с детьми, потом побежал к станции... Он просто забыл про материалы. И действительно — все горит, рвутся снаряды, гибнут люди, внезапная война... Он забыл, и Шерстнев ему напомнил о них.

Билибин взглянул на пылающий поселек. Там, в пламени, все эти отчеты, акты, чертежи. Они уничтожены бомбежкой, пожаром. Они погибли.

А Шерстнев говорил:

— Так ты уезжай с ней. И успокой Леночку. В крайнем случае скажи, что я тоже уехал.

— Хорошо, — кратко ответил Билибин и пошел.

Мост стоял нерушимый, не поврежденный ни бомбами, ни снарядами. Метрах в пятидесяти вверх по течению возник уже объездной pontонный мост, возведенный саперами — параллельный железнодорожному и шоссе-ному, соединявшему берега тоже метрах в пятидесяти от железнодорожного, но только вниз по течению.

Эта скученность привела на память Шерстневу споры о наиболее целесообразном расстоянии между параллельными мостами. Как желанную гостью, принял Шерстнев сейчас эту техническую проблему. Он соглашался в общем, что пятьдесят метров, пожалуй, минимум возможной дистанции, при которой бомба с любой высоты не грозит двум мостам сразу и не облегчает прицеливания. Но так ли это?

Но ничто не грозило мосту. Немцы, видимо, и не собирались бомбить его. Ясно — враг намерен пройти по этим мостам, прохвываясь через реку на плечах наших войск. По этому железнодорожному мосту враг хочет гнать свои поезда, он желает использовать работу советских строителей, его, Шерстнева, работу, для уничтожения советской страны. Все страдания, весь труд Шерстнева, затраченный на восстановление этого моста, могут пойти на пользу врагу, могут быть нагло украдены немцами...

Так вот какое дело поручает ему первый час войны: уничтожить построенный им мост. Он простился с Билибиным у первого пролета и пошел к сержанту, оглядывая, как с вышки, зеленые отлогие берега, зеленые, еще не тронутые смертью пространства за рекой.

— Я — майор железнодорожных войск, — сказал он сержанту, — майор запаса и строитель этого моста. Я пришел вам помочь. Ваш командир убит?

Сержант Ведерников солидным голосом пояснил Шерстневу, где и как заложены взрывчатые вещества. Он говорил о возможном разрушении моста рассудительно, детально, лицо его, бурое от ветров и солнца, было замкнуто, только глаза, небольшие и светлые, напряженно и тревожно оглядывали знакомое мостовое хозяйство, обреченное на уничтожение.

Все-таки это было как во сне — ужели надо, вчера только проверив, сегодня взорвать этот стоявший столько трудов, измотавший нервы, прочно построенный мост? Да, ему предстоит впервые в жизни разрушить нечто, сделанное его руками, — не какую-нибудь неудачную постройку или старую рухлядь вроде домишка, где раньше жила Леночка, а превосходный мост, который мог бы еще больше двенадцати лет прослужить людям. Это было противоестественно — и это называлось войной, отличие которой от прежних, с первой же бомбы, сразу познал Шерстнев.

— Надо и опоры к чорту разбить. Я вам покажу сейчас, куда еще надо заложить...

Когда он строил этот мост, он не чурался и самой черной плотницкой работы. Теперь, когда он готовился разрушить его, он тоже был и инженером и чернорабочим одновременно. Он лазил к самой воде, карабкался по фермам, спускался и подымался, указывая, объясняя, сам де-

лая то, что нужно. Такими бывают старшие инженеры в железнодорожных батальонах — не администратор, не командир, даже не помощник по технической части, но совершенно необходимый консультант, в знания и авторитет которого все верят неуверенно. И когда работа была кончена, он сказал Ведерникову:

— Теперь все тут разлетится вдребезги, для восстановления ничего не пригодится.

Но удовлетворения не было. Опять давило грудь, словно кто сжимал горло злыми пальцами.

У станции появились фигуры людей, быстро перебегавших к реке, пользуясь каждым прикрытием.

— Готовься! — скомандовал сержант, и каждый боец тотчас же занял свое место. Пограничники, передвигавшиеся от станции, были уже совсем близко. Отстреливаясь, они делали перебежку за перебежкой.

Состав из нескольких паровозов и самых разнообразных вагонов и платформ вырвался с запала и пронесся по мосту, за ним промчался еще один смешанный поезд, где пассажирские и товарные вагоны, платформы — все было спутано, сценено, видимо, в величайшей опешке.

У въезда на мост стоял Трегуб с винтовкой и гранатами. До самых руин станции протянулась цепь железнодорожников. Их было немного, но на них можно было положиться.

— Танки, — шепнул Ведерников. Пронзительными глазами своими он первый разглядел идущую по низу тяжелую, изрыгающую огонь машину.

И вдруг случилось нечто неожиданное: захлопала из рожи батарея, и танк весь окутался дымом. Потом из дыма вырвалось пламя. Второй танк повернул к роже, за ним третий. Они шли быстро, непреклонно, неумолимо. Пограничники залегли метрах в пятидесяти от моста. Четвертый танк, продолжавший свой путь к реке, вдруг вспыхнул, и до моста донесся негромкий звук.

— Гранатой... пограничник... — шепнул Ведерников. Он был в крайнем напряжении и все поглядывал на Шерстнева. Уже не минуты, а секунды отсчитывал мозг Шерстнева. Все было отброшено, все забыто — надо только точно определить миг, когда мост должен взлететь на воздух.

Глядя на неповоротливых страшилищ, бездумно шедших уничтожать, истреблять, сокрушать, Шерстнев вспомнил вдруг марсиан Уэллса. Но эта мысль мелькнула и пропала тотчас же.

Зенитная батарея была по танкам почти в упор. Второй танк горел. Третий повернул назад.

— Мост-то, может, и не взрывать? — промолвил тихо Ведерников, лежавший в прибрежной оспе рядом с Шерстневым,

и Шерстнев понял, что сержант только недавно сменил прозодежду техника на военную форму.

Уже не шли больше поезда. От рощицы отделилась и понеслась к шоссе к мосту срывающаяся со своих позиций батарея. Коня мчались по полю, таща за собой орудия. Пограничники, пригибаясь, уже переходили мосты. С ними уходили и железнодорожники.

Батарея проскочила через шоссе к мосту.

Пламя рвануло по его деревянным строениям, и глухой стук донесся до Шерстнева — работа другой группы подрывников. Сейчас и понтонный мост будет снят саперами. Пограничники уже отошли от железнодорожного моста на необходимую дистанцию.

Шерстнев обратился к Ведерникову:

— Пора.

И тот дал команду.

Мост разорвало с грохотом, мучительно отдавшимся в душе.

Когда рассеялся дым, один из подрывников, поднявшись с земли, воскликнул:

— Что же это такое сделали мы!..

— Не мы сделали, — отозвался Шерстнев. — Немцы сделали. Ложитесь!

Во весь рост лучше было здесь не подыматься, этот берег стал передним краем обороны. Шерстнев подполз к реке.

Пролетные строения были разрушены так, что для использования больше не годились. Металлический и деревянный хлам валялся по откосам берегов, искалеченными, обрубленными концами своими цепляясь за песок и траву. Теперь надо все строить заново. И наметка нового чертежа привычно мелькнула в мозгу инженера. Но никогда не испытанное им чувство, что восстанавливать нельзя, поразило его режущей болью, слившейся с горестным восклицанием бойца.

— Немцы сделали, — повторил Шерстнев.

Он молча глядел на разрушенный мост, как на дорожного покойника. Дымились обломки деревянных частей, торчали из успокоившейся после взрыва реки мертвые куски металла.

Артиллеристы, подкатив, устанавливали орудия в ближних кустах. Когда они зенитками расстреливали танки, то невольно представлялись Шерстневу какими-то сверхлоудными, невиданными богатырями. Но это были обыкновенные люди, запыленные, угрюмые, и один крикнул другому:

— Чего уставился? Чего не видал? Ломай сучья, тебе говорят...

Группа железнодорожников залегла на берегу вместе с пограничниками. Шерстнев увидел Трегуба и окликнул его:

— Виктор Николаевич!

Тот обернулся и тотчас же отворотился, продолжая лежать с винтовкой в руках.

— Виктор Николаевич! — повторил Шерстнев. — Надо уходить.

Утром он был Шерстневу брат по несчастью, но беда, миновав Шерстнева, сразила только Трегуба, и Шерстнев мучился жалостью и незнанием как помочь.

Лодка качалась у берега на взбурдаженных волнах. Это была широкая плоскодонка, сброшенная при взрыве в воду — то ли снесло корягу, к которой она была привязана, то ли веревку срезало. Внимание Шерстнева привлекли усилия того и длинного железнодорожника на берегу, который, нагнувшись, зацепил конец веревки крючковатыми своими пальцами. Железнодорожник напрягся изо всех сил, стараясь подтянуть лодку. Веревка натянулась, но тяжелая, нагруженная какими-то сундучками лодка не поддавалась.

Немцы еще не обстреливали этот берег. Но первая же пуля снимет этого упряма. Когда Шерстнев прибежал на помощь ему, веревка уже надорвалась. Он схватил валявшийся рядом багор и сунул его длиннорукому железнодорожнику.

— А ну-ка!

Сам он, как противовес, удерживал железнодорожника, ногой и рукой зацепившись за свежую пахучую иву.

Общими усилиями они подтащили лодку.

Железнодорожник стал выгружать сундучки.

— Пронесем, — проговорил он, — Зачем добро бросать? Специально перевезли.

Шерстнев поднял багор.

Станным образом этот багор вернул его на миг в сегодняшнюю звездную ночь, последнюю мирную, предвоенную ночь.

Но это длилось только секунду или две. Затем он отшвырнул от себя багор и обратился к Трегубу:

— Вы обязаны привести своих работников на узел!

Трегуб поднял голову, и Шерстнева ожгло отчаянием и яростью его взгляда. И он подскочил к Трегубу, он поднял его, он вновь обнимал его, как брата, он повторял:

— Крепись, крепись, дорогой! Мы все, вместе, мы из них сматку сделаем!..

И он повел Трегуба к шоссе.

Они двинулись по шоссе — подрывники, железнодорожники, инженер, они шагали в пыли молчаливо и угрюмо.

В километре от моста, на повороте шоссе, они увидели грузовик, вокруг которого бегал какой-то огромный человек в потрепанном, испачканном пиджаке и полосатых брюках, неряшливо выпущенных поверх высоких сапог. Одна штанина задралась выше колена. Трегуб метнул на него взгляд и узнал Якова, дежурного по станции. — Тот сменил свою железнодорожную форму на штатский костюм.

Замахнувшись винтовкой, Трегуб кинулся к нему.

— Сволочь! — заорал он. — Ага!..

Шерстнев удержал его.

Яков, всхлипывая, бормотал тонким, бабьим голосом:

— Танки ж... танки ж кругом... Убивают...

И, отчаявшись сдвинуть машину, вдруг полез под нее.

Один из бойцов засмеялся.

Было так странно услышать сейчас человеческий смех.

Но это был недобрый, угрожающий смех, и к нему присоединились все, даже серьезный Ведерников раскрыл рот в недобром оскале.

Якова вытащили из-под грузовика, и он стоял в кругу бывших своих товарищей, озираясь и бормоча:

— Убить могут... Не хочу я... Ай, что такое...

И вдруг он кинулся к Трегубу. Он вопил плачущим голосом:

— Это ты все!.. Состав сцеплять заставлял!.. Составы гнал!.. Зачем гнал? Что теперь немцу скажем? Какое нам оправдание?..

И тонкий голос Якова оборвался. Яков как бы задохся пулей, пущенной в него Трегубом. Выпучив глаза, в которых остановилось выражение смертного ужаса, он ружьном наземь.

— Наша машина, — сказал Трегуб, сунув назад в карман и перехватив винтовку из левой руки обратно в правую. Он немножко как бы успокоился, застрелив мерзавца. — Эта падаль видно и угнала. Только вот в канаву заехал, торопился... А ну-ка, братцы...

Дальше они двинулись на машине. Правил Шерстнев.

Трегуб, уместившись возле него, промолвил:

— Анюту с Катей убило.

Он проговорил эти слова ровным, мертвым голосом. Но лицо его дернулось в судороге.

Все сливалось в одну страшную, мучительную боль. Эту боль надо передать врагу, умножив во сто крат. Больше ничего не занимало Шерстнева, он был весь сосредоточен на этом чувстве. Он только тронул руку Трегуба, погладил ее. Странный стон опять вырвался сквозь стиснутые зубы диспетчера.

Шерстнев то и дело тормозил, сворачивал, заезжал на обочину шоссе, пропуская идущие навстречу орудия, танки, пехоту. Это были передовые части, рванувшиеся навстречу боям, и зарево пожаров, зажженных врагом, торопило их мощный поток.

— Я на бронепоезд пойду, — сказал Трегуб, и скупыми строчками отцовских писем, писем девятнадцатого года, повеяло на Шерстнева от этих слов.

Город вдруг возник впереди, чуть толь-

ко кончился лес. Веселые домишки в зелени и вишневых садах побежали навстречу. Они были жалостно освещены вечерним светом. Шерстнев удивился, что уже вечер...

Зелень поредела. Каменные здания встали, как часовые, над мирной толпой укутанных зеленой, пороселью строений. Разноязычный, встревоженный говор колыбался и трепетал по улицам, и когда Шерстнев остановил машину у красного кирпичного здания железнодорожного управления, сразу же стеснились вокруг люди, хватая за локти, за плечи, не пропускающая к подъезду:

— Как там?.. Где немцы?.. Много их?..

VIII

Война сразу вошла в душу, и навстречу ей поднялось все самое затаенное, сбереженное, неизрасходованное. Леночка не вскрикивала, не всплескивала руками, только все сжалось и напряглось в ней. Она как бы не понимала, что вот тут, где забрызганы кровью края ворожки, убила Аня, женщина, с которой она вчера еще так мирно болтала, и эта смешная круглоглазая девочка. Вот сейчас, в дыму и пламени, в громе и лязге, придет решение судьбы. Где Коля? Где он?..

Она осталась одна в вагонетке дрезин, и реальность медленно возвращалась к ней. Она не хотела знать ее, она как ребенок отталкивала весь этот ужас, ей хотелось убежать во вчерашний день, когда все было так хорошо — но события неумолимо тащили ее. Она не могла сдержать дрожь, все трепетало в ней, ей стало холодно, почему-то заняли плечи, как в ревматизме. Необычайным храбрым показалась ей какой-то огромный мужчина, который вот там под откосом вскопал в кабину грузовика и погнал к шоссе. Он способен двигаться, действовать... Ему что-то кричал след и даже побежал за машиной человек в короткой засаженной куртке. И вдруг упал. Земля вскинулась близ него — и он упал. Упал и не поднимался больше. Она, не мигая, глядела на него, она ждала — почему он не поднимается на ноги? И вдруг взвизгнуло за спиной, зазвенело стекло и стукнуло что-то в стенку, словно озорник камнем бросил. Она вмиг обернулась — черный фонтан оседал, расплывался, серел.

Она кинулась на пол, забрызганный стеклом, и, охватив голову руками, лежала так. Да, на ее глазах осколком снаряда убило человека, а осколок другого снаряда чуть не убил ее. Она лежала на полу и ни о чем не думала, ничего не соображала. Страх пронизал ее всю, не оставив места никакому другому чувству.

Тихо стало вокруг, тяжкий, раскатывающийся грохот разрывов отдалился от

грезины — а она все лежала еще, закрыв лицо руками.

Но вот в какой-то клеточке мозга возродилась жизнь, начала расти и шириться, заставила её сестр, потом встать. И наконец возник стыд. Она — трусиха, она опозорена навеки.

Жизнь с двойной силой вернулась к ней, и мозг уже заработал, придумывая оправдания. Что собственно она совершила позорного? Она легла на пол — но так приказал ей поступить Билибин, если снаряд грохнет вблизи. Она ведь не убежала, не угнала машину, как тот, кто умчался к шоссе. Она осталась на том месте, на которое поставил ее Билибин. Нет, ничего постыдного не случилось. В конце концов, это же первое — и притом такое внезапное — боевое крещение. Она больше не испугается.

Встав на ноги, Леночка принялась подметать засыпанный битым стеклом пол. Она прибирала тщательно, как у себя дома, взяв какую-то тряпочку, лежавшую у мотора, и намостав ее на железную палку, стоявшую в углу. Почистив вагонетку, она поставила палку на прежнее место и бросила тряпочку назад — туда, где она была. Она не понимала, что в этих движениях она ищет спасения от новых приступов страха.

«Почему Коля так долго нет? — подумала она о муже, словно он просто на службе задержался. Тревога овладела ею. — Почему он ушел вчера с диспетчером? Почему сказал, что может быть заночует на станции? Он наверное что-то подозревал недоброе. Теперь он наверное бьет там, откуда доносится глухая канонада. Он может быть давно уже упал и лежит, как вот этот человек в засаленной куртке, сраженный случайным осколком». — Ужас, рожденный воображением, возвращался к ней...

Голоса слышались за окном, отворилась дверца, и большое тело Билибина вошло в вагонетку. За ним вошел водитель.

— Где он? — спросила Леночка оборванным голосом.

Не отвечая, Билибин приказал занявшему свое место водителю:

— Езжайте.

Дрезина, выйдя из тупика, помчалась по рельсам, все ускоряя ход. Вагонетку шало и мотало, и ветер врывался в разбитое осколком окно, трепал волосы и бил в лицо, и зелень мчалась за окном, и сильнее небо источало тепло и свет. Все, как тогда, когда они ехали сюда — и все совершенно другое.

Билибин сидел на скамье, склонив голову на грудь. Его грузное тело покачивалось в такт толчкам вагонетки. Его белое бритое лицо было темным, нос его висел почти на уровне широко расставленных толстых плеч. Иногда его так встряхивало, что он подпрыгивал, как мешок, а затем вновь

глядя себе под ноги, словно груз одолевших его мыслей тянул его голову к земле.

— Где Коля? — вскрикнула в отчаянии Леночка. — Почему вы без него?.. Куда вы меня везете?

Билибин сразу разогнулся быстрым и неожиданно-гибким движением.

— Я хочу быть с ним! — требовала Леночка.

— Он уже уехал, — ответил Билибин. — Простите, я даже забыл сказать вам. Он уехал, в безопасности.

— Без меня? Один уехал?

— Было одно срочное поручение. — Билибин запнулся. Он ничего не мог придумать. — Одно поручение, — повторил он, продолжая думать о своем, и вновь голова его склонилась книзу.

Ему не нужна была сейчас эта удивительно привлекательная женщина. В ее глазах, освещающих тонко-выразительное лицо, одно чувство мгновенно сменялось другим. Но не до нее сейчас. Он видел упорного мальчика, выросшего на глухой железнодорожной станции. В семье стрелочника, он видел медленно пробивающего себе путь человека, живущего по графику, вычерченному еще на студенческой скамье. Эта жизнь была отдана работе, она шла вверх и вверх — и вдруг ржавые потеки залили ее, обнаружился изъян, трещина. Жизнь рухнула. Выход был только один — трюно и просто сказать всю правду о гибели материалов. Не так это страшно. Не надо преувеличивать. Но голову его клонило все ниже и ниже. Впервые он испытывал страх и стыд провинившегося работника.

Леночка тоже молчала.

Она не понимала. Как? Он уехал без нее? Он даже не простился с ней? Он не позаботился о своей жене, бросил ее под таким страшным обстрелом? Это было слишком чудовищно, слишком неправдоподобно, это просто никак не вязалось с ее представлением о нем.

Билибин молчал. Нечего его расспрашивать. Он будет повторять одно и то же. Какое поручение?.. Она полюбила этого маленького, черного человека, она привыкла к нему — а он, кем он оказался?.. Она как бы оцепенела, все остывало, застыло в ней...

Шерстнев по приезде в город прежде всего явился к начальнику дороги. Он вошел быстрым шагом и подчеркнуто-официально доложил:

— Разрешите явиться. Инженер Шерстнев. Задание по взрыву моста...

Начальник дороги перебил:

— Благодарю вас. Знаю. Есть приказам с товарищем Билибиным направиться в Москву. Но вас я немного задержу, я согласовал, потребует ваша помощь.

Это был старый железнодорожник, сучковатый, черноусый, с остриженной ежи-

ком острой головой и острым взглядом узеньких глаз.

Он встал, пожал руку Шерстнева и повторил:

— Благодарю вас.

Подержал руку, и, не выпуская ее, добавил:

— У меня есть донесение. Вы ведите себя прекрасно.

Он отпустил руку Шерстнева, продолжая глядеть на него добрым взглядом.

Он сказал:

— На нас, железнодорожников, возложена сейчас громадная ответственность перед родиной... До свиданья, товарищ Шерстнев. Прошу вас через час явиться ко мне. Отдохните.

Теперь надо найти Леночку, если она не уехала. Билибин, конечно, знает, где она. Но Шерстнев, обойдя все этажи, нигде не мог выяснить, куда делся Билибин. Никто не знал инженера Билибина, только секретарша начальника дороги сказала, что он скоро должен быть.

— Ему приказано доставить материалы обследования, он обязательно будет. Я и то удивляюсь. Неужели копии нет, а только один экземпляр?

Шерстнев удивился:

— Есть же копия.

Секретарша ответила:

— А товарищ Билибин сказал, что нету, что он посмотрит, но, кажется, нету.

Шерстнев недоумевал. Что такое случилось с таким точным всегда Билибиным?

Он вышел на вечернюю улицу.

Толпились, бежали, переговаривались люди. Выезжали со дворов телеги и тележки, груженные узлами, чемоданами, мешками. Мужчины наскоро прощались с женщинами. Слышался плач. Где Леночка?

И вдруг Шерстнев увидел крупную фигуру Билибина. Тот нес леночкин чемодан, а Леночка в своем синем макинтоше шла рядом. Шерстнев бросился к ним:

— Леночка! Леночка!

Они остановились.

— Товарищи! — командовал кто-то позади. — Давайте организованно! Товарищи, которые в военкомат — организованно!..

У подъезда двухэтажного домика старая женщина плакала, уткнувшись лицом в грудь высоченного парня. Тот уговаривал:

— Не плачь, мамуся, не плачь. Разве можно теперь плакать?..

Шерстнев подбежал к Леночке.

Билибин стоял, нагнув голову, как бык на бойне. Он решил сознаться в своем проступке только в Москве, здесь никто не знает его и поймут неправильно. Леночкин чемодан утяжелял его мрачные мысли — женщина плаत्या свои вынесла, а он государственную ценность бросил. В Москве он все объяснит. В конце кон-

цов он подчинен Москве. Так он решил — а теперь Шерстнев может тут же на месте изобличить его.

Леночка тоже не выразила радости при встрече с мужем. Она как-то странно посмотрела на него, по-птичь, сбоку, и сказала:

— Ты давно тут? Ты едешь с нами?

— Немножко задержусь, — отвечал Шерстнев. — Боялся, что и проститься не удастся. Павел, тебя ждут у начальника дороги, материалы ждут. Что ты напутал, что копии нету? Леночка три копии снимала.

— Они тут, — очень деловито сказала Леночка. — Я их положила к себе в чемодан.

Глаза Билибина выразили вдруг необычайный восторг.

— Где? Где? — спрашивал он, ставя чемодан на тротуар. Он задыхался.

— Вы приказали мне идти на дрезину, — объясняла Леночка, — ну я уложилась и пошла. Макинтош я надела на себя, а в чемодан положила все бумаги.

Она говорила с некоторым даже раздражением, не понимая, что это такое делается с мужчинами. Она — трусиха, ничего не скажешь, — но почему один мужчина уехал, бросив ее, а другой теперь встал посреди улицы на колени и попытается раскрыть чемодан...

Билибин вынул материалы.

— Вот! — говорил он с непонятным никому восторгом, утратив обычную сдержанность. — Вот передай, пожалуйста, — протягивал он Шерстневу. — Я только посажу ее и приду.

— Нет, ты должен ехать, — ответил Шерстнев. — Есть приказ. А меня начальник дороги задержал, он согласовал. И так — до Москвы. Я очень рад, что ты так спокойна, — обратился он к Леночке. — Павел тебе передал где я?..

— Передал.

И она снова странно, сбоку взглянула на него.

— Так и знал, что не скроет. Ну ладно. Ты не сердись, между прочим, что я даже к дрезине не подбежал. Ни секунды. Война.

И он потер рукой щеку.

— Война. Так все это внезапно. Ждали — а все-таки внезапно. Идите, Павел, посади как следует.

Билибин продолжал пребывать в непонятном восторге.

— Довезу! Довезу! — гудел он, не останавливаясь больше на том, чтобы явиться к начальнику дороги.

Шерстнев поцеловался с ним, потом с Леночкой. Леночка чуть тронула его щеку губами и прищурилась, как бы ища в нем какой-то разгадки.

— Какое у тебя было поручение? — спросила она.

— Да вот то самое — взорвать мост.

Он один среди их троих был открыт

настежь, без тайн, хитростей и подозрений.

— Взорвать мост?

— Ну да, Павел же тебе говорил. Леночка, дорогая, уезжай, у меня душа не на месте. Когда я увидел, что бомба прямо в дом... Уезжай. Тебе-то уж тут совсем делать нечего. Каждую минуту может быть налет, обрыв путей, все что угодно. Словом — уезжай.

Он притянул ее к себе и поцеловал.

— В армию вместе пойдем, — сказал он. — Береги ее, Павел, в дороге.

Он снова поцеловал ее, и она ответила ему уже не так, как в первый раз. Он был таким, каким она привыкла видеть его. Не может быть того, что сказал Билибин. Неправда.

Павел проявил большую расторопность при посадке, и они оказались в купе проводника. Они двое — и больше никого.

Леночка в упор взглянула на него.

— Где был Коля, когда мы уезжали? — спросила она резко. — Какой мост он взрывал?

Билибин ответил, снимая сапоги, чтобы забраться на верхнюю полку:

— Николай остался взорвать мост, вот тот самый. Я ему приказывал идти вместе со мной, но он не подчинился. Я мог бы подать на него рапорт, но не сдеаю этого. Уж такой он недисциплинированный. Не переучишь.

— Значит, вы соврали?

Билибин сидел перед ней, увесистый, тяжелый. Он молчал. Он не стал объяснять ей, что так просил Шерстнев — это было бы жалко и недостойно. К нему вернулись все его прежние свойства. Он совершил ошибку и учтет этот опыт. Больше таких случаев у него не будет.

— Боже мой! — восклицала, Леночка, всплескивая руками. — Ну как вам не стыдно. Как могли вы такое выдумать про Колю? В такой момент!

Билибин отвечал спокойно:

— Вас надо было успокоить. Вас надо было увезти. Понятно?

Она, секретарь, подчиненная ему, могла сейчас позволить себе все по отношению к нему — любую брань, любую истерику. Он снова стал справедливым. Она спасла ему репутацию. Неизвестно, как обернулось бы дело с материалами, если бы не она. Она не знает, как он благодарен ей, каким великолепным работником считает ее. Она — лучший секретарь, он умеет разбираться в людях и правильно расставлять их.

IX

В назначенный час Шерстнев явился к начальнику дороги, и тот сказал ему:

— Мы эвакуируем узел. Я просил Москву оставить вас на помощь нашему ремонтному заводу. Есть срочность, и та-

кой специалист, как вы... Уж если вы тут оказались, поможете нам. Сроки погрузки вам укажет директор завода, вас проведут к нему.

Директор завода, приземистый усач, широкий в плечах и груди, с любопытством поглядывая на Шерстнева, кратко изложил ему план эвакуации завода, затем добавил:

— У нас есть в ремонте краны, я вас в особенности прошу приглядеть за ними. Крановое хозяйство для вас — свой дом, я знаю ваши работы, хоть сам и не крановик по специальности.

Он и не подозревал о желчных нападениях Шерстнева на общепринятые системы — в печатных своих работах Шерстнев был куда сдержанней и объективней, чем в устных рассуждениях.

Рабочие бережно укутывали станки и осторожно устанавливали на платформы. Все эти металлические создания человеческого труда и таланта были, любимы ими, как живые существа, и не случайно давали они им веселые человеческие прозвища. Шерстнев и сам всегда испытывал нежность к этим друзьям и помощникам человека. Но сейчас он, как заспущенного добросовестного труженика, уважал и вот этот локомотивный кран, стрелу которого тщательно и любовно укладывали под его присмотром рабочие на вспомогательную двухосную платформу. «Чего я обижал этого славного старика?» — думал он. Это был большой старый кран, пострадавший на работе, и Шерстневу хотелось заботливо укутать его.

По главным путям один за другим проходили поезда, перегруженные людьми, лязгало железо, гудки и свисты тревожно резали воздух, — а тут, в тупичке перед серым большим корпусом, напряженно работали люди, ставя цеха на колеса.

Стрела локомотивного крана удобно легла на козлы, установленные на платформе, и ее окружали канаты, домкраты, ключи и прочее имущество. Шерстнев поглядывал на тросы, и батор мелькнул в его памяти. Для мостовых ферм нужен специальный кран... В сущности поиск этого специального крана и заслонили в его сознании все достоинства обычных систем. Отирая черные руки тряпкой, подошел мастер. Шерстнев вдруг обратился к нему:

— Нужен кран ограниченного действия — только для мостовых ферм. А для других дел и такой кран хорош!

— Немного ремонту осталось, — не понял мастер. — На новом месте доработаем — хорош будет.

Странно, первым его делом в войне было разрушение отличного моста, построенного им, вторым — спасение кранов, на которые он нападал недавно с такой яростью. Все наоборот. Предвоенные труды и мысли по-новому возвра-

щались к Шерстневу, война преображала их, но не отвергала никак.

Шерстнев уехал вместе с заводом. Пути были загружены шедшими на восток поездами, навстречу которым шли воинские эшелоны. Диспетчерам приходилось трудно, как никогда. Длинный состав с оборудованием завода часто останавливался. На одной из таких остановок Шерстнев вышел из служебного вагона, где ему предоставлено было купе, в шумную толчею перрона. Начальник эшелона говорил какому-то высокому человеку в мягкой шляпе и новенькому макинтоше с чересчур широкими, прямыми плечами.

— Нельзя, гражданин. Поймите, гражданин, что эшелон — специального назначения.

Но гражданин ничего не хотел понимать. Он настаивал, горячась:

— Я должен быть в Москве. Неужели вы, инженер — ведь вы инженер? — не можете поверить писателю? Вот мой документ...

И он совал начальнику эшелона какую-то маленькую черную книжечку. Лицо его, желтое, нездоровое, несколько рыхлое, показалось Шерстневу знакомым. Писатель, нагнувшись, поднял с перрона чемодан и решительно двинулся к вагону.

И тут он увидел Шерстнева.

— Товарищ Шерстнев! — воскликнул он. — Вы меня знаете... — Он назвал свою фамилию. Это был тот самый редактор издательства, который уговаривал Шерстнева написать фантастическую повесть «Мост через Арктику». — Товарищ Шерстнев! — взволнованно говорил он, все еще размахивая своим членским билетом, — Меня не пускают в этот поезд. Я тут был в творческой командировке, мне нужно вернуться в Москву... Я ни в один поезд не могу попасть...

Шерстнев обратился к начальнику эшелона:

— Разрешите посадить товарища писателя ко мне в купе, я знаю товарища...

Начальник эшелона пожал плечами.

— Если вы хотите, пожалуйста, — и отвернулся.

Шерстнев увел писателя к себе.

Поезд уже тронулся, а писатель все еще волновался, доказывая, что никакого вреда оборудованию завода он причинить не может, что это прямо нонсенс.

— Нонсенс! — воскликнул он. — Абсурд! Я ему документ показываю, членскую книжку — а он, как уперся!

Это был, видимо, очень нервный человек.

Наконец он успокоился немного и вспомнил, что надо поблагодарить Шерстнева. Он стал благодарить его так горячо, что тот перебил:

— Писали здесь?

Писатель махнул рукой.

— Все отложу. Сразу теперь пойду в газету, на радио... А вы? Я вот завидую инженерам, у вас такое ясное дело в руках...

Шерстнев усмехнулся.

— Ну, это вы, между прочим, переключаете нас. Какая там ясность, что вы... Но вы наверное устали, займите верхнюю полку, ехать будем долго. Состав направлен не в Москву, но по дороге переседем.

Писатель взобрался на верхнюю полку, растянулся там и закрыл глаза.

Когда он проснулся, Шерстнев сидел у окошка и что-то в полумраке записывал и чертил.

— Где мы? — спросил писатель.

— Все там же, — ответил Шерстнев, не подымая головы, — там же, где вы заснули.

— Что вы говорите? — удивился писатель.

— Не волнуйтесь, — отозвался Шерстнев, с нервными людьми он всегда был удивительно хладнокровен. — Движением мы с вами не ведаем, ускорить все равно не можем. Только вот темно писать, света нет.

— А что вы пишете?

При этом писатель тяжело спрыгнул вниз и сел рядом с Шерстневым.

— Кран, — ответил Шерстнев, — подъемный кран.

Глаза его глядели сердито и обиженно.

— Как? Уже не мосты?

— Кран имеет самое непосредственное отношение к мостам, — ответил Шерстнев.

Писатель спросил:

— А как это?.. Сейчас ведь все только для войны... Вы знаете, все-таки сознание отказывается принимать...

— Без крана вы мост не постройте, — перебил Шерстнев, думая о своем. — Кран подымает и ставит мостовые фермы на опоры. Это тот силач, который помогает нам подымать такие тяжести, которых ни один человек с места не сдвинет. Но этот силач еще очень неуклюж и неловок, надо этого растяпу обрывать, развить его мускулы, сделать так, чтобы работал он легко и просто.

— Вы хотите создавать гиганты? — сказала писатель.

Но Шерстнев не очень склонен был сейчас к фантастическим образам. Он ответил:

— Фантазировать о мосте через Арктику или о чем-нибудь таком легче, чем сочинить подходящий кран. В условиях войны железнодорожный мост получает огромное значение для переброски войск, снабжения фронта и так далее. Сейчас пришлось нам кое-что разрушить, затем немцы, отходя, будут уничтожать... Нам необходимо иметь все для быстрого и хорошего восстановления мостов при на-

ступательных операциях, кран нужен как хлеб.

Эти слова «для наступательных операций», произнесенные спокойно и уверенно, внушили писателю большое уважение к собеседнику.

— Кран нужен как хлеб, — повторил Шерстнев. — Вы видели, конечно, краны?

Писатель запнулся:

— Да... Это — в порту? Лебедки, такая штука... веревки, на которых груз...

— Веревки? — усмехнулся Шерстнев. — Вы говорите о тросах... Веревки... — Эта ошибка была почему-то интересна ему. — Веревки, — повторил он и оживился. — Вот вы поймите, что я ишу. Я технику отброшу, ее быстро не разъяснишь, хотя она, между прочим, очень проста. Я постараюсь говорить результативно. Возьмем локомотивный кран. Я вам начерчу его. Эта самая «штука», как вы выразились, называется у нас стрелой. Вот опоры... впрочем, все равно ничего не видно. Словом, стрела несет на тросах пролетное строение для установки на опоры, и вылет ее для успешной работы должен быть равен по крайней мере половине длины этого пролетного строения, зазор не будем считать. Но при таком вылете должен быть точный расчет, чтобы кран не опрокинулся. Вот вам и затруднение. Максимальный вылет стрелы у локомотивного крана грузоподъемностью в 75 тонн только девять с половиной метров, это мало. Вот вам в грубых чертах первый недостаток и локомотивного и других кранов — недостаточная мощность, полезный вылет стрелы мал. Второе — громоздкость, сложность самой конструкции, установки ее, третье — чрезвычайная сложность манипуляций... Вот и мучаешься. В помощь идут все печатные работы, весь практический опыт, все что-то впитываешь в себя — вот человек интересно разогнулся, или багор лучше веревки подтянул тяжесть... У меня в записной книжке разные заметки, записал однажды «консоль фермы», а потом никак не соображу, для чего записал, что такое при-
виделось...

Писатель закивал головой:

— У меня в блокноте тоже есть такая записи — «длинный нос», какой-то сюжет мелькнул, связался с этим длинным носом, а какой — так потом и не вспомнил. Это бывает.

Шерстнев продолжал:

— А вы говорите — ясное дело. Между прочим, консоль фермы похожа немножко на длинный нос. — Он помолчал. — Я верю в колумбово яйцо, и в яблоко Ньютона... А вы говорите — ясное дело... Ясное дело — восстановление по-старинке...

Писатель сказал:

— Значит, у вас так же, как и в нашем деле? Я, конечно, мало что смыслю в механике. Но вот что иногда приходит мне в голову. Мне думается, что чело-

веческое воображение — самая мощная сила в мире. Если превратить его в энергию, материализовать создания человеческого воображения, то чорт его знает что получилось бы, вся ваша механика полетела бы к чорту...

— Мое воображение скромней, — отозвался Шерстнев. — Я инженер-практик, мое воображение направлено на разгадку законов природы, на применение их в конструкции, потому пойду сейчас в армию, в прорабы, фронтовая работа лучше подскажет решение, чем в кабинетах. Да все равно не смогу я сейчас усидеть в кабинете...

— Что это такое? — воскликнул вдруг писатель.

Голубовато-зеленое, мертвенное сияние вырвало из мрака за окном вагоны поезда, стоявшего на соседнем пути. Фантастическим светом засветилось небо. Тревожно кричали гудки.

— Осветительные ракеты, — сказал Шерстнев. — Простите, я должен вас покинуть, обязанности... Вы нигде не выходите, держитесь с проводником... — Он потер щеку рукой. — К сожалению, предохранить вас не могу ни от чего, налет есть налет.

И он ушел.

Вернулся он только тогда, когда стих рокот немецких моторов и грохот разрывов. Пламя зажженных врагом пристанционных строений полыхало в небе. Писатель неподвижно стоял у окна. Он резко обернулся к Шерстневу.

— Страшно было? — спросил Шерстнев.

— Мерзавцы! — ответил писатель. — Как они ворвались в нашу жизнь! Они ворвались, как эти бомбы в наш разговор...

— В нашем эшелоне трое убитых, одиннадцать раненых, — отозвался Шерстнев. — Ребенок один убит... — Он воскликнул: — Первый раз в жизни я досаую, что делаю мосты, а не пушки, не автома-
ты, не бомбы и снаряды!..

Леночка ждала его около двух недель, не имея о нем никаких вестей. Она усиленно работала, и никто на службе не мог бы заметить ее волнения. Билибин, увесистый и солидный как всегда, продиктовал ей свой отчет. В этом отчете было уделено место и ей. Билибин аттестовал ее как отличного работника, особо указав на то, что она не растерялась в самый опасный момент и не бросила доверенных ей бумаг. Он продиктовал эту аттестацию с очень значительным видом, он и по дороге в Москву оказывал ей чрезвычайное уважение, даже и не пытаясь брать, как бывало раньше, игривый тон. Ей была приятна эта похвала, она доставит удовольствие Коле. Теперь в каждой мысли ее присутствовал муж, он был всегда с ней, что бы она ни делала, о чем бы ни думала. Это было удивитель-

ное ощущение. Она просто не понимала, как это она могла жить раньше без него.

А он все не приезжал, не возвращался. Как там, в вагонетке дрезины, она гнала от себя страх за него, радуясь всякой работе, всякой нагрузке. Нельзя слабеть, нельзя. — надо быть сильной, как он. Однажды вечером она взяла с полки роман отца «Счастье». Это был очень плохой роман, но в нем нашлась фраза, которая вдруг поразила ее. Эта фраза — «счастье в движении, а не в покое». Может быть ничего нового в этом изречении нету, может быть — даже наверное — отец взял эти слова из какой-нибудь другой книги, но ей эта фраза открыла очень многое. Ее муж был воплощенным движением, и девчонкой она боялась подчиниться ему, быть вовлеченной в некий бурный поток, ее тянуло к покою — а покой был в увесистом, нешатком Билибине. «Вот в чем дело», — думала она и не понимала, что могло ей хоть на миг понравиться в Билибине.

Глупой девчонкой она мечтала невесту о чем, а когда это невесте что пришло к ней, она испугалась собственных мечтаний, она попыталась убежать от них. Так она понимала себя сейчас, потому что влюбилась в своего мужа. Отец нашел счастье в самообмане, он воображал себя гением, как и она до брака воображала себя сокровищем, но отец одной фразой все же помог ей. «Счастье в движении, а не в покое». Все мечты ее теперь связывались с ним, с мужем.

Он вернулся вечером, когда она уже была дома. Отворив дверь и увидев его, она взвизгнула, как девчонка, и прижалась к нему. Все для нее исчезло в этот миг, ее самой не стало, был только он...

Было раннее утро, когда Шерстнев проснулся. Открыв глаза, он не шевельнулся, можно было подумать, что он еще спит. Все пережитое им с необычайной яркостью разом вспомнилось ему, и сумасшедшие глаза Трегуба вновь ожгли его. Он дернулся как в судороге, и Леночка тоже проснулась. Он промолвил, как бы продолжая уже начатый разговор:

— Я недолго буду в Москве. Отправляюсь на фронт.

Она отвечала живо:

— Я тоже. Не спорь. Ты сам мне сказал при прощании — помнишь?..

Шерстнев пошел в армию через несколько дней после своего возвращения. Он добивался и добился строевого назначения, стал командиром железнодорожного батальона, действующего на Западном фронте.

Барбашов по этому поводу сказал:

— Война все проясняет. Шерстнев — прекрасный производитель работ, он попал на свое место.

В этих словах ничего недоброжелательного как-будто не заключалось, но Левин,

тот самый рыжий инженер, который всегда верил в Шерстнева, возгасил:

— Мы услышим еще о Шерстневе не только как о производителе работ. А командовать батальоном — это большое дело. Ни я, ни вы неспособны к этому.

Он обратился к Билибину:

— Вот вы — специалист по организационным делам, вы смогли бы?

Билибин промолчал. Его терзало беспокойство. По неуловимым признакам, ему одному заметным, он чувствовал, что в организационной перестройке, происшедшей во всех отделах наркомата, его откидывает куда-то в сторону. Он неудержимо скатывался к скромной роли работника технического контроля, он переставал быть главным среди товарищей. Судьба Шерстнева не заботила его сейчас. Зато Левин стал проявлять к деятельности Шерстнева на фронте интерес необычайный.

Когда Шерстнев был переведен в техотдел железнодорожной бригады, он сказал Леночке, которую навещал чуть ли не ежедневно:

— Он напрасно так сердится на это. Он должен понять, что командование очень ценит его и хочет использовать как выдающегося инженера, а не как рядового прораба.

В августе Леночка получила, наконец, назначение в армию — в штаб той же железнодорожной бригады, где был ее муж. Провожая ее, Левин говорил:

— Удивительные письма получаю я от Николая Николаевича. Чем сильнее бедствия, чем горше нам, тем сильнее он верит в будущее. Удивительно бодрые письма. У него есть в последнем письме такая фраза: «разрушая, я в мыслях своих восстанавливаю...» Вы передайте ему, пожалуйста, вот эти мои замечания по поводу его последних соображений, здесь я даю ему некоторые выписки, может быть пригодятся ему...

Когда Леночка прибыла в штаб бригады, она уже не нашла мужа в техотделе. Необходимость заставила вновь направить Шерстнева на командование батальоном, не тем, которым он командовал раньше, а другим, командир которого оказался плох.

X

Шерстнев был назначен в батальон бороться за мост.

Машина мчала его по лесной дороге, подбрасывая на ухабах. Даже на большом ходу Шерстнев замечал по сторонам грибы. Грибов было множество, их хватало бы должно быть на колонну грузовиков — никто не собирал их той осенью.

Уже издали Шерстнев увидал, вернее угадал мост.

Военная обстановка сложилась так, что мост этот стал фронту совершенно необ-

К нему выслали зенитную батарею, к нему кинут железнодорожный батальон. Надо во что бы то ни стало отстоять железнодорожную связь с фронтом.

Берега реки поросли лесом — значит, заготовка материала в случае чего могла быть произведена тут же, транспорт для подвозки не нужен. Лес хороший... Все это Шерстнев соображал, подходя к короткому мосту, висевшему над глубоким провалом узенькой реки.

Командир батальона, шедший ему навстречу, был молодой человек, лет под сорок, высокий, членистый. Он шел к Шерстневу при полной амуниции, но эта боевая оснастка нескладно торпыхлась на нем, как бы нацепленная наспех, без понимания, для чего все это приспособлено. Лицо у него было толстое, с отвислыми щеками добродушного жителя хорошо меблированной квартиры. Он неловко поднес руку к козырьку и, как бы извиняясь за этот жест улыбкой, начал:

— Товарищ... — он запнулся, не зная, как назвать Шерстнева, и приглядываясь к петличкам.

Шерстнев перебил его:

— Что дал осмотр моста?

— Попаданий не было, — ответил командир, — поблизости падали бомбы...

Шерстнев, почти не замедляя шаг, шел к мосту. Взбираясь на насыпь, он перебил запыхавшегося командира:

— Вы, капитан, я вижу, не потрудились осмотреть мост? За это вам обеспечена благодарность! Вам надлежит сдать мне командование батальоном!

Бешенство овладело им. Он раздраженно стал простукивать мост. Но мост был хорош. Шерстнев обследовал береговые устои, затем вернулся к пролету.

— Глядите, — обратился он к капитану. — Это что, строили так, что ли?..

Капитан молча разглядывал язвительные следы осколков на раскосах фермы.

— Работа, между прочим...

И лицо Шерстнева дернулось, как в тике.

— Но, товарищ майор, — обиделся капитан, — это несущественные повреждения. Мы все готовы к бою... Немцы насаждают, мы с оружием в руках...

— Ваш бой — тут, у моста, — перебил Шерстнев. — Заготовлен материал у вас? Лес под рукой — а материал и не начали заготавливать? А камень?..

Оставив бывшего командира батальона стоять в недоумении и некотором испуге, Шерстнев пошел к бойцам. По лицам их, хмурым и напряженным, он чувствовал, как они томятся в бездействии, как страх ищет в этом безделье щели, чтобы проникнуть в сердца.

— Воздух! — крикнул наблюдатель.

Все разом взглянули на небо, кое-кто толез в прибрежные кусты.

Капитан остался стоять.

— Все время так, — промолвил он, разводя руками, словно виноват был в этом беспорядке. — Я уж, знаете, по звуку научился отличать наших от немцев.

— Немногому научились, — отрезал Шерстнев, слушая, как шум мотора затихает в отдалении.

Затем он командовал:

— Командиры рот — ко мне!

Ротные командиры были очень непохожи друг на друга. Один, щупленький, с торчащими вперед усами, в короткой черной кожаной куртке, подбежал первый. За ним придвинулся угрюмый, широкоплечий, большого роста командир в наглую застегнутую серой шинель, стянутую накрепко поясом. Он словно запакован был в шинель. Затем подошли и остальные — широколицый, коротконогий лейтенант, за ним — веселый, очень красивый старший лейтенант. Подошел и комиссар батальона, и командир технической роты...

— Товарищи, — обратился к ним Шерстнев. — Ваш боевой пост — здесь. От этого моста зависит исход боя, который ведут там, впереди, наши товарищи. Через этот мост идут боеприпасы, идет продовольствие, двигаются резервы. Идет питание фронта. Мы должны быть готовы тотчас же исправить всякое причиненное врагом повреждение. Мы не должны быть застигнуты врасплох случайным попаданием бомбы. Не грибы же мы посланы сюда собирать командованием!

На мост, громыхая, медленно въехал бронепоезд. Закованный в броню паровоз легко тянул бронеплощадки. Круглые орудийные башни обозначали края каждой платформы. Шерстнев сказал:

— Вот глядите — вот что такое мост!

Угрюмый командир роты заговорил:

— Я испрашивал разрешения, но товарищ комбат говорит, что обстановка еще не ясная, что заготовка запасных частей может достаться врагу...

Шерстнев резко повернулся к бывшему командиру батальона, но отложил объяснение с ним. Он каждой роте дал дело по уже созревшему у него плану. Необходимо тотчас же приступить к заготовке материалов для незамедлительного исправления всех повреждений, которые могут причинить мосту вражеские бомбежки. Это — прежде всего. Но надо предвидеть и самый скверный случай. Надо предвидеть и ту возможность, что врагу удастся прямым попаданием совершенно разрушить мост, так разрушить, что быстро его не восстановишь. Это может случиться — и что тогда делать? Надо найти выход и в этом самом крайнем случае. Прежде всего надо заготовить запасные части для восстановления.

В батальоне Шерстнев нашел все необходимое. Техническая оснастка батальона оказалась превосходной, были все нужные инструменты, был даже подвезен за-

Он являлся к ней всегда, как к себе домой, и так, словно они только-что расстались. Они и в разлуке чувствовали себя всегда вместе, и было у них такое ощущение, что если случится что с кем-нибудь из них, то другой сразу почувствует на расстоянии.

Шерстнев шагал по комнате, половину которой занимала жаркая печь, потом остановился перед женой, расставив свои короткие ноги и сунув руки в карманы ватных штанов.

— Бедствия! — сказал он. — Какие бедствия!.. Сожжено, взорвано!.. А люди!.. Что они делали с людьми!..

Он сел к столу, опустил голову на руки.

Они помолчали.

— В штабе мне сказали, что в десять ноль-ноль будет сводка новых данных. В двенадцать мне обратно с ними. Который час?

— Половина восьмого.

— Ладно, — промолвил он, выпив чаю и поев. — Надо, между прочим, быть в форме. — Он потер щеку рукой. — Побриться надо.

Через полчаса он уже спал. Он спал, как ребенок, подложив под щеку маленькую свою ладонь, и лицо у него было измученное, усталое.

В серии снимков, сделанных в командировке, Леночка выделила последний, на котором над тремя малышами возвышалась тоненькая, счастливая мама, она, изогнувшись, уперлась рукой в бок, востроносая, улыбающаяся, довольная. Этот снимок был для нее воплощением всего уничтоженного немцами, и лицо ее принимало по-мужски жестокое выражение, когда она глядела на эту фотографию.

Шерстнев спал не больше полутора часов. Открыл глаза и сразу спустил ноги с печи, вскочил.

— Ну, я пошел, — сказал он. — В штабе увидимся.

Леночка не успела дойти до штаба, когда небо загудело. При частых налетах и обстрелах она узнала теперь, что страха ей не избежать, все равно холод пройдет по спине, и на миг трудно станет дышать. Но есть воля и есть долг. Она привыкла к страху и научилась владеть им. Там, у границы, в первый день, она еще по мирной привычке, почти машинально выполняла свои обязанности. Теперь она сознательно спасала нужные документы. Заслышав свист бомбы, она тотчас же легла наземь, прижав материалы к груди, закрыв их собою. Это был ее долг — спасти материалы, и он помогал ей в победе над страхом.

К ночи Шерстнев был уже в городке, из которого только-что выбили немцев. Он сошел с машины у какого-то большого сада.

Деревья в саду были охвачены лютым морозом, похоже, что белые хрупкие шары надеты на их черные стволы. Каменные дома пронизаны догорающим в стенах пожаром. А сверху, в черном бездонном мраке, мертво и неподвижно сияли звезды. Жизнь, казалось, остановлена свирепым холодом и на земле, и в небе. Это была почти нереальность — сверкающая белизна площади, полукруг розовых зданий с прорезями ярко горящих окон, ряды которых казались бесконечными, падающая к ледяной реке перспектива огибающих сад улиц.

Резкий ветер поднялся снизу, с берегов нерадостной реки, и Шерстнев почти пробежал ничем не защищенное пространство, по которому колющий ветер гулял как хотел. Шерстнев шел к реке. Еще один мост будет восстановлен, не первый мост наступления.

По одним только общим данным о характере местности, о широте реки, о высоте берегов Шерстнев делал обычно предварительный чертеж. Только глянув на рухнувший мост, он мог без особых обследований решить, годится ли что из взорванного или сожженного материала для немедленного использования и, следовательно, на подъем или же все нужно строить заново. Он уже видел в воображении своим новым мост, соединивший берега, когда определял количество и характер опор и распределял людей по работам.

Разнообразие природы и разнообразие разрушений давало множество вариантов, в которых все же были общие основные черты. Изобретательский дар Шерстнева действовал тут в строго ограниченных пределах, он был сжат, как некое упругое тело, и обращался в поиски простоты и точности, в ускорение темпа строительства.

Сейчас, как и всегда, приступая к восстановлению очередного моста, он напряженно думал об установке пролетных строений. Надвижка здесь не годится: слишком широка река. Сколько времени займет возня с краном? Опять эта канитель с тросами... В соседнем батальоне из-за неравномерного натяжения случилась недавно беда — перекося пролетного строения. Чуть все к орту не полетело... После этого Шерстнев особенно задумывался над росью тросов, талей, полиспастов. Все известные Шерстневу, не раз злившие его недостатки разных систем крана мешали теперь как никогда. И хотя Шерстнев был на отличном счету у командования, он почувствовал сейчас себя преступником. А если он не преступник, то прав был Барбашов, он — просто бездарность. Так чувствовать необходимо нового крана — и не иметь сил изобрести его может только бездарный человек. Он — средненький, добросовестный прораб, не больше того, к этому надо привыкнуть, в конце концов он же не често-

любив, он все равно будет работать в полную меру своих сил.

Шерстнев взглянул на мертвое небо. Оно ничего не обещало ему. Кто-нибудь грубой разгадает все загадки, а он станет послушным его последователем и учеником. Небо юности остается, оно живет — только он не может прочесть в нем то, на что надеялся, о чем мечтал. И вдруг звезда сорвалась там, наверху, и потухла... Это закатилась его звезда. Внезапным, механическим, жестким вылетом она ушла, исчезла, чтобы никогда больше не вернуться.

Потух его талант, отлетел, как эта звезда, проглоченная черной ночью. Она закатилась сама, без этих дурацких тросов.

И вдруг разогнувшийся профессор, багор, консоль — все разом вспомнилось ему и жарко ему стало в эту лютую зимнюю ночь.

Он успокоился.

«Без этих дурацких тросов»...

Конечно же, надо убрать тросы! Нужна жесткая конструкция. И он удивился простоте разгадки. Он уже явственно видел будущую конструкцию, в воображении своем он производил вычисления, делал первый эскиз...

Это было жаркое лето, а не свирепая зима. И небо не было мертвым и неподвижным. Над ним вновь раскинулось небо его юности, небо, которое никогда не обманывало его и много раз еще поможет. Оно было глубоким и радостным. Оно было за него, за стремительное движение на запад...

В батальоне не поняли, почему командир вдруг стал так весел и оживлен. Прошел даже слух о больших победах, о которых уже известно в штабе, но рано еще объявлять всем. А Шерстнев, веселый, как ребенок, распоряжался работами. Он решил поставить здесь пролетные строения двумя кранами — с этого и того берега, а в то же время он воображал будущий мощный кран, который в каких-нибудь полчаса будет проделывать всю работу по установке мостовых ферм.

При приемке моста он подал рапорт командованию, и генерал вызвал его к себе. Сухощавый, неулыбающийся, с глазами, как точки, он говорил ему:

— Мысль ваша ценна. Сколько времени вам нужно на чертеж новой конструкции?

Шерстнев назвал минимальный срок.

И вот уже не оттащить его от формул и эскизов.

Странно, мысль о жесткой конструкции была не нова для него, он просто не выделял ее среди других соображений, как главную. И вдруг она мелькнула молнией, как решение задачи.

Затем он был направлен к специалисту по кранам. В холодном здании он нашел комнату, в которой, ежась, сидел тот са-

мый профессор, которому он некогда бросил в лицо грубое слово. Он подумал на миг о том, что впервые показывает новое свое открытие не Билибину, а другому человеку. Куда делся Билибин? Хорошо бы услышать его обычное:

— Вот это — вещь! Это — точно!

Но, видно, война и тут все переставила. Профессор поднял голову, взглянул на него и узнал сразу. В маленьких умных глазах его мелькнуло веселое воспоминание, и он встал, протянул руки.

— Великий изобретатель? Рад, очень рад. Новый кран?

— Да, — ответил Шерстнев.

— Давайте, давайте. Скорей.

Он взял протянутую Шерстневым папку и, быстро открыв ее и перебирая листы, говорил:

— «Ерунда... ерунда...» Правильно, что ерунда, хотя очень невежливо, очень. Нельзя так кидаться на старого человека.. Можете, бурный человек, просто поспать несколько часов, пока я все это изучу.

Через шесть часов он, попивая горячий чай, говорил сухо, точно, деловито:

— Одобрю. Интересный вариант. Очень интересный. Вас следует немедленно включить в уже работающую группу. Дело в том, что я буду настаивать на вашем откомандировании из армии. Так и знайте. Придется вам вернуться к спецподразделению. Ваш вариант очень ценен. Может быть, это не лучшее, но ведь вы будете и дальше совершенствоваться, человек вы беспокойный... Я написал свое мнение, вы его прочтете, я заканчиваю его необходимо. Я освобождаю вас от вашей прорабской работы, хотя о ней ходят легенды. Но я знаю, что вас отпустят. Уже несколько раз стоял вопрос о вас, а тут вы и сами явились. А теперь извольте ко мне.

Машина мчала их по пустым улицам военной Москвы. Тьма, тишина, мороз. И в этой московской ночи Шерстнев слышал колонны бойцов и ощущал их единое сердце. Машина проезжала мимо Кремля, и Шерстнев неотрывно глядел на древние стены, за которыми работала мысль и воля великого человека, умеющего разгадать все.

Старый профессор понял его мысли и сказал:

— Да, душа народа!

В шесть часов утра он разбудил Шерстнева.

В столовой жарко натоплена была печурка. Было слегка дымно.

— Нету еще опыта у жены, — шутил профессор. — Дочь в армии, врачом, а жена у меня — старозаветная, не понимает печурки. Изобретите, пожалуйста, что-нибудь такое, чтобы уничтожить холода. Вот попрыскать из какого-нибудь пультверизатора — и чтобы сразу стало тепло. Теперь говорите, где ваша очаровательная Елена Васильевна?

На фамилии, имена, отчества у него была подлинно-профессорская память, так же, как и на лица.

— Она, как и ваша дочь, в армии. — Шерстнев потер по своей привычке щеку. — В железнодорожных войсках.

— Я, старик, влюбился в нее. Можете не ревновать. Куда мне с молодежью соревноваться! Надо ее вместе с вами откомандировать.

Шерстнев рассказал ему, как он мучился в поисках простой разгадки, и профессор очень смеялся, когда узнал о том, как хотелось Шерстневу согнуть его.

— А вы бы попросили, я бы хоть десять раз согнулся, я это понимаю, очень понимаю.

Затем он перебил:

— Падающая звезда зимой? А не сочинили? Не воображение? Август, сентябрь — это да, это точно.

Его последнее «точно» напомнило Шерстневу о Билибине, и он спросил:

— Вы, между прочим, не знаете, где Билибин?

— Работает. Но, знаете, потух. Потух. Боюсь, что сиял он чужим огнем. Все вы бросали на него свой отблеск, вот он и сверкал. Но в войне потух. Добросовестно работает, но ответственных постов ему давать нельзя. Завалить может. Для его корпуленции уж очень быстрое стало движение. Изобретения так и сыплются. Вот меня, старика, тоже вытащили, выдвинули, так сказать, на пост. Я — художавый, разгибаюсь и сгибаюсь. — Он засмеялся. — Не Билибин. А теперь я вам насчет звезд и прочего вот что скажу. Это все так, и я этому верю, я про эту поэзию знаю, что это так. А в основе то, что вы просто хорошо знаете свое ремесло. Я сначала тогда рассердиться хотел, но почувствовал, что в вас не просто самоуверенность — нежды, расчет на чистое вдохновение — такие есть — а знания, опыт. Вы вот и замечательный восстановитель, прораб в сущности, и хороший инженер-производитель — вы не думайте, я о вас узнал потом, мне интересно стало. В этом основа, на которой растут изобретения. Простите, что я поучаю, я люблю поучать, такая уж у меня старческая обязанность, но, пожалуйста, прошу вас учиться, учиться и учиться.

Отправляясь к месту своего нового назначения, Шерстнев с любовью думал об этом старике, и соседи по самолету не понимали, почему иногда так посмеивается про себя этот небольшого роста мужчина в военной шинели. А Шерстнев вспомнил ленинские поучения — «он тебе отомстит».

На аэродроме его встречали товарищи. Красивый блондин первый подбежал к нему.

— Герюю переднего края привет! Накопец-то!

Он, как отличный термометр, показывал

всегда температуру отношения к человеку. Шерстнев почувствовал, что его тут действительно ждут и любят.

Рыжий Левин, пожав ему руку, говорил: — Вас очень нехватает здесь. Мы уже знаем — вы с новым краном. Основная идея у нас совпадает с вашей, начальник наш очень ждет вас. Прекрасный товарищ. Вы с ним сдружитесь. Он во многом на вас похож.

XII

Движения бойцов и командиров стали особенно четкими, даже щегольскими в своей отчетливости, каждое движение должно было приближать и приближало желанный миг, когда повиснет мост над желтой и быстрой речкой.

Сложенные в точном и прочном сочетании рамы, как широкоплечие, желтоватые великаны, выросли до необходимого уровня.

Паровоз двинулся, толкая платформу к самому краю железнодорожного пути.

Металлическая стрела, уверенно выдвигнувшись, как длинная могучая рука, подхватила ферму с легкостью, с какой человек подымает щенка за загривок, и потянула вперед и вверх.

Стрела, как живая, осторожно опускала ферму на опоры, и в этом движении виделись нежность и твердость любящей руки. Кран казался умным и добрым отцом фермы.

Когда пошла вперед и вверх вторая ферма, самая длинная и тяжелая, по ней, еще движущейся, пробирался маленький человек в синем комбинезоне. Казалось, ничего не стоит ему сорваться на камни и бревна с высоты, которая представлялась снизу огромной.

— Кто это? — спросил один из молодых, недавно прибывших командиров.

— Шерстнев, — отвечал, оглянувшись, командир батальона, накрепко запакованный в серую шинель. — Инженер Шерстнев.

Он впервые видел действие нового крана. Он был поражен. Техническое чудо совершалось воочию. Огромная мощь, простота, быстрота — все изумляло его, и он вспоминал ночь у маленькой речушки, когда этот взлетевший сейчас наверх человек совершил такой резкий перелом в работе батальона. Теперь тяжеловес сам был командиром батальона. Фамилия «Шерстнев» для него говорила очень много.

Когда двинулся первый состав по мосту, Шерстнев уже был в десяти километрах отсюда, и знакомое, тысячу раз виденное зрелище разрушений открылось перед ним с высокого берега. Часто вспоминалось ему странное, небывалое ощущение, какое испытал он в первый день войны, когда мысль о том, что созидание здесь ненужно, потрясла его. Созидание

избедило. Созидание карало. Созидание
неудержимо отвоевывало мир.

Командир бригады, толстый полковник,
звучным голосом любящего жизнь челове-
ка докладывал генералу проект восстано-
вления моста. Срок — полтора суток. При
этом полковник взглянул на командира
батальона. Тот отозвался одним только
словом:

— Точно.

Шерстнев пошел обратно по путям. Но-
вый кран уже не вполне удовлетворял

его. Применять его можно было не везде,
не всегда, были серьезные недостатки. Ко-
нечно, даже маленькое новшество требу-
ет громадных усилий, но ведь не огра-
ничены возможности человека...

В небе — ни одной звезды. Они изгнаны
солнцем. Бледноголубой, лохматый — в
разорванных облаках — свод скрыл их от
взоров. Но оно есть, оно живет, небо его
юности, за этим принявшим свою дневную
окраску воздухом, и светят горячие звез-
ды.

СТИХИ

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

★

МАТЬ

В поле с ветром шепчется осина,
Хмурит ель в бору седые брови.
На войне у матери три сына,
Три невестки дома у свекрови.

Снег, как соль, рассыпан в звездном
блеске,

Каравай луны совсем не начат.
Соберутся у стола невестки,
Повздыхают о мужьях, поплачут.

Только мать не плакала ни разу,
Не вздыхала о разлуке горькой
С той поры, как, верные приказу,
Сыновья простились с ней под горкой.

Ей не долго жить на белом свете,
Что ни день — ее все уже стежка,

А посмотрит — у невесток дети,
Надо каждой пособить немножко.

Сядет потихоньку в уголочке,
Будто горя нет и на копейку,
То для внука штопает чулочки,
То для внучки ладит душегрейку.

И не слышит вьюги-завирухи,
Что в полях шатает перелески.
«Каменное сердце у старухи»,
Говорят, наплакавшись, невестки.

Что ж! Печаль у матери бесслезна,
Улеглась под сердцем непогода...
Ей поплакать и потом не поздно,
Как сыны вернутся из похода.

★

Где-то тоненько-тоненько цвенькает
зяблик,
Сад притих и заслушался, дух затая,
У калитки, с корзиной антоновских
яблок,
Встала русая девушка — юность моя.

Вижу — яблоня что-то ей на ухо шепчет,
Подтянувшись на цыпочках из-за плетня.
Я считаю шаги мои: чет или нечет,
Позабыла она или помнит меня?

Сердце бьется все чаще... (Как пахнет
здесь мята!)
Позабыла или помнит?... (Как звезды
близки!)
Ведь она не таким меня знала когда-то,
Не с таким распростиалась со мной у
реки!

На деревьях сухая сквозит позолота,
Под ногами туманные тени скользят.
Позабыла наверно! Я сбился со счета.
Что ж, готов ко всему я. На то и солдат.

Я мужал без нее, не она виновата,
Что птенцом желторотым я был ей
знаком...

Вот она обернулась, заметив солдата,
Посмотрела, поставив ладонь козырьком

Опустила корзину... А вспомнит,
пожалуй!..
Руку мне подает у заветной черты:
— Значит я не ошиблась. Солдат
возмужалый,
Окликавший меня по ночам — это ты.

ПОД БЕРЛИНОМ, У ГАЛЛЬСКИХ ВОРОТ

Рассказ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ



Денщик Афоня, ступая на носки, отчетливо он казался совсем огромным, точно он шел на ходулях, внес осторожно, как горячее блюдо, вычищенный мундир капитана, обшитый золотым галуном, и золоченый прибор: шпагу, гренадерскую суму, щетку с медным щитком. Капитан Кирилл Дорофеев, молодой, широкоплечий, опираясь на здоровую правую руку — левую пробил пуля — поохивая, присел в холщевых носилках и стал натягивать мундир. Денщик, согнувшись, но все еще балансируя на носках, помогал ему.

Было это ранним утром 8 октября 1760 года.

«Если скачет Ислентьев, — думал капитан, — ему меня не миновать». Дело в том, что махальный дал знать: вдоль фронта, с правой стороны реки Шпрее, приближается всадник, по мундиру судя — адъютант строгого прафа Чернышева, командующего тремя крупнейшими соединениями войск, — двух русских и одного союзного, австрийского, — подошедших к Берлину, столице Фридриха II и Прусского королевства.

— Да что тебе тот адъютант, батюшка, опять коня торговать будет? — рассыпчатым ярославским говорком тараторил Афоня. — Небось, знобит?

— Потрясывает.

— Раны-то сквозные: знать не от них трясет, батюшка. Трясет либо от адъютанта, либо быть дождю. Кони чешутся, да и небо, гляди, как разутое. А скорейча — быть бою.

Распухшая и разбитая сражениями и армейскими колесами земля ослабляла топот коня. Если Ислентьев? С чем скачет?

Сторона палатки, обращенная на юг, была поднята, и Дорофеев разглядел, наконец, среди шапфейн-желтых сосен фигуру адъютанта Ислентьева, маленькую, тоненькую, похожую на бекаса, но в широкой, как подоюник, шляпе.

— Быть бою, — сказал капитан. — Лихо скачет!

— То-то и говорю, что тебя трясет, — весело отозвался денщик. — Быть тебе, батюшка, в том Берлине!..

Конь под Ислентьевым был широкий, с почтенной румяной мордой и глубокими, как душло, ноздрями. Не доезжая шагов двадцати до палатки, Ислентьев осадил коня. Адъютант увидел «Красавку», заводскую кобылицу, принадлежавшую капитану. Заводская лошадь — гордость и тщеславие каждого кавалериста, и военный артикул Елизаветы разрешал таким заводским коням суконные попоны лосяного цвета, с обшивкою вокруг золотым галуном и с императорскими вензелями из золотого шнура по углам. И не нужно особой прозорливости, чтобы предсказать: адъютант опять будет просить «Красавку».

Так и случилось. Распространяя свойственный только ему запах аниса и ладанного благочестия, шуря продолговатые и проворные глаза, адъютант сел на складной стул, возле носилок Дорофеева, и, вздохнув, заговорил с простосердечностью, которой не мог утаить, а капитан с досадой думал: «Да ты что — на моем коне в Берлин хочешь въехать?»

— Приятный у тебя конь, Кирилл.

— Отдан, брат, конь.

— Кому отдан? — испуганно вскричал адъютант.

— Отечеству. Если погоним немца из Берлина... плону на раны... влезу, поскочу, замучаю... все палаши иступаю... о немецкие... всех! Коня мне жалко?! — И Дорофеев откинул свою большую голову с прекраснейшими веками на подушку.

— Эк тебя пруссаки убрали, — сочувственно оглядывая его, сказал адъютант. — Шесть ран?! Еще бы одна, и совсем бы распороли. Гнев твой понятен, Кирилл, но ты не расточайся на него до бою, — добавил он наставительно. Затем, помолчав, он спросил: — Так не продажный конь? А мой конь, Кирилл, — полный мертвец. Посмотри, восемь каких-нибудь верст, и слабой рысью, а весь в мыле, хоть выжми... А, может быть, по

старой дружбе продашь? Большие деньги...

— Нет. Аудитор тоже мне предлагает большие деньги.

— Какой аудитор?

— Плешаков, начальник нашей полковой канцелярии. Он поставками на армию крупно заработал.

— Сравнил меня с каким-то Плешаковым!

— Деньги все одинаковы.

— Я тебе, Кирилл, часы золотые, английские, с камнями, приложу.

И он достал из кармана камзола толстые, тусклого розового золота часы с розовым, эмалевым купидоном на крышке, стреляющим из длинного лука. Капитан остро посмотрел на часы, вздохнул и, поспешно поборов зависть, сказал:

— Не продам. — И, желая уже окончательно прикончить адъютанта, он вынул шапку и, побавровев, крикнул громко: — Алешка-а, послать в рысь!.

Коновод взлетел на коня и — пошел.

Адъютант даже зажмурился.

Некоторое время спустя, он заговорил шепотом, от пережитого волнения, голодом:

— Лазутчик, говорят, к тебе пришла?

— Нет. Пленный наш соскочил от пруссаков бежал. В прошлом году его раненого — под Франкфуртом мы, помнишь, стояли — немцы полонили. Жалели мы его. Нефед Лепкин. Самый рослый в полку, почти сажень... да и ратной прилежностью бог его не обидел...

«Обидишь вас!» — подумал с неудовольствием адъютант, оглядывая безукоризненное, нестервормое никакими бедами и лишениями тело гиганта, ровно вышагивающее перед ним. Сколько ран! Другой бы раз уже пять потерял жизнь, а этот ее пожелал оставить поле боя и, словно казало всем удивляясь, еще лучше, чем прежде, командует эскадрой. Он почему-то напоминал «драгил», задний брус в карете государыни, который в прошлом году в Петербурге видел Ислентьев. Правда, ничего другого ему не удалось увидеть: уж очень велика и тесна была толпа, но этот деревянный, эластичный, выгнутый массивный брус, служащий для поддержания и укрепления рессор, да и вообще взаимной связи частей, он хорошо запомнил.

— А мне говорили: лазутчик. Я и полкового аудитора приказал сюда прислать, вместе допросим.

— Допросить?.. что ж, допросить следует. С ним, с солдатом, девушка от немцев бежала. Она в пивном погребе при Королевском замке в Берлине, кажись, скрылась.

— В Королевском замке? Полька?

— Русская. Из тех русских, что в Австрии живут, под Львовом... Говорит мне: «графу Чернышеву — все скажу, а вешку Тотлебелю — будь он проклят!»

И капитан многозначительно подмигнул. Уроженец Саксонии, генерал Готтлиб-Генрих Тотлебен был назначен командовать соединением, в котором находились и коногвардейцы капитана Дорофеева, благодаря интриге придворных кругов, близких к наследнику Петру, в свою очередь, как известно, близкого Фридриху II Прусскому. Кое-кто поговаривал даже, что генерал Тотлебен занимается «слепой» торговлей тем, чем торгуют тайно и подло и, большей частью, с врагом.

Адъютант отвернулся и сказал:

— Молодая? Красивая?

— Молодая, но сказать — красивая, не скажу. Порожних костей много, жидка. Ни весу, ни цвету.

— А где ее немцы изловили?

— В нашу сторону отец ее гурт скота гнал продавать. А дочь вез учиться в Варшаву; мать у нее полька.

— Надо ее в Варшаву и отправить.

— Оказия будет — отправим.

Адъютант достал узкую, серебряную, с чернью, табакерку. В палатке распространился отчаянно пахучий запах табаку. Они выжили в нос по большой щепотки, и лица их на мгновение стали пьяно печальными.

— Не люблю я женщин-лазутчиц, — сказал адъютант наставительно. — Женщине не воевать. Женщине надлежит править домом.

— Ну, какой же она лазутчик! Ведь еще неизвестно, что она скажет.

— Я не о ней, — беря вторую щепотку, сказал адъютант, — я о женщинах. Они должны править домом.

И адъютант достал письмо, которое вчера привез среди военных бумаг курьер из Петербурга. Письмо это было от невесты капитана Марии Александровны Ладженской, дочери знатного и богатого барина, с трудом согласившегося на брак... Адъютант знал, как Дорофеев и его друзья по полку улаживали барина, как любил капитан Марию Александровну... в прошлую поездку в Петербург Ладженский пригласил адъютанта к обеду. Какое резвое вино, какой за спинкой послушный дакей с косматыми рыжими бровями! Какая прекрасная невеста с широкими, покатыми, словно садовая каумба, плечами... и какой взгляд, который она бросила на него, взгляд... адъютант чуть было не почувствовал себя тогда рехнувшимся!.. Ух, девица!..

Адъютант расслабленно улыбнулся. Послужив бумага свежешелестела в пальцах капитана. Лицо его выражало непристойное удовольствие. Еще бы! «Медь, роза и железо в одной глыбе!» Кого адъютант подразумевал под медью, трудно было сказать; возможно, самого себя, хотя влюбленным себя в Марию Александровну он, конечно, не считал, да он и, действительно, не был влюблен, поскольку перед этим большим и прытким молод-

цом он равен ореху переж деревом. Адъютант пощупал меховое волчье одеяло, которым были прикрыты ноги капитана, и спросил:

— Волков сам наби?

— Сам, — не отрываясь от письма, сказал Дорофеев, — в прошлом году, позади Франкфурта, помнишь?

— Допрос кончу, поговорим еще о «Красавке»?.. Может быть, надумаешь продать?

— Не продам...

Вошел полковой аудитор Плешаков, а за ним маленькая, стройная, гибкая девушка в длинной шали, желтой полосатой юбке с нежнолиловой каймой. Юбка и шаль были, видимо, только что тщательнейше выстираны и даже выглажены, зашиты, но никакие стирки и починки не могли привести в порядок эти свирепые и пугливые одновременно лохмотья. Впрочем, девушка чувствовала себя свободно; только пунцовые пятна на щеках выдавали основательное ее волнение.

Аудитор Плешаков, пожилой, потливый и сильно поддержанный мужчина, более чем когда-либо походил на дыню «зимник», овальную, с ровной и гладкой корой, покрытой тонкой, редкой сетью морщин и рубцами, которые изображали у него рот, нос, глаза. Был он, как и дыня, сплошного желтовато-зеленого цвета, без запаха, и, как дыня, очень прочен для сбережения впрок. Адъютант и аудитор, вспоминая «Красавку», обменялись неприязненными взглядами.

Исленьев приторно любезно обратился к девушке:

— Его превосходительство генерал граф Чернышев приказал мне узнать от вас, сударыня, то, что желали вы сказать ему. Она выжидаательно поглядела на него, а затем, видимо, поборов себя, сказала:

— О, сударь! Многое хочу сказать, многое...

И она зашепеля, трогательно прищепывая, путая украинские слова с немецкими, русские с польскими.

Записывал аудитор. Лицо его ничего не выражало. Дорофеев глядел в потолок палатки, колеблемый чуть заметным холодным утренником. Он, вероятно, повторял, наслаждаясь, про себя письмо невесты.

А девушка говорила и говорила. Отец ее, вместе с другими дворянами русских родов, ехал позади гурта скота, продаваемого русской армии. Земли их уже много лет под Австрией, но сердцем они русские! Немцы через третьих лиц предлагали им продать гурт королевской армии, обещая много золота. Нет, сказал отец, лучше меньше золота, но чтоб было оно русское! Не так ли, сударь?

— Россия золотом не бедна, — сказал адъютант. — Продолжайте, сударыня.

И тогда немцы свесили на русские семейства налет, разбойничий, подлый...

Многих ранили. Ранили и отца. Ее увезли. Требовать будут с отца выкуп... О, она отбивалась насколько, конечно, возможно для девушки, сударь!

— Даме, а тем паче девице отнюдь не след участвовать в баталиях, — проговорил адъютант. — Перейдем, сударыня, к тому, как вы попали в Берлин.

Ее держали в одной немецкой семье довольно далеко от Берлина. Обращались с ней, как с птицей, из которой дергают перья! Они хотели получить письмо к отцу, чтоб тот спас ее — торговал с немцами или, того хуже, был шпионом. Письмо? Никогда! И она убежала вместе с одной подружкой. Она вспомнила, что в Бранденбурге, в городе Гарделеген, живет ее троюродный дядя по материнской линии, поляк. Он — пивовар, делает знаменитое пиво «гирлей», которым славен город Гарделеген.

Когда, наконец, они добрались до Гарделегена, оказалось, что дядя приглашен младшим пивоваром в берлинский Королевский замок. Ну что ж. Они пошли в Берлин. Дядя их пожалел, приютил. Он — добрый. Они вязали ему шарфы и разговаривали со служанками, подававшими пиво в главные залы замка... Жили они во флигеле, возле пивоварни... Вчера от служанок они узнали такое, что сочли нужным бежать, но подруга испугалась, хотя именно она встретила возле рынка скрывавшегося гренадера Лепкина... тогда... да и понятен отказ подруги: она ниже родом, где ей до рода Долматовых! Тогда они переползли вместе с гренадером берлинскую ограду, чтобы сообщить командующему нечто такое, что может поколебать славу России...

— Ничто не может поколебать славу России, — вытянув вперед острое лицо, сказал адъютант. — Но что ж, однако, сударыня, вы узнали?

Она замолчала, глядя в землю. Пунцовые пятна на ее щеках погасли, а вместе с тем было в ней что-то свежее, весеннее, похожее на душистый и белоснежный ландыш. Адъютант растрогался и проговорил:

— Его превосходительство граф Чернышев, к сожалению, занят, иначе он сам поговорил бы с вами, сударыня. Он просит его извинить.

Девушка сделала реверанс. Лицо ее просияло. Она еще в начале разговора ждала этого извинения. Невинно и вкусно улыбаясь, она сказала:

— Мой поклон графу, сударь. Что я узнала? Сегодня вечером в Королевском замке предстоит заседание прусского военного совета. Принц Вюртембергский... вы слышали о нем?... он командует корпусом, который привел сюда спасать Берлин... Принц вчера вечером пил пиво с генералом Гюльденом и говорил, что сделает на совете предложение, которое

ничтожит русских. Во мне — русский дух, и Россия мне — мать...

Адъютант прервал ее:

— А в чем то предложение, сударыня, заключается?

— Принц Вюртембергский знает, что у союзников сил больше, чем у немцев. При общей атаке союзников состояние пруссаков безнадежно. Поэтому принц видит спасение Берлина в неожиданном натиске своем на одного из союзников. Он не хочет ждать совместного и гибельного для пруссаков нападения русских и австрийцев...

Адъютант, взволнованный, встал.

— На кого же принц хочет сей натиск совершить?

— На графа Чернышева, — ответила девушка, вновь приседая. — Мой поклон графу. Анна Долматова, герба Долматовых...

— А чем ответил на сию мысль принца генерал Гюльден? — И адъютант посмотрел на капитана. Им было известно, что генерал Гюльден стоит у Галльских ворот.

— Принц Вюртембергский хочет графа Чернышева силами своего корпуса атаковать, а генерал Гюльден дал согласие тот корпус своими тринадцатью эскадронами подкрепить.

Адъютант поблагодарил ее и проводил за палатку. Она ушла, приседая и улыбаясь. Вернувшись, адъютант взял записанное аудитором и велел ему отправляться в свою канцелярию да о слышанном — помакивать. Лицо адъютанта приобрело вид почти зловещий:

— Сегодня — вечером! Заседание прусского военного совета! Похожие сведения и другие лазутчики принесли...

— Ну, какой она лазутчик!

Склонившись к уху капитана, он прошептал:

— Кирилл! Граф общую атаку Берлина завтра на семь утра назначил...

— И слава богу!

— Что слава богу? А если принц Вюртембергский упредит нас? А если он не на Чернышева, а на австрийцев бросится? Австрийцы и без того боятся пруссаков. Все лето меняют планы да и сейчас, после форсированного марша на Берлин, изволят отдыхать. Ударит на них принц, оставят они свои реданы и убегут! Беда с ними, только и заботы, что тащить их за собой...

Дорофеев сказал:

— Илья Иванович! Слушай. Атакуя сам, немцы заранее считают противника неизбежно погибшими и бывают храбры. Наоборот, наше наступление и решительный удар в штыки наводит на немцев страх. Они бегут. А если немцы бегут, они бегут далеко. Они могут даже убежать из своей страны.

— Правда. Но что ты хочешь сей прав-

дой сказать? — выкатив испуганного глаза, прошептал адъютант.

Адъютанту всегда казалось, что он только торгует «Красавку», хочет быть близким с будущим зятем богатого барина, и что касается военных выдумок Дорофеева, то он передает их графу Чернышеву по этим же соображениям. И сейчас он боялся, что придется передавать какую-нибудь маловажную военную выдумку капитана, ибо зачем же нужны генералы, если капитаны могут понимать науку стратегии?

Капитан набрал в грудь воздуха...

— Не будем говорить, ты устал, Кирилл, — сказал адъютант.

— Нет, не устал.

И капитан заговорил крепким и крутым, как утес, басом. Глаза его ненасытно сверкали, а правая здоровая рука необдуманно рассекала воздух.

— Друг! Илья Иванович! Доложи графу мою мысль. Вдруг да немцы раньше нас выступят, вдруг да прусский военный совет примет предложение принца? Что тогда? Тогда генерал Гюльден поведет на графа Чернышева — целехонькими! — все свои тринадцать эскадронов, не считая пехоты. Друг! Пусть граф разрешит атаковать нам сегодня Галльские ворота! Мы сомнем эскадроны Гюльдена, и принц Вюртембергский струсит нападать... Атакуем их! Сегодня!..

Адъютант сказал недовольным голосом:

— Над тобой, Кирилл, есть начальство: полковник князь Прозоровский. Но и оный командир полка не осмелится входить с такими дерзкими и безумными замыслами...

— Дерзкими?! Безумными?! Да ведь мы четыре дня назад уже захватили Галльские ворота, и кабы дали мне подмогу, и кабы Тотлабен, этот, брат, темный!..

Адъютант махнул шляпой и поспешно пошел к выходу. Дорофеев закричал ему вслед:

— Друг! Ты только намеки графу... он догадается... он поймет меня... Илья Иванович!..

Адъютант был так взволнован, что скрылся, не упомянув о «Красавке». Дорофеев приказал вынести себя за палатку.

Воздух уже нагрелся и только оружейные дымки, словно нехотя, мешались с клубами тумана, поднимающегося от ровов, окаймлявших невысокую земляную ограду предместья Фридрихштадт. Два бастиона выступали из опрады. Галльские ворота, серые, из толстых каменных плит, с подъемным мостом на склизких, скрипучих цепях, выпускали и выпускали нехотинцев, кавалеристов и пешан, укреплявших палисадами рвы и бастионы. «Надо было б тогда не ворота вначале брать, а бастионы, — подумал Дорофеев, вспоминая недавнюю атаку Галльских ворот, при которой он был ранен. — Коли пойти на

приступ с большой решимостью, да окружить бастион, да ворваться в него с горжи — конец и ему, конец и Галльским воротам!»

И чем больше он приглядывался, тем вернее казались ему соображения. Бастион — особенно правый — явно открыт с горжи — перешейка, соединяющего бастион с валом. Недаром немцы тщательно закрепляют горжу палисадниками, а отлогости рва одевают фашинами, роют во рву волчьи ямы и, должно быть, подводят фугасы. «Бодро б атаковать бастион, хотя позади бастиона, небось, много орудий, и надо ждать сильного огня», — продолжал он размышлять, сердито поглядывая на позиции генерала Гюльдена.

Немцы стояли на высотах, прикрывающих бастионы, ворота и ограду предместья. Позади полевых орудий и солдат — десятка три домиков, крытых соломой, огороды, узкие поля. Некоторые домики горели. Жителей не было: они скрылись за стенами. Солдаты шарили в домах и разбегались при виде офицера с палкой. Вот и вся она, немецкая жизнь! Стада королевских оленей, наполняющих леса, топчущих огороды и нивы. Олени, нагие, злые, нападают на прохожих, и прохаживающиеся, которым запрещено стрелять в оленей, ходят с большими трещотками в руках. На пригорке, неподалеку от Галльских ворот, виселицы и эшафот. С эшафота свешиваются на колесах голые черепы. На виселице болтается зять одной торговки, сказавший, что в королевстве стало тесновато. Комендант Берлина генерал Роххоф, подражавший Фридриху в остротах, сказал: «Тогда пусть он проверит свои слова». На эшафоте вчера отрубили сначала руки, а затем голову барабанщика, который бил сторожа в саду, чтоб тот дал ему яблок...

Во всей Пруссии только и слышишь о расстрелах, повешенных, пшидрутенах. Битье, особенно солдат, приказано воспевать в стихах, и выступают грамуры, разрисованные художниками, показывающие, как надо бить. Каждый немец должен научиться знать слова Фридриха II: «Что касается солдата, то необходимо, чтоб он боялся своих офицеров больше, чем тех опасностей, навстречу которым он должен идти». Успех войны, по мнению Фридриха, зависит от его тяжелой палки и тяжелого его кошелька с золотом. На дивизка, немедленно по окончании, особые солдаты идут резать палки, — и вот почему разбитое в сражении войско трудно собрать: оно разбегается по лесам, превращаясь в открытых разбойников. И в последние годы Фридрих спасает свое войско тем, что боится давать сражение, и все увеличивает и увеличивает муштровку, стремясь превратить солдат в совершенную и бессловесную машину. А если русские все же заставляют немцев сражаться, то в сра-

жанье такое войско немцы ведут пустыми колоннами, сдерживая его палками, офицерскими пулями и особой системой маршировки, благодаря которой все внимательные солдаты уходят из той маршировки с ее сложнейшими манипуляциями. Густые колонны, кроме того, помогают удачной стрельбе. Стреляют несколько рядов солдат, один за другим, — и Фридрих, палками, добился того, что солдат делает шесть выстрелов в минуту, и, таким образом, колонны представляют собой механическое орудие стрельбы... Худо, худо! В нашем народе такое состояние почвы называют «мокрединой». Пространство, лишенное ската, превращается в обширную гнилую яму, принимает в себя воду, как бассейн, вода эта выступает наверх, просачивает всю окружающую землю, делая ее холодной и бесплодной. Такие почвы исправляют только тем, что дают им хороший сток. Надо дать хороший сток и Пруссии, выпустив из нее прусский дух!

Позади, возле «единорога», знаменитой шуваловской гаубицы, стоял бежавший из немецкого плена гренадер Нефед Лепкин. Сразу Дорофеев и не узнал было его. Худо одетый, испарашенный, голодный, с шальными глазами, он словно исцелился, прибыв к своим. Каптенармус нашел ему новый кафтан, сапоги, черный галстук и даже перчатки с замшевыми обшлагами. Широко расставив тупоносые сапоги, Лепкин весело глядел на капитана, и усы его, приглаженные черным воском — не кверху, как у драгуна, а вдоль щеки, пробритых посредине — лежали наподобие двух стрел. Левая рука его прикасалась к палашу, правая — к медной бляхе гренадерской сумы. К погонной перевязи плотно пристегнута фузеля... Хороший солдат!.. И сам пришел, и девушке помог бежать...

— Бодро, Лепкин, дорядно, — сказал капитан. — Так, значит, уполз от немца и в реку?!.. Хи-хи-хи...

Солдат, шевеля усами, улыбнулся. Капитан продолжал:

— А теперь скоро поползем к немцу... по пятьдесят патронов выдам на человека. Понятно? Пятьдесят немецких ябов раздробить должен каждый, понятно?

Артиллеристы, Лепкин, денщик и два возчика, помогавших нести носилки, крикнули «виват!»

Капитан приказал показать ему, как устроили на жилье девушку. После ухода адъютанта Дорофееву было не по себе. Ему казалось, что они отнеслись, пожалуй, тонко к девушке, но не тепло. Не чужестранка же она нам!

И, по справедливости рассуждая, русские офицеры могли показаться ей специфичными: холодными, неучтивыми. Она привыкла у себя к чистой галантности... Следует ей показать такую учтивость и галантность, чтоб у ней, этой чернобровой, обе брови соединились от. восхи-

...в одну! Намерения сии, конечно, исты, а щедрость сих намерений — всякой экономии!..

Капитан припомнил ее оборванную, несчастную фигурку, и сердце его сжалось. Сухо с ней говорили, сухо, на этой сухой прусской земле. Бедняжка! Без отца, без матери, без друзей!..

— Кто ей прислуживает? Ты? — обратился он к Нефеду Лепкину.

— Я в строю опять, ваше... — прогудел Лепкин.

Тогда денщик Афоня затараторил:

— А мы ей тут старуху нашли. Ничего, поворотливая старуха... из полек... Без старухи как же девке одной жить? Наши гренадеры не обидят, а казак... казак в авангарде хорош, а в арьергарде — не приведи господи. От казака одно спасение — старуха. Их старухи отпугивают, они их ведьмами считают. Да и лачугу мы ей нашли, ничего — поворотливая лачуга...

Лачуга действительно оказалась поворотливой: куда ни поверни, отовсюду дует. Правда, гренадеры уже прибили дверь, устроили трубу на кровле, натаскали дров и пожертвовали старухе котла. Медно-красноватое пламя шевелилось в печи. Пахло мхом, сыростью. Девушка сидела на дубовом обручке, прикрыв ноги соломой.

Афоня расставил козлы, которые теперь постоянно носил с собой, возчики и Лепкин положили носилки на козлы. В лачуге стало совсем тесно, и капитан приказал гренадерам выйти. От его глубокого и тяжкого баса старуха испуганно отползла к окну, заткнутому соломой. Лепкин, ухмыляясь, направил ее к дверям.

Капитан проговорил:

— Сударыня, позвольте представиться. Капитан Кирилла Дорощев, командир эскадрона Санкт-Петербургского конно-гренадерского полка. Рад оказать вам любую услугу, коей вы пожелали бы насладиться нас, сударыня.

И он разъяснил прежнее свое поведение:

— Боевые заботы и труд во славу России не позволили мне быть доселе более учтивым.

Девушка поднялась с обручка и, делая реверанс, сказала:

— Премного благодарна, сударь. Мне ничего не нужно, у меня все есть. Кроме того, мы, Долматовы, привыкли переносить напасти. Наш герб: четыре порфирных поля. На одном поле — звезда, к которой мы всегда идем. На другом — три трублящих славу рога. На третьем — скрещенные сабли, защищающие нашу славу. И на четвертом поле — рыцарь, душающий змею, которая думает преградить путь нашей славе и нашей звезде.

И решив, что она достаточно опшеломила капитана, девушка умолкла. Дороще-

в ждал, что она спросит о его гербе, о родовитости... до начала его дворянства друкой подать: дед, пушкарь из мужиков, за отличный бой и выдумку военную был жалован Петром в офицерский чин и дворянство. Кирилла слабо помнил лицо деда: обветренное, красное, со свосвольными дерзкими глазами и большим лбом, выпуклым, как репа.

Но девушка ничего не спросила. Она смотрела на его лицо, ставшее от волнения желтым, но желтым и красивым, как ярый воск самого лучшего качества; видела глаза, блестящие желтым огнем, как смола на солнце. «Не родовой ли ты же? — думала она, — Не замуж же мне за него выходить?» И она спросила с любезностью такой вышины, какой она никогда не достигала прежде:

— Вам, сударь, вероятно, бывает здесь очень тоскливо и хочется домой?

— Мы вознапряжены за всю тоску вашим посещением, сударыня.

— О, что я? — воскликнула она, скромно потупясь.

— Война — ледяная вода. Женщина — вода жизненная, — сказал капитан, невольно подражая галантности адъютанта. — Девичья красота, сударыня, девушка на войне — это душистый дым счастья, веющий на сердце воина.

— О, что вы, капитан! Что вы, сударь!..

— И я — весь в сем дыму!.. — внезапно воскликнул он с горячностью, его самого удивившей. — Я почти задыхаюсь...

— О, сударь, помилуйте, — пролепетала девушка, складывая молитвенно руки на груди.

— И благословляю небо! И мои жалобы к нему окончены, ибо я увидел жемчуг жизни. Благодаря несказанно, сударыня, того благожелателя, который привел вас ко мне...

Тут капитан вспомнил, что доброжелателем этим был Нефед Лепкин, вспомнил его нос, дюжий, как сундук, его огромную железную фигуру, похожую на воплощенный гром, и подумал, что, пожалай, он чересчур горячо благодарит своего подчиненного. Экое давление, прости господи! Откуда оно? Любовная сия гуща слишком горяча, чтоб быть преднамеренной. И ему стало стыдно. Перед ним промелькнул образ его невесты с пышными и алыми, как клевер, губами, образ, предостерегающий его от дорог в сторсину. Он смущенно умолк, прямо глядя в лицо девушки, теплое, хорошее, с синева-черными, уже заметно соединившимися бровями. По ее лицу было заметно, что девушка принимает всерьез его внезапно вспыхнувшую страсть. И он решительно сказал самому себе: «Хватит! Возьмись, утешись. Не мальчик — баловаться». Между тем, девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее вела вверх, как лестница, и много любопытного встречалось на этой лестнице: например, глаза, подер-

нутые влажной кокетливостью. «О, женщины! — подумал капитан. — Каждого пророка вы считаете вещим».

Она спросила:

— А когда побьете пруссаков, приедете к нам в гости, господин капитан?

— Месяц не успеет переменить шкуру, сударыня, я буду у ваших ног.

Она захопала в ладоши.

— Вот хорошо!

И они рассмеялись. Затем он наклонил голову и сказал, что ему пора. Она позвала носильщиков и подобно любезной хозяйке, вышла его провожать. Старуха, прислуживающая ей, рослая, сутулая, похожая на медведицу, держа в руке пук лучин, стояла у порога и смотрела им вслед.

Девушка, идя, продолжала болтать. Она описывала дом, характеры троих своих братьев, балы, на которых бывала. Она шла близко от носилок. Дыхание ее пахло луком, солдатской кашей и сухарями, а кудри и движения ее были, как у царевны. «Ну, хватит же! — думал с досадой капитан: — Возвысил и утешил, чего еще?»

Вдруг лицо ее изменилось, пошло пятнами; нос заострился и что-то в ней было от подстерегающей борзой.

Она указывала на правый бастион:

— Видите?.. Красуется — толстый до крайности? Генерал Гюльден! Я узнала его! Ему перед тем, как пить пиво, подавали топленое молоко в серебряной кружке. Он смеялся над вами! Он говорил, что вы вскормлены диким мясом, и с вами поступать следует, как с дикарями. Капитан! Генерала Гюльдена нужно уничтожить.

Глаза у ней от злости стали цвета и вида вялого винограда, когда его кладут против солнца, перед тем как жать и готовить вино. Лицо — пепельное, холодное. Много горя видела эта девушка, но все еще она сказала. И снова жалость легкой паутинкой пронеслась по сердцу капитана, и он сказал:

— Постараюсь, сударыня, доказать вам в бою полное свое уважение и нежность, если не любовь.

— Ах, докажете! — воскликнула девушка. — И я... я полюблю вас... У нас есть обычай, у нашего герба: обещая поцеловать как самого-самого близкого, целуют вот сюда...

И, плутовски улыбаясь, она дотронулась мизинцем до своей щеки, где заканчивался еле заметный, сладостный пушок, очерчивающий ее верхнюю губку. Бросив ему такую поветку, она сделала реверанс и вернулась к своей лачуге.

Капитан вздохнул. «О, женское племя! Да и я тоже хорош плясун». И он велел нести себя в палатку, бормоча:

— Бодрó, дорóдно. — Но что бодрó и что дорóдно, он сейчас и сам бы не смог объяснить. Носилки легонько покачивались...

...Старуха у лачуги собирала подтопку.

Девушка стояла на пороге и со строгим лицом, подняв одно плечо, рассматривала протершиеся подошвы башмаков. Она думала о капитане. О, она не влюблена в него, нет! Он ей совсем-совсем не нравится. Громадный, топорный, он похож на площадь, застроенную разными домами. Нельзя сказать, что он лишен известного благородства, но нет, она не может его любить, но хорошие слова она сказала ему обязана, хотя бы по долгу гостеприимства! Благородная женщина, попавшая к воинам, должна чувствовать себя хозяйкой и улаживать им жизнь своей чарующей улыбкой. Бедняги! Они воюют столько лет... Кто их пожалеет?.. Кто не поцелует их в щеку, на два пальца от губ?.. И она вздохнула и, остановив проходившего гренадера, спросила, где ее прислуга может найти сапожника?..

В палатке, перед своими помощниками — поручиком Сокоревым, покрой кафтана которого всегда был похож на покрой полотенца, а лицо важностью своей и неподвижностью — на государственную печать, и подпоручиком Кречетниковым, мягким и подавленным, похожим на пирога с рыбой, — капитан Дорофеев, протяжно выговаривал слова, оглашая диспозицию, присланную командиром полка князем Прозоровским. При чтении был аудитор Плешаков и офицер из штаба полка по фамилии Пригоршня, человек неослабной храбрости, постоянно просившийся из штаба в строй. Сейчас, глотая завистливую слюну, он думал о Дорофееве: вот кому везет!..

— «Сию атаку, — читал Дорофеев, — наисовершеннейшим образом произвести, и всякий, к своей чести, усердие наиспособнейшее пусть да промысли, чтоб славу россов и честь их удержать и возвеличить».

В атаку на Галльские ворота должен был идти гренадерский полк, поддерживаемый двумя батальонами пехоты и иррегулярной конницей — казаками. Атака назначалась на сегодня, в два часа пополудни. Это не будет атакой по всему фронту. Как и сказал адъютант, общий штурм назначен на завтра, на семь утра, согласно сигналу: тремя бранскугелями, горящими бомбами, вверх. Но это было то, чего так страстно жаждал капитан Дорофеев! Он первым ударит в генерала Гюльдена, в Галльские ворота, в бастионы!..

И ему уже не важно было знать — передал ли адъютант его мысль графу Чернышеву или мысль о нападении на Галльские ворота самостоятельно пришла в голову Чернышева. Даже, пожалуй, лучше, если пришла! Почему, действительно, капитан должен опережать замыслы полководца? Хорошо и то, что они думают согласно и в одном направлении.

Прочтя приказ, капитан вспомнил о невесте: надо бы письмом написать, ответить ей, мало ли что может случиться. И

вспомнил о невесте, он вспомнил и «литавренную повозку», в которой возили золотое знамя конногренадер и которая была украшена наверху деревянной вызолоченной статуей Минервы с копьем в руке и шитом в другой. Минерва, полная, сладостная и пышная, походила на его невесту, Марию Александровну... Но где теперь писать ответ, когда через час атака?

И капитан сказал штабному офицеру Прирошпе:

— Прошу князя прислать литавренную повозку со знаменем.

— Зачем?

— У нашего эскадрона, — с гордостью сказал Дорофеев, — порода такая, что он привык воздвигать на взятом укреплении золотое знамя.

— Пойдем, Плешаков? — спросил офицер.

— Я позже, — подумав, ответил аудитор. Аудитор Плешаков рассчитывал: атака — опасная, в прошлую атаку капитан Дорофеев получил шесть ран, сегодня он может получить шестнадцать. Аудитор совсем не желал смерти капитану, — по своему аудитор был честный человек, — но каждый имеет право предполагать, что, получив двадцать две раны, офицеру придет мысль уступить, наконец, свою «Красавку» более здоровому наезднику...

Барабанички выстроились позади шеренг, флейтчики продули флейты, пластуны ползли к немецким окопам снимать караулы — атаку предполагали сделать внезапной, из оврага прямо на высоты, прямо к Галльским воротам.

Был час дня.

С востока молчаливо и надменно, похожие на курганы, шли тяжелые тучи. Легкий ветер крутил золотые искры хвои, и серая опрада, ворота и бастионы вдали казались косматыми, зловещими.

— Кабы дождь да буря не помешали... — пробормотал Нефед Лепкин. Он укреплял носилки капитана. Их, ввиду боя и отчаянной, трудно проходимой дороги, понесут четверо возчиков. Денщик Афоня и сам Нефед определены охранять капитана.

— Без бури не обойтись, — отозвался денщик, — я еще ее упрям приметил. Да, авось, справимся до бури.

— Справимся, — сказал капитан.

Денщик завил напудренные волосы капитана в букли, убрал в косу, оплетенную черным кожаным ремнем так, что бант пришелся на самом воротнике. Затем он надел на левую ногу сапог, — правая была повреждена штыком и находилась в лубке, — выправил, согласно артикулу, белые штабель-манжеты на четыре пальца выше сапога, полюбовался, как он их гладко накрахмалил, и спросил:

— Вооруженье какое прикажете носить, батюшка?

— Шпагу. Пару пистолет, Бодро действуй, Афоня!

И он быстро спросил:

— Седлай «Красавку», пистолеты в ольтры вложил?

Аудитор охнул:

— Кирилл Федорыч! Да неужель ты «Красавку» под бомбы поведешь?

— А что она лучше людей?

— Коня персидской крови — под бомбы? Добро б в сражении на нем, а то для красоты ведешь.

Капитан сказал, проверяя пистолеты:

— Красота в жизни тоже не репейник. Без красоты жизнь будто колос с головней: раскореешь, зерна будто все, а раздавишь зерно — вместо муки черная пыль. Нет, «Красавку» в бой за мной пойдут... вместе с музыкой, сударь! Вы, судари... — обратился он к поручику Соколову и подпоручику Кречетникову, — к месту!..

Было около двух часов дня.

У подножия холмов, на которых расположились немецкие войска, взметнулось махрово-красное пламя, и пенный дым, подхваченный сырым ветром, на время закрыл от взоров Галльские ворота и бастионы. Горели стога сена, которые зимой предстояло ошипывать королевским оленям. Послышался смех. Веселье охватило гренадер. Это пламя означало, что пластуны сняли немецкие караулы, прикрывавшие холмы.

— Вперед, с богом! — вполголоса, точно он уже находился у окопов, сказал капитан. — Виват, Елизавета!

— Виват! — тоже вполголоса отзывались гренадеры.

И не оглядываясь на своих коней, которых они оставили в лесу, гренадеры углубились в кустарники, а оттуда спустились в овраг, заросший высокой травой и смородинником. По дну оврага, постепенно углублявшегося, вился ручей и лежали отполированные камни, красновато-розового цвета, похожие на большие капли сургуча. Смородинник сменился ивами, ручей рос и серебристо стучал в камнях, как сердце. Округ, кроме ив и травы, ничего не видно, закрыто, будто попали в погреб, и все же они чувствовали себя веселой и веселой. Выскочил из травы заяц, присел возле камня, глядя на солдат вытаращенными глазами. Кто-то соблазненное прошептал:

— Эх, ты, сермяга!

И заяц, словно приняв это слово за брань, подпрыгнул, дрыгнув задними ногами, и скрылся в траве.

Небо над оврагом было обрюзглое, чахло-серое. Ивы слабо качали свои ветви, и узкие листья их походили на золотые кусочки слюды. Штыки задевали за ветви. Гренадеры наклонялись, приближая лица к гранатам, которые лежали в их руках, словно камни, подобранные в овраге. Слышалось тяжелое дыхание: ведь,

помимо патронов, несли и по три гранаты каждый, а в ней одной почти десять фунтов весу!

Впереди эскадрона, показывая дорогу, шли пластуны, бородастые казаки с кирпично-красными лицами, очень озабоченные. Попалось несколько немцев, зарезанных этими пластунами. Немцы лежали, уткнув головы в кусты, поджав тонкие ноги.

Капитан посмотрел в лица своих носильщиков. Они были потные, но веселые, словно не в овраге они идут, а по чистому полю, среди колосистой пшеницы. Сутулясь, они шикали на воробьев, которые вдруг, как горох, сыпались из-за ив. Среди желтой листвы воробьи казались забавными, светлوزелеными, а глаза — фиолетовыми. Но вот с вершины оврага дхнуло пряным теплом, должно быть, проходили неподалеку от горевших стогов сена. Лица посторожали.

— Служба! Дай понюшку, — хрипло сказал один из пластунов. На него зашпикали, и он замолчал.

— Прибавь шагу! — прошипел капрал. Мелькали штыки, медные щитки на шапках, медная пуговица на епанче плаща капрала, черная патронная ладунка Нефёда Лепкина, медная бляха на крышке гранадерской сумы, где лежат гранаты. Как много меди! Какие сильные, крепкие люди, и в бой-то они идут, словно на свадьбу!

От быстрого шага носилки качались. Капитан придерживался за край носилок, поправляя свисавшую то-и-дело епанчу — плащ, которым были прикрыты его ноги. От солдатских сапог летели на епанчу куски темной, густой глины.

— Здесь!

И пластуны остановились, наивно озираясь, будто не веря, что привели эскадрон в самую средину холмов, в средину немецких войск. Слышалась чужая речь. Сердце у капитана тяжело и радостно заколотилось, словно выбиваясь из-под свинцовой крышки. Он взвел курок... забил барабан... засвистала флейта...

— Ура-а!

И оврага как не было!

Открылась вершина холмов, зияющая ямами. Из ям высказывали немецкие солдаты. Только часть их успела разобрать ружья, а остальные, бросив свое вооружение, кинулись к подземному мосту Галльских ворот. Топча солдат, мчались к мосту длинные немецкие фуры, а одна, запряженная четверкой, понеслась навстречу русским, и рослый белолицый немец, опустив возжи и раскрыв широко рот, рыдал в ней во весь голос. Лошади, словно слепые, летели в овраг... дребезжание... вопли...

Свирепым, широким шагом, держа в легкой согнутой руке гранату и непрестанно дуя на фитиль, от которого подымался легкий дымок, пахнувший селитрой,

шли гранадеры, втаптывая в землю немецкий лагерь. Гранадеры хотели успеть попасть вместе с немцами на мост, пока тот не подняли. Гранадеры торопились, и все же они шли, не теряя строя.

Капитан с восхищением глядел на них. Один из учителей шляхетского корпуса, где обучался Дороев, часто говорил им о междустолбии. Капитан вспомнил сейчас его круглое, как сито, лицо и бездонное сияние добрых глаз. Междустолбием называется правильное расстояние колонн здания одна от другой, для чего есть особые правила. Но есть и основной закон, который заключается в том, что чем колонны массивнее, тем они ставятся реже, а чем тоньше, тем ближе одна к другой. Вот — немецкие солдаты. Тонки они, тонки! Они и убегают-то даже толпой. А вот — русские. Рослые, могучие, — а в гранадеры подбирают особенно рослых и могучих, — идут они на приличном расстоянии друг от друга, словно колонны античного храма, держа в руках темные тяжелые шары, похожие на кадиальницы...

Но ближе к мосту немцы, подавив в своих рядах смутение, оправившись. Они выстроились и открыли частый ружейный огонь. Батарея с правого насыпного бастиона попыталась очистить противолежащие ей высоты, занятые теперь русскими. Бастион пытался управлять полем боя. «Так я и думал, так я и думал, — весело глядя на огоньки батареи, бормотал капитан, — Вот ворота проломим и до тебя доберемся».

И словно подхватывая его мысль, русская «демоншир батарея», а по-солдатски, «сбивальная» ударила по бастиону. Тотчас же одно из ядер подбило немецкое орудие. Прислуга орудия бросилась в разные стороны, и небольшая собачонка, пемзового цвета, визжа, забежала от артиллериста к артиллеристу, видимо, не зная к кому пристать.

— Не расстраивать, братцы, линии! Не расстраивать! — кричал капитан, глядя на мерно шагающих, как сеятели, гранадер.

Линия не расстраивалась, несмотря на то, что немцы стреляли упорно и метко. Падали. Стонали. Подбегал ширококулый лекарь. Уносили. Вставали. Шли вперед. Бросали гранаты. Снимали фузеи, стреляли. Линия не разрывалась, а все ближе и ближе подходила к мосту.

Немцы, пятясь, с ужасом глядели на этих великанов, похожих на пушки, вставшие дыбом и несущие в лапах своих дымящиеся гранаты. Солдаты выкатывали белки глаз, а офицеры фридриховскими палками били солдат по плечам, издали походя на разозлившись старух с подпрыгивающими седыми косицами.

А на бастионе от нервной торопливой пальбы уже разорвало несколько орудий. Русские отвечали на это криком «ура», думая, что орудия разорвало нашими яд-

рами. Капитан тоже кричал «ура» и хотел до боя над опнувшими орудиями, хотя он и знал истинную причину этих разрывов. Фридрих не любил артиллерии: она мешала стройности вахт-парада. Пушки поэтому лили у немцев из чугуна, а не из дорогой оружейной бронзы, для которой требовался сплав из девяноста процентов меди и десяти процентов олова. Чугунные же пушки мало прочны, тяжелы, а от шлака в чугуне, ржавчины и раковин часто разрываются... И разве это не смешно?

— Ха-ха-ха!..

Рослый вороной скакун вынес на мост самого генерала Гюльдена. Генерал был в хрупко розовом мундире, белых штанах, а на голове скакуна качался киноварно-красный султан. Огладев поле сражения, генерал крикнул какое-то слово, отодвинул коня к перилам, и мимо него, сверкая длинными палашами, в желтых шалках и лаатах, прямые, как снопы, поскакали кирасиры.

— Респект, уважение от нас им дать, братцы! — покрывая своим криком весь шум сражения, заорал Дорофеев. — Держись, Фридрих!

Новость откуда появились казаки. Впрочем, в стычку с кирасирами они не вступили, а ловко разбросав вокруг гренадер колющие рогаки, — нечто вроде козел, — ускакали. Гренадеры, положив фузеи на рогаки, встретили кирасир огнем и гранатами. Кирасирские кони вздыбились, понесли... Поручик Сокорев подбежал к капитану, прося позволения отбросить рогаки и взять немца в штыки. Он быстро, жарко дышал и покрой его кафтана уже не походил на покрой полотнца, а скорее на крылья... Несколько утомленный волнениями, непривычным положением, в котором он принимал бой, капитан Дорофеев попрежнему чувствовал себя счастливым. И глядя в сияющие счастьем глаза поручика, и видя счастье на обширных лицах солдат, и смотря на опрокинутых кирасир и черные крупы убегающих на мост коней, капитан сказал:

— Поздравляю вас, поручик, с отлично ведомой батальей. В штыки, ребята! На мост!..

И тяжело утраченным басом он прокричал своим носильщикам.

— А вы чего смотрите? Тащите меня к мосту, дьяволы! Али селезенки подвело?.. Ура!..

— Ура-а!..

Дальнейшее Дорофеев помнил обрывками, словно он в суете сбился со счета или впал в забытие. Но счет своим солдатам, их поступкам, даже их движениям он вел хорошо и в забытие впал однажды, напоследки...

Помнил он, как яростно раскачивалась его люлька, как откуда-то сбоку выскочили два немца с судорожно искривленными ртами. Немцы присели, увидев его пи-

стоlet, присели и его носильщики. Он выстрелил. Его понесли дальше.

Стены бастиона, ворота, половинки которых были окрашены суриком, приближались.

Стараясь выкричать переполнявшую его озорную радость, он повторял команду по несколько раз... и во время одного из этих выкриков ему показалось, что он слышит позади себя, в отдалении, детский чудно чистый голосок. Неужели это ты, девица великого герба Долматовых? Откуда появились, сударыня, Анна, Аннушка? Как вы попали в бой? «Женщине, а тем паче девице воевать отнюдь не подобает», — всплыли слова адъютанта. Он пригляделся. Никого!..

Капитан посмотрел на ворота, на ограду из битой земли с торчащими из нее плитами песчаника, засиженного птицами.

— Бодро!

Наши подкатывают малые «единороги» и беспрестанно крупною картечью бьют в реданты, построенные немцами перед мостом. Доносится дребезжащий стук ядер, ударяющих в половинки ворот, что цвета сурика. Немцы, оставив, наконец, реданты, устремляются на мост. «Следом, следом!» — торопит капитан: — Не дать им, чтоб мост подняли! Ребятки!..

Доски моста покрыты жидкой грязью. Из-под сводов несет сыростью и навозом. Скользя по грязи, несколько самых шустрых гренадер влезают на мост вместе с немцами. Они пробивают дорогу штыками, прикладами... Надо пробраться к вороту, которым поднимают мост, перебить прислугу, а буде возможно, оборвать цепи.

В большой зале возле ворот, у цепей-схватка. Гренадер пронзил штыком немца, который не отходил от ручки ворота; и, не падая своей жизнью, а немецкой тем более, бросил дымящуюся гранату в мостовые цепи, через узкое отверстие по жолобу выползающие наружу. Граната шипит. Гренадеры — все же решив спастись от взрыва — отступают к дверям. Умирающий немец зубами вырывает фитиль из гранаты, сует его в жолу жолоба... Схватка начинается снова. Гренадеры возвращаются в замку. Они падают один за другим. Ворота крутятся. Цепи медленно ползут, таща на себе потухший фитиль гранаты. Мост начинает отрываться от стенок рва. Из рва пахнет илом и кровью.

— Коня! Какого коня, дьявол, — «Красавку»!

Усаживается капитан в седло с трудом. Он опирается одной ногой в стремя, а другую в лубке вытягивает вперед, как пику. Наездник он хороший, да и конь понимает его.

Денщик Афоня крестится и со штыком наперевес бежит за «Красавкой».

Мост скрипит, крикает железным голосом, и в утробе его что-то глухо отдаст-

ся. Огромный, похожий на уют, он отошел от земли на добрый аршин, и «Красавка» чувствует, что ей не вспрыгнуть на мост, да если и вспрыгнет — седок не удержится. Конь, униженный, ржет, перебирает копытами, рвет зубами помост... и капитан, бросив поводья через голову коня, валится, к счастью, на здоровую ногу.

Когда он поднимает голову, он видит рядом с собой денщика Афоню, двух своих носильщиков и неизменного Нефёда Лепкина. Появляются еще гранатеры, которых ведет подпоручик Кречетников. Надо выручать наших, которые дерутся возле ворот!

— Ну, держись! — строго, отрывисто и громко говорит капитан Дорофеев.

Он разряжает в немцев пистолет и хватывает шпагу, ту шпагу, у которой световишневый с золотой нитью темляк и на клинке славянской вязью надпись: с одной стороны — «Виват, Елизавета Великая», а с другой — «Богу и отечеству».

Идет капитан, держась одной рукой за руку Нефёда Лепкина, идет, не спуская с немцев глаз, идет бесшумно по скользкой сырой покатости. Глаза его — безумны, язык облизывает губы. Он бормочет первые пришедшие в голову слова, которые до известной степени попадают в такт отчаянно скрипящим цепям моста:

— Баю-баюшки-баю... баю-баю-баю!..

Боль в разбитой ноге чудовищная, чужости от боли нельзя соединить, и рот кажется широким и сквозным, как сеть. Он втягивает в себя воздух — и вытягивает шпагу. Падает немец, тревожно суча ногами, из кармана камзола его вываливается курительная трубка. Он бьет второго...

Мост рвануло сверху.

Капитан встал на колено. Он тычет и тычет с колена шпагой до тех пор, пока к нему не приближается чья-то прилизанная голова с низко расположенными ушами. Голова вопит по-немецки. Капитана бьют — прикладом — в левую руку и ногу, он собирает последние силы, отпрыгивает и весь замирает от нестерпимого ужаса... Он падает...

Падает он с моста на растянутые внизу епанчи, плащи гранатер, которые стоят на краю рва, под пулями и ядрами.

Капитана несут, а он кричит:

— Ребятунки, на правый бастион!..

Ему хочется объяснить, почему надо теперь штурмовать правый бастион. Но тут ему становится так больно, что из глаз катятся слезы, ледяные и тяжелые, словно пули. И все-таки он не в забытье, разве что — в полубытьи. Ров, Палисад. Труп немца, у которого лицо повернуто к спине — будто флюгер... Флюгер на бастионе. Бастион? Через горжу взяли?

— Через горжу? — шепчет он.

— Через горжу, батюшка Кирилла Федорыч, — отзывается откуда-то далеко денщик Афоня. — Взяли через горжу!

— Говорила: через...

«Горжу» он не успевает добавить. Вот теперь-то он действительно в полном забвении.

Беспамятство его длится недолго, минут пятнадцать. Никогда!.. Он открывает глаза. Надо отдать приказание — если не взяли, то надо сжечь мост. Он чихает. Голова удивительно чистая и ясная, только гудящая, как шершень, боль в ноге, да левая рука словно вшита во что-то промоздкое, вроде шкафа... Зажечь мост, чтоб немцы не ударили нам во фланг, раз мы не сумели взять мост. Соломы! Смоля!..

Саперы уже возвращаются от моста с бранью, почти удушливой. Раньше он посмеялся бы такой брани, но сейчас не до смеха. Мост зажечь не удалось, материал сырой, не занимается пламенем. Изрубить тоже нельзя: с обеих сторон обит толстыми сваями... Так он и застрял в двух аршинах от земли, а с него свисает мертвая голова немца, которого капитан проткнул перед тем как упасть; та самая голова, что прилизана и с низкими ушами...

— Водки.

Ему подносят серебряную чарку, и он слышит приятный ласкающий голосок:

— Виват, сударь!

Лебедино-нежное прикасается к его щеке, к тому месту, где оканчиваются прямые, как стрелы, навошенные усы. Он глядит в ее глаза, и они ему кажутся большими, как чаши. Анна? Аннушка из великого рода Долматовых? Ему надо бы сказать: «Женщине, а тем паче девице» не след воевать». Но разве поцелуй — война? О, еще какая!

— Молчите, сударь, молчите, вам приказано молчать, — шепчет, пришептывая, девушка и бежит к широкоскулому полковому лекарю, карабкающемуся на бастион.

Затем он видит, что Нефёда Лепкина кладет свои необятные руки девушке на плечи, и она прячется за палисад. Немцы шумят, идут на бастион; пестрые ядра неутомимо толкутся. «Двадцать второй... двадцать третий», — это Нефёда считает немцев, которых ему сегодня удалось уложить. Считает он плохо, арифметика не его наука, но десяток-то он уложил наверняка. Он давно разорвал ворот рубахи, расстегнул камзол... Вот так страда во славу россов, помоги нам господа!

Атака немцев отбита. Капитан слышит звук литавр. Он кладет голову на край носилок и смотрит с бастиона вниз, через ров. По недавнему полю боя, с которого убрали еще не всех раненых, едет полковая «литавренная повозка». Знамя еще не развернуто и укреплено древком у передка. На повозке стоит литавщик в парадном мундире. По пояс мокрый от усердия,

он бьет в литавры и глядит в небо. Там жадные, мрачные и тупые тучи. В воздухе пряная духота. Быть ливню! Успеть бы до бури. И литаврщик бьет, бьет, а позади повозки, закатив от восторга глаза, заливаются барабанистик такой дробью, что отдай душу — и мало! Хлопают сапоги подпрапорщика Киселева, сопровождающего полковое знамя. Пахнет от рвов тиной, порохом. По красному фону повозка украшена деревом с позолоченной резьбой, а над балдахином — вызолоченная статуя Мисервы, конечно, с копьем в руке и щитом в другой, на кого-то страшно похожая, но на кого — капитан не может вспомнить.

Повозка останавливается у стен бастиона. Подпрапорщик Киселев быстро и ловко развертывает знамя из китайского шелка с разводами. Оно — белое, с красными флемами. В середине — парящий двуглавый орел. Под ним — арматура из гренадерской амуниции и оружия. Над орлом в облаках и сиянии золотой вензель императрицы, а по углам, на флехах — пылающие гранаты, а внизу крупными рубиново-красными буквами: «Санкт-Петербургский конно-гренадерский».

— Салютацию! — слабым голосом говорит капитан.

Над бастионом у Галльских ворот развернуто знамя российской армии. Гренадеры делают ему салютацию ружьем, а капитан Дорофеев поднимает шпагу.

Начинает накрапывать дождь. Через полчаса он льет на бастион с такой силой, словно годы ждал. Не до сражения теперь! Гренадеры пользуются дождем, втаскивают сюда на веревках малые «единороги», чтоб встретить немцев уже не из ружей, а картечью.

Темнеет быстро. Дождь и ветер не прекращаются. Так как на утро назначен общий штурм, то армия под дождем и ветром стоит с рукою на ружье. В три часа ночи 9 октября начинается бомбардировка. Она продолжается недолго, около часу.

Дождь утих. С трудом раздули костер. Капитана знобит, но он в том не сознается. Он смотрит на мокрые, блестящие сапоги солдат, в которых отражается пламя костра, и ему хочется поближе к огню. Голова попрежнему ясная, и если б не озноб, он был бы совсем счастливым.

— Только б тебя, батюшка, не сглазили, — бормочет где-то в темноте, рядом, денщик Афоня, — а там выздороветь чего стоит.

— А ты как?

— Я?.. Я — ничего. У ярославца, коли шаровары целы, выживет.

— В грудь, навывлет, — доносится голос широкоскулого лекаря. — Выживет.

Лужи на куртинах светлеют. Пятый час, но армия вся на ногах, надела чистые рубахи и смотрит в небо: сигнал тремя горящими браконкутелями назначен в семь, но

кто его знает?!. Хорошо вокруг. Воздух свежий, звезды, словно вымытые, ягряют, как мальчишки весной, в лужах.

Вдруг в пятом часу с грохотом, визгом и свистом падает подъемный мост. Капитан подскакивает на носилках. Атака? Неужели генерал Гюльден осмелится после такого урока?!

При алой заре, не закрывающей очарованного блеска звезд, на мосту показывается трубач. Белый конь под ним стоит, опустив голову, и сразу понятно, о чем будет трубить прусская труба.

Дорофеев слышит голос трубача, который плохим русским языком читает кому-то письмо коменданта Берлина генерал-лейтенанта Рохофа:

— Комендант согласен капитуляцию учинить, причем, и депутаты города Берлина при сем следуют.

В семь часов утра через все берлинские ворота в столицу вступают русские войска. Конно-гренадеры маршируют через весь город к Королевскому замку. По дороге они выпускают из заточения пленных и заложников, снимают в гауптвахтах караулы.

Где же немецкие войска прославленного Фридриха? Оказывается, ночью 8 октября, действительно, заседал прусский военный совет и, действительно, принц Вюртембергский внес свое предложение о немедленном нападении на русских. Но генералы предпочли убежать. Военный совет отклонил предложение принца, и, наоборот, генерал Гюльден был первым, кто голосовал за отклонение. Военный совет постановил: немедленно, под прикрытием ночи, начать отступление всеми силами в направлении Шпангоу. И немцы побежали, бросая оружие, повозки, бросив все драгоценности и золото королевства...

— Ух, соснуть бы! — зевает Дорофеев, слушая рассказ адъютанта Ислентьева.

— И спи. Кто тебе мешает? Поставим караул у дверей. Спи, Кирилл.

И капитан Дорофеев засыпает. Спит он, плотно сжав губы, с таким выражением лица, точно хочет чихнуть. А ему и, правда, хочется чихнуть. Зала в Королевском замке, где он спит, велика и обширна, но в ней почему-то пахнет чадом и паленой шерстью. Однако спит он долго.

Подвечер четыре гренадера в парадных мундирах несут его на носилках через весь город. Можно было бы найти коляску, но он привык к носилкам, и ему в них кажется покойней. Гренадеры шагают быстро. Берлинские обыватели удивленно смотрят на этих великанов, а того удивленной на великана, лежащего на носилках с таким счастливым лицом.

Подводы с золотом двинулись в путь, когда капитан спал. Но вряд ли они далеко ушли. Груз тяжелый. Золота много. Конtribusiя с Берлина — полтора миллиона талеров, то-есть больше, чем полное годовое содержание всей российской

армии. Это заплатил только один Берлин, а то ли еще заплатит Фридрих, когда его поймут?!..

На берегу Шпрее гренадеры заклепывают немецкие пушки и скатывают их в реку. Другие сложили огромные костры из ружей и жгут их. Рядом, на площади, у эшафота палач палит «печатные письма», которые составлял Фридрих против русских.

— Бодрó, добротнó, — бормочет Дорофеев, вглядываясь вдаль. — Неужели не догоню? Ну и ты хорош, Лешкин. Поволил же: разбудить!

— Я будил, да ты, Кирилл Федорыч, rugался...

Миновали Галавские ворота. Караул, наполовину из казаков, наполовину из австрийцев, отдал честь. Спросили про обоз. А вон, в лес входит...

Обоз шел медленно, по спицы увязая в песке. Ящики с золотом из темных дубовых досок, похожие на детские пробки, прикрыты рогожами. Возчики, держась рукой за грядку, другой похлопывая прутом, одеты в сермяжные кафтаны с синими воротниками с обшлагами. Лица у них обданные, простые, точно они везут не золотые слитки, а дрова. Такие же обданные и простые лица у казачьего конвоя, и только пять офицеров, сопровождающих сокровища прусского короля, построены более торжественно. Они гадают о балах и танцах, которыми, несомненно, встретит Петербург ошеломляющее известие о взятии Берлина русскими.

На одном из ящиков сидит, закутавшись в тулуп, девушка. Возле нее дремлет, покачиваясь, старуха. Девушку взяли попутчицей, до Варшавы, по просьбе капитана Дорофеева. Начальником обоза назначен Ислентьев — адъютант Чернышева, а помощником ему — аудитор Плешаков, о котором в приказе сказано, что он назначается к этому месту как «знающий не только военный, но и естественный закон».

Услышав голос Дорофеева, девушка сбрасывает тулуп и кричит мальчишеским

звонким голоском, которым она кричала вчера, во время боя:

— Виват, капитан!

Дорофеев поправляет на шее парадный шарф из черного шелка с золотом и несколько раз кивает ей головой. Он смущен, и слова застревают у него на губах. Помолчав, он отзывает аудитора Плешакова в сторону и говорит, указывая на «Красавку», которую ведут за ним.

— Твоя. Только доставь девушку к отцу... чтоб никто, понимаешь, и пальцем... Я поклялся... честь офицера... чтоб никто и пальцем... понимаешь? Надо быть учтивым и показать... им... — И он делает широкий жест рукой, словно показывает учтивость свою всему миру. — А иначе... отдам Ислентьеву!..

— Господи! Батюшка, Кирилл Федорыч, да я... — и у Плешакова от неожиданности выступают слезы. — Мне? «Красавку»? Да я ее, девицу эту, прямо в рай доставлю... Дозволите сейчас взять «Красавку»?

— Бери.

Девушка наклоняется к нему с воза. Кто знает, может быть, она еще раз хочет поцеловать его, но он смущенно протягивает ей руку, и она жмет ее своими тонкими маленькими пальчиками. Обоз трогается. Трогается он сначала тяжело, но затем идет легче и когда исчезает в лесу, то кажется, что идет он наплавом, когда весла в лодке перестают действовать, и движение лодки, если и продолжается, то продолжается от приобретенной уже скорости.

Она обернулась. И он глядит ей вслед. Но их уже разделяет сильно потемневший лес. Им грустно, и они продолжают глядеть на этот стройный, смиренно шепчущий лес. Любовь? Едва ли. Дружба? Да нет, пожалуй, что-то сильнее и крепче дружбы. Этому чувству, которое испытываем мы во время битвы, до сих пор еще не подыскано определение, и мы назовем его пока — песней боя, песней нашей отчизны.

13 февраля 1945 г.

ДАВИД-СТРОИТЕЛЬ

Исторический роман*

КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

Перевод с грузинского Элисбара Ананишвили

★

36

ЦАРЬ НИЩИХ И ОБЕЗДОЛЕННЫХ

Не зная усталости, неслись кони по склонам холмов; ветер развеивал длинные гривы, свистал в зубах замков, воздвигнутых на самом краю отвесных скал, шумел морским прибоем в верхушках елей и сосен. Где-то в горах мякала рысь.

Тяжело вооруженные ратники следовали за крестоносителем и державным знаменем. Пар валил от разгоряченных копей. Грязносерые тучи спешили на запад, глухари кричали в ущелье. Горный волк, испуганный стуком конских копыт, остановился над обрывом, завыл и кинулся в провал. Стая его собратьев поднялась в редком лесу, пустилась за ним с боем и визгом.

По свежавыжженному, вспаханному в лесу починку проскакали лошади. Давид почувствовал запах земли, вздымавшийся от пашни. Он скользнул взором по веренице волов, тянувших плуг, окрикнул взволнованную волчьим боем Сквиттия и направился по просажку, что зал к обрыву скалы.

— Не поздно ли уже пахать? — спросил один из ратников.

— Это на будущий год, — ответил всадник, скакавший рядом.

Пахарь, подняв голову от плуга, сняв шапку, тщетно пытался опознать среди передних всадников царя — все одинаково были накрыты шеломами ястребиного цвета.

Ущелье открылось перед взором Давида; ясно видел он на противоположном склоне людей, привязавших себя бечевками к скале и борющихся мотыгами с землей на самой крутизне.

Немолчно шумел поток на дне ущелья. На булыжниках его русла трудился над лошадиным трупом бурый медведь со своими медвежатами. Хапотавые сороки кричали на них сверху, с берез.

Мирный колокольный звон доносился из приютившихся между скал деревень. Всадники молча осенили себя крестным знаменем.

Не было видно конца дороги на запад.

На рассвете, выехав из замка Вахани, выбрались всадники из гор на равнину. Белые церкви венчали вершины зеленющих холмов, по ту сторону суровых замков громоздились стогами белые туманы. На пригорках цвели черешни.

Царь глядел на пашни, раскинутые в ложинах вправо от ущелья. Среди зеленющих всходами полос они казались шахматной доской.

Ласточки резвились в безоблачном небе. Теплом и прелестью весны встретила всадников равнина.

И все же нахмуясь сидел в седле Давид.

Шергил Липартиани скакал по левую руку от царя, тщетно он старался рассеять его печаль.

«Уже начинается Имеретинская равнина, жители многолюдных сел и городов будут встречаться на пути, не подобает показывать им опечаленное лицо», — так хотел сказать своему царю Шергил, но не набрался смелости.

Пораженный в самое сердце потерей Иниани Вакуриани, всю дорогу от Джавахети до Имеретинского нагорья Давид проехал так, что ни разу никто не заметил улыбки на его лице.

Долго ужинали в замке Вахани. Но лишь горсточку кумели отведал Давид. Перед сном он истово помолился.

Когда отъехали от крепости Вахани, морщины на лбу царя разошлись, спокойно взирал он на водопады, свесив-

* Окончание. См. «Новый мир» №№ 10, 11 — 12 за 1944 г. и № 1 за 1945 г.

шиеся со скал, отвесная круча напоминала здесь замки, а еще более — дворец дэвов-великанов;

Кони трусили попарно по кремнистой тропе, издавая время от времени отрывистое ржанье.

Медлительно вздымались орлы и кружили над ущельем.

Липартиани взглянул на молчаливого царя и подумал:

«Необычайный человек! Всегда без слов борется с тяжестью, обременяющей его сердце.»

И вспомнил его же слова: «Шергил, никогда не должен мужчина говорить о горе, страхе и смерти. От упоминания лишь усугубляется недуг».

Одинокое дерево, выросшее на крутизне, виднелось на противоположной стороне ущелья; из расщелины под ним обрыва высовывались извилистые корни, похожие на змей.

— Как ты думаешь, Шергил, что это за дерево растет там над кручей? — спросил царь. Шергил взгляделся.

— Не догадываюсь.

— Дзелква, — сказал Давид, и спокойная улыбка пробежала по его устам. — Ты, вероятно, заметил, от рубежей Средней Карталинии и до этих мест всюду встречалось нам это дерево. Очень хороша для копий и дротов дзелква. Дерево это неуязвимо, оно стойко выдерживает и мороз и великий зной — потому и не вредят ему вихри, проносящиеся между Понтом и Каспийским морем.

Шергил обрадовался: наконец-то заговорил подавленный печалью повелитель — и ответил охотно:

— Сдается мне, и на плуги годится это дерево.

— А еще лучше для постройки кораблей и для арбных колес. Рассказывал мне Махара: на дыбу из дзелквы вздернул дед мой Баграт сына эристава Внутренней Карталинии, Ваче Абазидзе, того, что сражался вместе с Липаритом Третьим против царя в Сасиретском лесу.

— Значит, и для казни изменников годна дзелква! — воскликнул с улыбкой Липартиани. — Жалко, что не растет она ни в Карталинии, ни в Кахетии?

— Не беда, я велю привезти это дерево из Имерети... Кахетинцы будут им обеспечены, а случится нужда, достанем и на долю картлийцев.

Давид осадил внезапно метнувшегося коня. Село, раскинувшееся в долине, открылось перед всадниками; весь народ, от мала до велика, высыпал из домов, столпился у мельниц.

Шергил задержал своего коня, чтобы в бронеюсном рыцаре, следовавшем за

крестоносителем и царским знаменосцем народ признал своего государя.

Тем временем Джоджики, сын цхумского эристава, догнал Шергила Липартиани.

— Трудно понять душу нашего молодого властелина, — сказал ему Липартиани, — в Рустави поразил он нас с Нианиа своим необычайным спокойствием, а в Джавахети разъярился, словно гепард. Ты видел, с каким воодушевлением сражался он, когда мы на рассвете ворвались к сельджукам в Тухарийский замок. Стальная кольчуга его была красна, как вино. Недаром так любит он дзелкву; что среди деревьев — дзелква, то царь Давид — среди людей.

— Утрата Нианиа разъярила царя в Джавахети, — сказал Джоджики.

Едва сдерживая коня, возбужденного криками толпы, Давид вел его шагом, приветствуя народ.

С болью в сердце глядел Давид на вымазанных в жидкой глине, увядших женщин, на детей, теребивших сморщенные, как высохший инжир, сосцы матерей, на стариков и нищих со всклокоченными бородами и ввалившимися щеками, желтых от голода.

По ту сторону сплетенных из прутьев изгородей стояли молодые люди, они прикрывали наготу мешками из грубого рядна. Вместо домов торчали обломки погребенных под землей пепелищ, лишь погребца — марани уцелели в некоторых дворах. Пострадали от пожара даже деревья. Под единственным грушевым деревом хозяева поставили сплетенную из прутьев хату; трое детей и женщина хлопотали вокруг нее.

На глазах у всадников на плетеную калитку влетел петух. Красный как кровь гребень его свисал набок. Хлопнув огненно-красными крыльями, петух прокричал «кукареку».

Заметил Шергил: повеселело лицо у царя.

— Да будет благословенно в этом мире мужское начало, — сказал Давид, — в нем заключена сила возмездия, господствующая над золою пепелища.

Кони негромко ржали; на колокольне, на самой верхушке горы, звонил в колокола звонарь в черной чохе.

Уже въезжали всадники в ущелье Цхалпители. Взор Давида остановился на монастыре Сохастери. Болью отзывалось неприятное воспоминание: страдальческое лицо Русудан встало перед глазами Давида, вспомнился царевич Деметре — так и не знал царь, стало ли легче больному мальчику.

Тени ложились на склоны, из-за холмов доносился визг шакалов. Всадники пустили коней в галоп.

Заходящее солнце горело костром на куполе храма Баграта.

«Ничто так не пленяет глаз, как игра света на золоте», — подумал царь.

Уже вставал вдали Кутаисский замок.

Мысли Давида невольно обратились к Дедисимеди.

Выехав из деревни, царь пригляделся к стадам, которые пастухи гнали в заросли и в поле. Животные ели плелись по проселочной дороге. В роще тощие лошади с натертыми спинами лениво щипали весеннюю траву.

Из разрушенных землетрясением монастырей выбегали монахи с лицами желтыми, как воск, падали ниц на дороге, распевая псалмы; нищие, калеки и убогие подстерегали царя у въезда на хост.

Пели:

«Враги повержены впрах,
Мы же воспряли и ободрились.
Господи, продли жизнь царя».

Когда всадники оставили за собою горы и выехали на равнину, все чаще и чаще стали попадаться села, разоренные сельджуками. Порою лишь обугленные стены оставались от домов, построенных из каштанового дерева, а порою — одни закопченные трубы.

Кое-где хозяева уже возвратились на пепелища. Вишни цвели в садах — кроме них, впрочем, ничто не веселило глаз.

Давид остановил коня, обернулся к Шергилу и к Джоджики:

— Больше всего пострадали от сельджуков эти края, ибо здесь собирал царь Георгий свое войско в те годы. Как видите, небо судило мне стать царем нищих и обездоленных.

Недобрые вести привез царю в Тухарисский замок последний гонец, приехавший из Кутаиси. В самом сдержанном тоне написала письмо царица Мариам, но между слов все же скользило раздражение; не скрывала она, что не все во дворце шло так, как бы хотелось. «А возможно, — писала она, — придется мне в скором времени уехать в Византию.»

С грустью подумал Давид: ведь если уедет из Грузии царица Мариам, не останется никого, кто мог бы быть поверенным сердечных тайн его и Дедисимеди.

Но не дольше мгновения длилась эта печаль; вновь проснулась надежда в душе воина.

Там, где бессильной окажется проницательность женщины, должен проложить путь меч мужчины.

«Дедисимеди хотела сама написать тебе, — извещала Мариам, — но не осмелилась; разболелась голова у дочери зростава, всю ночь проплакала она.»

И еще сообщала царица: дено и ночью молитесь девушка о благополучном возвращении царя.

Вечер был тихий, всадники въехали в долину Риона, оставляя позади себя ветер.

Уже видны были смотровые окна Кутаисского замка; черешни цвели вокруг его стен.

«Да святится основание того дома, что служит тебе обителью, да святятся окна замка, из которых устремляется навстречу мне твой взор, назо».

Так мысленно говорил Давид — царь нищих и обездоленных.

★

Из Гегути прискакал в Кутаисский замок гонец. Нынче вечером, сообщил он, ждут возвращения царя из Джавахети.

Тотчас собрались Липарит, Рати и триалетские азнауры со всею свитой в Гегути — встречать царя.

Прежде, чем переправиться через Рион, повелел Давид Шергилу Липартиани: отвести войско в Гегути и ждать его там вечером следующего дня.

Взял с собою только царского оруженосца и вплавь на коне переправился через вздувшийся Рион.

В Кутаисском замке его никто не ждал. Когда стража узнала царя, звуки большого рога подняли на ноги людей, факельщики забегали по дворцовым лестницам. Начальник слуг с посохом в руке носился вслед за ними.

В палатах зажгли канделябры.

Весь вечер тревожилась царица Мариам: Дедисимеди исчезла куда-то. Слуги говорили, что видели ее на женской половине Багратова храма — одна, без спутника, отправилась она к вечерне.

Тотчас же по въезде в ворота замка покинул седло утомленный верховым путешествием царь. Бросив повод оруженосцу, сняв с головы шлем и подставив лоб сладостному весеннему ветру, пошел он медленным шагом по аллее дзельк и по цветнику; кругом стояли персиковые деревья, притихнув и безветрии — они были одеты в одежды прекраснее сомоновых. Листья плюща поблескивали при лунном свете.

С обнаженной головою шел по цветнику царь.

Персиковые розы чернели большими, темнорубиновыми чашами, алмазами блистали на их лепестках капли росы.

По заросшей плущом стене замка ползли вверх цветущие растения. Слово снежные хлопья выделялись цветы на металлическом фоне плуща.

Царь остановился. Призрачная фигура в белом выступила из тени туговой

аллеи. Завидев Давида, она подбежала и, по-детски радуясь, охватила руками шею рыцаря.

Долго сидели под сенью тутовых деревьев призрачная фигура в белом и рыцарь в броне.

Девушка долго не могла выговорить ни слова, лишь плакала беззвучно, опершись на плечо Давида.

— Почему ты плачешь, назо? — спросил ее царь. Но испуганная девушка не могла шевельнуть языком, чтобы приступить к страшному и необычайному рассказу.

Давид взял девушку за подбородок и ласково приподнял ей лицо. Лунный свет заиграл на прекрасных обрызганных слезами щеках.

37

ОБ УСМИРЕНИИ ЭРИСТАВОВ

— О спокойствии Картли¹, об укреплении пределов наших, об усмирении эриставов и князей, об изгнании врага, об утверждении христианства господу богу помолимся..

Так возгласила абхазский католикос перед алтарем и обратил взгляд к царю, сидевшему на возвышении под святыми образами. Златотканная мантия с разноцветной бахромой была на Давиде, на голове его красовался венец «злата червонного, усеянный яхонтами и смарагдами».

Потом католикос перенес взгляд налево, к эристам, стоявшим впереди ратных людей.

— Аминь, — сказал громко Липарит Орбелиани. То же повторила Ката и триалетские азнауры. «Аминь», — прогудели войска.

Несметная толпа народа роилась в тот день в храме Баграта. Давид различил голос Липарита среди тысячи других голосов. Вспомнил, что рассказал ему накануне Махара и подумал:

«Притворство — самое худшее качество, какое может быть у мужчины. Особенно, если это — открытое притворство».

Долгую проповедь держал католикос.

Семь раз прохлал он амира сельджукидов Неджим-Эддина Иль-Гази, что пустил в иерусалимском храме стрелу из лука и всадил ее в купол.

Проклял Кербогу, саранга Баркиарока, что схватил неподалеку от Иерусалима самцхийских монахов, шедших из Зармы² ко гробу господню на поклонение.

¹ Картли — грузинское название провинции Карталинни, порой — всей Грузии.

² Заозма — знаменитый монастырь в южной Грузии, на границе Турции.

— Опасность грозит и афонскому иверскому монастырю, — говорил католикос, — и богоматери иверской; христиан истребляют в Сирии, Антиохии и в самом Иерусалиме, где неверные осквернили гроб господен. Пришло время объединиться христоробивым рыцарям, царям, правителям и эристам христианским, дабы положить конец неудержимому насилию мусульман!

Еще не кончил своей проповеди католикос, как разнеслась по всему храму весть, что архиепископ Антоний прибыл из Византии со всею своею свитой.

На семи мулах вез из Хупты сокровища церкви — образа, мощи святых и кресты — архиепископ кутаисский. До самого полудня не расходились молящиеся, а все еще не было видно Антония.

На обеде, устроенном царицею Мариам, гости охотно кушали оленьи вымя и рионского осетра.

Тщетно пыталась Мариам развеселить гостей — был молчалив Давид, он все еще не мог забыть о Нианиа Бакуриани. Не прикасаясь к кушаньям царь и напрасно старался скрыть от гостей свое нерасположение.

После того, как гостей обнесли кушаньями, начался пир. Имя Нианиа Бакуриани было на устах у всех эриставов. Многие из знатных азнауров ненавидели «этого детеныша потаскухи», которого считали виновником всех «грехов» царя Давида. По его внушению царь возвышает безродных азнауров, холоден к епископам, потакает обнаглевшему юродивому Махаре, читает по ночам в Колхской башне Аристотеля, наблюдает небесные светила и возится с «развратными женщинами». Под этим наименованием разумели эриставы Дедисимеди, дочь Липарита Орбелиани.

И несмотря на это, стар и млад славили в тот вечер Нианиа Бакуриани, «истинного рыцаря и христоробивого воина», столь отважно принесшего себя в жертву в битве с неверными сельджуками.

Рати приводило в ярость самое имя Нианиа, он прилежно хвалил вино, присланное в дар Шаманом, эриставом такверским.

— Словно рак клешнею, — говорил он, — это вино хватает пьющего за язык.

— Скажи мне, государь, — спросил Давида Липарит Орбелиани, — сколько было воинов у Нианиа Бакуриани в тот вечер, когда ты послал его объехать Черное озеро.

— С ним были джавахетские воины и аргветская дружина, — печально ответил царь.

Вошел начальник слуг, доложил царю, склонившись перед ним, что прибыл

из Таквери Георгий Чкондидели. Ман-
датуры были вынуждены снять его с
седла, ибо первый вазир чувствует се-
бя нездоровым; он хотел бы видеть ца-
ря.

С лица Давида сбежала краска.

И добавил начальник слуг: кутаис-
ский архиепископ, вернувшийся нынче
утром из Византии, просит разрешения
предстать перед царем.

Царь немедленно встал из-за стола, поце-
ловал в щеку тетку свою Мариам и по-
шешно покинул палату.

— Одного я не могу постичь, эристава, —
спросил теперь Шергила Липарит, —
ведь джавахетские ратники с аргветской
дружиной вернулись невредимыми, как
же схватили Нианиа эти нечестивцы-
сельджуки?

— Царь приказал Нианиа и Бибилу-
ри, предводителю джавахетской тысячи,
обойти Вечернее озеро с юга и притти
на помощь Бешкену с левого крыла.

Нианиа, взяв с собою аргветскую дру-
жину, обошел кругом озеро, застиг
сельджуков у входа в ущелье; Нианиа
приказал Бибилури защищать ущелье,
а сам обнажил меч и погнал сельджу-
ков к лесу. Во время погони Нианиа и
его оруженосец оторвались от дружины,
на вспаханной земле споткнулась ло-
шадь Бакуриани, сельджуки, увидев это,
повернули к нему, окружили, быстро
связали руки Нианиа и увлекли его к ле-
су с быстротою молнии.

— Не беда! — сказал Липарит, — говорят,
сребролюбив Муктафи бен-Абдаллах, не
трудно будет царю Давиду выкупить из
плена Нианиа Бакуриани.

— Где же теперь Муктафи бен-Абдал-
лах! — сказал Шергил с удивлением.

— Как это где? — спросил его Рати.

— Джоджики убил его, — ответил Ли-
партини и взглянул на сына цхум-
ского эристава, что сидел рядом, храня
молчание.

— Сначала нанес ему рану царь, —
сказал, робея, Джоджики, — а и Шергил
старались что было сил вывести госу-
даря из жаркой сечи. Когда Бешкена
Джакели сельджуки приперли к болоту,
не смогли мы уже удержать царя. Он
обнажил меч и пустил коня вскачь. На
целый полет стрелы ушла вперед от
моего и шергилова жеребцов Сквитиа;
с высоты коня я видел, как сверкала
сталь в руках царя Давида, разившего
мечом неверных, тогда как оруженосец
его, Индо Гараканисдзе, наносил им уда-
ры копьем. Крикнул я тогда Шер-
гилу, — убьют нашего повелителя! Мы
пришпорили лошадей и, ворвавшись в
гущу всадников, я увидел, как раненный
рукою царя качнулся в седле Муктафи
бен-Абдаллах; двое оруженосцев подхва-
тили его под руки с обеих сторон и пу-

стились галопом прочь; но все же мне
удалось достать его моим конем. Сель-
джуки одолели бы нас у Вечернего озе-
ра, если бы царь не сражался так са-
моотверженно.

Пир еще не кончился, когда вошел в
палату архиепископ кутаисский со своею
свитой.

Первым делом Антоний подошел к
царице Мариам, приложился к ее руке,
поднес ей эмалевую икону, дар констан-
тинопольского патриарха, ноготь свято-
го Апполинария, подаренный ему Епи-
фанием Непьющим, а также письмо от
Константина Порфирородного с высоко-
радостным известием о поражении, что
нанес печенегам кесарь Алексей Ком-
нен.

Слушая рассказ Антония кутаисского,
эриставы и епископы позабыли о поте-
ре Нианиа Бакуриани.

С восторгом описывал Антоний беско-
нечные церемонии, пиры, которыми от-
мечена была победа кесаря над печене-
гами. Ему самому довелось служить
торжественную литургию на греческом
языке в храме святого Апполинария.

Из рассказов архиепископа одно изве-
стие пришлось не по сердцу царице Ма-
риам. В Константинополе объявился не-
известный человек, которого недруги
императора Алексея провозгласили сы-
ном покойного кесаря Романа Диогена,
хотя царевич этот, по имени Констан-
тин, несколько лет тому назад был убит
в битве с сельджуками на подступах к
Антиохии.

Сперва Алексей Комнен не обращал
внимания на безумную болтовню этого
бродяги, но когда весь Константинополь
заговорил о нем, как о законном наслед-
нике престола, кесарь Алексей повелел
призвать из монастыря супругу царевича
Константина Феодору, и та объявила
во всеуслышание, что этот оборванец
никак не мог быть ее мужем.

Император дознался: дворцовые интри-
ганы подговаривали и одобряли лжеца-
ревича. Узнал он и то, что половцы, не
получив вознаграждения после победы
над печенегами, тоже одобряли самозван-
ца.

Чтобы покончить с этой опасностью,
кесарь Алексей приказал схватить лже-
царевича и его сторонников, обречь им
головы и бороды, воздвигнуть виселицу
на площади Быка и повесить преступ-
ников.

— Я сам видел этого несчастного, —
сказал Антоний.

— Так, значит, половцы вмешиваются
и в такие дела! — сказал не без злорад-
ства Липарит Орбелиани и повернулся
к царице Мариам: — Не говорил ли я,
августа, что эти нечестивцы преиспол-
нены коварства? А между тем царь Да-

вид остался недоволен, почему я не хвалил половцев.

— А не покушаются ли сельджуки на Константинополь? — хотел узнать епископ цхумский Павел.

— В Константинополе царит великое воскрыление, — ответил Антоний. — Так что сельджуки и близко не смеют подойти к стенам константинопольской крепости.

— А куда девался Стефаноз, циланский епископ? — спросил Рати со злой улыбкой.

— Стефаноз оскрамил нас, — ответил Антоний, бросив взгляд в сторону пустого кресла царя Давида, — рыцаря фландрского графа Роберта де Фриза он вывалял в грязь, а потом пустился с Григорием Бакуриани на войну. Злые языки рассказывают, будто бы половцы схватили его, остригли и теперь заставляют несчастного чистить лошадей.

— Значит, Стефаноз не сможет привести к нам половцев? — хотел спросить Рати, но тут Махара вошел в палату, и он удержал слова, готовые сорваться с языка.

Гости уже собирались покинуть палату, когда Мариам сказала Антонию кутаисскому, что царица Елена согласна на немедленное обручение Дедисимеди.

Антоний помолчал, взглянул на Липарита Орбелиани, потом вновь обратил свой взор к царице Мариам и сказал смело:

— По поводу этого дела я говорил с константинопольским патриархом. Он подтвердил мне: еще ни один кесарь доныне не привел себе супруги ранее, чем через год после пострижения царицы в монастырь.

Заметила царица: равнодушно выслушал это известие Липарит. Немного позднее, сославшись на нездоровье, поблагодарил царицу Мариам триалетский аристав и, поцеловав ее руку, удалился.

Дедисимеди сидела в конце стола; она догнала уходящего Липарита, взяла горящий светильник из ниши и пошла впереди отца, освещая ему дорогу в опочивальню.

38

СУРА КОРАНА

На следующий день Давид посетил царицу Мариам. Она была не одета для приема, но радостно встретила племянника.

Долго беседовали они вдвоем. Несмотря на все доводы, твердо держалась своего царица — говорила:

— Я знаю непременно, что в твою честь провозгласили здравницу триалетцы. Я сама расспросила обо всем Катю. Клялась своим сыном дочь Дукидзе, что вся эта история — плод вообра-

жения Махары. Она сама присутствовала на пиру и слышала — за здоровье царя Давида осушали чаши азнауры Липарита. Махара спал в шкафу, громкий разговор разбудил бездельника, он с ревом вывалился из шкафа, перепугал Катю насмерть... В последнее время совсем невыносимым стал этот старик! Выдумывает проделку за проделкой. В сумерках подстережет девушек возле цветника, выскочит из кустов и крикнет им: ба-ха-ха! Это с юности у него такие привычки. Наверное Махара решил и триалетцев напугать таким же образом. Кроме тебя не считается он ни с кем: с чашниками и пекарями бражничает в царском погребе, суесловит с монахами, подстраивает непристойные шуточки епископам.

У моего супруга Никифора Ботаниата было душ семь дворцовых шутов и у Алексея Комнена их трое, одеты в булгарские одежды, но только изредка допускают их в золотые палаты. Блаженной памяти отец мой тоже любил скоморохов и держал их при себе, но лишь тогда позволял приводить их в палату, когда был под хмельком. И еще одну скажу тебе, милый, только не обижайся на меня: монах Козман сообщил мне по секрету, что Рати Орбелиани уверен в злом умысле, он утверждает, что нарочно привели ему половецкую лошадь, нарочно подослали Махару подстрекнуть его, одурачили.

— Будьте милостивы, не говорите так, государыня, ужель не доложили вам, что я, сам первый сел на эту лошадь?

— Во всяком случае, милый, Махару нужно обуздать. Такой друг только прибавит тебе врагов. Ну скажи, чего искал в моем шкафу Махара? Все перерыл и перемял этот бездельник. Кабачки и собольи шубы Дедисимеди он подостлал под себя, самые дорогие мои сакки измял, разлил пять скляниц мускуса. Совсем помутился в разуме, злосчастный. Хоть бы поехал он со мною в Константинополь — там есть врач, грек, исцеляющий умалишенных. Быть может, он поможет этому несчастному...

Царь невозмутимо выслушал Мариам и, когда она успокоилась, спросил:

— А о письме Варсима Вардзели что вы скажете, государыня?

— С супругой Липарита беседовала я по этому поводу. Поклялась мне жизнью своих детей дочь Дукидзе, что не видела ни скорохода из Триалети, ни письма Вардзели. Какой-то всадник, державший путь в Таквери, спросил дорогу у монаха Козмана; тем часом Махара, возвращавшийся от вечерни, увидел всадника и приступил к монаху: это, мол, гонец из Триалети, верно, привез вам какое-нибудь письмо?

— Всему этому я верю, августа. Возможно, что Ката и вправду не видала письма Вардзели, а между тем...

— Что же между тем?..

— Может быть его видел кто-нибудь другой?.. Выясняется, что письмо это было не от Варсима Вардзели...

— От кого же тогда, мой дорогой? — воскликнула Мариам и поднесла к щеке правую ладонь.

Горькая улыбка тронула уста царя Давида. Сжав кулак и опустив его перед собою на золотой стол, он сказал спокойно:

— От Баркиарока, сына султана Малик-шаха. Он советует триалетскому эриставу переменить веру и обратиться к Магомету. Рукую Варсима Вардзели приписано лишь несколько слов в самом конце.

— От Баркиарока? — удивилась Мариам. — Ну уж нет, всему могу поверить, но чтобы Липарит Орбелиани собирался отречься от Христа — в этом никто меня не убедит! Прошлой зимой в Гегутском замке сказал мне Липарит, что султан Малик-шах обещался сделать его амиром, но для этого не надо менять веру. Немало знаю я христианских азнауров, которые были возведены в амиры.

— Об этом я ничего более не скажу тебе, августа. В письме Баркиарока содержится одна или две суры из корана. Приказами говорит султан Липариту Орбелиани.

У царьцы расширились зрачки.

— Если все, сказанное тобой, окажется правдой, я должна буду признать, что те, кто коварством и лестью покинули трон у Никифора Ботаниата — небесные ангелы по сравнению с эриставом триалетским.

— Если поближе приглядеться к двучичию и коварству Багуаш-Орбелиани, то Комнены без сомнения покажутся ангелами.

— Если все это — правда, то выходит, что родная тетка вела тебя к гибели, не правда ли, мой милый? Нет, не верю я этому! Призови Махара немедленно. Пусть любым путем добудет он письмо Баркиарока.

— Дедисимеди удивила меня, — сказал Давид, — когда я вернулся из Джавахети, она встретила меня в тутовой аллее со слезами, бросилась мне на шею, долго плакала, я успокаивал ее ласковыми словами. Потом просила меня ни на рождество, ни на пасху не приезжать к ним в Липаритис-Убани. «Если прикажешь, я возьму с собой Лелу, — сказала она, — и убегу к тебе из Триалети». Я спросил ее о причине такой просьбы. Она ответила, что в свое

время я сам все узнаю. Очевидно, Дедисимеди слышала краешком уха какие-нибудь разговоры. Да и, кроме того, чутьем угадывает она, что нечто страшное готовят нам Орбелиани, конечно, если мы не примем во-время мер.

Это показалось уже более убедительным царьце Мариам.

— А если все это правда, то неужели ты все-таки собираешься ехать в Триалети? — спросила она, уже приметно испуганная.

— Я, конечно, поеду, и это так же верно, как то, что солнце светит и неое. Но не для того, чтобы исправлять у Липарита и у Рати разрешения жениться на Дедисимеди. Сначала придется мне как следует проучить и отца и сына Орбелиани.

— Боже милостивый! — воскликнула Мариам, — опять война между братьями! Жаль мне этого ангела, девушку эту, под несчастливою, видно, звездою родилась Дедисимеди, бедняжка моя!

— Кровь пугает тебя, государыня, и это мне понятно. Но таков уж печальный закон, царящий над людьми: без крови никто еще не построил ни замка ни города и без крови никто не сохранил их за собою. Лишнюю кровь надо выпускать, августа. Потому-то лекари и ставят больному пиявки.

Так сказал царь и большими печальными глазами изглянул на покрывшееся румянцем возбуждения лицо царьцы.

Мариам ударила в ладоши.

— Приведи ко мне немедленно Махара, — приказала Мариам вошедшему начальнику слуг.

Шуткою встретил Давид безбородого:

— А тебя не звали к себе Орбелиани в Липаритис-Убани, Махо?

Удивилась Мариам, услышав из уст царя обращенное к старику ласкательное имя.

— Дерзостью почитаю я и то, что они посмели пригласить тебя.

— Чего ты хочешь от эриставов, Махо? Разве не почести и не гостеприимство обещаны нам?

— Прекрасно! — сказал Махара и помыгнул царьце, — слон убивает свою жертву хоботом, змея — поцелуем, царь — улыбкой, а изменник — возданием почестей!

— Я не думаю, чтобы в самом деле пришло из Исфгани письмо от Варсима Вардзели, да и то, что ты рассказал царю третьего дня, кажется мне сомнительным, Махо! — сказала Мариам.

— Ты не веришь, Майко, ты сомневаешься? Ты не хотела поверить и в предательство названного сына твоего, Алексея Комнена, пока он не утонул из-под тебя императорский престол... Довер-

чивость, пожалуй, даже к лицу прекрасным царицам, но царю она непростительна. Я слышал притчу, рассказанную некогда мудрецом: летучие мыши воевали против фламинго, и сначала силы обеих сторон были равны. Но летучие мыши подослали к фламинго кроткого голубя, а тем временем сами ворвались в крепость.

— Я не такой уж голубь, как это тебе кажется, Махо, брось свои притчи! А вот, можешь ли ты показать письмо Баркиарока или какое-нибудь несомненное доказательство того, что оно действительно было вручено кому-нибудь из Орбелиани?

— Я все могу, Маико, стоит мне захотеть, — похвалился Махара и вышел из палаты.

Долго ждали его в опочивальне царь Давид и Мариам. Трижды докладывал начальник слуг, что ужин подан.

Наконец потеряла терпение царица:

— Я знаю, Махара теперь не будет показываться нам на глаза, вот увидишь! Он был опять под хмельком, несчастный!

Но Давид упорно молчал.

За дверьми опочивальни слышались чьи-то шаги. Вошел управитель, старый Цинцилук, доложил, что Георгий Чкондидели просит разрешения видеть царя по делу особой спешности, приносит извинение в том, что потревожил государя в столь поздний час.

Давид обрадовался, что первый вазир выздоровел, приказал ввести его в палату.

Чкондидели вошел с закутанным горлом; лицо его было бледно, он с трудом переводил дух и часто кашлял.

Он доложил государю: конюший его Долай послал Мартия Удзилу в Осетию. Не понравились алаканские лошади конюшему; расспрашивая встречных, добрался Удзила до Шарагани¹, стал закупать половецких коней. Там встретил конюшего Стефаноза, епископа цилканского.

Услышав имя Стефаноза, прилоднлся в кресле Давид.

— А не прислал ли епископ письма? — спросил он Чкондидели.

— В той земле нельзя найти ни бумаги, ни пергамента, ни чернил, — сказал Чкондидели и снова закашлялся. — Стефаноз начал переговоры с половецким предводителем Атрахою Шарагановичем, — продолжал Чкондидели, — но половцы встретили епископа недоверчиво из-за бедной его одежды. Пока он пробирался к половцам с Балкан, трижды ограбили его, по дороге и обрили ему бороду и усы на сельджукский лад. За-

вернутый в звериные шкуры, бродил он по половецкой земле; половцы, рассерженные на Алексея Комнена, приняли Стефаноза за византийского лазутчика, Тогорта держал его целый месяц на привязи в яме. Только крест удалось Стефанозу уберечь от грабителей, да и тот он носил тайно, под рубахой. Половецкие вожаки Тогорта и Тогорта продали его своим соплеменникам в Узкенд. Оттуда он бежал в Шарагани, где, наконец, его принял один армянин из Тбилиси, торговец лошадьми. В конце концов он все же достиг большого шатра Атрахи Шарагановича. Там сказали ему, чтобы его повелитель прислал других, более представительных и долгобродых послов. «Меня обрили — ежели будете ждать пока отрастет моя борода, придется повременить с десятком лет», — пошутил по своей привычке Стефаноз.

Давид обрадовался известию.

— Об этом поговорим подробнее завтра, — сказал он первому вазису.

Когда царь рассказал Чкондидели о двуличии Липарита и Рати, первый вазир поблдевел еще больше; он сидел молча, сжимая сплетенные пальцы рук так, что трещали суставы.

— Мне рассказывал что-то в этом роде Шаман, эристава такверский, — будто бы Липарит Орбелиани пытается привлечь на свою сторону азнауров-имеретин. И еще говорил мне эристава Шаман, будто Липарит утоваривал Вешага, сванского эристава...

Не удалось Чкондидели закончить свою речь. Без спроса в палату вошел Махара. За ним показался длинный, словно неурожайный год, Козман. Давиду был неприятен его облик, и он отвел свой взор от монаха.

— Вот какое длинное я вам привел доказательство, — сказал Махара.

Войдя в палату, Козман простерся ниц на полу, воздал почесть присутствующим, подполз, не вставая, к царю и поцеловал ему колено. Давид почувствовал отвращение, словно коснулась его скользкая и холодная жаба.

— Полихронийон, полихронийон! — возгласил монах по-гречески.

— Встань! — приказал ему царь.

Монах встал между Давидом и золотым канделябром; он моргал узенькими щелками глаз: неясно было — ослепил его блеск свечей или он избегал взглянуть в нахмуренное лицо царя Давида.

Царю не хотелось начинать сразу с вопроса о письме Баркиарока, и потому он спросил нехотя:

— Ну как, монах, скоро ли ты получишь епископскую митру? Что говорит тебе твой господин?

— Митра моя пока что украшает Ки-

¹ Шарагани — столица половецкого государства.

риона манглисского, а Досифей еще не собирается умирать. Мудрое правило постиг я на старости лет, государь: лишь под сенью большого дерева должен искать приюта и покровительства убогий, одинокий, как я, человек — дерева, щедрого и тенью и плодами. Пусть даже вихрь собьет плоды с ветвей, но тени у него никто не отнимет!

Царь улыбнулся, понял: настало время спросить сладкоречивого монаха о самом главном.

— Если правда все, что ты сказал, монах, то почему же так поносит меня твой господин?

Козман оглянулся на Махара, поднял на царя упремый взор и сказал:

— В глазах человека недостойного самое возвышеннейшее величие обращается в ничто, государь, ибо в малом зеркальце не может уместиться большой образ.

Подумала Мариам: как видно, не принес никаких существенных доказательств Козман, и потому изощряется в хитрых речах; спросила с неудовольствием:

— И это все, что ты слышал в Исфагани, монах?

— Нет, августа, об Исфагани я рассказу особо, а эта маленькая притча — плод моего короткого ума.

— Ты бы лучше рассказал нам, не откладывая, про Исфагань, — нетерпеливо сказала Мариам.

Козман еще более согнулся в плечах, засунул длинную волосатую руку подмышку, долго шарил за пазухой своей заплатанной расы и, наконец, вытащил оттуда потертый и измятый пергаментный свиток. Глаза его опасливо бежали вокруг, то и дело оглядываясь он на дверь.

Георгий Чкондидели взял свиток из рук Козмана и подал знак Махаре: вывести монаха.

— Свиток будет тебе возвращен! — добавил первый вазир.

Когда же Махара и Козман покинули палату, царь взял свиток, взглянул, передал царице Мариам.

— Он написан по-арабски! — сказала императрица и протянула свиток первому вазиру.

Чкондидели пододвинул кресло к золотому канделябру, поднес письмо близко к глазам и принялся медленно переводить написанное:

«Месяца Шабан¹ тринадцатого дня, именем Аллаха, Малик-шах, Джалааль-Дин Доулах, Моиз-Эддин амир аль-Муминин шлет привет эриставу триалетскому Орбелиани Липариту, сыну

Ивана, которого приснопобедоносный великий султан иранских и неиранских владений возвел в достоинство эмира в предпрошедшем году месяца Джумада, дня седьмого, и напоминает собственное его, Липарита, обещание. В месяце Рамадан эристав триалетский совместно с тбилисским амиром должны были схватить царевича Давида и отправить его в Исфагань; в том же самом письме, представленном нам доверенным лицом триалетского эристава Варсисом Вардзели, Липарит Орбелиани обещал нам обратиться в истинную веру пророка Мохаммеда, но приснопобедоносный султан никогда не думал уклоняться от суры корана, которая гласит: «Не вынуждайте никого силою принимать ислам, ибо правда и кривда и без того разделены в глазах человеческих. Кто тот, кто отвергнет тагут¹ и обратится к Аллаху, получит в руки величайшую силу. Аллах всевидящ и всеведущ».

«До нашего слуха дошло, что амир Липарит, вместо того, чтобы исполнить обещанное, снова примирился с царем Давидом и принял должность военачальника царских войск. Сказано мудрым: «Да не пожелает никто принять сторону зла, ибо гуся убили за то, что он водил дружбу с вороном, и перепела постигла смерть потому, что он расхаживал рядом с этой черной птицей. Аллах же всевидящ и всеведущ».

«Султану Малик-шаху было неприятно узнать, что амир Липарит обещал свою дочь в супруги царю Давиду. Если амир Липарит в самом деле собирается обратиться в веру Аллаха, то пусть он вспомнит суру Китаба², которая гласит:

«Пусть никто не отдаст своей дочери неверному, пока жених не обратится сам в истинную веру, потому что истинно говорю я вам: верующий раб угоднее Аллаху, нежели неверный царь. Аллах всевидящ и всеведущ».

У Георгия Чкондидели дрожали руки от гнева и поднялся неудержимый кашель. Давид сидел с опущенной головой, улыбался язвительно. Царица Мариам казалась окаменевшей от изумления. Когда Чкондидели умолк, она испросила его продолжать чтение.

«По приказанию высокого повелителя иранских и неиранских владений я, сын султана Баркиарок, послал из Армении в Джавахети легкое войско под предводительством моего саранга Муктафи бен-Абдаллаха. Известие это мы за благовременно сообщили владельцу Зедзени Дзагану и эриставу триалетскому Липариту, чтобы оба они соединились

¹ Тагут — древнеарабский идол.

¹ Шабан, Рамадан, Зуль-Хиджа и т. д. — арабские названия месяцев.

² Китаб — арабская книга, подразумевается коран.

ными силами преградили путь царю Давиду через Сурамский хребет, а саранг мой сокрушал бы джавахетские твердыни. Как нам довелось узнать с опозданием, эристава Дзагана приковал к одру медуг, а от амира Липарита мы не получили даже ответа на наше послание. Аллах всевидящ и всеведущ».

«Того же года, в месяце Зуль-Хиджа, я пошлю в Триалети саранга моего Кербугу, дабы он, эристав Дзаган и амир Липарит соединенными силами сокрушили крепости Уплисхихе и Цагвластиви и изгнали из Внутренней Карталинии царя Давида».

— Собственноручную подпись Баркиарока, сына султана, подтверждает великий вазир Низам аль-Мульк, — добавил Чкондидели.

Он еще раз поглядел на свиток и сказал:

— Простите! Здесь Варсим Вардзели приписал еще несколько строк по-грузински.

«Что же касается желаний, высказанного сыном Липарита Рати в его последнем письме, о том, чтобы породниться с Баркиароком, — сын султана приказал мне передать в ответ, что и в этом деле многое будет зависеть от обращения амира и дочери его в истинную веру, ибо та же сура учит нас:

«... и не берите в жены дочерей неверных, пока они не обратятся к Аллаху. Истинно говорю я вам: верующая левальница угоднее Аллаху, нежели царевна из неверных, хотя бы прекраснейшая из прекрасных. Аллах же всевидящ и всеведущ».

Когда первый вазир прочитал приписку, царица Мариам приложила ладони к вискам и воскликнула:

— Теперь мне все понятно; одно только безмерно удивляет меня: как могла Дедисимеди, этот кроткий ангел, родиться в этом злодейском гнезде?

— Месяцы и числа точно совпадают, — заметил царь Давид.

— Зуль-Хиджа — это ведь мусульманский декабрь, не правда ли? — спросила Мариам.

— Да, приблизительно декабрь, — подтвердил первый вазир.

— Вот почему на рождество звали нас к себе Орбелиани, — заметил Давид.

Когда царь Давид и Георгий Чкондидели вышли из палаты, Давид вполголоса сказал первому вазису:

— Завтра мы отправим в половецкую землю цхумского эристава Догато. Свиту себе пусть он подберет сам. Джоджикши пошли в Исфагань, в Эчмиадзин отправь Аршаруни, чтобы он наблюдал за передвижением сельджукского войска по Армении. Напиши также письмо Кириону манглисскому, пусть отец Анфимоз

отправится в Триалети, попытается увидеть Липаритова управителя. Еще когда я был в Джавахети, прислал мне сообщение Зосим, управитель Липаритис-Убани: будто бы главный мандатур эристава Тиркаш собирается вступить на путь Анамора. Если тот водил дружбу с греческими лазутчиками, этот принимает, как гостей, сельджукских шпионов. Сам же ты, господин мой первый вазир, должен будешь посетить Внутреннюю Карталинию. Возьми с собою семерых мастеров-строителей, пусть немедленно исправят что нужно в крепостях Уплисхихе и Цагвластиви.

39

ЭРИСТАВ ШАМАН

Императрице Мариам не пришлось устраивать прощального пиршества перед отъездом семейства эристава Липарита; на следующий день прибыл мандатур из Гегути, привез оттуда вести. Старший столтник извещал: царь Георгий ожидает в гости такверского эристава Шамана, просит всех пожаловать в Гегути на пир.

Непривычно радостен был царь Георгий перед встречей с другом юношеских лет. Нисколько не встревожили его извести, тайно сообщенные сестрою Мариам.

О двусмысленной здравнице за царя, провозглашенной на пиру триалетцами, он сказал так:

— Наверное, пили за мое здоровье азнауры, а этот злополучный Махара все перепутал. Удивляюсь тебе, Майко, неужели ты и твой племянник только теперь впервые узнали Липарита Орбелиани? И я помню от него не мало зла, но и добра не забываю, что видел с его стороны. Таков уж Липарит — есть в нем и доброе и худое — весел и гостеприимен, чего же вам от него надо?

Рассказали Георгию о письме Баркиарока, но и это не удивило царя.

— Такова вежливость султанов, от века подсовывают они христианским правителям свой kitab. И меня немало уговаривал Малик-шах, раза два-три завел речь об этом на охоте, раз в Исфагани, другой раз в Багдаде. Обещал отдать мне Адарбаган, если я приму мохамедову веру. Нужен мне его пустынный, спасенный солнцем Адарбаган! Я промолчал в ответ на все его уговоры. После этого ни один из нас не вспоминал о той беседе. На прощанье он расцеловал меня и отпустил, благословив в путь.

Заметила Мариам: проба вин, которые царь подбирал для пира в честь эристава Шамана, подействовала на него. Убедившись в этом, Мариам умолкла и оставила царя одного в палате.

Почти до заката ожидали в Гегути такверских гостей. Наконец, испугался царь Георгий — как бы не проголодались ожидаючи триалетцы, приказал стольникам подавать кушанья.

Пир закончился скоро. Уже выносили посуду посудники, когда в дверях появился радостный Махара; эристав Шаман с большою свитой и с богатыми дарами въехал во двор замка.

Взволнованный царь Георгий бросил партию в нарды, которую играл с Липаритом.

Прошло уже пять лет с того времени, как царь в последний раз видел друга своей юности, эристава Шамана. За это время оспа отняла зрение у многоопытного воина, которого и стрелы на бранном поле не могли лишить света очей.

Когда белобородый богатырь в кольчуге песочного цвета переступил порог, замолчали гости и прислужники.

В гридницу вошел такверский эристав; одною рукою опираясь он на плечо Эгонди, своего сына, другая рука обнимала шею младшей дочери, прекрасной Гванцы.

— Увы мне! — воскликнул царь Георгий, ударил себя по лбу обеими руками и быстро пошел навстречу слепцу. Обнялись старинные соратники. Слезы струились из незрячих очей Шамана, стекая по щекам и по белоснежной бороде.

Плакали также царица Елена, императрица Мариам, Дедисимеди и старшая среди дворцовых дам, Мзисавар, дочь Шервашидзе. Плакал как ребенок и Липарит Орбелиани, даже Рати почувствовал слезы на глазах. Один лишь архиепископ кутаисский Антоний стоял посредине палаты с окаменевшим лицом. Даже всегда невозмутимого царя Давида тронуло это необычайное зрелище.

— Ах, если бы только увидеть, какой ты стал, Георгий? — сказал Шаман и рукой отер слезу. Другой рукой он ощущал лицо царя и целовал ему щеку.

— Благодарю господа, что довелось мне еще раз если не увидеть, то хоть коснуться тебя рукою. Георгий Чкондели рассказал мне, что ты остался все тем же — отменным наездником и стрелком и в гостеприимстве лучшим из всех людей. А у меня господь пожелал угасить свет в очах, я сижу день и ночь во мраке, солнце не светит для меня и звезды не сияют в небе. Благодарю создателя, что привелось мне услышать еще раз твой голос, мой государь и повелитель.

Эта встреча потрясла до глубины души Мариам. Молчаливая и задумчивая, сидела она поодаль и смотрела на двух

прекрасных старцев, обрадованных, как дети, встречей.

Царь Георгий приказал дворецкому призвать немедленно старших стольника и виночерпия. Когда предстали оба, царь Георгий приказал старшему стольнику подать холодную телатину, свежую икру, рионского осетра, оленьи вымя и кабаньей бок. А виночерпию приказал нести такверское маглари — старейшее вино Капистони и Багдади.

После трапезы гости и домашние ушли из горницы, лишь немногие близкие люди остались смотреть на давнишних друзей.

— Иди, садись поближе к нам, Липарит, — сказал Георгий триалетскому эриставу. — Мы с тобой — старые люди, люди других времен, всего нового, незнакомое чуждается наше сердце. Как дети, ссорились мы друг с другом и, не смотря на это, по-детски безгрешными остались наши души.

— Только мы с тобою, государь, ни разу не поссорились даже тогда, в юности, — сказал эристав Шаман.

— Да, мы с тобою не знали, что такое ссора. Да ведь ты таков, Шаман, что тебя хоть за пазуху к себе посади, и ты будешь безропотен, — говорил Георгий. — Помнишь, возле Парцхиси, когда мы сражались против сельджукского саранга, я ждал тебя накануне сражения до самого заката солнца на берегу Алагети, и только в сумерках подошел ты, наконец, с такверской дружиной. Оказалось, что лошадь упала под тобою в пути, и ты повредил себе ногу... Я не знал ничего и как только увидел тебя, подскочил к тебе, кричал на тебя, ругал за опоздание. А ты, помню как сейчас, стоял на одной ноге, держа в руке поводья коня, и глаза у тебя наполнились слезами от обиды. Я смотрел на тебя и дивился: почему ты стоишь на одной ноге? На другой день ты, с больною ногой, покрыл себя славой в сражении. Я обнял тебя и расцеловал, Шаман.

— Увы, где то время, Георгий?.. Не лучше ли было мне быть убитым сельджуками под Парцхиси, нежели дожидаться смерти в вечном мраке... — сказал печально слепой эристав и отпил из чаши немного вина.

Осетровой икры подали гостям стольники. Царь взял блюдо, положил ложкою на тарелку Шаману икры и сказал: — Это — икра рионского осетра, Шаман. Для тебя одного Махара заставил рыболовов изловить этого осетра.

Царь подлил вина Липариту Орбелиани и сказал:

— Когда мы с Шаманом брали крепость Карисцихе, заупрямился начальник крепости Иссахар ибн-Исмаил. Я послал сказать ему: «Если ключи не будут вру-

ченны мне до первого снега, не сносить тебе головы».

До самого рождества не сдавался Иссахар, лишь в сочальник прислал через муллу крепостные ключи. Я вошел в крепость в гневе, твердо решив отсечь голову упрямому начальнику крепости. Долго искали его мои люди, но не могли найти. Наконец я послал Шамана, чтобы он привел ко мне Иссахара ибн-Исмаила, но и он тщетно шарил по палатам и помещениям для ратных людей. Взамке была одна старая-престарая церковь, незадолго до того переделанная сельджуками в мечеть. Шаман заглянул в эту мечеть. В полумраке притвора натолкнулся он на женщину, лицо которой было закрыто чадрой. «Это, верно, жена начальника», — подумал Шаман и отвел глаза, но вдруг уловил ухом тропливый звон шпора. Тогда, повернувшись, он погнался за женщиной и, схватив ее за ногу, увидел перед собой рослого детину. Улыбнулся пойманной начальник крепости, сказал по-тюрки: «Проклятая шпора, забыла-таки ее на одной ноге второпях», — и обнажил белые зубы. Такая была у него детская, простодушная улыбка, что Шаман был очарован и просил меня подарить жизнь пленнику. Мы привезли его в Гегути, заставили пить вино. Позднее он стал христианином. Мы женили его на дочери Коджихисдзе. Потом он умер от болезни кишек, а потомки его живут и доселе в Гегути, носят фамилию Исахарисдзе.

И вновь, наполнив чаши Шаману и Липариту, сказал, обращаясь к Мариам, царь Георгий:

— Таковы были, Маико, люди нашего времени — неслигаемые в бою, но милосердные к поверженным врагам, учтивые с женщинами и пленниками.

Молчаливо сидел на дальнем конце стола царь Давид, незаметно наблюдая за девушками, расположившимися между Шаманом и Липаритом. Как сестры, были они схожи одна с другою, обе белокурые и стройные, обе окруженные сиянием шелковисто-золотых волос, что висли пленительно на их шеях возле щек, словно побег лозы.

Они прилежно слушали беседу пожилых воинов и упорно хранили молчание — лишь когда царь Георгий рассказывал, как эристав Шаман схватил за ногу перодетого начальника крепости, тихая улыбка скользнула по губам обеих, но и ту удержали они в то же мгновение.

Губы Дедисимеди были алы в этот вечер, как сдвоенные лепестки цветка гранатового дерева, а уста Гванцы были чуть выпуклы, над верхней губой золотился нежный, еле-еле заметный пушок, и

глаза у Гванцы были необычайные, не каштановые, а цвета чистого прозрачного меда, увенчанные бровями, изогнутыми точно так, как рисовали мастера того времени на эмалевых изображениях святой деви.

Вошел начальник слуг:

— Царица Елена просит пожаловать к ней царя Давида.

Мариам присоединилась к пожилым.

Царь Георгий наполнил чашу Шамана, потрепал его рукою по запястью и сказал:

— Это вино — твой дар, Шаман. Всю зиму наслаждаюсь я им перед этим самым камином, вспоминая тебя и твою юность.

Снова наполнил чаши, чокнулся с другом и сказал:

— Пусть господь дарует тебе долгие годы жизни, Шаман, на радость мне. Много бед знавали мы вместе с тобою, но ни разу не давали ненависти угнестись в наших сердцах, ибо ненависть — ржавчина души. Пусть же любовь согревает тебе сердце, Шаман.

— Твоими милостями, великий государь, — ответил слепец.

Молчаливая сидела возле них императрица Мариам, слегка удивляясь притчам своего царственного брата. С какою невозмутимой веселостью предлагал он вино триалетскому эриставу после всего того, что рассказала ему о тайных замыслах Липарита еще нынешним утром сама Мариам! И впрямь, детское сердце сохранило до старости царь Георгий!

Еще одну здравицу провозгласили седые воины.

— Да пошлет нам господь лучшие времена! — так сказал Георгий.

— Увы, мне уже их не увидеть, государь. Моя дочь водит меня за руку, точно младенца. А все же, Георгий, как сладка жизнь! Если бы хоть еще раз приоткрылись мои глаза, чтобы мог я увидеть, как прекрасна земля, как велик подсолнечный мир!

— Сын мой Давид вышел в деда, Шаман. Я говорю ему: будем довольны тем, что у нас есть — а он жаждет войны.

Вошел начальник слуг, доложил Липариту: нездоровой почувствовала себя супруга эристава.

Липарит покинул палату, а царь Георгий продолжал:

— Дни напролет проводит Давид на войсковом учении или объезжает лошадей. От радостей этого мира он отвратился совсем — не охотится, не берет в рот вина. Затвердил: «Хочу завоевать Тбилиси, утвердиться во Внутренней Карталинии и в Кахети». Отец мой Баграат тоже был не робкого десятка, дважды браа он Тбилиси — оба раза отдал его снова,

Бился то с амирор Фадлоном, то с тбилисским амирор — Бану-Джаффаром, трижды сражался он с Альп-Арсланом год Ахалкалаки, окрасили они кровью воды Куры, а потом умерли оба в один и тот же день — и Альп-Арслан и царь Баграт IV и не узнали даже о смерти друг друга. И вот царь, столь много воевавший на своем веку, унес с собою в могилу всего только три локтя холста... — сказал печально царь Георгий и добавил: — Пей, Шаман, пожелаем вечной памяти царю Баграту!..

Слепой эристав поднял сосуд. Рубиновое вино мерцало и искрилось в золотой чаше, словно пронизанное огнем. Большие канделябры струили щедрый свет на прекрасные седые волосы и бороду эристава.

Шаман обмакнул хлеб в вино и сказал:

— Эх, жалок был мне покойный царь перед смертью, когда землистым цветом подернулось его лицо и когда сказал он матери своей: «Мать моя, участь твоя жалка мне, ибо всех, рожденных от чрева твоего, видела ты поверженными перед собою и так умрешь!»

— Вернемся же к началу нашего разговора. Таким же беспокойным духом наделял господь сына моего, царя Давида; совсем отрекся он от радостей юности. И мне рано пришлось возложить на себя тяжелейший венец Багратионов, еще совсем отроку дали мне в руки царский скипетр, но из другой руки я все же не вынуждал охотничьего колчана со стрелами и лука. И вино пил, и от женщин не прятал взора..

Так сказал Георгий и улыбнулся сестре, но, бросив нечаянный взгляд на прекрасную Гванцу, сдержал улыбку; взор его помутнел, он схватил серебряное блюдо и протянул эриставу Шаману:

— Это — фазаньи потроха, Шаман, с чесноком и пахучей зеленью. В юности любил я мы с тобою это блюдо после пира, под хмельком.

Потом взглянул на покинутое Липаритом золотое кресло:

— С эриставом Липаритом не ладит царь Давид.

— О Липарите и мне рассказывали кое-что, — ответил, понизив голос, слепой старец.

— Кому довелось иметь дело с большим числом изменников, не жели мне? — продолжал Георгий. — Я поседел в битвах с карталинскими и кахетинскими изнаурями, и все же всегда стремился избегать кровопролития, Шаман! Царь Давид и молодые эриставы вместе с Георгием Чкондидели только и думают, что о войне. Этого престарелого вазира я совсем не узнаю. Из Такверы привезли

его присмерти, а теперь отправил его царь Давид чинить крепости Цагвалистави и Уплисхихе. Затвердили все в один голос: не хотят больше давать дань султану Малик-шаху. Малик-шах уже стар, но придет его сын Баркиарок, и снова польется кровь, Шаман, как лилась в Ахалкалаки во времена царя Баграта. Дзагану, владельцу крепости Зедзени, собирались уже объявить войну, но я привлек на свою сторону епископов и наиболее почтенных из старейшин, и мне удалось спасти страну от братоубийственного кровопролития.

Эристав Липарит вернулся к столу. Царь Георгий наполнил чашу ему и продолжал:

— И за половцами мы, пожилые, не собирались отправлять никого. А молодые не послушались нас, отрядили посланца Стефаноза циканского и Гуарама, владельца Бечисхихе. Эристава Гуарама свалил недуг в Византии, злосчастного Стефаноза увели в полон половцы. Не зря сказал я на Совете старейшин: нельзя допускать волков в овчарню!

Липарит Орбелиани отпил из чаши, взглянул сперва на царя Георгия, потом на царичу Мариам и сказал:

— Баграт куропалат тоже привел некогда в страну варяжский полк в три тысячи человек — ты помнишь, наверное, великий государь. Варягов разместили в Башхи. Семьсот человек он взял с собою. Потом пошел царь Баграт с этими варягами и с ратью Внутренней Карталинии против Липарита, деда моего, чтобы схватить его; и вот сошлись царь и эристав в Сасиретском лесу, но карталийцы не выдержали и отступили; так же и варяги дрогнули в битве; дед мой Липарит роздал им решета, они прислуживали ему за столом, и так утешались трусы, подбирая крохи. Потому я и докладывал на Совете: не пригодится нам наемное войско половцев. А царь Давид не взлюбил меня за эти слова.

В это мгновение царь Давид вошел в палату, и Липарит замолчал. Георгий взглянул в окошко и, увидев отблески лунных лучей, сказал:

— Луна взшла, Шаман. Ах, в юности мы с тобою в это время отправлялись на реку с рыбаками ловить рыбу. В этот час поднимается по Риону против течения черноморский осетр.

Приезд Гванцы, дочери такверского эристава Шамана, вновь оживил пересуды дворцовых старых дев и сторонниц Русудан. Они намеренно подстрекали Гванцу

льстивыми речами, заверяли, что прекраснее ее нет невесты во всем государстве.

Говорили еще, будто бы по желанию царицы-матери Елены привезли Гванцу в Гегути, и, как только отправят в триалетское эршество Дедисимеди — состоится обручение Гванцы с царем Давидом. Антоний кутаисский вернулся из Византии исполненный боевого духа. Неверие свило гнездо в Кутаисском дворце, шута Махару нужно обуздать как можно скорее, чтобы утвердить веру в юном царе. Также и на Георгия Чкондидели сердился Антоний: с тех пор, как царь Давид вззошел на престол, не строятся больше храмы и монастыри, кони съели в стойлах государственные средства, на возведение крепостей тратится вся казна грузинского царства!

Было ясно Мариам: после ее отъезда поднимется сызнова при дворе грызня. Постельничьи монахи передавали ей такие речи:

— Пусть только уедет царица Мариам, тотчас же снимут с инокини Рипсимии власяницу и снова Русудан оденется в царский пурпур.

Так будто бы говорил Антоний, архиепископ кутаисский.

Печалили сердце Мариам все эти разговоры. Вдруг прибыла в Гегути игуменья Сохастерского монастыря Тута, объявила обоим царицам и обоим царям:

— Бывшая царица Русудан, ныне невеста спасителя, инокиня Рипсимия просит вас отослать ее в Иерусалим и определить в грузинскую женскую обитель хотя бы простою послушницей.

Царица Елена ничего не ответила игуменье.

Встревожилась Мзисавар, дочь Шервашидзе. Царица Елена еще на прошлой неделе согласилась с нею, что как только уедут триалетцы, придется подумать о возвращении Русудан из монастыря. А теперь, когда бывшая царица собралась в Иерусалим, царица Елена замолчала столь подозрительно.

Тщательно наблюдала за нею Мзисавар. Заметила она, что все ночи напролет молилась, бодрствовала царица Елена.

На следующее утро, на рассвете, Елена призвала к себе дочь Шервашидзе и, как только Мзисавар вошла в опочивальню, отпустила постельничьих девушек, велела запереть двери и сказала ей:

— Придвинь поближе кресло, Мзисавар!

Дочь Шервашидзе догадалась сразу: видно, тайну собиралась сообщить ей царица; обрадованная, подседа она к изголовью госпожи.

— Помнишь ли ты, из какого рода была Гурандухт, бабушка Гванцы?

— Гурандухт, бабушка Гванцы, была из кларджетских Багратионов, государыня

— Правда, правда, Гурандухт была дочерью Багратиона. Баграт Третий пригласил в замок Фанаскерт сыновей своей сестры Сумбата и Гургена и заключил их в темницу. Дети их бежали в Византию. Одну из внучек старшего брата Ашота привез отец эршеста Шаман Эдишер и взял себе в жены, не правда ли?

Мзисавар Шервашидзе догадалась, что разумела царица Елена, и ответила улыбувшись:

— Царская кровь, государыня, течет в жилах прекрасной Гванцы.

Царица тоже улыбнулась и сказала:

— Родство достаточно далекое, чтобы служить помехой, не правда ли, Мзисавар?

— Конечно, государыня! Баграт Третий был отцом Георгия Первого, не правда ли? А, следовательно, прапрадедушкой царя Давида. А Гурандухт — внучка племянника Баграта Третьего. Так что родство получается в восьмом колене.

— Восьмое колено, верно, — подтвердила царица Елена, хотя сама она не вполне уяснила себе, в восьмом или в девятом колене было родство, ибо думала: ту минуту, следует отпускать Русудан в Иерусалим или нет.

— Ты поняла, Мзисавар, зачем я спрашиваю тебя об этом?

— Как не понять, государыня.

— Прекрасна дочь Орбелиани, Мзисавар, безобидна и скромна, благочестива и кротка. Ведь и тебе рассказывал монах Козман, что Баркиарок стремился заполучить в жены Дедисимеди. Да вообще, не принесет Багратионам доброе родство с Багуаш-Орбелиани.

— Правда, государыня... Чкондидели называют Дедисимеди лилиею, но еще ни когда на кусте шиповника не расцвела ли лилия.

И, помолчав немного, добавила шопотом Мзисавар:

— Вероятно, и о том рассказывал тебе Козман, что на рождество приглашают они царя в Липаритис-Убани, чтобы там отдать гостя в руки Кербоги, военачальника Баркиарока?

Царицу Елену ужаснуло это известие. Ничего подобного не говорил ей монах Козман.

— Нет, Мзисавар! Я не отпущу Гванцы из Гегути всю эту зиму, и царь Давид не поедет на рождество в Триалети. С глаз долой, из сердца вон — гласит поговорка. Красавица Гванца очарует юного царя, я уверена в этом..

— Вероятно, затоскует царь, а любовь — утеха опечаленному сердцу... — заключила Мзисавар Шервашидзе, сама некогда не знавшая любви.

41

ДВОЙНОЙ КРЕСТ

— Правду говоришь ты, августа, — сказала царица Елена золовке своей, императрице Мариам, — тяжело монашине-царице Русудан быть столь близко от возлюбленного своего первенца и не видеть его...

Слезами наполнились глаза обеих цариц, растрогались также сидевшие у ног их Ката и дочь Шервашидзе Мзисавар.

Дедисимеди и Гванца вошли в опочивальню. Царица Елена, отвечая на приветствие, поцеловала обеих, Дедисимеди подошла к матери своей Кате, а Гванцу царица Елена взяла за локоть, поцеловала еще раз в щеку, посадила к себе на колени, гладила девушку рукою по волосам, а другою рукою отирала слезы с лица. Удивленно взирала на все это Дедисимеди, не в силах постичь: о чем же плакали царицы?

Наконец, Мариам сказала так, чтобы было слышно Дедисимеди:

— Правда, нынче дорога, ведущая в Иерусалим, не безопасна от сельджуков, но в Константинополе есть доверенный человек султана Никеи, амир Абд-эль-Вахид, я напишу ему, а он в свою очередь pošлет письмо амиру Неджим эд-Дину Иль-Гази¹.

— А кто такой Иль-Гази? — спросила Ката.

— Амиру Иль-Гази отдал султан Малик-шах во владение Иерусалим, — ответила Мариам.

Царица Елена отерла слезы платком. Она догадалась, что столь открытое предложение, оказываемое Гванце, может возбудить подозрение в душе Дедисимеди и, погладив еще раз по волосам дочь такверского эристава, сказала:

— На моих коленях выросла эта девочка.

И все же удивленно смотрела Ката на эту ласку. Липарит и Рати не посвятили ее до конца в свои замыслы, они считали, что не следует доверять женщине тайну; письма, присланного Баркиарком, не видала она вовсе. Слова, выскользнувшие из уст Рати на пиру, она кривляла за пьяную похвальбу. Поэтому глумилась она простодушно, что в сочель-

¹ Амир Неджим эд-Дин Иль-Гази — тюркский султан, завоевавший Иерусалим в 121 г., Иль-Гази во главе мусульманской коалиции, командуя 300 000 армией, вторгся в Грузию, но был поголовно разбит Давидом-Строителем.

ник и в самом деле состоится обручение.

Приезд Гванцы и ласки, расточаемые ей, заставили призадуматься Кату. Вспомнились ей и напештывания Козмана: будто бы переменяли намерения царицы Елена и Мариам, теперь уже Гванцу прочат они Давиду в жены.

Ката встала и вышла в гостиную палату. Глядя в окошко на рионские луга и заросли, она размышляла:

«Эх, старая Хорешан, слепая кротиха, где был мой разум, когда я решила послушаться совета такой темной женщины, как ты? Почему не упала подо мною лошадь, когда я везла свою дочь на торжество коронации?»

Упряма была супруга Липарита. Как, уехать из Гегути ни с чем? Да ведь это значит опозорить девушку перед всем светом!

В гостиную палату забрел монах Козман.

— На завтра готовят лошадей, — сообщил он Кате.

— Ну время ли сейчас уезжать, отыщи сейчас же Липарита, он, кажется, играет в нарды с царем Георгием.

Уже в третий раз вынужден был отложить свой отъезд триаветский эристав.

«За эти три дня многое выяснится, — думала Ката, — Русудан отсылают в Иерусалим, эристав Шаман не нынче-завтра уедет в Таквери — посмотрим, увезет ли он с собою Гванцу? Если девушка останется здесь, то, значит, права Мзисавар Шервашидзе: наверное, уговорился царица Елена и епископ Антоний тотчас после отъезда Русудан в Иерусалим женить царя Давида на Гванце. На этот раз и номоканон не будет препятствием. И хотя Гванца — правнучка артанудкийских Багратионов, родство в девятом колене не помешает бракосочетанию ее с Давидом».

Но и через три дня не удалось Кате разрешить свои сомнения, ибо отъезд Русудан встретил некоторые препятствия.

Бывшая царица отказалась от сокровищ, привезенных из Аниси в качестве приданого. В Гегути оставаясь она драгоценнейшие золототканые, усеянные камнями одежды, вышитые жемчугами шапочки и обувь, золотые резные иконы, серебряные зеркала и золотую посуду — блюда, тарелки и ложки, иранские чаши золотого чекана, серебряные женские кольчуги и серебряную же конскую сбрую, золотые канделябры и эмальевые иконы, золотые серьги, украшенные громадными рубинами, яхонтами и изумрудами, что в течение столетий носили потомки армянских династий Багратуни и Ариуни.

Единственное сокровище просила она дать ей в дорогу — крест из животворящего дерева, сопровождавший в войнах царей из дома Багратионов. В тот год, когда кутаисские сокровищницы были разграблены сельджуками, этот крест был спасен монахом Анфимозом, тайно увезшим его на осле, в переметной суме, и хранившим его три года в подземельях горы Хомли, в Сатапали.

Но накануне ночью единогласно постановили обе царицы и оба царя: дать чудотворственный крест паломнице Русудан, едущей поклониться гробу господню.

По повелению царя Георгия хранитель царских сокровищ передал бывшей царице на дорожные расходы две тысячи дирхемов, семь литр золота, пять икон золотой чеканки, украшенных алмазами и рубинами, семь образов нагрудных, усеянных яхонтами.

Царица Мариам от себя дала Русудан на дорогу тысячу салид и три золотые иконы; семь прислужниц отправились с царицей-инокиней, три постельничьих монаха и горничная ее Лаклака.

В Гегутском дворце еще долго после этого шептались приближенные, говорили: царица Русудан взялась нести ко гробу господню двойной крест. При этом под вторым крестом разумели не ковчег крестообразного очертания, в котором был заклочен крест животворящего древа, а горькую судьбу бывшей царицы и ее неугасимую любовь к царевичу Деметре¹.

42

КЛАРДЖЕТСКИЕ МОНАХИ

— Что это за крепость, отец Анфимоз? — спросил пешеход ехавшего на муле монаха и прикрикнул на груженную вьюком лошадь, что, тяжело дыша, взбиралась за хозяином на гору.

¹ Царь Давид двинул свои полки из западной Грузии в восточную. Джонди назначен начальником дружин. Из высеченного в скале города-крепости Уплисцихе Давид посылает лазутчиков в триалетское эршавство. Этих последних поддерживают в Триалети архиепископ Кирион манглиский и другие епископы, которые видят, как поколебавшийся в вере Липарит Орбелиани входит в темные связи с султаном Малик-шахом и его сыном Баркиароком.

Царь Давид хочет завоевать триалетское эршавство без пролития крови. В 1092 году умирает иранский султан Малик-шах, отравленный своей супругой Тюркан-Хатун, а его верного вазира Низам-аль-Мулька убивают ассистенты. Царь Давид намерен воспользоваться начавшейся в сельджукском султанате смутой, он спешно возводит и чинит крепости, собирает и обучает войска.

— Это — Хулути, господин мой эршав.

Человек, одетый в овчину, остановился, оглядел вздымавшийся на высокой скале замок. Туманом была окутана его кровля, ущелья по обе стороны дороги устилали мгла, каменистый путь, взбиравшийся по крутому косогору, белел, словно мыс, врезавшийся в море.

Были безмолвны убранные в белое елки, снег хрустел под ногами путников. Мертвое молчание царило вокруг, мул осторожно продвигался вперед по извилистой тропинке. Человек в овчинном тулупе едва волок за собою на поводку своего жеребца.

В небе цвета голубиногo крыла проглянуло солнце. Его лучи озарили обнаженные вершины Триалетского хребта. Старый монах остановил мула, прикрыл глаза ладонью, оглянул ущелье под собою и сказал:

— Вон, сдается мне, показались и наши!

Человек в овчинном тулупе обернулся, подтвердил:

— Да, это наши!

— Хорошо, что они догнали нас раньше Шошилетского леса, не то...

— Не беспокойся, отец Анфимоз, сам черт не узнает нас в этих овчинах. Да и как могут себе представить триалетцы, чтобы такверские азнауры путешествовали на вьючных лошадях! Только Кариман тревожит меня, чтоб ему было пусто! Во всем Начармагеве не оказалось тулупа, что пришелся бы ему впору. Да и, кроме того, вспыльчивый и отчаянный человек Кариман!

— Кто же такой этот Кариман, господин мой Джонди? Впервые в жизни вижу я такого великана.

— Кариман Сатиели — мой молочный брат, сванский азнаур, владелец замка, — ответил Джонди и снова оглянулся назад, потому что услышал топот лошадиных копыт.

К ним подъехал богатырь в овчинном тулупе, сидевший на вьючной лошади; стальные поножи его били по коленям высокого мери́на.

— Береги себя, господин Кариман, — учтиво сказал всаднику ехавший на муле монах. — Если лошадь твоя, не дай боже, свалится вместе с тобою с этих скал, те придется нам собирать тебя по косточкам, сын мой!

— Не опасайся за меня, отец Анфимоз, свана не удивит триалетскими кручами! И в более опасных местах доводилось мне джигитовать, — ответил Кариман и обнажил в улыбку свои белые, сверкающие зубы, острые, словно звериные клыки. Щеки у воина покраснелись, белокурые волосы рассыпались по плечам. Поверх шлема на голове у него была надета шадом наперед надетая на лоб

остроконечная шапка, какую обычно носят дворцовые шуты.

— Застегни тулуп, мой сын, поправь на голове шапку, да сними поножи и спрячь их в суму; слыхано ли, чтобы колени пастуха, едущего на вьючной лошади были украшены рыцарскими поножами. Мы въезжаем в лес Сакория; говорят, в этих местах часто охотится на медведей сын Липарита — Рати... Как бы не натолкнуться нам на него в недобрый час, господин Кариман, — сказал Анфимоз.

— Что же мне делать, коли я не вмещаюсь в этот чортов тулуп! А если Рати встретится нам, так ведь мне только того и нужно, отец Анфимоз!

Нахмутив лоб, Джонди сказал Карима-ву по-свански:

— Брось свои шутки, Кариман! Если бы царь Давид хотел прибегнуть к оружию, он послал бы не девятерых, а девять тысяч человек. Наш повелитель пока что решил избегать пролития крови. Мы должны вести себя так, чтобы ни одна душа не знала о нашем присутствии в этих местах!

Кариман Сатиели соскочил с лошади, снял шлем и поножи, уложил их в хурджин, застегнул тулуп, спрятал под ним рукоять меча.

Уже остался позади лес Сакория, проехали и ровное плоскогорье, когда, наконец, у перепутья остановил своих спутников отец Анфимоз.

— А теперь я и сам не знаю, как поступать далее, господин мой эристава. Тропинка эта приведет нас на противоположную сторону ущелья; там начинается Шошилеский лес. Ждать ли здесь остальных или ехать лесом до шошилеской церкви? — спросил монах.

Джонди оглядел лес, простиравшийся по правую руку от него, задумался, а монах добавил:

— Нам нельзя мешкать: отец Василий и управитель Зосим ожидают нас с самого утра в церкви шошилеского святого Георгия. А вдруг они, не дождавшись нас, запрут церковь и уедут, где я тогда укрою девять человек с девятью лошадьми?

— Не говоря уже о том, что мы уморим голодом лошадей в этом занесенном снегом лесу, — сказал Кариман Сатиели.

— О лошадях не забудьте, — ответил Анфимоз, — нынче же вечером отошлем их к епископу Кириону. У него целый табун в конюшне, ваших коней он соединит к своим.

— Лучше все же ехать вперед, отец Анфимоз. Остальные найдут, надо думать, путь по нашим следам.

Подъехали к оврагу, через который был перекинут мост, сплетенный из прутьев. Мул Анфимоза обнюхал мост и уперся на месте.

Огорчился Анфимоз, спешил. Кари-

ман Сатиели осыпал животное ударами плети. Мул стал лаяться.

— Ох, и упрям же он, чертова добыча! — жаловался Анфимоз, — иной раз пройдет по волоску, а когда нужно спешить, обязательно заупрямится.

— Ну, погоди ж ты у меня! — с угрозой крикнул Кариман Сатиели, сунул поводья своего коня монаху, подошел к мулу, схватил его своими длинными руками, поднял на воздух, словно теленка, и перенес через мост.

Отец Анфимоз хохотал, слезы текли по его щекам.

Тишиной и теплом встретил путников Шошилеский лес. Изредка раздавался стук дрозда, а когда воцарилось безмолвие, путники слышали, как падают с верхушек вязов снежные хлопья. Отец Анфимоз трусил на своем муле вперед, приглядываясь к местности, искал в лесу занесенные снегом тропинки. Наконец он обернулся и сказал почти шопотом своим спутникам:

— В Шошилети вам всем придется переодеться, дети мои. Кольчуги видны изпод ваших тулупов; мечи и поножи вам тоже придется снять.

— Мы и без того одеты, как пастухи, отец Анфимоз, а я, как видишь, даже напялил себе на голову шутовской колпак — чего же еще от нас требовать, скажи на милость?

— Отец Василий даст вам монашеское платье, — ответил Анфимоз.

Улыбнулся Кариман, потом спросил:

— А где же отец Василий найдет столько монашеских ряс?

— У эристава Орбелиани собственный монастырь в Липаритис-Убани, господин мой Кариман. Отец Василий — настоятель этого монастыря.

В лесу раздался свист.

Отец Анфимоз вздрогнул.

— Это, наверное, наши, — сказал Кариман, засунув два пальца в рот и трижды свистнул. Семеро всадников рысью въехали в густой вязовый лес.

— Скажи мне, отец Анфимоз, — сказал эристава Джонди, — открыта ли ныне церковь шошилеского святого Георгия?

— Алып-Арслан разорил ее, превратил в верблюжье стойло. Липарит Орбелиани восстановил церковь, еще в прошлом году собирался расписать стены, да ныне сам откряк от веры христовой. Говорят, собирается сделать из храма мечеть.

— А есть ли какое-нибудь селение рядом с этой церковью? — спросил Кариман Сатиели.

— Было и селение вблизи церкви, богатое и многолюдное, но теперь осталось от него лишь пепелище, — ответил отец Анфимоз и, остановив мула, обратился к эриставу Джонди:

— Я поеду вперед один, дети мои, а вы держитесь следов моего мула. Только помните, вы должны ехать поодиночке.

Когда минуете вазовую рошу, увидите перед собою овраг, оставьте его, не перебекая, по правую руку от себя; далее увидите лесистый мыс горы, тут непременно спешитесь и пройдите его по тропинкам. Как только окажетесь на ровном месте, увидите издали купол, это и будет церковь святого Георгия, а перед ней дубовая роша, куда пастухи выгоняют телят и свиней Багуаш-Орбелиани. Помните, что вы не должны спрашивать дорогу.

Сказав это, монах подхлестнул своего мула.

— Твердо запомните, — сказал эристав Джонди своей свите, — мы с вами — пастухи, джавахетцы. Эту ночь мы, вероятно, проведем в шошилетской церкви, а лошадей отошлем к Кириону, епископу манглисскому. Сегодня же мы с Кариманом отправимся в Липаритис-Убани, разумею, как там обстоят дела. Когда мы с вами разделимся, — запомните твердо: вы должны будете воздерживаться от вина и от ссор с триалетцами. Удержите в памяти приказ нашего повелителя: даже после того, как порученное нам дело будет выполнено, никто в эриставстве триалетском не должен знать кто мы такие.

В дубовом лесу, сплошь изрытом свинными рылами, Джонди увидел несметное стадо свиней и телят. Пастухов не было вгиде. Наконец, он заметил вдалеке дым, поднимавшийся к небу.

Под дубом горела большой костер. Пастухи сидели, греясь, вокруг огня.

Старик с длинным кинжалом у пояса преградил путь конному эриставу. Спросил, кто он такой.

— Я из Джавахети, дедушка: голодный и продрогший, еле добрался до этих мест. Дай мне поесть, если найдется что! — пожаловался Джонди.

— Чего же надобно джавахетцу в триалетском эриставстве?

— Господин мой Бешкен Джакели послал меня закупить скот: мы держим путь в Кахети, дедушка, — ответил Джонди.

Человек с кинжалом оглядел всадника с ног до головы; и впрямь, путник показался ему продрогшим. Схватив за поводья коня, подвел он его к дереву и почти приказал:

— Слезай с коня!

Джонди смутился. Вокруг огня грелись по меньшей мере сорок свинопасов. У каждого из них висел на поясе кинжал. Не хотел Джонди сходить с коня, боялся: как бы нечаянно не показалась из-под тулупа кольчуга.

Но старик не отставал от Джонди, требовал настойчиво, чтобы он сошел с лошади. Вооруженные кинжалами свинопасы вскочили и окружили всадника. Это уже походило скорее на приказание, чем на просьбу.

Джонди подумал: а может быть, не соглашаться? Но с минуты на минуту подошлет Кариман, затеет ссору со свинопасами,

сами, чего доброго, еще ввяжется с ними в потасовку, и тогда придется оружием прокладывать путь в этом дубовом лесу.

Джонди, спешившись, протянул руки в весело трещащему огню. Старик уже шутливо попросил гостя присесть на пенек.

Джонди стоял в нерешительности, ибо знал, что если сядет, обязательно заметят пастухи кольчугу и меч; старший свинопас взглянул на своих подручных.

— Ну, довольно греться, — сказал он им.

Громко разговаривая между собой, пастухи разошлись по лесу. Улучив мгновение, Джонди зажал между ног полы своего тулупа и присел на пенек.

Старший свинопас подал эриставу сыр, достал кувшин и налил во флягу арака; потом присел на корточки перед огнем, вынул из костра хлеб, облепленный золой, преломил его и поднес гостю.

Приятно ударил в ноздри проголодавшемуся Джонди запах хлеба; он откусил хлеб, и, благословив хозяина, осушил флягу.

— Доблестно защищался Бешкен Джакели, твой повелитель, — сказал свинопас, — хотя, не подоспей к нему на помощь царь Давид, разве справился бы один с сельджукской ратью эристав тухарский?

У Джонди polegало на сердце, когда старик помянул добром царя Давида. Он спросил свинопаса:

— Чье это стадо?

— Нашего господина Липарита Орбелиани, эристава над эристами, — ответил тот.

Второй раз достал старик из горячих углей хлеб, облепленный золой, ударил по нему ладонью — зола посыпалась в лицо эриставу Джонди — вновь преломил лепешку и подал гостю.

— Что подеывает твой господин, эристав Липарит? — спросил Джонди.

— Господин наш отрекся от спасителя, — сказал свинопас и огляделся кругом. — Страшась царя Давида, укрылся он в Кладекари и ждет со дня на день сельджукскую рать. Муллами наполнилось эриставство триалетское, сдается мне, и я не избежну обрезания на старости лет.

И снова наполнил флягу для гостя. Джонди взглянул в прямодушное лицо пастуха, светившееся добротой, решил довериться его честности, поднял флягу, и такие слова выскользнули из его уст:

— Бог тебе в помощь, добрый старик. Мне думается все же, что не будет позволено твоему господину осквернить христианскую землю.

Старик взглянул в глаза гостю и ответил:

— И мне так кажется, сын мой. В триалетском эриставстве ждут царя Давида. Говорят монахи, будто юный царь — заступник и покровитель христианства.

Джонди поднялся. Заметил, что последний из такверских всадников уже миновал дубовую рошу. Несмотря на уговоры старого свинопаса, Джонди поблагодарила хозяина и вскочил на коня.

В церкви шошилетского святого Георгия всадники нашли лишь пустой иконостас, потемневшие от пожара фрески и пол, устланный по колено птичьим пометом. Но все же, войдя в святой храм, обняли головы такверцы и, творя крестное знамение, приблизились к дверям алтаря.

Отец Анфимоз вышел им навстречу, горюливо заложил двери храма засовом и ввел рыцарей в святилище.

За гранитным столом сидели двое старцев. Один из них был почтенный старец с длинной, как у патриарха, белой бородой, доходившей до монашеского вервия, служившего ему поясом; круглое и приятное лицо другого украшала густая растительность цвета волчьей шерсти.

Подведя гостей к белобородому, Анфимоз сказал:

— Это — отец Василий.

Второй оказался управителем Липарита, Зосимом.

На хурджине, лежавшем у ног стариков, было сложено несколько монашеских ряс и куколей.

— Осторожность никогда не мешает, дети мои, — сказал сидевший на каменной скамье отец Василий, — перемените одежду сейчас же.

Новоприбывшие немедленно сняли тулупы, и, вместо девяти рыцарей в латах, девять монахов сели вокруг стола. Даже по печальным лицам настоящих монахов пробежала улыбка при виде Каримана Сатили, широченные плечи и голова которого не вмещались в рясу и куколю.

Джонди нарушил воцарившееся молчание; он взглянул в глаза отцу Василию и Зосиму и сказал:

— Вероятно уже сообщил вам отец Анфимоз о причине нашего прибытия в триалетское эриставство, святой отец?

Отец Василий поднял мохнатые седые брови и ответил едва слышно:

— Отец Анфимоз только что изволил прибыть, но еще прежде предупредил меня преосвященный Кирион, епископ манглиский, что я должен оказать содействие доверенным людям царя Давида, которые приедут в триалетское эриставство. Сверх этого я ничего не знаю, сын мой.

— Повелитель и господин наш, царь Давид, приказал нам взять живым эристава триалетского Липарита или же сына его Рати и доставить к нему в Начармагеви, — твердым голосом сказал такверский эристава.

Отец Василий даже не повел бровью, услышав это, и Джонди продолжал:

— Мне приказано выслушать ваш совет, прежде чем приступить к выполнению

моей задачи, и воспользоваться вашим помощью в этом деле, святые отцы.

Отец Василий помолчал, проведя рукой по украшенной сединой голове, взглянул на управителя Зосима и лишь после этого ответил такверскому эриставу.

— Ты знаешь, вероятно, и сам, господин мой эристава, что я готов на любую жертву ради царя Давида, не пожалю живота моего — лишь бы схватить нечестивого триалетского эристава. Но дело это нелегкое, дети мои: с тех самых пор, как Липарит Орбелиани стал на путь Иуды Искаротиота, заперся он в Клекарском замке и, как подтвердит тебе и отец Зосим, не доверяется даже собственному семейству. На старости лет не мог он найти себе лучшего занятия, как учиться у ходжей закону Хадиса¹. Я думаю, что схватить эристава Липарита удастся лишь тогда, когда царь Давид обложит и сокрушит с божьей помощью Клекарскую твердыню. Что же касается Рати, то давно уже не видели мы его в Липаритис-Убани. Постельничьи монахи их шептались, будто он отправился в Кахети, иные же полагают, что он уехал в Исфагань к Баркиароку, сыну султана. Вчера сообщил мне один послушник, что ходил он в лес Сакорию за дровами и повстречался там с сыном эристава: убив джейрана, возвращался со свитой Рати.

Отец Василий умолк и оглянулся на Зосима.

— Все, что сообщил вам отец Василий, все это в точности так, — сказал Зосим, — но вы должны помнить, что и Рати схватить будет не легко. Без свиты не показывается нигде сын эристава, а кроме того, вам, вероятно, известно, что Рати — храбрый воин и меткий стрелок. Липаритис-Убани обнесено каменной стеной, во дворце сейчас готовы к осаде, около трехсот триалетских азнауров и до тысячи ратников охраняют дом Липарита Орбелиани. В триалетском эриставстве каждый ребенок знает, что царь Давид нынешней зимой расположил свои войска лагерем в Начармагеви. Тысячи предположений строят здесь по этому поводу. Одни полагают, что царь угрожает тбилисскому амиру, другие думают, что он умышляет против Дзагана, зедзенского эристава; сам же Липарит уверен, что царь собирается вторгнуться в триалетское эриставство. Мне известно наверное, Липарит собирался скрыть в Клекари все свое семейство, но дочь эристава была больна до последнего времени.

Джонди попросил прощения и перебил Зосима:

— А как поживает нынче госпожа Дедисимеди?

— Вчера она встала с постели. И еще

¹ Хадис — учение о магометанских обрядах.

говорила супруга Липарита Ката: три дня собирается она подождать и, если дочери станет лучше, уедет с нею в Кладекари. Помните также, — добавил Зосим, — что Рати не оставит без себя мать и сестру одних в Липаритис-Убани; а если женщин увезут в Кладекари, нечего будет и думать о том, чтобы схватить Рати.

Эристав Джонди прижал обе ладони к вискам, устремил взор в кирпичный пол, потом поднял голову и сказал:

— Допустим, что нам удалось бы каким-либо образом задержать семейство Липарита в Липаритис-Убани. Как тогда можно будет схватить Рати Србелиани?

— И в этом случае, — ответил Зосим, — вы должны следовать примеру великих царей наших; Баграт III обычно приглашал к себе врагов и изменников на пиршество, а Баграт IV приказывал хватать их во время охоты. Вероятно, вы слышали о том, как Баграт IV подослал Гамрекели к царю армянскому Квирике? И знаете, как овладел царем Гамрекели? Заманил его на охоту в квешские леса. Еще и первой стрелы не выпустил из лука Квирике, как азнауры Гамрекели напали на него, заткнули ему рот платком, связали и умчались с собой. Точно так же во время охоты схватили, по повелению царя Баграта, Ваче Абазаисдзе в Церовани.

Управитель Зосим замолчал, а отец Василий сказал улыбаясь:

— Отныне и этот способ будет для нас непригоден, чада мои, ибо Рати и на охоту не выезжает без свиты. Да и, кроме того, разве поедет он с чужими людьми на охоту?

Джонди улыбнулся, хотел сказать что-то, но удержался и сказал другое:

— Этому уж сумеем помочь я и мой Кариман.

Кариман тоже улыбнулся чему-то, но не произнес ни слова, ибо был занят едой.

Став на колени, отец Анфимоз доставал еду из хурджина. Такверские азнауры, сидевшие вокруг, молча уписывали предложенные монахами кумели¹ и коркоти². Джонди взглянул на Каримана, но услышал лишь журчание вина, лившегося, словно ручей, в горло ненасытного Каримана из запрокинутого кувшина.

Кариман отер кулаком длинные усы; щеки его покраснелись. Он спросил Зосима:

— Скажи мне, святой отец, на какого зверя охотится обычно Рати?

— С приходом весны он обычно охотится на гусей в зарослях реки Храм, а на масляной травит оленей.

Отец Анфимоз заговорил с хозяевами о лошадях и о размещении азнауров по жилищам.

Лошадей отец Василий предложил ото-

слать к епископу Кириону, а Джонди и его азнауров обещал взять с собою в монастырь.

— Придется только кольчуги и все доспехи ваши припрятать в церкви; а себя называйте, если будут спрашивать, кларджетскими монахами, собирающими милостыню и держащими путь в Кахети.

— Прости меня, святой отец, что я наскучил тебе расспросами, — сказал отцу Василию эристав Джонди, — но я бы хотел узнать еще одно: по велению царя Давида я должен вручить в собственные руки дочери эристава письмо. Можно ли будет устроить мне встречу с нею в монастыре, в твоём присутствии, святой отец?

— Это сделать легче всего, — ответил отец Василий. — Дочь эристава ежедневно посещает нашу обитель. Она лечила от недуга печени одного больного. С божьей помощью встречу мы устроим.

Когда одетые в монашеские рясы азнауры такверского эристава поднялись с мест, отец Василий почувствовал страх: ни в одной обители, ни в Кларджети, ни в Липаритис-Убани, не приходилось ему видеть монахов столь высокого роста, как Кариман Сатиели.

43

БЕСОВСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Колокола разбудили Дедисимеди; звонили к заутрене в монастыре. Она сидела в постели и слушала — только этот звон и убеждал ее, что она находится в Липаритис-Убани, а не в Ластисцихе¹.

После возвращения из Гегути однообразной и тоскливой стала ее жизнь — время сна встречала она с большею радостью, нежели часа пробуждения.

«О, если бы вся эта жизнь оказалась сновидением!», — часто думала девушка.

Суровая триалетская зима затруднила переезды, отрезала от всего мира Липаритис-Убани, и без того окруженное дремучими лесами. А от манглисского епископа все еще не было вестей о возвращении отца Анфимоза.

С большим трудом удавалось доставлять в Липаритис-Убани письма царя. Частые поездки Анфимоза в Гегути могли вызвать подозрение; поэтому сам отец Василий должен был являться к Кириону, тот своими руками снимал привезенный Анфимозом образ, вынимал из оклада письмо и вручал послание отцу Василию.

Отец Василий недомогал последнее время, ни один лекарь не мог вылечить его печень, лишь шарбеты Дедисимеди поддерживали быстро дряхлевшего старца. Единственная забота владыка теперь до-

¹ Кумели — мука, поджаренная в меду.

² Коркоти — пшеница, вареная с медом.

¹ Ластисцихе — крепость близ Тбилиси.

черью эристава: вырвать из когтей смерти этого яростного и доброго старика.

Звонили монастырские колокола в утренний час, молчаливо сидела Дедисимеди на своем ложе, три прислужницы хлопотали около нее, одевая дочь эристава.

Нана обувала ноги, прислужница Дуда причисывала волосы, а Лела готовила втирание для лица.

Еще не очнувшись от сна девушка охотно поднималась руке причисывавшей ее Дуды, закрывала глаза, прислушивалась к потрескиванию гребня в густых косах, и как только поднимала веки, навстречу ей глядело из серебряного зеркала собственное ее лицо.

Не было уже на ее щеках того нежнейшего оттенка персиковых цветов, какой со столь большим мастерством наводили на фарфор иранские мастера того времени. Словно траур, лежали тени под ее глазами, зеленоватые жилки выделялись на шее.

Солнце заглянуло в окошко дворца, и зеркало засверкало в его лучах. Девушка уже не видела больше своего лица, ибо полированное серебро само замерцало нежным сиянием.

Играл солнечный луч на зеркальной поверхности металла, ежеминутно меняя окраску, подобно саламандре, горел то изумрудом, то рубином; красные, темно-голубые и зеленые цвета плясали, сплетались, сверкали.

Сидела девушка и развлекалась, следя за игрою света и металла. Каким-то таинственным и волшебным предметом стало для Дедисимеди это серебряное зеркало, подаренное ей царицей Мариам в Кутаисском замке.

Вставленное в золотую оправу, зеркало было окаймлено листьями лозы нежно-зеленого лугового цвета, на листьях этих был ясно заметен тот росистый налет, которым бывает подернута поутру листва в винограднике. На чуть шероховатой, бархатистой поверхности видны были даже линии прожилок, чуть утолщающиеся возле стеблей. Красиво изогнутые побеги, которыми лоза обвивается вокруг кольев, были тщательно вычеканены из золота. Виноградины, не отличающиеся от настоящих, были гладки, прозрачны и продолговаты — в точности таковы, как ягоды будущи на исходе того месяца, когда солнце сгущает в виноградниках сладость и тепло на радость людям. С наименьшим искусством были созданы цветы лозы из мелких жемчужин.

В это утро, как всегда, зеркало царицы Мариам умножало в сердце Дедисимеди неясную печаль, навевая сновидениями. Далеко позади остались счастливые дни, проведенные в Кутаиси, Гегути и Сатапалии. Не видно было лица царя Давида, освещенного лунным сиянием, оно было теперь закрыто суровым забралом

цвета ржавчины; где-то далеко звенел доспехами ее возлюбленный. Доходили неясные слухи: будто бы к предстоящим битвам острит свой меч царь Давид, усмиритель сатаны.

Имя его было на устах у всех. В эриставстве триалетском укрепляли замки и башни, чтобы встретить его. Он же где-то скакал на коне, бушевал, грозил и бряцал оружием.

И о царице Мариам тоже ничего не было слышно. Из-за далеких морей прибыла эта прекрасная, несущая радость и утешение, фея, лицо которой еще при жизни Мариам изображали на фресках и на священных иконах грузинские и византийские мастера¹.

Ни днем, ни ночью не умолкал в ушах Дедисимеди ее нежный голос, ее неизменное, ласковое «предательство моя».

Из-за далеких морей прибыла она и принесла минутное счастье беззащитной деве, которой изменили все самые близкие и отняли у нее радость и утешение. Своею волшебной рукой развязала прекрасная фея темные сплетения рока, на мгновение дала вкусить влюбленным незабываемое блаженство и вот — вновь исчезла без следа за морем.

Уехала царица Мариам, и иссяк для Дедисимеди незамутненный родник радости, и снова осталась лишь «вертоград замкнутый, источник опечатанный...»

Из коротеньких записок Давида нельзя было понять, что он намеревался предпринять: не упоминал он ни единым словом ни о приезде в Липаритис-Убани, ни о встрече в Ластисице.

Обращение же Липарита в мусульманство вовсе лишило Дидисимеди надежды на обещанное обручение. Из всего, что слышала краем уха Дедисимеди, было ясно, что Липарит и Рати готовятся к войне. Рати стал совершенно невыносим, беспричинно сердился он на сестру и ругал ее. С нетерпением ожидала девушка, когда уедет он на охоту или еще куда-нибудь по своим таинственным делам. Зато Ката внезапно стала особенно ласкова с дочерью; по ночам не раз слышала Дедисимеди, как молилась и плакала супруга эристава, прося господ помиловать супруга, «ввергнувшего себя в геенну неверия».

Последнее время, уже после возвращения Рати из Кахети, слышала Дедисимеди по ночам: после полуночи приезжали в Липаритис-Убани какие-то всадники; во дворе и в проходах эриставских хором случилось им обронить турецкое слово. Дедисимеди пробиралась дрожа, когда она слышала их. А потом, отослав факельщиков и прислугу, Рати заперся с ними

¹ Изображение императрицы Мариам имеется на иконе Хахульской богородицы, в Гелати, а другое — на известной византийской иконе, в Ватикане.

в гостиной палате, и всю ночь доносилась оттуда турецкая речь, иногда горячился Рати, в ярости часто называл он имя царя Давида.

На рассвете уезжали гости, во дворцовом дворе слышался свист плетей, турецкие восклицания и собачий лай.

Однажды ночью прискакал с большою свитой из Кледекари Липарит. Он был одет в боевые доспехи, а вокруг его шлема была обвита зеленая, цвета травы, чалма, какую носили амиры Баркиарока, которым случалось иногда приезжать в гости в Кледекарский замок.

Лицо отца показалось Дедисимеди изменившимся, сам он — надломленным. В теле этого бритоголового с подстриженными усами старика словно вселился совсем другой человек.

Когда перед отъездом он расцеловал Дедисимеди, девушка почувствовала новый, неприятный для нее запах, не похожий на тот привычный, родной, любимый аромат, который обычно издавало платье эристава. Это был смешанный запах гашиша и нашатыря.

Так обстояли дела последнее время во дворце Орбелиани; не только сон, но и смерть казалась желанною Дедисимеди.

Днем беспрестанно шел снег, по ночам гудел ветер, волки и шакалы подходили совсем близко к каменной оградке Липаритис-Убани, были перед стойлами, словно плакальщики, без конца. Но пуше волчьего воя пугал Дедисимеди топот коней сельджукских всадников, въезжавших во двор.

Тайный страх мучил Дедисимеди: как бы не оказались эти всадники посланцами Баркиарока, приехавшими за нею. Подозрительно молчала Ката, хотя Дедисимеди объявила ей непреклонно, что скорее утонет в Алгети, нежели пойдет замуж за Баркиарока.

В последнее время приступил к ней настойчиво Рати, говоря, что собирается увезти ее с матерью в Кледекари. Между тем монах Козман сообщал, что в Кледекарский замок повадились сельджуки; не хотелось Дедисимеди переезжать в замок, но и причины не могла она выискать, чтобы как-нибудь остаться в Липаритис-Убани. Хорешан обещала ей, если будет необходимо, тайком увезти ее в Ластисцихе.

Самое важное и самое тягостное было, однако, то, что ни Ката, ни Дедисимеди не знали даже приблизительно, что творилось в эти дни в триалетском эриставстве.

Стон донесся до слуха Дедисимеди; она взглянула на спавшую у ее изголовья Хорешан. Заранее знала: как всегда, спросит о вчерашнем сне старая няня.

И впрямь, не заставила долго ждать слепая старуха:

— Что привиделось тебе, радость моя, этой ночью?

— Я и во сне несчастна теперь, няня. Будто мы сидели с тобою во дворе, в Ластисцихе, зернами ячменя кормила я фазаньих птенцов. И будто была весна, и к тебе вернулось зрение. И вдруг ты подняла крик: «Гей, гей, прочь отсюда». Ястреб кружился над замком. Я не успела и поднять глаза, как опустился проклятый на моих птенцов.

— Это — хороший сон, свет очей моих.

— Сон к добру, — подтвердила Лела.

Дедисимеди разделила рукою на лбу спустившиеся волосы, заглянула в незрячие глаза Хорешан.

Слепая сказала ей так:

— Ястреб — это твой нареченный. Разве не рассказывал тебе Зосим, управитель, что царь стоит лагерем в Начармагеви со своею ратью?

Лела встала свое слово:

— Скоро налетит этот ястреб на Кледекари!

— Не говори, не говори так, Лела! Да спасет нас господь от братоубийственного кровопролития! — простонала Дедисимеди.

— Об этом ты не печалься, дочь моя. Наш господин Липарит — разумный правитель, он не доведет до этого. Крепко запомни мои слова: будет даже рад великий эристав — возможно, что наружно он окажет сопротивление нареченному зятю, не таково уж, знать, правило отцов. В прошлом году на рождество все уже было готово к свадьбе, но приехал епископ манглисский и известил Липарита, что обручение откладывается: царь отправилась в Абхазию вершить государственные дела.

Хорешан приподнялась на подушках и продолжала:

— А разве не так же женился отец твой на нашей госпоже? Три года засыал он сватов к Дукидзе, владетелю замка Демоти. Дукидзе не верил, чтобы триалетский эристав женился на его дочери, ибо в юности любил распутных женщин твой отец. Поэтому трижды откладывалось обручение. Наконец Липарит выступил из Кледекари с войском, осадил Демоти и внезапно взял замок твоего деда. Я помню так ясно, словно это было вчера: на третий день пасхи произошло это событие, дочь моя. Липарит вошел в Демоти так, что не пролилось ни одной капли крови — ни у триалетцев, ни у крепостных войск. С улыбой на лице встретил старый Дукидзе нареченного зятя: «Христос воскрес!» — приветствовали они друг друга. Воюющие азнауры обнялись и на фоминой сыграли свадьбу. Так же будет, наверное, и сейчас: Липарит и Рати для видимости будут сопротивляться царю Давиду, а потом все устроится самым лучшим образом, вот увидишь!

Вошла монахиня, инокиня Текие, поцеловала колено Дедисимеди и сообщила

ей: преподобный отец Василий просит пожаловать к нему дочь великого эристава.

— Не болен ли опять отец Василий? — спросила Дедисимеди.

— Я сама не видела высокопреподобного игумена; отец Анаксимандр, инок, передал мне его приказание. Знаю только понаслышке: переносит болезнь на ногах отец архимандрит, — ответила монахиня.

Хорешан просила Дедисимеди сперва позавтракать, потом итти к отцу Василию; но Дедисимеди не послушала ее, собрала свои лекарственные склянки и, не взяв с собою даже Лелы, одна направилась в монастырь.

Узнав, что пришла дочь эристава, настоятель монастыря вышел к воротам встречать гостью. Он осенил Дедисимеди крестом, и когда та приложила к его руке, запечатлея поцелуй на ее лбу и с великой почтительностью повел ее за собою. Перед тем как войти в монастырскую церковь, он оглянулся и сказал девушке вполголоса:

— Для тебя есть письмо от царя Давида, дочь моя.

Лицо Дедисимеди сперва просияло, но потом она побледнела, невольная дрожь, словно от лихорадки, охватила ее.

— Не приехал ли отец Анфимоз, святой отец?

— Отец Анфимоз приехал, но письмо привез совсем другой человек, я сейчас представляю его тебе, дочь моя.

Монахи клали поклоны, хотя служба еще не начиналась. В придел храма, ярко освещенный восковыми свечами, ввел Дедисимеди отец Василий. Сверкание паникадила, полного зажженных свеч, ослепило девушку. Из темного угла вышел навстречу незнакомый монах, преградил ей дорогу, смиренно склонился перед нею и поцеловал ей руку.

Девушке показалось чрезмерною смелость, с какою приблизился к ней простой монах; она отступила и вгляделась в незнакомца.

— Не узнаешь меня, дочь эристава? — спросил монах и сдернула куколь с головы.

— Джонди! — воскликнула Дедисимеди. — Тсс... — прошептал таверский эристав. — Я отныне не Джонди, а кларджетский монах, собирающий милостыню, по имени Феофилакт.

Дедисимеди смутилась: уж не шутит ли по своему обыкновению Джонди? Но сомнения скоро рассеялись, потому что Джонди сказал ей, нахмуря брови:

— Повелитель наш прислал меня по делу весьма срочному и приказал мне передать тебе это письмо в собственные руки.

И вынул свиток из рукава.

Дрожащею рукою Дедисимеди взяла запечатанное послание и поднесла его чтобы прочесть к подсвечнику перед образом святого Георгия. Руки ее дрожали. Она

жадно пробежала несколько строк, что вывела на пергаменте царская рука.

«Окажи содействие эриставу Джонди. По мере возможности — не уезжай ни в Кледекари, ни в Ластисцихе, пока я не извещу тебя через того же эристава Джонди», — писал ей царь.

Девушка ломала голову: что означало такое приказание Давида? Вероятно, он собирается осадить Кледекарский замок и не желает, чтобы она присутствовала при возможном кровопролитии.

Мысль эта была столь ужасной, что у нее задрожали и подкосились колени, а свечи перед образом святого Георгия так сильно замерцали в ее глазах, словно ветер прошелся по усеянному лютиками лугу.

Дедисимеди еле нашла в себе силы сказать эриставу:

— Я должна известить тебя, господин мой эристав, что послезавтра мы все уезжаем в Кледекари, так повелел мой отец. В Липаритис-Убани останутся, наверное, только домоправитель да десяток слуг.

Джонди был озадачен, подумал: значит напрасны все старания?

В сердце Дедисимеди разгорался огонь, зажженный письмом царя Давида; она рассуждала так: в Кледекари два самых близких, самых дорогих ей человека — отец и жених должны пасть, сражаясь друг с другом; зачем же ей тогда постылая жизнь, которую сохранит она, спрятавшись в Липаритис-Убани? Догадывалась Дедисимеди, что все было не так просто, как это казалось Леле и Хорешан. что дело шло о гораздо большем, нежели простые нелады зятя с тестем.

«Ты еси лоза истинная!» — пели монахи. Вскоре должно было начаться богослужение. Джонди торопился уйти из храма, чтобы провести весь этот день в усыпальнице, расположенной под монастырем; поэтому он несколько торопливо обратился к девушке:

— А тогда, сдастся мне, было бы хорошо, госпожа моя, чтобы ты сказалась больною и как-нибудь избежала поездки в Кледекари. Это весьма и весьма важно для нашего дела!

Дедисимеди свернула свиток.

— Мне все понятно, господин мой эристав; впрочем, тебе известно, вероятно, что я и жизни не пожелаю, если это понадобится нашему повелителю, но к одному я неспособна вовсе — ко лжи! — сказала она, и ланиты ее вспыхнули.

Отец Василий промолчал: была по душе ему прямота и честность девушки, но не желая изъяснять ей своего одобрения, он лишь устремил свой взор в каменный потолок. Дедисимеди же закончила:

— Я уже выздоровела, как же мне солгать моим родителям?

— Я сообщил тебе желание нашего государя, дочь эристава; остальное — рассуди сама, — строго сказал эристав Джон-

ди и кинул взгляд на двери, ведущие наружу из часовни.

Дедисимеди показалось: Джонди сейчас уйдет и ответит ее ответ царю. Она внезапно побледнела, схватилась за стену руками и, раньше чем кто-либо из присутствующих успел поддержать ее, упала на кирпичный пол. Пока отец Василий созывал послушников, чтобы увести Дедисимеди, «кларджетский монах» исчез из храма.

★

Казна Липаритис-Убанского дворца уже была перевезена в Кледекарский замок, а сокровища и утварь, наполовину уложенные в огромные сундуки и лари, ждали своей очереди. Приступить к перевозке клади собирались, как только настанут лунные ночи. Поэтому Рати было чрезвычайно неприятно узнать о внезапной болезни Дедисимеди.

Ни Дедисимеди, ни отцу Василию не понадобилось прибегать ко лжи, чтобы затянуть отъезд. Еще не успели принести Дедисимеди на носилках из монастыря, как во дворец прибежала монахиня Текие и рассказала: Дедисимеди молилась в пределе храма, внезапно святой Георгий сошел со своей иконы, и от этого видения заболела дочь эристава.

Взволновалась Ката, вспомнила, что в прошлом году, в той же часовне, святой Георгий объявился одной болнисской моельщице из простонародья, и та помучилась в рассудке.

Засуетилась, захлопотала Хорешан, напештывала заговоры над больной. Приметила и сообщила Кате: как и та болнисская моельщица, Дедисимеди жаловалась на боли в глазах, так же начался у нее жар, тело покрылось краснотою, и одолевали ее частые сердцебиения.

Рати спешно отрядил Козмана в Кледекари.

В этот самый день приехал туда к Липариту Ахсартан Второй — посланник царя кахетинского Квирике. Гости и хозяин были в большом замешательстве: Ахсартан Второй привез известие о смуте, начавшейся в Исфагани, об убийстве Низама аль-Мулька и отравлении султана Малик-шаха.

— Липарит ожидает эристава Дзагана и потому не может приехать в Липаритис-Убани, — сообщил, вернувшись, Козман, — зато завтра же он пришет к Дедисимеди арабского лекаря.

В Кледекарском замке у эристава Липарита последнее время жил мулла, посланный из Исфагани, чтобы обучить его закону Хадиса. Звали муллу Реджеб бен-Ибрагим, он был прославленный врачеватель, высокоученый и весьма искусный в лечении целебными травами.

Ката не хотела, чтобы этот сарацин приехал в Липаритис-Убани, тем более,

что больная отказывалась даже видеть нечестивого араба.

Слепо верующею христианкой была Ката. Глубоко опечаленная отступничеством своего мужа, стремилась она сохранить неоскверненным мусульманскими хождениями хотя бы Липаритис-Убанский дворец.

Болезнь Дедисимеди смутила и Рати: уж не кара ли это божья за вероотступничество?

На следующий день приехал Реджеб бен-Ибрагим, арабский лекарь — рослый, стройный старец. Снежно-белая чалма украшала его голову, а еще более белая, чем чалма, борода окаймляла его почтенное, полное достоинства красивое лицо.

И все же появление мусульманина встревожило Дедисимеди; слепая Хорешан, услышав арабское приветствие, хотела выйти из палаты, второпях запуталась в двери, ударились лбом о створку и, словно подкошенная, упала на каменный пол.

Хорешан увели, а мулла от неловкости не знал, куда ему деться. Дедисимеди заметила, как смутился гость, чувство учтивости взяло в ней верх, и она протянула ему запястье.

Вошел Рати, спросил лекаря о причине болезни. Мулла взглянула на Дедисимеди и сказал на своем сладкозвучном языке:

— Тело человеческое подобно городу, а естество тела — царь того города, недуги же и болезни — враги, ворвавшиеся во град, дабы разорить его, тогда как целительные снадобья — оружие, защищающее стогны града. Искусный врач подобен доброму оруженосцу. Надобно, чтобы хорошо знал он ратное дело и был воинном доблестным и мужественным и умел бы защитить царя в сражение с врагом. Когда царь, увидев перед собою врага, велит подать оружие, то, если враг еще далеко, оруженосец должен подать лук и стрелы, если же враг подошел близко — меч или копье. Если оруженосец труслив или неумел, или нескор в бою, то и царя легко покорить.

Врач взглянул на лоб больной, осмотрел ногти на пальцах рук, потом вновь повернулся к Рати:

— Сестра твоя могла бы быть дочерью моей дочери, великий эристав. Не попросишь ли ее дать мне посмотреть ногти и на пальцах ног?

Дедисимеди отказалась.

Врач все же вынес свое заключение:

— Дьявольское видение притрезилось больной.

Ката побледнела от гнева. Не понравилась и Рати, что мулла назвал дьяволом святого Георгия. Но, уважая возраст гостя, они ничего не сказали ему.

Вести, привезенные Козманом, жгли как огонь сердце Рати Орбелиани. Смогут ли теперь наследники сельджукского султана послать войска в триалетское эриставство?

Пока еще не было единства среди врагов царя Давида. До сих пор торговались, спорили о рубежах Липарит Орбелиани, Квирике — царь кахетинский и зедазенский владетель Дзаган; тбилисский же амир Бану-Джаффар торговался со всеми тремя, ибо стремился за счет их земель раздвинуть пределы своих владений.

Но даже если бы уступили амиру тбилисскому остальные трое, приняв его требования, то и тогда сомнительно было, удастся ли им без помощи сельджукского войска вытеснить царя Давида из Внутренней Карталинии.

И еще одно известие привез в Кледекари Ахсартан Второй: царь Квирике и владетель зедазенский Дзаган послали доверенных людей к царю Георгию в Гегути. Весьма радостно встретил гостей гостеприимный царь, устраивал им пиры, заверял словом своим и клятвою, что ни ему, ни царю Давиду не приходило на ум осаждать Кледекари, Зедазени или кахетинские твердыни.

Царь Давид и Георгий Чкондидели заняты восстановлением дворца в Начармагви, сами следят за работою мастеров; иногда же царь Давид занимается войсковым ученьем и охотой.

После всего этого еще больше беспокоился Рати. Что, если царь внезапно вторгнется со своею ратью в Триалети? Может ли выдержать ограда Липаритис-Убани тараны и катапульти царских полков? Царь осадит Кледекари и разобьет таким образом отца с сыном, а также их войска.

Рати торопился поскорее уехать из Липаритис-Убани; поэтому спросил он у Реджеба бен-Ибрагима:

— А могла ли бы выдержать больная путешествие, если нести ее на носилках?

Но лекарь счел это невозможным. Он вытащил из-за пазухи цветные флаконы с целебными снадобьями, научил Катю, как и когда давать больной эти шербаты, и удалился.

Дедисимеди отказалась даже прикоснуться к лекарствам «нечестивого сарацина».

В тот же вечер неожиданно понизился жар у больной, и на следующий день она известила брата и мать о скором своем выздоровлении.

44

КАК НОЖНЫ ОТВЕРГЛИ МЕЧ

В царский шатер вошел начальник Мухатгвердской крепости¹ Фарджаниани; воздал почесть царю и пригласил его к завтраку. Поспешно направились Давид, эристав Гуарам, Шергил Липартиани и

Махара к замку. Эристав Гуарам вполголоса беседовал с повелителем. Сладостные весенние ароматы источала земля. Птицы пели в лесу, кукованье кукушки доносилось с Дигомской равнины. Взор царя остановился на толпе, шумевшей в поле, вблизи замка. Давид спросил начальника крепости о причине волнения.

Доложили ему: мухатгвердские поселяне отправились в Тбилиси покупать подковы. Закупили товар мухатгвердцы, но сельджуки хотели отнять его у земледельцев. Кузнецы-грузины пришли на помощь своим единоплеменникам и помогли им выбраться из города прежде чем были закрыты городские ворота.

Поселянам удалось добраться до Лочинского ущелья. Здесь напали на них сельджуки, шедшие с караваном; мухатгвердцы схватились за мечи. Несколько сельджуков было убито, пятерых крестьян увели в полон караванчики.

Когда Давид с сопровождающими выехал на поле, взор его остановился на высоком поселянине, вооруженном кинжалом. Приглядевшись царь: родимое пятно величиною с деньгу чернею на скуле у поселянина. Царь приказал начальнику крепости привести к нему этого человека.

В замке царь и свита его нашли накрытый стол. Махара немедленно приступил к еде и сам угощал царя и свиту вареными снетками. Гуарам, эристав бечиспхский, снова вернулся к византийским новостям и начал рассказывать про Роберта де Фриза. Мандатуры внесли влажные кувшины с вином.

Давид обратился к Шергилу Липартиани:

— Завтра же отряди гонца в Хупту, напомни мне нынче вечером, я напишу письмо императрице Мариам — пусть немедленно освободит она Нианиа Бакуриани, отправив требуемый выкуп Иль-Гази.

С удовольствием отведая царь свежей рыбы, наполнил свою чашу вином, угощал и остальных угощаться и пить.

Все увлеклось едой, лишь один Махара сидел молча в конце стола у окна и глядел в аристократов «Органон», что лежал у него на коленях.

Заметил это Давид и сказал ему:

— Зачем ты держишь задом наперед этот пергамент, Махо?

— В конце этой книги есть арабская приписка, ее-то я и стараюсь прочесть, — ответил безбородый.

— А ну, прочти нам ее, Махо!

Махара долго глядел в книгу и, наконец, прочел, записывая:

«Дрема неслышно подкралась к моим очам,
И кто-то в ночной темноте произнес такие стихи:

«Вчера вечером, когда мы достигли
Урдун¹.

¹ Крепость Мухатгверди находится на расстоянии 20 км к западу от Тбилиси, не доезжая Мцхета.

¹ Урдун — город в арабском халифате.

сахетинцев, и те рассказали нам, что идет караван из Гянджи, и множество сельджуков идет вместе с этим караваном, государь!

Царь замолчал, учтиво предложив парю ответить что-нибудь из купаний.

Когда же Габриэль Хоргай вышел из палаты, Давид приказал начальнику крепости призвать Индо Гараканисдзе. И велел царскому оружничьему, взяв с собою пятнадцать всадников, угнать скот горожан в сторону Авчалы. А там, в Авчальской долине, встретит он их сам.

Еще не кончил царь завтракать, как уже приказал Шергилу Липартиани держать наготове три сотни всадников на крепких конях.

Липартиани удивился приказу: уж не с тремя ли стами всадников хочет царь вступить в бой с сельджуками? И все же не посмел возразить повелителю. Когда всадники были готовы, он доложил Давиду и просил только взять и его, Шергила, с собою.

Махара же безо всякого спросу оседлал своего мерина и взгромоздился на него. Царский шатер и присланные из Византии книги были уже уложены в тюки.

Шергилу Липартиани Давид приказал оставаться в лагере вместе с Гуарамом бечиспихским.

— Ежели будет какая надобность, я вас позову, — обещал он.

Царь перешел Куру вброд ниже Мухатверди.

Авчальский лес уже покрылся листвою. Царь с войском укрылся в Авчальском ущелье.

«Не доверился ничьему чужому глазу, а отправился сам, без спутников, не имея никакого оружия кроме меча и взяв богословскую книгу, а войскам своим повелел не трогаться с места до возвращения своего; пятнадцать рабов исполнили приказанное им и угнали скот из Лочинского ущелья, а турки догнали их и после большого боя убили под рабами лошадей и заставили их спешиться; но и пешие былисы они отважно.

«Царь же, сойдя с лошади и не думая, что посланные вернутся так быстро, занялся чтением, и настолько подчинила книга разум его, что вовсе забыл он про предстоящее ему дело, пока не достигли слуха его звуки сражения.

«Тотчас бросил он книгу и поскакал на лошади в сторону, откуда шел крик, и застал рабов своих в бранном труде и, так как страшно далеко были его дружины, чтобы послать к ним за помощью, то видел он, что полягут рабы его. И тогда с быстротою орла низвергся на них царь и рассеял их, как куропаток, истребив столькоих, чтобы коней их хватало для рабов его; вскочив же в седла, убили они еще столькоих, что лишь немногие до-

стигли города и укрылись в нем. И были дороги полны трупами неверных, и меч, погнувшийся от сильного боя, отверг ножны свои»¹.

★

Молодой месяц поднялся в небе. На берегу болота, в камышах, пел весенний ветер. Радостный, вел рысью своего Куджая Давид вверх по течению Куры. Достигнув Авчальской долины, царь с воинами догнали четырех пешеходов, которые несли на руках завернутого в бурку юношу.

Повелитель остановил коня, приказал Индо Гараканисдзе узнать, кто такой этот раненый юноша. Он оказался сыном Габриэля Хоргая, тяжело раненным кинжалом в живот.

Узнав это, вновь опечалился царь нищих и обездоленных.

45

ОЛЕНЬ ТРУБИТ...

Соображения Липарита показались Рати убедительными; он тоже склонялся к тому, чтобы счесть своих похитителей людьми Бешкена Джакали; от века хранили верность престолу Багратионов мекские владетели. И вспоминал старинную историю Рати: как Сула Калмахели схватил в Дливи Липарита Третьего и сына его Ивана и отдал их в руки Баграту Четвертому. И поэтому Рати Орбелиани решил укрыться в Хулутском замке.

Крепость Хулуты стояла на самом берегу реки Кцхи², с трех сторон она была окружена редким вязовым лесом.

После того как с Рати сняли эпитимию, страстно потянуло его к радостям жизни. Весна была уже на дворе, звероловы и рыбаки праздно бродили по замку. Оправдалось предсказание смотрителя охоты; после суровой зимы расплодился лесной зверь.

В исходе великого поста Рати заметил странное явление: почти каждое утро, на рассвете, в чаще вязов возле замка трубил олень. Он посылал охотников с луками, ловчие обыскивали лес — нигде не было и следов оленьих копыт.

В эти же самые дни старая кормилица Рати, Асинет, приехала к нему в гости из Кахети. Рати проводил целые дни у огня, слушал ирмосы Асинет, с удовольствием ел приготовленные ею арису и хинкали³.

Асинет тоже обратила внимание на повторявшийся каждый день зов оленя. Каждое утро старуха дрожала от страха.

¹ Из хроники Давида-Строителя.

² Кцхи — один из притоков Куры.

³ Ариса — суп из бараньих ножек, хинкали — пельмени.

Спросил свою мамку воспитанник, почему она боится.

Призналась ему Асинет:

— У нас почитается дурною приметой, ежели олень трубит вблизи жилища человека. Говорят у нас, если охотник убьет больше сотни оленей и не зароеет в землю своего лука и стрел, каждое утро будет являться к его окошку Очопинтре — звериное божество, чтобы криком рассеять тон бессердечного.

Рати задумался: больше ста оленей убил он на своем веку, а лука не зарыл.

Призвал он начальника охотников, рассказав ему о поверии. Посмеялся над Очопинтре старик-ловчий.

— Необычайно расплодился в нынешнем году лесной зверь, великий эристав; олень приходит по утрам в эту рощу щипать свежую листву. И не диво: еще благословенный дед твой убивал здесь оленей каждую весной.

Переполнилась чаша терпения у страстного охотника. Мамиствалу Махароблидзе послал он в Липаритис-Убани, чтобы сообщить отцу: «собираюсь в Шаорский лес охотиться на оленя, если угодно — присоединяйся ко мне».

Скоро в Липаритис-Убани шли большие приготовления. Множество народа собралось еще до приезда гостей: триалетские азнауры — владетели замков с семьями, молочные братья и сестры, друзья и подносители. Всем хотелось взглянуть на кахетинского наследника.

Триалетцы слышали, что царь кахетинский Ахсартан Первый принял ислам; многие думали, что и этот Ахсартан — мхаммеданин. Еще не началась служба в монастыре, как Ахсартан и эристав Дзаган с большою свитой появились перед оградой.

Отец Василий удивился, увидев перед амвоном коленопреклоненного Ахсартана. Долгобородые кахетинские азнауры молились жарко и истово и пели вполголоса, вторя хору монахов.

Столь торжественный прием, устроенный Ахсартану в Липаритис-Убани, породил тысячу толков среди приближенных Орбелиани. Начальник челяди и первая среди дворцовых дам — Вардия утверждали, будто Дзаган, двоюродный брат Ахсартана, прочил в невесты кахетинскому наследнику дочь эристава Липарита.

Внешне Ахсартан был похож на мусульманского амира. Он был одет в платье тигрово-желтой иранской парчи и иранский же панцырь; на голове у него был золоченый шлем сельджукского образца, на верху которого виднелись изогнутые наподобие козьих рог отростки.

Когда после заутрени Ахсартан вернулся во дворец, его встретили прекраснейшие из дочерей и жен триалетских азнауров. Соколиный взор этого строго-

го, красивого рыцаря зажигал женщин. Но тщетно искал он глазами Дедисимеди. Ката была с гостями у заутрени. Вардия, старшая над прислужницами, встретила ее сообщением, что Дедисимеди осталась у одра внезапно заболевшей Хорешан.

Долго ждала ее Ката в большой палате, наконец сама пошла в тот флигель дворца, где жили Хорешан и Лела.

Дедисимеди чувствовала, ради кого гостил в Триалети племянник кахетинского царя.

Лела передала Хорешан рассказ Вардия, будто бы теперь уже за Ахсартана сватают ее воспитанницу.

Еще жалостнее застонала больная старуха.

Когда вошла мать, у Дедисимеди подкосились колени. Она притворилась, будто не поняла, зачем пришла Ката, и еще прилежнее стала толочь в серебряной ступке лакричный корень.

— Ты еще не одета к выходу? — разгневалась мать.

— А зачем мне выходить, когда все утро Хорешан томится в жару? — ответила Дедисимеди.

— Ну посуди сама, Хорешан, во дворце гости, а дочь моя не хочет выйти в большую палату!

Хорешан принялась просить зарумянившуюся девушку, пока наконец сдалась она на просьбы и уговоры матери.

В юности Ахсартан видел однажды Дедисимеди в замке Вежини, где Липарит гостил у Ахсартана Первого со всею семьей. Увидев ее уже созревшую девушкой, кахетинский наследник почувствовал любовный пыл и беззастенчиво стал ухаживать за невестой царя Давида. Еще за завтраком неумеренно пил вино Ахсартан, опьянел, как несовершеннолетний юнец. До появления в палате Дедисимеди он ухаживал то за сестрою Мамиствалы Махароблидзе Маро, то за племянницею Иа Цихелайдзе Наной. Увидев же Дедисимеди, он отстал от обеих, и, как мальчишка, умолял дочь Липарита, чтобы она сыграла с ним в нарды.

— Я не умею играть в нарды, — ответила девушка.

Дзаган заметил, что наследник кахетинского престола вел себя не так, как подобает. Он обнял опьяневшего Ахсартана за плечи, поговорил с ним и потом сам сел играть с ним в нарды. Когда Дедисимеди удалилась из палаты, Ахсартан бросил игру и вышел в сад с непокрытой головой. Стоя перед бассейном, он печально развлекался, наблюдая плавающих рыбок.

Ахсартан хорошо понимал причину суровости Дедисимеди, но, выросший при дворе султанов, он никогда не придавал значения согласию девушки: мужчина должен или похитить, или купить женщину — так думал кахетинский царевич.

Дзагана встревожило внезапное увлечение Ахсартана; он вышел к нему в сад, взял под руку почетного гостя и повел его, развлекая беседой, ко дворцу.

Когда они взобрались по ступенькам лестницы, Ахсартан заметил: Дедисимеди и Маро стояли у загона для косуль.

Навострив уши, подходили к девушкам маленькие косули, лизали протянутую руку дочери эристава.

Мысли спутались у Ахсартана. Он попытался оставить Дзагана, хотел пойти к загону; долго умолял его Дзаган, наконец, насильно втащил гостя во дворец.

Гнев охватил Ахсартана, он оставил незаденского владетеля и вошел в гостиную палату. Здесь он снял со стены лютню, сел, по-мусульмански подогнув под себя ноги, и спел по-фарсидски:

«Среди женщин нет прекраснее моей
взлюбленной,
Глаза ее словно одолжены ей
Косулю Джасима».

Больше всех был взволнован приездом Ахсартана монах Козман. Баркиарок потерял престол, царь Давид оказался врагом триалетского эристава, теперь пришел черед Ахсартана. После приезда из Гегути Рати твердил отку неотступно: издавна были союзниками дома Орбелиани кахетинские цари; лучшего зятя, чем Ахсартан, не сыскать Липариту. Породаившись с ним, утвердили бы Багуаши тройственный союз, направленный против царя Давида.

Еще не кончил песни певец, как в палату вошел Козман.

Ахсартан оборвал песню, но продолжал играть на лютне; напев без слов доносился до слуха Козмана от сомкнутых уст Ахсартана. Вдруг костяная пластинка сломалась в его пальцах, Ахсартан отложил лютню и спросил вошедшего:

— Бывал ты в Багдаде, монах?
— Бывал, — ответил Козман.
— Видал ли дворец Малик-шаха?
— Который из дворцов?
— Летний дворец султана, тот, что рядом с мечетью Джами-аль-Султан?
— Видел, конечно.
— Так если ты и впрямь бывал во дворце, то верно видел и цветник султана?

— Видел и цветник, — ответил Козман.
— А если ты видел цветник, то верно помнишь, как по весне распускаются в нем розы, белые розы, вернее, не белые, а беловатые, цвета старой слоновой кости?
— Видел и белые розы.

— А если ты видел и это, то признаюсь тебе, монах, что дочь твоего господина напоминает мне такую розу. Судьба долго таскала меня между Исфаганью и Багдадом, прошел я и по большим караванным путям между Антиохией и Халабом, но прекраснее Дедисимеди не встречал нико-

го и среди женщин с лицом, покрытым чадрой!

Козман омрачился, не мог понять, почему хвалит ему Ахсартан дочь Липарита. Стоял в изумлении монах, не зная, что ответить.

Наконец, Ахсартан откровенно сказал ему о самом важном:

— Как же твои дела, монах, скоро ли увидим тебя епископом?

Козман не ожидал такого вопроса. Он спросил в свою очередь: какая же разница между монашеской рысью и епископским омофором?

— Я думал, — продолжал Ахсартан довольно равнодушно, — что хоть в этом году твой господин снимет епископское облачение с Кириона манглисского.

— Это не так легко сделать, царевич, — ответил Козман. — Кирион манглисский — ставленник царя Давида.

— Немаю было и у нас в Кахети непокорных архипастырей, но царь Квирик не задумался низложить их. Приходилось нам рукополагать в епископы и мирян — хотя бы, например, Модистоса, брата эристава Дзагана! — сказал Ахсартан.

Царевич помолчал немного, услышав донесшиеся из прохода чьи-то шаркающие шаги, а потом продолжал:

— Звезда Баркиарока закатилась, и царю Давиду также больше нечего надеяться стать супругом Дедисимеди: помоги мне завладеть этой девушкой, и я вздерну на дыбу бодбийского епископа Макария, а престол его отдам тебе, монах.

Козман почувствовал себя в эту минуту оскорбленным так же глубоко, как в то мгновение, когда Махара вырвал у него три волоска, что росли на кончике его носа; но привыкши пресмыкаться перед сильными мира сего, он проглотил и эту обиду и стал нагло льстить Ахсартану.

— Ты прав, царевич, звезда Баркиарока потонула во мраке, а для встречи царя Давида в Триалети укрепляют замки. Простым же азнаурам, хотя бы владеющим замками, не отдаст дочери эристава Липарит Орбелиани. Я полагаю, господин мой Ахсартан, что только за царя Кахети и отдадут Дедисимеди, хотя бы потому, что прекраснейшая должна быть уделом храбрейшего — так повелось от века, царевич.

Так говорил Козман, хотя знал прекрасно, что у Ахсартана есть жена и не менее трех наложниц.

— Ты прав, монах, — ответил царевич, польщенный похвалой, — девушке этой нужен престол достойный ее красоты. О, как ей, прекрасной, стройной и золотоволосой, был бы к лицу царский венец или турбан султана! Допустимо ли, чтобы она сидела у очага простого азнаура и пряла лен?

Словно обоюдоострый меч, вонзились эти слова в сердце Козмана, ибо к таким «простым азнаурам» причислял он и себя

и вовсе не утратил надежды, что добыча схватившихся друг с другом ястребов попадет когда-нибудь в лапы грачу. Но, подумав, он остался доволен.

«Необходимо, — думал он, — чтобы у царя Давида возник новый соперник. Пока Ахсартан разведется с женой и избавится от наложниц, утечет немало воды, события же развиваются быстро. Багратион и царь кахетинский должны сразиться не на жизнь, а на смерть».

Монах посмотрел на Ахсартана.

Широкоплечий, мощный рыцарь сидел на ковре. Было к лицу ему платье из тигрово-желтой парчи. Белые, длинные пальцы его покоились празднично на струнах лютни. Глаза его были зелены, как алыча, длинные черные ресницы опускались и поднимались так лениво, словно царевич в дремоте смежил веки.

Испугался очарованный красотой Ахсартана монах: как бы не пленил сердце Дедисимеди, проклятый! Хотелось ему спросить рыцаря, когда он намерен вернуться в Вежики, но не нашел повода к вопросу. В это самое мгновение вошли в гостиную палату Ката, Дедисимеди и Маро. Увидев женщин, Ахсартан вскочил и, склонив голову, пошел им навстречу.

Вошел главный дворецкий, раскрыл нарды и положил их перед гостями. Ахсартан сыграл партию с супругой эристава.

Наконец Ката встала, сослалась на домашние дела и приказала Маро и Дедисимеди развлекать гостя.

Козман сидел в углу палаты, перелистывая житие святого Серапиона. Время от времени он взглядывал украдкой на Ахсартана и Дедисимеди. В конце концов монах решил, что эти два прекрасных существа господь создал для того, чтобы их соединить. Это заключение погрузило монаха в печаль, он с трудом поднялся с места и вышел из палаты. Когда и Маро последовала за ним, Ахсартан сжал игральные кости в кулаке, потряс ими и попросил Дедисимеди сыграть с ним партию.

— Я уже доложила вам, господин мой Ахсартан, что не умею играть в нарды, — ответила девушка.

— Ну так поедem завтра на охоту вместе с нами!

Дедисимеди кинула на гостя изумленный взгляд.

Ахсартан был смел в обращении с женщинами, как это свойственно красивым мужчинам; он дерзко сказал Дедисимеди: — Ведь ездил же ты на охоту вместе с царем Давидом, госпожа моя?

Дедисимеди подняла брови, удивилась, как придумал такое Ахсартан? Потом догадалась, что он разумеет прогулку к Сатапали. И не пыталась отнекиваться.

Молчание девушки привело Ахсартана в замешательство. Он потерял власть над собой, красота Дедисимеди, столь недо-

ступная, помутила его разум. Он устремил на нее взгляд поверх раскрытой игровой доски и сказал:

— Верно, ты удивилась, откуда я узнал об этом, и потому замолчала, не правда ли?

— Нет, я удивилась скорее тому, что ты так смело равняешь себя с царем Давидом.

Ахсартан был избалован женщинами, он не ждал столь резкого ответа от дочери Орбелиани. Ей самой он не посмел сказать ничего обидного, но не постеснялся назвать «коварным и двоедушным» царя абхазов Давида и обвинил его в том, что он, не дождавшись смерти царя Георгия, завадел отцовским престолом. Но и это не утолило его ярости.

— Скоро положим мы предел разнузданности этого дерзкого царька, — сказал он.

У Дедисимеди покраснели щеки при этих словах. Резкие слова просились в ней на уста, но из уважения к гостю она удержала их, только часто опускала и поднимала ресницы и ответила спокойно:

— Я думаю, господин мой Ахсартан, что всякий человек, похваляясь, должен походить не на осенний гром, раскатывающийся в тучах понапрасну, а на гром весенний, предвещающий обильные дожди.

Ахсартан омрачился, хотел продолжать поношение царя Давида, но вошел главный дворецкий и пригласил гостя к столу.

Когда начался пир, Ахсартан стал усиленно пить вино. Ратеванское белое подливали ему виночерпии, и он опорожнял одну чашу за другой. Рати приметила, что Ахсартан пьянел все больше и подал знак чашникам, чтобы те подали царевичу болнисского вина цвета жолудя, ибо ратеванское было слишком крепко.

Но пьяный царевич заметил, что вино переменили, заупрямился, потребовал, чтобы ему подлили ратеванского, что отливало цветом крыла гусенка. Дзаган знал, что Ахсартан буен во хмелю: он уже раздавил, как скорлупу орешка, хрустальный стакан своими прекрасными белыми зубами. Дзаган шепнула Рати, чтобы тот рассеял Ахсартана беседой и как-нибудь отвлек его от вина.

Рати подсел к гостю и стал поносить царя Давида; Ахсартан подхватил беседу и разразился грубой бранью.

Как только Дедисимеди услышала его брань, она встала и покинула палату. Ката побледнела, Липарит же заметил, но не подал виду.

Ахсартан пододвинул еще ближе к Рати свое кресло и спросил его шопотом:

— Уж не состоялся ли обручение?

Уста Рати тронула горькая улыбка; потом они источили яд:

— Во-время принял он меры предосторожности, этот змееныш, а не то крова-

зую свадьбу справили бы мы ему в Кледкарском замке!

Ахсартан сказал ехидно:

— Увы, напрасно ты упустил случай, Рати, нужно было схватить его вместе с приближенными, тогда царь Георгий уступил бы нам без боя всю Внутреннюю Карталинию!

Рати ответил:

— Царя Георгия нынче уже не спрашивают ни о чем, так же, как старейшин и епископов; теперь царь Давид, Чкондиде и молодые спасалары плетут сети на нас.

— Я думаю, что Липарит ошибается, — продолжал Ахсартан, — полагая, что те разбойники были людьми Бешкена Джакели.

— А кто же они?

— Несомненно, это Давид подослал своих лазутчиков.

Рати задумался и сказал:

— Вначале и я думал так. Но отец убежден, что их подослал Джакели.

— Даже если так, ты должен быть очень осторожен. И завтра не оставайся один, будь на чеку!

— Не думаю, чтобы похитители посмели покуситься на меня в присутствии большой свиты!

Ахсартан отпил еще из чаши и сказал:

— Если царь призовет на помощь половцев, нам будет трудно одолеть его даже всем четверым вместе. Знай это, Рати! То же самое твержу я каждый день и царю Квирике в Вежини. Нужно как-нибудь заблаговременно избавиться от царя Давида.

Ката подсела к ним, просила не уезжать завтра в Шаори, ссылаясь на дурные сны. Потом повернулась к Рати:

— Отец поедет с гостями, а ты успеешь поохотиться на оленя и осенью, мой сын!

Но Рати заупрямился, как всегда:

— Надоело мне сидеть в этом замке. Я был безоружен, когда напали на меня у конюшен, иначе не посмели бы разбойники попасться мне на дороге!

★

На другой день триста азнауров в доспехах выехали сопровождать на охоту почетных гостей. Кроме того, Рати взял с собою из дворцов Липаритис-Убани, Кледкари и Манглиси охотников, ловчих, загонщиков и егерей.

До шестидесяти пар гончих взяли с собою псары. Три шатра и десять выюков вина вставляли на ослов и отправили вслед за охотниками.

Еще не вышли охотники из густых дубрав Липаритис-Убани, как подняли целое стадо коз. Охотники преследовали его до леса Чикиани и полностью истребили по дороге.

В сумерках охотники разбили лагерь в Чикиани, развели костры, зажгли факелы из лучины и зажарили шашлык.

Как только рассвело, ударили в кимвалы, и громкий лай собак разбудил спящие чащи. Когда взошло солнце, ловчие заполнили лес. Подвыпившие азнауры гарцовали на откормленных жеребцах, шлепы и панцири сверкали на ярком солнце — скорее, походили они на когорты¹, рвущиеся в бой, нежели на мирных охотников.

Как только охотники покинули дубовые рощи Чикиани, послышались звуки рогов. Рати заметил прежде всех: десятка два оленьих самцов и около пятнадцати самок пустились под гору с мычанием и свистом. Гончие подняли страшный шум и с лаем пустились за стадом оленей.

Рати заметил, что любимая гончая его, Сеира, опередила других, догнала стадо, окруженное в зарослях, и вцепилась в ляжку одной из самок. Огромный самец кинулся вперед, склонил голову, вздел собаку на рога и ударил ее оземь.

Рати не хотело отделиться от остальных, но так разъярила его гибель гончей, что он пустил вскачь своего жеребца Мрешу, не побоясь спуститься под гору галопом, — но самцы-олени оставили самок позади, прижали к спине развесистые рога и, разорвав заросли, проложили путь стаду.

Лошадь Липарита во время этой скачки по косогору споткнулась несколько раз, но он, тревожась за Рати, все же пустился за ним вдогонку. Когда всадники выехали на ровное место, Липарит увидел, что сын его тщетно пытается поразить стрелами несущееся впереди стадо. Вскоре начался опять лес и щебнистый подъем; из густой чащи вылетел самец оленя, Липарит пустил в него стрелу и ранил зверя. Олень споткнулся, бросился в сплошные заросли, прорвал их и догнал стадо, бегущее впереди. Рати выстрелил и в него, но опять промахнулся.

Охотники, преследуя стадо, уже приблизились к ущелью Шаори²; испуганные олени бежали по редкому березняку — здесь покатые тропки были еще более щебнисты, местами заросли осота преграждали оленям путь. Но стадо неуклонно прокладывало себе дорогу, а всадникам приходилось все время объезжать препятствия и скакать по покатым тропам.

Слева и справа от охотников скакали загонщики, они били в кимвалы и свистели в камышковые дудки, сгоняя оленей, чтобы стадо не рассеялось по оврагу. Рати надеялся, что если стадо уластят выгнать из ущелья Шаори, оно будет бежать оврагом до озера Фанакари. А потом олень загонят в топи, что раскинулись вокруг озера, там, где Шаори впадает в него.

¹ Когорта — отряд греческих воинов.

² Шаори — река в Ахалкалакском районе, впадает в озеро Фанакари.

Охотники уже приблизились на расстояние двух стадий к озеру, когда на пути попались рыбаки и засвистели стаду.

Олени резко свернули в сторону и помчались к скалам Шаори. Обрыв был высок, самцы прыгнули в поток Шаори, а самки остановились, побежали вдоль берега, а потом снова скрылись в березняке.

Липарит заметил, как трое всадников переправились через поток и погнались за самцами по другому берегу. Этим троих Липарит принял за Рати, Ахсартана и Дзагана. Триаветский эристава решил и сам погнаться за оленями.

Не успел еще Липарит подъехать к берегу Шаори, как заметил: теперь уже девять всадников показалось над обрывом, откуда прыгнули в воду олени самцы; эти девять пустили коней с обрыва в воду, пересекали по краю прибрежный луг и въехали в лес.

«Это наши охотники», — подумал Липарит, направляясь к обрыву. Трижды подскочил он своего коня, но животное заупрямилось, зафыркало и уперлось перед обрывом. Тогда Липарит поднялся вверх по течению реки и пересек ее вброд. Здесь он попал в заросшую трясину.

Заметил Липарит: начальник охотников и двое парей перешли через реку и неспеша углублялись в лес. Тщетно пытаясь он окликнуть их — они не услышали его голоса.

Липарит повернул коня назад, обошел топь слева и увидел на той самой скале, с которой не хотела прыгать его лошадь, своего оруженосца; крикнул ему эристава: — Куда поехал Рати?

Оруженосец приблизил к уху ладонь и ответил:

— Рати с гостями погнались за оленями самками.

Снова хотел Липарит переправиться через поток, но заметил брызги крови на траве возле дороги.

«Это, верно, кровь раненного мною оленя», — подумал он и все же повернул к реке, но в эту самую минуту рев оленя донесся до него из близлежащего леса.

Удивился эристава: охотники преследовали оленей по пятам, как же этот один ускользнул от погони? И сообразил опытный охотник:

«Это, верно, раненный мною олень отстал от других в лесу, провалился где-нибудь в трясину и трубит там, не будучи в силах выбраться из топи».

Было прекрасное весеннее утро. Испуганные стучом лошадиных копыт то здесь, то там поднимались фазаны. Самцы бежали по земле, наполняя шумом крыльев заросли осота.

Не вытерпев Липарит, метнул стрелу в фазана, что поднялся прямо из-под копыт коня. Птица перевернулась в воздухе и камнем упала в кустарник.

Спешился удачливый охотник, привязал лошадь к дереву. Искать ему пришлось недолго — прекрасный, крупный фазан лежал бездыханный в кустах ежевики, пронзенный стрелой, как вертелом. Вспомнил свою юность эристава. В этом самом заповеднике охотился он двадцать лет тому назад и на этом самом месте убил, как сегодня, фазаньего петуха.

Он привесил дичь к луке седла, и радостью наполнилось его сердце.

Одно только заботило эристава: зачем он оставил Рати на той стороне потока? Не жалея, гнал он лошадь вперед, решив, если удастся выследить раненого оленя, снова пересечь Шаори и присоединиться к Рати.

На обширном лесном починке всадник выехал на распутие и внезапно услышал топот копыт. Он оглянулся: какой-то всадник в тулупе выехал из леса на луг. Увидев Липарита, он свернул с тропинки, бросил на эристава злой взгляд и погнал лошадь в густую чащу.

Липарит заметил, что через плечо у незнакомца висел колчан, полный стрел, а позади седла болталось несколько глухарей — одна из птиц была еще жива и билась в муках.

Разъярился эристава, увидев в заповеднике своих предков неизвестного охотника.

— Стой! — крикнул он незнакомцу; но тут опять услышал он, как затрубили олени. Зов этот не был похож на призыв страстного самца — скорее это был голос раненого животного. Липарит прищипнул лошадь и понесся вскачь в лес. Издалека слабо доносились бряцание кимвалов и лай гончей своры.

Немного проскакал Липарит и опять услышал жалобный олений зов. Он выехал на лесной луг, и совсем рядом мелькнула лошадь незнакомца. Но на этот раз на голове его был железный кольчатый шлем и под распахнутым тулупом виднелся панцирь цвета ястребиного крыла.

Увидев Липарита, всадник обнажил меч и прищипнул коня. Орбелиани узнал эристава Джонди, но прежде чем он успел достать до рукояти своего меча, к нему бросились другие всадники, также одетые в тулупы, и двое из них, один за другим, накинута на него арканы. Испуганная лошадь понесла Липарита, он не успел еще выхватить оружие, как Кариман Сатиели потянул веревку и бросил эристава на землю; шлем свалился с головы Липарита и укатился в кусты.

Первым к упавшему Орбелиани подбежал эристава такверский Джонди. Грозно нахмурился брови, он возгласил:

— Именем Давида, царя абхазов и грузин, объявляю тебя нашим пленником, амир Липарит.

Кариман же Сатиели, не дав Липариту произнести хотя бы одно слово, сунул

ему в рот платок, надел на голову карман переметной сумы, поднял эристава и вскинул на седло. Подскачили остальные такверы, крепко привязали Липарита бечевами к седлу, а позади пленника посадили конюшего Горгию.

★

Трех убитых оленьих самок приволокли Ахсартан, Дзаган и Рати в Липаритис-Убани. Ахсартану снова захотелось пить вино и лицезреть Дедисимеди; пир продолжался.

О Липарите пока не тревожились, ибо начальник охотников и псаря также пока еще не вернулись с охоты. Когда же появились они, нагруженные дичью, и заявили, что нигде на другом берегу Шаори не видели своего господина, вскочили гости и хозяева. Целую неделю искали Липарита по обоим берегам потока, но нашли только его шлем в кустах.

Когда в Липаритис-Убани принесли шлем владельца, женщины расцарапали себе щеки. Пастухи из Тедзмийского ущелья рассказали: девять всадников в тулупах везли на коне рыцаря, голова которого была закутана в черную ткань.

Тогда согласился с Ахсартаном Рати, что посланные царем Давидом люди похитили триалетского эристава. Гости перепугались. Ахсартан и Дзаган поспешили уехать со своею свитой в Вежини, а Рати Орбелиани немедля заперся в Кадкарском замке.

46

НАЧАРМАГЕВИ

Еще в августе по приказу царя Давида были приведены строители — каменщики и плотники — для восстановления разрушенного дворца в Начармагеви. Семь зодчих руководили постройкой четырехбашенной ограды, а водопроводчики и оросители восстанавливали фонтаны и пускали по трубам воду из родников.

Георгий Чкондидели руководил их работами, он сам поднимался на леса. Почерневшие от пожаров палаты красились сызнова, и художники расписывали фресками их стены. Садовники выхаживали плодовые сады и огороды, виноградары обрезали лозы, пущенные на деревья хурмы. Чкондидели наслаждался своим занятием, ибо его радовало пробуждение умершей было жизни на разоренном пепелище.

Когда пришел к нему старший садовник и попросил разрешения срубить грушевые деревья времен Баграта IV, задуманные смолой, заколебался первый ва-зир.

— Да почему же их нужно срубить, Маркоз?

— А потому, что эти старые груши уже больше не принесут плодов, они только затеняют свет свежесаженным персиковым саженцам, господин мой первый вазир.

Чкондидели сказал садовнику:

— Почему ты так любишь, Маркоз, выкорчевывать старину? Свежая поросль лишь тогда украсит плодовый сад, если рядом с нею старые деревья будут свидетельствовать об его возрасте.

Чкондидели знал, что садовник прав, но, не спросив царя, не мог он приказывать рубить старые деревья, ибо знал, что Давид любил все, что тешило некогда взор его деда Баграта.

Узнали про то и виноградары — и никто уже не осмеливался рубить лозы, переставшие приносить плоды. Они обвиняли деревья, лишенные зелени, пускали побеги, даже цвели, но были бесплодны, как сама старость.

Непривычно спокойная весна выдалась в этом году для Чкондидели. Утром он молился, обходил мастеров, убеждался, что каждый стоит на своем месте, шел в плодовый сад, работал и сам, радовался тому, как краснели побеги лоз и как упорно из недр земли, из посеянного зерна, выбивалась на поверхность воскрешая жизнь.

Она пробуждалась не только в плодovém саду: опустошенный сельджуками дворец Начармагеви одевался новым блеском и светом — только нигде не было видно того, для кого делалась вся эта работа.

Седьмица уходила за седмицею, а от царя Давида не было никаких известий.

Наконец прибыл в Начармагеви гонец, но прислан он был из Гегути. Письмо было подписано рукою письмоводителя царицы Елены.

Неприятные вести сообщала Елена: царица Мариам написала в Гегути, что кесарь Алексей Комнен объявил соправителем империи малолетнего своего сына Иоанна; до сих пор соправителем императора считался первенец царицы Мариам Константин Порфирородный, кесарь и законный наследник престола, сын покойного императора Михаила VII Дуки.

В самом скором времени собиралась Мариам приехать в Гегути.

Чкондидели понимал, что это известие пришлось не по сердцу в Гегутском дворце. Царь Георгий слег в постель от огорчения, — извещала царица Елена. Большие надежды возлагали на воцарение в Византии Константина Порфирородного как Георгий Второй, так и многие из сановников, ибо кровный родич Багратионов на византийском престоле был бы утешением для Грузии, если не помощью. Из письма было видно, что единственная надежда утешала царицу Еле-

¹ Начармагеви — древнейшая резиденция грузинских царей из династии Багратионов, находился близ Гори.

ну — надежда на то, что приезд царицы Мариам удержит царя Давида и заставит его отказаться от мысли привести к покорности триалетское эриставство.

В конце письма царица прислала: если не согласится царь Давид, то пусть хотя бы Чкондидели придет в Гегути дня на три.

Чкондидели настолько огорчился, прочитав это письмо, что решил на следующий же день отправиться в Гегути.

Но в этот же вечер прибыл Махара, привез приказание Давида ждать его в Начармагеви.

Вестник казался таким утомленным, что едва ворочал языком; он был весь словно охвачен огнем и обливался потом. Грозный конюший сказал, что конь Махары обрызган грязью до самой гривы и утомлен скачкой.

Долго расспрашивал первый вазир, но о главном не мог узнать ничего, а именно, где находился царь.

Подконец Чкондидели пытался только узнать, скоро ли вернется повелитель.

— Я уже доложил вам, господин мой Чкондидели, что царь придет тогда, когда он придет, — неучтиво ответил Махара, махнул рукой и вышел. Но вскоре ввалился снова и сообщил: — Еще приказал тебе повелитель отправить гонца в Гегути призвать маргветскую дружину.

В тот вечер и так был нездоров Чкондидели, а эти вести совсем испортили ему настроение. Он колебался, отправить ли гонца в Гегути. Знал, что вызов маргветских войск испугает царя Георгия и царицу Елену.

Он позвал начальника дворцовой прислуги, известил его, что ожидается приезд царя. Приказал убрать палаты и помещения, подготовить большие канделябры, вытрясти ковры, цыновки и подстилки, сменить свечницы перед образами.

Как обычно, уже на закате лег в постель первый вазир, тайно тревожась:

— Зачем царю маргветская дружина?

Не по душе была Чкондидели и стычка с сельджуками в Авчалской долине. Он не имел привычки распыляться без меры в военных начинаниях. И без того шептались друзья и враги первого вазира, будто совсем свели с ума преклонного старца царь и его молодые спасалары.

Не приведи господь, вдруг какая-нибудь беда стряслется с царем! Тогда и царь Георгий, и старейшины взвалят всю вину на него, Чкондидели!

Как-то подозрительно необщителен был Махара: опасался первый вазир: как бы, стремясь увидеть Дедисимеди, царь Давид не отправился в Триалети один, без него. А возможно, что он уже и отправился туда и сейчас вызывает новые войска для помощи в войне.

Чкондидели было отлично известно, что из всех врагов объединения грузинского государства, триалетский эристав пове-

левал наибольшим числом подданных. Были отважны в бою как Липарит и Рати, так и азнауры триалетского эриставства. Полки их были хорошо обучены и тяжело вооружены, замки их возвышались на гребнях неприступных скал и, кроме того, помощницей их была суровая триалетская природа. Не одобрял Чкондидели и посылку в Триалети сына эристава Шамана. «Это так же бесполезно, — думал многоопытный воин, — как попытка изловить льва, натравив на него щенка охотничьего гепарда».

Царь же утверждал: жеребец узнается по породе.

«Но каждый ли жеребец?» — думал Чкондидели.

Уже было известно, что такверскому эриставу не удалось схватить Рати Орбелиани. Если такверские азнауры не смогли овладеть неосторожным Рати, то как же удастся им увести Липарита Четвертого, который хитростью и коварством не уступал ни Липариту Третьему, ни Ивану.

Тревожные мысли роились в мозгу Чкондидели.

Как бы не заманили юношу-царя в узкое ущелье Кции, где сто тусов могут справиться с тысячей храбрецов, попросту скатывая на них камни со скал. И, конечно, Давид не удовлетворится покорением ущелий Алгети и Кции и тамошних крепостей: главное для него — Кледекарская твердыня, о которую разбились уже однажды греческие войска.

Не удивила Чкондидели странная невежливость скопца. Он тоже верил слухам, что ходили про Махара: будто безбородый — колдун, по ночам тайно общается с сатанинскими силами, седина не одолевает его, он не стареет и, чтобы скрыть это, красит волосы хной, под самым сильным ливнем остается сухим. И другим таким же сказкам верил Чкондидели.

«Он столько шаялся среди туркмен, суфиев и исмаилитов, что, наверное, и в делах веры грешен немало, безбородый дьявол!» — думал Чкондидели.

Смеркалось, ночная мгла вползала в палаты через окна. С башен доносились бряцание кимвалов, в дворцовой церкви били в доску и из зеленой комнаты доносилось бормотание Махары:

— Славьте господя, ибо он благ, ибо велика и вечна милость его! Славьте господя, ибо, единый, творит он чудеса великие!

Чкондидели дремал. В черных от копоти нишах мерцали восковые свечи. Слышался писк и шелест летучих мышей, леденящий сердце.

★

Десять всадников подъехало к первой башне дворца Начармагеви. Нетерпеливо ржали взмыленные кони, панцыри и ше-

шумы сверкали при лунном свете. Лаяли собаки-волкодавы. Кричали с башен царские лучники.

Слуги признали в прибывших такверских азнауров, но смутились, увидев десятиго всадника, также одетого в доспехи, но с лицом и головой, закутанными в черную ткань. Лишь он один был без шлема. Повидимому, он не был мертв, хотя и сидел в седле безжизненно, словно окаменев, не издавая ни звука.

Эристав Джонди вызвал начальника крепости. Долго стояли в тени башни двое и шептались о чем-то. Наконец начальник крепости приказал позвать царских телохранителей; Кариман Сатиели и трое телохранителей стащили рыцаря с закутанной головой с лошади и бросили его в темницу Башни Теней.

Телохранители удивились, что странный пленник не произнес ни слова. Не по сердцу пришлось такверскому эриставу то, что сказал ему начальник крепости, именно, что царь еще не изволил пожаловать в Начармагеви.

«Уж не разминуся ли царь с нами по дороге и не отправился ли он в Триале-ти без нас?» — думал Джонди.

Он не любил это угрюмое место — Начармагеви, много раз разоренное хазарами, арабами и сельджуками, окруженное полуразрушенными башнями. И названия этих башен были странные: Башня Месяца, Башня Солнца, Башня Рожи и Башня Теней.

Трехсотлетние дуплистые липы стояли во дворе, они были оголены до самых верхушек и постоянно усеяны грачами. Разорены были парки, плодовые сады и цветники Начармагеви. В бассейнах, полных лягушек, стояла гнилая вода.

Странную мглой окутывали душу юного эристава своды этого дворца, совершенно почерневшие от копоти пожаров, огромные каминные всех семи палат, зияющие мрачно, словно ненасытный зев Хаоты. Кричали пронзительно исфаганские попугаи и по ночам рычал подаренный осетинским царем львенок.

И эти выжившие из ума мандатуры — неучтивые, всегда угрюмые, шамкающие старики давнишних багратовских времен, одетые в полинялые, вытертые скараманги. Шаркая туфлями из заячьих шкур, одиноко бродили мандатуры по безлюдным палатам.

После кратковременного пребывания в Начармагеви Джонди хорошо их изучил. Он знал, что старики не одобряли ни царя Давида, ни его «отчаянных» спасаларов. Привыкшие к строгому византийскому этикету, они осуждали «простонародные привычки» царя Давида.

— Любит ходить пешком, по ночам гуляет один на берегу Куры, ведет монашескую жизнь не будучи иноком — в столь юные годы! — говорили старики.

Не нравилось им также, что царь вечно

глядел в пергаменты, бродил, как привидение, по дедовским палатам, а иногда, преклонив колени, пел псалмы в темноте.

Он не устраивал пиров, как Баграт IV или как Георгий II, не любил принимать гостей. «Скуп!» — порою шептали о нем по углам.

Уедет куда-нибудь, не скажет никому о причине поездки, никогда не объявит наперед и о сроке возвращения. Когда докладывали ему о чем-либо, невозможно было понять, по душе ли пришлось ему известие.

Пленник, с головой, закутанной в черную ткань, совсем всполюшил этих мандатуров. Весь дворец стал на ноги; постельничий, дворецкие, стольники, факельщики, кравчие — все шептались, спрашивали друг друга, кто он, пленник Башни Теней, с закутанной в черное головою?

Георгий Чкондидели вышел навстречу гостям.

Когда первый вазир и такверский эристав беседовали наедине, приближенные толпились у запертой двери в надежде уловить хоть краешком уха, кто такой этот таинственный пленник.

Тысячи предположений рождались в праздных умах обитателей Начармагевского дворца; одни говорили, что это амир тбилисский Бану-Джаффар, схваченный царем в Авчальской долине, другие принимали пленника за Квирике, кахетинского царя, третьи считали его Дзаганом, владетелем Зедазени.

Насторожив уши, бегали за трапезой стольники; Чкондидели поужинал с такверскими азнаурами, но никто из них не обмолвился ни словом о пленнике с закрытым лицом, хотя обычно несловосохотливый Чкондидели сегодня охотно говорил — о восстановлении замков Внутренней Карталинии и о лошадях.

Он огорчался, что аланские лошади болеют сапом.

— Три табуна отвели к Дариалу табунщики, все три вымерли от тамошней травы, — сказал Чкондидели.

Удивились эристав Джонди.

— Что же это за трава, господин первый вазир? — спросил он.

— Неподалеку от Дариала, на хребте Орбодзала, водится, оказывается, такая трава, что ни одна лошадь из других краев не может пастись на ней — умирает. Смотритель табунов испуган, не знает, как оправдаться перед повелителем.

Когда беседа о крепостях и о лошадях подошла к концу, главный дворецкий повел такверских азнауров в их опочивальни, а Чкондидели с такверским эриставом уединились в хрустальной палате. Своды этой палаты при царе Баграте были выложены хрусталем; когда Альп-Арслан впервые сжег дворец, хрустальные своды полопались от жара. Теперь лишь кое-где видны были обломки хру-

таля; в иных местах остались лишь дыры, также почерневшие от дыма.

Хрустальную палату еще не начинали отделывать заново, ибо царь приказал без него не прикасаться к ней.

Чкондидели пожелал спокойной ночи эриставу Джонди и оставил его одного.

Джонди ехал на лошади в полусне, а во дворце сон покинул его совсем. Он прислушался — за дверью не было слышно мандатуров; удивился, почему не видно начальника факельщиков Сабиа. Потом встал, сам потушил свечи в канделябре; стало зябко ему в темноте, лишь в нишах теплились восковые свечи.

Как только погасли свечи, откуда-то появились в палате летучие мыши, они летали попарно, преследовали друг друга во тьме с головокружительной быстротой. И при этом издавали писк, нагоняющий тоску.

Джонди встал, оделся. Тщетно пытался сызнова зажечь свечи.

Потом вышел из палаты. В проходах храпели растянувшиеся на сундуках постельничьи монахи. Нигде не было видно ни слуг, ни факельщиков.

В зеленой палате горели большие канделябры. Возобновленные фрески великомучеников обрисовывались на стенах смутными тенями. Святой Иоанн запикивал себе в глотку громадный меч, святой Шии держал дубинку в руках, у ног его простерлись, склоня головы, тигры, львы и гепарды.

Одна из стен была занята двумя фресками. Верхняя изображала распятие Иисуса Христа, нижняя — императора Ираклия. Неся на спине огромный живописный крест, он поднимался на Голгофу.

Еще не успели как следует прибрать эту палату. Беспорядочно были разбросаны по ней скараманги, лоори и сакко, епископские омофоры, митры, посохи, рыцарские и женские доспехи, конская сбруя.

И в желтой палате тоже уже обновили фрески, некогда исполненные византийскими мастерами. Теперь вполне различимы были: прибытие аргонавтов в Колхиду, пахота на огнедышащих волах, наказание Иксиона, похищение Ганимеда орлом, посланным Зевсом с Олимпа.

В этой палате Джонди заметил рыцарские доспехи — греческие шлемы, грузинские панцири, сельджукские кольчуги, копы с царским значком, алебарды, бахтерцы, зеркала.

По углам стояли поставцы из дзелквы, такие же точно, как те, что такверский эристав видел в Кутаиси.

Тщетно искал Джонди Сабиа, старшего факельщика, открывая и снова закрывая двери палат. Какой-нибудь уснувший факельщик, протоснава во сне, переворачивался на другой бок и снова издавал

мирный храп. Джонди не хотел будить спящих, проходил мимо.

Он вернулся в хрустальную палату.

Где-то лаяли собаки, а иногда раздавался громкий шакалий вой. Теперь в дворцовом дворе подняли таяканье пастушьи псы. Джонди подошел к окошку — месяц глядел сверху на объятые молчанием крепостные башни. В тени башен, бесшумно двигались стражи.

Как-то себя чувствует мой пленник», — подумал эристав.

В палату вошел человек с горящим светильником.

Гость пригляделся, узнал старого Сабиа.

Сабиа был одет в скараманг шафранового цвета из золотоканной парчи, слегка потертый на локтях. На голове у начальника факельщиков была остроконечная шапка. Старик воздал почесть эриставу и приветствовал его, извиняясь: был он в отсутствии, ездил в Руиси за светильниками, и только что узнал от Гедсона, стольника, о прибытии эристава.

Джонди всегда отличал среди мандатуров этого учтивого балагура-старика. Он прекрасно играл на лире, пел ирмосы, и на устах его всегда играла юношеская улыбка. Слышал эристав: так сладостно играет старый мандатур на лире, что привелось ему во-время поспеть к одру больного Баграта куропалата, быть может, и спас бы он царя от смерти.

Нос у Сабиа горбат, шея длинная, уши словно обрезаны, как у старой овчарки. Ноги тонки и высоки — старик походил немного на аиста, и походка у него была такая, словно он приплясывал на ходу.

— Что это ты сидишь во тьме, эристав? Не прикажешь ли зажечь свечи?

— Зажги, Сабиа, я мучился немало, но не мог никак их зажечь. Зажги, чтобы летучие мыши улетели прочь из палаты. Они так пищат, что вряд ли мне удастся заснуть. Не люблю я летучих мышей, Сабиа, — сказал гость и ткнул железной кочергой в пылающее бревно; раскаленные уголья посыпались на кирпичный пол. Сабиа схватил щипцы, стал на колени и подбирая головешки, бросал их обратно в камин.

— И я не люблю этих адских соловьев, господин мой эристав.

Джонди зевнул и спросил главного факельщика:

— А что же ты любишь, мой Сабиа?

— Я люблю солнце, господин мой эристав, ласточек, жаворонков, огонь и вино. Джонди улыбнулся.

— Если не разгневаешься, я задам тебе один вопрос, господин мой эристав, — сказал старик.

— Не думай о моем гневе, Сабиа, столь сладок твой голос, что тебе простится все, что ни скажешь; певцов ведь судят по голосу, а не по уму.

— Тогда скажи мне, господин мой эристав, кто тот несчастный с закутанной голсой, которого вы давеча бросили в Башню Теней?

Джонди улыбнулся и ответил:

— Не спрашивай меня о вещах, которые не дошли еще даже до слуха самого царя.

Сабиа смутился, потянула ноздрями, помолчал немного и снова обратился к эриставу с просьбой:

— Я слышал, что царь Давид весьма жалуется тебя, так не гневайся на меня за мою просьбу...

— Говори!

— Умоли нашего повелителя, чтобы он перевел меня в Гегутский дворец. Сказывают, у царя Георгия там горит камин побольше этого. Вокруг огня сидят такверские флейтисты, и хлебосольный царь услаждает свой слух сладкозвучной музыкой. Я не жаден до еды — хватит мне и горсти пшеничной каши, клянусь твоим солнцем, но я люблю веселье, пенье ирмосов и благословение в людях. В этом дворце все упрямое, все печальны.

Джонди обещал старику помолотить за него перед царем Давидом. Ободрился Сабиа.

— Еще один вопрос я задам тебе, господин мой эристав, а потом приляг, я спою тебе стариннейшие ирмосы, клянусь твоим солнцем.

— Спрашивай!

— Что у нашего повелителя была законная супруга, об этом знаю и я. В Начармагеви прошел слух, будто дочку эристава Шамана прочит за царя Давида царица Елена. Если это правда, то не переводи меня в Гегутский дворец. С невестой царя придут, вероятно, и прислужницы ее, тогда мы отыщем кошку, и летучие мыши с крысами отстанут от нас, клянусь твоим солнцем.

У Джонди покраснели уши, он взглянул на простодушное лицо Сабиа и подумал: «Видно, старик не знает, кто я такой», — и ответил:

— Знаешь, мой Сабиа, каждый из нас должен остерегаться страшилок о том, кого любит или кого ненавидит царь.

Сабиа опустил голову, потом встал, оправил постель для гостя, а когда эристав улегся, присел у его изголовья и затынул ирмосы.

Еще не кончили первого ирмоса Сабиа, как во дворе ударили в кимвалы и послышалось ржание лошадей и тягание собак.

Сабиа вскочил поспешно и поднял факельщиков на ноги. Едва Джонди успел одеться, как царь, Чкондидели, Шергил Липартиани, Гуегтам богочестивый Болжен Джакели и Махара вошли в палату.

Джонди кинулся поцеловать руку повелителя, но тот не дал ее эриставу и поцеловал Джонди в щеку. Словно стыдливая дева, покраснел юноша.

Новоприбывшие разместились у огня. Царь отпустил факельщиков, главного дворецкого и начальника слуг.

Джонди не осмеливался сесть.

— Сядь! — приказал царь, схватив его за локоть, — Должен признаться, Джонди, я уже не надеялся, что тебе удастся схватить Липарита.

— А мне сдается, государь, что если повелитель прикажет, ничего невозможно нет на этом свете. Сказать тебе откровенно, государь, — продолжал Джонди, — мы хотели взять в плен Рати, а попался нам в руки Липарит.

Царь улыбнулся и спросил:

— Как это удалось вам выманить отца с сыном из замка?

Озорная улыбка мелькнула на юношеском лице Джонди, глаза его засияли, кончик ястребиного носа блеснул.

— А все же, как? — спросил Махара.

Джонди поднял голову, устремил взгляд своих светловарих глаз на повелителя и сказал:

— Орбелиани пригласили своих гостей на оленю охоту. Признаюсь вам откровенно, тут и я согласился с Кариманом. Из тех двоих мы могли бы схватить любого. В конце концов, счастье улыбнулось нам, и вместо Рати сам Липарит попал в наши руки.

★

Щедро наградил такверских азнауров царь. Эриставу Джонди он пожаловал золотой меч, а Каримана Сатиели сделал начальником царских телохранителей.

47

«PATHOS ERDOMEN»¹

После того, как с царя сняли доспехи, он отпустил факельщиков и приказал главному постельничему завтра ранним утром призвать к нему Георгия Чкондидели.

В опочивальне висел единственный образ — икона богородицы, вся усеянная рубинами.

Давид помолился, стоя на коленях, лег в постель и стал читать Фукидида, отложил книгу, но сон бежал с его очей. Из павсарового сада доносился легкий шум: какая-то птичка чирикала беспокойно в листве, отрывисто тявкали собаки. А потом опять притихла природа, лишь кваканье древесных лягушек — отдаленное и негромкое — доносилось до слуха царя, словно зов из страны сновидений.

Дрема отяжелела веки. В полусне с яркостью яви предстал пред ним образ Дедисимеди. Кабача² цвета киновари была на дочери эристава. Девушка выходила из пламени, стремилась к Давиду, но

¹ «Pathos erdomen» — причиним боль (питата из Фукидида — греческого историка V в. до н. э.).

² Кабача — женское верхнее платье.

не могла достичь; руки ее были воздеты к небу, как руки отлетающего ангела на фресках мастеров того времени, уста ее были открыты, но она не могла издать ни звука и лишь глядела на царя своими изумленными, большими глазами. Улыбалась Дедисимеди, но не была радостной ее улыбка, слезы струились по щекам цвета персикового плода, она трепетала, но от радости или от страха — этого не мог бы сказать Давид.

Внезапно послышался устрашающий рык. Царь открыл глаза — птичка в саду перестала чирикать, не было слышно уже и кваканья лягушек.

«Это львенок! — подумал царь, и перед его взором возникли сверкавшие огненными искрами глаза хищника. — О, как трудно сильному уместиться в узких границах! Дайте льву обширную пустыню, коню ристалище, а храброму воину меч.»

Так думал царь нищих и обездоленных. Перед отходом царя ко сну Чкондидели доложили о письме царицы Елены.

— Бедная мать! Проводит ночи в бдении, за молитвой. Смоченный слезами хлеб едят старики в Гегути. Женщина — причина войн, и все же сама более всех ненавидит войну.

Две женщины звали Давида в разные стороны. Одна звала его к уюту гегутского камина, другая притягивала своей чарующей прелестью, и для того, чтобы завоевать ее, нужно было сражаться.

Война и кровопролитие...

Мать и возлюбленная оказались друг против друга — и теперь, как прежде.

Два года тому назад слезы матери заставили Давида подавить свою страсть, а то бы он не останавливался и перед запретом кутаисского архиепископа, женился бы на Дедисимеди, и, быть может, не пришлось бы ему сегодня идти войной на Триалети. А теперь ценою крови должен был вернуть себе Давид «вертоград замкнутый, источник опечатанный».

Вернуть ту, которая боялась не только войны и крови, но даже совершенно безвредных черных бабочек.

Как неумолима судьба! О, этот слабый, беспомощный птенец гора! Это она кинула свой плат между вечно враждующими Багуаш-Орбелиани и Багратионами, но оказалась недостаточной кротостью ее. «Да рассудит нас меч!» — пожелали потомки Липарита III. Но написано: «поднявший меч от меча погибнет».

Липарит и Рати хотели, но не успели поднять меч.

Тревожное лицо Дедисимеди промелькнуло в сознании Давида. «Я боюсь тебя, государь!» — послышалось ему сказанные ею в Сатаплии слова. Какой пламень сжигает ее душу сегодня! Любимого отца ее увезли похитители, и она даже не знает, жив или мертв сейчас Липарит!

— О, как безжалостен приговор рока! «Pathos erdömen!»

Жесточайшие страдания должны мы порой причинять любимейшим существам — и не имеем возможности облегчить им эту тяжесть!

Давид поднял глаза на образ богоматери. Кровавым ореолом окружили деву Марию сияющие вокруг ее лица рубины.

«Разве мало крови было пролито на земле под покровительством этой кротчайшей?»

— Pathos erdömen!

Царь сомкнул веки, пытался восстановить в воображении лицо Дедисимеди, каким оно было в ту ночь, когда, подобная дрожащему под ветром цветку, она прильнула трепеща к его груди, закрытой панцирем, и пожаловалась: «Я боюсь тебя, государь!»

Давид лег ничком, закрыл глаза ладонями и пытался уснуть — на рассвете покажет первый вазир, нужно будет выслушать его мнение о чрезвычайно важных предметах...

Хорошо известно царю, что юность стремительна, как бранная сталь, а старость тверда, как камень. Если не высечь искру сталью о камень, откуда возникнуть огню?

Завтра утром царь и первый вазир должны решить: в Гегути отправиться Давиду или в Триалети.

Поехать в Гегути — значило отказаться от Триалети. Недостаточно взять в плен Липарита, чтобы утвердить за собою все его эриставство. Рати будет драться отныне с еще большим ожесточением. Да и Баркиарок пока еще жив. Кроме того, эристав Джонди докладывал царю, что теперь Рати старается породниться с Ахсартаном Вторым.

Отправиться в Гегути — значит наверняка задержать это дело. Опять начнется охота в Аджамети, игра в нарды с прекрасной Гванцой, поучения царя Георгия: «О великой Грузии мечтал дед мой, Георгий Первый; он сразился с императором Василием и одолел его, но все же был зарыт в храме Баграта и обошелся шестью локтями земли — не так ли?»

О Великой Грузии мечтал всю свою жизнь и твой дядя Баграт IV — но, в конце концов, умер и унес с собою на тот свет шесть локтей холста, не так ли?

Так будем довольны своим маленьким царством — уютным огнем гегутского камина, такверскими маглари и сладкозвучным сазандари. Жизнь наша подобна детским исподникам — она так же коротка и так же испачкана, мой друг, не так ли?»

Так скажет царь Георгий, а если не подействуют его увещания, приедет царица Мариам и, ласково сказав «милый мой», расставит шелковый савок приготовившемуся взлететь орлу.

Опять послышалось рычание львенка. Царю представилось, как без устали ходит по клетке дикий зверь. Прыжков, самозабвенного бега, битвы и преследования захотелось его молодым мускулам... Зачем зажжен матерью-природой такой яркий огонь в его глазах, зачем даны ему гордый взгляд, быстрые ноги и острые когти?

Потому и презирает лев расставленные охотниками западни, вырытые ими волчьими ямы и тайно посылаемые из зарослей отравленные стрелы. Лишь для сильного и отважного предназначен этот мир!

Давид встал, подошел к окошку: перед Башней Теней бесшумно двигались стражи. В башне этой сидел сейчас другой лев, тоже плененный, но старый, к львиной смелости примешавший лисью хитрость. Только он не рычал, не роптал, а сидел молча в Башне Теней, хотя, наверно, и он, вверженный в оковы, не спал в эту минуту.

Царь Давид вспомнил приезд Липарита в Гегути. Как странно похожим на Дедисимеди показался ему эристава триалетский.

— Жалость? Нет, жалость только прикрывает бессилие.

Кто сказал царю эти слова?

Давид оглянулся.

Уж не пробрался ли в опочивальню Джонди? Это он умеет подражать разным голосам.

Царь взглянул вверх. Летучие мыши носились под потолком, и тени их попарно скользили по полу. Преследовали друг друга эти соловьи преисподней, писком печалили сердце.

— Гегути или Триалети? Посмотрим, что принесет нам завтрашний день!

Снова обрела голос невысказанная мысль. Неясная тень забрела в опочивальню.

— Кто здесь? — крикнул царь.

Откликнулся голос Махары.

— Ты не спишь еще, Махо?

Молчал вошедший.

— И к тебе не пристал сон? — спросил Давид.

— Я-то пристал ко сну, да он не хочет ко мне пристать! — ответил безбородый, подошел к иконе божьей матери, снял свечу из ниши и зажег свечи в одном из подсвечников. — Ты с кем-то держал совет, государь, не правда ли? — спросил безбородый и оглянулся.

— Ни с кем.

— Тот, кто советуется ни с кем, часто получает наилучший совет. Ибо тайна, услышанная шестью парами ушей, зачашую назавтра же разносится шестью устами.

— Я не понимаю смысла твоих речей, Махо.

Снова заревел львенок.

— Ты слышишь львиный голос, государь? Он-то и нарушил мой сон. Потому

и бродит по клетке дикий зверь, что он стремится к беспредельности.

— Как видно, и ему приелась клетка?

— Как тебе — уют гегутского камина.

Царь рассмеялся от души и сказал:

— Гегутский камин и львиная клетка!

— У этого камина расставлена для тебя западня!

— Какая западня?

— Уж будто не знаешь сам!?

— Не знаю!

— А цветущая, высокобедрая Гванца? Месяц тому назад я видел ее. О, как выросла и как расцвела дочь эристава Шамана! Кого не соблазнит ее высокая грудь, чарующая прелесть ее юной плоти! Созрела Гванца. Алые губы ее рдеют так, словно она поцеловала огонь.

Царь покраснел и ничего не ответил. Вспомнил и сам, как вечером на рождестве он целовал эти губы у гегутского камина, когда тоска о Дедисимеди начала теснить ему грудь. Хорошо помнил он, что тело Гванцы было мягко и нежно.

Махара подошел близко к постели царя и сказал ему шепотом:

— Запомни хоть одно из моих безумных речей, государь: никогда не предпочитай женщину битве, ибо женская ласка сладка лишь тогда, когда женщина добыта нами в бою.

Царь лежал навзничь, молчал, нежась на теплых шкурах серн и следя глазами полет маячивших под сводами летучих мышей.

В плодовом саду поднялось птичье чириканье, и львиный рык умолк во дворе, ибо началось уже шевеление теней — бледное сияние проникало в окна опочивальни.

Когда Георгий Чкондидели вошел в палату, Давид встретил его уже одетый, в панцире.

Приветствием ответил он на приветствие первого вазира и приказал выступить в поход на Триалети.

Давид сказал:

— Ты поезжай в Гегути, господин мой Георгий, успокой стариков; если мне понадобятся маргветские ратники, я изведу немедленно, и тебе придется самому вести их.

Почти с мольбою сказал первый вазир царю:

— Возьми с собою эристава Гуараму!

Давид понял, что разумел Чкондидели, и велел позвать владетеля Бечиспихе.

Бряцание кимвалов подняло на ноги лагерь. Крестоноситец пошел впереди войска. Чухчарх! Кариман Сатиели и тя-

1 Чухчарх — начальник чухчей, телохранителей царя.

жело вооруженные чухчи — телохранители царя пошли вслед за ним.

Царь Давид ехал на своей Сквитии. По левую и по правую руку от него следовали спасалары — Шергил Липартиани, Папуна, сын эристава Гуарама, Бешкен Джакели и Джонди.

Когда вышли из Начармагеви, царя догнал на буланом мерине Гуарам бечисихский. Царь не хотел брать Гуарама с собой в Триалети, боялся, что разжалобит его старый эристава, но столь убедительно просил его Чкондидали, что не смог он отказать ему, и подумал, что царю Георгию с царицей Еленой будет тоже, пожалуй, приятно, что Гуарам находится при нем.

Войска несли с собою приставные лестницы. Пятьдесят пар буйволов и быков тащили высокие деревянные башни. В Триалети никто не видел еще осадных машин, и прохожие взирали на них изумленно.

Деревенское духовенство выносило хоругви из церквей, встречало царя и войско пением псалмов.

Жалобщики, забравшись на холмы или на деревья, протягивали царю свои прошения; угнетаемые власть имущими эриставства триалетского, искали они защиты у него, у царя нищих и обездоленных. Письмоводители главного судьи заносили жалобы в списки.

Эристава Гуарам не решался спросить царя, куда направлялось войско — в Кадекари или в Липаритис-Убани. После того как царь вошел в пределы Триалети, Гуарам ни на шаг не отходил от него. Беседовал, вспоминал путешествие в Византию, восхвалял Алексея Комнена — «истинно христианского кесаря, милостивого и великодушного».

— Я сам сопровождал кесаря, когда он изволил осматривать лагерь убитых полвцами печенегов. Когда кесарь увидел эту леденящую кровь картину, он преклонил колена на поле, осенил себя крестным знаменем и в слезах молил спасителя не возлагать на него вины за убийство этих несчастных.

Давид понял, зачем рассказывает ему старый эристава эту историю. Ежели император-христианин так жалел язычников-печенегов, то ему, христианскому царю, еще более подобает щадить своих кровных братьев.

Лицо Давида, не спавшего минувшую ночь, было спрого. Вокзремя удержанная улыбка слегка тронула его губы. Он повернулся к эриставу Гуараму и сказал:

— Помнишь ли ты, господин мой Гуарам, притчу царя синдов, рассказанную им Вахтангу Горгасалу?

— Которую?

— О том, как ворона нашла ястребино-

го птенца, вырастила его и воспитала, но как только воспитанник возмужал, проснулся в нем хищник, и он съел своего воспитательницу. С тем, кто дружит со своим врагом, случится то же самое, что с этой вороной. Кесарь Алексей — отменный воин, но не обойдись он столь милостиво с Чахой, этот воспитанный им сельджук не уготовил бы столь грозной опасности Византийской империи.

Эристава Гуарама испугали слова царя. Он вспомнил, что когда царское войско выступило из Начармагеви, чухчи несли вслед за Кариманом Сатиели дзелгвсюю дыбу, а за ослами, на которых были навьючены шатры, шла сотня чухчей, ведя с собою эристава, голова которого была укутана в черную ткань.

Теперь владетель Бечисихе был убежден, что царь осадит Кадекари, и начался царских телохранителей, чухчарх Кариман Сатиели вздергнет на дыбу обоих Орбелиани — отца и сына.

Опечалился старый эристава. Не раз приходилось ему видеть, как вздергивали людей на дыбу. Подумал: «Хоть бы сломал я себе ногу и вовсе не приезжал из Византии».

Он укоротил повод, немного отстал от царя и оглядел молодых спасаларов. Головы их так же были покрыты шлемами цвета ржавчины, они так же молча сидели в своих седлах и лица их были так же строги и жестоки, как лицо их повелителя.

«Меняются времена, — подумал владетель Бечисихе, — и мы были юношами когда-то, и мы носили доспехи и вели войны. Совсем иное поколение выросло после нас — безжалостное и жестокое. Если бы царь Георгий действовал, как Давид, лишь мне да эриставу Шаману удалось бы сохранить голову на плечах. Еще совсем юноша царь Давид и любит дочь Багуашей самозабвенно — а вот идет с войском во владение ее дома, чтобы вздернуть на дыбу будущих тесей и шурина. Меняются времена, меняются обычаи и повадки людей...»

Ястребы взлетали с ближних скал; спугнутые бряцанием кимвалов, устремлялись легконогое стада серн, с необычайной быстротой мчались они по пригоркам. От лошадей шел пар, лисицы перебежали тропинки — и пугались необезжуженные жеребцы. С непокорным ржанием шли они по крутым тропам.

Дорога сворачивала налево, на противоположной стороне оврага начинался новый подъем. Мост был проломлен арбам. Царь прищипнул Сквитию и перескочил на противоположный берег. Лошадь Гуарама вытянула шею, поглядела в овраг и отступила назад.

Владетель Бечисихе прикрикнул на своего мерига, лошадей прыгнула, но разорвала подпруги.

¹ Вахтанг Горгасал — царь Грузии (V в.).

Царь обернулся.

— Что с твоей лошастью, господин Гуарам?

— Придется мне просить у тебя разрешения отлучиться, государь; я подожду конюхов, они переменят мне подпруги.

Шергил Липартиани подъехал к царю и повел коня рядом с его Сквигити.

Когда обозники и хранители шатров узнали Гуарама, Махара приказал конюхам переменить подпруги под седлом эристава бесчисленного.

— Видно, слишком много ячменя давали твоей лошади, господин мой Гуарам? — сказал Махара эриставу.

— Ты прав, Махо, сколько ни молю я начальники моих конюшен не откармливать так безбожно коня, он все поступает по-своему.

— Сытая лошадь не годится ни в состязании, ни на войне.

Гуарам согласился с безбородым.

— И сытый человек еще никогда не покорил ни одной крепости, — добавила Махара.

— Только одним царям простительна сытость; не так ли, Махо?

— И им непростительна она, господин Гуарам. Чревоугодие, бесконечные пиры и охота — самые большие грехи царей.

— Так кто же может быть счастлив на земле, Махо?

— Ни тот, кто вечно думает о своей сытости, ни тот, кто плетет сети против ближнего. Истинное счастье добывалось людьми лишь ценою большого геройства, господин мой Гуарам.

Пока эти двое вели такую беседу, конюхи, следовавшие за ними, прислушивались к их словам.

Эристав Гуарам укоротил повод, пропустил конюхов вперед и, убедившись, что они уже далеко, огляделся и сказал Махаре:

— Лишь мы с тобою старики среди этой молодежи, Махо. Как-нибудь нужно отворотить царя от пролития братской крови.

— Обмылись желанием сына Липарита, господин Гуарам. Он хотел завлечь орла в триалетское эриставство прилукой, так пусть теперь узнает, кто попадет в западню.

★

Не доезжая трех стадий до Манглиси, Кариман Сатиели и чухчи царя повстречали на дороге латных всадников. Вместо того, чтобы, спешившись, встретить с почестью чухчей, всадники прищипорили коней и приготовили кспья к бою.

Кариман Сатиели узнал Мамиствалу Махароблидзе, обнажил меч, спустил коня вперед и заставил его ударить грудью ло-

шадь знаменосца. Одним взмахом меча он снес голову закрытой панцирем лошади и сбросил ее вместе с всадником с обрыва.

Атакowali в ответ и триалетцы, убили лошадей под передовыми, но тогда чухчи развернули плечи, и триалетцы, бросив коней, скрылись кто куда, попрыгав со скала.

★

Никто не понимал в Триалети, куда направлялся царь Давид со своими полками. Был вторник, а церковные колокола звонили без-устали, иногда же слышался в ущельях и звук набата. Это делалось по приказанию Кириона манглисского. Все эриставство поднялось. Даже монахи-отшельники оставляли свои пещеры, выходили на дорогу, прикладывались к боевому кресту и падали перед лошастью царя, целовали кспья Сквигити.

Необычайный страх объял триалетских азнауров. Они покинули Манглисский замок и укрылись в замках Хулути и Берикали.

Когда Кариман Сатиели с чухчами прибыли в Манглиси, они застали дворец эристава запертым на замок.

Лишь престарелый начальник слуг, главный посудник и главный стольник стояли с обнаженными головами перед дворцовой лестницей, которую стерегли два крылатых льва из пурпурного гранита.

Чашники, посудники, стольники, пекари возились у открытых торней и погребов.

Овчарки с обрезанными ушами храбро лаяли и набрасывались на воинов.

Ворота ограды дворца Орбелиани были распахнуты настежь, все же четыре башни заложены снаружи засадами.

Кариман Сатиели на полном скаку въехал на замковый двор. Волкодавы окружили его. Кариман был одет в стальные поножи, но все же вытащил ноги из стремян, поджал их, напуганный собаками, и в душе сам посмеялся над своим страхом.

Начальник слуг, стоявший с обнаженной головой, удивился, что чухчарх царя не потребовал у него ключей от дворца.

— Где семейство эристава? — спросил его Кариман.

— В Липаритис-Убани, господин мой чухчарх.

Солнечные часы дворца Орбелиани показывали девять. Кариман послал чухчей на башни и оставил в них шестьдесят человек.

Голодные телохранители тянулись к пекарням. Чухчарх приказал начальнику слуг вынести вино в кубичинах и горячие хлебы. Кариман скатывал лепешки, жевал их, смеялся — вот, мол, попробовали и мы хлеб-соль Орбелиани!

¹ В древней Грузии был обычай: когда рыцари одного и того же воинства встречались в пути, они сходили с коней, целовали друг друга — это называлось «встреча с почестью».

Потом взглянул на солнце и приказал чухчам садиться на коней.

Вверх по течению Аалгети двигались тысяча двести тяжело вооруженных всадников. Был осторожен Кариман Сатиели: он был уверен, что еще до прибытия в Кледекари встретит его Рати со своими когортами.

По приказу начальника спешили чухчи, коней оставили монахам и оруженосцам, сами же взбирались на гребни скал и на деревья, осматривали впереди дорогу, разыскивали в лесу и в оврагах неприятелей и пересвистывались, издавая друг друга о своем передвижении.

Вокруг стояла тишина, лишь порой испуганный зверь шмыгал, шелестя листвою. Голуби ворковали в безлюдных бухловых лесах.

Как только проехали лес Цитихто, показался Кледекарский хребет. Этот горный край проходит прямо с севера на юг. С незапамятных времен он был рассечен пополам, и эта открывавшаяся в скалах дверь была черной, как врата ада.

Кариман Сатиели остановил коня и приказал позвать тех из чухчей, которые были жителями Внутренней Карталинии.

Сказал Сулаисдзе, начальник чухчей: не стоит входить в Кледекари без разведчиков, лучше заночуем в ущелье Тадарджина, пошлем лазутчиков, а потом попытаемся хотя бы с боем проложить себе путь.

Прежде чем зашевелились тени, лазутчик принес известие: полки эристава стоят по ту сторону прохода Кледекари. Кариман Сатиели повел своих чухчей рано утром, до света; карталинские чухчи и Сулаисдзе ушли вперед, поднялись на гору и стали скатывать камни на триацетских ратников, стоящих в проходе по ту сторону скалистых врат Кледекари. Кариман же Сатиели в сопровождении тысячи копьеносцев ворвался во врата Кледекари. Люди эристава обратились в бегство.

Когда кончился высеченный в скале путь, Кариман увидел огромный плоскогорье, окруженное со всех сторон горами Кледекари и Эрджевани. Эти конусообразные горбыли похожи на башни. С востока Кледекарский хребет кажется зеленым, заросшим травой, а если взглянуть на него с другой стороны скалистых ворот, он представляется сизым, выжженным солнечными лучами, лишенным зелени и лишь одетым серебристым мхом.

— Все это ущелье — неприступная крепость, господин чухчарх! — сказал Сулаисдзе Кариману.

Сатиели окинул взором возвышавшийся на синей скале Кледекарский замок.

У подступов к нему стояли войска, слепило глаза сверканье панцирей и шлемов.

Вокруг раскинувшихся на склонах деревьев были разбиты шатры. Скот эрис-

тава — табуны и овечьи отары — рассыпался по эйлагам.

Блеяние баранов, ржание лошадей и гикание воинов, сливаясь воедино, оглашали окрестность.

На этой стороне ущелья, вдоль всего Кледекарского хребта, видны были в открытых конюшнях оседланные лошади; отмахиваясь от мошкары, они дергали головами.

Наконец догнали чухчарха крестоносец и передовые воины.

★

Трудно было одолеть склоны, подводящие к стенам Кледекарского замка. Воины Рати Орбелиани вышли из крепости и забрасывали царские войска камнями.

Царь захотел испытать воинское искусство Джонди: он приказал такверскому эриставу выйти вперед и очистить путь войскам.

Джонди дал приказ такверской дружине спешиться, отклонился от главной дороги, ведущей к крепости, рассыпал когорты по склону и приказал им ползком подниматься по тропинкам, укрываться за кустами и так одолеть подъем.

Рати удивила эта военная хитрость. Он знал по рассказам, что когда парикиман кесаря Константина напал с греческим войском на Кледекари, он не додумался до этой уловки, а упрямо следовал прямой дорогой в гору — войско это было перебито камнями.

Рати заметил также: вслед за такверскою дружиною везли катапульты, деревянные башни и шел целый отряд теихсеплетов; он испугался, обратился вспять вместе со своими людьми и заперся в замке.

Царь послал Гуараму бечиспахского в крепость, предложил Рати сдать ее без сражения.

Заупрямился сын Липарита и ответил нападающим: «Отец мой — пленником у вас; освободите его, а мне дайте уйти — и я передам вам крепостные ключи!»

Царь приказал Шергилу Липартиани подвести ближе к замку осадные орудия.

На дорогу, ведущую к замку, стали сыпать землю и утаптывать ее ногами. Подвинули бревенчатые лестницы и приготовили к бою деревянные башни. Царь собирался как только расширят путь втащить башни на гору и подвести их к стенам замка — с тем, чтобы лучники попытались перейти с башен внутрь ограды.

Гуарам бечиспахский видел такие башни только в Византии. Он не посмел ничего сказать повелителю, но про себя подумал, что вряд ли смогут с их помощью одолеть Кледекарскую твердыню.

В эту самую минуту подоспел Кирион манглисский с большою свитой духовенства. Манглисского епископа и отца Вавилия послал в крепость царь Давид.

Больше, чем царя, Рати боялся проклятия Кириона, и все же стоял на своем, кричал: «Пусть рассудит нас меч!»

Когда Кирион манглисский вернулся из крепости, Кариман Сатиели по приказу царя воздвиг на видном месте дыбу.

Теперь уже было видно из окон Кладкарского замка, как сняли черное покрывало с лица Липарита Багуаш-Орбелиани и как Кариман поднял его на руки, словно мальчика, и подвесил к дыбе.

Эристав Гуарам содрогнулся, закрыл лицо кольчатым забралом шелома.

Рати не выдержал зрелища казни отца. Монах Козман вынес крепостные ключи, явился к царю в его шатер, простерся перед ним и возгласил:

— Полихронион!

Пока царские войска входили в крепость Рати Орбелиани ускользнул из замка через потайной ход.

★

На эмира Липарита наложили оковы и посадили его на цепь в темнице. Начальником крепости Калекари царь назначил такверского эристава Джонди.

В течение семи дней царские войска взяли без кровопролития, при помощи деревянных башен, самые неприступные из триалетских твердынь. В Хулути Давид оставил Шергила Липартиани, Берикальский замок поручил Папуне, сыну эристава Гуарама бечисцихского, а сам отправился в Липаритис-Убани вместе со своим войском — царь нищих и обездоленных.

Конец

В ОСВОБОЖДЕННОМ СЕЛЕ

А. ЛЕОНТЬЕВ

★

Как много снега намело!
Как люди жили здесь богато!
И вот теперь на все село
Одна единственная хата.
И так обрадовавшись нам,
И так смеясь не без причины,
Стоит девчонка у окна..
А на лице ее... морщины.
От пережитого всего
Как у нее глаза ввалились,
И как нам больно оттого,
Что мы не раньше возвратились..
Но тот, кто сотни верст прошел,
Кто знает смерти злую силу,
Всегда найдет: как хорошо
Смеешься ты,

и как красива!

И потому казалось нам,
Что здесь не ты в простом наряде,
А жизнь

стояла у окна!

И шли солдаты
жизни ради.

ПАСПОРТ ПРЕДАТЕЛЯ

АЛЛАН ХИНД

Перевод с английского М. Абкиной и Юр. Аксель



В 1942—1943 годах в Соединенных Штатах прошло несколько процессов о шпионаже. Судебное следствие выявило картину дерзкой, широчайшей подрывной и осведомительной работы гитлеровской агентуры в США. Американские власти пресекли, наконец, эту деятельность. Ряд шпионов и диверсантов были отправлены на электрический стул, другие — за решетку.

Обвинительные акты и судебное следствие были основаны на уликах, собранных Федеральным бюро расследования (ФБР) — американской контрразведкой, правительственной организацией, которой поручена борьба со шпионажем и охрана государственной безопасности США.

Эти совершенно конкретные данные, фактический ход событий, реальные имена и приводит в своей книге известный американский писатель Аллан Хинд, автор многих приключенческих и детективных романов.

«Цель моей книги, — указывает в предисловии Хинд, — впервые дать американской публике полную картину махинаций германских шпионов и диверсантов в Соединенных Штатах с 1939 по 1942 год... Старая истина, что действительность увлекательнее выдумки, вновь подтверждается здесь. Если бы я писал роман с вымышленными героями и хотел только воспользоваться некоторыми материалами из официальных архивов суда, я не мог бы пожелать ничего лучшего, чем «сухие факты», предоставленные мне для этой книги. Я увидел, что эти «сухие факты» содержат все элементы увлекательного романа. Да, с известной точки зрения всё это выдумка. порождение фантазии — фантазия злодейских умов в Берлине, замышлявших чудовищные акты диверсии и шпионажа в нашей стране.

Во всей книге нет ни одного факта, который не подтверждался бы материалами ФБР или судебного следствия, — продолжает Хинд. — Изменять факты не было необходимости, они достаточно потрясающи. События действительно начались разговором в домике на гамбургской пристани, где гестаповцы пытались завербовать Вильяма Зебольда. Последующие встречи Зебольда с гестаповцами и его учеба в школе шпионажа в Гамбурге известны в подробностях, ибо Зебольд обо всем сообщал американскому консульству в Кельне. Разумеется, разговоры Зебольда с гестаповцами не зафиксированы стенографически точно, но в тех случаях, когда в книге даны диалоги, они точно соответствуют духу и содержанию действительно происходивших разговоров».

В нашем журнале перевод книги Хинда печатается в сокращенном виде.

СУДЬБА РЕШАЕТСЯ

Высокий, слегка сутулый человек лет сорока сошел по сходням парохода «Дейчланд», прибывшего в Гамбург летом 1939 года. Длинное, с резкими чертами лицо приезжего, загоревшее под калифорнийским солнцем, было покрыто каплями пота — день был жаркий. Вильям Зебольд (так звали этого американца немецкого происхождения, работавшего в США конструктором на авиационном заводе «Консолидейтед эйркрафт компани») был в самом

безмятежном и приятном настроении. После многолетнего отсутствия он вновь в Германии, которую ныне Гитлер, этот неудавшийся «художник» ведет по роковому пути. Вильям Зебольд приехал сюда, движимый сентиментальными чувствами: он хотел повидать свою мать, двух братьев и сестру. Ожидая в этот солнечный день таможенного досмотра в гамбургском порту, Зебольд, разумеется, не подозревал, что ему суждено сыграть главную роль в калейдоскопе последующих драматических событий.

Кто-то тронул новоприбывшего за плечо.

Зебольд обернулся и увидел хмурое лицо. Человек предъявил ему жетон сотрудника гестапо. Сердце Зебольда забилося учащенно: он презирал гестапо и все связанное с ним. Зебольд давно стал настоящим американцем, словно он родился где-нибудь в Индиане, а не в немецком городке Мюльгейм на Руре.

— Прошу вас пройти со мной, — сказал гестаповец. — Нам нужно поговорить с вами.

Он говорил по-английски, как человек, проживший несколько лет в Соединенных Штатах.

— В чем дело? — запротестовал по-немецки Зебольд.

— О, ничего особенного, просто таков обычный порядок, — заверил гестаповец.

Зебольд пожал плечами и последовал за ним в домик на дальнем краю эстакады. Там за простым некрашенным столом сидел человек с неприятным лицом, в потертом костюме из блестящей черной саржи. В его осанке было что-то военное. Он внимательно читал небольшую карточку, вынутую им из картотеки за его спиной, и не оторвался от этого занятия, когда вошли Зебольд и гестаповец. Потом, не поздоровавшись с вошедшими, он начал вслух читать по-английски ряд данных о производственной мощности и выпуске продукции того калифорнийского завода, на котором работал Зебольд. Многие из этих цифр были безукоризненно точны, и неприятно удивленный Зебольд спрашивал себя, какими путями эти данные из секретных документов завода попали сюда, в маленькую картотеку на гамбургской пристани, за семь тысяч миль от Калифорнии. Это было первым подтверждением слышанных им рассказов о могуществе гиммлеровского ведомства.

Кончив читать, человек спросил:

— Эти данные правильны, герр Зебольд?

Не отвечая, Зебольд гневно повернулся к человеку, который привел его сюда.

— Это называется у вас «обычным порядком»?

— Послушайте, герр Зебольд, — сказал сидевший за столом, — вы сейчас в Германии, и мы полагаем, что вы проявите должное уважение к фюреру.

— Я американский гражданин, — воскликнул Зебольд, — и не собираюсь выдавать секреты моей родины, которые могут быть использованы ей во вред.

— Я прошу вас только подтвердить правильность этих данных.

— А я отказываюсь! — ответил Зебольд уже более спокойным и решительным тоном. — Могу я теперь уйти?

Человек за столом в упор посмотрел на Зебольда.

— Ладно! — сказал он. — Можете идти, но вы еще вспомните о сегодняшнем дне.

Зебольд знал, что у его родных в Мюльгейме тесно. Поэтому он снял номер в гостинице «Хандельсгоф» и затем отправился повидать родных. Пятнадцать лет он не был в Германии. Знакомые места не изменились, но все же было что-то новое в жизни маленького городка. «Переменялись люди, вот в чем дело», — говорил себе Зебольд, подходя к отцов-

скому дому. У иных прохожих был заносчивый и воинственный вид, другие казались испуганными, словно чувствовали приближение смертоносной бури.

Встреча с родными была шумная и радостная — до тех пор, пока Зебольд не рассказал об инциденте в гамбургском порту. За столом воцарилось молчание.

— Ты хочешь сказать, что не дал гестапо сведений? — спросил наконец один из братьев.

— Разумеется, нет!

— Это серьезное дело, — сказал брат. — Ты втянешь всех нас в неприятную историю. С гестапо шутки плохи.

Сестра и братья Зебольда работали на военных заводах. Они объясняли ему, что Третья империя готовится к защите от агрессии Соединенных Штатов.

— С тех самых пор, как Рузвельт стал президентом, — сказали они, — Америка стремится завоевать Германию.

— Откуда вы это взяли? — спросил Зебольд.

— Так сказал фюрер, — был безапелляционный ответ.

Братья и сестра Зебольда не были типичными убежденными нацистами, но они боялись за свое будущее. Впрочем, и на них тоже нацизм оказал влияние. Когда Зебольд попытался дать им подлинное представление об Америке, в отличие от того искаженного, которое внушала им нацистская пропаганда, это только смутило и удивило их.

Вернувшись вечером в гостиницу, усталый и удрученный этими разговорами, Зебольд обнаружил, что кто-то шарил в его чемоданах. Однако все вещи были в целости. Видимо, какое-то учреждение «новой Германии» — вернее всего гестапо — действовало и здесь «в обычном порядке». Зебольд присел на край кровати. Им овладела холодная злоба. Ему хотелось сейчас же сложить вещи и уехать в Америку с первым пароходом. Но Вильям Зебольд был человек, у которого чувства не брали верх над разумом. И он решил не изменять своему первоначальному намерению — пробыть в Германии не меньше двух месяцев. В конечном счете и разум и чувства привели его к этому решению. Никогда еще он не чувствовал себя настолько американцем, как в эту ночь в одиночном маленьком номере гостиницы в Мюльгейме на Руре.

В течение нескольких дней Зебольд бродял по городу. Всюду он видел то же, что и в доме у родственников — людей, в большей или меньшей степени тронутых нацистской заразой. Другие — их было большинство — сами распространяли эту заразу. Зебольду становилось стыдно за людей, которых какой-то крикун с усиками мог так прибрать к рукам. «Новый порядок», сузив их кругозор, который и раньше был не особенно широк.

В конце июня Зебольду вручили письмо из Берлина. Оно было написано по-английски, а внизу стояла подпись какого-то доктора Гаснера, о котором Зебольд никогда не слышал. В письме говорилось:

«Дорогой друг! Я хотел бы встретиться с Вами 8 июля в полдень в берлинском отеле «Дуисбургергоф» и вспомнить старые времена. Ваш адрес дал мне один общий знакомый. В Ваших интересах обязательно быть на этом свидании. Я узню Вас».

В полдень 8 июля Зебольд уже сидел в вестибюле отеля «Дуисбургергоф». С последним ударом часов к нему подошел доктор Гаснер. Это был человек средних лет, полный и слишком темноволосый и смуглый для немца. Он был одет в плохо сидевшую на нем черную пару и выглядел, как распорядитель похоронных процессий, который только что закончил очередную церемонию. Он потряс руку Зебольда и сказал с улыбкой:

— Вижу, что вы получили мое письмо, герр Зебольд.

Подобно гестаповцу в домике на гамбургской пристани, он говорил по-английски, как человек, несколько лет проживший в Америке. Взяв Зебольда под руку, он устроился в ресторан, где метрдотель уже приготовил для них столик в укромном уголке.

— Ну как дела в Америке? — заговорил Гаснер, — и, не ожидая ответа, продолжал: — У этой страны богатые возможности. Мы максимально используем ее громадные естественные ресурсы.

Зебольд вопросительно поднял брови.

— Германия совершит всего лишь акт самозащиты, когда захватит Соединенные Штаты, — заявил Гаснер. — У нас нет выбора. Мы должны сокрушить Америку прежде, чем она сокрушит нас.

— Я не видел в Америке ничего подтверждающего такие ее планы, — сдержанно сказал Зебольд.

Гаснер усмехнулся.

— Конечно, нет. Рузвельт умен и хитер. Американцы не знают, что он творит. Но если бы вы почитали донесения нашего посольства в Вашингтоне, Зебольд, у вас бы волосы встали дыбом!

— А что?

— Рузвельт и Англия всячески провоцируют фюрера. Они знают, что фюрер вспыльчив, и стараются спровоцировать его на действия, которые дали бы им повод объявить нам войну.

Доктор Гаснер осматривался, как бы для того, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Потом нагнулся к Зебольду.

— В Польше Рузвельт создал пренеприятную для нас обстановку. Боюсь, что нам скоро придется нанести удар.

Слушая Гаснера, Зебольд испытывал смешанные чувства: его злило вранье об Америке и забавлял уверенный тон гестаповца. Видимо, Гаснер столько раз повторял эту басню, что сам уверовал в нее.

— Кстати, о вашем письме, доктор, — сказал Зебольд. — Вы пишете, что хотите вспомнить со мной старые времена. Но я не припомню, чтобы имел удовольствие встречаться с вами раньше.

— Мы встречались в Нью-Йорке пять лет назад, — невозмутимо ответил Гаснер. — Великолепный город Нью-Йорк, а? Люблю

нью-йоркских женщин! Думаю, что они будут довольны, когда Америка станет нашей и у них будут настоящие мужчины, которых приятно любить.

Но Зебольд не хотел уклоняться от разговора о письме.

— Вы писали, что в моих интересах обязательно быть на этом свидании. Что вы имели в виду?

Гаснер снова оглянулся, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Кельнер торчал поблизости, готовый к услугам. Гаснер нетерпеливым жестом отослал его.

— В порядке самозащиты, — сказал он, — фюрер некоторое время тому назад поручил моему патрону герру Гиммлеру создать в Соединенных Штатах осведомительную организацию. Она уже создана и действует гораздо лучше, чем в прошлую войну.

— Это очень интересно, доктор. Но прежде чем продолжать, скажите, зачем вы рассказываете мне все это? Ведь вы знаете, что я американский гражданин.

Жирная физиономия Гаснера расплылась в улыбку.

— Мы знаем о вас всё, герр Зебольд. И я рассказываю вам это потому, что вы будете работать с нами. Мы забудем об инциденте в гамбургском порту, вы плохо отдавали себе отчет в том, что говорили там.

Зебольд усмехнулся:

— Ну, а если я откажусь?

Гаснер тоже усмехнулся, словно эти слова можно было принять лишь как шутку. Потом он нагнулся к Зебольду, глядя на него в упор.

— Не посмеете. Иначе вам не выбраться из Германии живым.

Зебольд заставил себя усмехнуться еще раз.

— Ну, а если я притворно соглашусь, а потом выдам вас в Соединенных Штатах?

— Этого вы тоже не посмеете сделать.

— Как же вы можете мне помешать?

— Кровь не вода, — многозначительно сказал Гаснер. — Ваше американское гражданство — это вода, а мать, братья и сестра — это ваша кровь. Понятно?

— Вы хотите сказать, что если я выдам вас, вы расправитесь с нами?

— Мы прекрасно понимаем друг друга, герр Зебольд.

— Но как вы узнаете, выдам я вас или нет?

— Гестапо знает все. Разумеется, вы будете под наблюдением даже в Соединенных Штатах. Да и по самой вашей работе будет видно, стараетесь вы или саботируете.

— Какую же работу вы мне поручите?

Гаснер ответил, что сперва он бегло обрисует Зебольду состояние осведомительной работы в Соединенных Штатах. По всей стране, сказал он, уже раскинута агентурная сеть, которая быстро расширяется. В ней работают преимущественно немцы, натурализовавшиеся в Америке. Они рассеяны на военных заводах, верфях, в воинских частях и в правительственных учреждениях. Их задача — собирать и координировать информацию, которая потом по различным каналам поступает в Берлин. Этими ка-

налами являются: дипломатическая почта германского посольства в Вашингтоне и консульство в Сан-Франциско, где орудует пресловутый Фриц Видеман, шифрованные каблограммы и трансатлантические телефонограммы, условные или написанные симпатическими чернилами письма, адресуемые на «невинные» адреса в нейтральную Португалию или Швейцарию.

— Все это очень интересно, доктор, — сказал Зебольт, делая вид, что рассказ произвел на него глубокое впечатление. — Но разве Федеральное бюро расследования не знает обо всем этом?

Гаснер признал, что Федеральному бюро, по-видимому, в общих чертах известно, что в стране действуют шпионы.

— Подробности они не знают. Не узнаете их, разумеется, и вы до тех пор, пока вам не придет время действовать. Но и тогда вы будете знать только ту группу, с которой вам придется работать, и то не всю, а лишь несколько человек.

Гаснер объяснил далее, что гестапо «не кладет всех яиц в одну корзину».

— Гувер и его федеральная полиция недостаточно умны, чтобы перехитрить нас. Допустим, они выловят одну группу, как это им удалось в прошлом году. Но это все равно что вынуть один кирпич из стены. Стена остается незыблемой, и нам лишь придется заменить этот кирпич другим.

Гаснер рассказал далее, что только Берлин знает каждого германского шпиона в Америке. Одна шпионская группа не знает другой, а во многих случаях даже члены группы не знают друг друга в лицо. Таким образом, резюмировал Гаснер, во всей шпионской сети нет ни одного человека, который, в случае ареста, мог бы провалить всю организацию.

Зебольт, делая вид, что очень заинтересован рассказом Гаснера, спросил, как Германия использует сведения, получаемые от шпионов.

— Двойко, — ответил Гаснер, — во-первых, когда придет время, ста тысячам немцев, живущим в США, будет приказано выполнять заранее полученные задания. Одни из них захватят важные железнодорожные станции и транспортные узлы. Другие создадут панику в местах скопления публики, в магазинах, театрах. Вспыхнут загадочные пожары, произойдут многочисленные и необъяснимые аварии на транспорте...

— Когда же это будет? — допытывался Зебольт. — В момент объявления войны?

— Едва ли, — ответил гестаповец. — Все это произойдет во время войны, подобно молнии в ночи, как говорит фюрер.

Затем он заговорил о второй задаче нацистской агентуры.

— Мы подбираем подходящих людей — немцев с американским паспортом — для важных диверсионных актов. Они приезжают сюда из Америки для того, чтобы пройти подготовку в специальной школе, которую мы скоро откроем. Это будет замечательное учебное заведение — идея самого фюрера!

Гаснер на минуту прервал свой рассказ, чтобы заказать кельнеру завтрак, потом продолжал:

— Когда слушатели этой школы или академии, как ее называет фюрер, закончат свой курс, они получают специальное снаряжение и отправятся в Соединенные Штаты. Это замечательное снаряжение, нечто сверхсовременное, о чем еще не слыхивал мир. У наших диверсантов будет с собой достаточно взрывчатых веществ, чтобы взорвать все стратегически важные сооружения в стране, и никто не сможет их разоблачить до того момента, когда диверсии будут уже совершены.

Гаснер умолк и после внушительной паузы спросил с быстрой усмешкой:

— Итак, какого вы теперь мнения о наших планах, герр Зебольт?

Зебольт откровенно заявил, что ни о чем подобном он не слыхивал. Следя принятой им тактике, он делал вид, что убежден аргументами Гаснера.

— Поразмыслите над этим, — сказал на прощание Гаснер, — время терпит. Война с Америкой будет не раньше, чем через два года.

Зебольт начал понимать, что стал невольным участником исключительно важных событий. Он твердил себе, что, конечно, очень хорошо быть патриотом, преданным Америке, но впутаться лично в такую историю — совсем другое дело. Заниматься этим делом надо не ему, а Федеральному бюро расследования и другим правительственным учреждениям.

«Допустим, — думал Зебольт, — я приму задания гестапо, а потом, когда буду уже в Штатах, гестапо узнает, что я веду двойную игру. Тогда матери, сестре и братьям грозит концентрационный лагерь. Нет, это слишком, нельзя требовать от человека такой жертвы. Не лучше ли всеми правдами и неправдами отделаться от домогательств гестапо и потом, вернувшись в США, написать анонимное письмо главе ФБР Гуверу и рассказать в нем все, что я слышал от Гаснера».

Но внутренний голос твердил Зеболту, что нет слишком большой жертвы, когда свободе его второй родины угрожают замыслы властолюбивых и безжалостных маньяков.

Две недели Зебольт провел в мучительной внутренней борьбе. Он плохо спал, потерял аппетит, начал худеть. Его мать, да и братья, не понимавшие, как можно отказать в чем-либо гестапо, были озабочены его состоянием. Но он не решался открыться даже матери и на ее распросы отделивался ссылками на нездоровье.

Однажды вечером, вернувшись к себе в гостиницу, он застал там Гаснера. После деланно дружеского приветствия тот сказал:

— Я был здесь неподалеку и решил заглянуть к вам, узнать, приняли ли вы решение.

— Меня останавливает лишь одно, — ответил Зебольт, — подойду ли я для этой работы настолько, чтобы быть по-настоящему полезным.

— О, конечно, подойдете! — заявил Гаснер, не скрывая своего удовольствия.

— Откуда вы это знаете, доктор?

— Мы интересовались вами еще в Америке, — сказал Гаснер, — и знаю о вас все. Во-первых, вы способный техник, а это как раз необходимое для той работы, на которую мы вас намечаем.

— Как же вам удалось узнать все обо мне без моего ведома? — спросил искренне озадаченный Зебольт.

Гаснер объяснил, что на авиазаводе, где работал Зебольт, у гестапо есть свой человек, добывающий нужные сведения.

— Мы знаем также, — продолжал Гаснер, — что у вас скорее рационалистическая, чем импульсивная натура. Вот почему мы считаем, что можем вам доверять. Вы любите жизнь и любите своих родных, хотя со времени приезда в Мюльгейм у вас были кое-какие размолвки с ними, особенно с одним из братьев.

Зебольт был потрясен этими словами. Вот как далеко проникают руки, глаза и уши гестапо! Явно теперь и то, каким путем секретные производственные данные американского завода попали в домик на гамбургской пристани: человек, который дал гестапо характеристику Зебольту, послал и эти данные.

Но Зебольт все еще не мог решиться. Гаснер, однако, и теперь не торопил его:

— Мы еще увидимся, — сказал он уходя.

После его ухода Зебольт обнаружил исчезновение своего американского паспорта, лежавшего в карманчике саквояжа. Было ясно, что паспорт унес Гаснер.

В немой ярости Зебольт сидел на краю кровати. Наглость гестаповца, намеревавшегося таким путем помешать Зебольту выехать в Америку, настолько вывела его из себя, что даже вызвала острую головную боль. Но теперь Зебольт уже знал, как поступить! Колесания исчезли. Опасно это или не опасно, поставит это под угрозу его семью или нет, он примет предложение гестапо и в один прекрасный день вместе с ФБР нанесет нацистам сокрушительный удар.

Через несколько дней Зебольт отправился в Кельн, расположенный на другом берегу Рейна, напротив Мюльгейма. Через людный центр города, где нетрудно было отделаться от слежки, он окольным путем пробрался к американскому консульству. Там он рассказал всю историю одному из атташе. Его рассказ был тщательно записан.

— Приходите не позже, чем через два дня, — сказали Зебольту. — Если кто-нибудь увидит, что вы были здесь, объясните, что вы приходили просить новый паспорт взамен утерянного.

Когда Зебольт снова явился в консульство, он узнал, что консул связался с Вашингтоном и что Государственный департамент и генеральный прокурор одобряют его план — сделаться мнимым агентом гестапо. Зебольту, однако, не сказали, что Государственный департамент снесся с ФБР, которое быстро направило подробные справки о Зебольте и решило, что он человек, заслуживающий доверия. «Дядя Сам» не хотел, чтобы гестапо подослало ему контрразведчика.

В дальнейшем Зебольт должен был поддерживать контакт с атташе, не являясь в консульство. Для этого был разработан хитроумный план, который не разгадало бы и всевидящее гестапо. Затем Зебольт отправился в Берлин, где, как он знал, можно было найти Гаснера по определенному адресу на Вильгельм-

штрассе. Последний принял его довольно холодно.

— Что вы делали в американском консульстве в Кельне? — спросил он.

— Я потерял паспорт, — ответил Зебольт, — вернее, он был похищен из моего номера в отеле.

— А! — сказал Гаснер, видимо успокоившись.

— Почему вы просто не попросили у меня мой паспорт, доктор? — спросил Зебольт.

— Я? — Гаснер принял простодушный вид. — На что мне американский паспорт?

— Его можно использовать для агента, посылаемого в Соединенные Штаты.

— Мне нравится ваша сообразительность. Зебольт. Вы будете подходящим для нас человеком. Скажите теперь, когда вы сможете начать работу?

— Сперва я хотел бы получить небольшой отпуск, недели на четыре.

— Отлично, возвращайтесь сюда тридцатого сентября. С первого октября мы начинаем занятия в разведывательной школе в Гамбурге. Вы будете заниматься там.

Зебольт поинтересовался, чему и как долго его будут учить. Гаснер сказал, что главным образом фотографии и технике коротковолновых передач.

— В Соединенных Штатах вы должны будете наладить коротковолновый передатчик для постоянной связи с нами.

Когда Зебольт уходил, Гаснер спросил:

— Ну, а как насчет нового паспорта? Дадут ли вам эти американские бабасы в Кельне?

— Это трудновато, — ответил Зебольт. — Но я надеюсь его получить. По-вашему, они бабасы, доктор?

Гаснер усмехнулся.

— Большинство американцев — бабасы. Если бы они только знали, как их дурачат наши люди там, в Штатах, у них бы сделались корчи от ярости.

Злорадный смех Гаснера еще звучал, когда Зебольт вышел в коридор, прикрыв за собою дверь.

ГАМБУРГСКАЯ ШКОЛА ШПИОНОВ

В здании ФБР — Федерального бюро расследования — в Вашингтоне глава этого учреждения, Дж. Эдгар Гувер, читал донесение кельнского консульства. Это донесение только что пришло дипломатической почтой в Государственный департамент, и Гуверу была направлена копия. В донесении подробно рассказывалось все, что случилось с Зебольту со дня его высадки в гамбургском порту до первого визита в американское консульство.

Недавно одно событие заставило Гувера особенно насторожиться. Все значение этого события выяснилось лишь позже. Дело заключалось в следующем.

Двое патрульных береговой стражи, обходя побережье Лонг-Айленда (популярный район Нью-Йорка), обратили внимание на моторный баркас «Лекала», стоявший на яхоре в миле от берега. На палубе баркаса находилось семь человек — явные «сухопутные крысы». Наблюда-

тельным пограничникам это показалось подозрительным. Они подплыли к баркасу, чтобы побеседовать с его владельцем, самоуверенным молодым человеком по имени Эдвард Керлинг. Керлингу судьба готовила в будущем мрачный сюрприз — в августе 1942 года ему суждено было сесть на электрический стул как шпиону и диверсанту, высадившемуся с подводной лодки на атлантическом побережье Америки. Но сейчас, осенью 1939 года, на вопросы пограничников Керлинг отвечал дерзко. Никому нет дела до того, что он делает на баркасе, куда направляется и откуда у него баркас. Его отвезли на берег, чтобы выяснить его личность. Оказалось, что он служил дворецким где-то в Нью-Джерси. Пограничники решили, что жалованья дворецкого едва ли могло хватить на приобретение большого баркаса, стоимостью в несколько тысяч долларов. Но Керлингу не было предъявлено никаких обвинений, это не соответствовало бы стратегии Гувера: он хотел выпустить зверя и итти по его следу. Керлинга ненадолго задержали под разными благовидными предлогами и тем временем обыскали баркас. Там оказалось громадное количество консервов и пищевых концентратов, достаточное для команды баркаса на несколько лет. Это вызвало предположение, что баркас снабжает германскую подводную лодку, предположение тем более вероятное, что топография дна в этих водах особенно благоприятна для незаметной стоянки подводной лодки.

ФБР, продолжавшее не спускать глаз с Керлинга и его шести товарищей, не очень удивилось, когда эти люди, перебравшись на север Нью-Джерси, стали активными участниками местного «Германо-американского союза», замаскированной пронацистской организации американских немцев. Мы увидим далее, как лжедворецкий Керлинг занял свое место в сети шпионажа, неотъемлемой частью которой становился и Вильям Зебольд.

В последний день сентября 1939 года, когда гитлеровский блицкриг насчитывал уже месяц от роду, Зебольд вошел в кабинет Гаснера на Вильгельм-штрассе. Гаснер был любезен, но лаконичен; война загрузила его новыми многочисленными обязанностями, и этим объяснялось озабоченное выражение его лица. Он вручил Зебольду запечатанный сургучом конверт и железнодорожный билет в Гамбург и велел ему явиться с этим конвертом к содержательнице пансиона на Клоппшток-штрассе, фрау Гут.

Фрау Гут оказалась расторопной женщиной средних лет и мощных форм. Она вскрыла конверт и, прочтя письмо, сказала по-английски: — Ага, я ждала вас. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

Было ясно, что пансион фрау Гут находился в ведении гестапо. Спустившись к обеду в столовую, Зебольд увидел довольно многочисленное общество. Здесь были молодые люди и мужчины среднего возраста, девушки не старше двадцати лет и сорокалетние дамы, — все видимо «студенты» гитлеровской «академии». Атмосфера подозрительности и взаимного недоверия парила за столом. Зебольд попытался заговорить с соседом справа — круглолицым челове-

ком, отпускаявшим волосы, но фрау Гут, стоявшая над столом, как тюремный надзиратель, пошла к нему:

— Мы не поощряем сближения между нашими гостями, герр Зебольд, — сказала она.

«Академия» шпионажа помещалась в многоэтажном здании вблизи гамбургского полицейского управления. Аудитория, в которую направили Зебольда, выглядела как всякая другая аудитория: кафедра для преподавателя, черная доска, большой лабораторный стол. Зебольд оглядел слушателей. Их было 35 человек, большей частью мужчины старше 30 лет. Знакомых по пансиону оказалось только трое, и Зебольд справедливо заключил, что заведение фрау Гут было одним из нескольких пансионов для слушателей этой мрачной «академии».

Зебольда учили фотографированию, уделяя особое внимание микрофильмам. Преимущества микрофотографирования известны: большой лист бумаги с напечатанным на машинке текстом переснимается на целлюлоидную пленку размером не больше почтовой марки. Такой микрофильм легко спрятать под языком или в волосах или проглотить в нерастворимой таблетке. Когда микрофильм достигает места назначения, его увеличивают и читают невооруженным глазом.

Как и где ему придется в будущем применять микрофотографию, Зебольду не сказали. Освоив это дело, Зебольд начал изучать технику коротковолновых передач. Ему сказали, что в Соединенных Штатах он должен будет купить детали (во избежание подозрений — в разных местах) и смонтировать коротковолновый передатчик.

Покончив с техникой сборки и эксплуатации передатчиков, Зебольд изучил международный код Морзе. Для связи с Германией он должен был, однако, применять другой, гораздо более сложный шифр. Немцы сильно обожгались на шифрах в первой мировой войне, когда искушенным дешифровальщикам в Вашингтоне удалось разгадать их секретный код, и они не хотели еще раз попасть в просак. Зебольду объяснили новый шифр, слишком сложный, чтобы излагать его здесь. Мы сообщим только основную принцип, чтобы показать, насколько хитроумно он задуман.

За основу берется цифра 20. К ней прибавляется дата отправки телеграммы. Если это, например, 28 марта, то прибавляется двадцать восемь плюс три (март — третий месяц), т.е. 31, что в итоге дает $(20 + 31)$ пятьдесят один. Затем берут условленную книгу (в данном случае это был популярный роман писательницы Рашель Филд) и раскрывают ее на странице 51. Потом производятся другие сложные вычисления, основанные на чередовании определенных букв в определенных строках страницы 51 условленной книги. Шифр, таким образом, как мы видим, менялся каждый день, и, если бы даже кому-нибудь стал известен его основной принцип, это все равно не помогло бы: нужно еще знать, какая книга служит ключом.

В конце января Зебольд, уже наполовину за-

кончив учебу, мог сообщить американскому консульству в Кельне несколько больше сведений, чем вначале. Однако он все еще не был знаком ни с кем из обитателей пансиона или других слушателей «академией».

В конце января Зебольду сказали, что его подготовка закончена. Он поехал в Берлин к Гаснеру. Там ему вручили четыре микрофильма и билет на американский рейсовый пароход «Вашингтон», отплывавший 30 января. Что было на микрофильмах, Зебольд не знал. Став доверенным лицом шпионской организации, он даже накануне отъезда еще не знал подробностей своего задания. Немногим больше узнал он и после того, как Гаснер сказал:

— Все микрофильмы одинаковы. Вы передайте их четырем различным лицам.

Имена этих лиц и их адреса Зебольд должен был выучить наизусть. Первым из них был некто Фредерик Дюкэн. Это имя прозвучало для Зебольда как набат: Фриц Дюкэн, по национальности бур, был германским шпионом в первой мировой войне. Он прославился как хитрый и изобретательный негодяй. Зебольд знал, что этот прожженный авантюрист не упустит случая навредить Америке.

— Дюкэн работает на нас в Нью-Йорке, — сказали Зебольду. — От него вы будете получать указания. Вот адрес его конторы на Уолл-стрит.

Второе имя было незнакомо Зебольду — какая-то Аили Штейн, занимавшая квартиру в бельэтаже жилого дома на 54-й улице.

— Мисс Штейн — натурщица. У нее есть весьма важные связи с видными людьми на заводах Детройта.

Третья явка была к Герману Лангу, американскому гражданину немецкой национальности, проживавшему в Гендейле, Лонг-Айленд. Ланг работал мастером на заводе авиаприцелов «Норден», одном из важнейших секторных предприятий американской военной промышленности.

Четвертая явка была к Эверетту Редеру, инженеру-проектировщику бруклинской компании «Сперри жирокоп», производившей детали артиллерийских прицелов.

Известно о своем отъезде знакомого атташе из консульства, Зебольд отплыл в Нью-Йорк. 8 февраля 1940 года пароход прибыл к месту назначения и остановился в карантине. Агенты ФБР в числе прочих чиновников поднялись на борт, один из них назвал Зебольду пароль и получил в обмен микрофильмы.

— Из порта поезжайте прямо в Иорквилль,¹ — шепнул агент Зебольду, — и там ждите. К ночи мы свяжемся с вами.

ФБР действовало очень осторожно, там опасались, что Дюкэн может оказаться у мола, чтобы проследить, куда поедет Зебольд, и выяснить, нет ли за ним слежки.

Один из лучших сотрудников ФБР занялся микрофильмами. Они были увеличены и переведены на английский язык. Вот их содержание:

«1. Узнайте о новом методе бомбометания,

который Компания телефонного и телеграфного оборудования как будто предложила английскому и французскому правительствам. Изобретение, повидимому, заключается в том, что самолет управляет на расстоянии с помощью двух лучей различной длины, один из которых вступает в действие непосредственно над целью. Постарайтесь узнать подробности конструкции и выясните, как она прошла испытания и велись ли переговоры о покупке изобретения французами и англичанами.

2. Есть сведения о существовании в Монреале филиала французских авиазаводов Потэ. Установите его точное местонахождение, тип выпускаемых самолетов (истребители?), недельную производительность, численность персонала.

3. Узнайте все что возможно о специалисте по военной химии, профессоре (следует фамилия). Есть сведения, что он разработал новое средство от горчичного газа. Этим средством пропитывают обмундирование солдат. Каков химический состав средства? Находится оно еще на испытании в армии или химическая промышленность уже получила заказ на массовое изготовление? Если да, то каким фирмам даны заказы и на какие количества?

4. Дайте самые свежие сведения о последних усовершенствованиях в зенитной артиллерии. Вес орудий, калибр, вес снаряда, вес гильзы, начальная скорость, потолок, дальность, вертикальная и горизонтальная, скорострельность, управление огнем? Где производятся орудия и в каком количестве? Сроки поставки? Подробности о заводах-поставщиках: наименование, адреса, численность персонала, производительность.

5. Производят ли в США зенитный снаряд с так называемым «электрическим глазом»? Если да, то каковы результаты испытаний? Как обезвреживаются при падении невзорвавшиеся снаряды, чтобы они не нанесли вреда на земле? В скольких метрах или футах снаряд должен пролететь от самолета, чтобы «электрический глаз» дал взрыв?

6. Пришлите копию закона о шпионаже.

10. Что нового в области бактериологической войны с использованием авиации? Все подробности.

11. Что нового в области приспособлений для видимости в тумане.

В микрофильме содержался еще ряд подобных вопросов. В конце предлагалось при передаче сообщений пользоваться шифром.

Внимательное изучение вопросов не оставляло сомнения в том, что, хотя Берлин не имел сколько-нибудь полного представления о готовности США к войне, германские шпионы не без успеха действовали в некоторых штабах. Не оставалось сомнений — если они были — и в намерениях гитлеровцев по отношению к Союзным Штатам. Фриц Дюкэн и его сообщники, видимо, работали уже давно, так как некоторые вопросы микрофильма основывались на сведениях, считавшихся в Америке абсолютно засекреченными. Раздобыть их могли только очень ловкие шпионы.

¹ Район Нью-Йорка, где проживает много немцев.

Криминалисты, менее уверенных в себе, чем Бюро расследования, могла бы несколько смущать перспектива борьбы с таким перво-классным противником, как Фриц Дюкэн, считавшимся в полицейских кругах одним из самых ловких и опасных преступников. В течение тридцати лет Дюкэн со злобным удовольствием водил за нос полицию, контрразведку и следственные органы четырех континентов. Уроженец богатой бурской семьи, он часто твердил, что во время англо-бурской войны англичане замучили его мать и сестру, поэтому, якобы, он ненавидит англичан и мстит им. Правда это или нет — неизвестно. Во всяком случае, немецким шпионом в Англии Дюкэн был еще в первую мировую войну. Он был высок и очень хорош собой. С юных лет Дюкэн был ловеласом. Когда-то он очаровал девушку знатного английского рода и, несмотря на свою ненависть к англичанам, женился на ней, ибо был тщеславный сноб, и аристократическое происхождение жены ему льстило.

Когда позднее Дюкэн был разоблачен как немецкий шпион, жена с ним развелась. С тех пор у него было множество любовниц и незаконных жен во всех концах света.

Следуя инструкциям гестапо, Вильям Зебольд навестил Дюкэна в его конторе на Уолл-стрит. Дюкэн в различные времена выдавал себя за корреспондента газет, сотрудника журналов, лектора, натуралиста, научного работника. Сейчас он фигурировал в качестве дельца, и мало-вразумительная табличка «Воздушно-транспортная ассоциация» украшала дверь его конторы в одном из небоскребов Уолл-стрита.

Зебольд постучал.

— Не заперто, — послышался изнутри густой голос. — Войдите!

И Зебольд увидел человека, с которым ему в ближайшие месяцы предстояло померяться силами.

— Я — Гарри Сойер, — сказал Зебольд. Это было имя, под которым он должен был работать для гестапо; оно служило паролем для Дюкэна.

Дюкэн молча оглядел вошедшего с головы до ног. Потом встал и прошептал на ухо Зебольду: — Разговаривать мы будем не здесь. Кто знает, может быть Федеральное бюро установило здесь где-нибудь потайной диктофон.

Они отправились в кафе, и Зебольд вручил Дюкэну микрофильм.

— Что там написано? — спросил Дюкэн.

— Не знаю, — ответил Зебольд.

Затем Дюкэн, отнюдь не отличавшийся чрезмерной скромностью, рассказал Зебольду кое-что о своей прошлой деятельности, чтобы тот знал, с какой крупной величиной он имеет дело. Особенно хвастал Дюкэн своей работой во время прошлой мировой войны. Он рассказывал, между прочим, о том, как он под видом ученого-ботаника отправился в Южную Америку «собирать редкие растения для Королевского ботанического сада в Амстердаме». В коробки с цветами и луковичками, адресованные в Амстердам, Дюкэн вкладывал самозагорающиеся приборы замедленного действия и отправлял их с пароходами, отплывавшими в Европу с гру-

зом боеприпасов или продовольствия. В открытом море на судах возникали пожары и взрывы. На счету у Дюкэна было уже более двенадцати затонувших пароходов, когда ему пришлось быстро ретироваться из Бразилии, так как туда прибыли агенты британской разведки, узнавшие об «ученом-ботанике».

Для предстоящей войны между США и Германией у Дюкэна были еще более дерзкие замыслы. Он рассказал Зебольду, что готовит поджог французского теплохода «Нормандия», стоявшего тогда на реке Гудзон в Нью-Йорке. Кроме того, ему удалось собрать важные сведения о предприятиях «Генеральной компании электричества» в Нью-Йорке и заводах Дюпона в Делавере. Дюкэн собирался организовать там диверсионные акты.

Но это было не все. В разговоре с Зебольдом Дюкэн с апломбом приводил данные выпуска продукции на заводах авиастроения и вооружения от Пенсильвании до Калифорнии и от Массачусетса до Флориды. ФБР установило, что данные Дюкэна отличались поразительной точностью.

Следующим шагом Зебольда была доставка микрофильмов остальным адресатам: псевдонатурщице Лили Штейн, заводскому мастеру Лангу и инженеру Редеру.

Лили Штейн оказалась элегантной женщиной лет тридцати, которую можно было бы назвать хорошенькой, если бы ее не портила неприятная усмешка, не сходявшая с губ. Когда Зебольд пришел к ней и представился как Гарри Сойер, она первым делом предложила ему выпить.

— Мы тут делаем большие дела, мистер Сойер, — сказала она. — Ни одна новинка на заводах Детройта не остается мне неизвестной. Надеюсь, вы скоро сможете послать недурные сведения о моей работе.

Мастер завода авиаприцелов Герман Ланг жил в Глендейле, излюбленном районе американцев среднего достатка. У Ланга были резкие черты лица, но в общем он ничем не отличался — по крайней мере внешне — от тысячи других рядовых обитателей Глендейла. Он принял Зебольда в комнате, очевидно служившей ему для секретной работы, отпер стол, вынул из него лупу и долго рассматривал микрофильм. За пятнадцать минут он не сказал своему гостю и десятка слов. Покончив с изучением микрофильма, он взглянул на Зебольда и произнес: «ол райт».

— Не хотите ли вы передать через меня что-нибудь? — спросил Зебольд, чувствующий себя не совсем уверенно.

— Я изведу вас позднее, — ответил Ланг тоном, показывавшим, что разговор — по крайней мере сейчас — исчерпан.

Инженер Эверетт Редер, живший тут же на Лонг-Айленд, принял Зебольда с ледяной холодностью. Это был черножолосый, усатый человек с массивной челюстью, в очках. Он взял из рук Зебольда конверт с микрофильмами и, стоя в дверях, ожидал, когда посетитель уйдет.

— Впереди интересные дни, — заметил Зебольд, пытаясь завязать разговор и узнать что-нибудь о Редере.

— Все дни интересные, — отрезал Редер. — Всего хорошего, герр Соьер.

Тем временем ФБР навело справки о Редере и Ланге. Оба были немцы американского подданства и считались, несмотря на их происхождение, лояльными американцами. Ланг, например, гуляя по Глендейлу, отпускал такие замечания: «Гитлер безобразничает в Польше», а Редер неоднократно выражал радость, что он американский гражданин, а не подданный Третьей империи.

Прошлое «натурщицы» Лили Штейн выяснить оказалось труднее. Известно было, что она позировала для рекламных фото одной чулочной фирмы. В Америку она попала еще ребенком и, как Редер и Ланг, была гражданкой Соединенных Штатов.

ТАЙНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

По указанию ФБР Зебольд закупил детали для монтажа коротковолновой радиостанции. Для установки передатчика ФБР выбрало коттедж в уединенном месте вблизи Сентерпорта на Лонг-Айленд. Два агента ФБР были назначены работать вместе с Зебольдом на станции: один был опытный радиолюбитель, хорошо тренированный в передаче и приеме по Морзе, другой долго жил в Германии и в совершенстве знал немецкий язык.

Подробности о коттедже можно будет опубликовать только после войны, а сейчас мы ограничимся указанием, что место было выбрано с таким расчетом, чтобы агенты ФБР легко попали в коттедж без риска быть замеченными Дюкэном или его сообщниками. Зебольд и ФБР хорошо помнили предупреждение Гаснера о том, что гестапо будет следить за Зебольдом и в Америке, и были уверены, что в данном случае Гаснер, вопреки обыкновению, говорил правду.

Борьба с Дюкэном и его шайкой была трудным и кропотливым делом, не говоря уже об опасности. Это было ясно с самого начала. Ненужная поспешность могла все испортить. Стоит Зебольду проявить излишнее любопытство или совершить какой-нибудь другой психологически ложный шаг, как Дюкэн быстро догадается, кто перед ним. А в результате ФБР потеряло бы ценнейшего контрразведчика и гестапо расправилось бы с матерью и братьями Зебольда.

Несколько недель прошло без крупных событий. Зебольд смонтировал радиостанцию и возил Дюкэна в Сентерпорт взглянуть на нее. Дюкэн был очень доволен, но ни словом не обмолвился о том, когда следует начать радиопередачи. Зебольду и ФБР было неясно и другое: когда Зебольду придется применить свое умение микрофотографировать, приобретенное в гамбургской «академии». Несомненно, где-то вне поля зрения Зебольда шла шпионская работа, но ФБР не удавалось напасть на след, а Зебольд и не пытался это сделать. Один осторожный шаг с его стороны мог погубить все. За Редером и Лангом была установлена слежка, но пока она не давала результатов: оба они на работе занимались своим прямым делом, по вечерам у них никто не бывал. Лили

Штейн была как будто столь же пассивна, как и Дюкэн.

Однажды вечером Дюкэн повел Зебольда в пивную «Литль казино» в Йорквилле и позначкомил его с несколькими судовыми кельнерами, пекарями и поварами компании «Северо-германский Ллойд», пароходы которой все еще курсировали между Нью-Йорком и Гамбургом. Эти люди, как пояснил Дюкэн, являются связными с Германией и «когда придет время» они будут доставлять микрофильмы Зебольда. ФБР взяло связанных под наблюдение. Картина начала проясняться.

Как-то в конце апреля Зебольд и Дюкэн сидели за пивом в «Литль казино». К ним подошел Вильгельм Зиглер, шеф-повар с парохода «Америка». Он привез указания от гестапо: Зебольд должен начать радиосвязь с Германией 15 мая в 7 часов вечера. В этот час ему следует ловить позывные, установленные для него гестапо. Вызывать будет гамбургская радиостанция AOR.

Как ни странно, Дюкэн не выразил желания присутствовать при первой передаче. ФБР заподозрило тут хитрость: возможно, Дюкэн нанесет неожиданный визит Зебольду. На всякий случай 15 мая к семи часам вечера вся местность около коттеджа кишела сыщиками. В коттедже Зебольд и двое агентов ФБР напряженно следили за часами. Без пяти семь. Без четырех. Без двух. Без одной...

Семь часов. Агент-радикст отстукал свои позывные и дождался ответа. Безмолвие. Агент отстукал еще раз и выждал снова. Тшкетно. Агент не прекращал работы до восьми часов, но в ответ было только безмолвие или глухие шумы.

На следующий день то же самое. В наушниках не слышалось даже потрескивания. Агент разобрал приемник и опять собрал его. Все было в полной исправности. Может, что-нибудь случилось в Гамбурге?

17 и 18 мая не дали никаких результатов.

18 мая принесло малоприятный сюрприз агентам ФБР. Квартира Дюкэна близ Центрального парка была под круглосуточным наблюдением, и Дюкэн, повидимому, был дома все вечера, когда тройка в коттедже старалась установить связь с Гамбургом. Агенты ФБР видели, как Дюкэн входил в дом задолго до семи часов и не выходил оттуда весь вечер. Однако 18 мая, когда они были в полной уверенности, что Дюкэн дома с четырех часов дня, он около десяти часов вечера неожиданно появился со стороны парка.

Как удалось ему ускользнуть от них? Нашел он какой-нибудь другой выход из дома? Может быть он каждый вечер бывал в Сентерпорте и заподозрил что-нибудь? Может быть он уже снесся с Гамбургом, и в этом причина молчания станции AOR?

Но к полуночи пришли хорошие вести, и беспокойство в нью-йоркском отделении ФБР улетало. Зебольду удалось связаться с Гамбургом. Первая радиограмма гестапо гласила:

Транслируйте дважды в неделю. Сообщите ваши дни — нам годятся любые. На всякий случай дублируйте передачи.

Нам подходят часы: 7, 13 и 17. Частоту берите вне любительского пояса AOR.

Агент-радиотел ответил:

Ваши сигналы очень слабы. Нельзя ли улучшить? Буду передавать по вторникам и четвергам в 13 и 17 часов. Принимать буду ежедневно, кроме вечера субботы и воскресенья.

Дюкэн был очень доволен, узнав, что радиосвязь налажена. Он повел Зебольда в парк поговорить, уверенный, что уж там-то под боком у них не будет диктофона контрразведки. Но он не знал, что, пока они беседовали, сидя на скамейке, агент ФБР с кино-аппаратом, снабженным телеобъективом, снимал их из укромного местечка. Таким образом, ФБР обрело для будущего формальное доказательство этого свидания.

На следующей неделе Дюкэн назначил Зебольду встречу на пристани, и они на пароходе отправились в Джерси Сити. Дюкэн сказал, что таким образом он убьет сразу двух зайцев: продиктует кое-что Зебольду для передачи в Гамбург и заодно посмотрит, что за суда стоят на Гудзоне.

В продиктованном Дюкэном сообщении говорилось:

Конструкторы «Ролл Ройса» разработали проект авиадвигателя, «всасывающегося» наподобие бутерброда в крыло самолета. Такая же конструкция создана фирмой «Лайкамонт». Чертежи я послал через Китай. Союзники добавочно заказали в США 10 тысяч пулеметов и мотоциклов с прицепами. Американская разведка получает информацию от Мирона Тейлора в Ватикане, ему поставляет ее какой-то паптер. Пароход «Чемплин» с грузом боеприпасов отплывает из США через день-два. Направляется в Шербур. Вооружен зенитками и глубинными бомбами. На Бермудах присоединится к каравану судов. На борту, возможно, будут члены французской закупочной комиссии.

Перед ФБР встала проблема: некоторые факты в радиোগрамме Дюкэна были верны, другие неточны или совсем неправильны. Передать достоверные сведения было безопасно, но как быть с достоверными? Вычеркнуть их? Это могло вызвать подозрения немцев. ФБР приняло компромиссное решение: некоторые правильные сведения были слегка искажены, другие переданы в точности, но немедленно приняты меры, чтобы реальные факты и планы перестали соответствовать этим сведениям.

В следующей радиোগрамме из Гамбурга говорилось:

Срочно необходимы данные о месячном выпуске продукции авиазаводов, работающих на экспорт, особенно на Англию и Францию. Количества, тип, вооружение, сроки доставки, способ — морем или по воздуху? Платеж наличными или в кредит? Привет.

Немного погодя Зебольд по поручению Дюкэна запросил Гамбург:

Джимми (кличка Дюкэна в радиোগрам-

мах) спрашивает, получили ли вы противогаз и сосуд с горчичным газом, посланные пароходами «Конт ди Савойя» и «Рекс».

Гамбург ответил:

Противогаз и сосуд еще не получены.

Становилось все яснее, что ФБР очень мало знает о деятельности Дюкэна и его шпионской сети. Дюкэн был опытный конспиратор; агентом ФБР не раз приходилось прекращать слежку за ним, чтобы не быть замеченными. По вопросам, поступающим из Гамбурга, можно было судить, что, когда Дюкэн был вне поля зрения агентов, он не терял время попусту. Эти вопросы явно относились к информации, которую Дюкэн посылал в Германию каким-то другим путем, помимо Зебольда.

Через месяц после установки радиосвязи с Гамбургом Дюкэн ускользнул от слежки и отправился в поездку по Западным Штатам. Вернулся он оттуда с ошеломительной информацией — данными о выпуске танков на заводе Крайслера и другими важнейшими цифрами. Он передал их Зебольду для микрофотографирования. В ФБР тщательно изменили цифры, и Зебольд запросил Гамбург:

Готовы микрофильмы о танках Крайслера, продукция сталелитейных заводов в Акроне и с другими просимыми вами сведениями. С кем переслать?

Ответ был:

Отправьте с Зиглером, прибывающим в Нью-Йорк на «Америке» через 24—36 часов. Соберите сведения об отправке военных материалов из всех атлантических портов США и Канады. Нашим подлодкам нужна эта информация. Привет.

В следующие месяцы Зебольд и ФБР продолжали игру с огнем. Гувер не решался нанести удар, опасаясь, что он будет преждевременным.

Как-то глубокой осенью, беседуя с Зебольдом в парке, самолюбивый Дюкэн упомянул о том, что Берлин создает в Нью-Йорке другую, независимую от него, Дюкэна, шпионскую сеть. Дюкэну это очень не нравилось. Берлин, сказал он, обещал сделать его видной фигурой в Нью-Йорке, а сейчас передает важную работу другим.

Кто возглавляет вторую сеть, Дюкэн не сказал — правда, неизвестно, знал ли он это — а Зебольд не решился спросить... И как ни старались агенты ФБР напасть на след, им это не удавалось, пока на помощь не пришел случай.

ЖЕЛТЫЙ ПОРТФЕЛЬ

— Ну, его дела плохи — сказал один полисмен другому пасмурным утром 18 марта 1941 года, нагнувшись над жертвой уличного движения на Таймс-сквере в Нью-Йорке. — Вызови-ка скорую помощь, а я попробую выяснить, кто он такой.

Пострадавший, хорошо одетый смутный брюнет, лежал без сознания. Он был сбит двумя автомобилями в сутолоке уличного движения.

В его карманах полисмен нашел пачку банкнотов на сумму около 1 500 долларов и ключ от номера гостиницы «Тафт», расположенной недалеко.

Два полицейских сыщика, заметив быстро собравшуюся толпу, протолкались к месту происшествия.

— Ого, видно это важная птица, — заметил один сыщик другому, увидев толстую пачку денег.

Оба внимательно оглядели собравшихся. Рядом с полицейским стоял шофер такси и нервно мял в руках кепи:

— Это вы его сбили? — спросил один из сыщиков.

Шофер кивнул.

— Я и вот тот парень, — он указал на другого шофера. — Этот человек, — шофер такси кивнул на пострадавшего, — совсем не глядел, куда идет. Сунулся прямо под мою машину, и передняя штанга двинула его вбок — прямо под ту машину.

Второй шофер подтвердил, что именно так было дело, и добавил, что несчастный случай был совершенно неизбежен.

— Это подстроили евреи, вот кто! Да, да, евреи! — раздался вдруг из толпы голос с сильным немецким акцентом. Один из сыщиков устремился в толпу, но кто-то из зевак сказал ему:

— Он уже улепетнул, этот тип. Крикнул и сразу дал тягу.

— Каков он собой? — спросил сыщик.

— Маленький, в сильных очках, желтый портфель в руках.

— Молодой, старый?

— Лет пятидесяти.

Сыщик повернулся к двум шоферам:

— Пострадавший шел один или с кем-нибудь, когда попал под машину?

Шофер такси почесал затылок.

— По-моему, с кем-то, — сказал он, — у него в руках был портфель, и, когда он упал, кто-то подскочил и взял портфель.

— Какого цвета был портфель?

— Желтый... да, желтый.

— А каков собой был тот, кто взял портфель?

— Я был расстроен и не очень-то смотрел. Но помню, что он был в очках с толстыми стеклами.

Второй шофер сообщил то же самое и не мог ничего добавить.

Оба сыщика сообразили, что за всем этим кроется нечто большее, чем просто несчастный случай. Видимо, в портфеле было что-то очень важное, если человек в очках счел нужным унести его, покинув своего пострадавшего спутника. Нелепое и злобное восклицание человека с портфелем, явного немца, навело сыщиков на мысль, что потерпевший и его товарищ были нацисты.

Карета скорой помощи из городской больницы св. Винченца подъехала к месту происшествия, и двое санитаров положили пострадавшего на носилки. Один из сыщиков сел рядом с шофером и отправился в больницу. Они решили, что спутник пострадавшего, антисемитски на-

строенный субъект в сильных очках, возможно, притаился где-нибудь вблизи места происшествия, чтобы заметить название больницы на кузове санитарной машины и справиться потом по телефону о состоянии здоровья своего товарища. В этом случае можно будет узнать по номеру телефона, откуда он позвонит.

Второй сыщик взял ключ от номера и отправился в отель «Тафт». Он положил ключ на конторку и спросил портье:

— Чей это? Владелец попал под машину.

Портье заглянул в книгу.

— Мистер Лопец, — ответил он, — Джулио Лопец из Буэнос-Айреса в Аргентине.

— Хорошо одетый смуглый брюнет, лет пятидесяти?

Портье утвердительно кивнул.

— Что вы знаете о нем? — спросил полицейский.

— Мало. Он был у нас тут вроде как бы невидимкой.

— Почему невидимкой?

— Потому что он жил больше месяца, а почти никуда не выходил. Гостей у него не бывало, по телефону он не звонил и ему не звонили.

— Еду ему подавали в номер?

— Да, почти всегда, кроме тех дней, когда он ходил в закусочную «Медные перила», здесь неподалеку.

— Скажите, — спросил сыщик, — почему вы все-таки заметили этого человека среди сотен других постояльцев в таком большом отеле?

— Из-за чаевых, — был ответ. — Он всегда заказывал самые дорогие блюда и платил за них наличными из толстой пачки денег, но никогда не давал на чай прислуге больше, чем одну мелкую монету. Этим он у нас и прославился.

— Понятно, — сказал сыщик, беря ключ с конторки. — Пойду взгляну на комнату, не возмущаете?

— Конечно, нет.

На первый взгляд комната Лопеца не сулила никаких интересных находок. Шикарные чемоданы с маркой Буэнос-Айреса не имели секретных отделений, в богатом гардеробе не нашлось ничего интересного. В комнате был замечательный порядок, почти ненатуральный: похоже, что ее обитатель умышленно старался не оставить здесь отпечатка своей индивидуальности.

Картина на стене обратила на себя внимание сыщика. Он оттянул ее нижний край, и на пол посыпалось несколько предметов. Здесь была бумага, скатанная в трубку и перехваченная резинкой. Развернув ее, сыщик увидел, что бумага совершенно чистая. Была дюжина коробочек популярного средства от головной боли. Таблетки эти продавались во всех аптеках, но только по рецептам врача. Кому нужен такой громадный запас таблеток от головной боли? — удивился сыщик. Третьим предметом была сложенная в несколько раз карта Соединенных Штатов. Развернув ее, сыщик свистнул: все атлантическое побережье от Бостона до Флориды было испещрено красными и синими пометками.

Захватив карту, бумагу и таблетки, сыщик

уже собирался уйти, когда вспомнил еще о чем-то, на что он вначале не обратил внимания: утюг, обычный утюг дорожного типа, лежавший в ящике письменного стола. Сыщик видел его и раньше, но сейчас ему пришло в голову, что ящик — странное место для утюга. Впрочем, Лопец, может быть, сам гладил себе платье, поскольку он был такой скряга? Чтобы выяснить это, сыщик позвонил дежурному по этажу и осведомился, часто ли мистер Лопец посылал свои костюмы в утюжку. Да, часто. Джентльмен из Аргентины был хорошим клиентом, он тщательно следил за своим гардеробом.

Итак, утюг служил для другой цели. Но какой? Зачем такому барину, как Лопец, утюг?

Тем временем в больнице св. Винцента, где боролся со смертью не приходивший в сознание Лопец, раздался телефонный звонок. Телефонистка, заранее предупрежденная сидевшим около нее вторым сыщиком, подала ему знак. Сыщик по другому аппарату запросил центральную, откуда звонят, а потом взял дополнительную трубку и стал слушать.

Мужской голос с легким испанским акцентом сказал, что, по его сведениям, его друг по имени Джулио Лопец сбит автомобилем на Таймс-сквере и отправлен в больницу св. Винцента. Говорящий хочет узнать о состоянии раненого.

В больнице имя пострадавшего не было известно, так как сыщик, который отправился в отель «Тафт», еще не звонил. Значит, — сообщал его коллега, слушавший разговор, — человек в очках, захвативший желтый портфель, действительно окачивался около места происшествия, заметил название больницы и сообщил его тому, кто сейчас звонит.

Телефонистка, помедлив, ответила:

— У нас нет пострадавшего по имени Лопец. Как выглядит ваш друг?

Человек с испанским акцентом подробно описал Лопеца. Телефонистка подтвердила, что действительно такой человек был доставлен сегодня в больницу.

— Не нашли ли вы у него каких-нибудь бумаг, по которым можно установить личность? — расследовал вопрос.

Девушка ответила отрицательно.

После двух минут разговора стало ясно, что испанец больше интересовался, не найдено ли у Лопеца каких-нибудь компрометирующих документов, чем состоянием больного.

В это время зазвучал другой телефон. Вторая телефонистка сняла трубку. Звонили с центральной станции: телефон, местонахождение которого просили выяснить, находится в испанском консульстве.

Через полчаса в полицейском управлении Нью-Йорка за тяжелой дверью с табличкой «комиссар» вокруг хозяина этого кабинета Люиса Вэлентайна, одного из проницательнейших умов нью-йоркской полиции, начавшего карьеру рядовым констеблем, собрались самые доверенные его сотрудники. На столе у Вэлентайна лежали предметы, найденные в комнате Лопеца, и подробный рапорт обоих сыщиков.

— Похоже на нацистский шпионаж, — сказал Вэлентайн, указывая на карту с пометками, — эта карта размечена кем-то, кто знает о дислокации войск на атлантическом побережье гораздо больше, чем ему положено знать.

— А что вы скажете насчет таблеток от головной боли и чистой бумаги? — спросил один из инспекторов.

— Можете быть уверены, ни у кого так часто не болит голова, чтобы ему требовалось столько таблеток, — ответил комиссар и добавил серьезно. — Эти таблетки — немецкое изобретение, хотя они широко распространены и у нас. Они прекрасно помогают от головной боли, я сам проверял их действие. Но Лопец явно пользовался ими для симпатического письма.

Во взглядах собеседников он прочел удивление и продолжал:

— Да, для того, чтобы получить симпатические чернила, надо всего лишь растворить таблетку в рюмке воды. Потом вы обмакиваете в раствор перо или зубочистку и пишете письмо. Оно высыхает, и на бумаге ничего не остается. Но стоит подогреть ее, как появляются коричневые буквы.

— Так вот зачем Лопецу нужен был утюг! — сказал один из инспекторов.

Вэлентайн кивнул.

— Разумеется. Он включал утюг, проглаживал бумагу, и текст выступал как на ладони. Чистая бумага была ему нужна для практики. Он, видимо, учил других пользоваться симпатическими чернилами.

То обстоятельство, что в истории с Лопецом было замешано испанское консульство, Вэлентайн считал весьма важным. Некоторые испанские атташе в Нью-Йорке и Вашингтоне давно находились под подозрением; предполагалось, что они действуют заодно с нацистами. Но дипломатический шпионаж — это особая область, и Вэлентайн не хотел вторгаться в нее. Он был сторонником строгого разделения труда: это дело Гувера и его ведомства.

Поэтому через несколько минут один из доверенных людей Вэлентайна уже входил в небоскреб на Фоли-сквере. В портфеле у него были таблетки, бумага и карта. В небоскребе же, среди прочих судебных органов, помещался контора нью-йоркского уполномоченного ФБР, А. Е. Фоксворта. Последний немедленно свесся по особой системе связи с Гувером в Вашингтоне и кратко изложил ему все происшествие. Тот велел узнать, с кем виделся в отеле Лопец, кроме того, сфотографировать Лопеца и снять отпечатки его пальцев. Особое внимание приказано было уделить закуской «Медия перила», где иногда завтракал Лопец. За владельцами закуской тотчас же было установлено наблюдение.

При повторном тщательном обыске комнаты Лопеца в «Тафте» агенты ФБР сделали еще одно открытие. Незадолго до приезда в Нью-Йорк Лопец побывал на Гавайских островах. И он привез оттуда — не забудем, что это было за восемь месяцев до Пирл Харбор! — точный и подробный план дислокации сухопутных и военно-морских сил и расположения оборо-

нительных сооружений гавайской военной зоны. Как ему удалось добыть этот план, представлявший собой строжайшую военную тайну, было неразрешимой загадкой для агентов ФБР. Но хуже всего то, что Лопец не только получил эти сведения, но и отправил их в Берлин, ибо то, что агенты ФБР нашли в его комнате, было только копией. Таким образом, если бы сразу, когда ФБР передала эту находку высшим военным властям, на Гавайях были бы произведены соответствующие изменения, поражения в Пирл Харбор можно было избежать. Но по непонятной халатности этого сделано не было.

Врачи больницы св. Винцента не надеялись, что к Лопцу вернется сознание. Ему оставалось жить каких-нибудь несколько часов. Агенты ФБР перенесли умирающего в отдельную палату, сфотографировали его и сняли отпечатки пальцев. Снимки были срочно проявлены и отправлены в Вашингтон.

На вторые сутки после происшествия Лопец умер. Проворный молодой человек, один из низших служащих испанского консульства, явился в больницу и потребовал выдачи тела, предъявив испанский паспорт покойного. Агент ФБР, под видом администратора больницы, принял его. Испанец объяснил, что сенyor Лопец являлся дипломатическим лицом, и потому консульство намерено взять его похороны на себя. На вопрос, есть ли у сенyора Лопеца семья, сотрудник консульства кратко ответил «нет». Откуда же консульство узнало так быстро, уже в самый день происшествия, что с Лопцем случилось несчастье? При этом вопросе, испанец нахмурился, однако объяснил, что Лопца ожидали в консульстве по важному делу, и когда он, славившийся своей точностью, в назначенный час не пришел, консульство, не добившись ничего в отеле, сразу забеспокоилось и начало справляться в больницах города.

— Покойный сенyор, — продолжал испанец, — никак не мог привыкнуть к городскому движению в Нью-Йорке. Вот почему, услышав о несчастном случае на Таймс-сквере, я сразу же заподозрил худшее.

Агент ФБР знал, что все это ложь: консульство узнало о несчастье с Лопцем от человека, унесшего портфель.

Когда испанец ушел, за ним незаметно последовал другой агент.

БЛОНДИНКА ИЗ МАСПЕТА

В номере отеля «Тафт», где жил Лопец, два полицейских сыщика коротали время за игрой в карты. Они дежурили на тот случай, если кто-нибудь из сообщников Лопеца, еще не предупрежденный о несчастном случае с ним, явится сюда. Это могло навести ФБР на новый след.

С этой целью полицейский комиссар Валентайн, продолжавший помогать ФБР в деле Лопеца, позаботился о том, чтобы в газеты не попали ни имя, ни приметы пострадавшего. В хронике происшествий появилось лаконич-

ное сообщение о неизвестном, получившем смертельные ранения на Таймс-сквере.

Комната Лопеца находилась около лифта. Каждый раз, когда сыщики слышали, как открывается дверь лифта, они прекращали игру и настораживались. Дежурство тянулось уже лютый час, и было похоже, что вся затея — безнадзорное дело, когда вдруг в дверь тихо-но постучали. Сыщики встревоженно переглянулись: человек, стоявший за дверьми, не вышел из лифта. Дверь лифта не открывалась уже несколько минут. Один из сыщиков быстро убрал карты, другой подошел к двери. Перед тем, как открыть ее, он еще раз быстро оглядел комнату. Все было в порядке: образцы текстильных товаров были разложены так, что сразу обращали на себя внимание. Никто не усумнится, что в номере поместились два приезжих коммивояжера.

Сыщик открыл дверь. На пороге стояла хорошенькая голубоглазая блондинка лет восемнадцати. Увидев незнакомое лицо, она удивленно подняла брови, потом перевела взгляд на номер двери и воскликнула, улыбаясь:

— О! Я вижу, что ошиблась дверью.

— А может и не ошиблись? — ухмыльнулся сыщик. — Вы не от фирмы «Объединенный текстиль»?

— Нет, — ответила девушка, глядя через плечо сыщика на его товарища, с деловым видом перебиравшего образцы товаров. — Нет, я ошиблась дверью. Это не тот этаж.

— Ол райт! — сказал сыщик, закрывая дверь.

Девушка пошла к лифту. В этот момент открылась дверь номера напротив, в коридор вышел третий сыщик и тоже подошел к лифту.

Когда он выходил, девушка бросила на него быстрый взгляд и, видимо не найдя ничего подозрительного, больше не обращала на него внимания. Он спустился вместе с ней в лифте и дал знак другому сыщику, поджидавшему в вестибюле. Слежка на улице была задачей последнего.

В Вашингтоне фото и отпечатки пальцев Лопеца не нашли себе тождественных в архивах ФБР. Гувер был того мнения, что Лопец — немец, а не испанец. Испанский паспорт, видимо, был подложным, и возможно, что Лопец даже красил волосы и кожу, чтобы быть похожим на испанца.

В закуской «Медные перила» двое кельнеров узнали Лопеца по фотографии, снятой в больнице св. Винцента. Этот посетитель, рассказали они, обычно занимал столик в гостиной зала, и с ним здесь встречались голубоглазая девушка лет восемнадцати, которой он что-то диктовал, и бледный мужчина средних лет в сильных очках. Испанец, прихорашивавший обычно с желтым портфелем, очевидно был главным, так как блондинка и человек в очках иногда ждали его больше часа.

В желтом портфеле хранилось, видно, нечто очень ценное: Лопец никогда не расставался с ним.

Кельнеры не имели никакого представления о профессии этих трех посетителей и никогда

не слышали, чтобы они говорили по-немецки. Однако они заметили, что человек с портфелем говорил с испанским акцентом, а его собеседники — с немецким.

Поздно вечером на столе у нью-йоркского уполномоченного ФБР уже лежала фотография блондинки, приходившей в комнату Лопеца. Ее снял на улице сыщик, разыграв роль одного из тех бродячих фотографов, которые снимают прохожих, а потом стараются навязать им заказ на моментальный снимок. Девушка ничего не заподозрила. Сыщики проследили ее до дома в Маспете, на Лэнг-Айленд. Здесь без труда удалось выяснить, что ее имя Люси Бемлер, и она дочь немцев, поселившихся в Америке пять лет назад. Насколько известно, родители ее не сочувствовали гитлеровскому режиму, и мать Люси даже говорила в лавке бакалейщика, что из-за Гитлера они покинули Германию. Однако сама Люси состояла в организации «Германо-американской молодежи», тесно связанной с «Германо-американским союзом», который, как известно, был прямой агентурой Берлина.

Сыщики узнали далее, что Люси недавно окончила курс в коммерческой школе и с месяц назад нашла себе работу якобы у крупного дельца в Нью-Йорке. Люси приходилось каждый день ездить в город. Но соседи заметили, что она быстро возвращалась и, видимо, большую часть работы делала дома.

Фотографию Люси показали кельнерам из «Медных перил». Да, это была та самая девушка, лифтеры в отеле «Тафт» тоже сразу узнали ее. Она ежедневно приходила в отель и всегда поднималась на один и тот же этаж — следующий за этажом Лопеца.

Теперь стало ясно, почему Люси постучала в дверь номера столь неожиданно для сыщиков-«коммивояжеров»: она не выходила на этом этаже из лифта, хитрый Лопец научил ее подниматься выше и потом спускаться к нему по лестнице. Таким образом, никто не знал, в какой номер она ходит.

На третий день расследования сыщики, наблюдавшие за испанцем из консульства, проследили его до здания на улице Бэттери-плейс, 17, известного под названием «Уайтхолл». Здесь помещалось много контор и фирм, но сыщикам не понадобилось даже входить за испанцем в дом — все было ясно: здесь находилось германское консульство.

На следующий день после выяснения личности Люси Бемлер агенты выследили ее до шведского кафе-терия на 57-й Западной улице. Люси подошла к круглому прилавку, выбрала себе закуску и уселась за столик в дальнем углу. Агенты заняли соседний столик.

Через несколько минут один из них, взглянув в сторону круглого прилавка, прошептал другому: «Видишь?». У прилавка, накладывая себе большой кусок с блюда, стоял бледный мужчина средних лет в сильных очках. Подмышкой у него был желтый портфель.

— Похоже, что он-то нам и нужен, — ответил другой агент. — Это тот самый портфель, что был у Лопеца.

Человек с портфелем бросил быстрый взгляд

в сторону столика, где сидела Люси, словно ожидая увидеть ее там. Она тоже, видимо, ждала его взгляда. Но оба не показывали вида, что они знакомы. Потом человек с портфелем как будто случайно сел за столик Люси. Люси перестала есть и вынула блокнот стенографистки. Мужчина начал почти беззвучно диктовать.

Минут через пятнадцать, убедившись, что здесь больше ничего не узнаешь, агенты ФБР вышли из кафе-терия и заняли наблюдательный пост на улице. Напротив. Через полчаса Люси вышла одна и направилась к Бродвею, а за нею пошел агент. Пятью минутами позже вышел человек с портфелем и сел в такси. Второй сыщик пытался последовать за ним, но вблизи не оказалось другого такси, а когда сыщик нашел его, неизвестный уже исчез из виду. Это была первая неудача, но преследователи не слишком огорчались, так как было ясно, что Люси Бемлер и человек в очках встретятся опять.

Сыщик, следовавший за Люси, видел как она подошла к газетному киоску на Таймсквере, где продавались провинциальные газеты. Люси купила несколько таких газет. Другой сыщик к этому времени уже стоял за ее спиной, делая вид, что тоже хочет купить газету. Он заметил, что Люси купила бостонские, бринджортские, филаделфийские, балтиморские, вашигтонские и чарльстонские газеты, то-есть все газеты городов атлантического побережья. Сыщик вспомнил о карте Лопеца с разноцветными пометками на той же зоне.

Затем красивая немочка отправилась домой в Маспет и вышла только на следующее утро. Газет с ней уже не было, не было и портфеля или сумки, в которых она могла бы нести их. Наблюдавшие за домом агенты заключили из этого, что газеты использованы. Агенты позаботились о том, чтобы получить содержимое мусорного ящика, стоявшего вблизи дома Бемлеров, куда, возможно, будут выброшены газеты.

Люси отправилась в метро к тому же киоску на Таймс-сквер и купила ряд технических журналов. Она делала это совершенно не таясь, уверенная, что никто не усмотрит в ее действиях ничего необычного.

Тем временем мать Люси выбросила вчерашние газеты в ящик, а агенты ФБР тотчас же извлекали их. В конторе нью-йоркского уполномоченного ФБР газеты были внимательно просмотрены, и оказалось, что из них всех сделаны вырезки. Заказав те же номера газет, сотрудники ФБР убедились, что Люси вырезала заметки о работе на военных заводах и местную хроника о приезде на побывку солдат из отдаленных лагерей. В технических журналах была вырезана важная информация о промышленной продукции, перевозках сырья морем и по суше и другие данные, которые, собственно говоря, совсем не должны были попадать в печать. Все эти вырезки, несомненно, были ценны для любого толкового шпиона, способного в них разобраться.

Гувер сидел у себя и размышлял: если смерть лжеиспанца Лопеца настолько взволно-

вала немецких дипломатов в Вашингтоне, что они засыпали Берлин шифрованными телеграммами, то очень вероятно, что они попытаются послать туда и более подробное сообщение. Сделать это они могут трансатлантической почтой, так как дипломатические курьеры посольства ездят редко, и отправка почты через них сопряжена с риском из-за английской блокады. Поэтому Гувер предполагал, что немцы скорее прибегнут к подставному адресу в нейтральной европейской стране, вроде Испании или Португалии.

Придя к такому выводу, Гувер снесся с английской цензурой на Бермудах, где останавливались все трансатлантические клиперы, и предупредил, что следует уделять особое внимание письмам в Испанию и Португалию, отправленным из Нью-Йорка после 18 числа.

Лаборатория английской цензуры в Гамальтоне на Бермудах — лучшая в мире. Техническую часть цензуры возглавляет д-р Чарльз Дент, человек, искушенный во всех тонкостях тайнописи.

Получив предупреждение, д-р Дент вызвал одну из своих ассистенток.

— Мисс Гарднер, мне сообщают из Вашингтона, что нацисты пользуются сейчас чернилами из таблеток от головной боли, — сказал он. — Детские игрушки, а? Вызвал я вас вот зачем: проверьте под горячим утюгом все письма с нью-йоркским штемпелем, отправленные после 18 марта и адресованные в Мадрид и Лиссабон. Доложите мне сразу же, как обнаружите что-нибудь.

На столе у мисс Гарднер как раз лежала груда писем нью-йоркского клипера.

Через двадцать четыре часа нью-йоркский уполномоченный ФБР Фоксворт говорил собравшимся вокруг него сотрудникам:

— Только что получено сообщение от шефа о том, что вчера английская цензура на Бермудах обнаружила письмо, написанное раствором таблеток от головной боли. Такой текст был вписан между строк вполне заурядного письма. А текст прямо потрясающий!

Фоксворт не преувеличивал. Достаточно сказать, что в письме упоминалось о «безвременной кончине Ульриха фон дер Остена от злодейской руки евреев» и говорилось, что сведения о Пирл Харборе фон дер Остен (т.-е. Лопец), слава богу, заблаговременно успел переправить по назначению. Покойный с полным основанием гордился тем, что добыл эти сведения, «которые, без сомнения, будут исключительно ценны для наших желтолицых братьев». Письмо кончалось утверждением, что «все идет по плану, и г-рр Гиммлер, возможно, будет доволен, узнав, что я принял руководство и продолжаю все то, что делал Ульрих фон дер Остен».

— Несомненно, — сказал Фоксворт, — это письмо писал человек с желтым портфелем. Джентамены, мы должны добраться до него во что бы то ни стало! Письмо подписано «Джо Кесслер». Обратный адрес, конечно, ложный. Письмо было адресовано некоему Фриско в Лиссабон, явно подставному лицу.

ФБР предполагало, что рано или поздно этот «Кесслер» будет замечен в одном из мест, на-

ходившихся под постоянным наблюдением. Так и случилось: через несколько дней агенты, дежурившие у испанского консульства, увидели, как туда вошел маленький остроносый человек, похожий на хорька. Подмышкой у него был желтый портфель. Это был тот самый неизвестный, который ускользнул от агента после своей встречи с Люси в шведском кафетерии.

Из испанского консульства «Кесслер» направился в германское, где он, видимо, был желанным гостем, так как провел там более часа. Оттуда он вернулся домой, в меблированные комнаты в Бруклине. Следившие за ним агенты быстро выяснили, что его настоящее имя Курт Людвиг, и он старый активист «Германо-американского союза».

На следующий день Людвиг поехал в Манхэттен к Люси Бемлер. Желтый портфель был по обыкновению при нем. Агенты наблюдали за ним и Люси в окно, через мощные полевые бинокли. Людвиг сидел за столом в столовой, разложив перед собой бумаги. Люси тоже, видимо, разбирала бумаги, а временами он ей диктовал.

Назавтра Людвиг опять ненадолго заехал к Люси и оттуда отправился в центр города, в меблированных комнатах на Айшем-стрит посетил одного из жильцов, д-ра Пауля Борхарда, личность загадочную для квартирохозяйки.

Справочная машина ФБР опять была пущена на полный ход, и пока Людвиг беседовал с Борхардом, уже были получены из перекрестной картотеки интересные данные о Борхарде.

В прошлую войну Борхард был офицером германской армии. В Америке этот лысый сорокапятилетний человек появился недавно и сделал попытку поступить... не более и не менее, как в военную разведку США! В своем заявлении он писал, что до последнего времени был в довольно близких отношениях с Гитлером, однако навлек на себя его гнев и был заключен в концентрационный лагерь, откуда бежал. В разведку он просился, якобы, потому, что, зная многие тайны третьей империи, мог быть полезен США.

Борхарду, разумеется, было отказано, но военные органы заинтересовались его прошлым и выяснили через свою европейскую агентуру, что Борхард действительно был в концентрационном лагере и бежал оттуда. Однако возникло подозрение, что все это инсценировано, чтобы помочь Борхарду втереться в доверие к американцам.

Доктор Борхард, или профессор, как его иногда называли, ввиду того, что он когда-то преподавал в германских военных академиях, после неудачной попытки служить в разведке скрылся из виду. Теперь снова нашелся его след. Участие Борхарда в шпионской группе означало, что работники ФБР должны напрячь все свои способности и энергию, ибо под лысым черепом Борхарда заключался один из самых острых аналитических умов Германии. Не задумываясь, он мог анализировать и объяснить любой обособленный факт и, наоборот, воссоздать целостную картину из разрозненных, казалось бы, не связанных между собой данных.

Такова была характеристика Борхарда в досье ФБР.

Ясно было, что именно Борхард мог использовать как сырье все те вырезки и статьи из журналов, которые приносил Луси. Он и Людвиг, очевидно, были ведущими фигурами второй шпионской сети гестапо, и ФБР предполагало, что эта сеть весьма широка. Чтобы раскрыть ее целиком, потребуется, как и с группой Дюкэна, долгая, кропотливая и опасная работа.

Слежка выявила, что Людвиг всегда отправлял свои письма с главного почтамта. Он, видимо, хорошо знал расписание клиперов и всегда привозил свою корреспонденцию с таким расчетом, чтобы она сразу попала на вылетающий в Европу самолет. Но агенты успевали выбирать его письма из общей массы, и английская цензура на Бермудах бралась за них сразу же по прибытии клипера.

ФБР не имеет права вскрывать почту лиц, за которыми ведет негласное наблюдение, и агентам было дано указание точно соблюдать это правило, даже если оно будет тормозить следствие.

На протяжении двух недель проверки писем Людвигу бермудская цензура обнаружила немало интересного. Кто бы ни были рядовые шпионы его группы, они безусловно умели добывать сведения. Подробности об отплытиях норвежских, французских, голландских и английских судов с военными грузами, цифры выпуска продукции авиазаводов — вплоть до последнего болта и заклепки — все было в письмах Людвигу. Военные предприятия Людвиг условно называл женскими именами: заводы Грумэна, выпускавшие истребители, назывались у него «ГРЭИС», компания авиационных моторов Брустера — «БЭССИ», компания «Сперри жироскоп» — «САРА».

ЗАОКЕАНСКАЯ РАЗВЕДКА

Агентурные сведения, поступавшие в Вашингтон из Европы, сходились на том, что Берлин расширял свои планы шпионажа и диверсий в США. Гиммлеру требовалось все больше молодых немцев, натурализовавшихся в Соединенных Штатах, хорошо знакомых с языком и обычаями этой страны.

Скрытая борьба с группой Дюкэна несколько стабилизировалась. Зебольд все еще успешно перехватывал часть информации, которую Дюкэн передавал по радио, но хитрому буру часто удавалось ускользнуть от агентов ФБР, добывать сведения, которые он, очевидно, переправлял в Германию другим путем.

Лили Штейн тем временем «завербовала» некоего Эдмунда Хайне, служившего раньше в компании Форд. Хайне ведал автосборочными заводами Форда в Германии и других странах и сохранял связи с руководящими людьми на автозаводах в Детройте, которые в то время как раз переключались на военные заказы. Благодаря своим связям и прошлой службе у Форда, Хайне до сих пор имел доступ на некоторые заводы Детройта: посещая эти заводы, он добывал сведения, очень полезные Гитлеру.

Эти сведения Лили Штейн передавала Зебольду для отсылки в Германию.

Мрачный Герман Ланг, мастер на заводе авиаприцелов «Норден», за это время съездил в отпуск в Германию. Там он рассказал гитлеровским инженерам все, что знал об авиаприцеле, но этого оказалось недостаточно, чтобы сконструировать прицел. Берлин теперь требовал подробных деталей. Гамбургская радиостанция упорно напоминала об этом, и у Зебольда был хороший предлог отправиться к Лангу и поговорить с ним напрямую.

В разговоре выяснилось, что все дело в деньгах. У Ланга были какие-то акции, которые упали в цене на три тысячи долларов, и он хотел, чтобы Берлин гарантировал ему возмещение убытка, если он продаст акции и опять поедет в Германию.

— Это можно устроить, — сказал Зебольд. — Но если вас компенсируют, разбудите ли вы образцы деталей прицела? Мы бы послали их в Берлин через Зиглера или еще кого-нибудь.

Ланг усмехнулся.

— Это пустяковое дело. Меня считают одним из самых надежных людей на заводе. Я мог бы унести директорский стол, и никто не спросит, куда.

— Здрово! — сказал Зебольд. — А, скажите, сколько деталей вы могли бы унести?

— Не все, — ответил Ланг, — но достаточное количество для того, чтобы в Берлине могли сконструировать весь прицел, особенно, если я сам буду там.

Агент ФБР, работавший вместе с Зебольдом на радиостанции, передал предложение Ланга в Гамбург. Через два дня пришел ответ:

«Обещайте Лангу что угодно. Главное, чтобы он и детали авиаприцела были здесь. Мы позаботимся о нем, когда закончим с прицелом».

Агенты ФБР усмехнулись, прочтя это. Они знали, как нацисты «заботятся» о тех, кто стал не нужен Гитлеру.

Зверетт Редер, инженер-проектировщик на заводе компании «Сперри жироскоп», был бескорыстнее Ланга. Это был убежденный нацист. Беда только в том, что теперь Редеру не удавалось орудовать так успешно, как раньше. Стоило ему наметить важный чертеж и обратиться его сфотографировать, как чертеж куда-то исчезал. Редер не знал, что агенты ФБР работали с ним бок о бок в качестве сотрудников конструкторского бюро и не спускали глаз со шпиона.

Однажды шеф-повар Зиглер и пекарь Штиглер с парохода «Америка» вызвали Зебольда на один из нью-йоркских вокзалов, предупредив его, что будет встреча по важному делу с каким-то третьим лицом. Этот третий оказался судебным лакеем по имени Рене Меценен. В уборной вокзала Меценен вытащил из носка микрофильм и подал его Зебольду.

— Эти сведения нужны срочно, — сказал он. — Передайте письмо Дюкэну как можно скорее.

В микрофильме, который уполномоченный ФБР Фоксворт прочел через несколько часов,

говорилось, что отныне Берлин интересуют главным образом не технико-производственные, а военные сведения. Далее следовал ряд конкретных запросов.

Фоксворт велел Зебольду передать Дюкэну точное содержание вопросов и заданий. Подобные запросы всегда передавались адресату в точности, чтобы проверить по его ответам, насколько он информирован.

Зебольд к этому времени переехал в помещение музыкальной студии на 42-й Восточной улице.

— Это будет отличная ширма, — сказал он Дюкэну, переселяясь туда.

Дюкэн согласился: он не знал, что стены студии были специально оборудованы микрофонами, и агент ФБР, сидевший за стеной, не упускал ни звука в комнате Зебольда. Едва ли понравился бы Дюкэну и объектив киноаппарата, тщательно скрытый в стене.

Прочтя текст, полученный на микрофильме, Дюкэн выругался.

— Экие идиоты! Ведь две недели назад я послал им именно эти сведения или большую их часть.

— Не через меня, — заметил Зебольд.

— Гарри! — наставительно произнес Дюкэн, всегда называвший Зебольда этим условным именем. — Знаешь поговорку: «Не клади все яйца в одну корзину».

— Ты хочешь сказать, что у тебя есть другой передатчик, о котором я не знаю?

— Да, в городе есть еще один передатчик на случай, если уловители запеленгуют твой. Но я не пользуюсь им. И связным я тоже не все доверяю.

— Ты говоришь загадками, Фриц.

— У меня есть подставные адреса в Южной Америке и в Китае. В Китае это китаец Ванг, владелец туристского бюро. Я посылаю ему материал авиапочтой, а он переправляет его в Германию через нейтральные страны. Очень поосто.

Замечание Дюкэна о втором радиопередатчике в Нью-Йорке очень заинтересовало Гувера. От ведомства связи ему было известно, что недавно разбегные уловители этого ведомства засекли передачу нелегальной радиостанции в Бронксе (район Нью-Йорка), выдавшей себя позывными. Однако радиостанция вскоре прекратила работу, раньше чем уловители успели приблизиться к ней. Теперь, когда Дюкэн упомянул о втором передатчике, Гувер приказал бригаде агентов обойти все нью-йоркские магазины радиопринадлежностей и выяснить, производились ли там покупки деталей коротковолнового передатчика. Результаты обнаружались быстрее, чем можно было ожидать: в магазине на Кортленд-стрит продавец помнил покупателя, закуповавшего коротковолновое оборудование: тот назвался Иозефом Клейном, проживающим в меблированных комнатах на 126-ой Восточной улице. Когда покупатель ушел, у продавца возникли кое-какие подозрения, но в хлопотах делового дня он вскоре забыл о них.

В меблированных комнатах на 126-ой улице агенты ФБР узнали, что Иозеф Клейн, моло-

дой человек неопределенной профессии занимает большую комнату вместе с двумя другими жителями — мистером Фредериком и мистером Хиллом. О Фредерике вскоре выяснили, что это бывший германский офицер Феликс Янке, а Хилл оказался Уилер-Хиллом. С момента прихода Гитлера к власти последний много раз ездил из США в Германию и обратно, а в последнее время исчез из виду. Занявшись этим юношей, агенты ФБР выяснили, что он учился на радиокурсах «Христианской ассоциации молодежи».

В конце апреля тайные письма Людвигу начали ставить ФБР в весьма затруднительное положение. Содержавшаяся в них информация о судоходстве становилась все более точной и исчерпывающей. Пропускать эти письма значило активно помогать немецким подводным хищникам, а задерживать их — значило бы заставить шпионов насторожиться. После серьезных размышлений следственные органы приняли средний курс и положились на волю providения.

Глава другой шпионской группы, Фриц Дюкэн, тоже сосредоточил свое внимание на судоходстве. Зайдя как-то к Зебольду, он сказал:

— Гарри, мы должны помогать подводным лодкам больше, чем помогали до сих пор.

— Что ты имеешь в виду, Фриц? — спросил Зебольд.

— Вчера мне звонил один приятель, который занят сложной на верфях в Бруклине. Там как раз спускают со стапелей какую-то новую посудину. Срам будет нам, если командование подводных лодок заблаговременно не получит о ней обстоятельных сведений.

— Как называется судно? — спросил Зебольд.

— «Робин Мур», — был ответ.

Зебольд внутренне содрогнулся. Он отдал бы десять лет жизни за то, чтобы можно было здесь же на месте задушить бура голыми руками.

Хотя война между США и странами оси началась только через семь месяцев после этого разговора, подводные шакалы Гитлера действовали уже в течение некоторого времени. Около Гавры и у берегов Западной Африки были торпедированы три грузовых парохода компании «Стандарт ойл». В австралийских водах немецкие подлодки потопили «Сити оф Рейвилл», принадлежавший американскому морскому ведомству. И вот сейчас Дюкэн покушается на «Робин Мура»!

Зебольд решил добиться того, чтобы сведения о дате отплытия «Робин Мура» были отправлены через его, Зебольда, радиостанцию.

— Выясни это дело, Фриц, и скажи мне, — сказал он, — я тотчас же передам по радио.

— Обязательно! — отозвался Дюкэн.

Не упускать из виду посетителей пивной «Литль казино», находившихся под наблюдением, было для агентов нелегкой задачей. Иногда они словно сквозь землю проваливались. Видимо, в пивной был какой-то другой выход.

Сам Дюкэн всегда исходил из предположе-

ния, что за ним следят, и учил тому же своих сообщников. Один из его излюбленных способов отрываться от агента состоял в следующем: на станции метро, где было немного народа, Дюкэн входил в поезд. Агент, разумеется, делал то же. В последний момент, когда поезд уже трогался, Дюкэн выскакивал на платформу. Он знал, что преследователь скорее останется в поезде и потеряет след, чем выскочит вслед за ним и тем выдаст себя.

Чтобы перехитрить Дюкэна, ФБР стало посылать двух-трех агентов. Один в таком случае входил в поезд и как ни в чем не бывало оставался там, а другие продолжали слежку. Но Фриц предвидел и эту уловку и не без успеха стал применять разные другие трюки. Зиглер и Штиглер были его наиболее способными учениками в этом деле. Поэтому Зебольд, часто бывавший в «Литл казино», старался не упускать их из виду, когда эта парочка после некоторого перерыва вновь стала там появляться. Однажды они пришли, явно распираемые востоями.

— Встреть меня и Франца завтра после полудня в парке, — сказал Зиглер Зебольду.

— А в чем дело? — поинтересовался Зебольд.

— Увидишь, — многозначительно ухмылялся повар. — Мы вас познакомим кое с кем, у кого есть свеженькие новости.

Назавтра Зиглер, Штиглер и Зебольд прогуливались в условленном месте, а агенты ФБР со съемочным кино-аппаратом незаметно увечивали эту прогулку с крытого грузовичка. Зебольд позаботился о том, чтобы оба его спутника и новый знакомый попали «в кадр».

Этим новым знакомым оказался мрачный дегтина по имени Гартвиг Клейс. Он тоже был связным. Сейчас он только что вернулся из длительной поездки по Южным штатам, в которой, оказывается, участвовали и Зиглер со Штиглером. Клейс извлек из кармана конверт и, по указанию Зиглера, передал его Зебольду.

— Герр Зебольд переснимет все на микрофильм, и тебе будет удобнее взять это с собой, — пояснил Зиглер.

Меньше чем через час Фоксворт уже читал перевод обширного отчета Клейса.

«Работа на юге закончена, — говорилось в нем. — Очень жаль, что у меня не было с собой потайного фотоаппарата...»

Далее шли сведения о доках, авианосцах, военной технике.

После соответствующих переделок текст был перенесен на микрофильм и возвращен Клейсу.

Становилось все очевиднее, что сейчас немецкий шпионаж поставлен куда лучше, чем в годы первой мировой войны. Тогда во главе шпионажа стояли видные люди вроде германского морского атташе капитана Бойда, дипломата фон Папена, пресловутой мадам Викторики и других. Сейчас германское посольство и консульство, разумеется, тоже занимались шпионажем, но практически исполнителями была мелкая сошка — обыватели, не возбуждавшие ни у кого подозрений.

Уилер-Хилл и Янке, двое молодых нацистов смонтировавшие второй коротковолновый передатчик в Нью-Йорке, переехали в другие меблированные комнаты на верхнем этаже дома в Бронксе. Агенты ФБР, наблюдавшие их переезд, заметили, что они перевозили и радиопередатчик, видимо, готовясь пустить его в ход по первому требованию Берлина. Их новое местожительство, в отличие от прежнего, было очень удобно для этой цели.

Похоже было, что они действуют вполне независимо от Дюкэна, с которым, повидимому, даже не поддерживают связи. Если это так, то ФБР могло считать, что оно выявило уже три обособленных шпионских группы: Дюкэна, Людвига и Уилер-Хилла.

Последний в целях маскировки работал шофером-развозчиком товаров Компании безалкогольных напитков. Агенты ФБР сразу заметили, какие удобства представляет эта работа для шпиона. Уилер-Хилл мог пользоваться своим грузовичком и после рабочего дня. Более невнимую на вид машину трудно было придумать: название фирмы было написано на ней крупными буквами, стенки и дверцы размазаны рекламными надписями. Поистине, никто не обратил бы особого внимания на этот грузовичок, увидев его близ важных оборонных предприятий.

Справедливость такого вывода подтвердили наблюдения. Агенты ФБР видели, как Уилер-Хилл и Янке влезли на грузовичок и поехали в Бруклин. Никем не остановленные, они проехали по набережной до самых погрузочных площадок, где были сложены грузы, отправляемые в Англию. Янке фонариком осветил на ящики, где черной краской были отчетливо обозначены наименование груза, завода-поставщика и место назначения. А рядом в лунном свете виднелся стоявший на якоре пароход, с которым весь этот груз должен был отправиться в Европу. Что еще требовалось Янке?

Нужна была дата отправления. Выяснить ее было нетрудно. Вблизи находилась кабак, где моряки, грузившие днем боеприпасы, вечером коротали время. Янке вошел туда и заказал пиво. Последовавший за ним агент ФБР убедился, что шпион позаботился о подходящем костюме: он был одет докером.

Спиртное развязывает языки — а это только и было нужно Янке. Он завел разговор с двумя матросами грузившегося парохода и в удобный момент как бы невзначай спросил:

— Скоро отваливаете?

— Во вторник вечером, — был ответ.

ИНЦИДЕНТ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

Тем временем Уилер-Хилл не менее успешно собирал сведения об отправлениях судов в другом важном пункте атлантического побережья. Правда, благодаря бдительности агентов ФБР, следивших за Янке и Уилер-Хиллом, были приняты меры к тому, чтобы сведения, собранные этими двумя шпионами, не принесли пользы германским подводным лодкам. Но сколько еще невыявленных Янке и Уилер-Хиллов орудовало в портах страны?

Вечером следующего дня Янке и Уилер-Хилл остановили свой грузовичок у книжной лавки на 85-й Восточной улице, в самом сердце «малого Берлина», как агенты ФБР называли Иорквилль. Молодой продавец бросил им быстрый многозначительный взгляд и поспешил к полке. Сняв с нее книгу в коричневой обертке, он передал ее Уилер-Хиллу. Агенты ФБР, наблюдавшие эту сцену в бинокли, заметили, что продавец и посетитель почти не разговаривали. Ясно было одно: Уилер-Хилл не спросил именно эту книгу и не платил за нее. Она была приготовлена для него заранее.

ФБР установило слежку за продавцом. Он жил недалеко от лавки. Уже на следующий день агенты незаметно сфотографировали его. Фотографию сравнили со снимками в альбомах ФБР. Вопреки ожиданиям, оказалось, что продавец — фамилия его была Шульц — до сих пор не имел размолвок с законом: он не значился в архивах ФБР. Даже при последней массовой негласной проверке обитателей Иорквилля Шульц ничем не обратил на себя внимания Федерального бюро. У него был такой безмятежно-глуповатый вид...

Вечером Шульц, за которым незаметно следовали агенты, отправился в Нью-Джерси. Там он вошел в дом на Пэлисейд-авеню. Эта улица относилась к территории нью-аркского отделения ФБР, поэтому нью-йоркские агенты осведомились у нью-аркских, что им известно об обитателе квартиры второго этажа в том доме, куда вошел Шульц.

Местные агенты знали кое-что. Там жил Карл Рейнер, механик авиазавода фирмы «Бендикс». Нью-аркское отделение ФБР не упускало его из виду. Не потому, чтобы за ним числилась какая-нибудь вина, а просто потому, что он работал на оборонном предприятии и был членом «Германо-американского союза».

Рейнер очень благоволил к одному молодому немцу, своему сослуживцу на заводе. Этот человек (назовем его Курт) был честным гражданином Соединенных Штатов. Сотрудники нью-аркского ФБР в свое время имели откровенный разговор с Куртом, и он пообещал сообщить ФБР, если Рейнер откроет карты.

События вдруг стали быстро развиваться. Едва успели нью-йоркские агенты ФБР выявить связь между Рейнером, Уилер-Хиллом и Янке, как в нью-аркское отделение ФБР явился Курт с сообщением, что Рейнер говорил с ним откровенно. Дело было во время перерыва, когда оба затракали на воздухе.

— Курт, — сказал Рейнер, — хочешь сослужить большую службу человечеству?

Курт осведомился, какую. Рейнер усмехнулся.

— Это нетрудно. Тебе известны важные производственные секреты, которые так берегут на заводе?

Курт утвердительно кивнул головой.

— Ну так вот: все, что надо сделать — это раздобыть мне секретные чертежи. Ведь ты работаешь как раз там, где они хранятся.

— Но как же я унесу чертежи? — возразил Курт. — Их хвтаются.

Рейнер опять засмеялся.

— Очень просто. Как-нибудь вечером ты сунь их в карман и принеси мне. Я сниму с них фотокопии, и через час они опять будут на месте.

— А для чего тебе нужны эти фотокопии?

— Они нужны Германии, Курт. Ты немец и должен пойти на все ради Германии и ее фюрера. Плавать нам на Америку!

Курт, должным образом структурированный в ФБР, спросил:

— А сколько я получу за это?

Рейнер нахмурился.

— Как можно думать о деньгах в такое время! Ты получишь нечто более ценное, — Рейнер сделал благоговейное лицо, — ты получишь портрет фюрера с его автографом!

Итак, Рейнеру хотелось получить секретные чертежи авиазавода «Бендикс». Что ж, ФБР снабдило его ими! Поддельные чертежи, которые сфотографировал Рейнер и через книжного продавца Шульца переслал Янке и Уилер-Хиллу, были так же похожи на секретный патент «Бендикса», как Рузвельт на Гитлера!

Вскоре выяснилось, что у Рейнера было нечто вроде отдельной шпионской группы — несколько членов «Германо-американского союза», работавших на предприятиях Нью-Джерси и Восточной Пенсильвании. Эти люди регулярно снабжали его сведениями.

Людвиг продолжал свои визиты к лысому аналитику Борхарду. В соседней комнате под видом художника поселился агент ФБР.

Борхард много читал и много писал на машинке. Сосед-«художник» неоднократно слышал стук машинки в три и в четыре часа утра. ФБР еще не имело образца шрифта этой машинки и потому не было уверено, на ней ли писались письма, перехваченные английской цензурой. Более вероятно, что Людвиг перепечатывал у себя материалы Борхарда и даже частично сокращал их. Гувер учитывал, что Берлин едва ли захочет подвергать хотя бы небольшому риску такого ценного человека, как Борхард.

Однажды утром Людвиг отправился к Борхарду, а Люси поехала в Нью-Йорк. Сперва она зашла в почтовое отделение на 42-й улице. Агент ФБР стоял у нее за спиной и делал вид, что сочиняет поздравительную телеграмму.

— Как вы думаете, — громогласно осведомлялся он у барышни в окошечке, — что бы мне такое написала юной мисс четырех лет от роду ко дню ее рождения?

Тем временем он подметил, что Люси взяла пачку телеграфных бланков и быстро, не раздумывая, начала писать карандашом. Агент все еще возился со своим поздравлением, когда Люси оторвала заполненный бланк и передала его в окошечко. Как только она ушла, агент поспешил сорвать следующий бланк с пачки. На нем ясно отпечатался текст телеграммы, написанный Люси жестким карандашом. Телеграмма была в Лиссабон на имя Фриско — подставной адрес нацистов:

«Доктор и Рене продолжают работу. Груз отправляется завтра. Джо».

Содержание не оставляло сомнений: Борхард обрабатывал информацию, которую ему

ставлял некто, известный Берлину под именем Рене. Подпись «Джо» означала Джо Каслер т.е. Людвиг. Но кто же был Рене?

Пока агент на почте читал телеграмму, несколько других агентов, сменяя друг друга, чтобы не быть замеченными, следовали за Люси.

Ее следующим пунктом была главная контора трансатлантической телеграфной компании «Вестерн Юнион». Там Люси спросила, нет ли каблограмм на условный адрес «Эджибоу». Получив отрицательный ответ, она казалась немного разочарованной. После ее ухода сотрудники ФБР навели справки об «Эджибоу» и узнали, что этот условный адрес зарегистрирован на имя мисс Люси Бемлер, проживающей в Маспете, Лонг-Айленд. Люси уже получила на него несколько каблограмм из Лиссабона и Мадрида. Гувер сразу же принял меры к тому, чтобы по ордеру суда получить из архива «Вестерн Юнион» служебные копии этих каблограмм.

Из «Вестерн Юнион» Люси отправилась на главный почтамт, откуда она и Людвиг обычно отправляли свои письма. Подойдя к ящику № 185, Люси вынула из сумочки ключ и открыла ящик. Агенты заметили, что там не было писем, только два журнала, заклеенные бандеролью так, что названия нельзя было разорвать. Побеседовав с заместителем директора почтамта, агенты ФБР узнали, что сегодня с утра экспедиция получала технические журналы только двух названий — один авиационный, другой о производстве стали.

Агенты выяснили фамилию подписчика. Это оказался Людвиг.

Там же на почтамте Люси купила на пять долларов марок для авиапочты. Похоже было, что она и Людвиг готовятся отправить объемистую авиакорреспонденцию.

Люси направилась к Борхарду. «Художник» в соседней комнате, прикинув ухом к стене, слышал, как она вошла. Видимо, Люси и Борхард виделись в первый раз, ибо профессор сказал:

— Ах, какая же вы хорошенькая!

— Знаете, профессор, по-моему, за мной следили на почте до того, как я пришла к вам.

— Почему вы так думаете? — озабоченно спросил Борхард.

— Не знаю, — ответила девушка. — Просто у меня такое чувство.

— Заметили кого-нибудь?

— Нет.

— Э-э, — сказал Борхард, — ну, конечно, вас кто-нибудь преследовал, дитя мое. Еще бы, такую красотку!

Каковы бы ни были намерения, с которыми профессор так щедро расточал ей комплименты, на Люси они мало действовали.

— Где мистер Людвиг? — спросила она. — Я рассчитывала застать его здесь.

— Он ушел уже.

— Я принесла вам кисточки из верблюжьего волоса. Мистер Людвиг говорил, что они вам нужны.

(Действительно, некоторые секретные письма, перехваченные на Бермудах, были написаны такими кисточками.)

Затем собеседники неожиданно перешли на немецкий язык. Агент ФБР не понимал его. Он разобрал только имя Рене, часто повторявшееся в разговоре.

Это же имя несколько раз встречалось в каблограммах, полученных за последнее время Люси. Копии каблограмм ФБР на следующий день получило из «Вестерн Юнион». Сами по себе каблограммы оказались бессодержательными, но было ясно, что таинственный Рене — мужчина это или женщина — важная спица в колеснице гитлеровского шпионажа. Кроме того, в каблограммах упоминались: Борхард — он именновался профессором, Элен (повидимому, уже известная ФБР обитательница Бруклина Элен Майер, у которой часто собирались подозрительные немцы) и два новых имени — Ганс и Карл.

В отделах подписки на технические журналы, получаемые абонентом почтового ящика № 185, выяснилось, что, хотя журналы высылались Людвигу, выписал их для него агент по распространению журналов Рене Фрелих.

Может быть это и был тот Рене?

Агенты ФБР без промедления отправились по адресу Фрелиха, но оказалось, что этот молодой гражданин США, которому как раз исполнился 21 год, недавно призван в армию и в феврале отбыл на сборный пункт лагеря «Кэмп Ултон» в Нью-Йорке. Из записей этого пункта явствовало, что новобранец Фрелих направлен в форт Бенинг в Джорджии.

Сотрудники местного отделения ФБР посетили форт Бенинг, чтобы увидеть Фрелиха.

За Фрелихом установили постоянную слежку. Агенты заметили, что он иногда отлучался из форта, чтобы отослать письмо. Но Фрелих, видимо, был хитрая bestия: уходя, он никогда не оставлял в своих вещах и на койке чего-нибудь, что могло бы выдать его.

Бруклинская домохозяйка Элен Майер устроила у себя очередную вечеринку. В сильные бинокли агенты наблюдали гостей, сидевших за выпивкой. Видимо, это была не только вечеринка. Люди собирались в уголках гостини, беседуя о чем-то явно серьезном. Людвиг и Люси тоже были здесь. Агенты ФБР, наблюдавшие за домом, были слишком немногочисленны, чтобы следовать за всеми гостями, когда вечеринка кончилась. Поэтому они решили выследить двоих молодых людей, все время державшихся вместе и казавшихся подозрительнее других.

Молодые люди жили недалеко друг от друга в центре города. Агенты узнали, кто они: того, что в очках, звали Ганс Пагель, другого — черномазого, толстогубого — Карл Мюллер.

Ганс и Карл — немецкие имена. И не забудем, что они фигурировали в каблограммах, полученных Люси Бемлер из Лиссабона. Молодые люди, видимо, ни где не работали.

Теперь ФБР знало уже столько шпионов, что нелегко было упомянуть всех. С каждым днем общая картина становилась яснее: Людвиг — собиратель информации, поступающих от Фрелиха, Элен Майер, Пагеля, Мюллера и

других. Эту информацию Людвиг передавал профессору, после чего он сам, Люси и Элен принимались за письма.

Пагель и Мюллер начали приобретать отчетливый шпионский характер: слежка установила, что они специализировались на «работе» в порту. Прогуливаясь среди портовых сооружений, вдоль молов и эстакад, они делали заметки. Охраны в порту в то время не было никакой, повсюду грудями высились военные грузы с отчетливой маркировкой. О секретности никто не заботился. Напрасно некоторые предусмотрительные деятели в Вашингтоне призывали к бдительности. Пагелю и Мюллеру никто не мешал собирать сведения, которые, как знало ФБР, были исключительно ценны для Борхарда. Но ФБР было связано по рукам и ногам: оно не могло немедленно пресечь портовой шпионаж, так как это спутнило бы остальную дичь. Однако и у ФБР был свой козырь — бермудская цензура, перехватывавшая письма шпионов.

В один прекрасный день Борхард, вопреки обыкновению, выбрался из дому. Он сел в такси и поехал к дому № 17 на Бэттери-плейс, в германское консульство.

Борхард вышел с большим конвертом в руках. Он вернулся домой, и в его комнате долго было тихо. Видимо, он изучал материал. Потом агент-«художник» услышал, как застучала машинка. Профессор писал в продолжение нескольких часов, потом снова отправился в консульство с тем же конвертом, но уже разбухшим. В консульстве он пробыл несколько минут — видимо, сдал конверт — и вернулся домой с пустыми руками.

В доме на Бэттери-плейс, 17 происходил разговор, о котором пока еще ничего не знало ФБР. Главный привратник Моррисси, пожилой ирландец, терпеть не мог немцев из консульства. Ему пришлось в голову, что он может насолить им, найдя важные сведения в старых бумагах, которые ему периодически приносили из консульства, чтобы сжечь в котельной. Не зная точно, как следует действовать, Моррисси решил посоветоваться со своим другом, отставным полицейским лейтенантом.

— Я уверен, что могу помочь «дяде Саму», — сказал он, — и знаешь как? В последнее время немцы из консульства попадались ко мне в котельную жечь бумаги. Они не уходят, пока я не бросаю всю связку в топку. Наверное это что-то очень важное, иначе они бы просто бросали бумаги в корзины, как делается во всех других конторах нашего здания.

— А как часто они приходят жечь бумаги? — поинтересовался отставной лейтенант.

Моррисси пожал плечами.

— Нерегулярно. Раз в неделю или около того. Они ждут, пока не накопится целая охапка.

— Когда это было в последний раз?

— Как раз вчера днем. Теперь, значит, произойдет через неделю, не раньше.

— Гм... — сказал приятель. — А скажи: ждут они, пока сгорит вся папка?

— Нет, — ухмыльнулся Моррисси, — и вот

тут-то я и могу провести их. Нужно только переклочить тягу в топке, и тогда огонь потухнет, а охапка обгорит лишь слегка.

— И ты можешь сделать так, чтобы они этого не узнали?

Моррисси кивнул.

— Разве тебе заранее известно, что они придут?

— Да. Они посылают за мной, чтобы я помог им снести охапку вниз.

— Отлично, — сказал приятель. — Может быть ты раздобудешь что-нибудь такое, что ФБР запрыгает от радости.

Моррисси снова ухмыльнулся.

— Я так переключу тягу, — повторил он, — что бумага будет все равно, что в баке с водой.

ИНЦИДЕНТ В БАРЕ

Однажды утром Людвиг вышел из дому с чемоданом, уселся в авто и поехал к дому Люси. Там он нетерпеливо дал несколько гудков, и Люси выбежала на улицу с саквояжем. Она бросила его на сиденье и, сияя, уселась рядом с Людвигом. Машина понеслась за город.

Агенты ФБР не были подготовлены к большому путешествию. У них была только одна машина. Один из них выскочил и отправился звонить по телефону. Двое других продолжали слежку. Но перед ними была нелегкая задача. Одной машины, конечно, недостаточно для слеживания в длительной поездке. С другой стороны, они не знали, куда едет Людвиг, и не могли предусмотреть, где им понадобится подкрепление. Когда Людвиг миновал Трентон, переехал реку Делавар и очутился в штате Пенсильвания, агенты пришли к выводу, что он направляется в Филадельфию. Тогда второй агент вышел из машины, оставив товарища одного, и позвонил в Нью-Йорк. Нью-Йорк снесся с Филадельфией, и три машины с агентами ФБР выехали к шоссе на окраине Филадельфии — встретить машины Людвиг и нью-йоркского агента, описания которых им были даны.

Маневр отлично удался. Нью-йоркский агент, преследовавший Людвиг, увидел позади себя машину и в переднее зеркальце заметил сигнал, говоривший ему, что все в порядке — вслед за этой машиной идут еще две. Тогда он свернул в сторону, остановился, а потом повернул обратно в Нью-Йорк. Филадельфийцы продолжали слежку.

Шпион и его секретарша, не останавливаясь, проехали Филадельфию и взяли курс на Мэриленд. Они не останавливались даже пообедать и ели бутерброды, взятые с собой. Остановку они сделали в Мэриленде, где заняли две смежные комнаты в гостинице, записавшись как Джозеф Кесслер из Сан-Франциско и его секретарь Лена Бем. Они погуляли около отеля, пообедали и пошли в кино.

Назавтра рано утром Людвиг, незаметно преследуемый на этот раз агентами из балтиморского отделения ФБР, снова пустился в путь. Около военного лагеря Мид он остановил машину и принялся фотографировать местность. Агенты ФБР остановились на приличной ди-

станции и наблюдали в мощные полевые бинокли. Они видели, как Люси вышла из машины и затеяла флирт с солдатом из лагеря. Побоявшись, что с ним немного, она вернулась в машину, и они поехали к правительственному полигону, где Людвиг тоже занимался фотографированием, а оттуда — к арсеналу. Там Людвигу, повидимому, удалось добыть кое-какую информацию от рабочих, расхаживавших с работы.

Остановив машину около бара близ лагеря, Людвиг и его спутница вошли в бар. Вскоре появился... — кто бы вы думали? — тот самый солдат, с которым Люси флиртвала утром. Все трое уселись пить пиво. В бар начали собираться солдаты. Вскоре Люси и ее патрон оказались в шумной компании. Людвиг угощал всех. Часам к десяти парни захмелели и стали очень словоохотливы. Агенты ФБР, сидевшие за одним столиком, слышали, как шпион задавал один вопрос за другим — кто откуда прибыл, как живется в других лагерях и т. д. Вопросы были осторожные, наводящие. Людвиг ничего не спрашивал в упор. Солдаты беззаботно отвечали. Глаза у Людвига блестели, он даже порозовел, так был доволен.

Минуты бежали. Часов около одиннадцати в бар вошло двое бравых ребят, настоящие солдаты «дяди Сама». Они заказали прохладительные напитки и сразу же обратили внимание на компанию за столом Людвиг.

— Теперь начнется потеха, — сказал один из агентов другому.

Новоприбывшие хмурились, слушая болтовню товарищей. Минут через двадцать они просто рассвирепели и не упускали ни слова из товких вопросов, которыми Людвиг засыпал собеседников, пивших его пиво. Наконец, оба трезвых солдата встали и подошли к столу.

— Слушайте, ребята, — сказал один, — идите-ка лучше в лагерь. Этот немец у вас не проста все выпрашивает.

Людвиг с невинным видом воззрился на говорившего.

— Это вы обо мне?

— Да, о тебе! Я вижу, что ты шпион. Ты подполз этих ребят и вытягиваешь из них военные секреты!

Солдаты за столом сразу протрезвились. Поднялся шум. К столу уже бежал хозяин бара; он не хотел скандала в своем заведении.

— Никакой драки в баре, ребята! — кричал он солдатам, которые вот-вот готовы были кинуться на Людвиг. — Не здесь, понятно?

Солдаты поняли.

— Ладно, — сказал один хриплым от гнева голосом. — Это будет не здесь. Мы выволочим эту бестию на улицу и отдадем так, что ни одного живого места не останется!

Людвиг струхнул. Люси была почти в обмороке. Кольцо солдат угрожающе сжималось вокруг Людвиг.

Агенты ФБР увидели, что им пора вмешаться. Они были недурные психологи и решили, что двое бдительных солдат — благонамеренные люди. Кивнув одному из них, они отозвали его в сторону и предъявили свои удостоверения.

— Если ваши ребята вздумают шпиона, это история нам всё дело. Можете быть уверены, что

мы возьмемся за него, как только выследим все, что нужно.

— Что же вы хотите от нас? — спросил солдат.

— Идите быстро к своему товарищу и объясните ему, в чем дело. Потом скажите остальным, чтобы они не затевали драки, потому что неподалеку ходит патруль военной полиции. Скажите им, что вы берете этого типа на себя.

— Что дальше?

— Выведите его и девушку на улицу и велите убираться во-своих. Скажите, что если они еще раз покажутся здесь, вы передадите их полиции.

Солдат пожал руку агенту ФБР.

— Есть, мистер. Будет сделано.

Агенты быстро расплатились и вышли. Глядя с улицы в бар, они видели, как солдат и его товарищ протолкались в середину круга, что-то оживленно объясняя и жестикулируя. Обозленные парни оглянулись на дверь, видимо, опасаясь, что вот-вот войдет патруль, и затем неохотно разбрелись по столикам. Двое оставшихся сурово обратились к Людвигу. Он расплатился и вместе с Люси, сопровождаемый двумя солдатами, вышел из бара под свист и мяуканье остальных.

Агенты ФБР поспешили в машину. Запустив мотор, они наблюдали, как Людвиг и Люси торопливо отбежали от бара, в дверях которого виднелись фигуры двух солдат. Машина ФБР последовала за ними.

ШПИОН И БЛОНДИНКА ПУТЕШЕСТВУЮТ

Рано утром Людвиг и Люси выехали дальше на юг. Скоро они уже были на территории штата Виргиния. Слежка становилась все труднее: агентов было трое, и у них была только одна машина. Они не хотели слишком приближаться, чтобы не быть замеченными, но нельзя было и отставать, чтобы не потерять их из виду.

Людвиг явно не замечал, что за ним следят, и гнал машину со скоростью 80 км в час. Это еще больше усложняло дело, так как автомобилист, едущий с такой скоростью, обычно всегда на чеку — не покажется ли полицейская машина. Но агенты не отставали от Людвиг, и он, видимо, не очень опасался полицейских, так как ни разу не применил общеизвестной уловки — замедлить ход и посмотреть, что делает преследователь.

Весь день Людвиг не сбавлял хода. Поздно вечером усталые и голодные агенты сидели, наконец, в гостинице и составляли рапорт Гуверу.

— Скажу без преувеличений, — заметил один, — мне еще в жизни не приходилось покрывать в один день такое расстояние. Разве только, когда я путешествовал в самолете.

В рапорте перечислялся ряд портов и верфей, у которых побывал Людвиг, всюду делая заметки и снимки.

На третье утро Людвиг и его сообщница уехали в Южную Каролину. Новая группа агентов преследовала их до форта Джэксон. Там шпионы задержались, фотографируя местность

и беседа с выходящими солдатами. Особенно долго Люси говорила с одним из них, и когда солдат ушел, она поспешно устремилась к автомобилю, вынула блокнот и с четверть часа писала.

— Делает заметки пока слышанное еще свежо в памяти, — заметил один из агентов.

Когда Люси кончила писать, Людвиг что-то продиктовал ей. Агентам с высокого места все было отлично видно в бинокли.

Затем шпионы продолжали путь. Лагери, военные заводы, места расположения войск оставались позади. Около военного завода близ Чарльстона один из агентов вышел из машины, чтобы выяснить, о чем Люси только что долго беседовала с каким-то рабочим.

Оказалось, что она задала много вопросов. Люси спела историю о том, что ее больному брату врачи предписали переменить климат. Поэтому они собираются переехать куда-нибудь на юг, например, в Южную Каролину. Как здесь обстоит дело с работой? Нельзя ли получить ее на этом заводе? Рабочий простодушно ответил, что в связи с выполнением правительственного заказа завод как раз набирает людей. Люси заинтересовалась — а на какую именно работу, и рабочий, тронутый ее приветливостью и дружелюбием, пустился в подробности, выкладывая факты и цифры, которые были находкой для Борхарда.

На пятое утро Людвиг и Люси приехали в Джорджию. Здесь находился форт Бенинг, где служил подозрительный Рене Фрелих. Подъехав к воротам форта, Людвиг вынул из кармана письмо и вручил его охране. Один из караульных ушел и вскоре вернулся. Людвиг и Люси впустили в форт. Агенты ФБР, подойдя, предъявили удостоверения и спросили, к кому прошли эти двое посетителей. Ответ, как и можно было ожидать, гласил: «к рядовому Фрелиху».

Люси и Людвиг провели с Фрелихом несколько часов. Новобранец водил их гулять по форту, и Людвиг, по обыкновению, фотографировал, а Люси делала стенографические заметки. От агентов ФБР, наблюдавших за Фрелихом и в форту, приезжие агенты узнали, что Фрелих подал рапорт с просьбой о переводе его в район Нью-Йорка. Он мотивировал это болезнью жившей там матери, которую он мог бы навещать в свободное время. И действительно, проверка установила, что его мать больна, но ФБР, конечно, не поддалось на эту уловку, оно знало, что Фрелих хочет быть близ Нью-Йорка потому, что для шпиона там гораздо больше возможностей, чем в отдаленном южном лагере.

По указанию военной разведки, работавшей в полном контакте с ФБР, Фрелиха вскоре перевели в район Нью-Йоркского порта, но поместили в таком глухом и изолированном месте на островке, что там можно было повеситься с тоски.

Людвиг и Люси посетили еще десятки мест оборонного значения. Всюду Людвиг делал снимки и заметки, и только в одном пункте —

около военно-морского аэродрома в Пенсакеле — его прогнали, едва он начал орудовать с фотоаппаратом.

В Нью-Йорке тем временем было тихо, как всегда в отсутствии «шефа» шпионов. Только Элен Майер совершила поступок, обративший на себя внимание агентов ФБР: она пошла в банк, купила на тысячу долларов германских туристских бон и перевела их на свой счет в немецком валютном банке в Берлине. Похоже было, что она или кто-нибудь из ее шайки готовился вскоре отправиться в Берлин.

Портовые шпионы Мюллер и Пагель потихоньку занимались своим делом: подпавляли матросов и собирали сведения о движении грузов. К этому времени ФБР уже нашло способы обезвредить этих опасных шпионов: на ящиках с военными грузами делалась фальшивая маркировка — специально для шпионов. Были и другие хитроумные способы направлять шпионов по ложному пути.

Людвиг и Люси изъездили вдоль и поперек штаты Алабама и Тенесси, не упустив ни одного пункта стратегического или военно-промышленного значения. Особенно Людвиг интересовался плотинами. Он сделал с них столько снимков, что хватало бы на целый альбом. И всюду одна и та же прискобная картина: никто не замечал его, никто не обращал внимания. Это было в начале лета 1941 года: Соединенные Штаты еще не начали воевать. Но Гувер делал выводы из многочисленных рапортов своих агентов и принимал меры к тому, чтобы покончить с беспечностью федеральных и местных властей. Ему приходилось немало ссориться с некоторыми кабинетными деятелями Вашингтона, не видевшими дальше своего носа и не желавшими слушать его предостережений.

Людвиг, Люси и Борхард продолжали напряженно работать. Зная об этом от агентов, ФБР и цензура держались на чеку. Вскоре было перехвачено три важных письма. Однако часть информации в них основывалась на данных, собранных Мюллером и Пагелем, а эти двое черпали сведения из фальшивой маркировки грузов.

До сих пор Берлин не выражал недовольства плохой информацией Дюкэна и его группы. По мнению Гувера, это было далеко не отраднейший факт: отсутствие «рекламаций» могло означать, что гестапо получало на ту же тему лучшую информацию из других источников, не известных ФБР.

С материалом Дюкэна, проходившим через Зебольда, ФБР поступало так. Часть пропускалась после задержки, обесценивавшей ее. Часть подвергалась умелой обработке, после которой становилась скорее вредной, чем полезной немцам. Часть задерживалась и посылалась в Вашингтон и Лондон. Тремя наиболее внимательными читателями писем Людвиг и Дюкэна были Рузвельт, Хелл и Черчилль.

Дюкэн установил дату отплытия «Робин Мура» и сообщил ее Зебольду. Зебольд передал в Гамбург указанную ему ФБР неверную дату и

фальшивые сведения о маршруте, и работники ФБР считали, что выиграли это соревнование в хитрости.

Но 21 мая 1941 года следовавший под американским флагом «Робин Мур» был атакован торпедами, обстрелян и потоплен в южной части Атлантического океана. Вашингтон решил, что это результат скорее бдительности германских подводных лодок, чем успеха немецкой разведки. Но Людвигу пришло письмо из Лиссабона, и цензоры на Бермудах обнаружили в нем такие строки:

«Спасибо за сведения о «Робин Муре». Мы покончили с ним 21 мая...»

ГЕСТАПО ГОТОВИТ КАДРЫ

Агентурные данные продолжали поступать из Германии в Вашингтон, и из них выяснились подробности об «академии» диверсантов в Берлине. Маньяк с Вильгельм-штрассе вынашивал широкие планы относительно Америки. Германские диверсии здесь должны были, как выяснила союзная разведка, осуществляться двумя типами людей: сугубо законспирированными диверсантами из числа подготавливаемых в «академии» и более или менее открытыми вредителями, которые в данном случае окажутся в роли «команды смертников». Берлин знал, что у ФБР на примете все потенциальные вредители. Но это не тревожило Гиммлера. Пока эти люди не начнут действовать, их не арестуют. А действовать они начнут лишь тогда, когда смогут одновременно и согласованно нанести удары, которые падут, «как молния в ночи». После этого их, конечно, арестуют, но это будет уже неважно для Берлина — работа сделана, а человеческие жизни для Гитлера — дешевый товар. Он отнесет их к издержкам производства.

Кроме того явные вредители будут приманкой, которая отвлечет внимание американских властей от подпольных кадровых диверсантов — выпускников «академии». Репатрирированные немцы, обучавшиеся сейчас в этой «академии», были слишком ценны для гестапо, чтобы пойти на их утрату. Гитлеру все эти люди были нужны для осуществления обширной и длительной — минимум на два года — программы диверсий.

В Вашингтоне знали, что Берлин готовит тщательную маскировку для выпускников «академии», которые будут заброшены в США на подводных лодках или спускается с самолетов, базирующихся на авианосце. У них будут подложные учетно-воинские карточки, страховые билеты и рекомендательные письма, характеризующие их работу в США за тот период, когда они в действительности были в Германии. В перехваченной почте были обнаружены образцы учетно-воинских карточек и страховых билетов, посылавшиеся в Берлин для этой цели. Найдены были также снимки стратегически важных железнодорожных узлов, где предстояло орудовать диверсантам, пунктов массового скопления публики, где надлежало создать панику (главные вокзалы, универмаги, театры), важнейших объектов оборонной техники и т. д.

Но если кое-что можно разведать в США, то кое-что можно разведать и в Берлине. Некоторые слушатели «академии» диверсантов сболтали лишнее, когда шнапс развлекал им языки. Дружба Соединенных Штатов узнала таким образом, что в «академии» сделаны сотни моделей будущих объектов диверсий. Эти модели строились инженерами и игрушечных дел мастерами по описаниям и фотографиям, прибывавшим от Дюкэна, Людвигу и других. Преподаватели «академии» — матерые волки шпионажа и диверсий — разъясняли слушателям, как обмануть бдительность охраны и использовать заряды с максимальной эффективностью.

Хайне, бывший представитель фирмы «Форд», использовавший теперь свои связи для шпионажа, развил усиленную деятельность. Выведав все, что мог, на авиазаводах в Детройте, выполняющих военные заказы, он приехал в Нью-Йорк и остановился в гостинице около Пенсильванского вокзала. Оттуда он отправился в «аэрофотостудию» Торреля — заведение, специализировавшееся на снимках самолетов и заслуженно пользовавшееся полным доверием властей — и, отрекомендовавшись представителем Форда, заказал большой альбом разных снимков, отнюдь не предназначенных для широкой публики, ибо на этих снимках можно было рассмотреть секретные детали бомбардировщиков и истребителей.

Когда Хайне вернулся в гостиницу, агенты ФБР посетили владельца студии, почтенного джентльмена, совершенно одуроченного медоточивым немцем с подложными полномочиями. Аннулировать заказ Хайне было уже нельзя, это возбудило бы в нем подозрения. Поэтому для Хайне изготовили специальные снимки и послали их ему. Агенты ФБР, поместившиеся в соседнем номере, слышали, как Хайне хвастался снимками двум «связным», которые должны были отвезти их в Европу.

— Везите их в таком виде, — сказал в заключение Хайне.

— Вы не хотите переснять их на микрофильмы? — спросил один из немцев.

Хайне покачал головой.

— Нет. Я не очень-то доверяю этому типу, Зебольду.

За все шестнадцать месяцев слежки за группой Дюкэна ФБР ни на минуту не забывало, что ничтожный промах со стороны Зебольда будет фатальным для его матери, братьев и сестры, являвшихся заложниками в Германии. Некоторые попытки вырвать семью Зебольда из-под власти гестапо были пока безуспешны. Отсюда ясно, какую тревогу вызвало замечание Хайне о недоверии Зебольду: от безупречной тактики последнего зависели не только четыре жизни, но и успех всего следствия.

На следующий день Дюкан зашел к Зебольду. Агент в соседней комнате, соединенной звукоуловительной проводкой со «студией» Зебольда, слышал, как Дюкан жаловался на ссоры со своей любовницей. Молодая женщина, видимо, обнаружила в Дюкэне возрождение прежней неумеренной склонности к прекрасному полу.

— Мы попадем в ужасную историю, Фриц, — заметил Зебольд, — если эта девушка со злости донесет на тебя в ФБР.

Глаза Дюкэна сузились, и он впал в глубокую задумчивость. Потом он взглянул на Зебольда и произнес зловещим тоном:

— Мы попадем в еще более ужасную историю, если доносчиком окажешься ты.

— Что за глупости ты говоришь, Фриц! — возразил Зебольд, надеясь, что он удачно скрыл тревогу и изобразил удивление.

— Я говорю именно то, что хотел сказать, — ответил Дюкэн. — Если я когда-нибудь узнаю, что ты обманщик, я убью тебя собственными руками.

— Но я не обманщик! — гневно запротестовал Зебольд, как его учили на такой случай в ФБР.

Дюкэн игнорировал это возражение и продолжал:

— Тогда в одной семье было бы сразу пять покойников. Ты, твоя мать, двое братьев и сестра.

Зебольд спросил, почему вдруг Дюкэну вздумалось усомниться в нем. Фриц помолчал, потом рассмеялся.

— Забудь все, что я сказал, Гарри. Лучше пойдем выпьем. Я просто разнервничался, вот и все. Подчас я готов подозревать самого себя.

— Почему же ты нервничаешь, Фриц? — спросил Зебольд с деланной заботливостью.

— Из-за сволочных контрразведчиков. Этот Гувер видит все насквозь. — Он кивнул головой на соседнюю комнату. — Почему я знаю, что его люди не сидят там?

Зебольд притворился встревоженным.

— А вдруг и в самом деле, Фриц? Знаешь что, пойдем проверим. Зайдем невзначай и посмотрим, что там делается.

Зебольд постарался помедлить, чтобы агенты по соседству успели спрятать свою аппаратуру. Потом он вместе с Дюкэном вышел и постучал к соседу. Агенты были уже готовы к их визиту, и Дюкэн увидел совершенно невинную сцену.

Вечером, сидя за выпивкой, Дюкэн сам подшучивал над своей нервностью. Но никогда нельзя быть уверенным, искренно он говорит или нет.

В дополнение к индикентам с Хайне и Дюкэном появилась еще один тревожный признак: станция Зебольда приняла радиogramму из Гамбурга:

«Рекомендуем величайшую осторожность. Есть сведения, что за некоторыми из вас следят».

Было понятно, что приближается время решительных действий.

У GESTAPO ВОЗНИКАЮТ ПОДОЗРЕНИЯ

Хайне, бывший служащий Форда, становился все более заметной фигурой. Увидев, как он в коридоре гостиницы опускал в почтовый ящик письмо, агент извлек его письмо, и оно оказалось адресованным Промышленному комитету

в Петерсоне (в Нью-Джерси). Когда письмо дошло по назначению, там уже ждал агент Федерального бюро расследования. Хайне, называя себя в письме представителем Форда, у которого он давно не служил, от имени «Компании Форд» сообщал, что они собираются открыть в Петерсоне сборочный завод, и просил дать сведения о рабочей силе: в особенности интересовался он вопросом о том, сколько квалифицированных рабочих занято на окрестных авиационных заводах и сколько еще понадобится в ближайшем будущем. Письмо было составлено ловко и, если бы не агент ФБР, немецкий шпион несомненно добыл бы нужные ему сведения. Хайне, как потом оказалось, успел разослать больше двадцати таких писем торговым палатам важных оборонных районов, и они, ничего не подозревая, дали ему обстоятельную информацию.

Затем Хайне съездил в Мэриленд на авиазавод Гленн Мартина, где служил родственник его жены. И раньше чем агенты контрразведки успели принять надлежащие меры, Хайне, снова выступив в роли представителя Форда, имел возможность обойти и внимательно осмотреть завод. Из Мэриленда он отправился в Вашингтон на свидание с одним бывшим офицером германской армии, который теперь служил... в авиации США!

Детройтский шпион носился как утөрелый с места на место, а следившие за ним агенты ФБР старались только не отставать от него — больше они ничего не могли сделать. Он, как и Дюкэн и многие другие, умел различными способами заматывать свои следы и ускользать от агентов. Однако он был у американцев, так сказать, под двойным контролем, ибо большая часть добытого им материала шла к Лили Штейн, а все, что получала Лили, она передавала Зебольду для съемки на микроплёнку.

Когда германская армия 21 июня 1941 года вторглась в Россию, Гамбургская радиостанция стала очень требовательна. Она, между прочим, наставляла, чтобы Герман Ланг, мастер на авиазаводе «Норден», действовал энергичнее и передавал немцам, как обещал, образцы авиаприцелов. Этот Ланг считался в Глендале честным человеком и твердил всем: «Что вы скажете, как гнусно, предательски Гитлер поступил с Россией! Он сумасшедший, этот Гитлер, честное слово!»

С тех пор, как гестапо посулило Лангу чуть ли не все, чего он пожелает, если только он вернется в Германию с образцами продукции завода «Норден», он из кожи лез, чтобы узнать один важный секрет американской военной промышленности. Но на заводе за ним следили уже несколько месяцев. Стоило ему нацелиться на какой-нибудь образец и наметить план захвата его в свои руки, как мимо с рассеянным видом проходил новый служащий и убирал интересовавшую Ланга деталь. Этот новый служащий, как вы легко догадаетесь, был один из нескольких агентов, отправленных на завод «Норден» со специальной целью наблюдать за Лангом и за всеми, с кем он будет общаться. Слежка за Лангом выявила один от-

важный факт: этот нацист был единственный предатель на всем заводе.

Гестапо, сносившееся со шпионами через Гамбургскую радиостанцию, становился весьма настойчивым и раздражительным. Даже самому Дюкэну делали выговоры. Благодаря предосторожностям, принятым ФБР, Фрицу уже не удавалось добывать информацию так легко, как в первое время. Тем не менее, он, чтобы доказать свое усердие, транспортировал в Германию непрерывный поток микропленок. Нацистов, однако, провести не так легко. В одном письме по радио из Гамбурга говорилось:

«Передайте Дюкэну, что нам не интересны те сведения, которые были напечатаны несколько недель тому назад в «Нью-Йорк Таймс» и «Геральд-Трибюн», а также те, что передавались из Вашингтона через «Ассошиэйтед Пресс» и другие телеграфные агентства».

Уилер-Хилл и Феликс Янке связались со станцией AOR в Гамбурге при помощи коротковолновой установки, которую они укрывали на шестом этаже жилого дома на Колдуэл-авеню. Перехватывавшим их сообщения сотрудникам ФБР еще не было известно, какую именно книгу выбрали для своего кода Уилер и Янке, поэтому они не могли расшифровать записи и понятия не имели, насколько важна передаваемая информация. Осторожности ради работники ведомства связи старались заглушать передачу, как только начинала работать установка на Колдуэл-авеню.

Эдгару Гуверу пришла на ум догадка, что книга, которую некоторое время тому назад нацист Шольц, приказчик в книжной лавке, снял с полки и дал Уилер-Хиллу и Янке, вероятно, и послужила ключом для их кода. Так как от Зебоolda он знал основные принципы нацистских кодов, то, чтобы расшифровывать сообщения шпионов, достаточно было установить, какая книга ими взята в качестве ключа.

Агенты ФБР узнали, что книжная лавка в Иорквилле ставит свой штамп на заглавном листе каждой книги, которую она продает или выдает под залог. Оставалось поискать в квартире на Колдуэл-авеню книгу с таким штампом. Но, по законам США, агенты контрразведки не имеют права без ордера на обыск приходить в частную квартиру, а предъявить такой ордер — значило бы открыть карты. И агенты ФБР попросили уборщицу поискать такую книгу в квартире нацистов. Она сообщила, что из нескольких найденных ею книг только одна имеет штамп и адрес на заглавном листе. Эта книга носила странное название: «На полдороге к ужасу».

Она и на самом деле оказалась той, которую искал Гувер, и благодаря ей только сейчас стали понятны ранее перехваченные сообщения шпионов по радио. Открылось многое, над чем в течение нескольких месяцев тщетно ломали голову в Бюро расследования. Оказалось, что очень много сведений, собранных Дюкэном и компанией, а также целой группой людей, работавших для Янке и Уилера, доставлялись из США в Германию в сумках дипломатических курьеров, отправляемых германским консульством из Сан-Франциско, где давно хозяй-

ничал пресловутый Фриц Видеман. Важная информация передавалась также по телефону в германское консульство в Нью-Йорк, а оттуда — нацистскому посольству в Вашингтоне, и здесь уже по кабелям или по радио — в Европу. Английская разведка давно перехватывала радиосообщения нацистов из США в Германию и обратно, но до тех пор не могла в них разобраться. Вероятно, германское посольство в Вашингтоне пользовалось для кода другой какой-нибудь книгой, а узнать, какой именно, было мало надежды.

Из расшифрованных переговоров по радио между станцией гестапо в Гамбурге и установкой на Колдуэл-авеню американская контрразведка узнала, что шпионы рассчитывают в самом ближайшем времени добыть сведения, касающиеся обороны США, и неизмеримо более важные, чем все собранные ими до тех пор.

Дюкэн и вся шайка Янке-Уилера успели прорыть подземные ходы столь глубокие, что имели своих людей на видных постах в Вашингтоне и буквально на каждом крупном военном заводе США. Годы губительной подпольной работы нацистов должны были теперь принести плоды, совершенно неожиданные для американцев. Мы не будем здесь подробно комментировать общее положение, создавшееся к концу июня 1941 года, но без преувеличения можно утверждать, что никогда еще во всей истории шпионажа ни одно государство не терпело такого ущерба, какой могла бы потерпеть Америка, если бы не были приняты срочные меры. В государственных учреждениях, в кругах всеми уважаемых американских граждан, из которых многие оказались тайно связанными с нацистской шпионской организацией, творились такие вещи, что если бы планам этих людей дали осуществиться, Квислинг оказался бы по сравнению с ними просто невинным маадецем.

Всего в компании Дюкэна и Янке-Уилера насчитывалось тридцать три человека. Зебоold разоблачил самого Дюкэна и других людей, бывших полезными винтиками немецкой машины шпионажа: Хайне, Лили Штейн, Ланга, Редера, Рихарда Айхенлауба — владельца ресторана «Литль казино» в Иорквилле, где встречалась шайка Дюкэна, и служивших у нацистов «связными» повара Зиглера и пекаря Штиглера с парохода «Америка». Путем слежки за этими курьерами удалось разыскать и других. Агенты же, следившие за Янке и Уилер-Хиллом, выследили попутно нациста Шольца, служившего приказчиком в книжной лавке, затем Рейнера, машиниста на авиазаводе в Нью-Джерси, и его сообщников.

Эдгар Гувер был подобен шахматисту, который, согнувшись над шахматной доской, готовится сделать важный ход, с той только разницей, что в игре, которую он вел, ставки были невероятно высоки: один неверный, преждевременный ход — и Америка была бы в опасности.

Наконец решение принято. Гувер подошел к телетайпу и продиктовал распоряжение, которое немедленно было передано по всей внутриведомственной сети, — в нью-йоркский штаб и другие отделения ФБР. Это было распоря-

жение арестовать Дюкэна и всех, кто непосредственно или косвенно с ним связан.

Так, в один жаркий июньский день (через два года после первого знакомства Вильяма Зебольда с гестапо в гамбургском порту) удар был нанесен сразу во многих местах. Мастер шпионажа Фриц Дюкэн и тридцать два его сообщника были задержаны по обвинению в шпионаже. Всех захватили врасплох: никто из них в этот момент не подозревал, что их выдал Зебольд. Они узнали это позднее, на суде, где им были предъявлены записи диктофона и кинофильмы.

Арест Фрица Дюкэна и тридцати двух других крупных шпионов сильно встревожил Курта Людвига, руководителя уцелевшей крупной группы шпионов, за которой следили вот уже больше трех месяцев. Радиообозреватель Уолтер Винчелл сообщил новость об аресте тридцати трех шпионов во время своего обычного выступления в воскресенье вечером. Людвиг в это время был в Бруклине, в своем пансионе, и, как только услышал сообщение Винчелла по радио, вышел и направился в Мэспет, к дому своей помощницы Люси Бемлер.

Людвиг и Люси (а за ними агенты) помчались обратно в Бруклин и вошли в дом Элен Майер, женщины, бывшей, повидимому, в тесном контакте с рабочими некоторых авиазаводов. К этому же дому подбегали и Ганс Пагель и Карл Мюллер, те самые, что черпали сведения из надписей на ящиках с грузом, ожидающих отправки в Англию.

Пагель и Мюллер ехали как раз по Нью-Йоркской набережной, когда Винчелл начал читать обычный обзор. Повидимому, они слушали радио в своем автомобиле, так как следовавшие за ними в другой машине агенты ФБР заметили, что автомобиль внезапно остановился, когда Винчелл начал говорить об аресте шпионов, и стоял на месте до тех пор, пока Винчелл не перешел к другой теме. Затем Пагель и Мюллер помчались к дому Элен Майер.

Через двое суток английской цензурой на Бермудах было перехвачено написанное секретными чернилами нижеследующее письмо Людвига:

«Я знал троих из арестованных наднях людей... Они глупцы, трусы и лентяи, — словом, настоящие американцы... У них нет опыта... Они, вероятно, обратили на себя внимание ФБР. Я сильно опасаясь, как бы они не стали всех выдавать... Необходимо, чтобы кто-нибудь добрался до них и заставил их молчать... Можно будет предупредить их, что, если они не будут молчать, гестапо расправится с их родными в Германии. Это несомненно подействует».

У агентов ФБР камень с плеч свалился, когда, вскоре после ареста Дюкэна с его шайкой, Людвиг отправился в пустующий коттедж в Норспорте, снял там свою радиостановку и некоторые части ее перевез к Элен Майер, другие — к себе в комнату. Радио Янке-Уилера теперь тоже выбыло из строя, и осталась лишь одна установка — та, которой пользовался Зебольд и агенты контрразведки.

Зебольд все еще разыгрывал комедию перед Гамбургом, стараясь, чтобы там пока не узна-

ли, что он обманывает гестапо. Еще рано было открывать карты, и он надеялся, что до того, как он это сделает, удастся каким-нибудь путем выволочить из Германии его мать, двух братьев и сестру, которым грозила жестокая расправа за родство с ним.

После ареста тридцати трех шпионов в Америке Гамбург стал холоден с Зебольдом. Зебольду было предписано прекратить работу до дальнейших распоряжений. Он понял, что дело плохо, но не делился этими предположениями ни с кем.

Доктор Пауль Борхард, видимо, был тоже сильно обескуражен массовыми арестами. Он стал предпринимать долгие одинокие прогулки и имел озабоченный вид. Людвиг раньше часто звонил ему, вызывая его к общему телефону в вестибюле пансиона, но теперь доктор, вероятно, боялся быть уличенным в близости с главным шпионом Германии в Бруклине.

Роль Борхарда была ФБР полностью выяснена. Он представлял собой фигуру гораздо более крупную, чем Людвиг. Он работал в непосредственной связи с германским консульством и через него сообщался с Берлином. Этим объяснялись его частые разговоры по телефону в пансионе, где он жил. Агенты ФБР прибегли к помощи хозяйки пансиона миссис Бенсинджер, но она, подслушивая разговоры Борхарда по телефону, не могла разобрать ни единого слова. Он говорил на каком-то воровском жаргоне. Не могли агенты установить и то, какой номер всегда набирал доктор: старый и трудный способ — сосчитать, сколько раз щелкает вертушка — не помогал, так как доктор в это время всегда нарочно кашляла или производил какой-либо другой шум.

В конце июля Курт Людвиг сел в свой автомобиль, куда предвзвешенно поместил массу всякого багажа, и укатил в Пенсильванию. По его следам отправились и агенты, и в дороге встретили других агентов, ехавших через штат Кейстон в противоположном направлении. Эти выслеживали «доктора» Виллоумейта, члена чикагского отделения Германо-американского союза и приятеля тех молодых людей, которые обучались в Берлине.

* * *

Виллоумейта проследили до города Томпсона — в северной части Коннектикута. Там находилось великолепное имение в двести акров земли, владельцем которого был таинственный субъект, называвший себя графом Вонсякским. Граф этот с некоторого времени был у ФБР на примете по двум причинам: во-первых, потому, что он взял на поруки Фрица Дюкэна, пьяницу, вора и насильника, одного из нью-йоркских агентов Гитлера, арестованного за безобразное поведение; во-вторых, граф, к негоднованию жителей Томпсона, развлекался тем, что рисовал свастику на бумажных змеях и пускал их летать над городом. Этого упрямого, сухопарого мужчину часто видели на собраниях фашистского союза в Нью-Йорке и других местах. Зантересовавшись его прошлым, агенты узнали, что в 1922 году он, эмигрант без гроша в кармане, работавший на па-

ровозном заводе в Филадельфии за 22 доллара в неделю, женился на одной из богатейших женщин в округе, которая была старше его на 22 года. Сперва они жили довольно скромно и вражались в кругу мелкой буржуазии, но скоро их стали встречать в светских домах США и за границей. Граф вел существование птицы небесной, которая не сеет, не жнет, и занимался только тем, что целый день ругал Красную Россию. Чуждества его, молва о которых дошла до контрразведки, явно имели целью маскировать его истинную деятельность.

В своей усадьбе в Коннектикуте Вонсяцкий воздвиг престранное сооружение, одноэтажное, со стенами толщиной в 2 фута, с бойницами, из которых торчали дула пулеметов, и башней с пулеметом на турели. В специальных стальных камерах он хранил запасы ручных гранат и слезоточивого газа. В единственной комнате, занимавшей всю внутренность этого здания, висела необычного вида географическая карта. На территориях Англии и других стран была намалевана свастика — злое указание, что Гитлер намерен занять эти территории. Той же свастикой была отмечена территория США до Скалистых гор, а Японии предназначалась вся часть страны на запад до этих гор.

Навестив графа в его усадьбе, доктор Виллюмейт вернулся в Чикаго, а граф отправился в своем лимузине в Вашингтон. Следившие за ним агенты видели, как он вошел в здание японского посольства. Там он пробыл несколько часов.

Гуверу было достаточно этого факта, ибо доступ в японское посольство имели только видные дипломаты и корреспонденты самых крупных газет.

Было ясно, что Вонсяцкий замешан в каких-то темных делах. Но каких? Шпионаже? Как это узнать?

Следившие за ним агенты установили, что, выйдя из посольства, он сразу уехал поездом в Чикаго. Один из агентов узнал в чикагском штабе, что в доме, куда приехал Вонсяцкий (и где его караулил второй агент), проживает джентльмен средних лет с дуэльным шрамом на щеке, — словом, доктор Виллюмейт. Как потом выяснили агенты, Вонсяцкий получил из японского посольства телеграмму такого содержания:

«Будьте готовы завтра утром к приезду Кунце в Чикаго, отель «Бисмарк». Он уполномочен действовать в Эль-Пасо».

Фамилия Кунце заставила Гувера насторожиться. Герхард Кунце из Нью-Джерси давно был ему подозрителен как член Германско-американского союза. Гувер не сомневался, что Кунце — деятельный агент нацистской Германии, но до сих пор сотрудникам ФБР не удавалось собрать против него никаких улик. Кунце родился в Америке, но родители его были немцы.

Агенты отправились в гостиницу, упомянутую в телеграмме, сняли номер и устроили так, чтобы Герхарду Кунце, когда он придет, отвели комнату рядом.

Все произошло так, как они рассчитывали. Кунце оказался тем именно нацистом, о кото-

ром имелись данные в ФБР. Агенты узнали это, как только он вошел в вестибюль, по имеющимся у них фотографиям.

Кунце потребовал, чтобы ему отвели один из лучших номеров. Очень скоро соседи Кунце, пользуясь специальной аппаратурой для подслушивания, услышали, что к нему пришли гости. Это были Вонсяцкий и доктор Виллюмейт, и Кунце встретил их как старых друзей.

Из их разговора агентам стало ясно, что руководителем являлся граф. Он спросил у Кунце, что тот успел сделать со времени их последнего свидания. Кунце ответил:

— Я так наладил подпольную работу, что буду получать информацию с двенадцати больших заводов, выполняющих заказы Союзников.

— Отлично. А с кем это вы наладили связь в Эль-Пасо?

— Это некто Эбелль, Вольфганг Эбелль, тамошний врач. В посольстве, видимо, одобряют мою идею завести связи на мексиканской границе.

— Вы говорите, конечно, об японском посольстве, а не о германском?

— Да, об японском. Но, насколько я знаю, работать нам предстоит одновременно и для Японии, и для Германии.

— Совершенно верно, — подтвердил граф. — И вы в частности будете доставлять им из Америки сведения на микропленках и другими способами. А как по-вашему этот доктор Эбелль — надежный и дельный малый?

— Более подходящего человека найти трудно.

— Он американец?

— Принял американское подданство два года тому назад. В Эль-Пасо он уже десять лет занимается врачебной практикой и пользуется всеобщим уважением.

— И он может когда угодно переправлять вас через границу, в Мексику?

— Да, дерзости у него хватит не только на это. Сам он чуть не каждую неделю переходит границу — занимается спекуляциями. Его уже все пограничники знают. Я смогу в любое время сесть к нему в автомобиль и перебраться незаметно в Мексику, а оттуда — в Южную Америку и Германию.

Вонсяцкий, однако, высказал мнение, что, помимо этой выгодной для их целей связи с врачом в Эль-Пасо, им необходима связь с человеком, которого не могут коснуться никакие подозрения.

Тут вмешался доктор Виллюмейт.

— Я знаю как раз такого человека, какой вам нужен. Это — преподобный отец Мольдьян. Был офицером германской армии, а теперь священник в Филадельфии.

— Идея недурна, — заметил граф.

— Вы ее еще больше оцените, если вдумаетесь. Связь со священником — очень удобная вещь. Весьма возможно, что Кунце, за которым уж, конечно, следит ФБР, наведет агентов на след Эбелля в Эль-Пасо, тогда доктор легко может «засыпаться» и будет нам бесполезен. Имея же в запасе священника, мы будем через него передавать в оба конца всякого рода сведения. Английским цензором на Берму-

дах никогда и в голову не придет просматривать переписку священника.

Из подслушанного разговора агентам все же было не ясно, что именно затевают граф с компаний. Было очевидно, что они занимаются в Америке шпионажем в пользу Германии и Японии, но какое именно «дело» они готовят? Сколько человек кроме них в шайке?

Представляет ли собою этот граф действительно опасную птицу или он работает на другого, более крупного вражеского агента? А если так, то на кого именно?

Эти и еще целый ряд других вопросов оставались без ответа и после подслушанного агентами ФБР совещания шпионов осн.

Тем временем в номере гостиницы «Бристоль» в Нью-Йорке произошла встреча, которой суждено было занять важное место в общей картине. К одному священнику (имя которого мы не назовем), пришел незнакомый ему мужчина лет пятидесяти, бледный, с водянистыми глазами.

— Я слышал, — сказал гость хозяину, — что вы близки с целым рядом людей в Америке, которые хотят как только возможно помогать Гитлеру.

Лицо священника сохраняло невозмутимое выражение.

— Ну и что же? — спросил он.

— Я хочу работать с ними. Я все умею. Германия могла бы меня использовать... если, конечно, хорошо заплатит.

— А что вы можете делать?

— Моя специальность — вредительство. Я Возняк. Слыхали обо мне? Нет?

Священник медленно наклонил голову.

— Конечно, кто же о вас не слышал! Но скажите, Возняк, как вы рискуете обратиться ко мне? Откуда вы знаете, что я вас не выдам полиции?

Возняк усмехнулся.

— Не посмеете. Перейдем к делу: можете вы связать меня с такими людьми, которые обещают меня заработком?

Возняк был несомненно человек со стажем. Еще четверть века назад он завоевал себе добрую славу: 11 января 1917 года полмиллиона снарядов, предназначавшихся для союзных армий, взорвалось на заводе в Кингсленде. Убыток составил семнадцать миллионов долларов. Расследование показало, что взрыв этот был актом вредительства и вызван зажигательной палочкой, оставленной на станке одним из рабочих. Этот рабочий был тот самый Возняк, который сейчас предлагал свои услуги священнику.

Его не судили: через несколько лет после взрыва, когда его, наконец, поймали, он согласился выступить свидетелем перед комиссией по возмещению убытков, причиненных первой мировой войной. Комиссия хотела доказать ответственность Германии за такие диверсионные акты, как взрывы на кингслендском заводе и в шахте «Черный Том». И вот Возняк дал правдивые показания. Он рассказал, как его наняли агенты Франца фон Папена для того, чтобы произвести взрыв. После этого человек

с водянистыми глазами исчез с горизонта и вновь появился только летом 1941 года...

Порывшись в кармане, он извлек лист бумаги и принялся перечислять факты и цифры, относящиеся к ряду загадочных и как будто между собой не связанных катастроф, случившихся в 1941 году:

10 января по непонятной причине сгорел в Бруклинском порту английский грузовой пароход «Блэк Херон». Любопытно, что как раз перед пожаром пароход этот принял груз — партию бомбардировщиков «Дуглас».

Не прошло после этого и десяти дней, как произошел новый пожар, неизвестно чем вызванный, в двух флигелях здания Мёрского министерства в Вашингтоне. Еще через два дня загорелась в Филадельфии военная верфь, через четыре дня сгорело до тла одно из зданий морского ведомства в Норфолке.

В феврале было три больших поджога на пороховых заводах, в том числе на Франкфордском арсенале в Филадельфии. Арсенал после первого пожара начали восстанавливать, но не успели, так как через месяц вспыхнула вторая пожар.

В апреле на пороховом заводе морского ведомства в Мэриленде произошел загадочный взрыв, причинивший убыток чуть не в четверть миллиона долларов, а в мае — с устрашающей регулярностью начались пожары на пристанях и во всех железнодорожных парках от Атлантического побережья до Тихоокеанского. В Пенсильвании экспресс, шедший из Кливленда в Питтсбург, сошел с рельс. Как выяснилось, катастрофа эта была тщательно подготовлена и произошла она вблизи поселка, где среди жителей имеется много сочувствующих нацистам. В штате Нью-Йорк, на Среднем Западе и на Тихоокеанском побережье ФБР только благодаря своей исключительной бдительности предотвратило эпидемию взрывов на главных оборонных заводах.

Священник сделал вид, что его не поразила этот перечень подвигов Возняка и других вредителей.

— Некоторые пожары могли произойти просто случайно, — заметил он.

— Кой чорт случайно! Я знаю, что они не были случайны. Я знаю людей, которые поджигали. И среди них вы не найдете другого такого специалиста, как я. Я хотел бы, чтобы меня использовали и дали возможность зарабатывать.

Он принялся излагать свои планы диверсий, по сравнению с которыми покажутся пустяками такие взрывы, как в Кингсленде. Возняк был в курсе всех новейших и усовершенствованных методов разрушения.

— Вот возьмите хотя бы зажигательные карандаши, — говорил он. — Прошлый раз они меня поймали на этом — нашли остатки пепла. Теперь эти карандаши сгорают так хорошо, что следов никаких не остается.

Собеседник Возняка стал расспрашивать его подробнее об этих карандашах и узнал, что Берлин изготавливает теперь множество сортов — очень горд ими. Чтобы доказать свою осведомленность, Возняк рассказал еще о новых заме-

чательных ядах, которыми немецкие агенты управляют продовольственные грузы. Об усовершенствованной бомбе, которую помещали в жестянках томатного сока с ярылками популярной фирмы, поставившей томатные консервы для армии и для экспорта за границу. Банка взрывалась в ту минуту, когда ее прокатывали, начиная открывать, и убивала всех на двадцать футов вокруг.

— Вы видите, — сказал в заключение Возняк, — что я знаком со всеми новинками. Вы, надеюсь, поняли, какой я ценный человек для вас и ваших друзей!

— Ничуть в этом не сомневаюсь. Приходите через денька два, — может быть, у меня уже будут для вас новости.

Возняк ушел довольный, не подозревая, что этот священник вздумал временно заняться контршпионажем в одиночку, на свой риск и страх, с тем, чтобы собранный им материал потом передать ФБР.

Через два дня он свел Возняка с Вонсяцким и дал понять графу, что в его распоряжении имеется ряд других таких же полезных людей, как Возняк. Вонсяцкий попался на эту удочку и, возымев к священнику полное доверие, сказал ему:

— На будущей неделе у нас второе важное совещание в гостинице «Бисмарк» в Чикаго. Приезжайте туда!

На этом совещании священник встретил четырех человек, уже известных ФБР: Кунце, преподобного Курта Мольцана, бывшего офицера германской армии, а ныне лютеранского пастора, доктора Виллумеита и доктора Эбелла из Эль-Пасо.

Граф уверил своих сообщников, что, как только начнется война между США и Германией, он, Кунце и Виллумеит начнут атаку против США целым рядом диверсий. Он говорил, что знаком с ответственными работниками на пороховом заводе Дюпона в Вильмингтоне, на нескольких авиазаводах, на заводах, готовивших боеприпасы в двух штатах, что у него есть свои люди в армии, флоте, морской пехоте и береговой охране. Кунце и Виллумеит как лидеры Германо-американского союза тоже сумели водворить тайных гитлеровцев на нескольких десятках важных оборонных предприятий США.

Эбеллу было поручено передавать сведения в Германию четырьмя различными путями. Во-первых, во время своих периодических поездок за Рио-Гранде он мог отправлять письма почтой из Мексики в Японию, обходя английскую цензуру. Во-вторых, можно было использовать для этого курьеров на японских судах, заходивших в мексиканские порты. В-третьих, к их услугам было коротковолновое радио. В Мексике не разбазжали контролеры с радиопеленгаторами, быстро указывающими местонахождение коротковолновых передатчиков. И наконец, четвертый способ, придуманный Кунце, состоял в передаче сведений непосредственно через японские подлодки, которые будут подниматься на поверхность в мексиканских водах. Для сношений с ними Кунце собирался выезжать в море на рыбачьей лодке или

назначать свидания на берегу кому-либо из экипажа подлодки.

Кунце должен был пересылать не только письменные донесения. После разгрома группы Дюкзана и ликвидации ее курьеров немцам и японцам было уже труднее вывозить из Америки такие громоздкие предметы, как например, образцы новейших гильз для снарядов, противотанковых, винтовок. Путешествия же Кунце через границу в Эль-Пасо чрезвычайно облегчали это дело.

Священник слушал в оба уха. Подождав пока Вонсяцкий кончит, он внес предложение использовать Возняка сперва не для диверсионных актов, а для установления связи с людьми на заводах.

Агенты ФБР, следившие за Людвигом, который возглавлял нью-йоркскую шпионскую группу, отправились за ним в Фремонт. Здесь была родина Людвига, и агенты не удивились, когда он поехал в Сандуски и получил копию своего метрического свидетельства. Очевидно, он намеревался плыть из Ситтля или Сан-Франциско через Японию в Германию.

Во время пребывания в Огайо Людвиг поехал к форту Клинтон и в Камп-Эри, рассматривал все в бинокль и отмечал что-то на карточках. Побывал он и вблизи испытательного аэродрома. Чтобы усыпить бдительность охраны, он остановил автомобиль на боковой дороге, откуда был отлично виден весь аэродром с бомбардировщиками, и снял шину. Делая вид, что надевает ее, он успел записать все, что увидел.

7 августа Людвиг был уже в Детройте и кружился вокруг Селфридж-Филд. Он побывал на заводе Форда, где у него имелся приятель, и, как вы, вероятно, догадываетесь, ему очень легко удалось осмотреть весь завод!

ЗАГАДКА В ЕЛЛОУСТОНЕ

Из Мичигана Людвиг отправился в Миссури, в район озера Озарк, где фотографировал Багнельскую плотину сколько его душе было угодно. Оттуда он отправился в Колорадо и 21 августа въехал в Восточные ворота еллоустонского Национального парка. Видимо, он подозревал, что за ним следят, так как въехал в парк не сразу, а сначала кружил вокруг, чтобы сбить с толку преследователей, и то уменьшал, то бешено ускорял ход своей машины. Следившим за ним агентам стоило большого труда не потерять его из виду.

Он приехал в парк рано утром. А в четыре часа дня он уже был у Горячих Ключей в Маммоте и снял коттедж № 47, маленький домик в роще среди высоких сосен. Агенты укрылись за одной из них и в сумерки увидели, что из трубы занятого Людвигом коттеджа валит дым. Они знали, что у шпиона нет с собою никакой провизии, и, значит, огонь он развел для того, чтобы сжечь уличающие его бумаги. Это их не тревожило: ведь они еще не собирались схватить его, они выжидали, чтобы Людвиг навел их на след других преда-

телей, как, например, человека, с которым он был связан на Фордовском заводе. Что же касается сожженных им вещественных улик, дело было проще простого: когда Людвиг уйдет, они соберут обугленные остатки и, уложив их в вату, доставят в «дом чудес» — лабораторию ФБР в Вашингтоне. Там их поместят под инфракрасные лучи, подвергнут еще другой обработке, и все написанное, как по волшебству, выступит на сожженной бумаге. Для ФБР это дело знакомое и простое.

Из Маммота Людвиг поехал в Монтану. На вокзале отправил по какому-то адресу в Дюмон свой два чемодана — очевидно, он собирался бежать из Америки.

Людвиг находился в штате Вашингтон и подвезжал как раз к городку Кле Илум, центру угле- и лесозаготовок, когда Эдгар Гувер в Вашингтоне решил, что пора действовать. Обугленная бумага, взятая из коттеджа, открыла ему многое. Чемоданы, отправленные Людвигом в Дюмон, были перебрачены, и в них оказалось с полсотни военных карт и всяких чертежей и планов. Сигнал был дан — и одновременно арестованы Мюллер, Пагель, секретарша Людвиг Люси Бемлер, Элен Майер, рядовой Рене Фрелих. Профессора Борхарда не тронули — ФБР решило дать ему еще погулять на свободе, в надежде, что он наведет их на новый след. Людвиг арестован в Кле Илуме, перевезли в Спокэйн. Стеречь его поручили помощнику шерифа Рею Киллиану. Людвиг немедленно стал делать попытки подружиться со своим стражем. Киллиан понимал, к чему он клонит, и играл свою роль превосходно. Он как будто вскользь несколько раз заговаривал с том, как трудно при таком маленьком жалованье, как у него, сводить концы с концами.

— А если я вам скажу, что вы можете шутя заработать пятьдесят тысяч долларов наличными?

Киллиан выпучил глаза. Осмотрелся, словно желая убедиться, что никто их не подслушивает, и спросил:

— Каким же это образом?

— Выпустите меня отсюда.

— Да как же это можно? Ведь сейчас же все откроется!

Людвиг усмехнулся.

— Что может быть легче? Приготовьте второй ключ по образцу того, который у вас имеется, и дайте его мне. Я выйду, запру дверь — и когда узнают, что я убежал, они подумают, что я сумел сделать себе ключ здесь, в камере.

Киллиан сделал вид, что раздумывает.

— А знаете, не плохая мысль! Но где гарантия, что я получу обещанные деньги?

— Об этом не беспокойтесь! Получите не позднее чем через день. Мы встретимся где-нибудь, но сперва я телеграфирую в Буэнос-Айрес, чтобы выслали деньги.

— А у вас там есть люди, которые согласятся выслать такую большую сумму?

Людвиг в своем стремлении доказать Киллиану, что он его не обманет, что это дело верное, назвал того, с кем он хотел снестись в Буэнос-Айресе. Киллиан сообщил это имя прокурору. Спешная проверка показала, что имя

и адрес не выдуманы Людвигом — и таким образом еще один член нацистской шпионской организации стал известен ФБР.

Киллиан продолжал вести двойную игру. Он узнал от Людвиг еще один важный факт, касающийся доктора Борхарда и его связи с нацистской верхушкой. Когда стало очевидно, что у Людвиг ничего больше не выпутаешь, его отправили в Нью-Йорк. Вскоре арестовали и Борхарда. Люси Бемлер к тому времени окончательно пала духом и согласилась выступить на суде главной свидетельницей обвинения. Часть группы, остававшаяся на свободе, была сильно встревожена арестом Людвиг.

Осенью Дюкэна судили в Нью-Йорке. Из тридцати двух обвиняемых по этому делу большинство было признано виновными. Киноснимки, звукозаписи и другой материал, собранный ФБР, оказались достаточно вескими уликами. Суд продолжался около трех месяцев, и в декабре 1941 года все были признаны виновными. Дюкэн и Ланг приговорены каждый к восемнадцати годам тюремного заключения, остальные — на разные сроки, до восемнадцати лет. Они еще дешево отделались благодаря тому, что их преступления были совершены в мирное, а не военное время. На суде Дюкэн вел себя то нагло, то стончески. Он выражал одно лишь страстное желание — заткнуть собственными руками Вильяма Зебольда.

В Южном районе Нью-Йорка прокурор США разделился с шайкой Людвиг. Людвиг, Борхард и Фрелих были приговорены каждый к двадцати годам лишения свободы, Элен Майер, Пагель и Мюллер — к пятнадцати, Люси Бемлер срок наказания уменьшили до пяти лет за то, что она помогла правосудию.

Импортер бриллиантов и родственник Фов Риббентропа, Вернер фон Клемм, к декабрю уже успел оправиться от потрясения, вызванного атакой ФБР на шпионские группы нацистов, и принялся за старое. Английская и американская контрразведки начали снова перехватывать каблогаммы и передачи по радио, из которых, после расшифровки, стало ясно, что нацисты готовились импортировать в Америку награбленные нидерландские бриллианты, которые они выдавали за немецкие.

Около Нового года, когда таможенники в Америке усиленно проверяли «рождественские подарки», прибывавшие в адрес некоторых американцев от их друзей за границей, Возняцкий пришел получать прибывшую для него на пароходе посылку — драгоценные камни на сумму 50 000 долларов. Камни были хорошо подозрительно хороши. Возникло предположение, что немцы, опасаясь, как бы крупные камни, забранные ими в Бельгии и Голландии, не выдали их, стали дробить их на мелкие, которые отличить от немецких было гораздо труднее.

Таким образом Клемм беспрепятственно получил свои камни, и посланные им телеграммы были сигналом Берлину начать «бриллиантовый блицкриг».

Организация, возглавляемая Эдгаром Г-

вером, провела, что некоторые крупные немецкие шпионы в разных городах Америки уже «опят», требуя от своих «работодателей» денег для себя и на разъезды по стране для выуживания военных тайн от одурченных ими работников оборонных заводов. Нужно было изувечить, и Гитлеру теперь вдвойне было важно превратить в деньги голландские бриллианты. От этого зависела предпринятая им кампания вредительства. Фон Клемм вдруг стал важной фигурой. После объявления войны, когда все видные нацисты в США либо попали в тюрьму, либо были под бдительным наблюдением американской контрразведки, фон Клемм стал для Гитлера незаменим.

И как всегда военные фонды нацистов сильно нуждались в пополнении. Выбросив опытные партии нидерландских бриллиантов на рынок США, Гитлер обеспечил себе крупные доходы. Федеральные власти понимали, что драгоценные камни, которыми торгует Клемм, — «трофеи» немцев и что деньги от сбыта их идут в Германию.

В начале января фон Клемм получил посылку из таможи: на его адрес прибыл из Бразилии груз бриллиантов, оцененный в 100 000 долларов. Когда он явился за ними в таможию, ему сказали, что выдача несколько задерживается, так как представителям власти нужно время для просмотра его бриллиантов.

Фон Клемм был вне себя. Но протесты не помогли, и он ушел. Агент отправился за ним следом и выяснил, что Клемм пошел на телеграф и отправил телеграмму в Берлин, в которой просил приостановить дальнейшие отправки. Эта телеграмма по распоряжению агентов не была передана в Берлин. ФБР хотело, чтобы бриллианты продолжали прибывать и чтобы их можно было задерживать.

За фон Клеммом установили тройную слежку. Затем принялись за торговца ювелирными изделиями Мюллера, беженца из Германии. Ему сказали, что прокурор США просит его притти для выяснения вопроса о камнях, которые он покупал у Клемма.

Мюллер, струсив, рассказал прокурору и таможенникам все, что знал, а знал он не мало. По его словам, фон Клемм обратился к нему, когда «бриллиантовая эпопея» была еще только в проекте, сказав, что от него ждут помощи в деле реализации камней. Эмигрант запротестовал. Он напомнил фон Клемму, что он в США, а не в Германии, и что Гитлер ему приказывать не может.

— Да, — ответил Клемм, — но в случае вашего отказа он может распорядиться, чтобы о вашей матери в Германии хорошо позаботились! Этого было достаточно — Мюллер покорился. Он был не единственный: многие другие эмигранты в Нью-Йорке оказались в таком же положении.

Комиссия осмотрела задержанные бриллианты, фон Клемма обвинили в мошенничестве при предъявлении импортного товара, облагаемого пошлиной. Это его ничуть не смутило, — стоя перед судьей, он усмехался. Однако ему все-таки пришлось провести ночь в заключении, и

только на другой день он внес залог в 50 000 долларов и вышел на свободу.

Его судили 18 августа 1942 года и приговорили к двум годам каторжной тюрьмы.

Агенты, следившие за графом и его шайкой, заметили, что эти люди находятся в состоянии какого-то беспокойства и напряжения, словно ожидают важных вестей.

Граф поехал в Кэмден к Кунце. Агенты ФБР, наблюдавшие в бинокли за всем, что происходило в квартире последнего, видели, как граф шагал по комнате, жестикулируя и указывая на карту Европы, разложенную на столе.

Рано утром к Кунце пришел еще гость. Это был его преподобие Курт Мольцан. Граф шему стал что-то толковать, тыча пальцем в карту, а тот качал головой, видимо, очень взволнованный.

На другой день Вонсяцкий уехал в Чикаго. Агенты заняли в поезде соседнее купе. Им было известно, что он возит с собой портативную пишущую машинку, и, наставив у стенке купе свой аппарат для подслушивания, они услышали стук машинки.

По приезде в Чикаго агенты ничуть не удивились, когда Вонсяцкий поехал прямо к доктору Виллаюмейту. Для них было сюрпризом только то, что через час после приезда графа туда же явился Кунце, а потом и Эбелль из пограничного городка Эль-Пасо в штате Техас. Очевидно, готовилось что-то из ряда вон выходящее. Но что именно? Этого агентам не удалось узнать. На другой день после свидания в доме у Виллаюмейта Кунце уехал поездом в Кэмден, а д-р Эбелль к себе в Эль-Пасо (за тем и другим, конечно, последовали агенты). Виллаюмейт позднее тоже уехал в Эль-Пасо и, проведя там часа два в обществе Эбелля, возвратился в свой Город Ветров. Не успел он сесть в поезд, как Эбелль уже мчался в своем автомобиле через границу, в Мексику. Что же готовилось? Означало ли все это переход к решительным действиям?

ФБР не хотело пока трогать Эбелля: надо было посмотреть, что он будет делать. По сведениям контрразведки, Эбелль, до появления своего в Соединенных Штатах в роли врача, жил в Мексике и занимался торговлей, поэтому знал страну вдоль и поперек. Что передал ему доктор Виллаюмейт? Агенты предполагали, что какие-нибудь сведения или деньги. Если деньги, то это подтверждало их подозрения, что деньги на «дело» идут от Вонсяцкого. Где же их берет Вонсяцкий?

Сотрудникам ФБР не разрешено для преследования преступников переходить границу. Поэтому они не могли проследить путь Эбелля в Мексику. Это поручено было мексиканской федеральной полицией.

Эбелль приехал в маленький рыбацкий поселок в десяти километрах от Вера-Круц. Он остановился в малопосещаемой гостинице и здесь встречался с несколькими рыбаками сомнительной репутации. Агенты мексиканской полиции, боясь быть замеченными, не могли по-добраться достаточно близко к Эбеллю и тем,

с кем он встречался, и поэтому не видел, давал ли он им деньги или нет. Но надо думать, что давал, ибо, когда Эбелль уехал обратно в США, эти рыбаки вдруг зажили гораздо богаче, чем прежде.

Вскоре после этого в Эль-Пасо приехал Кунце, и доктор Эбелль повез его в своем автомобиле через границу. Они приехали в тот же рыбачий поселок и остановились в той же гостинице. Как и в прошлый приезд, Эбелль записал в книгу свое настоящее имя, Кунце же назвался графом Альфонзо Габидес, и следившие за ним слышали, как он говорил по-испански.

Тем временем Вонсяцкий отправился на одну из самых больших верфей США. Из соседнего переговорного пункта он позвонил туда по телефону, и через десять минут из ворот верфи вышел человек в одежде рабочего и сел в нарядный лимузин графа.

Странную пару составляли эти двое — грязно одетый рабочий и щеголеватый граф.

Увидев рабочего, граф тотчас же отпустил шофера и почти два часа беседовал наедине с этим человеком. Когда он поехал обратно, агенты ФБР разделились на две партии: одна последовала за графом, другая проникла на верфь, чтобы установить, кто этот рабочий.

Выяснилось, что это немец, принявший американское подданство, и что он руководит на верфи одной из основных работ. Такие вещи не были для Гувера новостью. Он давно знал, что немецкие и японские шпионы пытаются получить нужные им сведения от людей, занимающих ответственные должности на судостроительных верфях, военных заводах, в армии. Работавший на верфи приятель Вонсяцкого был взят под наблюдение. Он и не подозревал, что за ним следят круглые сутки. У ФБР принято за правило давать таким субъектам действовать на свободе, чтобы можно было проследить, с кем он сносится. Такая система проводится по всей стране. Предателям дается ложная информация, тщательно проверенная ФБР, с таким расчетом, чтобы эти сведения, если они будут переданы шпионам, только дезориентировали их и оказались совершенно бесполезны вражеским странам.

Вонсяцкий вез с собой в лимузине груды багажа, из чего агенты заключили, что он предпринимает длительную поездку. Слежка за графом продолжалась уже третий год. До сих пор она давала довольно мизерные результаты, но теперь, видимо, начинала себя оправдывать.

Следующую остановку граф сделал у одного из крупнейших в мире военных заводов. Повторилось то же, что на верфи. Вонсяцкий больше часа совещался о чем-то с одним из работников завода, а ночью этот человек пришел к нему в гостиницу. Агенты заняли соседний номер и слушали.

— Мне может понадобиться несколько недель, чтобы достать то, чего вы просите, — говорил рабочий. — Это, знаете ли, дело нелегкое.

— Легкое или нелегкое, — а вы его сделаете, если понимаете, как это для вас выгодно, — отвечал граф резко и нетерпеливо. — Я даю

вам ровно неделю сроку. Доставить надо ко мне домой, в Коннектикут.

На этом разговор кончился. Но слушатели знали, чего требовал Вонсяцкий, так как им было во всех подробностях известно, чем именно ведает на заводе данный работник. Мы лишены возможности сообщить это здесь, — скажем только, что дело шло о секрете оборонной промышленности, за который дорого бы дали и Германия и Япония.

Наступило утро, и граф поехал дальше, на другую верфь. Здесь опять произошло свидание с одним из ответственных работников.

Так Вонсяцкий объехал чуть не всю страну. Он добрался до самой Флориды, проник на большие заводы в Детройте, где готовили танки для Англии и США. В каждом городе или поселке, где он останавливался, его кто-нибудь ждал. Повидимому, те люди, с которыми сейчас виделся Вонсяцкий, давно были шпионами Германии и Японии.

Пока граф путешествовал, рабочий верфи, с которым он встретился в первый день, был замечен агентами в том, что отвез какой-то пакет в усадьбу графа и передал одному из слуг. И не он один, а ряд других людей посылал по почте или доставлял лично какие-то пакеты графу. Агенты проследили таким образом за несколькими десятками работников различных учреждений и предприятий, в стенах которых хранились важные государственные тайны. Всем им граф давал какие-то поручения, и они их выполняли. Громоздкие вещи они привозили к нему домой лично, остальное посылали почтой.

Между тем в Мексике Кунце явно подготавливал почву для каких-то важных мероприятий. Это видно было из того, что он назывался вымышленным именем, выдавал себя за испанца и всем твердил, будто приехал в Мексику из-за болезни сердца. Федеральному бюро было известно, что сердце у Кунце здоровое — ведь о каждом подозрительном субъекте, попавшем в картотеку ФБР, Гуверу известна вся подноготная. И о Кунце имелись сведения, что он за последние три года ни разу не был у врача. Через некоторое время он возвратился в Нью-Джерси, и все члены шайки — Мольцан, Эбелль, Виалюмейт — на время как будто перестали работать с графом и занимались своими обычными делами. Граф же сидел в Коннектикуте, видимо, собирая воедино все добытые материалы раньше, чем отправить их через Мексику в Японию.

Доктор Эбелль в Эль-Пасо предупреждал своих пациентов, что ему, возможно, придется уехать, и тогда он передаст их временно другому врачу. Об этом, разумеется, узнали агенты Гувера. В Филадельфии пастор Мольцан точно так же подготавливал почву для своего отъезда, жалуясь прихожанам, что он в последнее время чувствует себя неважно, и, вероятно, ему придется уехать куда-нибудь, где теплее, например, в Мексику.

Итак, сцена была подготовлена, актеры ожидали сигнала к выходу. А разведчики зорко следили за ними всеми.

Мольцан встретился с Кунце. Тот позвонил по междугородному телефону к Вонсяцкому, потом уехал в Эль-Пасо. Мольцан отправился в Коннектикут и вышел от графа с большим чемоданом. Он отвез этот багаж в Чикаго и передал д-ру Виллумеиту, а тот, в свою очередь, повез его в Эль-Пасо.

Содержимое чемодана не интересовало ФБР. Благодаря его системе контршпионажа, предатели везли с собой сведения ложные, которые могли принести Германии и Японии гораздо больше вреда, чем пользы. Ибо все те работники военных заводов, которых навещал граф, получали фальшивые документы, чертежи и сведения и, не ведая об этом, передавали их шпиону.

По приезде в рыбацкий поселок, Кунце остановился в убогой гостинице, а Эбелль уехал назад в Техас.

Через неделю мексиканская полиция донесла Гуверу, что Кунце выехал куда-то в лодке и увез чемодан. Ночь была безлунная, ни зги не видать. Очень скоро незший Кунце рыбак уплыл вперед, и полицейские потеряли лодку из виду.

Куда же уехал Кунце и что он собирался делать с чемоданом?

Такие вопросы задавала себе обеспокоенная полиция. Когда через несколько часов Кунце возвратился без чемодана, они решили, что чемодан передан на японскую подводную лодку, которая, по слухам, время от времени появлялась в море близ этого поселка.

Гувер решил, что его люди собрали уже достаточно материала, чтобы предать суду и эту шпионскую группу. Он, наконец, распорядился схватить всю шайку. Графа арестовали в Род-Айленде, сделали обыск в его усадьбе и нашли более чем достаточно доказательств виновности всех арестованных. Кунце взяли в Мексике в тот момент, когда он собирался опять выехать в море с рыбаком, очевидно, для того, чтобы бежать в подлодке.

Всем пятерым было предъявлено обвинение в «заговоре с целью сбора и передачи германскому и японскому правительствам сведений о численности, составе, расположении, снаряжении, вооружении и настроении армии Соединенных Штатов, о местонахождении, размерах,

мощности и других особенностях военных предприятий, от которых зависит национальная оборона США».

Всех арестованных судили в Хартфорде (Коннектикут).

Группа Вонсяцкого, кроме пастора, была признана виновной и скоро отправлена в тюрьму. Преподобный Мольцан приговорен к десяти годам заключения. Возняка задержали в июле. Слежка за ним до ареста помогла выявить добрый десяток таких же предателей, и всех их переловили.

Благодаря тысячам нитей, найденных в десятках городов, немцев застигали в местах их тайных встреч от Майна до Калифорнии и от канадской границы до Мексиканского залива. У многих из них найдены коротковолновые радиостановки, фотографии военных зон в тому подобные вещи.

В феврале 1943 года эта «чистка» достигла своего апогея.

Вы видите, что это была настоящая внутренняя война. И она еще далеко не кончена. В то время, как я пишу эти строки, наша контрразведка еще ищет диверсантов, о которых известно, что они орудуют на свободе и по всей вероятности, так же хорошо снаряжены и подготовлены к выполнению их гнусной миссии, как были подготовлены казенные. Эти диверсанты ждут только удобного случая обмануть нашу бдительность и свершить такие преступления, перед которыми померкнут и взрыв на «Черном Томе» в прошлую войну, и взрыв в Кингсленде.

Мы должны принять во внимание психологию немцев. Чем ближе час их окончательного разгрома, тем они будут отчаяннее. Вредители и члены Пятой колонны в нашей стране не остановятся ни перед чем. Отравленная вода в водопроводе, отравленное молоко для детей, взрывы страшной силы в школах, продовольственных магазинах и других местах, где неизбежна паника, бомбы, брошенные в дома видных государственных деятелей, химические атаки на военные и морские школы и лагеря, массовое истребление рабочих оборонных заводов, — все это имеется в немецкой программе вредительства.

Нет, борьба со шпионами и диверсантами еще не кончена.

ВОСПОМИНАНИЯ О ШАЛЯПИНЕ

ЛЕВ НИКУЛИН



Молодой человек—московский студент и литератор ехал из Москвы в Крым ранней весной 1917 года.

Третий месяц страна жила без царя. От берегов Тихого океана и до линии фронта пришла в движение миллионы людей. В деревнях крестьяне делили помещичьи земли, в городах—на заводах и фабриках происходили стачки, острые столкновения между рабочими и предпринимателями. Фронт еще держался, но на железнодорожных станциях можно было видеть тысячи бородатых солдат с узелками за спиной, хмуро ожидающих поездов с запада на восток. Надвигались великие события, в их испепеляющем дыхании бессильно металась люди, все еще гордо называвшие себя Временным правительством России.

В эти дни путешествие из Москвы в Крым было интересным и поучительным путешествием. В вагоне второго класса можно было увидеть людей в штатском, но выправка их показывала, что они очень недавно сняли форменные спортуки и вицмундиры министерства внутренних дел. В купе первого класса ехала семья помещика, добравшегося на Дон. Помещик—ротмистр кирасирского полка—стоял у окна и с брезгливо-злой усмешкой глядел на людей в серых шинелях, лезавших вповалку на железнодорожных платформах.

В Крыму, в Симферополе только красные флаги напоминали о том, что произошло в феврале 1917 года. В Алустике по набережной гуляли раненные прапорщики и барышни в белом, в ресторане на поплавке оркестр играл пошурри из «Веселой вдовы». Поздно ночью мы приехали в Гурзуф. В парке была тишина, шест-лест листвы и дальний шум прибоя...

Когда мы подъехали к зданию, называемому «Пятой гостиницей», здесь все уже спали. Коридорный в мягких туфлях проводил нас в номер. На столе в вазе стоял распустившийся букет магнолии, наполняя комнату сладостным головокружительным запахом. В открытом окне покачивалась острая верхушка кипариса...

Ночью прошел недогадливый, теплый дождь. Утром кипарисы сверкали свежестью и чистотой. Море было нежно-голубым. Аю-Даг резко и отчетливо рисовался в весеннем небе и казался совсем близким. Мы долго стояли на балконе и глядели на крымскую весну, такую красивую после чахлой и запоздалой московской весны. И вдруг послышался какой-то особенный, неповторимый и потому чудесно знакомый голос:

— Сосед, а сосед... Который же это час?

Я поглядел направо и онемел от изумления и неожиданности.

Опираясь на перила балкона, в пестром раскрытом на груди халате стоял Шаляпин. Он ждал ответа. Конечно, это был Шаляпин. Стояло взглянуть на прекрасную, сильную шею, на полуголое плечо, на складки халата. Живописно и естественно ниспадающие с правого плеча...

Наконец ко мне вернулся дар речи:

— Десять. Начало одиннадцатого.

— Утро-то какое, а?... — глубоко вздохнул сказал Шаляпин. Он потянулся, широко развел руками и соединил пальцы на затылке.

— Вот не думал, что у нас такой сосед... — сказал мой спутник.

— А я тут с неделю живу... Это вы, что я ночью приехали?..

Он вдруг повернулся к балконным дверям: «Кто тут?» и тут же исчез за дверью.

Несколько мгновений мы в изумлении глядели на соседний балкон. Потом кто-то вспомнил — в Москве, в литературно-художественном кружке говорили: «В Крыму, в Гурзуфе — Шаляпин».

Итак, наш сосед — Федор Иванович Шаляпин.

И три недели, изо дня в день, мы виделись с ним. Его было интересно и любопытно наблюдать как редкостное создание природы, как произведение искусства.

До сих пор мы видели его только на сцене с высоты райка, отделенные от него рядами кресел, рампы и оркестром.

Впервые в жизни я услышал Шаляпина...

Тифлисе в 1910 году. Он дал единственный концерт в театре, который носит теперь имя Руставели. Перед этим концертом повторилось все, что бывало перед выступлениями Шаляпина — ажиотаж театралыных барышников, городские у театральной кассы и молодежь, сутки простоявшая на улице, чтобы получить билет. В театре был «весь Тифлис» — военные, чиновники, богатейшие люди города, и в райке, на галерее — молодежь.

Шаляпина встретил ровный, не очень сильный, но длительный гул аплодисментов. Он ждал пока это кончится. Он стоял, слегка раздвинув ноги, отклонив голову. В руке у него был маленький лорнет, в другой — развернутый лист — ноты. Он начал с «Вакхической песни» Пушкина:

«Да здравствует солнце!
Да скроется тьма!»

О том, как пел Шаляпин, трудно писать, особенно трудно после того, что было написано о нем. Все же люди молодого поколения спрашивают у нас — что же это было за явление, почему этот человек — гордость русского, гордость всемирного искусства? Конечно, есть властинки, граммофонная запись дает некоторое представление о том, как пел Шаляпин. Но даже превосходная цветная фотография не дает точного представления о всей прелесть пейзажа. И разве вся тайна шаляпинского искусства только в его голосе, в неповторимой красоте тембра?

Еще до того, как вы слышали его голос, Шаляпин как бы гипнотизировал вас, своего зрителя-слушателя. Все вокруг забывалось, вы были там, на сцене, в общении с этим поразительным существом, созданным природой для того, чтобы быть великим артистом. Затем начинала звучать голос, вселюбящий тембр небывалой чистоты, звучало слово и открывалась новая тайна шаляпинского искусства — мысль, высокая мудрость, которую он вкладывал в каждую пропетую им фразу, в каждое слово. Пушкинский стих, мысль Пушкина нельзя передать иначе, чем передавал этот стих, эту мысль великий артист. И это особенно ощущалось в исполнении «Пророка».

Вдохновение и сила пушкинского стиха, торжественная мелодия, летели из уст артиста, потрясая театр. Он произносил, пел слова: «шестикрылый серафим на перепутье мне явился», и лицо его озарилось вдохновенным сиянием, и глаза открывались широко, точно они видели шестикрылого серафима. Он пел:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык
И празднословный, и лукавый...

Слово «вырвал» у него звучало, почти как шрик, с потрясающей силой, холод пробежал по телу от этого выкрика. Затем наступал торжественный финал благословения:

«Встань пророк и виждь и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей...»

Повисала звенящая, металлическая пота и вдруг неожиданно обрывалась, наступала мертвая тишина, затем обвал, грохот рукоплесканий, и гипноз кончался.

Порой мы говорим о концерте или спектакле: «Мы испытали чувство высокого удовлетворения». Не этими словами можно было передать свои впечатления от концерта Шаляпина. Что бы ни пел Шаляпин, все вызывало в нас умиление, изумление перед чудесным его даром, перед чудом искусства, и действительно это было чудо. Вспомните, это был Шаляпин в расцвете таланта, в расцвете зрелых творческих сил и абсолютного владычества над слушающими его, кто бы они ни были. Мы знаем, что народ, как тогда выражались, «простолюдины» слушали его с большим наслаждением, чем атактоки, сидевшие в первых рядах партера.

Горький однажды в Сорренто рассказывал нам, как Шаляпин, приехав к нему в гости в Арзамас, вечером пел у него в доме. Время было летнее, окна открыты, Шаляпин пел много, охотно и когда умолк, за окном послышались крики «Сызнавал!» и в окно полетели медяки. Это простолюдины, рабочий люд, собравшийся под окнами, простолюдно выражал свою благодарность певцу. Никто не увидел в этом обиды, было что-то трогательное в том, как люди хотели отблагодарить певца.

Автору этих строк доводилось видеть, как слушали Шаляпина матросы, солдаты, петроградские рабочие — неизъяснимое наслаждение было в их лицах, когда Шаляпин пел «Соловей мой, соловей, птица малая, лесная»; все то великое, что дала русская песня, русская музыка, врожденная музыкальность народа — все это поднималось в душе у людей, когда пел русский гений, выразитель врожденного таланта русского народа. «И скажу тебе от сердца слово — хорош есть на земле русский народ!». Добротный, даровитый народ, — писал Горький.

Еремка во «Вражьей силе», Галицкий в «Князе Игоре» — в этих образах видели Шаляпина петроградские матросы, красноармейцы, рабочие в серебряно-голубом зале бывшего Мариинского императорского театра.

У слушающих Шаляпина кружилась голова от разгульной, безудержной удачи Галицкого. Неискусственного, нового, прекрасного в своей непосредственности зрителя восхищала мощь и своеобразие музыки Бородина. Этот новый зритель не знал, что до Шаляпина партию Галицкого исполнял посредственный бас Чернов, и никто не замечал этого исполнителя. оперная партия Галицкого считалась невыигрышной, неинтересной для певца. После того, как в роли Галицкого выступил Шаляпин, кто-то из знатоков музыки в изумлении сказал: «Подумайте, ария Галицкого, ведь это настоящая музыка». Именно после выступления Шаляпина в «Князе Игоре» Владимир Васильевич Стасов, заслуги которого в борьбе за реалистическое, национальное, русское искусство неоценимы, написал об исполнении Шаляпиным партии Галицкого статью «Радость

безмерная...» В Шаляпине Стасов видел гениального исполнителя произведений Мусоргского, Бородина, Глинки, видел того, кто утвердит великое национальное русское оперное искусство во всем мире. Так оно и было... Увлечение, влюбленность Стасова в шаляпинский гений, действительно, были безмерны. Порой это выражалось как-то юношески романтично: однажды, когда Шаляпин приехал в гости к Стасову на дачу, в Старожиловку—в честь его был поднят на флагштоке лиловый стяг с надписью: «Моей сирене...»



И когда, после князя Галицкого, Шаляпин выступал во «Вражьей силе» в образе Еремки, и перед зрителем появлялся бесшабашный бродяга, перекасти-поле — так воплотить образ Еремки, так петь мог только человек из народа, плоть от плоти, кость от кости народной.

Уже знаменитый, известный всему миру артист Шаляпин порой говорил: «Я по паспорту крестьянский сын, — меня могут в волостном выпороть...» Отчасти это было кокетство, но правда была в том, что по законам Российской империи крестьян, т.е. податное сословие пороли в волости, и кому, как ни Шаляпину, сыну волостного писаря, это было известно. Кто, как ни он, знал, что в его неслыханной судьбе есть нечто от случайности: «Не зайди к нам певчие, с которыми я убежал из дому, — никогда бы не пел».

✓ Счастливый случай свел Шаляпина с Горьким в годы творческой молодости артиста. Горький—человек из народа—стал учителем другого гениального русского самородка, Шаляпина. У Горького Шаляпин научился понимать смысл слов, которые пел, и всему тому, чего не мог понять одной творческой интуицией артиста. Вспо-

миная эти времена, Горький рассказывал с улыбкой о том, как Шаляпин готовился петь Грозного в «Псковитянке». Горький советовал ему прочитать пьесу Мей. «А кто этот немец?» — простоудно спросил Шаляпин. Но Грозного пел так, как никто до него не пел. Шаляпин показал Грозного воином, грозой своих противников, а не злобным, скрипучим стариком, как его изображали на сцене до Шаляпина.

Пению и ритму Шаляпина учил в Тифлисе некто Усатов, — «совру — по башке нотами. Я ему самовар ставил, бегал за папиросами в лавочку». Ученье, начатое у Усатова в Тифлисе, Шаляпин завершил у Сергея Рахманинова. Русские художники, писатели, композиторы, замечательные драматические артисты — в их кругу простой деревенский парень учился и постигал смысл слова и власть музыки над душой человека. Он долго еще оставался русским самородком, человеком из народа, и когда говорил, что учится петь у народа, — это была чистая правда.

Когда его увлекала какая-нибудь значительная мысль или когда он слушал музыку, его лицо принимало сосредоточенное выражение, которое можно порой видеть у простого русского мастера, старающегося своим умом, смекалкой постигнуть секрет хитрого механизма, придуманного заморским механиком. Это было лицо простого русского человека, на Волге мы встречали такие лица у молодых, недавно работающих на заводах рабочих, и просто изумительно было, до чего могло преобразиться это лицо и являться то в образе Дон-Кихота, то в образе царя Бориса, то в образе злого духа—Мефистофеля. Но вот снят грим, и после спектакля в хорошем настроении, среди приятных ему людей Шаляпин начинает вполголоса «Лунинушку»... Действительно, он учился у народа; у плотовщиков на плотках, у рыбаков на тонях; у странствующих людей на пристанях он слышал эту тережащую душу грусть старой русской песни, ее удадь, ее безграничную ширь; и пока он жил на родной земле, эта песня была у него на слуху, звучала в его душе, когда же перестал жить на родной земле, перестал слышать народ, из которого вышел,—наступил закат. началось угасание гения, которым наградили Шаляпина природа, родная земля и народ...

Он мог уезжать из России на долгие месяцы, пересекать океан, петь миллионерам-скотоводам в Аргентине и сверхмиллионерам в Чикаго, в театре «Скала» в Милане и в Парижской опере, но он всегда возвращался на родину, опять слышал русскую речь, видел русские пейзажи—и не старел, и оставался прежним Шаляпиным, гениальным русским артистом. Утратив родину, он еще долго жил тем, что ему дали родная земля и народ, затем началось угасание, трагедия великого артиста. Но об этом речь впереди...

35 лет назад, в 1910 году, в Тифлисе Шаляпин был, как говорится, в великопеленной форме, и 35 лет спустя, закрыв глаза, я живо представляю себе эту богатырскую фигуру на сцене, соразмерное богатырское сложе-

ние, округлую мягкость его лица. Взгляд то огневой и яростный, то открытый и ясный, то лукавый, и томный, — точно разные люди цели «Менестреля» и «Блоху» или «Персидскую песню» Рубинштейна с ее жаркой истомой и сладчайшим пианиссимо.

Вероятно, в этот вечер Шаляпин был в хорошем расположении, он сам радовался своему успеху, его радовал темперамент тифлисской публики. Случалось слушать его в Петрограде и Москве, но, мне кажется, ничего равного успеху в Тифлисе я не видел. Это не был

стерством артиста, это было эхо революционных бурь 1905 года. Была эпоха реакции, все, что говорило молодежи о ненависти к «железным сердцам», вызывало возбуждение и подъем революционных чувств. Шаляпин пел «Два гренадера»; в последнем куплете, в аккомпанименте к этой балладе на слова Гейне, явственно слышится мелодия «Марсельезы». Шаляпин пел этот куплет с возрастающей силой, страстью и вдохновением:

«Знамена победно шумят...»

В сердцах молодежи все еще жил образ ар-



обычный «шляпинский» успех, обыкновенный концерт. В Тифлисе все было необыкновенно, никогда не приходилось слышать, чтобы Шаляпин так много пел, как в тот давно ушедший в прошлое вечер, и успех все возрастал и был нескончаемым. Шаляпина не отпускали со сцены, и он схитрил, стал декламировать стихи. Читал он «Кузнеца» Скитальца, читал не лучше драматических артистов и только в самом конце стихотворения «...и в железные сердца — бей!», в слове «бей» прозвучала металлическая нота шляпинской силы и вызвала бурю восторга. Впрочем, здесь было не только восхищение ма-

тиста, запевавшего вместе с народом «Дубинушку», артиста — друга молодости Максима Горького, и тем более была велика досада и разочарование, когда Шаляпин обманывал эти надежды молодежи.

Мы долго не уходили из театрального зала, потом погасили свет, и пришлось уйти. Ночь была холодная, дул ветер, но не хотелось вернуться домой после этого праздника. Мы долго говорили о Шаляпине.

Позднее мы видели Шаляпина в опере, но впечатления концерта не потускнели. В концерте не было световых эффектов, декораций, ор-

II

кестра, грима, костюма, не было шаляпинских пластичных движений вдоль сцены и в глубь ее. На подмостках стоял человек во фраке с нотным листом в руках. Иногда он чуть выдвигался вперед. Сначала было непонятно, почему артист как бы связывает себя, почему он почти избегает жестикаций, знаменитого шаляпинского жеста, взмаха руки, движения пальцев. Потом нас потрясала эта строгая классичность исполнения, мы начинали понимать, что Шаляпин в концерте — это одно, Шаляпин в опере — другое. Шаляпин, поющий романс на пушкинские слова — одно, Шаляпин, поющий шуточную песню — другое. Лицо его всегда было необычайно выразительным, трагическая или мечтательная улыбка возникала и исчезала на лице, когда этого требовал смысл песни или романса. И при этом чудесная свобода и уверенность во владении голосом, ни малейшего напряжения в самых трудных и сложных пассажах. Кажется, с этим голосом можно было сравнить только виолончель в руках великого мастера Пабло Казальса или Вержибиловича. Слово, музыка и жест гармонически сливались, раскрывая всю силу искусства, удивляя и восхищая...

Все редкостные дары природы были соединены в этом человеке — редкая музыкальность, абсолютный слух; стоило ему проглатывать романс, и он уже знал его. — Он слышал весь оркестр, слышал, как «фальшивит фатог или флейта», и при этом у этого поистине великого артиста было редчайшее чувство меры, еле заметной грани, за которой уже начиналась безвкусица и даже пошлость. И до Шаляпина пели романсы и песни его репертуара, и до Шаляпина пели «Он был титулярный советник», пели:

«И в винном тумане носилась

Пред ним генеральская дочь...»

Но когда Шаляпин чуть заплетаящимся языком, чуть-чуть покачивая головой, с замутившимся взглядом пел: «...ге-не-ральская дочь», — смех умиления и восторг перед даром артиста пробегали по рядам, потому что все видели несчастенького и в то же время смешного в своем горе пьяненького чиновника... Не будь этого «чуть-чуть», тончайшего чувства меры, получились бы пошлость.

В «Старом капрале» он пел:

«Кто там так громко рыдает...

Вдова вымолит мир мне у бога...»

В музыке мелодия звучит здесь, как самый обычный, чуть не «цыганский» романс. Но Шаляпин пел эту фразу так исключительным, «аж слеза прошибает», — говорили такие несентиментальные парни, как балтийские матросы. Бальная музыкальная фраза в устах Шаляпина звучала с необычайной силой, скорбью, значительностью.

«В искусстве «чуть-чуть» решает всё, — говорил Шаляпин, — если не «чуть-чуть» — тогда ноль».

Но великий артист сходил с подмостков и превращался в человека... И между артистом и человеком лежала пропасть.

Весной 1917 года в Крыму несколько русских кино-артистов снимались в художественных фильмах, которым предстояло появиться на экране летом этого же года. Среди этих кино-артистов были довольно известные по тем временам «звезды экрана», например В. Максимов, Полонский и другие. Молодому литератору, москвичу, уже испытывавшему свои способности в сочинении кино-сценариев, предложил приехать в Крым и сочинить тут же, так сказать, на ходу два-три сценария для будущих фильмов. Действие этих сценариев обязательно должно было происходить в Крыму — крымские пейзажи, парки, особняки-виллы были фоном, на котором предлагалось развить действие. Это было довольно несложное литературное рукоделие, если принять во внимание, что сценарий состоял из 60—70 сцен, помещавшихся в школьной тетрадке. Вместе с тем писать такие произведения было не легко, потому что тема ограничивалась треугольником — муж, жена и возлюбленный, и в пределах этого треугольника приходилось выдумывать любовную интригу с обязательным трагическим или лирическим концом при луне у моря или в кипарисовой аллее. Выдумать что-нибудь более сложное было трудно и, главное, это никак не устраивало акционерную компанию под названием «Биофильм». И в чудесный майский день в Гурзуфе автор сценария маялся над страданиями каких-нибудь Нины и Георгия, и это было в то время, когда эти выдуманные лица доживали свои последние дни... Но работа, было нужно, недаром же сочинителя сценариев привезли сюда, в Гурзуф, недаром ему платили гонорар, обещавший довольно безбедную жизнь на ближайшие два-три месяца. И автор какой-нибудь «Лунной магнолии» мучился на балконе над сюжетом кино-сценария, пока настоящие магнолии кружили ему голову и увлекали туда, где слышался плеск прибоя, смех и звонкие голоса молодежи.

Однажды, в утренний час, когда в муках творчества рождался очередной роман Тамары и Валерьяна, я услышал знакомый, доброжелательный голос:

— А вы все пишете, поэт... Приятно иметь соседом поэта.

Кто другой мог произнести эти слова, какой другой голос, кроме голоса Шаляпина, мог так сочно прозвучать в тишине майского утра?

— Зашли бы ко мне, сосед... Развлекали бы бедного артиста.

Я бросил в ящик тетрадку и пошел к «бедному» артисту.

Балкон Шаляпина был весь в цветах — тюльпанов и в Крыму не забывали «бедного» артиста.

— Вот там возьмите вино... Леонтьев, крымское. А стакан возьмите на террасе.

Признаться, меня удивило гостеприимство, оказанное неизвестному молодому человеку. Но сейчас же я узнал причину.

— С отцом вашим мы приятели. Заезжал он ко мне сюда, в Гурзуф, из Севастополя. Уговорил спеть матросам... Вот — память.

На диване лежала матросская форменка и бескозырка с георгиевскими ленточками и надписью золотом: «Пантелеймон».

— Любит вашего отца артисты, а мы редко кого любим... Характер хороший, не то что мой.

Он говорил с гостем, как со старым знакомым — благожелательно и запросто, без всякого высокомерия. Говорил так, может быть, потому, что его гость происходил из знакомой ему артистической семьи, а скорее потому, что гость не представлял собой никакой персоны, был, так сказать, никем и ничем, и доказывать ему свое величие не имело смысла. Кроме того чудесное утро и долгий отдых в Гурзуфе, видимо, привели Шаляпина в благодушное настроение.

Он взял с дивана матросскую бескозырку, надел ее на себя правильно, примерив так, чтобы кокарда пришлась над переносицей, — и вдруг я увидел красавца-матроса, хоть сейчас в гвардейский экипаж: были в гвардейском полку такие молодцы-флотские...

— Я так в Севастополе пел. Матросскую рубашку надел им на радость. Так и сюда приехал. Знакомых оторопь взяла: матрос, — уж не с обыском ли к великим князьям?

Он снял бескозырку и сел в кресло. Впервые так близко я видел Шаляпина. Это было приятное лицо русского человека, только что вступившего в зрелую пору жизни. Округлый мягкий подбородок, задорный нос с большими, верно двигающимися, открытыми ноздрями, чистый, умный лоб, вихор над лбом, большие глаза со светлыми ресницами. И все это при огромном росте, неторопливом и спокойном жесте, полном сдержанности и величия. Одет он был во все белое, и это увеличивало его огромную фигуру. Большая красивая рука небрежно держала папиросу.

Таков был Шаляпин, в расцвете сил, на 44-ом году жизни.

В одном рассказе писателя Буннина мимоходом сказано об артисте, напоминавшем екатерининского вельможу. Пожалуй, Шаляпин был похож на гвардии сержанта, на лейб-кампанца из тех, кто сажал на трон Елизавету Петровну и Екатерину. Вероятно, таким был молодой Рауковский (кстати, он был тоже из певчих) или Алексей Орлов или Румянцев. Такими рисовали «екатерининских орлов» Боровиковский и Левицкий. Когда Шаляпин пел Гремину в «Онегине», он, казалось, был создан для роли генерала Отечественной войны, скажем, Алексея Ермолова или Раевского... Помнится, он ехал однажды в санях, спускаясь по Кузнецкому мосту, в шубе и меховой шапке, и народ в удивлении глядел на него. Да, это была фигура!

И вот он сидел в плетеном кресле в трех шагах от меня и, покуривая папиросу, рассуждал:

— ...Слышал я как выди вчера спорили, все слышно, вечером тут тихо. Ну вот, как думаете, надолго все это? И когда кончат митинговать?

За триста лет хотя бы наговориться... Вы не подумайте, что я против. Я в Петербургский совет приезжал, — один из первых приехал, когда царя сбросили. На кой чорт он мне нужен? Я сам себе царь. Я, крестьянский сын, перед кем только шапку не ломал. Кому-кому, а мне этого не надо. Я полиции сроду не любил. По правде говоря — боялся. Я вот Шаляпин, меня весь мир знал, а пьяный жандармский ротмистр мог меня обидеть, оскорбить, даже убить мог, ей богу. Разве таких случаев не было? Потому я за границы любил жить, — там этого быть не может. Ну, ладно. Сбросили — хорошо. Но порядка же нету! — раздражаясь, продолжал он. — Нету порядка! В Мариинском театре одни собрания, ничего знать не хотят, полный разброд! Спектакли идут чорт знает как! Всякий тебе в глаза тычет: «Мол, не прежнее время, хватит!» Кому тычут — мне? Я много брал, но я ж и давал, слава богу... Хватит! Пока не кончится, буду жить здесь. Одно плохо, скоро жара начнется. Но осень здесь славная, к осени, я думаю, все наладится.

Таким запомнился мне этот разговор. И разговаривал Шаляпин о политике с московским студентом с тайной мыслью — студенты всегда занимались политикой, может, они больше других понимают в том, что происходит.

Поэтому он не раз звал меня и моих приятелей гулять в горы или на берег моря. И во раз мы слышали его степенную, неторопливую речь и порой очень острые и справедливые суждения о жизни, о прошлом и настоящем.

— Вы в газетах пишете? — строго допрашивал он автора этих строк.

— Редко. Только стихи.

— Это хорошо, что стихи. А то вдруг напишете все, что я вам тут как знакомому наговорил... Я вам вот что скажу: вот, говорят, я — грубиян... А кто говорит? — газетчики. Я Теляковского просил, чтобы в контракте написали: у моей уборной должны два солдата стоять с саблями наголо. И репортеров не пустил! Я — артист. Не последний артист. Уважайте меня, чорт вас возьми! А как обо мне пишут? Всякий сукин сын из «Петербургской газеты» может обо мне писать вот такими буквами: «Шаляпин — скандалист...» «Новый жуншток знаменитого баса». Чорт их побери! Я же живой человек, я отец, у меня дети растут, а что они про меня пишут? Срам! А люди думают — реклама. Спасибо за такую рекламу!

Он повел побелевшими от гнева глазами, и можно было представить себе его в припадке безудержного гнева.

— Я за границы жил. Там тоже газетчики — чума. Но ничего такого не может написать француз. Куда ему до нашего Ваньки Позднышева или Кугульского.

Прошло много лет и вот перед автором этих строк лежит старый иллюстрированный журнал «Искра», приложение к газете «Русское слово». Большая во весь лист фотография — Шаляпин в Лондоне напает пластинки. Он без пиджака, левая рука в проеме жилета, в пра-

вой папироса. Голова откинута, глаза полузакрыты. Шаяпин поет, лицо одухотворенное, он нарочно не глядит в звукозаписывающий аппарат. Другая фотография — Шаяпин слушает себя, слушает пластинку. В лице сосредоточенное внимание, напряженность — он сам себе строгий судья. Наконец — Шаяпин на улице, на нем серый цилиндр, серое свободно падающее с его широких плеч пальто, снисходительно-рассеянный взгляд — он в Лондоне, за границей, во всем его облике чувство внутреннего достоинства и даже величие. Великий русский артист за границей. И над этими тремя фотографиями такой заголовок:

«Перед отъездом в Москву к осеннему сезону Ф. И. Шаяпин заехал в Лондон по приглашению богатых американцев и напел для граммофонных пластинок несколько песен на русском и итальянском языках. Неизвестно сколько получил Ф. И. Шаяпин за это выступление, но стоустая молва говорит, что этот гонорар «по-американски» колоссален.»

Пошлость волочилась по следам артиста, пошлость и развязная реклама сопутствовала заслуженной шаяпинской славе, фельетоны в стихах и прозе, репортажные заметки, подобные приведенной выше, куплеты с шантанной вставкой. Куплетист кафешантана под фамилией Убийко пел:

«Если б был я, как Шаяпин Федя,
Я рычал бы на манер медведя,
Распевал бы всюду громким басом
И хористок бил бы по мордасам.»

Но можно ли было ожидать другого отношения к артисту от газет вроде «Раннего утра» или «Вечернего времени», где деляги-фармацевты печатали объявления о «солодо-экстрактных карамелях с диастазом от кашля, хрипоты и отделения мокроты» и называли эти карамели то «Пушкин», то «Шаяпин», в зависимости от спроса. Можно ли после этого сказать, что в дореволюционные времена всегда относились с должным уважением к тому, кто был славой и гордостью страны?

О Шаяпине написаны десятки тысяч строк, и большая часть того, что написано — пошлые заметки бульварных газет о шаяпинских скандалах, шаяпинских гонорах, шаяпинских причудах, и меньшая часть о значении его как артиста для русского и всемирного искусства.

Дорошевич — король дореволюционной журналистики — писал о Шаяпине пространные подвалы-фельетоны в том вульгарном, фамильярном стиле, который он ввел в последние годы своей деятельности. Трудно было поверить, что так безвкусно, развязно и пошло писал Дорошевич, автор интересной книги «Сахалин». Конечно, о Шаяпине писали и в другом стиле, писали серьезно и вдумчиво, и уважительно, но все это тонуло в море бульварной пошлости, и тон задавала газета «Русское слово», имевшая по тем временам неслыханный тираж. Если подумать об этом, становится понятно, почему Шаяпин в раздражении требовал от Теляков-

ского, чтобы вход в его театральную уборную охраняли два солдата с саблями наголо.

Может быть, тут было не без рисовки, и если бы вдруг замолчали газеты, Шаяпин забеспокоился бы и заставил заговорить о себе, — все же он был очень ладок на рекламу, любил фотографироваться, позировать знаменитым художникам, любил все то, что увеличивало его славу, ссорился с людьми, перед которыми приходилось утверждать свое величие. Когда же слава пришла, с ней вместе пришла суетность, толки, пересуды, сплетни, любопытство к личной жизни артиста, желание славы иногда уступало место раздражению, враждебности к тем, кто делал себе репортёрскую карьеру на так называемых шаяпинских «инцидентах».

Был, впрочем, один репортёр, которого Шаяпин не только терпел, но считал среди своих приближенных. Фамилия этого репортёра была Двинский и работал он в «Вечерних биржевых ведомостях», попросту «Биржевке», как ее называли петербуржцы. Шаяпин не без юмора вспоминал Двинского в Париже, много лет спустя, и об одном подвиге Двинского он рассказывал с особым удовольствием, вспоминая прошлые дни.

Трудно передать своеобразие шаяпинской речи, ее склад, но в общем Шаяпин рассказывал так:

— Пел я в Маринском «Русалку». Давно не пел мельника — Питер шумит, масса разговору. В день спектакля всех замучил, всех загонял — и хор, и оркестр и сам замучился. Другим важно себя показать, пока, мол, я на сцене — все должно быть по-хорошему, а там как хотите.. А я так не могу. Во все суюсь. Ну, сижу у себя в уборной, весь в поту, полотенцем утираюсь. Говорят, просится ко мне Двинский. Думаю, пусть войдет, пусть болтает, все-таки развлекает, немного отойду. Я его почему-то любил. И было за что — увидите. Садится против меня и говорит: «Жаль, я не услышу тебя сегодня, Федор Иванович.. У меня годовщина свадьбы, во всяком случае, постараюсь забежать в театр.» «Интересно знать, как это ты «забежишь», если билеты за месяц раскуплены. Романовы в театр собираются, так что для Двинского места никак не найти.» А он этак нахально говорит: «Ну, если Двинскому очень захочется вас послушать, то для него место найдется.» «Да ну?» «Ей-богу, найдется.» «Нет, уж — посиди дома ради семейного праздника. Хочешь пари — не бывать тебе сегодня в театре.» А этот нахал возьми и скажи: «Зачем пари? Я порядочный человек, и зачем мне вас обирать?» «Это ты «порядочный человек»? В первый раз слышу. Ну так вот тебе мое слово — духа твоего сегодня в театре не будет!» «Не смеши меня, говорит, Федор Иванович.» Ну, тут я не стерпел и выгнал его. И тут же позвал полицеймейстера театра (тогда при императорских театрах полицеймейстеры были) и говорю: «Полковник, вы Двинского из «Биржевки» знаете? Чтoб его духа сегодня в театре не было на «Русалке». Появится — не выйду на сцену,

пока не выгоните.» «Охотно, Федор Иванович. Сегодня такой спектакль — высочайшие особы будут.» Ну, вечером — «Русалка». Распелся я, чувствую, успех, лечу как на крыльях, занавес, вызовы без конца. Глажу в публику — глазами не верю, в проходе стоит Двинский, хлопает и ухмыляется. Чорт! Меня даже смех взял — послал за ним и спрашиваю: «Ну, чорт этакий, как ты пролез?» «Очень, говорит, просто, встал в проходе под самой царской ложей и стою. Подходят ко мне, спрашивают билет, а я отвечаю одно: «По долгу службы», а наверху царская ложа, а я как будто охрана... И все от меня подальше.» Понимаете? Вот какой человек был двинский. Как вспоминаю этот случай — смеюсь. А Двинского любил. Умер, бедный, наверно. Я его любил, его одного — из всех репортеров.

И сумрачная задумчивость, тень грусти о прожитой жизни легла на лицо артиста.

В Крыму он сильно скучал, поэтому был общителен и разговорчив. Мы заговорили о кинематографе. Это была для Шаляпина не очень приятная тема. В те давние времена, на заре русского кинематографа Шаляпин сделал попытку сняться в фильме в роли Ивана Грозного. Он говорил об этом случае довольно сердито и было отчего сердиться. Подозрительный, недоверчивый к людям Шаляпин, как это часто бывает, попался на удочку темным и ловким дельцам, которые умели его расположить к себе.

— Был такой разбойник. И фамилия разбойничья — Иванов-Гай. Разговорчивый такой, разбитной, жуликоватый. В бане познакомился. В бане люди хоть и голые, а души не увидишь... Понравился мне он чем-то. Уж не помню, кто его ко мне привел. «Федор Иванович, вы, да в кинематографе, миллионы людей мечтают вас увидеть, не то что б услышать, увидеть, и того довольно. Да еще в Грозном.» Уговорил, прокатил. Получился один срам. Приезжаю на съемку. Стоят какие-то статисты, шулапы народцы на полицейских клячах верхом. Это кто такие? Отвечают — «царские сокольничьи», в руках держат чучела, ну, птички чучела. Сами чучела гороховые и с чучелами в руках. Это, значит, соколиную охоту снимают. Я как посмотрю на них... А разбойник Гай мне говорит: «Вы не волнуйтесь, Федор Иванович, ради бога! Это у них вид такой непрезентабельный, все они студенты, интеллигентные люди...» Так что из того, что студенты, что мне их в репетиторы нанимать? А что за костюмы на них? «Костюмы, говорит, в стиле эпохи из костюмерной Зимина.» Ну-ну... Одежда я, грим сделал для Грозного такой, как я думал, моложе сделал его, чем в «Псковитянке». Все обдумал, что к чему. Выхожу. Вижу, наделились в меня двое с аппаратами, и к чему-то в поле прутьки натыканы. «Это для чего?» А мне говорят: «Вот, будьте добры, ходите отсюда и досюда, не ближе и не дальше, шесть аршин». Вы что, с ума сошли? «Да нет, говорят. Федор Иванович, такова техника, оптика и тому подобное...» Посмотрел я на Иванова-Гая, он задрожал. «Ей богу, закон техники, хоть кого

спросите. Вот тут француз-оператор.» Ну, я говорю, вот что: прутьки эти к чорту, я буду ходить и играть, а эти с аппаратами пусть ходят за мной и снимают. «Так, говорят, невозможно, до этого еще кинематограф не дошел.» Я ему не поверил, спросил у француз — оказывается, правда. Надо было мне прогнать их всех, и дело с концом. Но пойдя ж ты, уговорил меня, жулик. Один срам получился.

Разговор шел при нашем кино-операторе. Это был очень веселый, похожий на негра молодой человек и, слушая Шаляпина, он покатывался со смеху. Все было правда: действительно, в те годы кинематограф был в стадии развития, съемки в движении, панорамой наши операторы еще не знали.

— Смеешься... Дальше что было: ну, какая может быть игра — два шага вперед, два шага назад. Я все сломал, думаю, все дам одним лицом, глазами, никакой суеты. Стал играть, — солнышко светит, ветерок обдувает, церковка старинная на зеленом лугу, на пригорке, все настоящее, не как в театре. Я даже загорелся, представилось мне, может быть и впрямь сюда Грозный на охоту ездил... Вдруг кричат: «Стойте, Федор Иванович, стойте!» Что такое? Солнце за тучку зашло, нельзя снимать. Сорвали мне настроение. Нет, уж это не по мне. Какое это искусство? Больше такого срама со мной не будет... А другие могут, скажем, Мозжухин или Полонский. Или не везет мне, что ли? Никогда не буду сниматься.

Однако Шаляпин снимался для экрана, когда появился звуковой кинематограф. Он снялся в фильме-опере «Дон-Кихот» Маснэ, но большого успеха не было. Действительно, ему не везло в кинематографе. Кажется, не осталось даже пленки с записью его голоса, нет звукового фильма, показывающего Шаляпина в концерте.

Однажды, после полудня, мы сидели на балконе и выдумывали трогательные переживания для героя кино-фильма. За спущенной маркизой, на соседнем балконе можно было слышать шест газетных листов и неодобрительное покашливание Шаляпина. Он часто спускал шторы, несмотря на духоту, — ему досаждали прохожие. Любопытствующие норовили лишний раз пройти мимо балкона, где можно было увидеть «самого Шаляпина». Вдруг я увидел стройного молодого человека в военной форме, в потах вольноопределяющегося. Щегольски сшитая гимнастерка, обшита по рукам и воротнику синей тесьмой, обозначала принадлежность к гвардии, верх фуражки вольноопределяющегося, белый, суконный, говорил о том же.

Вольноопределяющийся приложил руку в белой перчатке к козырьку и позвал: «Федор Иванович!..»

Шаляпин заскрипел стулом, выглянул и неожиданно вежливо, даже с чуть заметным подобострастием поздоровался с вольноопределяющимся. Он позвал его к себе и даже вышел в коридор встретить.

Они долго сидели на балконе, молодой человек был очень красив, пожалуй, даже слишком красив для скромной, походной солдатской

формы. Приятель, зашедший к нам, поглядел в ту сторону, где на перилах балкона сидел вольноопределяющийся:

— Знаешь кто это? Это Феликс Юсупов.

Фамилию эту в те времена знали все и не потому, что Юсуповы были богатейшими вельможами в старой России, и не потому, что Феликс Юсупов женился на великой княжне, что было против обычаев в царской семье. Знали потому, что этот красивый, женственный и изящный молодой человек был одним из убийц Григория Распутина.

Весной 1917 года вдова Александра III, бывшие великие князья и их семьи жили под домашним арестом в своих дворцах на южном берегу Крыма. По приказу Временного правительства местные власти относились к ним с предупредительной вежливостью, и только севастопольские матросы разрешали себе проверять, чем занимаются Романовы и их приближенные на берегу Крыма.

Юсупов жил вместе с родичами своими и, пользуясь тем, что носил форму вольноопределяющегося, нижнего чина, и тем, что не числился под домашним арестом (должно быть за то, что убил Распутина), приехал повидать старого знакомого, Шаляпина. Впрочем, он пробыл недолго, не больше получаса и уехал. Когда Шаляпина спросили об этом визите, он ответил несколько смущенно:

— Да. Знакомый. Да и тот, другой, Дмитрий Павлович, тоже мне знаком. Вообще я кое-кого из Романовых знал. Им, сами понимаете, интересно, какой такой Шаляпин — из мужиков, а смотрите — фигура... Ну, по прошлым временам лестно было, теперь это ни к чему... Красивый молодой человек, образованный... — и вдруг добавил, — Распутина они втроем убивали, навалились, как на конокрада, всем миром... Довольно, в общем, противно, трое на одного... Я и Распутина как-то видал. Да мало кого я не видал в жизни. С Азефом у Горького в городки играл, ей богу. Ну, понятно, не знал, кто он такой, да и Горький, конечно, не знал, что за птица. А после он мне говорит: «Вот, Федор, с кем ты, оказывается, в городки играл, с Азефом...»

И он засмеялся, и вдруг, насторожившись, поглядел вдаль:

— Вон, Верочка идет...

И помахав тростью, он довольно скорым шагом пошел догонять Верочку, 18-летнюю девушку, скромнейшую театральную портниху, которая приехала вместе с кино-экспедицией в Гурзуф.

Светские дамы и жены московских миллионеров, уехавшие в Крым от тревожных событий в столицах и отдыхавшие от этих событий в Крыму, были возмущены и скандализированы. Федор Шаляпин предпочитал их обществу — общество голубоглазых, румяной и белокурой девушки, портнихи, ученицы театральной костюмерной. В темные крымские ночи, в кипарисовых аллеях можно было увидеть две белые тени — огромную, мощную фигуру Шаляпина и хрупкий силуэт девушки. Они гуляли в парке, и по временам, в темноте, слышался звонкий,

мелодичный смех девушки и рокот шаляпинского баса.

Ничего предосудительного не было в этих ночных прогулках. Многим казалось странным, что Верочка этим прогулкам с самим Шаляпиным предпочитала более отдаленные прогулки в скалы близ Суук-Су с кино-оператором Гришей, веселым и разбитым парнем в берете.

Здесь, в Крыму, Шаляпин напоминал льва на отдыхе. Собеседник, видевший его впервые, удивлялся, тот ли это Шаляпин — вздорный, взбалмошный, с внезапными вспышками гнева, озорной себялюб. Он видел перед собой доброго великана из детской сказки, обходительного, внимательного, обаятельного артиста-хозяина. Но стоило человеку поверить в эту простоту, благодущие и проявить к Шаляпину хоть тень невнимания, — он чувствовал железную руку сквозь бархатную перчатку. Шаляпин любил, чтобы его слушали, рассказчик он был редкостный, правда, он повторялся, и нам случалось во второй и в третий раз слушать одну и ту же историю о том, как русский купец поспорил с английским, о том, кто кого перепьет: русские приказчики англичан или англичане русских приказчиков. Или другую историю о том, как он ехал в Москве с пьяненьким извозчиком. Извозчик всю дорогу пел во все горло.

— Спрашиваю его: ты с чего это распеялся? Отвечает: «Я когда пьян, всегда пою». А я ему и говорю: а вот, когда я пьян — за меня Влазов поет, есть такой бас...

Многих удивляла в Шаляпине его страсть к обогащению, желание приобретать, покупать — ценные картины, землю, дома. Удивляли внезапные припадки алчности; он мог отказать студентам в просьбе участвовать в благотворительном концерте, потребовать неслыханный гонорар, но мог и петь всю ночь приятелям где-нибудь в кабинете, ресторане, уехать с Горьким на три дня на рыбную ловлю и петь ему одному — над ними было небо, вокруг море и ни единой души, кроме Горького. Он мог выстроить школу в Малитовке, в Нижнем, поручить заботы об этой единственной в те времена школе с производственным уклоном тому же Горькому. Он часто пел в основном им лаза-рете, пел раненым солдатам, но это не мешало ему отказать в скромной просьбе бывшему его приятелю, старому товарищу, с которым он делил нужду в молодые годы.

Все это, конечно, мы знали, но настолько была велика власть его артистического обаяния, что эти противоречия характера, эта пропасть, лежащая между Шаляпиным-артистом и Шаляпиным-человеком, как бы не существовала для нас в ту крымскую весну. Мы, сами того не замечая, превратились в его верную свиту, в его поклонников, хотя среди нас были артисты, завоевавшие себе имя и славу, и не только в кинематографии. И Шаляпину нравились это поклонение здесь, вдали от столиц, бескорыстное поклонение его таланту. И он сумел показать свое благоволение окружавшей его молодежи.

По дороге из Гурзуфа в Суук-су можно было еще недавно видеть железную ограду и калитку. За оградой не было и следа жилья. Одно-

кая тропа вела на скалу над гротом. Все вокруг принадлежало богатой землевладелице, некой Денисовой, но скала принадлежала Шаляпину. Кажется, до сих пор это место называется «скала Шаляпина». Отсюда с огромной высоты открывается море и Аю-Даг — точно спина медведя, жадно припавшего к воде.

Однажды вечером к скале Шаляпина двинулась странная процессия с фонарями и свечами под стеклянными колпаками. Здесь были артисты, приглашенные Шаляпиным гитаристы, и знакомые рыбаки из Гурзуфа, и повара из ресторана-поплавка. Шествие двигалось уже в темноте, когда парк опустел и не было любопытных. Ночь была темная, луна была на ущербе. На скале у костра стояли симметрично расставленные четыре боченка. Костер горел, раздуваемый ночным ветерком с моря, жарил шашлыки, потрескивал бараний жир. Владелец скалы лежал на ковре в превосходном настроении. Он рассказывал анекдот о волжском купце, поехавшем в первый раз за границу, и о том, как, попав в Гамбург, купцу записал на гамбургском вокзале. И спяну снова сел в поезд и вернулся в Нижний-Новгород. Когда же спрашивали купца о загранице, он неизменно повторял: «Ну и пьют же в Гамбурге, ну и пьют!», хотя пил, собственно, он один и притом в полном одиночестве.

Я слушал этот рассказ во второй раз, но не мог не смеяться: уж очень живо и притом с комической серьезностью рассказывал Шаляпин эту забавную историю. Потом драматическая актриса читала стихи Некрасова, читала отрывок из «Русских женщин» очень тепло и трогательно.

Костер погас, боченки с вином пустели, зазвенели гитары. Луна зашла за горный кряж, стало совсем темно, догорели свечи в стеклянных колпаках. ярко светили звезды, была теплая крымская ночь, трещали цикады и чуть слышно долетал до скалы тихий плеск прибоя. И неожиданно Шаляпин запел. Он пел без аккомпанемента «Лучинушку», — как странно, как чудесно прозвучала в южную ночь, на скале над морем, русская песня. И с этой минуты он пел песню за песней, не заставляя себя просить, подливая гостям вино, пел в каком-то радостном, снизошедшем на него вдохновении. Он пел «Сомнения» Глинки. С каким-то сдавленным рыданием и горечью пропел слова:

«Не верю, не верю обетам коварным...»

И такая укоризна, такая печаль была в этом неповторимом голосе, что женщины украдкой вытирали набегающие слезы...

За горным склоном поднималось солнце, звезды бледнели, нежно-голубым, бледным сиянием открылось нам с огромной высоты море и вдруг, подняв высоко еле мерцавший фонарь, Шаляпин запел:

«Ты солнце святое, — гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным рассветом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется
тьма!»

III

Это было в мае 1917 года, 27 лет назад, в Крыму, в Гурзуфе, на скале, которую и теперь называют скалой Шаляпина.

Четыре образа, четыре трудных, прямо противоположных оперных партии встают перед автором этих строк, человеком из публики, не специалистом в области оперной музыки, когда он думает о великом артисте, которого уже нет в живых...

Борис Годунов. Мефистофель в «Фаусте» Гуно. Еремка во «Вражьей силе» Серова. Дон Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини.

Можно назвать еще десять оперных партий, в которых до сих пор никем не превзойден Шаляпин, но это не монография об артисте Шаляпине.

Начну с Мефистофеля.

Это был самый обыкновенный оперный спектакль в частной опере Зимина, в нынешнем филиале Большого театра.

У Зимина пели средние, порой и выдающиеся певцы и певицы. Вероятно, в «Фаусте» выступали очень добросовестные и одаренные артисты, но кроме образа Мефистофеля, кроме Шаляпина, ни одно имя не осталось в памяти. И это не гимн славы, всемирной известности, не гипноз имени. Этот гипноз действует при первом появлении артиста на сцене, вернее, даже до его появления. Мало того, мы не раз замечали, что иному зрителю доставляет какое-то удовольствие остаться неудовлетворенным, небрежно сказать: «я ожидал большего».

В первой картине, когда раздались звуки этого изумительного голоса, по залу прошло движение. В полумраке комнаты Фауста трудно было разглядеть большую, возникшую над Фаустом тень злого духа. Но поднялся занавес над второй картиной, открылась площадь средневекового города, залитая светом. В толпе хористов кружились горожане и горожанки, звучал пленительный и жизнерадостный вальс Гуно. Однако все это зрелище походило на костюмированный бал; было слишком условным даже для оперного спектакля. И вдруг среди ряженных, среди оперных горожанок и горожан возникла странная фигура в коротком испанском плаще, стройная и легкая, несмотря на огромный рост, с грацией хищника скользившая в толпе. Возникло и приковало к себе взгляды злобно-веселое, смуглое лицо с летящими вверх косыми бровями. Злой дух двинулся слегка раскачиваясь, полы плаща развеивались, шпага подкидывала плащ, злой дух скользил походкой бретера, искателя приключений, загадочного испанского гидуальго, точно сейчас сошедшего с полотна великого испанского мастера-живописца. Злой дух возникал в толпе, то в одном, то в другом конце площади, слепя глаза, почти как молния, — и уже нельзя было отвести глаз от сцены, и все казалось почти реальным и в то же время фантастическим. Вдруг в оркестре, как яростный, свистящий порыв ветра, прозвучала знакомая мелодия, вступление к арии о золотом тельце, и над всем, что было на сцене, поднялся

злой дух, смуглое, злое и веселое его лицо с летящими вверх косыми бровями, и прозвучало саркастическое, знакомое, всегда потрясающее:

«На земле весь род людской
Чтит один кумир священный...»

В картине в саду у Марты Мефистофель двигался какой-то кошачьей блудливой походкой, покачиваясь, играя бедрами. Шел дьявол-прелюбодей... Но вдруг эта маска слетала, и дух зла поднимался над цветами, как адское пламя, и в полумраке начиналось заклинание цветов. Как хотите, но временами становилось жутко — такова была сила воздействия шалаяпинского таланта. И опять другим был Шалаяпин в сцене ночной серенады у балкона Маргариты, когда его пальцы пробежали по струнам люти и он весь изгибался в язвительной издевке над бедной жертвой своей. Наконец, безжалостный, неумолимый, как рок, он выросал у портала церкви — воплощенное угрызение совести, терзающее девушку за то, что осмелилась любить.

У Шалаяпина мудро и глубоко звучали бедные слова, которые вложил ему в уста либреттист, он видел глубже и дальше артистов, исполнявших до него запятые оперные партии.

Тенор, вот кто царил в опере, тенор или баритон, и надо ли лишний раз повторять, что Шалаяпин произвел переворот в оперном искусстве. После Шалаяпина нельзя петь его партии так, как пели до него певцы, обладавшие иногда прекрасными голосами. Можно ли после Шалаяпина появиться на сцене в традиционном гриме Мефистофеля с эспаньолкой и закрученными кверху усами и утробным голосом петь про сатану, который правит бал, с оперными жестами, высмеянными в пародии «Вампука»? Те, кто слышал Шалаяпина, понимали это, когда он был в живых, и тем более поняли, когда он умер.

Не легко далась Шалаяпину его новаторская роль в оперном искусстве. И как часто «шалаяпинские скандалы» с дирижерами, оркестром, хорами и режиссерами происходили оттого, что он хорошо понимал: не один только редкостный его дар воздействует на публику. Сила воздействия его великолепного таланта зависела от оперного спектакля в целом, от певцов и певиц — его партнеров, от оркестра, хора, от дирижера и режиссера спектакля, от художника, наконец, от последнего статиста, который, стоя где-нибудь на заднем плане, привык меланхолично чесать древком аллебарды ногу. И его привлекал глаз Шалаяпина. И вдруг глаза его белели от гнева, его начинало трясти от ярости, и происходили знаменитые шалаяпинские скандалы, от которых страдали в большинстве случаев не маленькие люди, а почтенные, но довольно равнодушные к судьбам искусства театральные деятели.

Однажды, когда на репетиции ему дали бутфорскую балаалайку, он в бешенстве сломал ее и закричал: «Да неужели же за рубль сорок копеек нельзя купить настоящую!» Он требовал настоящего в искусстве, настоящего, взыскательного отношения к тому, что происходило

на сцене, он был фанатиком искусства в те годы, когда пел в родной стране, перед соотечественниками.

В сущности, он мог бы в расцвете своей славы и гения вести себя, как другие знаменитые гастролеры, итальянские залетные соловьи — Ансельми, Батистини, Карузо. Они пели, не обращая внимания на то, что делалось на сцене до их выхода и что было после их выхода. Они заботились только о том, чтобы оркестр и хор и дирижеры вступали вовремя и не мешали им. У них была счастливая жизнь, счастливая старость, как например у Мазини, они были «небожителями», о них и писали только лестное и приятное, они уходили на покой богатыми людьми. А Шалаяпин восвал с дирижерами: «Есть дирижеры, которые не знают, что такое музыка, играют, как на балах». Он объяснял это достаточно ясно своему старому другу, художнику Коровину: «Дирижер не понимает — не выходит то, что я хочу... А если не выходит то, что я хочу, тогда как же? Выходит «около», как говорил Шалаяпин, но не настоящее, полноценное искусство, не то, чего он добивался.

Один из любимых Шалаяпиным дирижеров Труфи говорил: «Если делать все, что ты хочешь, после спектакля можно лечь в больницу». Этот же Труфи говорил про Шалаяпина: «Чорт Иванович! Постоянно меняет, и все хорошо».

Можно сказать с полной достоверностью, что образ, созданный Шалаяпиным, сотни раз повторенный им, как, скажем, Борис Годунов или Мефистофель, не повторялся в точности ни в одном спектакле. Было что-то, почти неразличимое, но явное, что отличало Шалаяпина в каждом новом спектакле, какой-то штрих, какой-то жест, какое-то новое толкование музыкальной фразы. Это особенно легко проследить на протяжении нескольких лет, когда зачастую менялся и весь образ давно созданной Шалаяпиным оперной партии. Далее я расскажу, как в «Фаусте», спустя семнадцать лет после спектакля в опере Зимина, в Москве, странно изменился образ того же Мефистофеля.

Все, кому доводилось работать с Шалаяпиным, пишут о его строгом, взыскательном отношении к искусству. Он мог бражничать, мог отменить спектакль, но на сцене был строг и взыскателен к себе, как и к другим. Были у него иногда какие-то провалы в отдельных сценах, пустые места, бывал на сцене временами какой-то отсутствующий Шалаяпин, но вдруг, в одно мгновение, происходило что-то непостижимое для зрителя, — артист воодушевлялся, загорался, и перед зрителями во весь рост вставал вдохновенный художник, артист, как говорится, милостью божьей. И холод вдруг пробегал по жилам, когда Шалаяпин пел: «Тяжка десница грозного судьи», или в «Демоне» обольстительно, проникновенно и страстно звучало: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно...» и дальше: «Он слышит райские напевы...» Только сущий демон мог так пропеть, произнести, чуть иронизируя и вместе с тем обольщая, очаровывая Тамару, эти лермонтовские стихи...

Да, великий, великий был артист!

Говорят, что Шаляпина всегда угнетала мысль: певец смертен—произведение искусства вечно. Он, бывало, говорил Горькому: «Алексей, после тебя останутся книги, останется Максим Горький, а я без голоса кому нужен? А когда помру, вообще ничего не останется...» Но в то-то и дело, что от Шаляпина дошли до нас, сохранились не одни только грамофонные пластинки. Остались созданные им или почти заново созданные образы искусства, и каждый молодой певец, которому доводится петь оперную партию, петую Шаляпиным, ищет и находит людей, слышавших в этой опере «самого Шаляпина», и читает ветхие газетные статьи и книги, в которых рассказывается о том, как пел в этой опере сам Шаляпин, в Москве, в Петрограде, на родине, за границей.

После Мефистофеля, после злого духа, сверхестественного существа, духа тьмы и греха — в «Севильском цирюльнике» вдруг длинная, худая, комическая фигура в обтягивающей тело черной сутане и шляпе в метр длины с загнутыми полями — дон Базилио. Можно сказать, это был шарж, живая карикатура. Самая подвижность и легкость этой нелепой фигуры точно говорила о шалости, шутке великого артиста. Он сам как бы забавлялся очаровательной мюзыкой России и стремительным развитием сюжета, созданным Бомарше, и забавлял и восхищал зрителей. Но исполнение знаменитой арии о клевете не было простой шалостью или гениальным шаржем. Ария эта превращалась в своего рода символ. Шаляпин выразительно показывал, именно показывал, как зрел, ширится, растет, разрастается клевета и в конце концов, взрывается, как бомба. Комическая долговязая фигура с длинной шеей, длинными руками и вытянутым утиным носом вдруг вырастала и чуть не касалась головой портала сцены. И снова во внешнем облике артиста было что-то от гениальных иллюстраций сатиры Рабле, изумительный шарж, карикатура, — таким был Базилио у Шаляпина. И это после inferнального, сверхестественного духа зла в «Фаусте»! Непостижимое перевоплощение!

Таким был внешний облик. Но фраза, «музыкальная фраза—это главное», любил повторять Шаляпин. «Все дело в фразе», в паузе, которая долго обдумывалась и наконец нашла себе место. «Помни паузу!»—говорил дирижерам Шаляпин. Пел он вдохновенно, это правда, но вдохновению этому предшествовала долгая работа творческой мысли:

«Думать надо, думать надо всю жизнь, а работать (на сцене) всего полчаса.»

В «Севильском цирюльнике» он оставался на сцене менее, чем полчаса, но присутствие его на сцене озаряло ее, и петь с Шаляпиным было радостью и в то же время мучением для партнеров.

Кстати, следует сказать, что Шаляпин, не терпевший соперничества, не любивший делить успех в спектакле, иногда изменял себе. Артистка В. В. Барсова рассказывала пишущему эти строки, как в Риге, в «Севильском цирюльнике» певший с ней в одном спектакле Шаляпин бук-

вально рыцарски делил с ней успех и старался показать зрителям свое уважение к таланту нашей артистки.

После дона Базилио — разгульный, озорной, кабацкая душа — Еремка во «Вражьей силе» Серова.

Вспоминая Шаляпина, Горький порой говорил об одной свойственной этому характеру черте—озорстве великого артиста.

Однажды у Горького спросили:

— Как думаете, Алексей Максимович, умный человек Шаляпин?

Горький вскинул глаза на собеседника и, пристально поглядев, ответил вопросом:

— А вы как думаете?

— Если судить по тому, как он поет хотя бы «Пророка», да и по многому другому — умный.

Горький снова поглядел на собеседника, наклонился и взволнованным голосом сказал:

— Умнейший мужик. Умнейший.. в своем деле.

Дело Шаляпина было его искусство. А в жизни, как иногда говорил о нем Горький:

— Чудак какой-то... Да что «чудак», просто озорник.

Вспоминалась правдивая история, которая произошла с Шаляпиным однажды в Праге. В одном скромном кабаке Шаляпин вздумал рисовать на скатерти. Вообще он рисовал хорошо, рисовал всюду, где придется. Рисунки Шаляпина одобряли такие судьи, как Серов и Репин. Хозяйка кабака, увидев рисунок на скатерти, заволновалась и потребовала деньги за испорченную скатерть. Шаляпин не споря заплатил и пожелал, чтобы ему отдали скатерть. Скатерть свернули и вручили ему. Но тут кто-то из гостей сказал хозяйке, что она сделала явную глупость. Скатерть с рисунком самого Шаляпина следует вставить в раму и повесить на стене, как доказательство того, что этот скромный кабачок посетил знаменитый артист. Хозяйка попросила у Шаляпина вернуть ей скатерть и положила перед артистом уплаченные ей за скатерть десять крон. «Как, десять? Всего десять?» — спросил Шаляпин. — Пятьдесят крон и ни гроша меньше.» И он получил с хозяйки за скатерть ровно пятьдесят крон, заработав таким образом на своем рисовальном искусстве, и ушел в прекрасном настроении. Разве это не озорство?

Озорником он был в образе Еремки, во «Вражьей силе». И не только озорником. Это был бедовый малый, прохожий человек, бражник, которому пальца в рот не клади, ходи рядом да оглядываясь, все проплет, и свое и чужое, да еще и прирежет, варнак... Были такие типы в старой отошедшей Руси.

В годы революции реакционно настроенные деятели искусства, да и некоторые литераторы, искали в образе Еремки своеобразный символ, а в знаменитой «Широкой масленице», которую, как никто до него, пел Шаляпин, видели некое отображение русского бунта. Размах, разгул, широкая удаль—все это присутствовало в исполнении Шаляпина, и особенно трагично и мрачно звучал погребальный напевом финал.

Шалаяпин приводил в трепет и изумление театр в сцене у кабака. Стоило поглядеть, как Еремка ломается, кобенится у входа в кабак, как его жорчит, поводит, а он все еще кобенится: «хочу зайду, хочу не зайду», а ноги сами несут его в кабак, и он не то что входит, а как-то рыбкой ныряет в дверь кабака. Только артист, повидавший на своем веку волжскую голытьбу, бесшабашных пропойц, мог так показать кабацкую, погибшую душу, взорника и варнака Еремку.

Было начало 1921 года. В Петрограде, в бизнесе Марининском театре Военно-театральный комитет устраивал спектакли для моряков и красноармейцев. Одним из первых спектаклей была «Вражья сила». В театре было холодно, в партере сидели простуженные, кашляющие люди, пахло яловыми сапогами, тянуло махоркой из курилки. Однако это был не рядовой спектакль, у неискушенных зрителей чувствовалось огромное любопытство к человеку, чья жизнь стала легендой, к «царю Федору», как звали Шалаяпина балтийцы-матросы.

«Получает, кроме жалованья, полведра водки в день, от водки, говорит, бас крепчает...» — повторяли шалаяпинскую поговорку люди в бушлатах и с маузерами у пояса. «Ну и поет, что делает, что делает, откуда такое берется...»

После спектакля мы пришли за кулисы, в уборную Шалаяпина — у нас было к нему деликатное дело, надо было уговорить Шалаяпина выступить в Кронштадте в сухопутном манеже. Кронштадт был почетным местом, и балтийцы-моряки не последние люди.

Шалаяпин сидел полуголый у зеркала и снимал грим.

— Садитесь, старый знакомый, садитесь...

Голос был недовольный. Мы видели отражение его лица в зеркале, видели, как исчезали черты Еремки; опухший, одутловатый Еремка исчезал, и появлялись знакомые, округлые мягкие черты лица, светлые ресницы, широкие, открытые, втягивающие воздух ноздри.

— Какое ж у вас ко мне дело?

Мы объяснили и сказали, что Горький тоже с ним будет говорить об этом деле и некий Эскузович — он ведал театром в то время.

— Как медведя, значит, со всех сторон обкладываете... А что мне за это будет?.. Я не про деньги говорю... Говорят, у вас коньяк есть. Говорят, из Баку привезли моряки.

— Можно узнать.

— Узнайте. А мы с приятелями разопьем. Коньяк нынче редкость. А помните, в Гурзуфе, на скале у меня? Хорошая была ночь. И вина сколько хочешь...

Он был действительно не в духе. Из него прямо перло желание надерзить, выразить свое недовольство.

— Луначарский у меня был. После «Псковитянки». Красно говорит. Я люблю его слушать, он мне самого меня раскрывает, я сроду не думал того, что он говорит. Попросил у него — вот Крым освободили, там, небось, в Массандре вина пропасть, теперь Врангеля прогнали. До-

ставили бы мне посылочку, потешили бы артиста. Говорит — разруха транспорта. Нельзя.

Тем временем он сбросил с себя отребья Еремки и переоделся. Он стоял перед нами в прекрасно облегающем его мощную фигуру костюме, небрежно и изящно повязал галстук, поправил вихор. Чуть серебрились виски и едва заметные морщинки появлялись у крыльев носа, когда он улыбался.

Кто-то вздумал ему сказать то, что говорили петроградские знатоки, эстеты об исполнении им «Широкой масленицы».

— Тоже умники нашлись! Я когда пою, ни о чем этом не думаю. Думаю, да совсем не о том и только до того, как пою. Еремка! Да такой голытьбы сколько хошь на пристани было!

Он начинал сердиться:

— Чепуху они говорят, я знаю, это все В... (он назвал фамилию одного искусствоведа и критика). Что им до меня за дело! Делай что хочешь, пиши про что хочешь, я к тебе не лезу, и ты меня не тронь! И что за судьба моя такая разнесчастная, каждый... лезет и учит! Да пошел он в конце концов к чорту, еще беду накличет! Я жаловаться буду!.. Вы уж меня простите, я пет в Кронштадте не буду, не двужильный я в самом деле! Нет, пет в Кронштадте не буду! Будьте здоровы и не обижайтесь. Устал... Устал, ей богу.

Однако дня через два позвонил Дворищин, близкий человек Шалаяпина, и сказал:

— Федор Иванович просил вас передать, что в Кронштадте пет будет и насчет коньяку просил не забыть, если можно, разумеется.

Но концерт в Кронштадте не состоялся по особым обстоятельствам.

На пятом десятке лет своей жизни Шалаяпин сохранял необыкновенную легкость, подвижность, пластичность своего большого и стройного тела, непостижимое умение владеть этим телом и весь блеск своего артистического дарования. В интимном кругу, в благодушно настроении он попрежнему был великолепным рассказчиком, в особенности, если тут же находился драматический артист, соперничающий с ним в искусстве рассказа.

Он был редким импровизатором. О даре Шалаяпина-импровизатора с восхищением вспоминают ныне здравствующие его сверстники. Однажды он встретился за обеденным столом у Стасова со знаменитой артисткой Марией Гавриловной Савиной, одной из умнейших, острых и наблюдательных женщин своего времени. Они сначала только для себя начали разыгрывать забавную сцену ухаживания провинциала-купчика за столичной знаменитостью, — пять минут спустя все сидевшие вокруг буквально помирали с хохота, слушая великолепное состязание в остроумии, выразительности мимики, остроте диалога Шалаяпина и Савиной.

В другой раз — в студии известного художника — зашел вечный спор о том, что такое искусство. Шалаяпин не принимал участия в этом споре, только мимоходом сказал: «Я вам покажу, что такое искусство» и незаметно ушел. Спор продолжался, уход Шалаяпина не замети-

ли. Внезапно открылась дверь, — на пороге появился со спутанными волосами, смертельно бледный Шаляпин и дрожащими губами произнес только одно слово: «Пожар...» Началась паника, крики, все, что бывает в таких случаях. И вдруг маска ужаса слетела с лица Шаляпина, он рассмеялся и сказал: «Вот что такое искусство». Разумеется, никакого пожара не было, но люди, бывшие в тот вечер в студии художника, уверяли, что, глядя на лицо Шаляпина, им почудились дым и пламя, пробивающиеся из-за дверей.

Шаляпин рассказывал о своей первой поездке в Англию. Он ехал всю ночь в поезде с незнакомым англичанином. По-английски Шаляпин не понимал ни слова, знал только одно слово «иес», т.-е. «да». И с помощью одного этого слова, произносимого очень убедительно, разными интонациями, он поддерживал длинейший разговор со своим попутчиком-англичанином, который рассказывал ему какую-то абсолютно непонятную Шаляпину длинную историю. Когда им пришла пора прощаться — англичанин долго жал руку Шаляпину, очевидно, выражал особую благодарность своему общительному спутнику-собеседнику.

Особенно любил Шаляпин разыгрывать, импровизировать характерные бытовые сценки, толковать с подыгрывающим ему приятелем-артистом на характерном языке купцов, волжских рыбаков, изображая торговую сделку. Сыпал специфическими словечками купцов-рыбников и мог часами продолжать эту игру. Но когда на него находила хандра — пропадало всякое желание попадаться ему на глаза. Он был злопамятен, не прощал малейшей обиды и был груб с людьми, которые обидели его или заделали его самолюбие даже в пустяке.

Он не выносил соперничества и в малом. Один молодой человек, судьба которого зависела от Шаляпина, сыграл с ним партию на бильярде и выиграл. Шаляпин злое ще по-смотрел на него и только сказал: «Знаете что, если хотите со мной дружить, никогда не выигрывайте у меня.» Молодой человек понял и проиграл следующую партию. Они расстались дружески.

Таким он был в жизни, но на сцене...

«Артист оперы должен владеть тремя искусствами — вокальным, музыкальным и сценическим, — пишет К. С. Станиславский. — В этом заключается, с одной стороны, трудность, а с другой — преимущество его творческой работы. Преимущество в том, что у оперного певца больше и разнообразнее средства воздействия на публику, чем те, которые имеет драматический артист.»

Этими тремя искусствами неподражаемо, неповторимо владел Федор Шаляпин, «изумительный пример того, как можно слить в себе три искусства на сцене», — пишет о нем К. С. Станиславский. «У Шаляпина был свой внутренний, духовный ритм, вот почему он так поразительно чувствовал этот ритм в музыке, в слове, в действии, в жесте и походе, во всем произведении».

Пушкин, Мусоргский, Шаляпин.

«Борис Годунов».

Горящие, широко раскрытые глаза, в них отблеск глубокой, затаенной муки, нос горбинкой, скорбный трагический излом губ, черные спутанные кудри под вышитой жемчугом татарской шапкой, волнистая черная борода, тяжелая рука в перстнях, опирающаяся на жезл — царь Борис.

Под гримом не узнаешь знакомые черты лица артиста.

Тяжкое раздумье во всем его облике, когда-то сильный, удачливый во всем человек надломлен. «Скорбит душа...»

Коронование, торжественный перезвон колоколов, величание нового царя Бориса, гремит слава... И чем дальше разворачивается действие, тем горше мука Бориса. Никогда еще гениальное творение Мусоргского не находило такого исполнителя. И народная трагедия Пушкина тоже нашла своего выразителя, хотя временами не пушкинские строфы вложены либреттистом в уста Бориса. Но так велик талант артиста, что даже не пушкинские стихи потрясают театр:

«Тяжка десница грозного судьи,
Ужасен приговор душе преступной...»

Мятущийся дух, ужас перед возмездием за совершенное преступление — убийство Дмитрия мучает Бориса.

Из явления в явление, из акта в акт можно проследить тяжелую, душевную болезнь Бориса. Сначала перед нами только мятущийся дух, поврежденное сознание:

«Какой-то трепет тайный,
Все ждешь чего-то...»

И возникает острое чувство жалости к этому большому, властному, умному и потрясенному человеку. Трагедия нарастает, угрызения совести рожают галлюцинации. Большими шагами вбегает в терем Борис: «Чур, чур, дитя... не я твой погубитель!» Движение проходит по театру, тысяча людей не может оторвать глаз от этих мягких больших шагов когда-то сильного, теперь смертельно раненного тигра.

Чем трагичнее, чем мучительнее душевные муки Бориса, угрызения совести, предчувствие расплат, тем нежнее и трогательнее он к своим детям, неповинным в его преступлении. Какая ласка, какая забота была в обращении Бориса к сыну в сцене агонии:

«Сейчас ты царствовать начнешь...
Ты царствовать по праву будешь...»

В этом торжестве умирающего Бориса, он предупреждает сына против козней крамольных бояр, поучает его следить за их тайными сношениями с Литвой: это прежний Борис — государственный муж, муж разума и силы, заботящийся о пользе государства. Какая сила духа была у этого сломенного роком человека, преодолевшего все на пути к трону! Но вот слышатся слова заботливого, нежного отца, человека, у которого теперь одно святое в жизни:

«Сестру свою царевну береги...
Ты ей один хранитель остаешься...»

И предсмертное отчаянье, предчувствие надвигающейся на детей неминуемой беды: «Господи... Не за себя молю...» С таким рыданием в голосе, от которого волосы шевелятся на голове..

«Звон... прощальный, погребальный звон...»

«В монахи царь идет» — поет Шаляпин, и последнее предсмертное усилие: «Внемлите.. я царь еще...» последнее предсмертное движение к детям: «Родные...» и уже рыдая: «Простите... Простите...» Последний стон, рыдание, раскаяние и сожаление о своей погубленной жизни.

Все кончено, Царь Борис умер.

Москва, Большой театр — и через восемнадцать лет Париж, театр Шатле, Шаляпин в том же Борисе. Сорокадвухлетний Федор Шаляпин и Шаляпин шестидесятилетний — без Москвы, без родной земли, доживающий последние годы своей жизни, трагический, незабываемый образ. Об этом втором Борисе, так же как о втором Мефистофеле, о закате Шаляпина скажем позднее.

Шаляпин пел три партии в «Борисе Годунове». В сущности, эта опера была венцом его творчества. Он это понимал и не хотел уступать никому ни Пимена, ни Варлаама, ни Бориса. И даже пел все три партии в одном спектакле, были такие случаи.

После раненного насмерть, мятущегося Бориса перед нами вдруг являлась воплощенная совесть народа, справедливый, величественный и бесстрастный судья Бориса, летописец Пимен; и единственный высокий завет его жизни, на закате дней:

«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу...»

Шаляпин умел мыслить, умел глубоко и проникновенно передать всю силу, глубину и значительность пушкинского стиха. Чудесная мощь и красота звука, законченность каждой фразы поражают нас и сейчас, даже в грамофонной пластинке. Но и Пимена было мало этому ненасытному гению театра. После коронования Бориса, после сцены в келье Пимена он пел грешного инока Варлаама, своего рода русского Фальстафа, прелюбодее, пьянчужку, перекаати-поле... Пел «Как во городе было во Казани», созданную гениальным Мусоргским песню-былину, переходящую в буйное веселье, и кончал песню Варлаама лукавым, самодовольным смешком «хе-хе-хе». Это было последним прелестным штрихом, завершающим образ плотоядного бражника, тертого калача, странника Варлаама.

В расцвете творческой зрелости, в сиянии славы, неукротимый, полный сил артист говорил о себе: «Не могу петь втору». Он не мог мириться с тем, что не он, а кто-то другой будет первым голосом — такой это был характер. И Пимена, и Варлаама он пел в одном спектакле именно по этой причине, добро же было Мусоргскому написать три его партии в одной опере. Да он и чувствовал все три образа, и перевоплощался с непостижимой легкостью то в летописца, то в бражника Варлаама.

Был однажды такой случай: у Стасова зашел разговор о том, как не надо изображать хозяйку в сцене «Корчма на Литовской границе». Шаляпин попросил Сигизмунда Блюменфельда сестра за рояль и спел от начала до конца всю сцену в корчме, причем пел за всех действующих лиц. Когда дело дошло до хозяйки корчмы — он схватил со стола салфетку, накинул ее на голову, как платок, и перед всеми предстало лицо перепуганной насмерть бабы. Совсем по-иному, чем у оперных певиц, с неподражаемым комизмом прозвучали слова: «Ах, они, окаянные мучители! Старца-то в покои не оставят!»

Салфетка в виде платка — вот что ему нужно было для перевоплощения. Можно было себе представить, с какой врожденной естественностью он носил любой театральный костюм, с какой легкостью он снимал русскую поддевку, косоворотку, сапоги и одевался в современный элегантный костюм и с небрежным изяществом завязывал галстук, затем вечером перед «Псковитянкой» надевал музейную, тяжелую кольчугу, шлем, и это вооружение, связывающее движения любого другого артиста, Шаляпин носил с такой легкостью и естественностью, как будто пришел из другого века. И везжал на специально подобранном, даже чуть подгримированном коне среди воплей и визга в мятежный Псков, полный яростной энергии — безжалостный царь, царь-воин от головы до ног. То, что происходило в эти минуты на сцене и в театре, можно было передать так: присутствие великого артиста.

Такое же чувство было у нас и в Москве, когда в симфоническом концерте знаменитого оркестра Большого театра медленно проходил, пробираясь к роялю, высокий, сутулый человек во фраке, с сосредоточенным урюгим взглядом и усталым лицом. И в великолепном театральном зале, наполняя его до краев, звучали первые аккорды концерта Листа в исполнении Рахманинова. Теперь нет в живых ни Шаляпина, ни Рахманинова, но чувство гордости наполняет нас при мысли, что почти четыре десятилетия нашего века фортепианное и оперное искусство мира озарялось созвездием двух имен — Шаляпина и Рахманинова.

Испытывал ли Шаляпин волнение на сцене? На это его близкие друзья отвечали: и да, и нет. Перед выходом на сцену он, конечно, испытывал то благородное волнение, которое всегда сопровождает порыв вдохновения, но сейчас же овладев собой, он был на сцене повелителем. Он сохранял полное спокойствие и уверенность в своих силах, когда дирижировал Коутс, когда создавалась полная уверенность в том, что все и всё на своих местах. Был случай, когда, замешкавшись с выходом (это было в «Годунове»), он с неподдельным ужасом вышел из-за кулис, в сцене галлоциний и, сразу переключившись, с таким выражением произнес: «Чур, чур, дитя! Не я твой погубитель», что электрическая искра пробежала по театру. Но обычно, в расцвете зрелости, в апогее своего успеха он сохранял спокойствие и полную уверенность в

своих силах, чувство полного всепокоряющего воздействия на зрителей, даже в те дни, когда он был, как говорится, не в ударе. К концу жизни, когда он сам стал понимать, что голос ему изменяет, что постепенно тускнеет его чудесный тембр, он стал по-настоящему волноваться и плакать настоящими слезами на сцене, добиваясь абсолютного совершенства; добиваясь его, и все же это был не прежний Шаляпин.

Где бы ни пел Шаляпин — вершины величия он достигал именно здесь, в великолепных залах бывшего Марининского и, в особенности, Большого театров.

В памяти тех, кому довелось его слышать, он сохранился прежде всего выступавшим здесь, в сердце страны, на сцене Большого театра. Здесь прошла творческая молодость и зрелость Собинова и Неждановой, здесь и теперь звучат голоса Пирогова и Михайлова, Обуховой и Дзержинской...

Через 18 лет в Париже, в тусклом, пропыленном старом театре Шатле, где десятилетиями шла феерия «Вокруг света в 80 дней» с живыми слонами и баядерами, — я снова увидел Шаляпина без превосходного хора и оркестра Большого театра. Шаляпин, на фоне старых истрепанных декораций, шестидесятилетний Шаляпин без Москвы, без родины, без старых друзей, без родной земли...

И это было тяжело и горько видеть.

IV

В Сорренто, в доме Горького, однажды на закате солнца Алексей Максимович заговорил о Шаляпине.

Он вспомнил, что слышал его в последний раз в Неаполе, сравнительно недавно. Неаполь безумствовал, Шаляпин пел по-итальянски, произнося итальянские слова, как прирожденный итальянец.

Потом вспомнил о том, как Шаляпин в первый раз пел в Милане, в театре «Скала» и как высокомерные знатоки говорили: «привозить русского певца в Италию все равно, что ввозить в Россию пшеницу». Потом эти же высокомерные знатоки сходили с ума по Шаляпину и даже шеф кланки преклонился перед русским артистом, и опера Бойто «Мефистофель», никогда не имевшая успеха, получила признание благодаря Шаляпину, и великий тенор Мазини поцеловал артиста после его дебюта в опере Бойто. И этот триумф произошел в театре, где ценители оперы, семьями, из поколения в поколение бывають в одних и тех же ложах, где восхищались певцами своего времени Стендаль.

Когда Горький говорил о Шаляпине-артисте, в его голосе звучала теплота и нежность. Это было восхищение перед чудесным даром, восхищение писателя, который писал: «Я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым.»

В тот вечер на столе появился граммофон, шаляпинские пластинки, и через минуту голос Шаляпина торжественно и свободно звучал

над кипарисами и лаврами, над тихим садом виллы «Эль Соритто».

— Видите ли, что сделал этот человек, — сказал Горький, — этот человек грустную нашу волжскую песню «Эй, ухнем» заставил слушать здесь, в Италии, где любили только сладостные неаполитанские песенки, и в Лондоне, и в Чикаго, и в Австралии. И слушают, и ведь как нравятся!.. Моряки наши приезжали и рассказывали: как-то зашли они чинить корабль на коралловый остров, где-то на краю света, в Океании, где люди ходят, как в раю, почти голыми, и вдруг услышали родное волжское — «еще разик, еще разок»... Услышали Шаляпина, то-есть пластинку, конечно. Русскую песню пронесли через весь мир да еще со славой — это мог только Федор, только русский гений. Вот она — сила искусства.

И в Москве, на подмосковной даче, в минуты раздумья, когда затихла беседа, Горький вдруг попросил принести граммофон, и вновь прозвучал голос человека, с которым связано столько воспоминаний молодости, столько разговоров об искусстве, о будущем народа, о будущем человечества.

Редкого человека так знал и любил Горький, как Шаляпина, и редкого человека так печалил Шаляпин, как Горького. И как бы ни любил Горький Шаляпина-артиста — он был суров и неумолим к нему как человеку и, когда это было нужно, возвышал свой голос и говорил артисту правду в лицо, корил его в глаза.

Он мог улыбаться в молодые годы, когда Шаляпин в азарте кричал ему: «Тебя ж эксплуатируют!» Сначала он прощал Шаляпину его страсть приобретать, он видел в ней тоже своего рода озорство, чудачество большого человека, чудачество, недостойное «умнейшего мужика». Временами эта жажда приобретательства действительно имела вид чудачества, когда Шаляпин покупал острова, голые скалы. «Скалы я вообще покупаю!», говорил он с горящими в азарте глазами. У него была вила в Сан-Жан де-Люс у Пиренеев, дом в Париже на авеню Преийш Эйлау, где сдавали в наем квартиры, земля в Тиrole, где он хотел построить усадьбу в стиле русского ампира с колоннами и непременно с русской баней, «чтобы можно было попариться, а потом прямо в снег».

Эти чудачества можно простить, но порой, ради денег, он шел на унижение своего артистического достоинства, своего имени, сочинял хитроумные контракты, играл на бирже, смертельно боялся разориться и дважды разорялся, теряя почти все, что заработал, страдствуя из конца в конец света.

Эти свойства характера, проявившиеся еще в молодые годы, со временем превратились в почти маниакальную страсть. Приятеля Шаляпина, зная его слабость, сначала подлечивали над ней, но он приходил в ярость, бранился и ссорился с ними, и, в конце концов, происходил разрыв или приятели мирились с этой чертой характера артиста.

Он сам объяснял эти чувства: «Бери больше пока поешь, а то пошлют к чорту!» и вспоминал о великом теноре Мазини, который на старости лет сделался антикваром. Страх перед потерей голоса преследовал великого артиста, мысль о полной необеспеченности, об ожидающей его нищете, — мысль, которая кажется нам странной, если принять во внимание его заслуги перед мировым и русским искусством, — ужасала Шаляпина. «Сами понимаете, громадная семья, множество людей за столом, содержать такой дом—шутка?» — говорили в оправдание Шаляпина близкие ему люди.

«Какая судьба ожидала молодого артиста, молодого певца, одаренного природой прекрасным голосом и артистическими способностями? Предприниматели, — эти злейшие враги нашего искусства, эксплуататоры, своего рода акулы, пожирающие молодые артистические побеги, еще не успевшие распуститься и дать плоды, — зорко караулят его. А через несколько лет, выжав из него все, что можно, они выбросят, как изношенную вещь.» Эти правдивые строки взяты из книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве».

Один из чистейших, искреннейших и талантливейших людей искусства указывает единственное средство борьбы с этим злом: «повышение общей и артистической культуры певцов и укрепление в них соответствующей идеологии».

Для человека нашего времени, для молодого поколения советских артистов непонятен этот страх перед потерей голоса, перед надвигающейся старостью. Наоборот, часто приходится слышать, будто «заслуженным» и «маститым» отдают предпочтение перед молодежью. Трудно себе представить, что прославленные артисты дореволюционного времени были в сущности необеспеченными людьми. После 25 лет службы в «Императорских театрах» артист мог рассчитывать на скромную пенсию, которая не обеспечивала ему скромной жизни на старости лет. С эстрады декламировали горькие и правдивые строки о состарившейся артистке:

«Она была мечтой поэта —
Подайте христа-ради ей...»

Выросший в ином веке, в ином социальном строе, Шаляпин, правда, избежал горькой судьбы многих талантливых молодых певцов, он поднялся на такую высоту, которой до него достигали только величайшие артисты. Но выросший в ином веке, в ином строе, Шаляпин более всего страшился нищеты и забвения в старости.

Однажды, слушая за границей рассказы старого знакомого, приезжего из Москвы, он долго не перемывал его, стараясь выкинуть, понять то, что ему рассказывали. Наконец признался

— Не понимаю. Надо бы мне родиться лет на двадцать позже, — тогда, может быть, я бы понял..

А в другой раз, встретив одного из уважаемых артистов Художественного театра, приехавшего на заграничный курорт, сказал:

— Вы, должно быть, богатый человек...

И недоверчиво выслушал ответ, что артист приехал лечиться на средства государства.

Еще одной чертой этой сложной, страстной и противоречивой природы был особый цинизм, безжалостное отношение к себе, к своему таланту, которое проявилось у артиста в последний период его жизни. Взыскательный и требовательный, строгий к себе и другим, художник, гроза дирижеров, режиссеров и своих партнеров, человек, всю жизнь требовавший почтительного, уважительного отношения к себе, как к артисту и человеку — в этом последнем периоде своей жизни он, порой, поражает каким-то пренебрежением, неуважением к самому себе.

Ему случалось петь за очень большие деньги миллионерам. Потом он рассказывает, что на острове, в саду виллы, где он пел, были искусственные пальмы с листьями из железа. И люди тоже были точно искусственные — лица их не выражали никаких чувств, пока пел Шаляпин. Он рассказывает об этом случае художнику Коровину запросто, мимоходом, как будто не созная всего трагизма этого эпизода своей жизни. Впрочем, вряд ли он этого не сознавал — «умнейший мужик»...

И после насилия над собой, над всем тем, что он защищал в своей жизни артиста, позавыв все свои крайности, все неистовства в ту пору, когда он защищал свое искусство от посягательств чиновников императорских театров и равнодушных невежд, — он приходит к богатству, он сам миллионер. Но происходит то, чего больше всего в жизни боялся Шаляпин. Он эксплуатировал свой талант, был безжалостен к себе, чтобы разбогатеть, чтобы обогатиться. И он стал богачом, миллионером. Здесь, в капиталистическом мире, думал он, можно быть спокойным за свои владения, текущие счета, за нажитый капитал. Но судьба, именно здесь, в капиталистическом мире, сыграла жестокую шутку с Шаляпиным. В памятный 1929 год, в день «черной пятницы» на нью-йоркской бирже, он потерял большую часть своего состояния, почти все, что он заработал ценой горького унижения, отказавшись от заветов чистого искусства, которые защищал с такой страстью и неистовством.

Страх перед разорением мучил его, и то, чего он боялся, случилось. Надо было начинать сначала лихорадочную погоню за деньгами, этот бег по земному шару, странствия по океанам и материкам из конца в конец света.

В летний вечер 1933 года, в соррентийской вилле, накануне отъезда Горького на родину, накануне последнего его путешествия из Сорренто в Москву, я не мог и думать, что вскоре в Париже увижу человека, о котором мы говорили в Сорренто.

В Париже, на афишных тумбах, среди афишек театров Монмартра и мюзик-холла «Амбир» появилась желтая афиша. Имя «Шаляпин» было как всегда притягательным для заезжих людей. Трудно было пройти мимо этой афиши, тем более потому, что предчувствие говорило — вряд ли мы когда-нибудь еще раз услышим его.

Но прежде чем осуществилось это желание, довелось увидеть Шаляпина и говорить с ним. Предчувствие подсказывало, что это в последний раз, и это предчувствие тоже не обмануло.

Вышло это случайно и вместе с тем не случайно.

Повстречался в Париже один знакомый, русский по происхождению, один из тех предприимчивых южан, которые покинули Россию еще в прошлом веке, в юношеском возрасте и сделали в Америке карьеру крупного импрессарио, театрального предпринимателя. Это был благожелательно настроенный человек, но раз ездивший в советскую страну, добрый знакомый многих наших уважаемых артистов и, кстати сказать, давний импрессарио Шаляпина.

Мы заговорили о шаляпинских гастролях, по старой памяти мы думали, что не так уж легко попасть в театр, когда поет «сам Шаляпин». Но в Париже это оказалось несложным делом.

Мы говорили о Шаляпине, о том, которого знали и слышали в последний раз 13—14 лет назад.

Импрессарио Шаляпина не проявил особого интереса к этому разговору. Но француз-художник, присутствовавший при разговоре, рассеянно сказал:

— На вашем месте я бы не стал его слушать... Пусть он останется в памяти таким, каким вы его помните... Не то, чтобы он стал плох, но все-таки... Впрочем — увидите сами.

А через час после этого разговора, совсем неожиданно, как это иногда бывает в жизни, мы повстречали Шаляпина.

На улице Риволи, под бесконечными аркадами было такое место вроде винного погребка, попросту называемое бodega, т.е. что-то вроде остерии или таверны. Место это славилось отличным портвейном, доставляемым сюда из Оporto. Старые парижане любили заходить сюда перед обедом, выпить стаканчик крепкого, горьковатого «порто». Здесь было не слишком светло от темных дубовых стоек и больших дубовых бочек, стоявших позади них. Головокружительно пахло крепким вином. Было воскресенье, Париж, как всегда, опустел, melancholически переключались автомобильные гудки. В бodega по случаю праздника почти не было народа.

В уголке, у самого края стойки мы увидели высокую прямую фигуру, знакомый облик человека, который можно узнать среди десятков тысяч людей. Это был Шаляпин — спустя 14 лет после разговора за кулисами в Маринском театре.

Прежде всего поразила перемена в его внешности. Исчезли мягкие округлые черты лица. Исчез задорный, лукавый взгляд в упор. Взгляд стал каким-то тревожным, тяжелым, настороженным, седые насупившиеся брови придавали суровое, мрачное выражение его лицу. Он сильно похудел, казался еще выше, исчезла пропорциональность в сложении, которая так восхищала на сцене. Резкие глубокие морщины легли у ноздрей, волосы совсем поседел и стали редкими, открылся лысеющий лоб. Может

быть, те, кто часто видел Шаляпина, не замечали этой перемены, но для нас она была резкой и разительной. Знакомый, завязанный бабочкой галстук. Серый костюм уже не облегал его большое тело, а слишком свободно висел на нем. Таким был Шаляпин на седьмом десятке лет, состарившийся, но еще не одряхлевший лев. Однако после Горького, с его юношеской статностью, живостью взгляда и временами совсем молодой улыбкой, Шаляпин казался стариком.

Мы сели в отдаленный, полутемный угол. Перед нами поставили бокалы с «порто». Шаляпин отодвинул свой. Он слушал своего импрессарио, временами поглядывая на меня.

— Вот — недавно из Москвы...

— Да, да... — как мне показалось, с досадой сказал Шаляпин, потом спросил, давно ли уехал из Сорренто Горький. И узнал, что Горький давно уже в Москве. — До осени? — спросил он.

— Нет. Алексей Максимович не вернется в Сорренто.

Седые брови чуть-чуть поднялись:

— Это что же... Значит — прощай Италия? Так, так... — Потом, поведя по сторонам глазами, сказал: — Пойдем отсюда.

Мы вышли и не торопясь прошли на бульвары. По случаю воскресенья прохожих было немного, парижане разъехались за город. Те, кто встречались нам, оглядывались на Шаляпина. Он этого не замечал или старался не замечать. Мы пришли в небольшой ресторан, вблизи площади Мадлен. Час завтрака кончился, и мы были почти одни.

— Будете завтракать?

Когда мы усадились, Шаляпин спросил:

— Ну, есть в Москве перемены?

Я ответил, что начинают строить метро.

— Это зачем же? Извозчиков, что ли, не хватает?

Импрессарио, недавно побывавший в Москве, усмехнулся и сказал, что время извозчиков прошло — нынче век такси.

— Ну, какая же Москва без извозчиков, — сказал Шаляпин. — А вот была такая чайная извозничья «Комаровка», у Петровских ворот. Тоже нету? Жаль.

Действительно, в старой Москве была такая чайная, ее ради остроты ощущений посещали иногда артисты и художники.

— Недавно слышал по радио одного вашего тенора, москвича... Умеет петь... Фаминия...

— Козловский.

— Кажется, так... Умеет петь. Умеет.

(Кстати, «кажется» было сказано нарочно, мол, «мне все равно», на самом же деле он с интересом слушал по радио Козловского, об этом еще раньше рассказывал импрессарио.)

— С Барсовой я пел в Риге... А новых — не знаю. Старики все поумирали... — опустив голову и глядя в одну точку, он назвал несколько фамилий. — С ними весело было. Правда — молодые мы были... А дом мой цел на Новинском?

Завязался разговор о прошлом и настоящем:

— Публика здесь какая-то злая стала... — вдруг сказал Шалапин, — после кризиса, что ли? Помню первые гастроли, где бы вы думали, в Аргентине, в Буйнос-Айресе, Беназаре, как французы называют...

Он вдруг оживился и в глазах появилось что-то прежнее, озорное.

— Перед первым спектаклем приходят ко мне знакомые и говорят: «Вы, Федор Иванович, ничему не удивляйтесь — публика здесь грубая, скотоводы-миллионеры... Вы ничему не удивляетесь...» Потом опять: «публика здесь грубая...» Надоело мне, я их прогнал. Хорошо. Выхожу на сцену — ничего не понимаю, гляжу в публику — ни одного лица не вижу. Одни газеты вечерние. У всех газеты в руках, и все носами в газеты уткнулись. Это, оказывается, здесь так оперу слушают... Еще что — в ложах спиной к сцене сидят, ей-богу! Взяла меня злость! Ну, думаю, посмотрим. И сам не помню как пел, но чувствую — хорошо. В паузе, слышу, газеты шуршат, не стало газет. Глядят на меня черномазые, глаза как угли. И из лож глядят. Словом, кончается ария — никогда я такого грома не слышал. Говорят, даже в азарте из револьверов в потолок стреляли. Вот тебе и скотоводы. Я потом с ними что хотел делал... Да. Артист должен ездить, много ездить, по всему миру. Это шлифует артиста. Это дает опыт... Подумайте — приезжаете вы в город, в Южной Америке или в Австралии, где ни разу не были. Там имя только по наслышке знают. Идут потому, что знаменитость, потому, что цены бешеные. Ему все равно, что у вас хандра или насморк, или просто выпито было сверх меры. Он деньги платил, и за свои деньги требует — и я обязан ему дать, сегодня, сейчас. А завтра будет другой город, и опять с вас требуют. Это не то, что по матушке-России ездить, где вам простят, да еще пожелают по доброте души: «может, расстроился чем-нибудь сегодня или болен, или хвратил лишнее, зато какой артист!» За границей — заплатил, и ты ему подавай сполна то, за что были деньги плачены. Вот так и шлифуется артист. Деньги — «монэй». Талант — «бизнес». Говорят, — не это, мол, важно. А я скажу так: стал хуже петь — тебе цена меньше. Это закон. Искусство — искусством, а за искусство платят.

Он говорил об этом с горечью и раздражением. Потом объяснялось, почему он заговорил об этом. Нелепо было возражать и спорить с ним — его можно было только слушать. Поистине перед нашими глазами была трагедия, реальная, жизненная трагедия — закат великого артиста.

Вошла шумная компания французов. Они увидели нас, увидели Шалапина, узнали его и зашептались. И тут в лице Шалапина можно было увидеть досаду и смущение. Правду говорили о нем, что он смущался на людях. А ведь ему, кажется, не привыкать к такому интересу, который он вызывал у окружающих. Он поменялся местами с импрессарио и сел спиной к пришедшим.

— Никогда меня публика не любила, — к изумлению моему сказал он, — не удивляй-

тесь, меня не любили, а вот Леонида Собинова любили, все любили. Всем он был мил — и студентам, и адвокатам, и товарищам-артистам. И женщинам. Завидую такому характеру. Я в самом соку был, то-есть пел, как никогда не пел, а кругом все говорили: «что, мол, будет, когда потеряет голос?» И прочили меня в драматические артисты. И все ждали, — вот, мол, скоро конец Шалапину — есть, мол, такой бас Дидур. И ждали, и радовались: «Куда Шалапину...» Так и писали — заживо хоронили Шалапина. А вы думаете, Дидур много хуже меня был? Настоящий певец, голос, и по сцене ходить умел, и Мефистофеля спел не хуже других. А где он теперь? Приходил меня слушать злые, — студенты ночь на морозе стояли за билетами, ругали меня за то, что я деньги люблю, за то, что даром в пользу студентов не пою, за то, что где-то, когда-то хористок обидел, уж сам не знаю за что... Сколько я писем получал: «хотя вы и свинья, но я поражен — ваш талант и прочее, и прочее — пришлите полтораста рублей...» И так везде — здесь меня многие ненавидят, мол, «свой», а денег не выпросишь. А какой чорт я им «свой»? Я работаю как вол, и что мне платят — то мое. А там, на родине? Забыли? Ну, артисты, старые знакомые — помнят, а умрут последние — и забудут. Да, не удалась жизнь! Не удалась!

И вдруг он сказал:

— Давайте подем ко мне. У меня чудо, что за коньяк. Дома — ничего. Все разбегались. Сам не пью — врачи не велют, но люблю, когда пьют. — Он вдруг улыбнулся. — Я сыну говорю: пей коньяк, за него тысяча франков заплачена, я в твои годы этого не мог. А он отвечает: «Ты в мои годы с плотниками три ведра водки мог выпить, а я этого не могу».

В доме Шалапина, в его квартире на авеню Преишш Эйлау, авеню Эйло, как говорят французы, висел портрет хозяина в шубе и шапке, работы Кустодиева. Таким его помнят многие в годы его зрелости, и, глядя на этот портрет, шестидесятилетний артист, вероятно, ощущал нечто подобное чувствам героя романа Уайльда «Портрет Дориана Грея». Но в романе герой Уайльда Дориан Грей сохранил молодость и красоту, но состарился душой, здесь же перед портретом стоял шестидесятилетний человек с молодой душой, непокорным и страстным характером, неутолимой жадой жизни и уже ощущающий смертельную болезнь.

Что бы ни говорил он в раздражении — он чувствовал тоску по родной земле и родным людям, иначе он не мог бы подписать свое имя под этими, напечатанными в книге «Маска и душа» словами: «Милая моя, родная Россия».

«Маска и душа»? Была ли эта книга его книгой, выстраданной им, подлинной книгой, написанной на чужбине? Книгу его жизни, написанную на родине, вдохновил Горький, он был ее восприимчивником, другая книга «Маска и душа», изданная на чужбине, была написана неким Поляковым-Литовцевым, сотрудником белоэмигрантской газеты, злобствующим эмигрантом-журналистом. Это не было секретом. Даже в этой глуповатой и мелочной книге, на

которой Шаляпин не постеснялся поставить свое имя, он, однако, нашел силы ответить смело и прямо на вопрос «Где мой театр?» — «...там, в России».

И еще он мог, чувствуя приближение конца, мечтать о том, что его похоронят на Волге, на крутом холме, близ Ярославля:

«Быть может на холме крутом
Поставят тихий гроб Русланов,
И струны вещи баянов
Не будут говорить о нем...»

Друг Шаляпина художник Коровин писал, что из-за этих слов в опере «Руслан и Людмила» Шаляпин не хотел петь Руслана — «Руслана бы я пел, но есть место, которого я боюсь».

Забвения, а не смерти боялся Шаляпин.

Снились ему странные сны, будто стоит он на сцене Большого театра, в венде и бармах Бориса, в золотом царском облачении, и хор поет ему славу, и звонят колокола, а потом он глядит, и вокруг никого нет... В театре, на сцене нет ни одного человека и даже в оркестре ни души, а он стоит один на краю, у самой рампы, как над пропастью, покинутый всеми, один в пустом, огромном, сверкающем золотом, полутемном театре...

Два дня спустя после этой встречи, в старом театре Шатле, пропахшем застоявшимися запахами грима и красок, Шаляпин пел Мефистофеля.

Это был совсем иной образ, — не прежний, молодой, вакхический чорт с походкой бретёра и сладострастника. Согнувшись, заложив руки за спину, на длинных, очень худых ногах стоял старый дьявол. Длинная шпага по диагонали висела позади его ног. На старческих ногах стоял старый дьявол, и злобная ярость была в его длинном, худом лице, и что-то страдальческое было в полубезумном и гневно-голом взгляде... Совсем другой образ — трагический и жуткий и, как будто, другой голос. В нем не было прежнего свободного звучания. Дело не только в утрате редчайшего шаляпинского тембра. Не стало вдохновения, не стало одухотворенности в исполнении, хотя все, что делал Шаляпин на сцене, было безупречно и совершенно. Допустим, можно было заметить, что в его голосе нет прежней свободы и гибкости, но чувство музыкальности, дар музыкальности, конечно, не изменил артисту, а сценическое его искусство сохранило всю силу, даже стало более совершенным. Этим совершенством исполнения Шаляпин старался заменить вдохновение, и это не могла не чувствовать публика в театре.

Было еще нечто, вызывающее горестное чувство у слышавших Шаляпина в дни его расцвета.

Актёр, писал когда-то Дидро, сам по себе должен оставаться холодным и спокойным в те минуты, когда он зажигает и потрясает других.

«Актёр живет, он плачет и смеется на сцене, но плача и смеясь, он наблюдает свой смех и свои слезы, и в этой двойственной жизни. В

этом равновесии между жизнью и игрой состоит искусство», — так говорил Сальвини, один из величайших артистов, которого любили и пенили великие мастера русского театра.

Временами на сцене Шаляпин терял это неотъемлемое для великих артистов свойство видеть и слышать себя как бы со стороны, — он уже не был в силах соблюдать чувство меры, и слезы его в сцене смерти Бориса были настоящими слезами, но это было уже вне пределов искусства. Это были слезы не царя Бориса, а слезы состарившегося артиста, оплакивающего утрату, увядание тех драгоценных даров, которыми он владел во времена молодости и творческой зрелости.

Вот почему горько и грустно было видеть и слышать Шаляпина в «Борисе Годунове» в последние годы жизни артиста. Дело было даже не в том, как бедно был обставлен спектакль. Не было той праздничности зрелища, к которому мы привыкли в Большом театре в Москве, но не было и того праздника искусства, которым в старые времена было участие Шаляпина в спектакле.

И Борис был другим в те времена расцвета шаляпинского гения. Не стало теперь сильного и мудрого человека, раненного насмерть раскаянием, сознанием совершенного им преступления. С первого явления на сцене был подавленный, мучимый смертельным недугом, состарившийся, глубоко страдающий человек, и это была, как уже сказано, не трагедия царя Бориса, а трагедия угасания великого артиста.

И потрясающие слова: «Я царь еще...», от которых волосы шевелились на голове — воспринимались не как слова царя Бориса, а как предсмертный вопль артиста, напоминающего о прежней своей силе и гении, о прежней безраздельной власти своей над людскими душами.

Заключительное: «Родные... Простите... простите...» — рыдание под раздирающую сердца гениальную музыку Мусоргского...

Точно это была мольба о прощении, раскаяние великого артиста в том, что он так трагически, так нелепо завершил свою жизнь, которая началась невиданным, вдохновенным взлетом русского гения...

Мы уходили из театра. Четверть века отделяли меня от другой ночи, в Тифлисе... Голос того Шаляпина еще звучал в ушах... Но точно налет пепла покрывал всеожигающее когда-то пламя искусства. Так покрываются серым налетом еще тлеющие угли. Люди вокруг говорили, что утрачен неповторимый, чудесный тембр, другие говорили о возрасте, о всеокрушающем времени...

И в прежнее время, несколько лет назад, здесь же, в Париже, ему случалось поступиться многим, за что он ратовал в оперном искусстве. Он пел Бориса в Парижской опере, и поджарые, подвижные хористы-французы мало походили на осанистых и дородных русских бояр. Но тогда он относился к этому, как к комическому эпизоду. Обращаясь к боярам-хористам, он вкладывал в обращение «бояре» чуть заметную иронию, издевку, которую понимали только русские, находившиеся в театре.

Теперь он уже не обращал внимания на тех, кто его окружал на сцене, и на то, что его окружало. Фраза, которую он бросил: «стал хуже петь — тебе меньше платят...» была горькой правдой. Ему стали меньше платить, он стал ездить в медвежьи углы Азии, куда раньше не заезжал. Он пел в Харбине и в Шанхае. И там его встречало злобное шипение белоэмигрантов, которые требовали подачек и получали от Шаляпина грубый отказ и презрение. В Шанхае белогвардейские газетки ругали его отвратительной бранью, какая-то «Активная группа» разбрасывала летучки с лозунгами: «Шаляпин — враг русской эмиграции! Бойкотируйте Шаляпина! Ни одного цента Шаляпину! Все клеймите хама! Все срывайте его концерт!»

Один русский артист (А. Вертинский) посетил его после концерта и застал одиноким, больным. Он полулежал в кресле с заострившимися чертами лица, в поту от простуды, со спутанными редкими волосами. Теперь он уже не напоминал Алексея Орлова или Алексея Ермолова, а скорее умирающего графа Безухова, екатерининского вельможу на смертном одре, каким он изображен в «Войне и мире».

Но Шаляпин еще жил, это были последние два года его жизни. На два года он пережил друга своей молодости, Горького.

На океанском пароходе, в пути, радио принесло ему весть о смерти Горького. И острое горе охватило его. Он написал нечто вроде некролога. Рассказал о том, что было легендой и что было правдой в их жизни. Он рассказал, как они познакомились и как подружились. В арзамасской ссылке, в Крыму протекли дни самой близкой дружбы. Они уезжали в лодке на рыбную ловлю, пропадали по целым дням и возвращались одухотворенные этой близостью, молодые, полные сил. Они были надеждой русской литературы, русского искусства. И не обманули эту надежду. В прощальных, посвященных Горькому строках Шаляпин писал о том, как, купаясь с Горьким в море, увидел рубцы, глубокие шрамы на груди Горького, и понял

все страшное, что пережил Горький, о чем так скупно рассказано на нескольких страницах рассказа «Вывод». Чувствуя приближение конца, Шаляпин воспринял смерть Горького, как предвестие собственной смерти. И так оно и было...

Человек несокрушимого здоровья, на седьмом десятке лет он умирал мучительной и медленной смертью от диабета, завидовал Мазини, который дожил до восьмидесяти лет, хотел жить и увидеть родину.

Жизнь постепенно уходила от него. Все становилось чем-то отдаленным, все становилось далеким воспоминанием, — несокрушимое здоровье молодости, дружба великих людей, любовь, слава... Воспоминаниями стали вино и вкус к любимым блюдам, страсть покупать землю, острова, скалы, дома, картины, редкости... Жажда обогащения бросала его из конца в конец света, он видел все материки, все столицы мира, его видели все материки и столицы мира, а теперь вся жизнь, вернее, то, что осталось от нее, сосредоточилось в этих четырех стенах, вернее, на этой кровати, с которой ему уже не суждено было подняться и на которой кончалась его жизнь.

И осталась еще тоска по тем местам, где он был молод, где был весел и счастлив, тоска по волжским далям, по великолепному Большому театру, где безраздельно и по праву царствовал царь искусства, царь Федор, Федор Шаляпин...

Умер он на чужбине, умер почти накануне неслыханной, небывалой в истории человечества войны, той войны, которая прославила, подняла на недосягаемую высоту его народ — на радость и восхищение лучшим людям мира.

Будут еще такие таланты на благодатной нашей земле, есть в русском народе жизненные силы, способные дать миру не одного Шаляпина, но тот, кто носил это имя, не умрет в нашей памяти. Шаляпина не забыли и не забудут. Не будет того, чего так страшился, умирая, великий артист! Не забудется содеянное им во славу русского искусства.

ПАМЯТИ А. Н. ТОЛСТОГО

23 февраля 1945 года советская литература потеряла выдающегося деятеля и человека — умер на шестьдесят втором году жизни Алексей Николаевич Толстой, крупнейший художник слова, романист, драматург, публицист, писатель огромного дарования и всемирной известности. Это был глубоко русский художник. Все произведения его говорят о безграничной любви к человеку, к родному русскому слову, к Советской Родине, под могучим крылом которой широко развернулся его великолепный талант. Он служил своему героическому народу и защищал его мощным оружием литературы. Всем памяты вдохновенные публицистические выступления писателя-патриота в годы Великой Отечественной войны. Это был голос сердца народного, революционного разума и воли.

В суровую осень 1941 года Алексей Николаевич говорил писателю, своему товарищу по редакционной работе: «Две вещи скажуся в этой войне, увидишь: величие советской исторической стратегии и ожесточение народа. Страшен русский человек в ожесточении, страшен! Лихо придется немцу, ой, лихо!..» События полностью оправдали предвидение писателя-патриота, одного из первых создателей художественных образов вождей народа — Ленина и Сталина.

Весть о смерти Алексея Николаевича Толстого отозвалась глубокой скорбью в сердцах советских людей. Толстой умер в полном расцвете своих творческих сил — чтоб убедиться в этом, достаточно прочитать в январском номере нашего журнала последнюю по времени создания главу исторического романа «Петр I».

Алексей Николаевич был верным долголетним другом «Нового мира», постоянным сотрудником и членом его редколлегии. Наиболее значительные произведения покойного писателя впервые увидели свет на его страницах. Из книги в книгу, на протяжении многих годов, печатались в журнале вторая и третья части замечательной эпической трилогии «Хождение по мукам», которую будут искать в библиотеках наши дети и внуки, как ищут ее сейчас наши современники; исподволь, по мере написания, печатались в «Новом мире» все три книги «Петра I» и ряд лучших драматических произведений, повестей, рассказов, включительно до народно-патриотических солдатских «Рассказов Ивана Сударева». Уже в годы великой войны с фашистскими захватчиками Алексей Николаевич поместил в «Новом мире» ряд своих оригинальных, содержательных статей по важнейшим вопросам советской культуры и литературы. Тяжело переживаем мы уход из жизни Толстого. Редакционный коллектив «Нового мира» часто опирался на него в своей работе, как на опытного, взыскательного и авторитетного деятеля советской литературы, всегда находя в нем поддержку и помощь. Уже будучи больным, Алексей Николаевич проявлял постоянный интерес к жизни журнала, следил за появлением новых писателей, приглашал их к себе и беседовал с ними. Таким взыскательным человеком, художником и редактором он и останется в памяти всех, кто соприкасался с ним по редакционной работе. Редакция, сотрудники и читатели журнала «Новый мир» низко склоняют голову перед памятью выдающегося писателя нашей земли — Алексея Николаевича Толстого.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“

УМЕР АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Заметки

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

★

Мир будет перестроен нами для добра.

«Хождение по мукам»

1

Ещё раз смерть заглянула в красный угол нашей литературы, и на этот раз, в лучшую пору своего творчества, поник под взмахом её символической косы один из самых сильных, один из самых добрых, один из самых ярких и природно-самобытных деятелей советской культуры. Умер Алексей Николаевич Толстой.

Со дня кончины Горького смерть Толстого — самый тяжкий удар для литературы. Талантами мы не бедны. Но в последние годы Толстой был, конечно, центром нашей литературной солнечной системы, её притяжением, её светилем, вокруг которого вращались по своим орбитам планеты разной величины и значения, бравшие у Толстого если не цвет, не вкус его таланта, то жар его творческого огня. Возникали вокруг него и недолговечные небесные тела, сверкали и распадалась в общем движении литературы, как падающие звезды, оставляя после себя светящийся след — пусть временный, но для жизни литературы все же плодотворный. Толстой не был организатором наших литературных сил, их вождем и учителем подобно гиганту Горькому. Но он был их постоянным вдохновителем. Подле него не могла дремать литература. К работе! Ворочать камни, высекать искры, добывать руду! Так солнце — носитель огня — не может не творить жизни.

Большим хозяином был Толстой в литературе и большое оставил после себя хозяйство. О его наследстве будут написаны труды людьми, преданными художественному слову. Эти же заметки — только тень образа Толстого-художника, каким он живет в сердце сейчас, в его свежей могиле.

2

Талант его был монументален. Как гора, возвышался он над равнинами жизни, и с его вершины Толстой видел много и далеко. Его тяну-

ло к большим полотнам, к мускулистым, многокровным, властным характерам, к героическим деяниям человека, к идеям столь высоким, что они переворачивают мир, умерщвляя ветхого Адама и рождая Человека с заглавной буквы.

Он говорил: «Весь пафос в будущем. От суеты быта — к вершинам, от юродствующей маски — к Человеку-герою». Писатель редчайшего трудолюбия, он неустанно взламывал пласты русской истории, вспахивал современную нашу землю и зрением художника, зажженного идеями своего времени, видел те нивы будущего, которые заколосятся на этой земле.

В нем, как в художнике, было что-то от былинных богатырей: дремучая сила Ильи, хитрость Алёши Поповича, безбрежная удаля Василия Буслаева. Но этот богатырский талант не растратил себя зря, играючи и тешась. А толкала и на это веселая сила! «Сколько напрасно выплеснуто страсти на бумажные листы, — признавался Толстой. — Прежде бывали такие случаи, что садился к столу, как человек, готовящийся быть загипнотизированным. Вот — перо, бумага, папиросы, чашка кофе, и — что накатит... Иногда накатывало, иногда не накатывало, после третьей странички начиналось рисование рожиц, и — злобещие мысли: а не поступить ли куда-нибудь на службу?»

Но это ушло вместе с творческой юностью, с брожением неясных, неосознанных, еще не подчиненных разуму душевных сил. Миновало время, когда вдруг бросает в беспричинный смех, или слёзы безо всякого повода наворачиваются на глаза, или плечо хочет «раззудиться». Огромный, весь светящийся, веселый и умный талант понял себя, понял свои возможности, уже созревшие и потенциальные силы и своё назначение в стране, устрояющей дело социализма.

Вот когда этот талант взял на себя подвиг служения народу, как брали на себя этот подвиг все самые искренние, глубокие и бескорыстные умы нашей демократической литературы,



Александр Николаевич

от Радищева и до Горького. Со времени Радищева, который в гневе и скорби окинул лицо бесправной родины и увидел, что две трети ее граждан лишены гражданского звания и в законе мертвы, русская литература звала к свободе, к добру, к гуманности, она была совестью народа, и все честные люди Запада внимали ей, как провозвестнице лучшего устройства человеческого общества и обличительнице зла.

Толстой определялся как художник на разломе двух эпох. Ему дано было трудное счастье работать в годы, когда Советский Союз вступал в ту светлую горницу социализма, где трудовой народ, осознавший свои силы и цели, выгребая из угла весь сор феодальных и капиталистических отношений, строит вполне реальную, зримую, осязаемую справедливость социальной жизни.

Да и то надо заметить — это было не розовое построение нового общества «из разведенных в особых парниках и теплицах особо добродетельных людей», как это мерещилось маноливым от утопического социализма. Коммунизм строился, по Ленину, «из массового человеческого материала, испорченного веками и тысячами рабства, крепостничества, капитализма, мелкого раздробленного хозяйничанья, войной против всех из-за местечка на рынке, из-за более высокой цены за продукт или за труд»¹.

Сияла перед нами великая цель, но не розовая веда к ней стезя. Цель требовала ясного разума, высокой души и рук, не боящихся черной работы.

Земной талант, трезвый, жизнелюбивый, реалист до мозга костей, реалист подноготный, Толстой увидел и понял цель и не закрыл своих пытливых глаз на то, что человеку убит в себе дурное наследие прошлого — дело нелегкое и мучительное. Это дело, в его образном мышлении, раскрылось ему, как хождение по мукам во имя грядущего добра.

Алексей Толстой обратился к монументальным художественно-философским «построениям». Ведущей формой своего творчества он сделал эпопею (речь идет не о типе, но о самом духе его творений). Он стремился к эпическому содержанию и своих рассказов, и своих драматических повествований, и своих романов. Даже в публицистике, к которой он часто обращался во время войны, слышна поступь писателя-эпика.

Это очень интересно, очень характерно для Толстого — для пути, который он наметил себе в литературе и по которому так блистательно, так шумно и решительно шел. Среди других публицистических сборников появилась его маленькая книжечка, названная «Родиной». Она открывается статьей под тем же названием. Это маленькая статья, предназначенная для газеты, для чтения на ходу, среди оборонного труда в тылу или в окопах. И в этой маленькой статье тоже вылилась весь Толстой, с его пониманием истории и современности и их взаимосвязи, со своим национальным ощущением суровых дней войны, со своей верой в торжество советского народа — такой ясной и крепкой, что вера эта воспринимается как з а н и е.

Статья писалась в конце 1941 года. Это были грозные дни, солнце меркло за крыльями «мессершмиттов». В статье есть русское присловье, чисто толстовское: «Ничего, мы сдюжим!» Сходит со страничек этой статьи пращур наш — «силен и бородат, в посконной длинной рубаше, солёной на лопатках». И, подняв к глазам ладонь, глядит по солнцу. Тогда раскрывается перед ним — и перед Толстым, и перед нами — величие нашей земли, на которой вставало русское государство. Плынут перед взором красивые щиты Игоря, лёд Чудского озера, деяния Ивана Грозного, державные успехи нашей государственности, восемнадцатый век, наши ученые, наши писатели, весь наш народ, ставший со времени Октября хозяином своей земли. Так, впрямую, средством публицистики, беседовал Толстой с народом в черные дни, помогая ему вспомнить и осознать источники своей национальной силы и будя весь действенный пафос в тогда еще не разной по оружию, но великой по духу борьбе с силами фашизма. Даже в газетных строках он оставался писателем эпическим, не теряя страстности патриота и вонте-ля.

Последнюю оговорку следует запомнить. Эпос — дело широкое. Эпос — не какой-то узенький клочок жизни, увиденный через щёлку. Это распахнутые окна в жизнь. Вся картина жизни, с её сложной и мучительной диалектикой общественных и социальных явлений, несчастья и счастья, ума и чувств, картина, в которой ничто не скрыто, не затуманено, всё обнажено и залито светом. Но картина не хаотическая, не бесстрастная — глубоко тенденциозная, в которой, при всём многообразии натуры, виден генеральный путь идеи.

«Меня могут упрекнуть в чрезмерной эпичности, — писал Толстой, — но происходит она не от безразличия, а от любви к жизни, к людям, к бытию».

Трогательное в своем наивном опасении заявление большого художника, в котором всё дышит страстью, всё полно великолепных, порою кричащих красок, всё омыто неиссякаемым, бурным чувством! Я не знаю современного писателя, который так воспринимал бы и так умел передавать юмор. Ни в одном писателе я не знаю такого дара наблюдения — зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. Вот уж подлинно это был живой, вечно бодрствующий, всегда свежий человек в литературе — словно росой умытый! К эпопее его влекло потому, что он умел видеть величественные масштабы и знал, что в творческом хозяйстве его достанет красок на большие картины из жизни народа. И можно рискнуть, сказав, что Алексей Толстой создал в литературе особый род эпического повествования — глубоко идейного по мысли и страстного, яркого по чувству.

Самым высоким его созданием была и осталась многослойная социально-психологическая панорама русской жизни с 1914 по 1919 годы — «Хождение по мукам». Многие думают, что

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXIII, стр. 458.

историческая тема была его самым заветным делом. Это неверно. Подлинная любовь Толстого, его знамя и слава — «Хождение по мукам».

Тема её — народ в революцию. Всё движется перед художником, кипит и плещет. Шумит волна народная. Хаос? Анархия? В самом деле, какой раскалённый, бурлящий материал! Примеры беззаветного героизма, и пьяный Махно со своею распутной бабой, и скромный человек Телегин, устоявший в бурю по гражданской и человеческой своей честности, и хрупкая Даша, едва не раздавленная сапогом белогвардейской реакции. Кровавые картины войны и то нежные, то сочные картины российской природы, тишина неба и содроганье земли, героизм и предательство, зверство и любовь...

Эпиграфом ко второму тому стоит: «В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого».

Откуда же чище? Почему? Как и всякий большой художник, Толстой был искренним человеком. Есть признание его в том, что, начав писать эпопею, он ничего не предвидел. Умирали в душевной теплице предреволюционной России милые нежные сестры, и Толстой описывал их умирание. Ничего не поняли они в надвинувшейся революции, и Толстой описывал их непонимание. История говорила ему только голосом старины, оскостеневшей и неподвижной. Ведь у него были глаза идеалиста. Будущее для него терялось во мгле, потому что марксистское понимание жизни было ему чуждо. Талант блистал, но бился в клетке, думая, что ею ограничен мир.

Пришла революция, и земля шатнулась под ногами. Но это не земля шатнулась, а шатнулся старый мир, поплыл и распался, и нужно было выбирать: сползаты ли со старым миром в историческое небытие или искать опоры на расчищаемой революционным шквалом русской земле. Толстой нашел опору. Иначе быть не могло. Он был сыном русской литературы и с молоком своей великой матери всосал ее народные традиции. Без народа ему было нельзя. Без народа — идти некуда. Когда он начинал второй том, он уже кое-что угадывал. Скорее инстинктом художника, чем сознанием, он уже нащупал цель и благодаря этому в кажущемся хаосе народной стихии начал различать закономерности исторического развития. Кровавый разгул белогвардейщины, неизбежные издержки революционного действия, ил и камни, поднятые со дна «лавочнической» жизни, уже не пугали его. «В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого».

Открылась идея и осветила кипение жизни.

Четыре человека личной своей судьбою скрепляют композицию романа, этот монументальный черёд сцен, написанных так повеселюшно, что будто жизнь наново живёшь! Честнейший, скромнейший Телегин, сбившийся с ног, но сильный волею Рошин, сестры Даша и Катя. Это совсем не выдающиеся люди. Как многие, как тысячи. Но в каждом — посев героического. Недаром каждый из них свою личную судьбу сплетает, в конце концов — после долгих

скитаний по мукам — с общей судьбой революционного народа, с единой судьбой родины, сказавшей всему миру: живите так, все пути ложны, только наш путь — единственно верный. В каждом из этих четырех людей заключена порода, из которой можно было бы слепить единый полнокровный и энергический, благородный и деятельный характер.

Именно к такому характеру влекло Толстого писателя на всем протяжении его творческого труда. В «Хождении по мукам», в коротенькой сцене, он пишет Ленина. Но как пишет! Ленин, выведенный в эпизод, становится точкой притяжения, образной опорой всей эпопеи, идей, вдруг — на минуту — принявшей облик человека, обретшей плоть и кровь.

В то время Толстой ещё не считал себя созревшим для написания Ленина. Но в этом небольшом портрете открылась его творческая мечта — написать Ленина как идеального характер эпохи, как лучшего из лучших людей, как образ революции. Говоря по совести, в нашем словесном искусстве, не считая Горького, еще ничего нет выше этой толстовской зарисовки, несмотря на то, что многие художники отважно брались за кисть. В пьесе «Путь к победе» пробовал вернуться к Ленину и Толстой, и тоже не выдержал соревнования с самим собою. Но тяготение к характерам великим он обратил в непрерывные творческие поиски. Он видел в таких характерах воплощение великих эпох. После «Петра» он назначил себе вернуться к нашему времени и возвеличить его деятелей. Дарование его к концу жизни стало могучим. Оно не знало уже даже полупоражений. Толстой свершил бы — если бы жизнь его не оборвалась.

Наша критика не раз вернется к страницам «Хождения по мукам», чтобы сделать новые открытия: ведь открыт покуда только материк, но до конца не исследованы его недра. Эта эпопея — вполне явление нашего времени, его художественный плод. Она автобиографична не только потому, что у Телегина или Рошина можно подслушать мысли самого Толстого, не только потому, что в хрупком мироощущении Даши вдруг проступает порою художническая эмоция автора. Эпопея автобиографична главным образом потому, что в ней, на глазах читателя, складывалось большевистское мировоззрение автора, его философия, наметался его путь к коммунизму. В этом отношении «Хождение по мукам» — изумительный художественный документ, который никогда не увянет, и гражданин будущего совершенного общества всегда оглянется на него с живейшим интересом.

Таково, впрочем, всё творчество Толстого пореволюционных лет. Гоголь видел перед собой косное бытие, цепенеющее под рыбьим взглядом Николая I (впрочем, скорее это были глаза удава). «Мертвые души» рождены мировоззрением сложившимся и цельным. В результате устойчивого взгляда на историю, на роль личности в историческом процессе, на законы общественных отношений родилась непревзойденная эпопея «Война и мир». «Хождение по мукам» создавалось писателем, который

шел к коммунизму своим сложным, зигзагообразным, нелегким путем, выдавливая из себя по каплям сладенькую водичку идеализма, ошибаясь, теряя тропу и всегда вновь находя ее, потому что он имел главное: кровную любовь к своему народу.

В этом отношении творения Алексея Толстого — не только шедевры литературы. Они в то же время — документы преобразования творческой личности в купели социалистической революции.

4

Это двойное, так сказать, качество несет в себе и «Петр I», бессмертный исторический роман эпохи социализма, имеющий в биографии Толстого свою предисторию.

Она хорошо известна, и в критике достаточно разработана — все эти попытки Толстого разглядеть великого царя то с позиций «Дня Петра», то с позиций «На дыбе». Известны и внушения, которым поддавался Толстой — те голоса, что звучали из прошлой нашей историографии: лампадно-душная воркотня славянофилов, восторженный и в патриотизме своем зоркий панегирик Белинского, шум встречных прогрессивных и реакционных концепций. Скрещённые мечи давала искру. Она зажигала мысль. Ключевский, при всем драгоценном даровании своем, вырываясь из тенет буржуазного экономизма, всё же не достиг высот марксистского мировоззрения. Но мысль его была сильна, знания его были неисчерпаемы, разговаривал он языком ученого-художника. Искры, высеченные скрещёнными мечами, падали и на мертвую почву, покрытую иссохшим вереском. Милоуков захоронил историю как живую науку и вбил в ее могилу осиновый кол. Он возвестил миру, что установление закономерности в исторических движениях невозможно.

Всё это, все эти противоречивые внушения, повторяю, широко известны. Но и в современной нашей науке еще много было ложных дорог, уводящих с ленинского большака в овраги и болота. Ущербно, односторонне писал Покровский: портил иных молодых ученых, портил писателей. А чем порочней концепция, тем назойливей, как известно, она кричит. Но здоровый талант Толстого всё же неизменно удерживал его в фарватере истинной науки. Второй том «Петра» был закончен в 1934 году, в год, когда появились известные «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР» товарищей Сталина, Кирова и Жданова, замечания, ставшие переломной вехой в развитии нашей исторической науки.

Толстому эти «Замечания» помогли и как мыслителю, и как художнику.

В настоящей книжке «Нового мира» напечатана большая статья о «Петре» В. Щербины. И будут еще написаны большие работы; роман Толстого уже принадлежит классике и требует широких истолкований. Не дело беглых записок, вызванных непосредственным чувством утраты, касаться этой грандиозной темы. Просто хочется прислушаться к образу Толстого, как он стоит в душе.

Чем ревнивей думаешь о Толстом, чем глубже его любишь, тем менее кажется идущим к нему титул исторического писателя. Писатель, исторический исключительно и по преимуществу, живет, конечно, интересами своего времени как гражданин, но литературное оружие его боеспособно лишь в дали веков. Он мыслит только в дальней ретроспективе. Современный материал не повинуется ему. Это певец прошлого, певец былой славы. Он как бы говорит современнику: ты не под кустом родился, не безотцовный, не безматерний, не первой травой цветет твоя земля, за твоей спиной — оттичи твои и дедичи, их трудами ты силен и можешь идти дальше навстречу заре. Исторический художественный талант — дарование особое и, при всей своей неоспоримой ценности, всё же в горизонтах своих замкнутое. Алексей Толстой был художник всеобщий, историческое дарование входило лишь составной частью в его могучую писательскую натуру. Он писал, к примеру, и приключенческие романы, вторгаясь в область уже совсем обособленную, специфическую — и роскошно писал. Именно роскошно: выпукло, размахисто, самоувлеченно. К истории же он оборотился ради более глубокого познания современности. А познавая современность через русский характер, он вошел под своды истории, чтобы глубже познать этот характер. Обращение к истории играло у него обогащающую роль — всё, и история в том числе, должно было служить конечной цели — написанию современного советского героя во всю ширину его плеч.

Вот откуда влечение к исключительным личностям в истории, к крутым поворотам нашей былой государственной жизни, к людям, в которых воплощена созидательная воля народа. Поэтому его и заворочила эпоха Петра. Большой талант не может быть закомим гостем в мире, который он хочет изобразить — и не только изобразить, но и открыть взрывную силу его передовых идей. О петровском времени Толстой пишет так, будто сам чокался чаркою с Петром Алексеевичем, и качался вместе с ним на нервной волне, в утлом боте, и вгонял сваи в мокрую чухоносную землю, и был под стенами Нарвы, и беседовал с горемыкой Голяковым, потягивая из трубки заморское зелье. Творческое перевоплощение Толстого уникально. Пиша о людях семнадцатого века, он влезает в их кожу, оставляя, однако, при себе ум сталинского современника.

Вот почему он полный хозяин в романе! Да не проекция современности («это было бы с моей стороны ложно историческим и антихудожественным приемом»), но «ощущение полноты, «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер».

На протяжении двух с половиной томов легко увидеть эволюцию Петра, как образа, растущего в меняющейся исторической обстановке. Но легко увидеть и эволюцию исторической мысли Толстого, отрясающей прах лукавых, темных внушений и утверждающей себя на высотах исторической ленинско-сталинской науки.

Какая живопись! Какая пластика! Какая звучность языка, словно составленного из обточенных временем неугасимых элементов! Это не только говорящее, это поющее слово! Главы третьей книги, которую Толстой писал пока рука держала перо, изумили даже тех, кто был ранее изумлен и не верил, что талант может подняться ещё выше, глянуть ещё шире.

Так, уже у постели больного Толстого, мы оказались свидетелями того, как ленинско-сталинская историческая наука, озарив разум Толстого, до конца раскрепостила все силы его таланта. Постигнув правду, он дал высшее, на что способно искусство.

Занимаясь, в поисках «тайны» русского характера, Петром, изображая империю его, укрепившую исторически прогрессивное русское абсолютистское государство XVIII века, Толстой увидел, что на этой эпохе не остановится. В поисках корней все глубже уходил он под сень истории. Более давняя пора? То время, когда определилось и стало быть централизованное русское государство? Каких людей оно выдвинуло? Какими сдвигами обусловилось? Какими характерами строилось? Там неистово грудился Иван IV, крутой и жаркий, заносчивый и самолюбивый владыка, лучший ум тогдашней Европы — царь, которому народ дал имя Грозного на страх врагам его дела, внутренним и внешним. Работая над «Петром» и ещё не довершив его, Толстой обращается к Грозному и пишет две, отгнанные знаменитые, драматические повести. Это закономерно для него. Это неизбежно. Даруй ему судьба побольше жизни, он оглянулся бы, мне кажется, и на время Ивана III, собирателя русской земли. Иван III — роди Ивана IV, Иван IV — роди Петра I.

Так, в изучении истории, Толстой искал и нашел «тайну» русского характера, вызревавшего в построении своего государства. Из истории он протянул золотую нить славных традиций народа, который всегда искал добра, справедливости, истины и шел навстречу лучшего устроения людей на земле. Перечисляя в своей автобиографии исторические эпохи, которые влекли его, Толстой пишет: «И, наконец, наша — сегодняшняя — небывавшая по размерам и значительности. Но о ней — дело впереди».

Не сбылось. И в этом — неутешное горе литературы. Создание крупного героя советского времени, к чему Толстой подготовил себя долгой, благодарной, богатой по свершениям работой — не состоялась. А уже всё было гармонично в нем: сознание, чувство, понимание, мастерство. Уже пораженный болезнью, он писал, как духовный силач, со всей жадной впечатлительности, со всем испанским моральным здоровьем — богато, неисчерпаемо, свободно, обильно, страстно, весело, умно. Казалось, талант его прорвал все платины, стоявшие на пути, и могучим разливом затопил равнины нашей литературы. Верил ли он, что ранняя смерть может остановить это шестие сияющих вод? Мы, уже знавшие неизбежность конца, не верили! Ни одна строчка его не несла в себе и следа увядания, каждая новая строчка его была все краше и свежей.

И так до последней строки, им написанной.

Все, кто близко знал его, не забудут тяжелой, слегка мешковатой фигуры, широкого лба, глаз пристальных и как будто сердитых и добродушных складок у губ. Он обо всем говорил и шутило, и значительно: будь то рассказ о мадридских баррикадах, среди которых под самолетами фашистов он вспоминал Москву, или бытовая мелочь, какой-то стороной поразившая его недремающую наблюдательность. Это был сочный, блестящий человек, в котором сердце, ум и юмор уживались рядом, по очереди показываясь из глаз: то мысль блеснет, то шутка, то вдруг откроется в них потайное движение сердца.

Рассказывал он не гладко, спотыкаясь, а рассказ его был чудесный, весь унизанный цветными словами, будто вынутыми из заветных сундучков русской речи. Его можно было слушать от зари и до зари. И, слушая, думать: «Экий чудесник! Экий колдун слова!»

То-то что колдун! Русские колдуны, если соскочить с них сказку, оказывались знатоками редких трав и их лечебных свойств. Толстой был знатком русского слова и его свойств, одушевляющих жизнь.

В статье «Родина» он писал о русском человеке на рассвете его государственной жизни: «Росли и множились позади него могилы отцов и дедов, рос и множился его народ. Дивной вязью он плел невидимую сеть русского языка — яркого, как радуга вслед весеннему ливню, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего и богатого. Он называл все вещи именами, воспел свой труд. И дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь, и стал его достоянием и для потомков его стал родиной — землей отцов и дедич».

Это слово, рожденное в недрах народных, было первородным даром Толстого, его натурой, его естеством. Как сахар растворяется в воде, так было оно растворено в его крови. Нет литературы без слова. Литератор, не знающий слова, сам в себе душит образы, и мертвыми тенями они скользят по душе читателя, проносясь, как тени, мимо и не отставаясь в ней. Без толстовского слова не было бы литературы Толстого, несмотря на всё богатство его образного мышления: он не донёс бы до народа этого своего богатства.

Всем творчеством своим Толстой звал: учитесь слову, слушайте его, растите его и шолте, следите за его жизнью, за его ходом из поколения в поколение, за его живыми изменениями, за поворотами, за игрой его смысла. Как в демократическом устремлении всей своей деятельности, так и в культуре слова он был подлинный классик. Силу слова русского давно познала наша литература. На память всходят слова Ломоносова, дальнего радетеля русского языка: «Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает». Его изумляло в нем «великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, неж-

ность италийского сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». Опорой и поддержкой в минуты уныния называл Тургенев великий и могучий язык своей родины. Нет писателя в классическом прошлом нашем, который не благоговел бы перед языком как орудием духовной жизни человека. И служил ему. И пестовал его. И говорил с народом при его посредстве.

Непревзойденному языку Толстого нельзя подражать, потому что Толстой обжег его в горниле своего исключительно самобытного и потому неповторимого таланта. Мир образов, на ко-

торый он «накинул волшебную сеть слова», покорился ему. Картинами своих эпопей, больших и малых, Толстой восславил человека нашей страны, никогда не склонявшего головы перед иноземцем.

Толстой умер в канун победы. Ее солнечное лицо еще было скрыто от него дымом последних сражений. Он умер, как маршал советской литературы, с оружием в руках, порываясь к тем огням свободы, что горят впереди, горят и светят на благо всего человечества. Ибо, как говорил Толстой, «мир будет перестроен нами для добра».

„ПЕТР I“

В. ЩЕРБИНА



1. СОВРЕМЕННОСТЬ И ПРОШЛОЕ

История и судьба родины составляют душу творчества Алексея Толстого.

Опыт художественной литературы показывает, что интерес к исторической теме вызывался различными побуждениями. Великие произведения классиков русской литературы («Медный всадник», «Полтава», «Борис Годунов» Пушкина, «Война и мир» Л. Толстого) рождены стремлением дать ответ на важнейшие общественные вопросы. Патриотическое чувство, национальная гордость — источник благородного стремления художников раскрыть величие народа и его деятелей. Продумывая общественные события своего времени, Белинский писал: «Никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам ныне настоящее и намекнуло о нашем будущем»¹. Менее значительным писателям свойственны и менее значительные интересы. Одни обращались к истории для полемики с прогрессивными силами современности. Другие занимались романтическими поисками общественного идеала в давно прошедших временах. Литература знала и всякие иные побуждения. Однако во всех случаях в прошлом обращение художников к истории не читалось такими глубокими общенародными корнями, как в наше время.

Последние десятилетия наш народ является свидетелем и непосредственным деятелем великих событий. Социалистическая революция вызвала массовое стремление к историческому познанию. Раньше большинство людей было пассивным, страдательным элементом истории. Люди, осознавшие себя ответственными за судьбу своей родины, естественно, выходят за рамки текущего дня, думают о прошлом и будущем. Эти обстоятельства создали предпосылки для невиданного ранее расцвета исторического жанра. На успехи советской историко-художественной литературы в свое время обратил внимание М. Горький, поставивший «Петра I» Толстого первым в ряду лучших исторических романов.

¹ В. Белинский. Соч., 1906 г., т. IV, стр. 434—435.

Особенно обострилось чувство национальной гордости и ощущение величия истории отчины у советских людей в годы Великой Отечественной войны. Товарищ Сталин в своей речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года говорил: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. На гребне патриотического и национального подъема родились блестящие исторические произведения А. Толстого. Великая радость владела нами, видевшими расцвет его таланта в последние годы. Мы не допустим никакого преувеличения, если назовем драматическую повесть «Иван Грозный» вершиной драматического творчества Толстого. На наших глазах создавались главы третьей завершающей книги романа «Петр I», еще выше поднимающей достоинства этого популярнейшего произведения».

Монументальный художественный труд писателя остался незавершенным. Смерть сразила Толстого в расцвете творческих сил. Любимый жизнь, он гнал от себя мысли о неизлечимости болезни и до последних дней не выпускал пера из рук. Шестая, последняя глава романа была закончена в январе текущего года, отмеченного началом небывалого наступления Красной Армии на враждебную Германию. Роман должен был, по замыслу автора, закончиться на кульминационной точке государственной деятельности Петра — Полтавской битве. По словам Алексея Николаевича, изображение этого военного триумфа русского оружия в прошлом приобретает исключительное значение в свете великих побед Красной Армии в настоящем.

Исторический роман Толстого далек от чисто антикварного пристрастия ко всяким «старинным лицам и вещам». Взгляд писателя не безразлично блуждает по обширным равнинам истории, а останавливается на ее вершинах, с которых легче видеть ход исторических событий. Меня влекут к себе, рассказывает Толстой в автобиографическом очерке, четыре переломные эпохи, надолго

вперед определившие удел народа: эпоха Ивана Грозного, Петра I, революции 1917 года и гражданской войны и, наконец, небывалая по значительности событий современная эпоха Великой Отечественной войны.

В такие периоды истории наиболее всесторонне и с особенной яркостью раскрывается характер народа. «Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер»¹.

Враждебные России силы всегда старались унизить ее историю, деятельность Петра и гигантские усилия всего русского народа в эту эпоху. Не могли обойти Петра и немецкие фашисты. Насколько злободневную и политически важную тему взял Толстой, свидетельствует в числе других следующий факт. В 1941 году немецкие газеты опубликовали сенсационную фальшивку, так называемое «завещание» Петра Великого. Общий смысл подложного «завещания» заключается в том, что Россия должна строить свою политику на завоевательных войнах, служащих главной цели — достижению мирового господства. История этого «завещания» подробно изложена в статье Н. Яковлева². Всякий раз для оправдания агрессии враги России публиковали этот подложный документ. Появившись свыше ста лет назад, накануне войны 1812 года, эта фальшивка была пущена немцами в ход во время первой мировой войны и последний раз в дни нападения на Советский Союз. Своим патристическим романом Толстой преградил пути всяким искажениям облика Петра I — создателя русской армии и флота.

II. ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПЕТРА

Более двадцати пяти лет волновала А. Толстого тема Петра I. История образа Петра в творчестве Толстого в высшей степени интересна и поучительна: в различии подхода автора к теме можно наблюдать идейно-художественное развитие писателя.

Толстой впервые затронул историческую тему, когда политические потрясения 1917 года и события гражданской войны вызвали в нем стремление осмыслить направление русского исторического движения. В самом начале Февральской революции он обратился к эпохе Петра Великого (рассказ «Наваждение»).

Много помог в то время писателю историк В. В. Калаш, познакомивший Толстого с архивами и записями Тайной канцелярии и Преображенского приказа — «Слово и Дело». Во всем блеске раскрылись перед Толстым сокровища русского языка.

История для Толстого явилась не только творческой темой, но и средством познания жизни.

¹ А. Толстой. «Повести и рассказы», «Советский писатель», 1944 г., стр. 9.

² «Исторический журнал», 1941 г., № 12, Н. Яковлев. «О так называемом «завещании» Петра Великого».

Скорей инстинктом художника, чем сознательно, он искал в этой теме разгадки законов развития духа русского народа и русской государственности. Из ограниченного мира узкой помещичьей жизни он вышел на широкий простор. Писатель увидел мир ярких индивидуальностей, сильных характеров, уверенно идущих через века, сохранивших отечество от татарского нашествия, победивших немецких псов-рыцарей, ландскнехтов Карла XII, Фридриха II, армию двенадцати языков Наполеона I. Отстаивая свою родину от захватчиков, лучшие русские люди не мирились с крепостничеством, выдвигали из своей среды романтических бунтарей — Разина, Пугачева. В поисках воляности они уходили на Урал, в Сибирь, Донские степи, осваивали огромные пространства нашей страны.

Первый исторический рассказ Толстого «Наваждение» отмечен лишь внешним историзмом. Автор, впервые познакомившийся по подлинникам с сокровищами русского языка XVII — XVIII столетий, всей душой погрузился в новую увлекательную стихию. Полновесная, живая речь героев рассказа резко отличается от дилетантского славянизма стандартной исторической прозы, в изобилии появлявшейся в конце прошлого и в начале XX веков. В этом главное достоинство рассказа. Все остальное мало напоминает современного Толстого.

Сюжет сводится к общеизвестному эпизоду в отношениях Мазепы и Кочубея. Повествование ведется от имени рядового человека той эпохи — смиренного послушника Трефилия. Образ самого Петра в рассказе отсутствует.

После Октября 1917 года Толстой создает небольшую повесть «День Петра». В отличие от «Наваждения» здесь все заполняет фигура Петра. Автор раскрывает огромный масштаб деятельности Петра, его колоссальную волю и энергию. Сила повести — в смелом освещении резкости и решительности исторического перелома. Трагическими тонами окрашены противоречия эпохи, варварски беспощадные методы проведения реформ. Совершая преобразования, Петр, в представлении Толстого, один восстал против всей страны. «Царь Петр, сидя в пустахах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал земли»: Петр наделен сверхчеловеческими свойствами, и в то же время до конца трагичен в своем одиночестве. Народ персонафицирован автором в образе фанатического защитника старинного благочестия Варлаама, который гневно обличает мероприятия Петра, нарушившие привычные жизненные устои.

Повесть «День Петра» заканчивается выводом о «непосильной человеку тяжести», взваленной на свои плечи императором.

К истории Петра Толстой вновь обратился в 1920 году: тогда появилась его пьеса «На дыбе». В образе Петра здесь много подлинно человеческого. Реалистически нарисовано окружение императора. Все же взгляд на исторический смысл петровских преобразований остается прежним. Приходит расплата — трагическое одиночество человека, рухнувшего под тяжестью непосильной ноши. Близок конец. На Петербург обрушивается морская стихия. Петр один,

в тяжелом раздумье: «Сердце мое жестоко и друга мне в сей жизни быть не может. Да вода прибывает, страшен конец». Эти символические слова заключают пьесу. Автор впоследствии писал, что он тогда «не совсем еще освободился от идеалистических влияний»¹.

«День Петра» и «На дыбе» написаны Толстым до романа «Сестры», обозначившего поворот писателя к эпическому познанию современности. Под воздействием войны и революции художник уже не может ограничиться точкой зрения рядового наблюдателя истории. Благодетельную роль в идейном развитии Толстого, наряду с событиями революции, сыграла постоянная жизнелюбивая пытливость писателя.

Попытку отойти от односторонней исторической концепции писатель сделал в «Повести смутного времени» (1922 г.). Содержание ее своеобразно развивает летописное сказание о несокрушимости русского народа (это же самое сказание Телегин в «Сестрах» читает Даше). «Повесть» принадлежит к числу наиболее художественных созданий Толстого: рельефность образов и словесный узор ее говорят о большом мастерстве. Идеи «Повести» все же не вышли за пределы исторических взглядов, выраженных в «Дне Петра» и «На дыбе». Стремясь разорвать закодированный круг трагического восприятия истории, Толстой на короткое время впадает в другую крайность. Автор усматривает символ порядка в русской земле после смуты в «хулианом отроке с угрюмыми глазами» — Михаиле. Бунтарь Наум, носитель духа народной массы, склоняется перед «тщедушным отроком».

В таких блужданиях формировался взгляд Толстого на историю. Сам того не подозревая, Толстой своеобразно, порой наивно повторял то, что многие тоды дебатировалось историографами. Искания в историческом мышлении, дань которым по-своему отдал Толстой, характерны и для ряда других произведений русской художественной литературы. Толстой в то время менее всего являлся последователем определенной исторической школы. Он, как мы уже говорили, искренне хотел разобраться в современности, обратившись к опыту сходной на его взгляд эпохи. Но писатель в то время слишком преувеличивал сходство этих эпох. Поэтому «мышление» самой истории вначале зачастую подменялось внешними аналогиями. Искания писателя шли еще окольными дорогами знания прошлого. Стихия противоречивых мнений увлекла за собой художника. Нужно было время, чтобы писатель продумал события революции и гражданской войны, выработал зрелый политический взгляд. Тогда полным голосом заговорил ничем не стесненная правда самого прошлого.

Толстой отверг свое начальное восприятие истории во имя нового, более совершенного и правдивого. Писатель постепенно, ступень за ступенью, поднимался к высшим формам исторического мышления. Создавая новые художественные ценности, Толстой не просто отказывался от старых заблуждений, а органически переосмысливал общественные явления.

Он как бы пережил воззрения на историю нескольких поколений. Взгляд Толстого на исторический процесс, на Грозного и Петра в последних произведениях — не только воспринятая идея, но и выстраданный пережитой опыт. Происходит решительный и плодотворный перелом. Советская действительность дала писателю правильную точку зрения на общественное развитие — основу для создания выдающихся произведений литературы. Не случайна последовательность, с которой у Толстого чередуются современная тема с исторической. Работу над «Петром I» автор начал после «Восемнадцатого года» — романа о гражданской войне. На первый взгляд эти две темы слишком отдалены друг от друга по времени, чтобы могло возникнуть сопоставление. Тем не менее, взаимовлияние сказалось: за время работы над произведением о массовом социалистическом народном движении Толстой выработал новое понимание исторического процесса, которое стало основой для художественного воспроизведения петровской эпохи.

В 1930 году написана первая книга романа «Петр I». Вторая книга закончена в 1934 году. Обе опубликованные книги романа, по мысли автора, представляют собой вступление в третью книгу романа, охватывающей события от взятия Нарвы до апогея деятельности Петра — Полтавской битвы.

«Третья книга — самая главная часть романа, — рассказывает автор. — Она относится к наиболее интересному периоду жизни Петра. В ней будет показана законодательная деятельность Петра I, его новаторство в области изменений уклада русской жизни, поездки царя за границу, его окружение, общество того времени. В третьей части будут даны картины не только русской жизни, но и Запада того времени — Франции, Польши, Голландии. Все основные задачи, которые я ставил перед собой, приступая к роману, будут осуществлены главным образом в этой части»¹. Бесспорно, что главы третьей книги, где фигурирует Петр, уже зрелый государственный деятель, по мастерству художественного письма — выдающееся явление в современном романе. Уверенно и свободно ведет нас писатель по дорогам прошлого. В «Петре I» нет и следа мучительного раздумья и смятенности первых исторических произведений Толстого. Из царства трагических теней писатель перенес нас в красочный и объемный мир, населенный реальными людьми. Приблизительно такое же чувство испытываешь в картинной галерее, когда от условных дисгармонических фигур Врубеля переходишь к правде реалистических полотен Репина, Васнецова или Сурикова. Одив из самых сложных этапов нашей истории освещен ясным светом идейно-передового искусства.

Многие литераторы раньше принимали фигуру Петра. Действительно, большинство вышедших в свет беллетристических произведений о Петре производят довольно странное впечатление. Главный герой в них или мрачная демоническая личность, или же неутомимый эксцентрический путешественник, страстный

¹ «Новый мир», 1943 г., № 1, стр. 108.

¹ «Смена», 1944 г., № 4, стр. 15.

любитель корабельного дела, самое главное — фанатический противник и преследователь «святых брод». Последняя тема порождала в свое время повести Авенариуса или пьесы вроде «Брадолюбие» К. Марсальского. Оставалось, в конце концов, очень мало выясненным самое важное: почему народ русский признал за Петром право на титул Великого.

В романе Толстого Петр прежде всего крупнейший национальный деятель. Все мысли и воля его сосредоточены на преобразовании отсталой России, чтобы она могла противостоять врагам и смело занять подобающее ей место в ряду великих держав мира. Без этого ненависть Петра к боярству, косности, отсталости была бы непонятной.

Живая, кипучая натура нарисована Толстым: его Петр полон великих замыслов и настойчив в их исполнении. Он и другие персонажи романа — неповторимые и своеобразные индивидуальности и потому они живут и будут жить в искусстве, не теряя при этом безликости. И если бы отнять от образа Петра, созданного Толстым, то простое, человеческое, чем он богат, многое бы в общественной деятельности преобразователя осталось нераскрытым. Писатель создал новый художественный образ Петра и эпохи. И через роман Толстого он входит в семью излюбленных литературных образов, созданных нашей современностью.

Содержание романа перерастает пределы узко исторического жанра. Сама жизнь уже включила его в список самых актуальных для современности произведений литературы. Художник хотел дать свой ответ на вопросы, поставленные действительностью. «Петр I» своеобразно включает в себя волнующую тему «хождения по мукам» — тему поисков правды: роман одушевлен стремлением осветить великие и трудные пути, которыми наша родина шла к свободе и могуществу. «Проблемность» романа связывает его с непрерываемой линией высоких идейных исканий классической русской литературы. Например, в связи с нашей темой интересно вспомнить письмо А. Толстого к Страхову (1872 год). В нем писатель сообщает о планах задуманного романа из эпохи Петра I. «До сих пор не работаю, — писал Толстой. — Обложился книгами о Петре I и его времени, читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника! На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только и возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут». А. Толстой отнесся к петровской эпохе тоже как к «загадке» и разгадывал ее средствами «поэзии» — художественным мышлением.

III. ОБРАЗ ГЕРОЯ И ЭПОХИ

С первой же страницы романа писатель вводит нас в русскую жизнь конца XVII века: раскрывается повседневный быт и заботы миллионов крестьян. Повествование начинается описанием дня крестьянской семьи Бровкиных. Здесь читатель в первый раз встречается с группой основных героев романа, которым в дальнейшем предстоит жить и действовать одновременно с Петром. Освежающая буря испыты-

ваний той эпохи затронула все слои населения. Художник создал целостную картину России, от императорского дворца до убогой крестьянской избы, потерявшей в лесной глуши. Роман «Петр I» охватывает все классы общества в их живом взаимодействии. Крестьяне, землекопы, стрельцы, раскольники, бояре, солдаты, придворные — многоликая и многоцветная толпа как бы воскрешена волшебством, и художник, вызвавший ее на свет магией таланта, любит эту человеческую силу, колоритностью, богатством красок эпохи. Для неугомонного жизнелюбивого таланта Толстого было бы и не было препятствий, неизбежных при создании широкой эпической многолюдной картины: трудности он одолевает легко, как бы играя. Толстому хватило изобразительной щедрости на сотни «проходящих», эпизодических персонажей. Искусно художник лепит духовные и физические черты каждого образа. Власть художника роднит нас с его героями, их судьба вызывает в нас глубокий интерес.

В «Петре I» ожили черты классического исторического романа — совершенство художественной формы, тонкая психологическая проницательность в изображении героев сочетаются с широким воспроизведением исторической эпохи.

Одни герои романа воплощают крайние борющиеся силы; другие занимают нейтрально пассивное положение; третьи поддерживают борющихся, размышляют, колеблются. На прошлое писатель смотрит не безучастным глазами «дьяка, в приказах поседолого», для которого нет ни правых, ни виновных, ни близких, ни далеких. Одни герои Толстого будят в нас сочувствие и ощущение близости, другие же, напротив, отталкивают, кажутся чужими и далекими. Аналитический разум соединяется с патристическим чувством, страстью, ощущением доброго и злого.

Вводные главы «Петра I» — широкая панорама страны, иллюстрирующая необходимость нововведений. Придворные интриги бояр при царице Софье расшатывали государство. Ее сторонники истребили братьев и близких вдовствующей царицы Натальи — Ивана и Афанасия Нарышкиных, Юрия и Михаила Долгоруковых, Григория и Андрея Ромодановских, Матвеева, Салтыкова. В Москве, в сотнях уездов, раскинутых по необъятной земле — бесправие, холопство. Мужик ковырял землю. Изнемогал от поборов посадский люд. Нехватало размаха купечеству: не было своих морей, ходу за границу. Боярство тоже оскудевало. «В Москве стало два царя — Иван и Петр, в выше их — правительница царица Софья. Одних бояр променяли на других. Эти пока еще побавались скалить зубы, но надоело ли? У памятного столба на Красной площади стоял одно время часовой стрелец с бердышем да куда-то ушел. Время остановилось».

Дело создания великого русского государства, начатое Иваном III и Иваном Грозным, не было достойно продолжено. В XVII веке явно обнаружилась отсталость русского государства, отсталость в промышленности, в

устройстве армии, в культуре. В это же время опыт тридцатилетней войны и войн Людовика XIV оказал серьезное влияние на развитие военного дела и техники в странах Западной Европы. «Когда Петр Великий, — говорит товарищ Сталин, — имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выколоть из рамок отсталости»¹.

Тревога и недовольство затаились в народе. Дворцовые распри и боярская неорганизованность ослабляли страну. Назревала угроза нападения сильно вооруженных соседей. Наглядно характеризуют общее положение сборы дворянского ополчения на войну с крымским ханом, угрожающим югу России. Указы воеводы Голицына, грозящие опалой, разорением, благами, не достигали цели.

«Помещики не торопились слезать с теплых печей: «Эка взбрело — воевать Крым. Слава богу, у нас с ханом вечный мир, дань платим не обидную, чего же зря дворян беспокоить. То ли дело Голицыных — на чужом горбе хотят чести добыть...» «Ссылались на немочи, на скудность, сказывались в нетях...» Россия в то время стояла перед дилеммой — или наверстать расстояние, отделяющее ее от ушедших вперед в технико-культурном отношении западноевропейских стран и войти в первый ряд передовых держав или остаться отсталой, потерять перспективу дальнейшего развития, стать в зависимость от других государств. В. О. Ключевский в «Курсе русской истории» приводит не лишенный остроумия хронологический расчет князя Щербатова: «Во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия, сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть, в рассуждении просвещения и славы». Князь Щербатов, как известно, неодобрительно смотрел на реформы Петра. Однако по его расчету выходило, что Россия до того состояния, в котором она находилась на исходе восемнадцатого столетия, пришла бы не менее чем через сто лет, да и то при условии, если бы никакая война или неразумные меры правителей не замедляли темпов ее развития. То, что осуществлялось в передовых странах Западной Европы в течение многих десятилетий, России надлежало свершить прыжком, в предельно сжатый срок. Отсюда крутой решительный характер петровских преобразований.

Художественное полотно Толстого в нашей литературе — один из лучших образцов советского исторического эпоса. «Меня могут упрекнуть в чрезмерной эпичности, но происходит она не от безразличия, а от любви к жизни, к людям, к бытию», — писал о себе Толстой.

Эпичность современного искусства хорошо понятна Толстым: он никогда не забывает святой обязанности художника быть внимательным к индивидуальности всех героев. Между тем, создание исторических полотен у нас в литературе

происходило не без ошибок. С особенно большими затруднениями достигалось слияние индивидуального и исторического начал. Во многих произведениях описание исторических событий зачастую подавляет индивидуальность героев. В литературе существует немало таких «гибридов», механически сочетающих исторический материал и личные судьбы героев. Примером может служить последний роман С. Сергеева-Ценского «Пушкины выдвигают», в котором главы подлинно художественной живописи перемежаются с массивами переработанного историко-публицистического материала. Как правило, главы таких произведений, даже принадлежащих перу известных писателей, с художественной стороны очень неравноценны. У нас часто злоупотребляют словом «эпопея», обозначая им чуть ли не каждое многотомное произведение, связанное с исторической темой. Бесспорно, современная эпопея изображает массовые народные движения. Но она включает в себя и многовековые достижения романа, а не отбрасывает их, не возвращается к индивидуальной близости старого эпоса.

Толстой эстетически глубоко понял характер избранной им темы и материала. Белинский утверждал, что «Петр слишком личен и характерен, следовательно, слишком драматичен для чисто эпического произведения. В эпопею же событие подавляет человеческую личность». В романе Толстой нашел удачное художественное разрешение темы. Эпическое повествование об эпохе слито с богатством индивидуальной жизни.

Фигура Петра нарисована в ее органическом росте. На наших глазах вырастает выдающийся русский деятель — Петр Великий, оказавший мощное воздействие на исторические события. Черты характера преобразователя складываются в драматическом взаимодействии с политическими силами эпохи. В первый раз мы видим Петра в водовороте очередной расправы стрельцов со сторонниками Нарышкиных: перед нами испуганный мальчик в пестром узком кафтанчике. В ранние годы Петр I еще не обнаруживает понимания своего призвания. Его природная энергия и пылкость долгое время омрачались мыслями, что он царь гонимый и что ему постоянно угрожает опасность со стороны Софьи и ее сторонников — Милославских. Постоянная тревога долгое время проявлялась в неуравновешенности характера Петра. На глазах у Петра стрельцы, «возбужденные Софьей и ее сторонниками», убивают близких его матери. Возмущения стрельцов, бесконечные козни бояр, удаление в Преображенское — все это элементы истории и биографии Петра. Ненависть Петра к себялюбивому боярскому зазнайству, возникшая в юности из-за вечного опасения заговоров, в дальнейшем приобретает исторический смысл: быт темных боярских палат, охабни, чванливость для него становятся синонимом азиатчины, отсталости. Биография героя и потребности эпохи в начале романа как бы идут навстречу друг другу, чтобы слиться воедино в будущем. Не преувеличивает Толстой и значения ранних потешных забав Петра. Лишь со временем, когда обнаружились замыслы Софьи,

¹ И. В. Сталин. «Вопросы ленинизма», 9 изд., стр. 359.

царю стала ясна необходимость иметь под своим начальством солдат против мятежных стрельцов.

Автор предполагал осветить культурную жизнь и общественную мысль эпохи в третьей книге романа. Например, там изображаются первые шаги придворного театра. То, что писателю не удалось закончить роман, явственно отразилось на полноте содержания произведения. Бросается в глаза отсутствие в книге людей типа Посошкова. Петр в романе действует почти вне всякой преемственной связи с предшествующим развитием национальной политической мысли. Государственные идеи Петра были подготовлены во многом его предками. Сохранились документы, подтверждающие понимание положения страны еще Алексеем Михайловичем. Но приверженный к старине, он не был способен стать во главе передовых элементов общества и решительно повести их по новому пути: он ограничивался полумерами, вводил новшества нерешительно и робко. Один историк остроумно сравнил его с человеком, уже занесшим ногу для решительного шага и застывшим в таком положении. Еще до Петра была создана довольно целостная преобразовательная программа. Над вопросами, занимавшими Петра, — от введения «политеса» и европейского платья до возвращения России выходов на Черное и Балтийское моря, думали многие русские умы. Толстой всесторонне воспроизводит практические жизненные опыты Петра — государственного деятеля, но не касается предпосылок его политических взглядов в предшествующей и современной ему русской общественной мысли. Создается впечатление, будто лишь с Петра возникают все осуществленные им идеи. Конечно, такое представление расходится с исторической истиной. Сам автор это хорошо понимал. И создав «Ивана Грозного», он дал своему роману «Петр I» достойную, глубокую историческую перспективу.

Первые главы романа во многом еще воспроизводят традиционный облик «царя-саадамского плотника». Традиция эта имеет свои основания. Простота Петра, его упорство в труде, общительность с людьми, независимо от их общественного положения — все это отмечено и в исторических документах. Однако в старой литературе эта традиция после Пушкина лишилась своей многосторонности и превращалась зачастую в пошлую идеальное любовное добрым самодержцем. Схема добродетели вредила правдивости и убедительности образа. Приторность в изображении Петра отмечена, например, Белинским в сочинениях Кукольника: «Особенно приторно проявляется в них любовь к Петру Великому; она у них вся в интонациях, какими наполняются нравственные книжки для детей»¹.

Такой слащавости свойственна упрощенная схематичность, лишаящая героев их индивидуальности, а эпоху — ее реального колорита, коллизий и противоречий. Русская национальная история отличается силой классовых столкновений, и без них нет художественной правды.

Толстой взял из старой традиции только истинно верное. Простота поведения Петра с самого начала романа резко оттеняет консерватизм боярской среды, препятствующий укреплению национального государства. Придворные семейно-бытовые конфликты, углубляясь, перерастают в политическую борьбу. Торжественная обедня в Успенском соборе, рядом с Софьей и Иваном стоит долговязый Петр. Бояре с усмешкой смотрят на него: «несурезный вьюноша и стоять не может, толчется как гусь, косолапо, шею не держит». Вот Софья, та умеет соблюдать царское достоинство. «Под платьем, чтобы выше быть, скамеечка. Лик покойный, руки сложены на груди. Будто сама владычица Казанская стоит под шатром». После обедни происходит короткое, но многозначительное столкновение ее с Петром за право нести икону — истинное право царей.

Так отдельные эпизоды, штрихи в романе Толстого вводят нас в атмосферу борьбы.

С каждой новой главой романа Толстой раскрывает в облике своего героя все новые и новые черты, углубляет образ, дает более широкое обоснование его характеру и поступкам. Петра никогда не оставляла неприязнь к боярской реакции, но всеми мероприятиями его в конце произведения уже руководят государственные идеи, выдвинутые ходом национального развития России. Характерность образа Петра в романе Толстого проявляется в противоречивых чертах натуры, зачастую доходящих до крайности. При романтическом понимании истории стремление к ярким личностям приводит в литературе к «демоническим» образам героев. Таким демоническим характером являлся Петр в ранних произведениях Толстого. Теперь Петр — сильная многогранная личность.

Пушкин в своих записках о Петре характеризовал двойственность облика этого деятеля. «Достойна удивления разность, — замечает Пушкин, — между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, писаны для вечности или по крайней мере для будущего, вторые нередко жестоки, своенравны, и, кажется, вырвались в нетерпеливого самовластного помещика». Толстой в характеристике Петра выделяет на первый план его государственный разум. Петр не лишен личных и сословных слабостей. Многие личные свойства героя романа, с точки зрения нашего времени, подлежат осуждению. Однако правдивая критика не снижает образ Петра, а напротив, помогает пониманию истинного смысла его деятельности. Критикуя «левое ребячество», Ленин в 1918 году писал: «Пето ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»¹.

Значение каждого из героев Толстого зависит от его близости к передовым устремлениям эпохи. В этом смысле фигура Петра гораздо шире, значительнее окружающих его. Например, художе-

¹ В. Белинский. Соч., т. IV, стр. 834.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 517.

ственно выпуклые и рельефные образы Софьи и Голицына выражают более узкие общественные стремления, поэтому они не могут занять главенствующее место в романе. Они сами по себе интересные люди, но в них отражена односторонняя реакционная тенденция.

Государственный талант Петра проявился во всей силе, когда он приступил к осуществлению первейших задач национального развития России — созданию армии и флота, к борьбе за выходы к морям. Сначала внимание Петра, как и его предшественников, было обращено на охрану южных границ страны. Он делает попытку пробиться к берегам Черного моря. Первые неудачи не смущают Петра. Тяжелые испытания доставил неудачный Азовский поход. Глубоко переживавший свое бессилие Петр не оставляет прежних планов и с еще большим упорством работает над их осуществлением. С дороги он писал князю-кесарю Ромодановскому: «Мия херц кених. По возвращении от невзатою Азова с консилии господ генералов указано мне о будущей войне делать корабли, галиоты, галеры и иные суда. В коих трудах отныне пребывать будем непрестанно...» Мужал Петр, вакался его характер, шире стал его государственный кругозор. Враги хихикали над первой «конфузией», но на «конфузиях» народ учился и добивался побед. Флот был построен, и Азов сдался. Одолевались не только внешние враги, но и реакционные силы боярства. Стране нужны были государственное и территориальное единство, сила в промышленности, вооружении, культуре. Швеция захватила при деде Петра русские берега в Прибалтике, отрезав Россию от моря, необходимого для экономического и культурного развития страны. Петр решил завершить дело, начатое Грозным. «Нет, не Черное море — забота, — говорит он недоумевавшим приближенным. — На Балтике нужны свои корабли». Намечена задача большого исторического значения. Страна приступает к ее выполнению. Опять неудачи в первых боях с самой сильной армией тогдашней Европы — шведской. Поражение под Нарвой не сломило воли Петеа. «Конфузия — урок добрый, — замечает он Меншикову. — Славы не ищем. И еще десять раз разобьют, а потом мы одолеем».

После первой, незначительной для русских, Нарвской битвы Каол XII сделался героем европейских салонов. Враждебные России государства хотели навсегда отбросить русские войска в глубь «дикой Московии, где им и надлежало прозябать в вечном невежестве». Народ самоотверженно поднялся на борьбу за всемирно-историческое место, по праву принадлежащее России в числе великих держав мира. И здесь одержана победа. Навсегда закрепляется Россия на Балтийском море. Закладывается Кронштадт, строится Петербург. Завершен курс государственных задач, намеченный еще Иваном Грозным. Перед страной открываются широкие перспективы исторического развития.

Исторические произведения Толстого — мастера этого жанра — углубляют наше понимание направлений советского исторического романа. Передовые идеи нашего времени и опыт

художественно-исторической классики определили творческий облик лучших наших современных произведений, посвященных исторической теме — романов «Дмитрий Донской» Бородин, «Севастопольская страда» С. Сеогеева-Ценского, «Багратион» С. Голубова, «Чингисхан», «Батый» В. Яна, «Емельян Пугачев» В. Шишкова.

Большое достоинство романа А. Толстого заключается в художественном воплощении передовых исторических идей нашего времени о Петре и его эпохе. Развитие этих идей шло в русле классической русской общественной мысли — от Ломоносова, Радищева, Пушкина, Герцена. Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Плеханова до Ленина и Сталина. Мысли об укреплении Петром национального государства, о борьбе с варварством варварскими методами раскрыты в романе «Петр I» правдиво и с тактом. Без этого писатель едва ли смог бы поднять идейную значительность своего романа на уровень актуальных задач современной жизни. Кроме того, жизненный опыт переустройства страны открыл глаза художнику на те огромные трудности, которые приходится преодолевать народу на каждом новом этапе его движения вперед. Перед Нарвской победой Петр вспоминает горечь поражений и трудов, предшествовавших триумфу: «Как было не помнить той бессонной ночи перед разгромом. Он сидел тогда в этом домишке, глядя на опывшую свеч: Алесашка лежал на кошке, молча плакал. Трудно было побороть в себе отчаяние и срам, и бессильную злобу, и принять то, что завтра Карл неминуемо должен побить его. Трудно было решиться на неслаханное, переносимое — оставить в такой час армию, сесть в возок и скакать в Новгород, чтобы там начинать все сначала... Добывать деньги, хлеб, железо. Искитряться продавать иноземным купцам исподнюю рубашку, чтобы купить оружие. Лить пушки. чдра... И самое важное — люди, люди, люди! Вытаскивать людей из векового болота, разлепять им глаза, расталкивать их под микитки... Драться, обламывать, учить. Скакать тысячу верст по снегу, по грязи... Ломать, стоить... Вывертываться из тысячи бед в европейской политике. Оглядываясь — ужасаться: «эка громада какая еще не поворочена...»

С большой убедительностью художник в этой сцене и в других эпизодах последней книги романа раскрывает прозорливость государственно-го ума Петра I. Переселяясь в мир образов романа Толстого, по контрасту еще резче видишь несостоятельность эпигонских исторических взглядов. Наиболее типическое проявление этих взглядов в беллетристике — так называемый «аристократический» роман и произведения, порожденные неправильным пониманием народности исторической литературы. Роман «аристократический» исключительным предметом внимания избирает верхушку общества, пренебрегая народными массами. Различные вульгарные трактовки народности в литературе, напротив, сводятся к отрицанию всякого положительного значения великих государственных деятелей прошлого. В противовес им Петр у Толстого — центральное лицо романа, к которому сходятся

исторические тенденции эпохи; он — орудие истории и вместе с тем вершитель судеб, проводящий в жизнь государственные идеи, созревавшие в нескольких поколениях. Если рецидивы «аристократического» воспроизведения в нашей исторической беллетристике распознаются легко, то этого нельзя сказать о различных формах примитивной народности: она часто спекулирует на патриотическом чувстве, прикрывая отсталый плоский взгляд на историю декламационным словословием народу.

Суждения о Петре в прошлом резко делились. С. Соловьев образно выразил это противоречие в словах: «Петр оставил о себе двойную память: один благословлял его, другие проклинали»¹.

Все прогрессивные деятели в общем высоко ценили государственный талант Петра. Они видели в нем крупного национального деятеля: поступательный дух и патриотизм реформ конца XVII и начала XVIII веков вызывал сочувствие у всех передовых представителей русской общественной мысли.

Отрицательное отношение к реформам и личности Петра начинается с раздраженной дворянско-сословной критики князя Щербатова. Карамзин — сторонник реформ Петра в молодости через двадцать лет в записке о старой и новой России стал, по выражению В. Ключевского, жалким Иеремией, плакавшим о том, что тихое и постепенное, едва заметное, без порывов и насилий изменение гражданских учреждений, составляющее основу духа народного, было нарушено вмешательством государственной силы. Славянофилы с позиций общинного начала еще резче осудили петровские преобразования, толкнувшие Россию на «ложный и опасный путь чуждых ей государственных форм». Первый сокрушительный удар славянофилам нанес Белинский; он первый отменил в славянофильстве преобладание не общерусских, а генеалогических, то-есть помещичьих интересов. Беспощадный критицизм в отношении деятельности Петра, как по вставке, подхватывают историки-федералисты. Наиболее крупным из них является А. Шапов. Его точка зрения близка к народнической. Впоследствии ее субъективистки истолковал Михайловский. Не случайно Чернышевский в споре с Шаповым говорил об ограниченности его воззрений, чуждых широты общественной и исторической перспективы.

Народническая публицистика раздула недостатки земско-областной теории, не заимствовав ее достоинств, и по существу очернила образы Грозного и Петра. В концепции Покровского взгляд на деятельность Петра вульгаризирован до предела. Покровский видел в Петре не выдающегося национального деятеля, а грубого солдафона и деспота, полубезумного неврастеника. Такой «критицизм» совершенно расходится с отзывами Маркса и Энгельса, которые внимательно изучали дипломатические документы Петра и на-

зывали его «действительно великим человеком»¹.

После выхода в свет первой книги «Петра I» некоторые критики — последователи Покровского — упорно толкали автора на неверный путь. По их мнению, главное внимание Толстой обязан был сосредоточить на положительной характеристике только противоборствующих преобразователю сил. Петр же должен быть изображен традиционной зловещей силой. На самом деле вся эта «радикальность» ничего общего не имеет с подлинным историзмом. Корни ее восходят к вульгарному экономизму и к предвзвешенности народнической историографии. Можно протянуть генеалогические линии вульгарных и антинародных пережитков еще далее.

С тех пор прошло много лет. Намного обогатилась историческая наука, но некоторые слабости старых учений оказались на редкость живучими.

Сошлемся для примера на интересный по замыслу роман Б. Петрова-Бирюка «Кондратий Булавин» («Литературный Ростов», июнь—июль, 1941 г.), где по существу зачеркивается все сделанное Петром I. Идеализация бунтарской стихии заставила автора отразить историю в кривом зеркале. Еще укажем на роман Чапыгина «Гулящие люди», вся точность историко-бытового рисунка которого почти пропадает вследствие «неясности взгляда автора на историю». Несомненно, что эти писатели, далекие от тенденциозной концепции Покровского, во многом оказались под воздействием стихийнических сторон земско-областной теории Шапова.

Прямое влияние концепции Покровского сказалось, например, в романах Шилыджрета — «Подъяремная Русь», «Спас на кире», «Розмысл царя Ивана Грозного» и в романе А. Нитебурга «Немецкая слобода». Во многом принимается национальная история в повести З. Давыдова «Дикий камень», хотя этому автору нельзя отказать в литературной одаренности и способности искренне увлекаться темой. По недоразумению авторы таких сочинений думали, что они оказывают читателю благую услугу. На самом же деле они повторяли слабости старой историографии, ничего не взяв от ее достижений.

В романе Толстого войны, мирные трактаты, реформы правительственных учреждений, законодательство и администрация — все это связано с личностью Петра. Тогда иначе и не могло быть в условиях сильной абсолютной монархии.

«Про Петра ходили разные слухи и многие полагали на него всю надежду. Россия — золотое дно — лежала под вековой тinou... Если не новый царь поднимет жизнь, то кто же?» Естественно, судьбы основных персонажей романа и концентрируются вокруг Петра. Толстой всесторонне изображает воздействие деятельности Петра и всего национального государства на жизнь страны.

Развивается промышленность и торговля, создаются армия и флот, строится Петербург. Меняется внешний и духовный облик боль-

¹ С. Соловьев. «История России с древних времен», кн. 3-я, стр. 1054.

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVI, стр. 12.

шинства героев романа. Не узнать в последних главах сыновей Бровкина — это культурные энергичные офицеры. Исключительна судьба их сестры Саньки — теперь Александр Ивановны Волковой. «Вот она, к примеру, из черной мужицкой семьи, отец ее лычком подпоясывался, сама грамоте начала учиться, когда уже замуж вышла... Говорит бойко на трех языках, сочиняет вирши, сейчас она в Гааге при нашем после Андрее Артамоновиче Матвееве... Понятна вам ученья польза?»

Писатель избегает псевдо-демократической модернизации идей и государства Петра. Ленин четко указал особенности государства Петра: «Монархия XVII века с боярской думой не похожа на чиновничьи-дворянскую монархию XVIII века»¹. Отмечая их различие, Ленин писал о «самодержавии XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма»². Толстой следует этому указанию.

Художник-реалист в центр своего внимания ставит жизнь народа. Из его поля зрения никогда не выпадает рядовой, средний человек. Однако чем более велик народ, тем более великих деятелей он выдвигает. И правдивое повествование о них дает ключ к более глубокому познанию жизни.

IV. НАРОД-СОЗИДАТЕЛЬ

Историческое движение России Толстой характеризует как результат усилий всего народа. Внимание писателя к личностям государственных деятелей подчинено в романе «Петр I» стремлению показать самое главное — творческий гений русского народа, без которого были бы невозможны никакие преобразования. Современный писатель не может пройти мимо простого и мудрого замечания Пушкина о самом существенном в художественной литературе. «Что разбивается в трагедии? — спрашивает Пушкин. — Какая цель ее? Человек и народ — судьба человеческая, судьба народная». Толстой не исчерпывает свою задачу замечательным портретом Петра I. Писатель достиг более высокой цели — показал серьезный поворот в жизни всего народа, решающую роль народа в истории нашего отечества — в этом и заключается глубокая правда романа.

История в изображении Толстого исполнена мужественного драматизма. Созидательная сила народа пробивает себе дорогу, несмотря на самые серьезные препятствия. Тоской по труду проникнут рассказ кузнеца Кузьмы Жомова голпе бездомных, как и он сам, мужиков: «Не нашелся еще такой вор, чтобы мои замки отмыкал... Мои серпы до Рязани ходили... Латы мой работы пуля не пробивала... Кто лошадей кует? Кто бабам, мужикам зубы рвет? Жомов». Нельзя без волнения читать о неудавшейся судьбе этого талантливого самородка-изобрета-

теля летательного аппарата. В дальнейшем мы встречаем Жомова на постройке корабля. С ним напарником работает сам Петр. С большим чувством достоинства мастер разговаривает с царем: знаток кораблестроительного дела, он вправе здесь учить самого правителя России. Вот братья Осип и Федор Баженины, построившие водяную пильную мельницу без заморских мастеров. Оружейники — Кондратий и Иван Воробьевы — русские удачливые богатыри. За работой один из них так повествует о секретах своего дела: «В прошлом году царь Петр так же вот здесь сидел на пороге и все спрашивал: «Погоди, говорит, Кондратий Воробьев, стучай, ответь мне сначала — почему у твоих колокольчиков малиновый звон?.. Почему работы твоей шпажный клинок гнется, не ломается? Почему воробьевский пистолет бьет на двадцать шагов дальше и бьет без осечки? Я ему отвечаю, — ваше царское величество, Петр Алексеевич, потому у наших колокольчиков такой звон, что медь и олово мы взвешивали на весах, как нас учили знающие люди, и льем без пузырей. А шпага потому гнется, не ломается, что калим ее до малинового цвета и закачиваем в конопляном масле. А пистолеты потому далеко бьют и без осечки, что родитель наш, Иван Степанович, царство ему небесное, бивал нас, маленьких, лозой больно за каждую оплошку и приговаривал: «худая работа хуже воровства». Такие люди, как Воробьевы, оказали незаменимые услуги русскому войску.

Галерея образов простого люда у Толстого богата и многочисленна. Третья книга романа особенно радует нас в этом отношении. Характерна фигура живописца-самоучки Андрея Голикова. «Сила чудная во мне пропадает, — пишет он в челобитной государю. — Живописец есмь от рода Голиковых — богомазов из Палехи. Могу порсуну писать, как бы живые лица человека, не стареющие, не умирающие, но дух живет в них вечно. Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пыльном дыму — весьма искусно». Развитие промышленности и культуры приобщило ряд новых людей к широкой государственной работе. Таковы купцы и предприниматели Демидовы, Шорины, Свечин, Жигулин, Бровкины, чиновники — изобретатель гербовой бумаги Курбатов, секретарь царя Возницын. Миллионное же большинство населения пахало землю, строило, тянуло тяжелую солдатскую лямку. Труды их не были бесплодными: именно они кирпич за кирпичом воздвигали здание мощи и славы нашей родины.

Источник эпичности романа Толстого состоит в том, что именно в жизни многомиллионного большинства нации, а не в дворцовых интригах он видит объяснение всех исторических событий. Колоритное изображение сложного мира человеческих отношений в романе «Петр I» одухотворено желанием показать духовное величие народа, с особой силой раскрывающееся в моменты исторических потрясений. В народе всегда таятся повседневно-незаметные героические силы, грандиозность которых в полной мере можно понять

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 83.

² В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 18.

только в критические периоды национального существования. Все содержание романа иллюстрирует это.

Сила народа еще отчетливей оттеняется в романе Толстого на фоне противоречивости общественных отношений в России того времени. Общее тяжелое положение народной массы дано Толстым реалистически правдиво. Вторая книга кончается суровой и многозначительной картиной. Бывший монастырский холоп Федька Умойся-Грязью, закованный в цепи, забивает первую сваю на месте, где впоследствии вырос Петербург. Петр в это же время пишет князю-кесарю указ слать еще людей, «зело здесь болеют, а многие и померли...»

Федька Умойся-Грязью — здоровый угрюмый мужик — «бросая волосы на воспаленный лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи». Прошедший сквозь многие беды, этот человек все же сохранил в себе силу и душевную крепость. Образ этот символизирует нарастание революционных настроений в народе. Роман Толстого ярко иллюстрирует богатство русской земли непреклонными, свободолюбивыми характерами.

Для понимания отношений государства и народа в то время очень много дает замечательная сцена в третьей книге романа — посещение Петром рабочей землянки. Здесь, в небольшом эпизоде, сжато и выразительно, художественно нарисована сложность социальных взаимоотношений эпохи.

«Голой по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной — латал рубаху.

Он не удивился, увидя царя Петра, воткнула иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви — черному лику.

— Жалуйся! — отрывисто сказал Петр. — Еда плохая?

— Плохая, государь, — ответил человек просто, ясно.

— Одеты худо?

— Осеню выдали одеженку, — за зиму — вишь — сносили.

— Хвораете?

— Многие хворают, государь, — место очень тяжелое...

— Ты откуда? По какому наряду пришел?

— Из города Керенска пришел, по третьему, по осеннему наряду... Мы — посадские. Тут, в землянке, мы все — вольные...

— Почему остался зимовать?

— Не хотелось на зиму домой возвращаться — все равно, — с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе, — возим лес. А ты посмотри — какой хлеб дают. — Мужик вытаскил из-под полушубка кусок черного хлеба, помаял, поломал его в негнущихся пальцах. — Плесень. Разве тут аптека поможет?..

— Я — виноват, всех обобрал? Так?

Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустил медный крест на его тощей груди, — с усмешкой качнула головой:

— Пытаешь правду?.. Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные... Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было... Сыновей моих ты взял в драгуны, дома — старуха да четыре

девчонки — мал мала меньше... Конечно, государь, тебе виднее — что к чему...

— Это верно, что мне виднее! — жестко проговорил Петр Алексеевич. — Дай-ка этот хлеб. — Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман. — Пройдет Нева, привезут новую одежду, лапти. Муку привезут, хлеб будем печь здесь...»

Генерал-губернатор Меншиков поплатился. Царь заставил его съесть весь кусок заплесневелого хлеба.

« — Ешь! — у Петра Алексеевича бешено расширились глаза. — Дерьмом людей кормишь — ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь! За каждую душу человечью...»

Александр Данилович повел на мин херца томным раскатынным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы...

В изображении петровского государства и народа Толстой идет за передовой русской литературной традицией.

Апофеоз Петра Великого в «Полтаве» и «Медном всаднике» искренен и убедителен, потому что знаменитая битва и основание Петрограда соответствовали интересам нации. Едва ли кто из читателей не ощутит преемственности образов автора «Петра I» с пушкинскими образами, воплощающими живые общественные коллизии. На противоречия той эпохи указывали многие классики общественной мысли. Народ страдал, говорит Белинский, и нередко проклинал самодержавную власть. И критик утверждает: «тогдашний народ по-своему был прав. Скажем ему от всего сердца «вечная память и царство небесное». Своими страданиями и своим терпением искупил он наше счастье, наше величие»¹. Полтавская битва, завершает свою мысль Белинский, победа над сильнейшим врагом, ставшая возможной только благодаря проведенным преобразованиям, «исторически оправдывает Петра». В военной политике Петра, укрепившей экономические и культурные связи России с Западной Европой, Маркс и Энгельс видели источник дальнейшего могущества России. Дальновидность этого монарха наиболее проявилась в возвращении ранее отнятых у России шведами прибалтийских земель. Но одновременно с положительными сторонами деятельности Петра Маркс и Энгельс особо подчеркнули «угнетение крестьян»². Товарищ Сталин в беседе с писателем Эмилем Людвигом заметил: «Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли

¹ В. Белинский. Соч., т. II, стр. 233—234.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 370.

три шкуры»¹. Крепостническая действительность эпохи Петра воплощена в романе Толстого в не забываемых образах. Другая сторона русской жизни конца XVII и начала XVIII столетий — победа разума и прогресса над темнотой и застоём — лейтмотив романа — с каждой книгой звучит все сильнее и сильнее.

Восстание Степана Разина было подавлено еще при отце Петра — Алексее Михайловиче. Дух крестьянского бунтарства после этого не умер, и в народе свято хранился поэтический образ Разина. Его имя много раз упоминается в романе персонажами из народа. Крестьянская революционность воплощается в образах мужиков Овдокима, Цыгана, Федьки Умойся-Грязью. «Время разинское вернется, ребятушки», — говорит Овдоким.

Петр подавлял не только заговорщиков из боярской среды, но и противодействие других слоев населения. Человечески трагичной в романе выглядит исторически необходимая расправа с мятежными стрельцами. Утро стрелецкой казни запечатлено на известном полотне Сурикова. Толстой в психологическом истолковании события пошел по пути этого живописца. Отдельные фигуры нельзя забыть. На лицах стрельцов не было заметно ни ужаса, ни страха смерти: «Одного из них провожала до плахи жена с детьми — они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху». Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко: «Посторонись-ка, государь, я здесь лягу». Казненным нельзя отказать в силе духа. Осужденные не каются. Стрельцы были тогда наиболее организованной силой, которая могла бы в некоторой степени противопоставить себя реформам. Общественная разнородность стрелецкого войска сделала его аккумулятором главных оппозиционных течений.

В массе тесно перепелелись социальный и религиозный протесты. Здесь жили и воспоминания о вольнице Степана Разина, и фанатизм староверов, клавших голову за двоеперстный крест. Толстой раскрывает в сознании многих людей того времени наличие консервативных начал, противодействовавших просвещению. Много внимания писатель уделяет раскольническому движению. Оживлена история, полная самого высокого порыва и страсти, фанатической непреклонной убежденности и вместе с тем вопиющей духовной узости, дикости. Люди бежали от неволи в поисках лучшей участи, но попадали под власть еще более тяжкого гнета, сектантского невежества и вымогательства. С ужасом правдоискатель Голиков открывает, что столп скитского благочестия старец Нектарий, запугавший всех ужасами геенны и держащий паству свою в вечном постном голодании, сам по ночам воровски наслаждается медом. Толстой, осветив лучшие человеческие побуждения, сорвал декоративную романтику с раскольничества. Сны самосожжения написаны с исключительной силой. На уговоры офицера Бровкина сдаться, запершиеся в ските от-

вещают: «Вы нас по старым деревням разошлете, в неволю. Живыми не сдадимся. За старинные молитвы, за двоеперстное сложение хотим помереть. И весь разговор». Вид обреченных людей в свете множества горящих свечей ужасен. Они уверены, что спасают свои души. Вначале явившись как своеобразный социальный протест против неправды мирской, раскольничество становится реакционной силой. Старец Нектарий, вдохновитель сожжения, не разделял общую трагическую участь, сбежал тайным ходом. Тысячи же людей умирали убежденно и мужественно. Такие характеры вызывают восхищение. Они потрясают своей непреклонностью. Что могли бы сделать эти люди, если бы не ложная, а исторически плодотворная истинная идея владели ими!.. Но все попытки повернуть историю вспять обречены. Не им, а их современникам и потомкам, двигавшим страну вперед, выпала честь прославить родину величием духа и дел. Художник настойчиво подсказывает нам этот правильный вывод.

Всякие попытки идеализировать патриархальные настроения петровской эпохи привели бы к фальши. Толстой всесторонне нарисовал картину того, как в муках, тяжело, сопротивляясь, «кончалась византийская Русь».

В «Петре I» правдиво описаны жестокость, беспощадность отдаленной от нас эпохи. Они объясняются и оправдываются схваткой страстей, непримиримыми общественными противоречиями. От этого еще резче вскрывается прогрессивное содержание эпохи.

В первых скорбных откликах на смерть Толстого верные и проникновенные слова об его таланте сказаны поэтом Н. Тихоновым: «Он имел добрый талант. Он не мучил людей страшными сомнениями, не вел их на край психологических пропастей, не проповедывал отчаяния. Он имел веселый талант, полный веры в человечество. Он проходил через самые мрачные картины прошлого с высоко поднятой головой человека, уверенного в прекрасном будущем родного народа. Оттого не мраком и холодом веет от жестокой и грозной петровской эпохи, а предвосхищением новых дней еще небывалого расцвета»¹.

V. «ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА» И ОТЖИВАЮЩИЕ

Масштаб государственных работ, совершенных в России конца XVII века, был бы немислим, если бы Петр не сумел объединить вокруг себя большой круг единомышленников и помощников. У Петра было много политических противников — стрельцы, боярская оппозиция, часть духовенства, большинство раскольников, — но к нему примкнуло и не мало сторонников. В романе Толстой наглядно рисует, как прогрессивные дела и личность Петра привлекали много добровольных сотрудников, посылавших ему свои соображения, предлагавших помощь. Мир, выведенный в романе Толстого, находится в напряженном движении: переломная эпоха бо-

¹ И. В. Сталин. «Беседа с писателем Эмилем Людвигом», 1938 г., стр. 3.

¹ «Правда». 25/II 1945 г.

гата появлением на арене государственной деятельности многих новых, ранее неизвестных людей. Возвышение их сопровождается молниеносным или медленным падением некогда блестящих фамилий, ранее занимавших первенствующее место. Суровое время послужило лучшим испытанием работоспособности и пригодности правителей. Автор красочно нарисовал эпизоды сопротивления консервативной боярской оппозиции, тупо, иногда иступленно цепляющейся за старое.

Поскольку новые исторические потребности времени проявились уже совершенно явственно, то традиционные протестующие возгласы бояр о «бесчестие великому родом княжеским и дворянским» лишены писателем трагического оттенка. Тон автора по отношению к этой группе персонажей носит преимущественно сатирический характер, в отличие от глубокого драматизма в «Иване Грозном». Роман дает представление, на кого опирался Петр в проведении своей политики. Образы «птенцов гнезда Петрова» в романе занимают совершенно закономерно одно из первых мест. Царь питал острую ненависть к отсталым ревнителям старины, противодействовавшим нововведениям. Он пресекал корыстные антигосударственные настроения бояр, роптавших, что царь окружил себя советчиками без роду и племени. Причем эти столкновения продиктованы не только холодной политикой, но и насыщены кипучими страстями.

Сразу становится на сторону Петра князь Ромодановский, умный и хитрый царедворец, до конца преданный династии. Он один из самых дальновидных вельмож. Если искать людей, влиявших на Петра, то ему принадлежит главенствующее положение. Он первый, возражая Голицыну, смело высказывает мысль о том, что русским надо строить свой флот, а не отдавать богатства страны на откуп иноземцам. Нехотя и с жалобами приобщается к новому быту боярин Буйносов. За косность ему пришлось подвергнуться многим унижениям от царя. Петр чувствует внутреннюю чуждость Буйносова, и все старания последнего выслужиться, к стати сказать, бестактные и неумелые, навлекают на боярина новые беды. Буйносов воплощает отживающее поколение. В него Петр воздействует только страхом. В самые напряженные дни войны со шведами Буйносов в Москве не расстается с мыслями о старом.

«Боярин сидит без дела у раскрытого окошечка — рад, что хоть на малое время царь Петр за отбездом не nevoлит его курить табак, скоблить бороду или в белых чулках по колено, в парике из бабьих волос — до тупа — вертеть и дергать ногами. Не весело, томно думается боярину у окошечка... Все равно мово Мишку математике не научишь, поставлена Москва без математики и жили слава богу пятьсот лет без математики — лучше нынешнего; от этой войны само собой нечего ждать кроме разорения, сколько ни таскай по Москве в золоченых телегах боготворивших Нептунов и Венерок во имя прославленной виктории на Неве... Как пить дать, швед побьет наше войско, и еще татары, давно того дожидаясь, выйдут ордой из

Крыма, ползут через Оку». Образ Буйносова типичен и для последующих времен. Сколько таких узких и близоруких маловеров пытались открыто или тайно влиять на политику государства в тяжелые кризисы отечественной жизни. Здесь и тоска о «добром, старом времени», и вздохи по утерянным жизненным благам, и раболепство перед силой врага, и неверие в мощь родины. Такие люди, как Буйносов, молили не раздражать поляков, сидевших в Москве в смутное время; они интриговали против государственного гения Петра; они распускали в гостинных слухи о непобедимости и гуманности Наполеона в начале Отечественной войны 1812 года; они предлагали скорее сдать Севастополь в Крымскую войну; они же позже предлагали приспособиться к немецкой экспансии. Глава о Буйносове открывает третью книгу романа. И это не случайно. Прогрессивным силам эпохи надо было сокрушить, подчинить среду Буйносовых: без этого развитие государства было бы затруднено. В их судьбе заключен великий опыт истории, всегда поражающей противников передовых жизненных течений. Иногда портрет этого косного боярина кажется сатирой. Упрекать автора за это нельзя.

Выразительны образы купцов — Бровкина, Житудина. Первая книга романа Толстого давала основания для упреков в преувеличении роли купеческого класса в государстве Петра. Интересно заметить, что ошибочное мнение о классовом дуализме петровского государства высказывается еще в недавно вышедшей книге Б. Сыромятникова «Регулярное государство Петра Первого и его идеология» (Москва, 1943 г.). По мнению автора, господствующими классами при Петре одновременно были и купечество и дворянство. Действительно, абсолютизм соответствовал интересам торговцев, нуждавшихся в едином рынке. Но это не дает оснований для высказанного автором заключения: ведущая роль принадлежала дворянству, и антифеодальные тенденции тогда не играли существенной роли.

Успех реформ зависел, конечно, не от Буйносовых, а от многочисленных сподвижников Петра, преданных новым государственным идеям. В числе их адмирал Головин, Лев Нарышкин, начальник адмиралтейства Апраксин, полковник гвардии Голицын, прославивший себя штурмом и взятием Шлиссельбурга. Кроме родовой знати, новое время выдвинуло на первый план многих людей, ранее безвестных. Вот после победы над шведами на краю русской земли за столом совещались с царем и они, те люди, знатность которых по указу Петра «отныне по годности считают». Здесь были знаменитые «корабельные мастера Скалев, Гаврила Меншиков, Буда и Тараканов, подрядчик Негоморский, братья Брюсы, Гаврила Головин, царский спальник «человек далекого и хитрого ума». Привлекались к делу и иностранцы: Лефорт, вице-адмирал Крюйс — «морской бродяга с глубокими суровыми морщинами на дубленном лице, водянистым взором, столь же странным, как холодная пучина морская»; генерал-майор Чемберс — «плотный, крупнолицый, крючконосый, тоже из тех, кто, поверя в счастье царя Петра,

отдал ему все достояние — шпагу, храбрость и солдатскую честь». Все эти люди раз навсегда запоминаются своим неповторимым своеобразием.

Преданность родине зачастую жила рядом с корыстью. Врезывается в память образ Александра Даниловича Меншикова, красивого, разбитного русского парня. Энергия и удачливость сделали его любимцем Петра, проказливым и верным. Мальчишка, торговавший на рынке пирожками, становится бомбардир-поручиком Преображенского полка, генерал-губернатором Ингрии, Карелии и Эстляндии, светлейшим князем. Меншиков — заметная историческая фигура, она становится еще более яркой в отблеске славы Петра. Им постоянно любуются и автор романа, не скрывая вместе с тем и слабостей своего героя. Образ Меншикова и вызывает симпатию, и отталкивает. Он отталкивает постоянным плутовством, хищничеством. За это царский любимец часто платится: палка Петра чаще других ходит по его спине. Привлекает Меншиков веселой беззаботностью, жизнелюбием, душевной широтой, храбростью, отвагой, исключительной энергией. Даже бывалые люди, знающие все проделки Данилыча, не могут не любоваться им «в преобразенском мундире, с огромными — штыми золотом — красными обшлагами, с шелковым шарфом через плечо, при шпаге — той самой, с которой в позапрошлом году лез на abordаж, на борт шведского фрегата в невском устье». И не только офицерская доблесть красит Меншикова. Самое важное, что он стал преданным помощником Петра в прогрессивном деле, отдался ему всей душой, не щадя ни жизни, ни времени, ни трудов. Бездумный вначале, он все глубже и глубже вникает в политику своего повелителя. Со смертью Петра закончилась и деятельность его помощника. Трагичен облик царского любимца в ссылке. Таким он выглядит в картине Сурикова.

Колоритный образ Меншикова дает очень многое для понимания своеобразия психологии людей эпохи конца XVII и начала XVIII веков. Несомненно, что писателю легче было бы просто разделить агнец социальной добродетели одесную, а козлищ порока ошую, но это не дало бы исторической правды. Белинский резко высмеивал механическое деление героев на безусловно положительных и безусловно отрицательных: в рядах противников преобразований Петра «немало было людей, которых прозорливость Петра умела ценить и на которых он тем более негодовал, чем более ждал их видеть в своих рядах. С другой стороны успеху реформы содействовали не одни добродетельные и чистые, умные и жаждавшие образования люди»¹.

Петр тверд и решителен в своих поступках, идет к достижению целей прямым принципиальным путем. Он не отличается мягкостью по отношению к окружающим. Мало щадит он и народ. В этом смысле ему противопоставлена фигура князя Василия Голицына. Субъективно он более гуманен, нежели Петр. Но практически для улучшения положения страны он ничего не

сделал, и поэтому история оправдала Петра и не увенчала славой Голицына. Фаворит Софии Голицыной оказался в числе реакционных противников нового. Тем не менее писатель не унижает его, а помогает нам понять трагедию ряда образованных людей того поколения. Толстой изображает всю сложность человеческих отношений. Вспоминаются слова Белинского о принципах художественного историзма в изображении исторических лиц — победителей и побежденных, сказанные при разборе романа Кукольника. Этот автор, — пишет Белинский, — «довольно мелко плавает в отношении к духу и сущности того времени, и если он часто многое почерпает с самого дна, то дна прибрежного, мелкого... В его глазах победитель безусловно прав, а побежденные безусловно виноваты. В его повестях реформе противятся одни злодеи и негодяи. Это взгляд и не философский и не исторический. Реформа Петра Великого так исключительно огромна во всемирной истории, что не менее делает честь народу, который ее перенес, как и реформатору: а что было в ней особенно великого, если б ее противники были только злодеи и негодяи. Тогда бы это была только полицейская реформа — не больше... в числе противников реформы были не только одни злодеи, изверги, негодяи, шуты, но и люди, достойные быть поборниками лучшего дела, натуры сильные и благородные. Нам нечего хлопотать оправдывать Петра: он оправдан историей и в нашей помощи не нуждается. Противники его реформы были осуждены и отвергнуты духом времени, гением истории, и все действия и усилия их осуждены были на бесплодность»¹.

Голицын показан в романе с большим психологическим и историческим проникновением. Художественно это одна из наиболее значительных и ярких фигур романа. В нем воспроизведен облик примечательного русского человека конца XVII века, опыт жизни которого поучителен и для исторических деятелей других поколений. Сопоставление его с Петром показывает, почему погибает этот человек — больших талантов и знаний. В отличие от других бояр, ему давно ясна необходимость государственных нововведений. Характер его мыслей, кажется, должен бы обязательно сделать его единомышленником Петра. Он бросает боярам гневные слова: «В всех христианских странах, а есть такие, что и узда нашего не стоят, — жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей, лишь мы дремлем непробудно. Скоро пустыней назовут русскую землю». Тайно от других Голицын пишет трактат «О гражданской жизни или поправлении всех дел». Он проповедует передовые для своего времени идеи, умозрительно идущие дальше социальной программы Петра. Первоочередным делом он считает облегчение положения народа, обогащение страны, развитие ее производительных сил. Иногда он выглядит чуть ли не сторонником идей утопического социализма. Улучшение жизни, по его мнению, возможно лишь «в том размышлении, если все земли у помещиков взять и посадить на них крестьян вольных, крепостные кабады

¹ В. Белинский. Соч., т. IV, стр. 431.

¹ В. Белинский. Соч., т. IV, стр. 830—831.

разрушить, чтобы впредь весь народ ни у кого ни в какой кабале не состоял». Кажется, есть все условия для того, чтобы Голицын стал в строй самых передовых людей эпохи. Но этого не случилось. Не помогают ни блестящая внешность, ни ученая эрудиция. Его не понимают современники. «Среди монстров живем», — беспомощно думает он. Семь лет он занимает положение фактического руководителя государства: за одну горестную морщинку на его лице правительница Софья готова сжечь Москву. Все же он терпит бесславное крушение. Некоторые публицисты видели в нем чуть ли не идейного предшественника Петра. Но в отличие от утопической безрукости Голицына Петр является реальным политиком. Поступки Голицына лишены принципиальности. Все время Голицын избегает решительных мер: в нем нет настойчивости, умения претворять самые лучшие проекты в жизнь. Не может найти князь реальных способов осуществления своих идей: в отчаянии он опускает руки перед трудностями, не умеет воздействовать на окружающих. Это ранний прообраз «лишних людей». Всегда Голицын ищет спасения в компромиссе. Время требовало решительного преодоления отсталости: князь же практически поставил себя в полную зависимость от тех сил, которые надо было смести, стал их слугой. Противопоставление реалистического широкого кругозора Петра, его политики беспощенному, хотя и благородному прожектерству Голицына — одна из важнейших коллизий романа. По-разному ведут себя Петр и Голицын, оказавшись в аналогичном положении во время неудачных походов. Петр испытывает и приступы отчаяния, но они не колеблют его волю, а еще больше ее закаляют. Поражение под Нарвой как будто еще более увеличило его энергию и усилило ненависть к виновникам отсталости. «Не лагерь — табор, — сурово говорит Петр генералам, — два года готовились и ничего не готово. Хуже, чем под Азовом. Хуже, чем было у Васыки Голицына. Лагерь! — Солдаты шатаются по обозам. Баб, чухонка полон обоз. Гвалт. Беспорядок. Работают лениво, плюнуть хочется как работоргов». Когда следует, Петр находит достаточно мужества и умения разумно отступить. Так в начале своего правления он делает уступку церкви, выдав патриарху Иоакиму для сожжения еретика «свободомыслящего» Кульмана. Принужденный отвести войска от Нарвы, он с еще возросшей энергией отдается подготовке победы.

Голицын, напротив, неспособен настойчиво преодолевать жизненные трудности. Слабоволие князя ощущается еще в начале похода на Азов. Впереди степь, зной, бездорожье, отсутствие воды, продовольствия, но князь почти все время живет в другом мире. Уединившись от всех в шатре, он читает по-латыни Цезаря, Плутарха, Тацита: «Великие тени, поднимаюсь с книжных страниц, укрепляют бодростью его угнетенную душу. Александр, Помпей, Лукулл, Юлий Цезарь под утомительный треск кузнецов потрясают римскими орлами. К славе, к славе». Призрак славы быстро рассеивается при первом же столкновении с жестокой воен-

ной действительностью. От гордыни князь переходит к унижению и отчаянию, губя бездействием свое войско. Безмерно любящая его царевна Софья иногда принуждена толкать князя к действию, уговаривать «показать великие дела». Портрет Софьи нарисован Толстым всесторонне. Царевна — властная, хитрая интриганка. Любовь к Голицыну драматически окрашивает ее облик. В их отношениях переплелись и невозможная, запретная любовь, и преклонение, честолюбие, хитрость, и жалость, иногда граничащая с презрением. Сильная прямолинейность страстей царицы еще резче подчеркивает безволие Голицына. Последний раз Голицын появляется в книге в конце его политической катастрофы. Недавно мечтавший о великих делах в роскошном дворце, теперь он в крестьянской курной избе ждет безжалостного царского приговора. Слишком долго он колебался, слишком поздно ушел из лагеря заговорщиков. Тонкими штрихами обозначена писателем вся степень унижения Голицына. Перед бывшим царственным любовником никто уже не ломает шапку. Трагедия князя сейчас уже не зависит от внешнего честолюбия. Она углублена внутренним осознанием неоправданности положения и чувством собственной вины. Поэтому ему стыдно выйти на улицу, поэтому слова царского указа, который ему читает безвестный дяк, кажутся голосом самой судьбы. Лишенный чести и состояния, под конвоем уезжает Голицын на вечную ссылку в Каргополь. Это политическая гибель, и в романе Толстого он больше уже не появляется. Бесславная ссылка заслужена: не за преданность своим идеям пострадал Голицын, не потому, что он восстал против самодержца, а за то, что он всегда слишком легко входил в сделки со своими идейными противниками, шел в политике непринципиальными путями. Все это противопоставило его передовым государственным силам, невольно для него самого сделало его орудием реакции. Печальный пример Голицына можно видеть и в судьбе политических деятелей других эпох: он свидетельствует о предопределенности политической гибели людей, умозрительно близких прогрессивным идеям времени, но практически разменявших их на мелкое политиканство.

VI. СИЛА ЖИВОПИСАНИЯ

В историческом романе мы находим прообраз нового рода творчества, в котором наука сливается с искусством. Национальная жизнь таит в себе множество поэтических тем и сюжетов и характеров, которые облекает в плоть и кровь художественное творчество. Возможно, поэтому многие предпочитают знакомиться с отечественной историей по созданиям художников, а не по ученым трудам.

Большое достоинство романа «Петр I» заключается в глубоком постижении духа и направленная русской истории. Но этим еще нельзя полностью объяснить его обаяние. О Петре написано немало других познавательных интересных книг. Все же их эмоционально-эстетическое воздействие несравнимо с произведением Толстого.

Объяснение этого в умении художника ярко и рельефно вскрывать поэтическую сущность народной жизни. Обаяние выведенных Толстым лиц состоит в том, что писатель в первую очередь изображает их духовную силу, составляющую нашу национальную гордость. Поэтому «Петр I» по праву занимает видное место в ряду произведений литературы, возмечивающих дух народа. В романе «Петр I» проходят главные исторические события той эпохи — восстание в Москве 1682 года, правление Софьи, поход русской армии в Крым под начальством князя Василия Голицына, бегство Петра в Троице-Сергиевскую лавру, падение Софьи и Голицына, Азовские походы, путешествие Петра за границу, стрелецкий бунт, начало войны со Швецией, Нарвская победа. Исторический роман не может строиться на серой повседневности: нужны большие исторические события, яркие характеры, с максимальной силой проявляющие себя на историческом переломе. Они в изобразительных представлениях в изображаемой эпохе. Богатство художественного воображения нашего писателя поистине неисчерпаемо. Канвой романа служат преимущественно факты, известные нам из исторических учебников, десятков беллетристических произведений. Силой искусства писатель опрокидывает установившиеся шаблоны их изображения. Каждый эпизод расправы с боярами, казнь стрельцов, строительство флота, батальные военные сцены, бытовые картины — ассамблеи, домостровский уклад, кабаки, московские улицы, начало Петербурга, крестьянская изба — свежи, новы и всегда обогащают нас эстетически и познавательной.

Большую роль в воплощении истории Толстым играют тонкие, еле уловимые оттенки быта, доступные только русскому писателю, с детства впитавшему в себя «запахи родной земли».

«Я думаю, — говорил Толстой, — если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гаданья, сказки, лучину, овины, которые особым образом пахнут, я наверное не мог бы так описать старую Москву. Картины старой Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями. И отсюда появлялось ощущение эпохи, ее вещественность.

Этих людей, эти типы я потом проверял по историческим документам. Документы давали мне развитие романа, но вкусовое, зрительное восприятие, идущее от глубоких детских впечатлений, те тонкие, едва уловимые вещи, о которых трудно рассказать, — давали вещественность тому, что я описывал. Национальное искусство — именно в этом, в запахах родной земли, в родном языке, в котором слова как бы имеют двойной художественный смысл — и сегодняшний, и тот впитанный с детских лет, эмоциональный, в словах, которые на вкус, на взгляд и на запах — родные. Они-то и рождают подлинное искусство»¹. Толстой уверенно

дополняет наши представления о прошлом тем, чего нет в документах — воссоздает живое дыхание, плоть и кровь. В письме к нему Ромэн Роллан писал: «Я восхищен той мощью, тем неисчерпаемым изобилием творчества, которые у вас кажутся простыми слагаемыми. Меня особенно поражает в вашем искусстве, твердом и правдивом, то, как вы лепите ваши персонажи в окружающей их обстановке. Они составляют неотъемлемую часть воздуха, земли, света, которые их окружают и питают, и вы умеете одним взмахом кисти выразить тончайшие оттенки среды».

Своеобразие художественных средств в романе «Петр I» правильное всего характеризовать как поэтическое живописание. Толстой в художественной работе придавал большое значение увлечению самим процессом творчества. Об этом он говорил много раз. Особенно из последних глав романа видно, что процесс созидания живописных образов захватывал Толстого. Говоря его словами, ему «было интересно создавать, необыкновенно интересно». Творческая щедрость Толстого неразрывно связана с суровой требовательностью: материал жизни — образы, слова, цвета — в «строгих и взыскательных руках» художника всегда приобретает пластичность форм и скульптурную выпуклость.

Художник не сразу нашел во всей полноте свои средства живописания. С каждым годом нарастала творческая сила, с каждой новой книгой романа мастерство Толстого становится все полнокровнее, все весомее. Иногда казалось, что писатель уже исчерпал все свои возможности и достиг предела своего мастерства. Но появляются новые главы, и читатель снова с благодарным изумлением открывает новые краски и стороны таланта художника. «Художник растет вместе со своим искусством. Его искусство растет вместе с тем народом, который он изображает. Художник растет вместе с героями, над которыми он работает»¹, — так характеризовал свой метод Толстой. Все яснее и богаче становится с течением романа образ Петра и образы героев из народа. И все живописнее становятся картины романа, изумляя всех неиссякаемой новизной и эмоционально-смысловой емкостью.

В первых двух книгах Толстой еще прибегает к описанию и обширной эпистолярной форме. Желая подчеркнуть значимость некоторых художественно белого и неполно разработанных образов и эпизодов, писатель иногда даже прибегает к символизации и патетическим публицистическим обобщениям. Решительный перелом в методе художественного изображения отмечает третью книгу романа. В ней совершенно устранено описание, приемы символизации, публицистическая форма: полностью торжествует ясная словесная живопись. И если отдельные сцены выглядят несколько декоративно и театрально, то это не недостаток, а, напротив, живое свидетельство яркости и стихийного размаха художнического таланта. Сам писатель говорил, передавая редакции первые главы третьей части романа: «Я здесь нашел новые художественные

¹ «Новый мир», 1939 г., № 2, стр. 246—247.

¹ «Новый мир», 1939 г., № 2, стр. 247.

средства. Ввиду однородности материала романа, каждую новую главу его нужно было делать все лучше. Если бы я писал третью книгу романа так же, как первую, то я бы провалился». Слова эти — свидетельство огромной требовательности к себе художника. Органическая слитность внутренней и внешней жизни эпохи рождает пластичность характеров и картин произведений Толстого. Колоритная ясность и чувственная осязаемость отличают каждую камерную сцену, широкие батальные эпизоды. Поэтому старые, известные нам из истории факты как бы заново освещены, предстают обогащенными новым смыслом. Эпоха конца XVII и начала XVIII веков предстает перед нами в грозных и светлых красках. Слияние истории и поэзии обогащает разум и служит источником глубокого эстетического наслаждения. Толстой, создавая «Петра I», проник в поэтическую сущность русской истории, образно передал ее общечеловеческий интерес. Автор «Петра I» найдена художественная мера, примиряющая внешне противостоящие друг другу требования историко-фактической точности и свободы творческой фантазии. На протяжении многолетнего развития литературы такого гармонического сочетания истории и поэзии добивались только выдающиеся писатели. Другие, менее значительные беллетристы шли в стороне от главной магистрали художественного историзма. Одни из них ограничивались исторической хроникой, пересказом. Правда, одно время хроникальность в литературе вызывалась реакцией на интимную трактовку действительности. Но, возведенная в основной творческий принцип, она привела к безличности. Бальзак в одной из своих критических статей как-то заметил, что ничто так не обличает бездарности писателя как нагромождение фактов. Не лучше получалось и в тех случаях, когда литераторы, напротив, пренебрегали исторической истиной, подменяли историю фантазией. Специфический признак исторического романа — наличие среди его героев действительного исторического лица, сохранившегося в народной памяти. Писатель обязан считаться с его реальной судьбой, с особенностями быта и духа эпохи. Толстой внимательно изучал исторические документы и быт петровской эпохи. В изображении жизни Петра у него соблюдена хронологическая последовательность событий. И в то же время роман «Петр I», весь творческий опыт Толстого содействуют разрушению ошибочных взглядов на художественную композицию. Для романа «Петр I» характерна глубокая органичность композиции. События и лица концентрируются в напряженном сюжете. Умело построенный сюжет служит здесь не только для занимательности и художественного эффекта. Широкая картина исторической жизни, представленная в романе, чтобы быть яркой и вышуклой, требует драматической выраженности действия. Для исторического романа Толстого типичен строгий отбор исторических фактов. Толстой стремится открывать тайники человеческой души — чувства и мысли, движущие героями романа. Это тоже заставляет художника искать наилучшего решения композиционных вопросов, так как пересказ ни-

когда не может передать внутренних психологических мотивов поведения героев: серая хроникальность в историческом романе отодвигает человека на задний план, подавляет его ворохом внешних фактов. Щедрый талант Толстого здесь проявляет благородную «скупость». Взыскательный лаконизм сюжетных линий лучше всего свидетельствует о богатстве таланта.

Характеризуя опыт своей работы, писатель придает композиции первостепенную важность. «Опыт каждого из нас, — писал он, — говорит: процесс писания — это процесс преодоления. Преодолеваешь материал, преодолеваешь и самого себя... Искусство для своего обобщения не стремится к количеству фактов. Искусство стремится к поискам характерного факта»¹. Художник отказывается следовать по пятам за своими героями, что делают литераторы, воспринявшие метод, названный в истории литературы «психологией лакея». Этот метод сводится к подробному изложению малозначительных побочных происшествий. Герои Толстого нам показаны только в необходимые интересные для читателя моменты, раскрывающие существенные стороны их характеров и эпохи.

Наиболее отчетливо основы сюжетности романа «Петр I» видны в последней части книги, отличающейся полной ясностью линий. Первая книга романа еще вызывала споры в этом отношении: отдельные критики упрекали ее в хроникальности. Это обвинение неверно. Правильнее сказать, что автор еще находился в поисках сюжетной основы. Правда, мощная изобразительность, полнокровие жизни и образов не дают резко чувствовать того, что писатель длительное время, уже создавая роман, искал решения композиционных вопросов. Вторая книга отличается более совершенной архитектурной. Некоторая эпизодичность и отрывочность начала романа сменяется пластической мягкостью сюжетных линий и переходов, возможно, даже замедленностью действия. Объяснения этому можно найти в характере освещаемого периода: Россия переживала четырехлетие сравнительного затишья — напряженной подготовки к предстоящим битвам.

Третья книга «Петра I» объединяет живость действия с классической ясностью сюжета. Во всей силе чувствуется полная творческая уверенность художника, его убежденность в том, что он нашел лучшее решение композиции романа.

Язык повествования Толстого находится в полном соответствии с его творческим методом живописания и взглядом на историю.

Историко-художественные произведения Толстого направлены, главным образом, на воспроизведение перспективных элементов отечественного прошлого. Поэтому, естественно, писатель менее всего склонен к реставраторству временных, преходящих речевых явлений. Каждая эпоха отличается своеобразием речи. Язык подтвержден непрерывным изменению. Но не все его элементы в одинаковой степени неустойчивы: одни переживают столетия, суще-

¹ «Новый мир», 1939 г., № 2, стр. 248.

ствование других ограничено коротким временем. Постоянно сталкиваются тенденции устойчивые и тенденции наносные, не выдерживающие испытания временем. Писатели, приверженные к архаической стилизации, ориентируются на уже мертвые, преходящие речевые свойства. Толстой идет другим путем. Воспроизведя развивающиеся и обогащающиеся черты русского характера, он переносит это общее свойство своего творчества и на язык. Для романа «Петр I» типична ориентация на жизнеустойчивые свойства русского языка.

У Толстого высоко развито то, что можно назвать чутьем исторической правды. В статье об «Юрии Милославском» Пушкин заметил, что одно дело вызвать демона старины, а другое — уметь управлять им. Автор «Петра I» справился с этим демоном, в то время как некоторые другие, иногда даже очень талантливые литераторы сами оказывались во власти старины. Например, в романах Чапыгина изолированно живут две лексические стихии — современная литературная и древний северный говор с примесью церковно-славянизмов. Причем, вторая стихия совершенно подавляет первую. Резкий разрыв между повествовательной речью и речью героев всегда свидетельствует о непреодолении автором исторического материала, о стихийном подчинении ему.

Стилевые переходы между авторским повествованием и языком исторических лиц в «Петре I» неуловимы. Голос автора драматически напряженно смешивается с голосами людей прошлого. Такой прием придает индивидуальную живость характерам и делает характеристику образа многоплановой и всесторонней. Высказываясь за своего героя, писатель освещает его и изнутри и извне. Метод этот позволяет архаические элементы эпохи и облика героев в значительной степени включить в авторскую характеристику. Это в свою очередь дает возможность ослабить архаическую нагрузку в языке персонажей. Достигается глубокое ощущение времени, но без резких переходов, разрывающих художественное восприятие картины. Здесь вспомним высказывания Толстого о том, как важно мотивировать слова героя. Слово — жест: вот ведущая формула писателя. Слово не должно повисать в воздухе; писатель обязан заставить видеть в этот момент героя, напряженность его — духовную и внешнюю, рождающие жест. «Речь человеческая, — говорил Толстой, — есть завершение сложного духовного и физического процесса. В мозгу и в теле человека движется непрерывный поток эмоций, чувств, идей и следов за ними физических движений. Человек непрерывно жестикулирует. Не берите этого в грубом смысле слова. Иногда жест — это только неосуществленное или сдержанное желание жеста. Но жест всегда должен быть предугадан художником как результат душевного движения.

За жестом следует слово. Жест определяет фразу. И если вы, писатель, почувствовали, предугадали жест персонажа, которого вы описываете (при одном непременном условии, что вы должны ясно видеть этот персонаж), вслед за угаданным вами жестом последует та един-

ственная фраза, с той именно расстановкой слов, с тем именно выбором слов, с той именно ритмикой которые соответствуют жесту вашего персонажа, т.е. его душевному состоянию в данный момент.

Из этого выходит: во-первых, что вы, писатели, всегда должны галлюцинировать, т.е. научиться видеть то, что вы описываете. Чем отчетливее вы будете видеть призраки вашей фантазии, тем точнее и вернее будет язык вашего произведения.

Это путь к созданию алмазного языка. Это язык фольклора нашего народа, это язык зрячих, видящих и полнокровно чувствующих.

И во-вторых. Народный язык, алмазный язык всегда рассказывает о жесте полнокровного движения, максимального движения, отчетливого движения. Искусство не терпит приблизительности, неясности, недоговоренности. И это в особенности приложимо к нашему советскому искусству — социалистическому реализму¹. Фигуры героев романа «Петр I» физически видимы в динамике речи. Сила живописания Толстого во многом обусловлена тем, что у него слово есть акт, раскрывающий действие и психологию человека. Срачением слова и жеста у Толстого сразу же создает черты живого человеческого образа с его внутренним и внешним индивидуальным своеобразием. Славянизмы естественны в устах начетчика-попа Фильки и раскольников. Поэтому церковно-славянский стиль их речи, характеризует индивидуальность человека, не производит впечатления искусственности.

Речь Даниила Меншикова и вообще всех крестьян в романе самая безыскусственная и простая. Она близка к речи крестьянства конца прошлого и начала настоящего столетий. Писатель здесь чутко отразил тот неоспоримый факт, что язык народных масс длительное время оказывался наиболее устойчивым и менее подверженным различным воздействиям, влияниям и изменениям, нежели лексикон образованной верхушки общества. Слово Даниила Меншикова чуждо церковно-славянизмов попа Фильки. Долголетняя устойчивость речевого склада массы сразу видна по сравнению с изысканными выражениями политика-мечтателя князя Голицына.

Увлечение дворянской и купеческой прослойки общества внешними атрибутами западноевропейской культуры в романе Толстого выражено излишеством в речи соответствующих персонажей иностранных слов. Это характеризует бытовое своеобразие среды. Вот сцена в доме Бровкина — уже подрядчика, близкого к царскому двору:

«Артамаша поясню поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Санька, поджав губы, коротко присев, — скороговоркой:

— Презанте мово младшего брата Артамашу. Девы лениво покивали высокими напудренными прическами. Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье. Санька представляла: «Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья». Каждая дева, поднявшись, присела, — перед каждой Артамон пополоскал рукой. Осторожно

¹ «Новый мир», 1939 г., № 2, стр. 246.

сел к столу. Зажал руки между коленями. На скулах загорелись пятна. С тоской поднял глаза на сестру. Санька угрожающе сдвинула брови.

— Как часто делаете plezier? — запинаясь, спросил он Наталью. Она невнятно прошептала. Ольга бойко ответила:

— Третьего дня танцевали у Нарышкиных, три раза платья меняли. Такой сюксе, такая жара была. А вас отчего никогда не видно?»

Некоторая часть просвещенных людей петровской эпохи еще жила традициями церковнославянской и византийской образованности. У Андрея Голикова выбор слов соответствует его характеру и манере поведения. Из разговора Голикова с Петром выносишь впечатление о живописце как человеке книжном, еще не освоившем новую обстановку, но тяготеющем к новому.

«... От стены дома — из-за колонны — отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.

— Тебе чего? — спросил Петр Алексеевич. — Ты кто? Встань, — указа не знаешь?

— Великий государь, — сказал человек тихим, проникающим голосом, — бьет тебе челом детинушка скудный и бедный, беззаступный и должный, Андрюшка Голиков... Погибаю, государь, смилуйся...

Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:

— Вельми преславная морская виктория в усть Неве мая пятого дня, тысячу семьсот третьего года: неприятельская шнява «Астрель» о четырнадцати пушек и адмиральский бот «Гедан» о десяти пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меншикову».

Торжественный склад речи Голикова характеризует его и профессионально и как натуру мечтательную, рвущуюся принести пользу государству своим искусством. Человеческие образы у Толстого приобретают свою индивидуальную характерность строгой психологической мотивировкой поведения и речи. Многие из персонажей не произносят ни одного слова, выпадающего из современного литературного обихода, но писатель достиг главного — психологической правды. Органическое единство характера, ситуации и слова — типично для творчества Толстого. Всегда мы узнаем бойкое, с оттенком легкомыслия слово Меншикова.

«Батюшки, накурили, как в берлоге! Да сидите, сидите, будьте без чинов. Здорово! — грубо-весело сказал Александр Данилович. — На реку, что ли, сходим? А? — И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, поглядел на валяющиеся обглоданные мослы, заглянул в пустую чашку. — Со скуки рано пообедал, спать лег на часок, а — просыпаюсь — в доме нет никого, ни гостей, ни челяди. Бросил генерал-губернатора... Мог я во сне умереть и никто бы не

знал. — Он глазом мигнул Алексею. — Господин подполковник, перцовочки поднеси, да расстарайся капустки, — голова что-то болит... Ну, а у вас как дела, братья-корабельщики? Надо, надо поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю».

Принадлежность этих слов Александру Даниловичу легко установить даже без авторского примечания. Настолько Меншиков индивидуален и психологически определенно выражен.

Речь Петра нельзя смешать с речью других: это обусловлено целостностью его жизненного интереса и страстей. Мы слышим речь государственного деятеля, стоящего на много голов выше современных ему монархов.

«За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой черной бутылки в чарки. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченного стула:

— Король Карл отважен, но не умен, весьма лишь высокомерен, — заговорил он, с медленностью — по-московски — принося слова. — В семисотом году фортуна свою упустил. А мог быть с фортуной, мы бы здесь ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает... Но разумно ли, утвердись в Питербурже, вечно отбиваться от шведов на Сестре реке да на Котлине острове? Ждать, когда Карл, наскуча воевать с одними своими мечтами да сновидениями, повернет к нас все войска? Тогда нас здесь, пожалуй, и бог Нептун не спасет. Здесь сердце наше, а встречать Карла надо на дальних окраинах, в тяжелых крепостях. Надобно нам отважиться — наступать самим. Как только пройдет лед — итти на Кексгольм, брать его у шведов, чтобы Ладожское озеро, как в древние времена, опять стало нашим, флоту нашему ходить с севера без опасения. Надобно итти за реку Нарову, брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас, камрады. Промедление — смерти подобно».

Произнесенное здесь Петром — плод глубокой продуманности, государственного мышления. Речь Петра часто переходит в многозначительный афоризм. Многое не потеряло своей жизненной актуальности спустя столетия. Например, афоризмы: «Понеже фортуна скрозь нас бежит... блажен, кто хватает ее волосы», «от битья железо крепнет, человек мужает», «промедление — смерти подобно».

Толстой художественно постиг дух эпохи и индивидуальность характеров; следовательно, в его произведениях отпадает надобность в постоянном напоминании об истории архаическими словами и выражениями. Творческая сила дает ему возможность свободно обходиться живым общедоступным языком современной литературы. Вместе с тем, иногда он несколько отходит от обычных языковых норм, чтобы выразить дистанцию времени, отделяющую столетиями нашу эпоху от петровской: колорит времени в речи достигается введением очень ограниченного количества необходимых архаизмов. Писатель строго соблюдает здесь художественную меру, прибегая к старинным словам и оборотам только тогда, когда в совре-

менном лексиконе нельзя найти точно совпадающее по значению слово или выражение.

Вообще творческий метод Толстого противостоит историческому натурализму в литературе, тем произведениям, где археология преобладает над искусством. Писатели, гоняющиеся за исторической экзотикой, то-есть только за всем непохожим на современное, невольно для себя ставят барьер между прошлым и настоящим, затрудняют понимание смысла исторических событий. Можно сказать, употребляя выражение Марлинского, что у Толстого старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Правда, наблюдается некоторая разница в словарном составе между первой и последующими книгами романа. Толстой вначале в большем количестве вводит слова XVII века. Постепенно язык романа все более и более приближается к современному. Писатель избегает дальних архаизмов, обращаясь преимущественно к славянизмам, а также военным и морским терминам, заимствованным за рубежом. Ясная и доступная всем речь таким образом приобретает и историческую тональность. Старинная речь героев Толстого не звучит романтической декламацией: до нас доносится живой голос человека давно прошедшей эпохи. Все в целом создает ощущение внутренней близости с лучшими людьми прошлого, несмотря на отдаленность эпохи, своеобразие их мышления и страстей.

VII. ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ БУДУЩЕГО

Толстой говорил: «искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, волнующее, значительное и запечатлевает его в кристаллах книг. Но искусство идет дальше. Оно стремится развернуть перспективу не только позади, но и впереди, слитаясь увлечь в будущее. В особеннности характерно это для нашего времени. Весь пафос — в будущем... От суеты быта — к вершинам, от уродующей маски — к Человеку-герою».

История в произведениях Толстого — не застывшая картина: страна идет вперед, и мы ясно видим перспективу, направление этого движения. Роман чужд всякой идеализации старины. Истолкование писателем критических переломных эпох национальной жизни намечает дорогу к будущему страны, хотя реальный путь к нему лежал через все противоречия абсолютизма. Если рассматривать всякое живое общественное явление в его развитии, то в нем всегда окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего. Это относится и к эпохе Петра. Толстого очень волновал вопрос — достаточно ли историчен в этом смысле его роман. И писатель всемерно старался прояснить в своем произведении зачатки грядущего, прогрессивные тенденции эпохи. На одном из литературных совещаний в редакции «Нового мира» (в 1941 году) Толстой резко возражал одному писателю, сказавшему, примерно, следующее: «Очень хорошо, что Алексей Николаевич вплотную занялся современной темой. «Петр I» посвящен отжившему, его пока можно отложить»

(в это время писатель заканчивал последнюю книгу «Хождения по мукам»). «Исторический роман, — сказал в ответ Толстой, — не роман об отжившем. Это повествование о настоящем, точнее, о том наследии предков, которое пережило века и стало нашим достоянием. Писать романы только об отжившем неинтересно». Смысл этих слов не только в желании опровергнуть явно неверную формулировку. Автор «Петра I» хотел еще сказать о главной творческой задаче своего любимого произведения.

Развивая свою излюбленную мысль, Толстой опирался на гениальные ленинские указания о различии научного и сентиментально-романтического понимания истории. Ленин в полемике с Михайловским говорил, что только новый период русской истории, примерно с XVII века, характеризуется действительным фактическим слиянием всех областей, княжеств в одно целое. Создание прочных национальных связей обусловлено возникновением капиталистических отношений. Сторонники экономического романтизма (Сисмонди, народники) отрицали прогрессивность этих процессов, их значение для последующих поколений. Ленин, напротив, утверждал, что «неустойчивость» и противоречия капитализма были «громким прогрессивным фактором, ускоряющим общественное развитие, втягивающим все большие и большие массы населения в водоворот общественной жизни, заставлявшим их задумываться над ее строем, заставляющим их самих «ковать свое счастье»¹. Преобразования Петра Толстой оценивает как «благо по отношению к средневековью»: они расчищали пути для дальнейшего общественного движения. Художник в восприятии и истолковании отдельных процессов в эпоху Петра I иногда несколько опережает реальный ход событий. Это вполне закономерно. Ведь Толстой изображал живое развитие общества. Хорошо об этом сказал Н. Тихонов. Его статья в «Правде», несомненно, написана под впечатлением недавно опубликованных глав «Петра I», предвещавших еще более сильные художественные эффекты, еще более яркие краски. «Иные критики говорили о своеволии писателя в обращении с историческими лицами. Да ведь это своеволие было оправдано тем устремлением в будущее, тем исканием, которое жило в толстовском неугасимом характере. И в тот миг, когда бы он остановил разбег своего таланта, притупил бы внимание, пошел бы по стезе обычного толкования происходившего — в тот миг кончился бы в нем ищущий писатель, стоявший на уровне своего высокого века, и ему стало бы скучно в мире обычного»². Художник смело изобразил в романе борьбу старого и нового. Новое побеждает, непреодолимо прокладывая себе пути сквозь все сложности индивидуальных судеб и человеческих отношений. Многие исторические беллетристы ограничили свою художественную задачу воплощением крушения, гибели определенного общественного уклада. Толстой выполнил эту задачу блестяще. Но гораздо значительнее в романе другое: события освещены

¹ В. И. Ленин. Соч., т. II, стр. 193.

² «Правда», 25/II, 1945 г.

предчувствием будущего. Следует сказать, что писателю вполне удалось образно воплотить свой идеал искусства — искусства, увлекающего в грядущее. Наиболее наглядно выражено это в третьей книге «Петра I».

Обогащение изобразительного таланта Толстого в третьей книге романа вызвано новизной чувства и содержания, внесенного художником. Поражает изумительное свойство таланта нашего писателя — способность, всегда оставаясь самим собой, в каждом новом произведении находить новые изобразительные возможности, подниматься на более высокие ступени мастерства. Не повторил себя писатель и в третьей книге «Петра I». Здесь очень мало места занимают картины отживающего, широко представленные в первых книгах романа. На первый план выдвинуты сцены созидательного и военного триумфа русских людей той эпохи. Время создания второй и третьей книг романа отделено друг от друга почти десятилетием. Поэтический образ русского народа, завещанный нам Толстым в конце его жизни, создавался воздействием на исторический материал драматизма и славы современных дней. Огонь побед нашей родины отразился светлым отблеском в образах завершающей части романа.

Общий темный фон первой и второй книг освещается кровавым заревом заговоров. Душно под низкими сводами консервативной боярской замкнутости. Страна стоит на распутье, с огромными усилиями сворачивает на новую широкую дорогу. Смятение владеет сознанием и чувствами многих людей. Ценою жертв прорубается «окно в Европу». Драматичны детские и юношеские годы Петра, проходившие под страхом боярских заговоров. Это еще предрассветные сумерки, время борьбы темноты и света. Третья книга — картина утра России, освещенная лучезарным, все покоряющим солнечным светом. Еще бушуют прибалтийские штормы, но с ними уверенно справляются русские люди. Свежий ветер морских просторов притягательно влечет к себе Петра. Полной грудью дышат он и его сподвижники, рассеявшие все сомнения, полные надежд и силы. Недаром картины морского пейзажа в бурную погоду так тянут к себе Толстого и его героя:

«Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помраченного горизонта. И море, наконец, дынуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все непутные губы...

Придерживая зюбвестку, Петр Алексеевич весело скакал. Он соскочил с коня на песчаный берег, — солнце в последний раз блеснуло из-за клубившегося края тучи, стеклянный свет побежал по завывающим волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше — обдавали водяной пылью. Громящая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели, — обрушилось небо...

Около Петра Алексеевича очутился Меншиков, — тоже в зюбвестке, в куртке.

— Вот это шторм! Вот это — люблю! — прокричал ему Петр Алексеевич».

Великолепно начало завершающей шестой главы романа, в которой мы вместе с Петром совершаем радостный победный путь к Нарве на захваченных в бою у шведов кораблях. Угрозой всякому врагу-захватчику звучат последние слова Петра Великого в конце главы, сказанные жестокому врагу — коменданту Нарвы, генералу Горну, из безрассудного упрямства погубившему тысячи людей. «Не будет тебе чести от меня, — негромко проговорил Петр. — Глупец! Старый волк, упрямец хищный... — И метнул взгляд на полковника Рена. — Отведи его в тюрьму, пешком через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих».

Современное звучание исторического романа Толстого — признак его художественной полноценности. Свойство таланта Толстого видеть будущее — свидетельство истинности его реализма. Ленин в полемике с поклонниками общинной старины — народниками — однажды заметил, что без способности видеть тенденции социального развития нет настоящего реализма: «Если нам скажут, — писал Ленин, — что мы забегаем вперед... то мы ответим на это следующее. Перед тем, кто хочет изобразить какое-либо живое явление в его развитии, неизбежно и необходимо становится дилемма: либо забежать вперед, либо отстать. Середины тут нет»¹. К исторической художественной литературе это указание относится еще в большей степени, нежели к другим видам творчества. При чтении романа «Петр I» наше представление уводит нас за пределы изображенного, связывает его с тем, что происходило в отечественной истории гораздо позже. Патриотизм наших предков близок нам — советским патриотам. Это понятно. Ведь «в советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза»².

Многие элементы романа Толстого рождают неизбежные и вполне законные современные аналогии. В исторической перспективе через них виден широкий просвет в нашу эпоху и борьбу. Однако писатель далек от метода переодевания современных героев в старинные одежды. На подобные предположения некоторых критиков Толстой отвечает: «Что привело меня к Петру? Неверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности, — это было бы с моей стороны ложно историческим и антихудожественным приемом. Меня увлекло ощущение полноты, «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрылся русский характер»³.

Искусная рука Толстого в заключающей части романа внесла новые черты в облик Петра. Присущие юности эксцентрические черты, легкая возбудимость, наклонность к крайностям в гневе и радости — все это отсту-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. III, стр. 248.

² И. В. Сталин. «О великой Отечественной войне Советского Союза», 1944 г., стр. 146.

³ А. Толстой. «Повести и рассказы», «Советский писатель», 1944, стр. 9.

шло на задний план перед разумом и чувствами государственного человека, отвечающего за судьбу нации. Раньше Петр не прочь принять участие в легкомысленных проделках Меншикова: теперь он высоко блюдет достоинство руководителя государства. Безрассудное молодечество Меншикова под стенами осажденной Нарвы вызывает гнев Петра:

— Запомни, Данилыч, — истинный бог — увижу еще твое дурацкое шегольство, шкуру спущу плеткой, — внушает он Меншикову. — Молчи, не отвечай... Сегодня ты сам себе выбрал долю... Я думал: кому дать начало над осадным войском, — тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпослать своего перед иноземцем... Сам все напортил, друг сердешный, — пласал, как скоморох, на коне перед генералом Горном! Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские! Все шутить хочешь, как у меня за столом! А на тебя Европа смотрит, дурак!»

Преобразовательные меры вызывают созидательный подъем. Многие люди из народа тоже выросли в испытаниях, получили направление своим творческим способностям. Характерно в этом смысле «хождение по мукам» Андрея Голикова: мятушийся правдоискатель нашел свою судьбу, только примкнув к делу просвещения, энергично двинутого вперед Петром.

Многочисленные персонажи романа «Петр I» втянуты в водоворот кипучей работы. Роман выразительно передает напряженность этой эпохи жизни России. С каждой новой книгой романа дух созидательной деятельности наших предков все более и более проникает все повествование, достигая своей кульминации в последних главах. Петр неутомимо разъезжает из одного края в другой, подстегивает одних, ободряет других.

Как меньший спутник большой планеты вслед за Петром движется Меншиков, выполняя его задания. Русские люди от Петра до незаметного измученного мужика, копающего фундамент для сооружений Петербурга, отдают свои силы на благо отчизны. Вот после долгой разлуки собрались вместе братья Бровкины. «Яков приехал из Воронежа. Гаврила из Москвы. Обоим было указано ставить на левом берегу Невы, повыше устья Фонтанки, амбары или дейгхаузы из воды — причалы на воде — бонны, и крепить весь берег сваями — в ожидании первых кораблей Балтийского флота, который со всем поспешением строился близ Лодейного поля на Свири. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меншиков, велел валить мачтовый лес и как раз на святую неделю заложил первую верфь. Туда привезены были знаменитые плотники из Олонецкого уезда и кузнецы из Устюжны Железнопольской. Молодые мастера-навигаторы, научившиеся этим делам в Амстердаме, старые мастера из Воронежа и Архангельска, славные мастера из Голландии и Англии строили на Свири двадцатипушечные фрегаты, шнявы, галиоты, бригаантины, буера, галеры и шмаки. Петр Алексеевич прискакал туда же по санному пути, и скоро ожидали его здесь, в Питербурхе». Выразительность образа Петра во многом определяется тем, что он сам является во-

площением и вдохновителем созидательной энергии, выдвинувшей нашу страну в ряд великих держав мира. Если в традиционной исторической беллетристике все это относилось только за счет личных замыслов царя, то роман Толстого глубже раскрывает их историческое значение. Напряженность жизни в эпоху Петра была закономерной, как и в другие критические моменты жизни народа. И все работали не покладая рук: «Никто не думал, чтобы можно было работать с таким напряжением, как требовал Петр. Но оказалось, что можно». С трудом, борьбой, жертвами происходит историческое движение вперед. Вера в человеческую волю и силу народа составляет жизнеутверждающий пафос романа «Петр I».

Наша современность открыла Толстому доступ к передовой философии истории. Роман «Петр I» в художественно высокой форме отражает ведущую передовую тенденцию всей современной культуры — защиту прогресса, отвергаемого мракобесами прошлого и настоящего. Идеология общественной неподвижности, возврата к средневековью, объединяющая все реакционные силы, особенно пропагандируется немецким фашизмом. На первый план выдвигаются расистские, биологические и мистические «вечные законы». История заключается в фаталистически извечные замкнутые круги. Немецкие теоретики — от Ницше до Розенберга — создали целую систему «мифов», искажающих историю. Всеми средствами доказываются мысль о неразумности масс и всемогущих «избранных», «сильных» личностей, нашедшая свое практическое воплощение в культе кликушествовавшего фюрера. Передовая философия истории в произведениях Толстого содействует морально-политическому разгрому врагов Советского Союза.

Наша действительность дала Толстому оружие против искаженных, узких представлений о прогрессе. Проявляются они главным образом во взглядах на историю как на тихий, надежный, прямолинейный процесс, без противоречий и борьбы, или же в скептическом осуждении «неразумности» предшествующей жизни человечества. Произведения Толстого раскрывают величие перспективы истории нашего народа. Художник на материале истории восславил поступательное движение страны вперед, победу нового над старым, творчества над застоем, широты государственного взгляда над обывательской узостью.

Острая борьба отдельных людей и классов в романе «Петр I» не разрушает целостности картины: только в живых столкновениях может свободно и естественно развиваться действие в произведениях искусства. Без таких столкновений произведение превратилось бы в простое описание неподвижно застывшего состояния общества, лишенное исторической правды.

Петр не всегда жалел людей, но к чести его нужно сказать, что он не жалел и самого себя, приносил родине все свои силы и способности. Белинский лучше многих известных историков понял дух той суровой эпохи. Жертвы, утверждал он, искупаются необходимостью и результатами: «Петр своим делом писал

историю, а не роман, он действовал как царь, а не как семьянин. Реформа была тяжелым испытанием для народа, годиною трудной и грозной. Но когда же и где же великие перевороты совершались тихо и без отягощения современников?.. Осина ломится и сокрушается ветром, дуб мужает и крепнет в бурях...

Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат»¹.

Народность произведения Толстого основана на художественном глубоком проникновении в дух того времени. Толстой постиг тайну подлинной народности, нарисовав художественную картину того, о чем в страстной публицистической филиппике сказал Белинский. При чтении романа «Петр I» невольно рождаются аналогии и в первую очередь приходят в голову слова Ленина о том, что всякая победа народа достигается трудом и борьбой. Европеизация России, по словам Ленина, «идет с Александра II, если не с Петра Великого». Все писаные и неписаные конституции «представляют из себя лишь запись итогов борьбы, получившихся после ряда тяжело доставшихся побед нового над старым и ряда поражений, нанесенных новому старым»².

Художник — свидетель и летописец грандиозных событий нашей эпохи — социалистической революции и Великой Отечественной войны — осветил отдаленный от нас по времени великий перелом в национальной жизни идеями нашей современности. Поэтому так наглядны и близки нам воплощенные Толстым опыты прошлого.

С Петра I русское военное искусство стало самым передовым. Петр ясно различает фальшивое от подлинно важного в военном искусстве. Передав командование под Нарвой фельдмаршалу Огильви, Петр критически относится к его действиям. Убедившись в догматизме стратегии Огильви, он решительно отменяет предложенную диспозицию и диктует свое решение, давшее победу. Заключительные главы романа эмоционально приподняты предчувствием победоносного пути русских войск после взятия Нарвы. Петр понимает, что все победы добыты ценой усилий всего народа. Самодержец-патриот, он сознает себя представителем страны, защитником ее чести и национального достоинства. Резкий отпор от него получает фельдмаршал Огильви, пытавшийся с присущим некоторым иноземцам невежеством высокомерием оспаривать боевые качества русского солдата: русский солдат, по его мнению, это еще не солдат, а мужик с ружьем: «Нужно много палок обломать об его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату...

Когда же Огильви окончил, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное, — шея будто вдвое вы-

тянулась, вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта, из расширенных глаз готовы были — не дай боже — вырваться фурии... Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежащая среди дохлых карбамов, искала что-то... нащупала гусиное перо, сломала...

— Вот как, вот как, русский солдат — мужик с ружьем! — заговорил он сдавленным голосом. — Плохого не вижу... Русский мужик — страшный враг... За все сие палкой не бьют! Порядка не знает? Знает он порядок. А когда не знает — не он плох, офицер плох... А когда моего солдата надо палкой бить, — так бить его буду я, а ты его бить не будешь...

Без всяких деклараций в романе видна повывшающаяся с каждым десятилетием международная роль России как великой мировой державы.

Автор рисует жизнь России на широком международном фоне. Толстой вводит нас в быт Западной Европы, дает портреты руководителей зарубежных государств, с которыми приходилось сталкиваться Петру — шведского короля Карла XII, польского короля Августа II. В сравнении с ними проясняется еще нагляднее высота русского национального государственного гения. Вот меткий портрет коронованного ландскнехта Карла XII — «свиноголового мальчишки в пыльном сюртуке, в порыжелых ботфортах, с лицом скопца и глазами тигра, подползающего к жертве». Его «нельзя было ни купить, ни соблазнить — он ничего не желал от жизни, кроме грохота и дыма пушек, лязга скрепленного железа, воплей раненых солдат и зрелища истоптанного поля, пахнувшего гарью и кровью». Король польский Август, казалось, был создан природой для роскошных праздников, для любовных утех с красивейшими женщинами Европы и для тщеславия Речи Посполитой. Раздоры польских панов на сеймиках наводят на некоторые сопоставления с положением в стане современной эмигрантской польской шляхты, хронически лишенной государственного разума. Идеалы Петра в противовес этим королям Швеции и Польши человечны и патристичны. И победы русского оружия под его руководством не имеют ничего общего с захватническими авантюрами Карла XII. Наши предки боролись тогда за возвращение своих земель. Поэтому законна и справедлива гордость русского народа успехами войны, в дальнейшем увенчавшейся Полтавской победой. Перед боем Петр со своими помощниками объезжает поле боя, где некогда было нанесено поражение русским войскам.

«Петр Алексеевич указывал ехавшему стремля о стремя с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полусгнившие колья, торчавшие повсюду из земли:

— Здесь погибла моя армия, — сказал он просто. — На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы — силу. Здесь мы научились — с какого конца надо редьку есть, да похоронили навеки закорюченную старину, от коей едва не восприимли конечную гибель...»

Победам часто предшествует горечь поражений. Однако наш народ еще сильнее укреплялся духом и сокрушал врага. Слова Петра о великой

¹ В. Белинский. Соч., т. II, стр. 230.

² В. И. Ленин. Соч., т. XVI, стр. 314.

силе русского войска, умножающейся при одолении недругов, найдут живой отклик в патриотической душе каждого советского человека. Последняя книга романа «Петр I» посвящена главным образом тому новому, что принесли с собой труды народа в ту бурную эпоху. «Людей наших, что ли, не знаешь. Ведь нынче не семисотый год», — успокаивает Меншиков Петра, мучительно раздумывавшего перед решительным штурмом Нарвы. «Нынче не семисотый год!» После серьезнейших реформ русского государства, укрепившего национальные силы, слова эти не звучат бахвальством, здесь реальная оценка сил России.

Ленин писал о всемирном значении русской литературы. Важнейшее основание этого — глубина ее идейно-философского содержания, серьезность нравственных проблем. Толстой написал свои последние вещи в духе высокой советской идейности. Это определило

его современный творческий облик — писателя больших общественных масштабов: он мыслит широкими историческими понятиями, раскрывающими судьбу народа. Опыт прошлого писатель стремится показать, как подготовку настоящего. Содержание романа укрепляет и подтверждает уверенность всех советских людей в великой силе нашей земли, способной подавить всех врагов. И в чьем сердце не найдут горячий отклик слова автора «Петра I», написанные в критические дни битвы под Москвой осенью 1941 года: «Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны. Бессмертная слава погибшим за родину. Бессмертную славу завоюют себе живущие».

НАБРОСКИ ПЛАНА ТРЕТЬЕЙ КНИГИ „ПЕТРА I“

ЛЮДМИЛА ТОЛСТАЯ

★

Болезнь и смерть помешали А. Н. Толстому закончить третью, последнюю, часть «Петра I». К несчастью, Алексей Николаевич никогда не записывал общего плана, не делал набросков и конспектов задуманного произведения. Весь замысел, как ощущение целого, он носил в себе и писал главу за главой, отделявая последовательно каждую из них совершенно законченно. Так выражались в творчестве основные черты характера Алексея Николаевича: он никогда и ни в чем не терпел неряшливости, недоделанности, откладывания «на потом», но с упорством и натиском своего большого темперамента всегда добивался возможно лучшего, самого лучшего, конкретного, немедленного воплощения любого своего серьезного замысла.

Алексей Николаевич был человеком очень сокровенных переживаний, когда дело касалось того, что он считал для себя самым дорогим и важным. Он почти никогда не рассказывал о том, что он думает писать дальше, так как был уверен, что не смог бы написать то, о чем предварительно подробно рассказал. Он утверждал, что если уже однажды переживешь то, что хочешь создать, то останутся одни «обгорелые пни» — второй раз того же не пережить.

Последняя часть «Петра» явилась исключением. Задолго до катастрофы болезнь Алексея Николаевича давала вспышки и осложнения и прерывала его работу. Роман настолько созрел, настолько переполнял Алексея Николаевича, что казалось, рожденные образы живут уже самостоятельно где-то рядом с ним, и жизнь их течет на глазах у Алексея Николаевича, и ему нужно только время и силы, чтобы передать то, что проходит перед ним; и когда Алексей Николаевич не мог писать, он иногда мечтал вслух, — что он напишет дальше (но никогда — как он напишет). В его тетради, где сохранились краткие, отрывочные черновики написанных глав, есть список имен, отдельные слова, поговорки, выражения и есть такая запись: «Глава шестая: 1) Петр в Юрьеве. 2) Взятие Нарвы. 3) Графиня Козельская и Меншиков. Глава седьмая. Санька в Париже. Глава восьмая. Святки в Москве. Всешутейший собор. Голиков пишет портрет». (Последнее зачеркнуто.)

Шестую главу Алексей Николаевич начал писать во второй половине ноября и думал, что в нее войдут подглавками — после взятия Нарвы — приезд графини Козельской и приезд Екатерины к Петру. Но потом, заканчивая эпизод взятия Нарвы, он решил выделить в отдельную,

седьмую, главу рассказ, как в лагерь к Петру приезжает переодетая мужчиной графиня Козельская послом от Августа в надежде обворожить Петра и стать его любовницей и как ее планы нарушил Меншиков, воспользовавшийся сам ее благосклонностью. В ту же главу Алексей Николаевич включил приезд в лагерь к Петру Екатерины. Восьмая глава — Санька в Париже. Затем девятая глава — святки в Москве, роман Гаврилы Бровкина с царевной Натальей. К образу царевны Натальи, любимой сестры Петра, Алексей Николаевич относился с необыкновенной нежностью. Она походила нравом и внешностью на Петра и, хотя о жизни ее мало сохранилось материалов, Наталья была, повидимому, просвещенной женщиной, знала языки, много переводила и писала для театра. Алексей Николаевич считал, что она положила начало русскому театру. Роман ее с Бровкиным вымышленный: Алексей Николаевич хотел дать возможность своей любимой героине пережить горячую, чистую, молодую любовь. О святках в Москве Алексей Николаевич думал с радостью и нетерпением. Ему хотелось погрузиться в этот размах и полнокровие русской жизни, которые были его стихией. «Ох, что я тут только разделаю», — говорил он не раз.

О «Саньке в Париже» думал, как об очень трудной главе, но чувствовалось, как он к ней внутренне принаравливался, хотел, чтобы она была неожиданной и ослепительной. Дальше были задуманы главы об основании адмиралтейства, и очень занимал Алексея Николаевича эпизод о последнем нападении на Петербург шведов, когда у Кроншлота их отбил Толбухин. Можно было понять, что эпизод этот казался Алексею Николаевичу очень характерным для русского человека, для его смекалки, озорства и мужества. Но когда я расспрашивала, в чем заключался этот эпизод, Алексей Николаевич неизменно отвечал: «Вот напишу — увидишь...»

Во время своей поездки в Ленинград, и Кронштадт весной прошлого года Алексей Николаевич ходил смотреть пейзаж на Толбухину косу. Предполагал Алексей Николаевич включить в роман и Булавинское восстание.

Закончить роман Алексей Николаевич хотел Полтавской битвой или Прутским походом.

В одном из своих последних писем в ноябре 44 года Алексей Николаевич писал: «Роман хочу довести только до Полтавы, может быть до Прутского похода, еще не знаю. Не хочется, чтобы люди в нем состарились, что мне с ними, со старыми, делать?..»

ВЕЛИЧИЕ ГЕРЦЕНА

(К 75-летию со дня смерти)

И. НОВИЧ



Сто лет отделяют нас от знаменитых «сороковых годов» XIX века. Русское общество тогда впервые узнало имя Герцена. С тех пор вокруг имени и литературного наследства Герцена шла борьба общественных течений, политических группировок и партий, борьба, закончившаяся лишь в нашу эпоху.

В 1851 году Николай I утвердил решение Государственного Совета о Герцене: «Считать изгнанным навсегда из пределов русского государства». Изгнать Герцена и его произведения русское самодержавие в свое время действительно смогло, но «навсегда» — это было слишком самоуверенно и неосмотрительно сказано... Имя и важнейшие произведения Герцена и в предреволюционные годы хорошо знали борцы за свободу. С революцией же произведения Герцена стали широко доступны народу.

Жизнь показала, что десятилетия, протекавшие со дня смерти Герцена, не отделяют, а соединяют нас.

«...Валериан Владимирович подошел к шкафу, достал книгу «Былое и думы» Герцена и стал читать: «Сибирь имеет большую будущность: на нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меха и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не заселен. Это неверно»... Валериан Владимирович читал изумительно.

— Не правда ли, как замечательно, Иван Павлович! «Америка встретится с Сибирью». Об этом сто лет назад мечтал Герцен. Эту встречу устраиваем мы, большевики, наша великая партия»¹.

Беседа эта произошла в самом начале сталинских пятилеток между одним из руководителей советской промышленности В. В. Куйбышевым и инженером И. П. Бардиным. Она — лишь одно из многих и многих красноречивых свидетельств любовного отношения нашего советского общества к великому русскому мыслителю, писателю-революционеру А. И. Герцену, чью громадную историческую роль в развитии русской революции и русского народа ярко определил в 1912 году В. И. Ленин. Он писал:

¹ Сборник «Встречи с товарищем Сталиным», стр. 45, Госполитиздат, Москва, 1939 г.

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс»¹.



Александр Иванович Герцен родился 6 апреля (25 марта) 1812 года в Москве, в дворянской семье.

В 1855 году Герцен писал в лондонской газете «The Morning Advertiser»: «Как незаконный сын Ивана Яковлева я называюсь не именем отца, а тою фамилиею, которую отец счел нужным мне дать. Я родился в Москве, учился в университете этого города и всю свою жизнь до 1847 г. провел в России. Русский по рождению, русский по воспитанию, русский сердцем своим...»

Уже в юношескую пору формировалась в Герцене независимость мысли. С юных лет видел он кругом тяжелые сцены крепостных отношений. От тяжести и тоскливости окружающей обстановки спасала домашняя библиотека. Сюда уходил юный Герцен, здесь находил он себе друзей и учителей. Он читал все, что мог найти: «Кавказского пленника» Пушкина, произведения Вольтера, «Страдания молодого Вертера» Гете.

Знаменитое восстание 14 декабря 1825 года, а за ним казнь руководителей восстания декабристов разбудили «ребяческий сон души». Детство кончилось вместе с донесшимся из Петербурга и до юного Герцена громом пушек на Сенатской площади. Герцен нашел себе друга, ро-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 468.

весника — Николая Огарева, и с тех пор вместе прошли они рука об руку весь свой жизненный путь.

Молодые друзья представляли себе, как будут говорить с царем, обвинять его в тиранстве. И однажды, в 1828 году, они дали в Москве на Воробьевых горах свою знаменитую клятву — бороться с угнетением и рабством.

Юность Герцена была овеяна романтикой революционного прошлого, чувствами всеобщей любви и дружбы, высоким культом искусства, поэзией, мечтаниями о попрании самоотверженной борьбы за свободу.

В 1830 году Герцен поступил в Московский университет. Здесь укрепились ранние юношеские свободололюбивые чаяния. Неудивительно, что горячий, талантливый, увлекающийся юноша Герцен сразу оказался в центре университетской аудитории.

Весть об Июльской революции 1830 года во Франции всколыхнула молодежь герценовского круга.

В кружках университетской молодежи, таясь, ютилась живая мысль. Кружок Станкевича и кружок Герцена—Огарева были тогда в Москве маленькими центрами, где группировалась ищущая и мыслящая молодежь. Но кружки эти были разны. Если в кружке Станкевича царил дух теории, велись беседы почти исключительно о философии, о чувстве изящного, о поэзии и музыке, то участники кружка Герцена — Огарева не ограничивались этим. Здесь царил особый, острый интерес к политическим вопросам, была жива память о восстании декабристов, почитались вольнолюбивые пушкинские стихи.

Здесь выдвигались на первый план вопросы жизненные и политические. В кружках росло и формировалось сознание передовых людей эпохи.

Дух критики господствовавших тогда в России общественных отношений, проповедь необходимости промышленного развития и образования, идеи общественного прогресса, стремления к лучшему будущему, обличение несправедливости и рабства, идеи освобождения и равноправия женщины — все это увлекало ранних русских социалистов тридцатых годов с Герценом во главе.

В ночь на 21 июля 1834 года по приказанию военного генерал-губернатора Герцен был арестован. Началось «дело» о Герцене, как указанно в материалах следственной комиссии, «молодом человеке пылкого ума... смелом вольнодумце, весьма опасном для общества». Затем — ссылка в Пермь, в Вятку.

Ссылка, однако, не усмирila, а лишь усилила в Герцене ненависть к царской власти. Здесь, возле Уральского хребта, начиналось реальное практическое знакомство с жизнью.

Лишь весной 1840 года окончилась пятилетняя вятско-владимирская ссылка Герцена. Но вскоре его снова высылают, в Новгород. Поводом к новой ссылке послужило письмо Герцена, в котором он с возмущением рассказывал отцу о том, как в Петербурге будочник убил некоего прохожего.

Ссылочные годы Герцена — период его уси-

ленных занятий историей, философией, литературой.

В эпоху Герцена прежде всего через литературу шли в русское общество передовые идеи, литература становилась делом жизни небольшой группы лучших людей общества.

Дело, начатое 14 декабря на Сенатской площади, продолжалось и развивалось в области мысли и слова.

Идейную основу раннего творчества Герцена составило противоречие свободолобных идеалов и феодально-крепостнической действительности, противоречие «толпы» и избранной личности дворянского революционера.

Проблемы борьбы двух миров — старого и нового, романтическое противопоставление героической личности обыденщине и толпе, любовь, проблемы религии и нравственности — таков мир ранних литературных опытов молодого Герцена, художественно незрелых еще, но интересных для понимания пути формирования русского дворянского революционера тридцатых годов. Это — «Встреча», «Елена», «Лициний», «Вильям Пен», «Записки одного молодого человека», «Еще из записок одного молодого человека» и другие очерки, рассказы, этюды. Это были произведения, исполненные романтических настроений и не чуждые мистицизма. Лишь начиная с «Записок одного молодого человека» и в особенности с «Еще из записок...» говоря словами самого Герцена, «мало-по-малу образы ясныют, как деревья и горы из-за тумана». Герцен говорил, что на его ранних произведениях было «утреннее освещение», характеризовавшее герценовское восприятие жизни в тридцатых годах.

В 1843—1845 годах Герцен пишет и публикует в журнале «Отечественные записки» свои философские работы «Диалетизм в науке» и «Письма об изучении природы», по праву занимающие выдающееся место в истории русской классической философии.

Герцен материалистически решал основной вопрос философии — об отношении бытия и мышления. Он придерживался точки зрения диалектического развития природы, ее постоянного движения. Для него мир — диалектичен, а жизнь природы — развитие. Он писал: «...у развивающейся жизни ничего нет заветного... в самой природе, — в этом вечном настоящем, без раскаяния и надежды, — живое, развиваясь, беспрестанно отрывается от минувшей формы, обличает неестественным тот организм, который вчера вполне удовлетворял».

В природе, — писал Герцен, — «двух раз не встретишь одни и те же черты».

Оледенелое, застывшее, для Герцена — не истинно: истинно — развивающееся, а развитие, для него — борьба старого с новым.

Герцен отвергал идеалистическое учение о духе как о всемогущем творческом начале, предшествующем бытию: он отвергал идеалистическую мистику духа, якобы рождающего сознание из самого себя.

Герцен боролся против идеалистического обескровливания действительности, на защиту которой он стал.

И с этих позиций он критиковал Гегеля преж-

де всего за отвлеченность его философской системы, критиковал гегельянство за «возвышение» философии над земным уровнем.

Герцен резко отзывался о «пустой игре диалектики», становящейся чисто внешним средством «гонять сквозь строй категорий всякую всячину». Он возражал против идеалистических теорий о «вечных абстрактных истинах».

Герцен не был кабинетным ученым.

Занимаясь философией, он прямо указывал, что для него «вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами». Это в ту пору был вызов «жрецам чистой науки», призыв вывести науку из наглухо закупоренного кабинета на широкую дорогу жизни.

В крепостной России 40-х годов XIX века Герцен поднялся на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени.

В. И. Ленин говорил, что под гнетом царизма передовая мысль в России жадно искала правильной революционной теории и эту теорию она поистине выстрадала. В начале пути этих «страданий» и стояли передовые люди сороковых годов во главе с Белинским и Герценом. Высокой поэзией этих поисков передовой теории насыщены страницы герценовских произведений. Они рассказывают об изучении и разработке передовыми русскими мыслителями — философами, эстетиками, историками, русской и всеобщей, о смелой русской переработке западноевропейской философии в духе живой русской природы, чуждой немецкой умозрительности, мистицизма, философского монашества, о непримиримой критике немецкой идеалистической философии и «умственном подвиге» дальнейшего развития прогрессивной философии, о формировании русской классической философии.

Герценовские занятия философией были вызваны непосредственной необходимостью политической борьбы за свободу.

Если материалистический взгляд на природу и самое человеческое сознание составляют первую огромную заслугу Герцена в истории русской философии, а сочленение глубочайших философских вопросов со всеми социальными вопросами — его вторую заслугу, то его третью философскую заслугу составляет оценка им всякой философии с точки зрения ее роли в освобождении человечества от социального гнета, от ложных идей и понятий и приближения человеческого познания к объективной истине.

Уже в самом общем подходе Герцена к философским системам заключен, если уместно так выразиться, гуманистический и свободолюбивый характер философских исканий, совершенно свободных от малейшей узости, ограниченности — научной, национальной, какой бы то ни было другой. Он искал и в философии освобождения человеческой личности от пут ложных представлений, он ставил философию на службу борьбе за освобождение человечества. Это — основа герценовской, как и всей русской прогрессивной философии, философских исканий всех передовых русских людей сороковых и шестидесятых годов.

Герцен ясно сознавал глубокую связь этих исканий с историческими тенденциями и жиз-

ненными интересами развития России и русской культуры, с народной жизнью. Самое появление передовых людей сороковых годов было, писал Герцен, «естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни».

★

В сороковых годах Герцен создает свои беллетристические произведения «Кто виноват?», «Доктор Крупов», «Сорока-воровка» и становится известным писателем. Его произведения в идейно-политической борьбе тех лет становятся программными документами передового лагеря.

Проблемы творчества Герцена в период сороковых годов — жизненные социально-политические проблемы его современности: личность и общество, борьба с крепостничеством и самодержавием, религия и общество, «лишний человек» и его судьба, пути развития родной страны.

В начале сороковых годов Герцен основательно и без сожаления распрощался с литературным романтизмом, характерным для его раннего творчества тридцатых годов.

Начиная с романа «Кто виноват?» в герценовских произведениях господствуют реалистические образы людей и картины отношений крепостнической эпохи.

В романе «Кто виноват?» Владимир Бельтов, полный сил и благородных стремлений, болен одиночеством, горьким сознанием бесплодности своих дарований и высоких стремлений; тихий мечтатель и идеалист Круциферский терпит в жизни одну за другой, горестные неудачи. Доктор Крупов становится скептиком и пессимистом (повесть «Доктор Крупов»). В повести «Сорока-воровка» талантливая крепостная актриса Аннага безвременно загублена крепостником.

Помещики, рисуемые Герценом в его беллетристике сороковых годов — родные братья гоголевских крепостников.

Искусно обходя «кнутобойную» цензуру, Герцен смог при помощи множества тонко вкрапленных в повествование намеков и деталей сказать о тяжелом положении народных масс в крепостнической России и о своем сочувствии народу.

Герцен рисовал наряду с крепостниками Негровыми («Кто виноват?») Владимира Бельтова, человека идеальных мечтаний о правде, справедливости, свободе личности, искателя счастья в полезной общественной деятельности во имя разумного и гуманного, а не деспотического социального строя.

Герцен недвусмысленно показывал, что в обстановке феодально-крепостнического строя Бельтов с его знаниями и талантами становился одиноким, праздным, «лишним» человеком, не находил себе места в жизни, становился «умной ненужностью». Это было обвинение общества, в котором жил Бельтов, обвинение, перераставшее в революционный протест.

Герцен объяснял характер «лишнего» человека страдания людей результатом общественных условий, в которых они жили.

Следовательно, для возрождения Бельтовых, для того, чтобы влить в них волю к действию и дать им возможность применить их дарования и стремления, нужно решительно изменить действительность? Идея радикального изменения действительности была присуща мировоззрению Герцена еще с тридцатых годов. В его беллетристике сороковых годов она окрепла на прочной основе материалистической философии и учений утопического социализма.

Герцен пришел в своей беллетристике и публицистике сороковых годов к материалистической идее о том, что если человек воспитывается под влиянием внешнего мира, то надо, следовательно, так устроить этот мир, чтобы человек привыкал к истинно человеческим отношениям. Если человек формируется обстоятельствами, то надо сделать обстоятельства достойными его.

Присущее Герцену отрицание феодально-крепостнической действительности нашло свое наиболее полное (для сороковых годов) выражение в сатире «Доктор Крупов».

Рисуня не исключительные, а примелькавшиеся, обыденные общественные явления, Крупов приходит к утверждению теории о родовом повальном безумии человечества. Вся история представляется Крупову «связным рассказом родового хронического безумия и его медленного излечения».

Крупов с его теорией не был образом человека «без роду, без племен». Исторический пессимизм, характерный для Крупова, охватывал не мало выдающихся людей прошлого — горестные следы этого пессимизма круповского толка мы находим едва ли не во всей мировой литературе.

В идейной размежке среди интеллигенции сороковых годов Герцен и в философии, и в литературе, как и Белинский, занял наиболее передовые позиции. В разгоревшейся в сороковых годах идейно-политической и литературной борьбе Белинский и Герцен шли вместе, вместе воюя и против самодержавия.

Сороковые годы — исключительно деятельный и плодотворный период в жизни Герцена. В эти годы он создал свои известные философские работы и беллетристические произведения.

В 1847 г. Герцен приехал в Европу из России крепостного права, где ему снились социалистические утопии, западноевропейские «свободы» и пышный расцвет наук, искусств, человеческой личности. Но уже первая встреча Герцена с Европой приносит начало крушения западных иллюзий.

Герцен угадывает за пышным праздничным фасадом западной буржуазной цивилизации неприглядный черный двор.

Вместо всеобщего братства Герцен сразу видит два Парижа, как он писал в «Письмах из Франции и Италии»: Париж — «за цензом стоящий» — плейбейско-демократических «низов» общества — работников, консьержей, швей, слуг, нищих, и Париж — «за ценз стоящий» — аристократических «верхов» общества — буржуа, рантье, лавочников.

Из Парижа он переезжает в Италию, гонимый поисками идеального общественного устройства, но, естественно, не находит его и здесь.

При первой же вести о революции 1848 года во Франции он стремительно возвращается в Париж.

Наступает резкий перелом в мировоззрении Герцена; литературно-художественными документами этого перелома являются его «Письма из Франции и Италии» и очерки «С того берега».

В истории русской литературы, как и в истории социалистической мысли в России, «Письма из Франции и Италии» и очерки «С того берега» занимают выдающееся место как литературное отражение европейских событий 1848 года и как документы глубочайшего духовного кризиса Герцена, тяжело переживавшего неудачу революции.

В 1852 году он начал писать свои автобиографические записки «Былое и думы» — подвиг его жизни, произведение, в котором отражена вся жизнь и деятельность великого русского писателя-революционера. В 1853 году Герцен основывает в Лондоне «Вольную русскую типографию», а с 1855 года начинает издавать журнал «Полярная Звезда» под пушкинским девизом «Да здравствует разум!» и с символическим девизом — силуэтами пяти повешенных Николаем I декабристов: Пестеля, Рылеева, Бестужева, Муравьева, Каховского.

Весной 1856 года в Лондон к Герцену приехал Н. П. Огарев, и вместе они еще шире развернули вольное русское книгопечатание.

1 июля 1857 года вышел первый номер знаменитой герценовской газеты «Колокол».

Со страниц герценовских изданий мощно зазвучало вольное русское слово.

Герцен широко развернул революционную агитацию. «Колокол» был своего рода «властью» в России. «Вы — сила, вы — власть в русском государстве», — признавались Герцену даже такие ярые его противники, как монархист Б. Н. Чичерин, свидетельствовавший в своих воспоминаниях: «Колокол» имел тогда громадное значение: это была первая свободная русская газета, не стесненная никакой цензурой. Его жадно читали в Петербурге и в Москве».

★

Судьбы России и судьбы Западной Европы — таково общее историческое содержание всех произведений Герцена, человека непрестанных исканий разумного и справедливого социального устройства.

Произведения Герцена отражают историю яркой жизни, бурной деятельности и кипучей мысли русского дворянского революционера, ставшего революционным демократом.

Великий писатель и публицист, глубокий философ, борец за свободу и демократию, выдающийся участник всеевропейского передового общественного движения, Герцен отдал борьбе за освобождение родного народа свои выдаю-

шесся силы и кипучую страсть революционера, всю замечательно яркую мечту о свободе и глубокую мысль философа, свое острое перо писателя-публициста.

Он был горячим патриотом своей родины в пору царствования Николая I, когда патриотизм передовых русских людей подвергался не легким испытаниям.

В условиях абсолютистско-крепостнического строя Герцен стал выразителем протеста русского народа против крепостного насилия: в условиях буржуазно-капиталистического строя западноевропейских стран он стал обвинителем этого строя.

Герцен не смог окончательно рассчитаться со всеми традициями и представлениями той аристократической среды, из которой вышел. Но его позиция не была либеральной фрондой, обычно заканчивавшейся при первых же реальных опасностях, угрожавших господствовавшему классу — дворянству, это был доподлинный разрыв с ним.

«Нами человечество протрезвляется, — говорил Герцен. — Мы — его похмелю, мы — его боли родов». Он усматривал миссию своего поколения революционеров в том, чтобы разбудить общество и достигнуть истины, которая была для Герцена, как и личность человеческая, выше всего. Он подчас колебался в выборе средств переустройства общества, по временам боялся революционного насилия, катастрофического разрушения. В этом сказались его исторический идеализм. Однако, при всех его колебаниях, «демократ все же брал в нем верх» (Ленин). Он боролся за победу народа над царизмом.

Герцен боролся с монархистами Чичеринными и либералами Кавелинными, как и с «охранителями» Катковыми, дружил и расходился с Бакунинными и Тургеневым, встречался с Чернышевским и Оуэнсом, Львом Толстым и Достоевским, писал Рихарду Вагнеру и Виктору Гюго, Линтону и Мишле, дружил с Прудоном и общался с Гарибальди и Машини, — он знал близко множество выдающихся европейских деятелей его эпохи.

Мечтая о большой революционной армии, он был, однако, «генералом без армии». И это была не вина Герцена, а беда незрелости того исторического этапа русского революционного движения, который представлял Герцен.

Он был революционером, но путь его был извилист, он подчас не чувствовал под собой твердой почвы.

Герцен как-то писал в своем дневнике: «гордый дух, живший в нас, сознание таланта, силы, может, превосходящее, заставляли нас думать, что все сойдет с рук безнаказанно... Никому ничего не сошло... неестественная высь, по которой мы шли, сделалась невозможной от нарушенного равновесия; мы срывались, шли как лунатики по краю крыши»¹. Это писалось в 1866 году. Русской истории понадобилось три с половиной десятилетия, чтобы другой революционер мог уже заявить:

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и

трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем»¹. Это сказал В. И. Ленин. И это уже совсем иное ощущение себя, своего места в борьбе и своего пути, чем герценовское. Но и вышеприведенные герценовские слова из дневника не определяют, конечно, истинного места Герцена в истории русского освободительного движения.

Герцен боролся доступным ему средством революционной агитации и пропаганды — словом. Он не складывал этого оружия борьбы, которым владел поистине в совершенстве.

В одном из своих писем к Александру II Герцен говорил, что он не мог остаться молчаливым зрителем зверств и бесчинств, творимых помещиками и царскими чиновниками. И он развернул революционную агитацию. Герцен выступил защитником народных масс. Он писал, что для России время революционного действия еще не настало, но пришел уже день мысли и слова.

Герцен боролся за такую социально-политическую программу переустройства России, которая объективно была программой буржуазно-демократической, поскольку задачей всех задач того времени было освобождение крестьян от крепостной зависимости, разрушение феодально-крепостнического строя. Для того времени, в России это была высшая точка революционного сознания.

«Рассказы о пожаре Москвы, — писал Герцен, — о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песней». Это — начало биографии Герцена.

И как слова Герцена о том, что рассказы о 1812 году были его колыбельной песней, символически выражают начало жизни Герцена в русской жизни, отраженной в его произведениях, так эпиграфом к последнему этапу герценовской деятельности могли бы служить слова из одной его статьи: «...Ты ненавидишь помещика. — обратился Герцен к крестьянину после 1861 г., — ненавидишь подъячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и архиерея. Не верь им! Царь с ними, и они его.

...Твои пастыри (то-есть вожак крестьянских восстаний — И. Н.) — темные, как ты, бедные, как ты, они говорят твоим языком, верят твоим упованиям и плачут твоими слезами»².

Задача освобождения крестьян от крепостной зависимости была для Герцена азбучкой гражданского развития России. Феодально-крепостническому угнетению человеческой личности он противопоставил идею свободы и демократии.

Оборучившись на николаевское самодержавие и господствующее дворянство, сообщая угнетавший народ, он неутомимо боролся за освобождение крестьян от крепостной неволи.

В борьбе, которую Герцен вел против крепостнического строя, и была его сила крупнейшего и лучшего поддателя поколения дворянских революционеров.

Негодующе рассказывал Герцен в «Былом и думах» и в других своих произведениях о дво-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. IV, стр. 368.

² А. И. Герцен. Соч., т. XI, стр. 194 и 196.

ряньстве, купечестве, духовенстве, бюрократии своего времени. Он противопоставлял им народ, крестьянство и передовых русских людей.

Обличая бесправное положение крестьян, Герцен становился на их сторону против помещиков и дворянского государства.

Тюфяевым, Дубельтам, Голицыным, Долгоруковым в творчестве Герцена противостоят блестящие передовые русские люди сороковых годов — Герцен, Белинский, Огарев, Станкевич, Грановский, Чаадаев и другие.

В атмосфере реакции и гнета держалась, как рассказывал Герцен, горсточка молодежи, не мирившейся с окружающей действительностью.

Если в беллетристике сороковых годов Герцен против мира крепостников Негровых ставил «лишних» людей — Бельтовых, которым он сочувствовал, но которые все же так ничего в жизни и не сделали, то в «Былом и думах» положительными героями выступают — сам Герцен, Белинский, Огарев и другие передовые люди той эпохи. В них Герцен видел новые живые силы преобразования России.

В среде этих передовых людей рождалась бурлящая свободная Россия. За дело ее свободы они боролись. Они неотъемлемы от духовной жизни народа, они взращены его национальной культурой и кровными интересами государственного развития.

«Такого круга людей,—писал Герцен в «Былом и думах» о передовых русских людях сороковых годов, — талантливых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде... Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед затем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его *suffisance* (самодовольство — И. Н.) нас оскорбляет... Мещанство несовместно с нашим характером — и слава богу!.. мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой — гораздо проще западных людей».

С любовью и великой национальной гордостью рисовал Герцен в «Былом и думах» портреты передовых русских людей своей эпохи, с их напряженными умственными исканиями, идейными спорами, дружбами на почве идейного союза, разрывами на почве идейных разногласий.

Герцен резко отделял народ от царя и его помещичьего правительства. Сверх царя, говорил он, есть народ, сверх помещиков и чиновников-притеснителей есть люди народа. Они-то и составляют душу России. Кроме России Зимнего дворца есть Русь крепостная.

Во имя ее боролся Герцен.



«Дайте же взглянуть на *Hotel de ville*, на *Café de Fou* в Пале-Рояле, где Камил Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком «à la Bastille!», — в таком восторженном настроении приехал Герцен в Европу незадолго до революции 1848 года.

Но это было не 12 июля 1789 года, когда Камил Демулен вышел из кафе де-Фуа и

обратился к толпе в саду Пале-Рояля с призывом: «к оружию!».

Из окна гостиницы Герцен увидел не бурлящие толпы народа, идущего штурмовать Бастилию, а спокойную Вандомскую колонну со статуей Наполеона.

Париж стоял на пороге другой революции.

Когда она грянула, Герцен сразу, без всяких оговорок и сомнений, стал на сторону вставшего народа. В июньские дни 1848 года, когда по одной из парижских набережных шла толпа озверелых лавочников и гвардейцев с криками: «Да здравствует Людовик-Наполеон!», в ответ раздался возглас: «Да здравствует республика!».

Человек, провозгласивший это, был русский революционер — Герцен.

Герцен видел бурлящий Париж февраля 1848 года, «медовый месяц республики» и ее крушение, узнал центры и задворки революции, жизнь политических партий, французскую, немецкую, итальянскую, русскую, польскую и другие эмиграции в Лондоне, их идейную борьбу и быт и оставил в своем творчестве богатейшую коллекцию портретов европейских деятелей, с которыми встречался: Луи Блана, Бланки, Гарibaldi, Гюго, Гервега, Кошута, Ледру-Роллена, Мадзини, Орсини, Прудона, Роберта Оуэна и многих других.

Герцен был среди них представителем свободной России.

С полным правом можно сказать, что кроме Н. Д. Киселева, представлявшего тогда Россию в Париже в качестве управляющего русским посольством, кроме Ф. И. Брунинова — русского посла в Лондоне, был еще в Париже и Лондоне также представитель России в Европе — А. И. Герцен, представитель не официальной России, а народа русского, его чаяний и стремлений. Правда, Герцен не был аккредитован при французском и английском правительствах и по временам чувствовал с их стороны весьма недипломатическое отношение к своей особе¹. И все же он был истинным представителем России в Европе. У него были по крайней мере те же основания представлять в Европе Россию, что и у Николая Павловича Романова, когда он представлял Россию в Нью-Йорке у Роберта Оуэна...

Революционной страстью сторонника и друга парижских баррикад 48 года веет от герценовских произведений. «...Народ занял дворец, — писал Герцен. — Молодой работник обтер сапоги о подушку трона и водрузил на нем красное знамя при криках «Vive la République!»

«Народ овладел Пале-Роялем и плясал уже на площади Карманьола возле трупов, освещаемых пожарами... Подлую и буржуазную похвалу, что народ не крал, я не повторяю... Ког-

¹ Так например, в 1849 г. из-за преследования французской полицией, действовавшей по соглашению с русской полицией, Герцен был вынужден скрыться из Франции с чужим паспортом.

да же люди, подвергающиеся пулям из-за своих убеждений, крадут...»¹

Герцен переживал крушение революции и мрачное торжество реакции исключительно тяжело. «Проклятие тебе, — писал он, — год крови и безумия (то-есть год краха и перерождения революции — И. Н.), год торжествующей пошлости, зверства, тупоумия! Проклятие тебе!.. Все в тебе преступно, кровавогадко, все залечено печатью отвержения».

В ходе событий Герцен ясно осознал смысл и стихийный характер революции 1848 года. Июньское восстание парижского пролетариата Герцен понял совершенно правильно, как схватку между буржуазией и пролетариатом, предвещавшую жесточайшую войну классов. Тем самым Герцен шагнул далеко вперед по сравнению с его дореволюционными иллюзорными представлениями о Европе. Достаточно вспомнить, какое огромное значение придавал «июньским дням» Маркс, называвший их в «18 Брюмера Луи Бонапарта» «грандиознейшим событием в истории европейских гражданских войн», писавший, что «вся Европа дрожит от июньского землетрясения».

Для Герцена 1848 год оказался годом отрезвления от больших иллюзий. Он надеялся, что Франция воскрепит «93-й год социализма». Но 93 год социализма все не приходил, вместо него пришел 94 год реакции. С «июньских дней» разгрома революции наступила полоса безудержного крушения герценовских «западнических» иллюзий: «Сколько золота оказалось мишурою! — восклицал он, — теперь — ночь».

«Ночные картины» Европы и рисовал Герцен в своих произведениях пятидесяти-шестидесяти годов. Герцен прощался с Европой и с ней вместе — с большими надеждами.

Если некогда Европа казалась Герцену колыбелью социальной гармонии, наук и искусств, то после краха революции о той же Европе он говорил, как о враге прогресса, ибо она, по Герцену, в плену у пошлого мещанства. Он говорит о «смерти западного старика» и рисует мрачную, полную пессимизма картину морального и политического упадка Европы.

¹ Видимо, этот «мотив» был популярен в буржуазной публицистике эпохи революции, его отзвуки мы находим и в более поздние времена. «Трехцветное знамя, — писал, например, французский историк А. Мале о днях революции 1830 г., — было водружено над Тюильрийским дворцом, где народ, только что разгромивший резиденцию архиепископа, показал пример удивительной честности (ничего не похитил из вещей) (см. «Историю XIX века» под редакцией Лависа и Рамбо, русск. изд., т. III, стр. 275). В той же истории в главе «Революция 1848 года во Франции» историк Ш. Сенюбос писал: «Голапа, не встречая сопротивления, ворвалась во дворец, разрушила трон и выбросила через окна королевскую мебель, причем, ни одна вещь не была украдена» (см. т. V, стр. 13).

Так русский революционер Герцен защитил французский народ от французских историков.

Везде и во всем видит Герцен в послереволюционной Европе — застой, старость, одряхление; маршалов наполеоновских времен сменили, — с грустью констатирует Герцен, — «маршалы биржи»; в Европе Герцену скучно, потому что на стремления и вопросы человека его эпохи Запад не дает ответа.

«Человек... — писал Герцен в «Былом и думах», — сделался принадлежностью собственности».

Герценовская критика буржуазии в ряде существенных моментов перекликалась с научно-социалистической критикой Маркса и Энгельса; в этом — сильные, исторически-прогрессивные черты герценовского протеста против буржуазного общества. Но там, где Герцен видел конец буржуазного мира, Маркс видел дальнейшее развитие борьбы между пролетариатом и буржуазией. В «июньских днях» Маркс, в противоположность Герцену, увидел не нечто противоречащее духу предшествовавшего буржуазного развития Европы, а продолжение этого развития, характерный этап буржуазной гегемонии.

Совпадая со взглядами Маркса в целом ряде существенных конкретных политических оценок хода революции 1848 года, воззрения Герцена, однако, отличались от марксовских в важнейших выводах. Если Герцен перед фактом крушения революции становится и скептиком и пессимистом: «vive la mort», то Маркс возглашал: «Да здравствует революция!»

«Духовный крах Герцена, — писал В. И. Ленин, — его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела.

...У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата»¹.

Наиболее ярким документом этого «перехода» являются «Письма к старому товарищу», в которых Герцен свои политические надежды связывал с революционным движением рабочего класса, с деятельностью основанного Марксом I Интернационала. Герцен понимал, что конгрессы Международного товарищества рабочих приобретали в политической жизни все большее значение и играли большую роль, решая социальные вопросы. Он увидел в деятельности Интернационала «первый всход будущего экономического устройства». А в 1869 году он писал Н. П. Огареву: «Дай бог успеха Бакун. (то-есть бакунистскому.—И. Н.) переводу Маркса»².

Таковы были знаменательные итоги политической эволюции Герцена.

Он угадал накануне франко-прусской войны и Парижской Коммуны наступление нового периода развития буржуазного общества, периода,

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 465.

² Речь идет о замысле Бакунина перевести I том «Капитала». — И. Н.

характеризованного им, как начало конца «исключительного царства капитала и безусловного права собственности».

Герцен понял, что, в сущности, констатация им конца буржуазного общества вместе с крушением европейской революции 1848 года была преждевременна, — это был радикализм отчаяния. И он в «Письмах к старому товарищу» говорил о близком взрыве современного ему общества и правильно предугадал, что этот новый взрыв, разразившийся с изумительной силой в Париже 1871 года — не окончательный и не последний.

Несмотря на всю глубину своего общественного пессимизма, Герцен все же понимал, даже в пору наступившего вслед за Июнем разгрома казеньяковского белого террора, что «войну, начатую июньскими днями, остановить невозможно».

В конце 1869 года, когда Герцен писал свои «Письма к старому товарищу», он был полон широких планов и замыслов, которым не суждено было осуществиться.

На одной политической демонстрации в Париже он простудился, заболел воспалением легких и 21 января 1870 года умер.



Еще в начале пятидесятых годов Герцен прощески писал о будущем: «Вся Европа выйдет из форм своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики останутся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук... военный деспотизм заменит всякую законность»¹.

И среди этого хаоса взоры невольно обращаются к востоку, говорил Герцен, имея в виду Россию. «Там, как темная гора, вырывающаяся из тумана, виднеется... грозное царство. Это царство... явилось и громко заговорило в «совете европейских держав».

Герцен знал, что в «совете европейских держав», когда речь будет идти о свободе народов, его стране и его народу будет принадлежать почетное место.

Он неутомимо доказывал это виднейшим европейским деятелям и ученым в своих письмах к ним. И он с радостью принимал от них признание великой исторической роли России. «Я жду великого от вашей родины, — говорил Герцену Роберт Оуэн в Лондоне, — у вас поле чище, у вас попы не так сильные, преемственность не так закоснелая... А сил-то... А сил-то».

Герцена радовали эти слова старого патриарха социалистической мысли.

«За юную Россию, которая страдает и боится, — возглашал свой тост за завтраком у Герцена 17 апреля 1864 года Гарибальди, — за новую Россию, которая, одолев Россию царскую, будет, очевидно, в своем развитии иметь огромное значение в судьбах мира».

Герцена радовало это признание испытанного

борца за свободу, оно находило живой отклик в его душе, отвечая его настроению.

Разочаровавшись в западноевропейской буржуазной цивилизации, Герцен создал свою известную утопическую теорию «русского сельского коммунизма», усмотрев в общинном землевладении своего времени зародыш социализма. Он идеализировал русскую деревню своего времени, когда писал о единстве деревни, в которой, по его мнению, избы тесно прислонены друг к другу и предпочитают скорее вместе согреться, чем разбросаться. Это была утопическая теория. Это было доброе мечтание, облекавшее революционность крестьянской демократии. Не в этой теории сила Герцена-мыслителя, — в ней его слабость, в ней начало народничества. Идея Герцена была истинной в демократической войне против крепостничества. Сила Герцена в его русском патриотизме, в его любви к народу, в его вере в блестящее будущее родной страны. Герцен говорил о своем «чувстве безграничной, охватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, русскому складу ума».

Он издали мечтал о своей России. Не раз воображение рисовало ему день в Москве, когда он с друзьями сдвинет чаши, возглашая: «За Русь и святую волю!». Он видел свою миссию на Западе в том, чтобы знакомить Европу с Россией.

В русской пропаганде Герцена не было ни грама от национализма.

Непримиримый враг всякой узости и ограниченности, в чем бы они ни проявлялись, сторонник широты и свободы мыслей и чувств человека, он и в своих патриотических настроениях оставался все тем же великим мыслителем-свободолюбом, гуманистом.

Русский человек, русский революционер, он принимал близко к сердцу все перипетии западноевропейской общественной жизни.

Герцен называл раздражительным узкий, ограниченный национализм.

Он, гуманист, разумеется, решительно отвергал реакционный национализм, реакционные теории о расовом превосходстве одного народа над другим, или, как он говорил, «аристократические притязания на чистоту крови и на майолат».

«Народность, — писал Герцен в «Былом и думах», — как знамя, как боевой крик... окружается ореолом, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго». Эти благородные слова, звучащие для нас так живо сейчас, в дни нашей Великой войны против немецко-фашистских захватчиков, могут служить ключом для понимания герценовского патриотизма.

С братским сочувствием отзывался Герцен о западном славянстве (например, чешском) своего времени, направленном против «дейчтума», — т.е. германизма, посягавшего на чешскую свободу и независимость.

В «Былом и думах» Герцен вспоминал, как Адам Мицкевич развивал перед ним, представителем лагеря борьбы за русскую свободу, мысль о «братственном союзе всех славянских народов».

¹ А. И. Герцен. «Письма из Франции и Италии», стр. 226.

Враг «международных ненавистей» и разрыва связей между народами, Герцен сочувствовал славянству как народному чувству и исторически верному инстинкту противодействия попыткам чужеземного господства. Как пример такого «веющего инстинкта» наводного, Герцен приводил Россию в войне 1812 года.

Истинный патриотизм как инстинкт народной силы, обращенной против иноземного нашествия, Герцен противопоставил вызывавшим у него величайшее отвращение расовым теориям, уже и тогда, во времена Герцена, явственно заявлявшим о себе, теориям, разжигавшим «международные ненависти».

Свое исторически-прогрессивное толкование патриотизма как чувства народного самосознания, любви к родине и инстинкта силы могучего народа, «когда чужие его задевают» или посягают на его свободу и независимость, Герцен резко противопоставлял печально известной «триединой формуле» «православия, самодержавия, народности».

Герцен с негодованием писал о неких «немечских публицистах», в бреду выдумавших для своей нации «призвание», состоящее, изволите ли видеть, не больше, не меньше, как в «образовании полудикого (по их мнению) юго-востока Европы».

«Королевско-имперская цивилизация, — замечает Герцен, — состоит в постоянном гнете всего народного и в онемечивании, в попытках насильственного онемечивания народов.

С величайшим негодованием всегда говорил Герцен о немецких «управителях» в России, пригреваемых русским царизмом, о «рыпаях», как иронически называет их Герцен, остзейских губерний, тучах генералов, дипломатов, шпионов, сановников немецкого происхождения, облепивших русский царский двор.

Герцен указывал, что Европа должна узнать, что такое русский народ. «Величайшее неведение, — иронически замечал Герцен, — было бы нелепой претензией какого-нибудь кастильского гидаляго, у которого, — зло пишет Герцен, — сапоги без подметок и дырявый плащ...»

И Герцен боал на себя благородную миссию ознакомления Европы с русским народом.

На независимость России не раз посягали иноземные захватчики, но она всякий раз умела отстоять себя, свою честь.

«...Каол XII попытася, но его до тех пор непобедимый меч сломаля, — писал Герцен. — Фридрих II захотел воспротивиться (России. — И. Н.) — Кенигсберг и Берлин сделались добычей северного воага. Наполеон проник с полумиллионным войском в самое сердце исполнения и уехал один, украдкою, в первых попавшихся поперечях. Европа с удивлением смотрела на бегство Наполеона, на несущиеся за ним тучи казаков, на русские войска, идущие в Париж и подающие по дороге немцам милостыню их национально независимости»¹.



Герцен — своеобразный писатель. Он не хотел и не мог жить только в праздничном мире

образов, хотя они сами по себе, как у всякого крупного писателя, всегда «ведут к мыслям». Не мог и не хотел Герцен в своем научном творчестве жить исключительно в сфере логических абстракций. Он сочетал в своем творчестве искусство и «не искусство» — науку и публицистику.

Герцен писал о своем лучшем произведении — о «Былом и думах», что это — «не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Он говорил, что в каждой былинке несущегося вихря — те же силы, что и в землетрясениях и переворотах, и осмеленная буря в стакане воды не так далека от бури на море, как кажется. Эта диалектическая мысль Герцена — одно из условий, благодаря которым он включал «свое я во все окружающее» и изображаемое им, видя в своей личной биографии отражение истории в человеке.

Рассказывая о мире, он рассказывал о себе, говоря о себе, говорил о мире, в котором жил, от которого много страдал. Потому герценовский рассказ о себе, каким является все его творчество, смог приобрести объективное идейно-художественное значение в той мере, в какой духовная доама Герцена явилась порождением и отражением общественных событий исторического значения.

Художественное развитие Герцена характерно напряженным поиском своего, особого пути, своей литературной формы, своего стиля. Это — борьба между канонизировавшейся тогда в русской литературе формой повести и романа и некой особой формой, которая бы сочетала в себе черты разнообразных литературных жанров.

Герцен писал в письме к И. С. Тургеневу, в связи с «Былым и думами»: «Я не думаю, чтобы ты был прав, что мое призвание писать такие хроники, а просто писать о чем-нибудь жизненным и без всякой формы, не стесняясь... Это — просто ближайшее писание к разговору: тут и факты, и слезы, и хохот, и теория, и я, как Коссидаер наизнанку, делаю из беспорядка порядок единством двух-трех вожжей...»

Если своеобразие Герцена-беллетриста заключалось, как говорил Белинский, в «могуществе мысли» его произведений, в том, что у него «талант» ушел в «осердеченный ум», то сила Герцена-публициста в том, что у него, впервые в русской литературе, публицистика стала искусством, художественным творчеством в полном и точном смысле слова.

У Герцена прообраз, собственно, и является образом, прототип — типом.

Реальные исторические личности, с их деятельностью, со всем миром их мыслей, страстей и деяний, становящиеся героями литературного произведения, сохояняя именно их частный облик, их мир мыслей, страстей и деяний в той мере, в какой этот мир — индивидуальное проявление общего исторического движения.

Для Герцена-писателя характерно сочетание образно-конкретного языка с языком науки.

Речь Герцена целеустремленна, динамична, торопливо-напряженна, резко-экспрессивна. На-

¹ А. И. Герцен. Соч., т. V, стр. 362.

пряженность и экспрессия в стиле, языке, строении фразы, как нельзя более характерны для герценовского творчества. Фраза в самом ее строении несет экспрессию, переживание, чувство. Излюбленным элементом герценовского стиля были разнообразнейшие литературные ассоциации, аналогии, сравнения. Экспрессивность стиля Герцена находит свое выражение и в столкновении контрастных, по природе своей, определений, образов, противопоставлений.

Для творчества Герцена характерна не стройная и организованная композиция романа или повести, классическим примером и образом которой является, например, «Хаджи Мурат» Толстого, а свободная композиционная нестройность, рапсодичность «Былого и дум».

Многие современники Герцена указывали, что он ошеломлял неистовым остроумием, умением быстро схватывать во всем важнейшее, эрудицией, неугасающим фейерверком его речи, его безоглядной расточительностью ума.

Герцен критиковал некоторых литераторов его эпохи за внутренний холод их произведений, которым не хватало, по его мнению, того, что было в избытке у Белинского (и у него самого), как писал Герцен о Белинском, — «того вечно тревожащего демона любви и негодования, которого видно в слезах и смехе... такого убеждения, которое было бы

делом... жизни, картой, на которой все поставлено, — страстью, болью»¹.

В этом, в сущности говоря, и таился секрет того блестящего герценовского стиля, о котором справедливо говорят, главным образом, в связи с «Былым и думами».

★

Мы отмечаем семидесятипятилетие со дня смерти А. И. Герцена в дни нашей Великой войны против фашизма.

... В Париже немцы ворвались в небольшой домик против собора Нотр-Дам по улице Бюшери, где с давних пор помещалась русская «тургеневская» библиотека. Современные Калибаны надругались здесь над бронзовым бюстом Герцена; военными действиями против библиотеки руководил некий доктор Вейс из Берлина. Он, вероятно, не знал, кто был Герцен, — ему достаточно было знать только, что Герцен был русский. Но Герцен превосходно знал, что такое доктор Вейс... Такова историческая сила прогрессивной мысли — видеть далеко вперед.

Далеко вперед прозорливо смотрел гениальный Герцен, сыгравший великую роль в истории России, русского народа, отдавший себя святому делу народного освобождения и прогресса родной страны.

¹ А. И. Герцен. Соч., т. X, стр. 14—15.

ЛЕСКОВ И РОДИНА

ЛЕОНИД ГРОССМАН



«Он любил Русь...»
Горький. «Н. С. Лесков».

Писатель большого разнообразия жанров, редкого обилия тем и даже избыточной пестроты стиля, Лесков неизменно сохраняет творческое единство и цельность в своем глубоком интересе к жизни русского народа. Это основное чувство писателя обеспечило ему выдающееся знание своей страны, ее нравов, истории, искусства, поэзии и языка. Старая Россия, крепостная и пореформенная, раскрылась в его записях со всеми своими недугами и ранами, но одновременно и в замечательной красоте своих тружеников, героев и «праведников».

«Я отмечаю такие явления, по которым видно время и веяние жизненных направлений массы», — писал о своих творческих задачах Лесков. И в своих книгах он не переставал развертывать широкую картину своей родины во всех ее необъятных просторах. «Припоминаю Русь такую, как я ее знаю, — писал Лесков в 1871 году, — от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру...» Сколько пейзажей и типов вмещали в себе эти пространства! В каких только направлениях не извездил их влюбленный в страну свою писатель! Он подолгу жил в Орле, Киеве, Пензе, Петербурге, хорошо изучил Москву, был в Новгороде, Пскове, Оренбурге, Одессе, знал прикаспийские солончаки и плёсы Поволжья, посещал Прибалтику и острова Финского залива. Он видел киргизские степи, покрытые «северным морем» пушистого ковыля, и Ладожское озеро с грустной Карелой и густозеленым Валаамом. Он любовался древней площадью, где «бронзовый Минин обнимал бронзового Пожарского», и с восхищением художника вычерчивал контуры своего любимого древнего города над днепровской кручей, придавая ему подчас обличье средневековой миниатюры: «сады густые и деревья таковые, как по старым книгам в заставках пишутся...»

Страстный читатель и неутомимый собиратель древностей, он никогда не замыкался в библиотеке, музее, рабочей студии. Он работал с открытыми окнами на жизнь и современность, он любил широкие горизонты и ветры больших дорог. Столь дорогая и близкая Лескову лите-

ратурная профессия не представлялась ему уединенной и неподвижной. Он связывал ее не с письменным столом, а с кибиткой и баркой. Писателя он мыслил всегда в разъездах, в движении, на новых местах — путешественником, туристом, «очарованным странником». Он не переставал советовать молодым литераторам «выезжать из Петербурга на службу в Уссурийский край, в Сибирь, в южные степи — подальше от Невского!» Он рекомендовал им ездить не спеша, задерживаясь в пути, любясь пейзажами и всматриваясь в быт, медлительно вбирая в свою творческую память виды и типы, песни и говоры. «Железные дороги — большое препятствие к изучению России», — шутил в 70-х годах Лесков, совершавший в молодые годы деловые разъезды в тарантасах и возках, плававший с переселенцами по Оке и Каме на паромах и баржах. «Этому делу обязан я литературным творчеством, — говорил Лесков профессору-филологу И. А. Шляпкину, — здесь я получил весь запас знания народа и страны». Здесь же несомненно положил начало Лесков редкостным богатствам своей литературной речи, вобравшей в себя разнородные диалекты Орловщины, Украины и Заволжья вместе с отголосками разнообразнейших профессий и ремесел русского трудового люда. «Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, — рассказывал своим друзьям Лесков, — сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош... Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях... Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения». Так создавался живой словарь великорусского языка с его своеобразнейшими наречиями, акцентами, интонациями, невольными и намеренными шутивыми искажениями — богатейший запас звучаний русской речи, заключенной в собрание сочинений Лескова.

Отсюда особый интерес Лескова к геогра-

фии родной страны, его повышенное внимание к научным путешествиям по Сибири, по Средней Азии, Приамурью. В начале 60-х годов он принимает участие в работах географического общества, где общается с такими знаменитыми географами, как П. П. Семенов-Тяньшанский, с такими организаторами дальних новых окраин, как Н. Н. Муравьев-Амурский. Здесь же он слушает доклады о Сибири и киргизских степях, о краях Сыр-Дарьинском и Зайлиском. Впоследствии он живо интересовался русскими путешественниками-исследователями, как Миклуха-Маклай и Н. М. Пржевальский. С первым из них он полемизировал, а вторым восхищался, высоко ценя его «полные живого и любопытного содержания сообщения»: «Пржевальский передает в своих рассказах живую природу, — писал в 1886 г. Лесков, — в них видны плоть и кровь виденных им народов». Это был метод изучения мира, близкий навыкам Лескова — живое и конкретное описание природы и населения, нравов и промыслов, говоров и песен. Творческая анкета Лескова о людях и жизни сибирской тайги и прибайкальских дюн, заволжских степей и юго-западной равнины сообщает его страницам особый «народоведческий» колорит, нечто от старинного географического словаря, где прилежно и обстоятельно описаны губернии, уезды, города, крепости, форпосты, слободы, заставы, станицы, зимовья — вся родина с ее природой и культурой.

Лесков превосходно знал прошлое своей страны. И не только в знаменитых событиях и прославленных образах минувшего, но и в его малоизвестной повседневной жизни, в его скромных и забытых фигурах, обойденных историей и преданием. Биографии старинных русских людей, окружавший их быт, их воззрения и драмы не раз сообщали ему волнующие темы для рассказа. Особенно Москва XVI—XVII вв. и весь петербургский период привлекали внимание Лескова. Он собирал разнообразные документы о правительственной и частной жизни старой России, служившие ему для художественной работы и ученых публикаций. Его особенно занимают события культурной жизни и творческие натуры отечественной старины. Он публикует в «Русской мысли» статью о литературном памятнике XVI века — прописях Тихона, единственный экземпляр которых хранится в Оксфордском музее. По отзыву Лескова, это «осторожные и строго прочувствованные рассуждения насквозь проникнуты чисто-русским мировоззрением практического и своеобразно вышколенного русского мыслителя того времени...» Также привлекают его старинные «удальцы», люди действия, предприимчивые и отважные землепроходцы и завоеватели, оставившие в народе живую память о своих смелых замыслах и самоотверженных подвигах. Лесков знал старинные «сказки», в которых «бродяжие герои» XVII—XVIII вв. «повествовали о своих» стояниях и приключениях, об удали в боях и о страданиях в плену у чужеземцев», тешно пытавшихся отклонить их «от любви к родине и привлечь дарами в свое подданство», но отважные пленники отвергали все соблазны ино-

странцев и оставались непоколебимо верны своему отечеству, вызывая в своем позднейшем описателе чувство глубокого преклонения перед их забытыми подвигами.

Лесков был превосходным знатоком русской литературы. Страстный и жадный читатель, неутомимый труженик слова, он знал такие старинные памятники, как «Житие протопопа Аввакума» и «Записки» Посошкова, послания Николая Сорского и проповеди Кирилла Туровского. О позднейших мастерах русской поэзии и художественной прозы он оставил ряд сжатых и метких суждений. Его пленяет «самый возвышенный в своих помыслах поэт русский Пушкин», которого он смело ставит на первое место в мировой литературе. Он советует одной художнице: «прочтите всего Пушкина, а потом Шекспира», он в «Моцарте и Сальери» ищет основ для своей эстетики. Но особенно любил Лесков Лермонтова — поэта «с идеей «Пророка», с стремлением идти не к похвалам и жизнерадостности, а к страданиям и борьбе!» К литературной оценке здесь примешивался и автобиографический момент.

Одним из любимых авторов Лескова был несомненно Гоголь, о котором он даже написал биографический рассказ. Это был до конца его образец, неизменно восхищавший яркой окрашенностью слова, пронзительной четкостью образов, всем своим жгучим стилем. Лесков несомненно ощущал в Гоголе замечательного писателя-филолога, собиравшего материалы для словаря великорусского языка и проделавшего смелый опыт сочетания в своей прозе двух стихий родной речи — северной и украинской.

Из современных романистов он особенно ценил Л. Н. Толстого, который, по его словам, всех смелее и всех лучше выразил в «Войне и мире» «незримый дух народа». Он признавал Тургенева «превосходным писателем» и любил его за «правду представлений» и настоящее искусство слова. Он хотел посвятить памяти Ф. М. Достоевского свои очерки «Обнищавцы» и выставил эпитафией к ним слова автора «Мертвого дома»: «нашему народу можно верить — он достоин доверия». Лесков оставил ряд восхищенных отзывов о Герцене, высоко ценя «Записки доктора Крупова» и «Кто виноват?» Пленяла его и сила таланта Писемского, которого Лесков называл богатырем. Личные отношения, иногда очень близкие, связывали его с крупнейшими писателями — Достоевским, Л. Н. Толстым, Тургеневым, Гончаровым, Писемским, Мельниковым-Печерским, Ив. Аксаковым, Алексеем Толстым, Фетом, Полонским, Чеховым. Эти дружеские отношения Лескова с русскими писателями, мыслителями и поэтами делают высокую честь его уму, знаниям, талантам и человеческой личности.

Из современных поэтов Лесков высоко ценил Некрасова, стихи которого о русской крестьянке ставил рядом с пушкинскими: «Одному из наших поэтов внушен его вдохновением тип женщины, которая «В беде не сробеет, спасет, — Коня на скаку остановит, — В горящую избу войдет»; другой, бессмертный, доколе звучит русское слово, написал Татьяну... Нам ли па-

зять духом, когда перед нами хоть бы только эти два могучие типа, которые мы взяли у наших поэтов, — один твердый, как выносящая все непогоды бронза, другой нежный, но крепкий, как мрамор, от которого светлые рефлексы падают одинаково на мураву и на мусор, не отнимая свежести у муравы и не пачкаясь низменной перстью, ибо вся эта персть ниже лучезарного света души, произшедшей: я буду верна тому, в чем я поставлена». Такими замечательными строками откликается Лесков на одну из больших тем русской литературы — о призвании женщины.

Он особенно ценил, изучал и даже собирал народную поэзию. Историк литературы профессор Де-ла-Барт писал: «Лесков знал такое множество народных сказаний, притч, легенд, какого я не встречал у присяжных фольклористов. Не было секты, учения, ереси, которых бы он не изучил до тонкости... Он орудовал с этим материалом, как ученый исследователь фольклора...» И по художественным страницам Лескова мы знаем, с каким тончайшим искусством он разрабатывал эти народные мотивы в своих произведениях, иногда придавая им значение главного композиционного приема целой повести.

Наряду с поэзией Лесков увлекался и народной живописью. Он изучал древние фрески XI века, иконы новгородского, московского, устюжского, строгановского письма, знал Андрея Рублева и Ушакова.

К народному искусству Лесков правильно относил и художественные ремесла и всю кустарническую промышленность русских посадов и деревень. Он дорожил этой деятельностью народа, в которой сказывалась его мысль и фантазия. По поводу плана истории русского искусства он писал: «Все кустарничество надо иметь в памяти и рассказать живо, с знанием дела и с интересом...» «Промышленность есть душа местности. Надо показать не только, что тут делается, но и то, что с удобством могло бы делаться, да не делается, и почему это не делается». Лесков прекрасно знал и русский лубок, и книжки ярмарочной литературы, и московские песенники, и старинные лечебники.

Но от книги его всегда влекло к жизни. «Я очень люблю литературу, — писал в 1871 г. Лесков, — но еще более люблю жизнь человека с его привязанностями, с его нелюбовью к его любовию к высшей правде». В этих кратких словах сказалась целая творческая программа. Живой человек и его «правда» — вот ведущие темы Лескова, органически и неразрывно слитые в его созданиях. Одаренность, нравственная сила, героичность русского национального характера — вот доминанта его образов и сюжетов. Отвага, уду, ум, прятничность, беззаветная преданность кормилице-земле, готовность жертвовать всем для жизни и счастья родного народа — так определяются в героях Лескова черты национального характера. Трех праведников требовал древняя мудрость для оправдания и спасения целого народа. И Лесков, согласно этому завету, признает такими носителями правды и чести в современной России пи-

сателя Льва Толстого, хирурга Н. И. Пирогова и собирателя народных сказаний, этнографа П. И. Якушкина.

Тема русской женщины, вызвавшая столь взволнованные строки Лескова о Некрасовской Дарье и пушкинской Татьяне, всегда привлекала его творческое внимание. Недаром его первая повесть — «Жизнь одной бабы» — уже ставит эту тему в плане крестьянского быта. Гораздо позже, в 1886 году, Лесков опубликовал обстоятельное письмо Н. И. Пирогова о роли и деятельности русских женщин в Крымскую кампанию. Известно, что под руководством знаменитого хирурга действовало целое «общество сестер». Несмотря на недоверие командования и противодействие отсталой медицинской администрации, русская женщина в тяжелых условиях работы на театре военных действий оказалась, по заключению Пирогова, на замечательной высоте. Работая в осажденной крепости, в переполненных бараках, среди тифозных эпидемий, «среди страдальцев, валившихся где попало», сестры пироговской общины вели «все дела пристрастно за уходом больных с таким тактом, энергией и совестью, что полученный успех оказался блестящим». С ноября 1854 года, когда после битвы при Альме, Инкермане и первых бомбардировок Севастополя крымские госпитали были переполнены ранеными, и до конца осады, когда трудность врачебного дела не переставала расти, добровольные санитарки принимали на себя главное бремя ухода за пострадавшими. Многие из них пали жертвами прилипчивых госпитальных болезней. Одна из сестер, «простая и необразованная, посещала по собственному желанию наши форты и была известна, как героиня. Она помогала раненым на бастине, под самым огнем неприятельских пушек». Другая — женщина из петербургского общества — К. М. Бакунина стала вскоре для всех сестер общины «примером терпения и неустанного труда. Чем более встречала она препятствий на своем пути, тем более выказывала она ревности и энергии». Когда явилась необходимость поехать часть раненых в госпитали Перекопа, Пирогов предложил Бакуниной взять на себя руководство этим трудным транспортом. «Бакунина безоговорочно приняла мое предложение, — сообщает великий хирург, — и исполнила его с полным самопожертвованием. В больших сапогах и в бабьей тулупе она тапшала пешком по глубокой грязи и сопровождала мужские телеги, битком набитые больными и ранеными; она заботилась, насколько было возможно, о страдальцах и ночевала с ними в грязных, холодных этапных избах». Этот отзыв Пирогова о русской женщине, которая «дышала истинной» и «точно составляла саниток всего возвышенного», замечательно соответствует циклу рассказов Лескова.

Так наблюдал, изучал и отражал в своих произведениях Лесков природу и историю родных просторов, искусство и мудрость своего народа в его поэзии и живописи, в его знании и этике. Многочисленные очерки Лескова, его повести и рассказы составили богатейшее собрание мате-

риалов для суждения о России XIX века во всем многообразии ее народностей, сословий и типов. Хорошо знакомый с безотрадными фактами отсталости и бескультурья масс в старой монархии, Лесков безошибочно прозревал выдающуюся одаренность и великое призвание народа, который «до сих пор обрабатывает землю гостомысловым орудием, лечится сажей из печи» и проч.; «но почему знать, может быть, этот народ лучше литераторов способен воплотить прекрасные законы, войну и мир, кредит и т. д.» Эта вера Лескова в культурно-политическое будущее его нации творчески воплотилась в его любимом образе «очарованного странника» — крепостного вершника Ивана Флягина. Вокруг этого героя, как и в биографии самого писателя, расстилается чудесная география и колоритная этнографическая бытопись России, в движении, действии, красках и борьбе: артистическое восприятие родины здесь становится действенным и боевым, а в поэте и страннике пробуждается защитник родной земли, охваченный активной любовью к ней и неукротимой ненавистью к ее врагам. Своего странника Лесков сближает с излюбленным образом народной фантазии — Ильей Муромцем. Крестьянский сын или «старый казак», сидевший сиднем тридцать лет и три года в окопах недуга, стал могучим оборонителем отечественных рубежей и светлым строителем родной земли. В былинах Илья как бы воплощает са-

мый характер русского народа, осуществляя в ратных подвигах с товарищами-богатырями общинный склад и совместный труд крестьянства. Таков центральный образ Лескова, отражающий вместе с традициями русской народной поэзии и большие исторические тревоги современной эпохи. В нем же полнее всего сказалось основное убеждение его автора в «многогранности и талантливости русского человека».

Проникновенное знание родины и зоркое понимание ее трудового люда — именно этим Лесков особенно привлек к себе внимание Горького: «Он писал не о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о русском человеке, — отмечает Горький в своих записях к «Истории русской литературы». — Каждый его герой — звено в цепи людей, в цепи поколений, и в каждом рассказе Лескова вы чувствуете, что его основная дума — дума не о судьбе лица, а о судьбе России». Он мог подчас идти неверными путями, — «но он, Лесков, пронзил всю Русь». В этом его неумиряющее значение. Вот почему, по слову Горького, Лесков принадлежит к «великанам русской литературы», к «первейшим из русских писателей». Его знание крестьянской песни и говора всех сословий, его глубокая житейская эрудиция в делах и людях страны, его безграничная любовь к родному «пейзажу и жанру» сообщили творчеству Лескова выразительность и силу в изображении родного народа.

„МАЯКОВСКИЙ“

Н. ВЕНГРОВ



1

В наши величественные дни торжества советского народа, военного и морально-политического разгрома фашизма — как-то необычайно своевременна новая книга о мужественном и страстном певце нашей социалистической родины и ее могучей Красной Армии.

Эта новая встреча с поэтом тем более своевременна, что Маяковский, как с полным основанием утверждает составитель этой книги В. Катанян, «был властителем дум и воспитателем чувств того поколения советской молодежи, которое целиком вышло сегодня на поле боя защищать свою советскую родину».

Новая книга о поэте скромно называется: «В. Маяковский. Литературная хроника».

Как и должно в такого типа работе, внешние сухо и строго в ней систематизированы в виде погодной и подневной летописи даты и факты литературной и общественной биографии В. Маяковского, важнейшие события его личной жизни. Для пояснения некоторых из них автор приводит извлечения из выступлений поэта, из очерков его, из афиш, отзывов печати, документов и писем, подчас мало доступных не только широкому читателю, но даже и исследователю. Отдельные документы, как сообщает автор книги, публикуются в извлечениях впервые.

Однако за строгим перечнем фактов и дат, из скупых, поясняющих извлечений и замечаний автора выступает живая, могучая, такая знакомая нам фигура Маяковского. По страницам этой литературной хроники внимательный читатель может следить, как из пытливого ребенка вырастает мятущийся, ищущий ответа на «проклятые вопросы» подросток; как в полуробенке-полуподростке складывается характер молодого патриота-революционера; как юный поэт ищет новое слово, чтоб «делать социалистическое искусство» и борется за широкую, массовую аудиторию; как в решающий момент роста и становления молодого поэта на его творческом пути появляется А. М. Горький. Так на глазах читателя вырастает Владимир Маяковский, чтоб стать «лучшим и талантливейшим поэтом Советской эпохи» (И. Сталин).

В нашей русской литературе Маяковский занял уже свое место в ряду наших классиков.

Но Маяковский, как и наш великий Горький, не только классик, он классик — наш современник. У нас нет еще его научной биографии, мало еще работ, посвященных его творчеству, отдельным его этапам, отдельным его про-

изведениям и творческим проблемам, поставленным его поэтическим трудом. Но не только из печати знает многое о Маяковском наш читатель. Многие еще отчетливо помнят не только страницы газет и журналов с его взволнованной лирикой; помнят не только афиши с его именем и полемическими тезисами его публичных выступлений, но и голос поэта, его живые, неповторимые интонации. И все же для знающих и помнящих Маяковского, и для исследователя его творчества эта книга, бесспорно, дополняет образ поэта новыми характерными деталями.

2

Вся жизнь и творчество В. Маяковского прошли под знаком горячий, преданной любви поэта к своему народу, к своей социалистической родине. В советской лирике, пожалуй, нет более яркого выражения советского патриотизма, чем сжатая, как народное реченье, поэтическая формула Маяковского:

Читайте! Завидуйте!

Я — гражданин Советского Союза!

«Моя революция!» — так кратко, с максимальной выразительностью определил поэт свое первое отношение к Великому Октябрю.

И, действительно, все в его советской стране было для него — своим.

«Моя партия», «моя армия», «моя милиция», «моя кооперация», «мои депутаты», «моя республика» — ведущая тема не одной его поэмы «Хорошо», а всего творчества Владимира Маяковского.

Все — от воспитания молодежи и ее представлений о любви и счастье до рекламы нового советского карандаша и выхода в свет нового сатирического журнала; от бюрократического заседательства и проявлений живучих остатков мешанства в быту до литературных дискуссий; от суда над врагами народа до борьбы на электростанции за выполнение промфинплана — все волновало поэта, все было кровным, глубоко личным его делом.

«С удовольствием приду на помощь заводу. Не смотрите на мой отдых или сон. Тяните с постели», — отвечал Маяковский на телефонный звонок из завкома одного из заводов с просьбой о лозунгах для цеха. (Лит. хроника, стр. 232).

Таким был Владимир Маяковский и таким знает его советский читатель. Книга В. Катаняна сообщает, однако, и малоизвестные, и совсем еще не введенные в широкое полотно биографии

поэта факты. Их много: Маяковский — участник комитета по организации Советского павильона на Парижской выставке и инициатор передвижного театра особого типа; член правления и секретарь Литфонда и участник работы «литературной комиссии» ЦК ВКП(б) в 1925 году; Маяковский работает с рабочими в Пензе (1927) и начинающими пролетарскими поэтами в Киеве и Ростове (1926), выступает на XII конференции профсоюзов в Вятке (1928) и помогает наладить переписку с читателями в «Пионерской правде» и т. д. и т. д. Ценность книги в том, что в сотнях детальных фактов, день за днем, месяц за месяцем, проходит жизнь поэта, настолько переплетенная с жизнью, историей, событиями его родины, что оторвать их друг от друга так же невозможно, как невозможно себе представить Маяковского вне этой «кипучей бучи». Нам кажется, что ограничив себя рамками «литературной хроники», устанавливая лишь факты и даты жизни нашего современника, непосредственно связанные с творческой его работой, автор, если не считать чисто бытовых документов, вероятно, очень немногое оставил за пределами своей работы; воистину все общественное становилось интимно-личным для поэта, а личное, не связанное с общественным и творческим, у Маяковского как-то мало представимо. И, пожалуй, с такой убедительностью о жизни Маяковского не сумеет рассказать ни одна подлинно научная биография: убедительность в этом отношении определяется множеством фактов, исчерпывающей их полнотой, которая определяет изумительную разносторонность творческих, активных связей поэта с жизнью его социалистической родины.

3

Пафос всей поэзии Маяковского — творческий труд. Отношение к труду определяет представления Маяковского о назначении поэта. Характеристики его метафоры и сравнения в определении творческого процесса, образа поэта, как «фабрики счастья», советского писателя, «обрабатывающего мозги» читателя «рашпилем языка» и многое другое.

Эти метафоры, кстати сказать, понимаемые буквально и упрощенно, приводили его друзей к вредным «лефовским» теориям, которые и сам Маяковский иногда, на какое-то время, пытался теоретически отстаивать, вступая в самое кричащее противоречие с этими «теориями» и опровергая их в своей поэтической практике.

Для Маяковского это горьковское отношение к труду тоже не было поэтической декларацией. Сам Маяковский был человеком огромного каждодневного, напряженного труда, работником социалистической культуры, не знавшим буквально ни дня, ни часа отдыха всю свою недолгую жизнь.

Эту сторону жизни поэта, пожалуй, с еще большей, чем другие, яркостью и отчетливостью, впервые с такой полнотой, показывает «литературная хроника» жизни Маяковского.

Советский читатель многое знает из неутомимой, многосторонней деятельности Маяковского. Мы знаем его многочисленные книги, выступле-

ния, неутомимые путешествия по городам и весям нашей родины, по зарубежным странам. Мы знаем его активное участие во множестве культурных начинаний, во множестве изданий, в газетах, в журналах, сборниках.

Но огромное количество фактов, выстроенных в строгий хронологический ряд в книге В. Каянана, впервые, может быть, дает представление о действительно величественных масштабах творческого труда поэта, для которого труд был стихией жизни, путешествие по родной стране давало ему представление о победной борьбе народа, а странствия за границей раскрывали мир все с новых и новых точек зрения. Поэт с неутомимой жадностью читал эти страницы живой жизни, открывая в настоящем — будущее, и из будущего видел в настоящем то, чего не умел увидеть подчас ни один из его товарищей по поэтическому труду.

Поэт не щадил себя, и когда он писал родным, что занят по горло, это была не фраза. Кажется, один раз в этой книге, в переписке с издательством, Маяковский упоминает о своем намерении отдохнуть месяц. Это было в конце сентября 1927 года. Достаточно просмотреть даты октября, чтоб увидеть, что собой представлял «отдых» В. Маяковского: новые стихи, работа над новым сценарием, доработка поэмы, деловая поездка, выступления в Москве и Ленинграде, на Путиловском заводе, в клубе НКВД, перед активом московской парторганизации, в зале Академической капеллы, в Политехническом музее, в Колонном зале и т. д. и т. д. И так — из месяца в месяц, изо дня в день, точный и ответственный в сроках и своих обязательствах, знающий свою дневную поэтическую норму, неутомимо борющийся за качество и отделку каждой детали, каждой паузы в стихах, проверяющий доходчивость, выразительность, точность передачи своей эмоциональной мысли в самых разнообразных аудиториях, лицом к лицу со своим читателем, которого по-настоящему и знал и уважал поэт.

Таким был в жизни Маяковский и таким он встает на внешне сухих «хронологических» страницах новой книги.

4

«Летописи жизни и творчества» становятся в литературной науке уже распространенным жанром. Их бесспорная ценность в том, что, являясь этапом на пути создания подлинной научной биографии, они в значительной мере помогают и научному работнику, и критику, и просто заинтересованному читателю исторически понять и осмыслить отдельные факты и моменты творческой жизни писателя.

Этот жанр справочно-научной работы получил особое распространение в нашем молодом советском литературоведении. Дореволюционная литературная наука имела, кажется, единственный подобный опыт (Н. Лернер «Труды и дни Пушкина», 1902). После революции вышел целый ряд работ «летописного» порядка, посвященных жизни и творчеству В. Белинского, И. Тургенева, Н. Некрасова, Н. Чернышевско-

го, Г. Успенского, Л. Толстого. Уже несколько лет ведется работа над детальной летописью жизни и творчества А. С. Пушкина и А. М. Горького. К несколько другому типу «летописей» следует отнести известные работы В. Вересаева «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни», работу В. Гиппиуса о Гоголе. Тип последних работ над биографией писателя во многом отличается от чисто «летописных» работ; составитель строит свою книгу на документальных извлечениях, ставя себе задачей скорее воссоздать образ писателя, чем в строгой подневной хронологии установить факты и даты его биографии. Книга в таком случае адресуется к иному, более широкому кругу читателей, и приобретает отчасти характер литературно-документального монтажа. «Литературная хроника» В. Катаняна, вследствие достаточно обильных в отдельных частях книги цитаций, занимает некое среднее место в этом «летописном» ряду. И в этом — и ее достоинство, и ее недостатки. Книга не имеет четкого читательского адреса, и мудрое правило Маяковского — «надо... всегда иметь перед глазами аудиторию» — не соблюдено в достаточной мере автором работы.

«Для того, чтобы сделать «хронику» удобочитаемой, из текста убрано большинство ссылок на печатные источники и документы и на место их нахождения», — предупреждает автор в своей вступительной статье. Читать «Литературную хронику» В. Катаняна без специальной заинтересованности, сплошь, как книгу, все равно трудно, несмотря на опущенные автором ссылки и извлечения из материалов, раскрывающие содержание датированного факта, хотя они, бесспорно, сообщают работе живость изложения. В настоящем ее виде, а не в том, в каком она, быть может, была задумана — с поясняющими цитатами ко всем датам — книга В. Катаняна остается адресованной по преимуществу к научным кругам и является справочно-научным изданием.

Но работа В. Катаняна имела бы значительную большую научную ценность, если бы установка на «удобочитаемость» не привела его к ликвидации ссылок, о которых речь шла выше.

Всякая научно-справочная работа, как известно, тем и ценна, что читатель всегда может сам и проверить точность факта, ссылки, цитации и пр., и получить, быть может, в процессе такой проверки новые данные, новое освещение материала. К сожалению, в данном случае читатель в значительной мере лишен естественного и обычного своего права. Он должен верить автору на слово.

Наряду с этим, отсутствие ссылок на документы и работы, из которых тов. Катанян извлек значительное количество своих наблюдений, обезличивает труд научных работников, ранее установивших множество фактов, систематизированных составителем «Литературной хроники».

Мало этого. Сам составитель в значительной мере обеднил и себя самого, не выделив фактов и дат, им самим установленных и впервые публикуемых. Тем самым затруднено и научное использование его книги.

А между тем, в справочной работе такого масштаба более чем возможны, конечно, отдельные неточности, пропуски, неверные данные. На заседании «группы по изучению творчества В. Маяковского» Института Мировой Литературы АН СССР, посвященном разбору книги В. Катаняна, были обнаружены неточности и пропуски. Так был отмечен пропуск отдельных выступлений молодого Маяковского — и среди них одно, в Полтаве в 1914 году, запрещенное полицией. Указали на то, что в книге неверно приведено наименование лекции Маяковского в Витебске в 1927 году (Лекции «За что боролись?» Маяковский и вообще никогда не читал, а читал в ряде городов в это время лекцию «Лицо левой литературы»); уточнили даты выезда Маяковского из Москвы на свои выступления и возвращения поэта обратно; напомнили о пропущенном выступлении поэта с поэмой «Кем быть» перед огромной аудиторией, примерно, в две тысячи ребят в кино «Колосс» в 1928 году; уточнили дату участия Маяковского в празднике детской книги «Книжкин день», который происходил не в 1929 году, а в 1928; уточнили выход сборника «Лирень», где впервые было напечатано «Необычайное приключение»... Каждый, даже, на первый взгляд, незначительный факт в работах типа «летописи» должен быть выверен и абсолютно точен. Только тогда и ценна такая работа. К сожалению, в отдельных случаях есть и совсем недопустимые неточности. Так Л. Маяковская указала на неверно приведенную цитату из творческой автобиографии В. Маяковского «Я сам». Речь идет о декларативном манифесте для сборника «Пощечина общественному вкусу» (в конце 1912 года).

В книге В. Катаняна (на стр. 19) процитировано так:

«Давид (Бурлюк. — Н. В.) собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу» (автобиография). А между тем в уточненном и опубликованном в 1928 году самим В. Маяковским тексте его автобиографии это место читается иначе:

«Давид собирал, переписывал, дал имя и выпустил «Пощечину общественному вкусу». Что давали имя и выпускали в двоем — не сказано. И это, конечно, существенно, так же, как весьма существенны все факты, устанавливающие отношения молодого Маяковского к «футуристам» того времени, с которыми его отнюдь не следует смешивать.

А. М. Горький в апреле 1915 года писал: «Русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский». И еще определеннее: «Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Вл. Маяковский. Поэт. Большой поэт». (Лит.-хроника, стр. 44).

5

Особенно следует пожалеть о том, что на страницах «Литературной хроники» далеко не полно представлены факты и даты встреч В. Маяковского с А. М. Горьким, сыгравшим огромную роль в формировании лучшего поэта нашей советской эпохи.

Вспоминая об этом времени, В. Шкловский впоследствии справедливо отмечал: «С нами Маяковский был связан близко, но малознакомый Горький был для него ближе» (журнал «Знамя», 1937, № 6).

В. Катанян, к сожалению, не использовал письма А. М. Горького к И. Груздеву, написанного после известия о гибели поэта, о которой Горький узнал в Сорренто. Письмо это было в извлечениях экспонировано в музее А. М. Горького и цитировано в сборнике «Маяковский. Материалы и исследования», т. I (Ирли, Л.-д, 1940 г.). Горький вспоминает о первой своей встрече с поэтом в Мустумяках. «Там он читал «Облако в штанах», «Флейту-позвоночник», отрывки и много различных лирических стихов... Стихи понравились мне и читал он отлично, даже разрыдался, как женщина, чем весьма напугал и взволновал меня...»

Возможно, что А. М. Горький соединил в воспоминаниях две встречи воедино — отрывков из поэмы «Флейта-позвоночник» в 1914 году Маяковский не мог читать Алексею Максимовичу. Поэма была написана позже, и ее действительно в присутствии Алексея Максимовича читал Маяковский в конце 1915 года. Но В. Катанян относит эту первую встречу еще к осени 1914 года, когда и отрывков из поэмы «Облако в штанах» поэт читать не мог — она была написана в конце 1914—начале 1915 гг. и впервые читалась в отрывках в феврале 1915 г. Да и в своем известном выступлении в апреле 1915 года А. М. Горький, говоря о Маяковском и выступая в печати, не упоминал, что он с ним лично знаком. Таким образом, время первой встречи с Горьким установлено в книге спорно.

Датируя эту встречу, автор опирается на цитату из воспоминаний М. Ф. Андреевой, в которых рассказано, как они с поэтом собирали грибы, как проходил завтрак у Горького и т. д. Между тем в ценных воспоминаниях М. Ф. Андреевой, хранимых в библиотеке-музее В. Маяковского, есть куда более важное свидетельство, которое, к крайнему сожалению, никак не использовано В. Катаняном: «Очень часто Маяковский бывал у нас в Петербурге на Кронверкском проспекте. Это 1915—1916 год. Вл. Вл. стал писать свои поэмы, приносил их к Ал. Максимовичу, почти каждую главу отдельно, советовался с ним».

А между тем это авторитетное свидетельство, подтвержденное и другими воспоминаниями (А. Тихонова, И. Ладжикиова и др.), рисует нам характер встреч и устанавливает творческое участие А. М. Горького в работе Маяковского в 1915—1916—1917 гг., когда поэт писал «Флейту-позвоночник», «Войну и мир», поэму «Человек» и многое другое.

Важно занести в «Литературную хронику» и то, что В. Маяковский, видимо, после чтения в присутствии Горького в декабре 1915 года, отмеченного В. Катаняном, подарил поэму «Флейта-позвоночник» великому писателю с надписью: «Алексею Максимовичу, с нежной любовью. Маяковский».

Этот экземпляр хранится в личной библиотеке А. М. Горького.

Не отмечено чтение поэтом и главы из «Войны и мира» (в декабре 1916—январе 1917 гг.) в редакции «Летописи», о котором говорит сам В. Катанян в другой своей книге — «Рассказы о Маяковском» (стр. 26).

В той же книге В. Катанян высказывал предположение, очень похожее на истину, что два «детских» стихотворения Маяковского в 1917 году — «Сказка о Красной шапочке» и «Интернациональная басня» возникли в связи с работой А. М. Горького в то время над сборником для детей «Елка» (вышел в 1918 году). Более чем вероятно, что Горький приглашал принять участие в этом сборнике и Маяковского. Он в это время настойчиво звал работать над стихами для детей и других молодых поэтов.

Конечно, предположение — не установленный факт. Но высказать такое предположение и на страницах «Литературной хроники» было бы более чем уместно. В. Катанян ведь не отказывает себе в праве высказывать свои предположения на страницах «Литературной хроники» и по более ответственному поводу (например, о мотивах ухода Маяковского из «Новой жизни» в связи с постановлением ЦК РСДРП (большевиков) от 20.VIII (2.IX) 1917 г.). Это бесспорное его право.

Мне думается, что в работе В. Катаняна должна быть отмечена и встреча В. Маяковского с А. М. Горьким в Берлине осенью 1925 года при возвращении Маяковского из Америки домой на родину. Об этой встрече и содержании их беседы сообщает И. П. Ладжикиов.

В. Катанян показал в своей работе дружеские и творческие связи Маяковского с А. М. Горьким значительно бледнее, чем они были на самом деле. Об этом нельзя не пожалеть, пожелав автору «Литературной хроники» в следующем издании дополнить и уточнить эти важнейшие страницы жизни Маяковского.

И все же, при некоторых существенных недочетах, при отдельных неточностях и пропусках, книга В. Катаняна — серьезный вклад в дело изучения жизни и творчества поэта.

Эта книга особенно близка нам сегодня, в дни окончательного разгрома фашизма. С ее страниц встает вновь образ поэта — «огромный человек с лицом рабочего и великой душой русского поэта», как говорит о Маяковском автор книги. Его жизнь, его страстное слово советского патриота громко звучит в наши дни, вооружает его народ, вдохновляет на труд и подвиг. Об этом красноречиво говорят сообщения и с переднего края обороны — из Армии, и из заводских клубов, поступающие в библиотеку-музей Маяковского.

Переводчик Маяковского в Англии Герберт Маршалл недавно писал:

«... В этот прекрасный час у Англии нет ее Милтона или Маяковского, и поэзия все еще не выходит за пределы гостинных, кружков и университетов».

У нас есть наш Маяковский. Он жив. Он — со своим народом.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАБАВА

А. МАКАРОВ



«Слова эти казались настолько неправдоподобными, что не вызвали никакого реального представления».

В. Герасимова

Каждый новый день Великой Отечественной войны против немецких фашистов умножает славу советского народа. История советского государства обогащается новыми именами героев, жертвующих жизнью ради благородной и великой цели. Многие из них очень молоды, их духовные качества формировались в советское время. Правда, рассказанная о таком человеке, будет правдой о советском строе. Может быть среди них далеко не каждый понимает все значение содеянного им. Но от этого подвиги не становятся случайностью, сама массовость героизма свидетельствует о том, что благотворные семена его были заложены в душе советского юношества передовым строем нашей жизни. Скорбь об ушедших тем более глубока, что мы понимаем — в лице героя ушел яркий человеческий талант, который мог бы на долгие годы стать украшением нашего общества. Может быть в других условиях его душевные качества не достигли бы такого предельного накала, как на поле битвы, ему было суждено гореть ровным согревающим пламенем, но все равно это был бы источник света. В этом нас убеждают и те немногие документы, которые остаются после ушедших героев: немногочисленные письма, личные записки и дневники. Они приоткрывают завесу над тайниками сердца, свидетельствуют о духовном богатстве внутреннего мира такого человека.

Но во всей глубине раскрыть душу героя дано писателю, художнику, которому выпало счастье «посетить сей мир в его минуты роковые». Каждая в какой-то мере удавшаяся попытка изобразить духовный мир героя Отечественной войны с глубокой признательностью принимается читателем. Пусть еще не сумел писатель рассказать всю правду о герое, как это, например, имело место в «Днях и ночах» К. Симонова, пусть он рассказывает ее неровно и сбивчиво, иногда спотыкаясь, как пробоующий свои силы А. Калинин в романе «На юге», читатель охотно прощает и неполноту, и неумение за искренность, за честность намерения,

за те куски живой жизни, которые удалось образовать писателю.

Но на ряду с произведениями, авторы которых по-настоящему взволнованы великим историческим подвигом народа, сколько еще пишется опусов, далеких от жизни, порожденных блеклой фантазией, основанных только на газетных корреспонденциях. Критика из стыдливости порой называет такие произведения «красивой неправдой», как бы стесняясь более прямого и точного определения, а иногда обманывая подобием изображенной в них войны, даже хвалит их. Вне зависимости от незаслуженного поощрения или наставительной укоризны критики, подобное словесное рукоделие не может принести автору ни признания, ни уважения. Особенно прискорбно, что поставщиками недоброкачественных литературных изданий являются порой не новички в литературе, а писатели со стажем, которые, кажется, на опыте должны были убедиться, что ремесленнический расчет менее всего способен ужиться с талантом. Читая подобные произведения, нельзя не прийти к горькому выводу, что они рождены не вдохновением, а литературным расчетом.

Именно такое ощущение вызывает повесть Валерии Герасимовой «Байдарские ворота»¹.

Содержание повести несложно.

Весной 1944 года полковник Махотин вместе с войсками Красной Армии, освобождающей Крым, достигает Байдарских ворот. Четыре года назад он неподалеку от них провел чудесный месяц на курорте. Тогда он познакомился с двумя местными жительницами, сестрами Ольгой и Леной Куроченко, и уезжал в глухой уголок Даунного Востока не только незабываемое впечатление о ласковом море, но и дорогой образ старшей сестры, которую полюбил со всей страстью сорокалетнего мужчины, ранее не испытывавшего этого чувства. Образ Ольги, манящий и желанный, жил в душе Махотина все годы войны, и полковник с волне-

¹ Валерия Герасимова. «Байдарские ворота». Повесть. «Знамя» №№ 7—8, 9—10 за 1944 г.

нием и надеждой ждал новой встречи с девушкой. Но от местных партизан полковник узнает, что обе сестры погибли, а старшая была не только героиней, но и чуть ли не одним из руководителей партизанского движения. Однако ни «орел крымских гор» — командир партизанского отряда, ни подпольщика товарищ Максимук, работавшие с Ольгой, не торопятся посылать полковника в подробности ее партизанской деятельности и гибели, а обещают прислать для этой цели к нему тетку девушек старушку Серафиму Ивановну. В ожидании рассказчицы и под влиянием горестного сообщения полковник Махотин начинает вспоминать. Вспоминает он свои впечатления от волшебной природы, первую встречу с сестрами, их дом, свои нескончаемые споры с Олей, ссору и разлуку, письмо Леночки, присланное ему. Его воспоминания занимают ровно половину повести и уступают место воспоминаниям старушки, которые занимают вторую половину повести. Старушка вспоминает о том, как они жили после отъезда Махотина, как весной разбили цветник и какие в нем были цветы, как пришли немцы и как девушки притворились покорными им, да так, что ввели в заблуждение родную тетку, как немцы нагрянули с обыском, замучили Леночку, и старушка поняла, что ее героини-племянницы вели подпольную работу. Об этой стороне их жизни она говорит очень коротко, так как знает о ней с чужих слов, равно как и о дальнейшей судьбе Оли и ее гибели в бою с немцами. Старушка передает Махотину небольшую записку Ольги, которая, как полагает тетка, писана для него. Повесть заканчивается коротким рассказом от автора о том, как полковник Махотин, прочтя эту записку, содержащую в себе признание его благородных качеств, объяснение в любви и благословения на жизнь и на боевые подвиги, почувствовал, что «этот мир безграничной свободы и чистоты, который когда-то открылся ему в просторе Байдарских ворот, с новой и еще более неотразимой силой воскресал перед ним», и понял, что в этом «источник» того спокойствия, с которым пойдет он сам и поведет других в бой».

Герасимова проявила максимум изобретательности, создавая повесть на военную тему. Она хитроумно обошла все «опасные» места, т. е. то, что требовало истинного знания жизни.

Основные события происходят за кулисами. О подвиге девушек рассказывает наименее осведомленный в этом человек. Партизанка Максимук «с лицом и повадками типичной женотделки», которая, судя по рекомендации автора, наиболее причастна к делам партизанского отряда, на вопрос Махотина о судьбе Оли почему-то ограничивается тремя словами — «замечательный человек была». Правда, слова эти, как утверждает писательница, произнесены строго, но от подробного рассказа Максимук избавлена. «Лучше я родственнице ее к вам пришлю,— говорит она, — тетю ихнюю, она лучше моего вам все расскажет...» Это первая уловка... Лишив слова участника событий и передав его престарелой родственнице героини, писательница по-

лучает возможность как можно меньше говорить о главном, о сути и всласть пофантазировать о притворных взаимоотношениях девушек с немцами, о платьях и цветочках.

И Махотин, и тетушка Серафима Ивановна вспоминают по специальному литературному заданию — подробно, обстоятельно. Со всем набором положенных и сверхнеобходимых эпитетов воспроизводят они обстановку, диалоги. В рассказе старушки только изредка маячат намеки на субъективное восприятие событий. Да и Махотин старательно следует той же литературно выпенренной манере. А по существу в повести никаких двух рассказчиков нет. И в мундире полковника, и в нищенском платье старушки перед нами все та же Валерия Герасимова, которая прибегает к такому маскараду исключительно затем, чтоб елико возможно ограничить рамки своего повествования событиями мелкими и односторонними, чтоб словами отгородиться от смысла.

За пределами повести остаются не только подвиги героини, но и суть ее внутреннего мира; читателю представляется возможность подробно ознакомиться лишь с теми масками, в которых шеголяет Ольга Куроченко вначале из самолюбия и упрямства, потом из соображений конспирации. Образ, который собралась канонизировать Герасимова, предстает нам не непосредственно в действии, а через призму воспоминаний человека, имевшего с ней курортное знакомство, и в рассказе родного, но далекого от ее духовных интересов человека. Не удивительно, что центральный образ повести выглядит у Герасимовой духовно убогим, противоречивым, неубедительным. По словам старушки, Оля «с самых детских лет не терпела, когда ей в душу заглядывали». Ремарка эта должна, по видимому, оправдать ту необыкновенную легкость, с которой обрисован сбивчивый и пустой характер героини. Валерия Герасимова не поспешила нарисовать ее внешний облик очень подробно и привлекательно. Нужно отдать справедливость — здесь писатель в своей сфере — описание лица, фигуры, платьев, улыбок и жестов дано эффектно, с романтической приподнятостью. Правда, и в этом нередко прорывается стандарт — у Ольги, конечно, стремительная, летящая походка, мальчишеская чарующая женственность. В таких характеристиках легко обнаружить их литературный источник, но это уже не такая большая беда. Писательница пожелала видеть свою героиню красивой, своеобразной, и это можно поставить ей только в заслугу.

Но духовный мир Ольги, раскрытый Герасимовой односторонне, с бесчисленными оговорками о том, что главное почти не находило внешнего проявления, выглядит жалким и бескрылым. Основное в характере Ольги Куроченко — гордость. В общении с людьми эта гордость проявляется как самомнение, презрение к окружающим. Именно такой видит Ольгу читатель в воспоминаниях Махотина.

Впервые Махотин знакомится с нею, подслушав случайно разговор двух девушек. «Однажды, в бухточке, которую он уже немножко счи-

тал своей собственностью, сквозь дремоту он услышал голоса. Переговаривались лениво и непринужденно за одним из его же камней, очевидно, также нежась на горячем песке и едва ли подозревая об его присутствии...

— Удивительно глупое море... Лазурное... Ты понимаешь, что такое лазурное? — лениво спрашивал мальчишеский голос.

— Голубое, — покорно отвечал другой, нежный и почтительный.

— Вообще никто никогда ничего не видел лазурного, — наставительно сказал мальчишеский голос. — Но так принято восхищаться — для красоты. И у красавиц из книг всегда «лазурные очи»!.. Как у тебя...

— У меня серо-голубые...

— Это неважно. По существу ты типичная девушка с «лазурным взглядом»...

— Оставь меня в покое, пожалуйста.

— Разве ты когда-нибудь испытываешь беспокойство?

— И не умничай, пожалуйста!

— Какие слова! Для твоего лексикона, дорогая, это ново!..

— Да и Мария Ивановна говорит, что ты умничаешь... и все... — поспешно с придыханием, очевидно волнуясь, но все так же мягко продолжал мелодичный голос.

— Мария Ивановна ошибается, — с нарочитым спокойствием прозвучал ответ. — Кроме того, о всех мыслительных процессах Мария Ивановна может судить исключительно понаслышке. А «все», как вы изволили заметить — это тетя Сима, тетя Сима и тетя Сима...

— Что же! Она насколько не глупее тебя.

— Допускаю. Но я ведь не негодую на нее за это.

— Оставь, пожалуйста, меня в покое.

— Испытанный аргумент!..

Подобные глубокомысленные рассуждения девиц могли заинтересовать серьезного, взрослого человека только от безделья и скуки. Но Махотина они задела, и он, появившись из укрытия, заводит с девушками разговор, который Ольга ведет в том же глуповато задиристом тоне. Впрочем, и сам подполковник держится при первой встрече по-курортному — пошловато.

« — А кто же вы? — спросил Махотин. — Прелестные русалки?

— Учащиеся школы второй ступени, — сухо ответила смуглая. — В общем — девицы... — с подчеркнутой небрежностью добавила она. — Анкету заполнить? Или необходима справка домоуправления?..»

Так состоялось первое знакомство Махотина с сестрами Куроченко. На другой день Ольга, узнав, что Махотин дальневосточник, командир РККА, на мгновение испытывает к нему уважение, которое впрочем исчезает немедленно, как только Махотин становится заведующим в их доме. Всем своим поведением, своими язвительными репликами Оля стремится уберечь от постороннего взгляда свою загадочную душу, и писательница охотно поддерживает ее в этой игре. Десятки страниц посвящены неумному и обидному пикированию между Махоти-

ным и Олей. К близким Ольга относится недвусмысленно пренебрежительно и всячески подчеркивает свое превосходство над ними. Старого школьного учителя она называет «новоявленный шкраб» (это слово было «модным» в стародавние времена, и непонятно, зачем понадобилось Герасимовой его возрождать). О своей тетке Ольга спрашивает полковника так: «Ну, как тетя Сима? безыдейная обывательница?», демонстрируя таким вопросом и крайнюю степень неуважения к своему собеседнику. Взаимоотношения героини с ее сверстниками, школьными товарищами, рисуется писательницей, как непрекращающийся конфликт между недюжинной натурой и презренной чернью. Ольга конфузится, когда Махотин застает ее на балу выпускников «такой, как все» и немедленно начинает рекомендовать Махотину своих товарищей как курносых идиотов и пошляков. Когда кто-то из «пошляков» распространяет слух о том, что Оля влюблена в Махотина, в ее голове моментально созревает эксцентрический план эпатирования «мещан», который она излагает Махотину, язвительно понося своих соучеников. «Кошковамов, Козлов, Швейц... распространяют разные пошлости обо мне и вас... Мне это совершенно безразлично, — пренебрежительно улынулась она, — но я считаю, что мелких идиотов надо учить... Сегодня выходной... Так называемое «воскресенье», — сказала она иронически, — весь наш местный бомонд там сейчас в сборе. И чета Свиридовых, и Люська Швейц, и этот курносый идиот. Мы только пройдемся и докажем всем этим мещанам, что нам в высшей степени наплевать на их курные суждения. — Я и оделась так нарочно. И знаете, что? — вдруг радостно улыбнулась она. — Эти туфлишки я даже сниму, возьму в руки, а лойду прямо босиком... Представляете — босиком! То-то они будут «шокированы». Дурдачное слово какое! То-то зашипят!..»

Но что значит какие-то мелкие людюшки, ползающие, как черви, у ног «королевы» (так «полемически» называет Олю Махотин), если с тем же нигилистическим презрением она говорит и о больших социальных вопросах. «И что же вообще... К чему? Вот вы же учите там, в тайге на Дальнем Востоке стрелять и рубить, носите орден, чистите сапоги, подшиваєте воротнички, делаете проборчик, толкуете о коллективизации, индустриализации и яровизации... И вот даже спорите со мной... К чему вам все это, товарищ Махотин, к чему? „Полезно“, «бесполезно», а может быть, главное-то счастье для людей и состоит в том, что иметь право хотеть любого — даже самого «бесполезного»? Наш обществовед Пал Палыч мне уже и так все уши прожужжал и оскомину набил этим полезным».

Тетка, сестра, знакомые почему-то поддерживают мысли о превосходстве над окружающими этой карикатуры на советскую школьницу и пользуются всяким случаем, чтобы укрепить ее ложное самомнение, а она мчится закусив удила:

« — Я и тетя Сима уверены, что ты будешь какой-нибудь... знаменитостью... — нередко го-

ворила Леночка, и ясные глаза ее сияли самоотвержением любви...

— Не ври, пожалуйста, — демонстративно пожевывая, отвечала ее старшая сестра. — Ты и тетя Сима — «веделике утешители». Не иначе — буду инкассатором...

— А вы знаете, что такое инкассатор? — как-то с любопытством спросил ее Махотин.

— Нет, не знаю, — усмехнулась Ольга. — Но это и неважно...

Она очень любила это слово «неважно» и применяла его к различным явлениям и фактам, тем самым как бы снимая с себя обязательства более веских и убедительных доказательств.

На поучения Махотина Ольга чаще всего отвечает своим любимым словом «неважно». «Пожалуйста, не обижайтесь и не читайте мне нотаций или лекций по политграмоте», — говорит она. Чем дальше читаешь книгу с назойливыми повторениями оленькиных «неважно» и «не читайте мне нотаций», тем больше убеждаешься, что когда-то уже встречался с таким именно литературным типом. И на каком-то очередном «неважно» говоришь себе: да ведь это же старая знакомая, Эллочка-людоедка, это ее привычные «Не учите меня жить!», «Не мешайте мне жить!», «Хамите!». На этот раз героиня Ильфа и Петрова надела платье советской школьницы и претендует на роль подлинной героини наших дней.

Иногда писательница подчеркивает, что после препирательств с Махотиным, который старательно и скучновато разъясняет героине ее неправоту, Ольга уходит задумчивой. Но раздумья мимолетны и немедленно сменяются очередным каскадом остроумия. Если у Ольги иссякают остроты, писательница спешит ей на помощь и делится с ней собственными запасами эффектных слов:

« — Это неважно... — начала было Ольга.

— Почему же? — невозмутимо сказал Махотин, — и это важно... А еще скажу я вам, уважаемая Оленька, что нередко именно те, кто вопит о нашей узости и практицизме, в тайне души сами меряют все на рубли и копейки. А еще больше — скорбят об утрате их царства.

— Мне ни рубли, ни копейки, ни тем более все их копеечное царство не нужно, — высокомерно сказала Ольга, — мне все это неважно...

— А что же вам... важно? Что нужно? — улыбаясь, спросил Махотин...

Девушка стояла на камне, вся точно устремившись вперед.

И такой, устремленной навстречу свежести и силе моря, со светившимися невеселой гордостью глазами, он надолго запомнил ее.

— Весь мир! — все так же, не отводя глаз от моря, кратко сказала Ольга и повторила, как бы проверив справедливость своего ответа: — Весь мир!»

И Махотин терпит полное поражение.

Однако, как стремится уверить писательница, этим спорам было суждено направить заблудшую душу на путь истинный. Именно приехавшему с Дальнего Востока подполковнику суждено было за месяц свершить то, чего не сделали за многие годы ни школа, ни педагоги,

ни общество — заложить в душу Ольги благотворные семена, которые впоследствии дадут столь пышные всходы. Под его влиянием Ольга круто» меняется. Писательница не показывая этого перелома, она лишь говорит о нем. Герасимова изображает чувствительную сцену расставания. Рассорившаяся со своим учителем Ольга не рискует открыто проводить его и стоит, притаившись в толпе, «и что-то такое сиротливое, незрелое и кроткое было в этих худеньких плечах». Вчерашняя гордая «королева», влюбившись и поссорившись с любимым, стала робкой Золушкой — это ли не перелом в характере! Но не об этом переломе мы говорим, а о том высоком нравственном, идейном переломе, в совершении которого старается нас уверить Герасимова и которого никак не сыщешь в повести.

Из письма ольной сестры Леночки, полученного подполковником на Дальнем Востоке, читатель узнает, что Оля «обложилась какими-то учеными книгами»: «Минералогия почвы», «Культура зерновых», и с утра до вечера корпит над ними и, как будто намеревается стать, как ее папа, работником «на ниве агрономии».

Писательница видит в этом прямое проведение в жизнь директивного указания тов. Махотина — «человек, за всю жизнь посадивший хотя бы одно дерево, уже тем самым провел ее небесполезно». Можно согласиться и с этим и даже с тем, что влюбленная девушка даже с независимым характером поняла это указание буквально и хочет посвятить себя именно агрономии или ботанике. Но трудно поверить, что это решение глубоко и серьезно, что оно говорит о твердости характера будущей героини, а не о его слабости. Тем более, что и здесь Ольга начинает «кустарничать». Вероятно из упрямого желания все делать не по-людски, она, как можно понять это из повести, окончив «вторую ступень», не стремится поступить хотя бы в сельскохозяйственный институт, а предпочитает самообразование.

Махотин, прочитав письмо, не думает тоже, что Оля сделала серьезный выбор, что возможно все еще изменится и раскроются «ее способности к иным наукам — к литературе, истории, философии».

Когда и в чем успел разгадать Махотин в Оле стремление и способность к занятиям литературой, историей, философией, для читателя остается тайной. Но непосредственно вслед за увлечением агрономией Оля действительно набрасывается на историю. Ее побуждает к этому вступление немцев в Крым. Недоужинная натура Ольги жаждет широкого исторического осмысления происходящих событий, и девушка начинает с изучения «Истории древнего мира». И, конечно, стоит ей прочесть первую книжку, как сразу же на ум ей приходят выводы и обобщения, завидные и для прожженного скептика. Сообразно натуре она немедленно выпаливает их в довольно разухабистых выражениях:

«А ты, тетушка, не паникерствуй. Солдатне этой на твоих дорогих племянниц скорее всего просто наплевать. Подумаешь, героини какие!»

Таких безработных второстепенков — пруд пруди! Кроме таких девиц, у них поважнее и покуснее дела есть. Полагаю я, что прежде всего солдаты эта разными барахольными делами заинтересуются. «Три дня победителей... Я вот как раз читаю сейчас одну «Историю древнего мира», — у папы в подвальчике во время бомбежек откопала, — и там все ясно сказано, разные завоеватели, разные эти Цезари и Помпеи давали своим войнам несколько дней свободно грабить и разбойничать. И это вполне и всегда устраивало солдату — от римских легионеров до фашистских ефрейторов».

Рассказ старушки-тетки, подробно повествующий о поведении девушки дома, и сама манера выражаться, как это можно уже заключить по приведенной цитате, не вносит ничего нового в освещение характера Ольги. Это лишний раз заставляет нас усомниться в том идейно-нравственном переломе, который навязала ей Герасимова.

С приходом немцев Оля круто меняет свое отношение к историческим авторитетам. С презрительным раздражением она говорит: «да ну их к чорту, всех этих Светониев и Несторов-летописцев» и требует от сестры и тетки немедленных практических действий. «Да перестаньте вы ныть, душу себе этим тешить! Все это одно только роскошество. Легче всего на свете — это разные красивые слова говорить. А право на каждое слово заработать надо! Чтобы своим потом, своей кровью за него заплатить — вот тогда оно зазвучит. А так — пустая болтовня одна и роскошество!»

Все серьезные декларативные фразы Ольги, которые припоминает старушка, являются прямым цитированием мыслей и выражений Махотина. И каждый раз произнесенные ею слова, вроде «роскошество», «лавочки», заставляют полковника внутренне трепетать и волноваться, а сомневающегося читателя должны убеждать в том, что перелом в душе Ольги произошел, и именно под влиянием Махотина, и только его одного.

Борьба Ольги с немцами в первое время оккупации сводится лишь к издевательскому поддакиванию бредовым и совершенно стандартным размышлениям их жильца фестунгс-коменданта Шульте. Старушка вспоминает:

«Бывало, после сытного обеда с котлетками «деволяй» разляжется он в кресле, закурит сигару, глазки совсем от удовольствия утонут, и философствует вслух:

«Но, — говорит, — клянусь честью солдата, теперь мы здесь все организуем!»

А Оля тут же подпевает:

«Да, на вас, говорит, — единственная наша надежда!.. К сожалению, герр Шульте, многие из моих соотечественников настолько заражены большевистской пропагандой, что всячески будут препятствовать этой разумной возможности, как, например, они это доказали этим подлым саботажем в Донбассе... — вздыхала Оля».

В передаче тетki мы узнаем содержание таких бесед. Манера Ольги говорить наперекор своему собеседнику настолько уже при-

вычна, что в данном случае не производит должного впечатления. В основе саркастических реплик Ольги может лежать просто свойственное ей упрямство. Высокое чувство патриотизма и подлинная ненависть вряд ли способны выражаться в игре в иронизирование. Подобное словоблудие с врагами унижительно и не способно двигать человека на большие дела.

Помилуйте, воскликнет автор, но ведь это все маскировка, разговоры эти для того, чтобы усыпить подозрения и получить возможность действовать заодно с партизанами. Но картины партизанской борьбы в повести исчерпываются гулом таинственных взрывов и витриной, где немцы выставляли замученную ими женщину. А маскировка, извольте видеть, сработала со всей литературной дотошностью, уснащена деталями, которым надлежит усилить атмосферу детективно-приключенческой игры с огнем. Не убеждает читателя в глубине патриотических чувств Оленьки и то, что в разговоре с теткой она щедро награждает немцев прозвищами «фашистские ефрейторы», «сволочи» и «нижние идиоты». Читатель хорошо помнит, что еще так недавно последним эпитетом она награждала советских людей и своих товарищей.

Неожиданно для старушки ее девочки от одной игры переходят к другой и начинают наперегонки ухаживать за немцами. Автор словно восхищается двойным дном этих неискушенных душ. До чего, дескать, тонко работают, какая гибкость в тактике отвода глаз немцам. Белокурой красавице Леночке, которая вполне во вкусе жильца коменданта Шульте, выпадает первая роль. Сама Ольга слишком горда, чтобы заниматься кухней и выносить ухаживания, и возлагает это на сестру. Но она беспрерывно контролирует Леночку, все время поучая ее, как, играючи с огнем, не обжечься. Точно «хороший режиссер», проявляющий «и ум, и расчет, и искусство», она наставляет сестру «учись обезьянному языку, будь такой идиоткой и пошлячкой, какой ты ему представляешься в мечтах». Валерия Герасимова показывает, как реализован этот мудрый совет: Леночка, стоило только Шульте прикоснуться к ней пальцем, заливалась слезами и умоляла пощадить ее невинность. В этой игре начинает принимать участие и тетка, она тоже по-своему, как в старых-престарых романах «вроде как у графини Салиас-де-Турнемир», уговаривает коменданта щадить невинность девочки, «единственный ее капитал». Конечно, Шульте в представлении Герасимовой такой сентиментальный идиот, что легко попадает на удочку. В действительности вряд ли подобные доводы убедили бы заматерелого гитлеровца, они скорее способны были разжечь его. И уже совсем непочтито, почему естественное стремление девушки к чистоте трактует Герасимова, как пошлячество и идиотизм.

В конце рассказа старушки с кинематографической быстротой начинают мелькать ошеломляющие события. Кто-то взрывает немецкую баржу с боеприпасами и мину в офицерском собрании. Оля снисходит до тетки и, рассказывая ей с негодованием о замученной немцами

женщины в «партизанской витрине», просит у нее прощения за то, что бывала с ней «зла, груба, несправедлива», говорит, что «всегда мечтала когда-нибудь купить старушке бархатное платье» и только теперь поняла «величие наших людей, их благородные подвиги», ей «стыдно за все прежние слова» и «просто жалко вспомнить о каждой минуте потраченного времени». Это потраченное время за нее легко наверстывает писательница, немедленно вслед за сценой покаяния рассказывая об обыске, бегстве Ольги, допросе и мученической смерти Леночки, мести за ее смерть и гибель Ольги. О подвигах и смерти героини Герасимова исхитрилась отписаться несколькими словами в стиле телеграфного сообщения. Однако, понимая, что такого сообщения даже из уст очевидца, конечно выдуманного, недостаточно для доказательства естественности превращения нравственной пустышки в героиню, писательница прибегает к трафаретному приему «замогильных посланий». Старушка-рассказчица передает Махотину смятую и оборванную записку Ольги. Писательница, очевидно, полагает, что, узнав о тех странствиях, которые претерпело послание прежде, чем достичь адресата, читатель должен умилиться и воскликнуть: о, как глубока была вера Ольги в нашу победу и в силу любви, если она так уверена, что ее письмо дойдет и найдет Махотина. Можно ли после этого сомневаться в ее праве стать героиней Великой Отечественной войны! Увы, можно, даже и после прочтения этого письма. Оно не содержит в себе ничего, кроме неумеренных похвал уму и мужеству адресата, который был «живым воплощением правды», и признания в любви. Составлено это письмо Герасимовой из очень красивых слов, давно ставших в поверхностной балетристике традиционными для посланий такого рода. Ни тон, ни язык его, полярно противоположные обычному тону и языку Ольги, ни банальное содержание не способны устранить то недоверие, которое вызывает к себе центральный образ повести.

Погнавшись за психологической сложностью и необычностью характера героини, В. Герасимова оторвалась от живой действительности. Нельзя, нечестно согласиться с тем, что такой манерный образ семнадцатилетней гордячки и мизантропки типичен для советских девушек, ставших героинями великой войны. Трудно поверить, что подобное превращение возможно в результате случайной встречи, что душевная зрелость и благородство характера создаются из ничего, а не воспитываются годами. Мы знаем, что школьница Космодемьянская задолго до войны записала в своем дневнике слова чеховского Астрова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», что она стремилась в повседневной жизни, в общении с товарищами осуществить этот идеал, и ее подвиг не был случайностью, она была подготовлена к его совершению. Мы знаем, что Лиза Чайкина долгое время была передовой представительницей и руководителем деревенских комсомольцев. Вот потому мы и не можем поверить в реальность Ольги Куроченко, в

право этой нигилистки занять место в мартырологе героинь Великой Отечественной войны.

Неудачен в повести, однако, не один только образ Ольги Куроченко.

Полковник Махотин выглядит не менее фальшивым. В нем Герасимова вознамерилась показать типичного представителя старшего поколения, «живое воплощение правды», который помог Ольге «приобщиться» к идее «вечной жизни, справедливости и правды». Писательница рассказывает нам его биографию. Тяжелое детство. Десятилетним мальчишкой с котомкой за плечами, в лаптях он искал, где грамоте учат, работал на мельнице, а когда мельник «не без издевки сжурал единственную вполне паршивую книжонку о каком-то лекар-хироманте», даже решил покончить с собой, но ограничился тем, что «проклял... как сумел, что уже не таким я стал, как они, что и впрямь, видно, портит грамота и одну только беду приносит...» За беспросветным детством следовала боевая юность, с которой коротко и по стандарту сообщается читателю. В годы гражданской войны комсомолец Махотин сражался в составе славной тридцатой дивизии на подступах к Крыму и пел «Белая армия, черный барон». В. Герасимова не тратит времени на поиски художественных деталей: «чонгарские укрепления», популярная песня. «Дашь Врангеля!» взнесло по цепям», «бешеный огонь белогвардейцев», «комбат», «комроты», «попнотрук» — и трафаретная картинка гражданской войны готова. Раненый Махотин награжден орденом и после госпиталя попадает в военную академию. Его близкие и жена, которую он недостаточно знал, так как «тут же ушел на фронт», умерли в 1921 году в Поволжье. После академии Махотин служит в «глухом уголке» Дальнего Востока и только в июле 1940 года попадает в Крым на отдых, на то Черноморское побережье, к которому реался свыше двадцати лет тому назад «со всей страстью молодости и свежих неистраченных сил». Двадцать лет Махотин живет анахоретом. Недаром его так тянуло к крымским берегам, по воле писательницы сорокалетнему подполковнику предстояло именно здесь впервые найти человека, который становится для него самым дорогим существом на свете. Короткое — меньше месяца — знакомство с сестрами Куроченко на годы определяет думы и устремления подполковника. Угадав в Ольге натуру необычайную, подполковник охотно, не жалея времени и усилий, старается спасти ее для общества и направить ее волю и упорство в нужном направлении.

Поучения Махотина всегда безупречно правильны, но они настолько бесцветны и пестрят прописными истинами, что порою кажется, уж не издевается ли писательница над почтенным подполковником, возложившим на себя добровольный крест воспитателя, ставя его в глупое положение перед бойкой девицей... «...Спорить они начали с первого дня знакомства. И спор этот продолжался, пожалуй, вплоть до дня его отъезда. В спорах этих обычно речь шла о коллективизме и индивидуализме, личном и

общественном, о новом человеке и старом человеке и даже — о Лермонтове и Пушкине...

Махотин предпочитал Пушкина.

— Это потому, что его юбилей так отпраздновали, и потому, что ему много памятников, и в школах его очень прорабатывают, и еще все такое... — сердито говорила она.

— Это потому, что вам семнадцать лет, — совершенно равнодушно, опять-таки преследуя педагогические цели, говорил он.

— Какой вы правильный, какой хо-о-ороший, — скучно растягивая слова, отвечала она.

— А вы вот постарайтесь, — все с тем же педагогическим спокойствием отвечал он. — Это не так просто.

Нередко из педагогических целей Махотин вынужден обрывать зазнавшуюся девочку молчанием, а то и грубостью.

«— Скажите, подполковник, — повышая голос, чтобы шум низвергавшейся воды не заглушал его, сказала девушка, — если бы с вами стояла женщина, которую вы безумно любили бы, и если бы...

— Сколько «бы», — улыбнулся Махотин.

— И если бы она попросила вас сорвать вон ту веточку, — показав на повисший над самым потоком маленький кустик, с двойственным выражением не то улыбки, не то серьезности, спросила девушка. — Сделали бы вы это, подполковник?

— Обязательно, — спокойно взглянув на повисшую над бурлящим потоком веточку, ответил Махотин. — Но только при одном условии.

— Каким? — жадно спросила Ольга.

— Если бы это была крапива, — невозмутимо ответил Махотин... — Чтобы выдрать одну предполагаемую даму, — бесстрастно заключил Махотин.

— Не смешно, — сухо сказала Ольга.

— Возможно, — не опроверг Махотин. — Зато правда...

Что говорить, разговорчик игривый, но глуповатый.

Очень редко удается подполковнику выходить явным победителем. Из гордости Ольга никогда не признает своей неправоты и в лучшем случае остается «в состоянии задумчивости». Случается, что громкое, брошенное Ольгой, как вызов, слово, поражает подполковника и заставляет его забыть о педагогических устремлениях. Сердце старого отшельника и педанта начинает таять, и он вдруг чувствует себя неравнодушным к воспитываемой им юнице. Конечно, он немедленно начинает противиться охватывающему его властному чувству. Но борьба трудна. На балу выпускников он впервые видит Ольгу не в полинялом сарафанчике, а в «длинном серебристом платье с «хвостами»... с «уложенной» головкой. «Забыв мрачность, философский пессимизм, (?) презрение к тшете людских утех и стремлений, Ольга танцевала», и ее лицо «сияло теперь перед ним своей особой, отличной от других, красотой, это такое смуглое, такое гордое и такое молодое лицо!»

Зрелище веселящейся молодежи, в котором

таилось «нечто хрупкое и равнодушно пленительное» (зкие непредставимые определения!) заставляет Махотина впервые задуматься о той разнице лет и интересов, которые разделяют его и девушку. Еще перед тем, как идти на бал, прямодушный подполковник начал кривить душой: он вдруг побоялся показаться стареющим жуиром. В разговоре с Ольгой в этот вечер он лаконичен и грустен и, довольно ловко намекнув девушке «глядя на небо, сверкавшее удивительными звездами», что он «никогда не любил никого», вероятно, потому, что полагал, что «это должно быть очень большим» — покидает ее. Руководясь очень благородными побуждениями, Махотин в данном случае, по воле писательницы, разговаривает так, как обычно говорят провинциальные донжуаны и совсем не педагогично. Непосредственно за этой сценой происходит разрыв.

Махотин отказывается демонстративно пройти перед «мещанами» под ручку с Ольгой. Она обрушивается на него с обвинениями. Это заставляет его в свою очередь вскипеть гневом и разразиться обвинительной тирадой...

Утерявший всякую педагогическую выдержку подполковник предлагает Ольге «упражнить свое остроумие на бедной сестренке или тете», но категорически запрещает разговаривать таким образом с ним.

На этой ссоре их близкие отношения обрываются. Один раз герой встречает героиню в толпе гуляющих и «хотя встреча эта заняла не более секунды, она оставила в нем ощущение, схожее с ожогом». От Леночки Махотин узнает, что Оленька «выдумывает разные глупости» и, в свою очередь, поддерживает слухи, что Махотин де находится во власти леночкиных чар. В ответ на этот выпад Махотин пускает в ход самое сильное из имеющихся в его педагогическом арсенале средств: «Так, — сказал Махотин. — Так. А вы скажите, Леночка, вашей сестре, что она — дура. Популярное русское народное выражение — дура...»

Перед самым отъездом он успевает совершить подвиг — спасти двух утопающих детей, специально для этого в бую брошенных автором в лодку без весел. За это Махотин вознагражден следующим посланием: «Я вас уважаю. О. К.». В толпе провожающих он замечает Олю, но, будучи верен себе, сдерживается и не окликает ее, а захлестнутый делами по приезду в часть даже не вспоминает о том, что «надо написать». Однако он твердо решает провести следующий отпуск «там и только там».

Боевой путь подполковника Махотина обрисован кратко, но достаточно внушительно. «В июне сорок первого года подполковник Махотин уже принял первые бои на белорусской земле, в июле оборонял Смоленск, в августе бил немцев под Ельней, а позднее участвовал в ноябрьском разгроме фашистских войск под Москвой. В последней операции он снова получил тяжелое ранение, второй боевой орденом и был отправлен в госпиталь далекого прикамского городка, где пробыл почти полгода. Но затем, по странному стечению обстоятельств, в

которых он тайно находил нечто закономерное, полковник Махотин был направлен в армию, которая впоследствии призвана была возвратить Советской стране любимый полуостров на Черном море...»

За годы непосредственного соприкосновения с самой реакционной армией — немецкими фашистами — Махотин составил себе о враге впечатление, как только о «взбесившихся лавочниках», которые пачкали корыстью, пошлостью и кровью вечную красоту морского побережья. Это определение, разумеется, и в малой степени не выражает всей изуверской, подлой сущности современного фашизма. Видно, В. Герасимова небольшого мнения о своем герое, если он так и не составил себе реального мнения о немецких фашистах и вынужден прибегать к малоудачным сравнениям и вольному пересказу цитат из публицистических статей. Писательница ничего не сделала, чтобы разбить это невольное возникающее сомнение в способности Махотина проявить хотя бы малейшую самостоятельность мышления. Ее герой со сплошь заимствованной из литературных источников биографией на протяжении всей повести не отличается и оригинальностью суждений.

Портрет Махотина как военачальника столь же банален, как и описание гражданской войны. Мы узнаем только, что отличительной чертой его командирского характера были: «воспитанные годами и особенно укрепившиеся за годы этой войны спасительная сдержанность и спокойствие, которую иные из необстрелянных новичков принимали «за сухость». На первый план попрежнему выпячивается чрезмерная занятость Махотина, благодаря которой он, потратив несколько часов на беседу с Серафимой Ивановной, не успевает даже как следует прочесть переданные ему старушкой короткие записки Ольги.

Одновременно это позволяет писательнице создать для чтения этого письма и размышлений над ним подходящую обстановку. Лишь через несколько дней, выбрав, наконец, свободное время, Махотин уединяется на берегу моря у той самой бухточки, где он когда-то встречался с Ольгой. Море и небо, когда-то пленявшие его радужными красками, окрашены теперь в мрачные тона, соответствующие его настроению. Прочтя в письме массу похвал по своему адресу, «немолодой человек, что недвижно сидел ранним утром на камне у нехоженной тропинки, снял фуражку и крепко вытер лоб платком», точь-в-точь, как уже делал это, узнав о гибели Ольги. Он признается самому себе в том, что он любил Ольгу, «она жила в нем, стала неотъемлемой его частью, его кровью и его дыханием» и что «для него теперь проза и счастье прошли».

Мы расстаемся с полковником Махотиным, как и полагается, «под занавес», в пламенном торжестве рассвета, когда герой видит «источник того спокойствия, с которым пойдет он сам и поведет других в бой.

Нарочитая, фальшивая последняя сцена, участником которой, по воле автора, становится Махотин, делает эту мозаичную фигуру еще бо-

лее безжизненной, неправдоподобной. Образ Махотина в какой-то мере индивидуализирован лишь в первой части повести своей педагогической стороной. Он поистине «флюсю подобен — его полнота односторонняя». Этот образ не объясняет нам ни того, в чем кроется тайна воинского мастерства офицерского состава нашей армии, опыт и культура которого стоят на недосягаемой высоте, ни того, чем духовно богаты передовые люди нашего времени, люди высокой идеи и чести.

Изображение советских людей в дни величайшей военной страды оказалось для писательницы непосильным. Автор словно и не замечает, что поступки героев часто противоречат логическому развитию их образа. Есть в повести, например, поклонник Леночки, профессорский сыночек Дима Кошкодамов, «молодой человек с утомленно-ироническим выражением на длинном лице и в весьма щегольском пляжно-теннисном костюме» — по рекомендации Ольги, «курносый идлот», говорящий «девули, шизконо, будьте увереночки». Перед войной кокетливый юноша внезапно уезжает в Качинскую школу, становится летчиком и немедленно погибает как герой «на Севастопольской обороне».

Вообще над отделкою второстепенных фигур повести писательница долго не задумывалась, писала как придется...

Беспомощность Герасимовой в изображении оригинальных целостных характеров в равной мере сказалась и на языке ее повести. Он очень противоречив: трафаретен там, где писательница сталкивается с незнакомым чуждым материалом, и чрезмерно выпячен и надуманно образен в лирических местах. Необходимый минимум военного пейзажа Герасимова добросовестно воссоздала по газетным корреспонденциям. «Данные разведки сообщали следующее: на небольшом сравнительно протяжении, примерно метров в 100—150, немцам удалось создать довольно солидную систему укреплений. Живая сила противника располагалась в траншеях в две-три линии, сообщавшихся одна с другой. Через каждые 20—25 метров стояли блиндажи — укрытия с накатами и мешками в два ряда. Огневые средства размещены были между камнями в дотах и дзотах, имевших хороший обзор и обстрел...» и т. д.

Упрека в неправдоподобии такие описания вызвать не могут, но это как раз такого рода описания, которые высмеял И. Ильф. «Очень легко писать, — значит в его «Записных книжках», — «Луч солнца не проникал в его каморку». Ни у кого не украдено и в то же время не свое». Вознаграждая себя за тривиальные и бесцветные описания войны и партизанских подвигов Оли, Герасимова роскошествует, удаляясь в мир воспоминаний и живописуя взаимоотношения героев. Тут казенные обороты внезапно сменяются необычайно высокочпарными словами, изысканными, но часто непредставимыми эпитетами. Но и здесь писателя постигает неудача. Рисуемый Герасимовой грубо раскрашенный, переслащенно фиолетовый пейзаж Крыма так же далек от подлинной крымской природы, как далеки от истинных человеческих

чувств те мелодраматические возгласы, которые издает автор в трагических местах. По мнению Герасимовой, подполковник Махотин, узнав о гибели Ольги, может думать так: «Олю убивали. Даже не просто, а страшно... Убивали Олю... Слова эти казались настолько неправдоподобными, что не вызвали никакого реального представления. Конечно, Махотина старательно пытались убить, и сам он убивал. Но это были специально обученные, подготовленные к этому взрослые люди... Но вот Олю убивали... Олю убивали... Олю убивали...

Конечно, он отлично знал и сам уже столько раз видел, что они убивают женщин, стариков, детей... Он знал это и видел. Но Олю — нельзя было убивать... Это невозможно было себе представить. К ней это «не шло». Слово, пусть самое страшное, не становится страшнее от того, что оно десять раз повторено. И, наконец, последняя фраза «к ней это «не шло» могла притти в голову только даме-писательнице и то в минуту бесконтрольного творчества. Скорбь подполковника в контексте с рассуждением о том, к кому «идет», а к кому «не идет» быть убитым, воспринимается иронически.

Беспомощностью веет от явно надуманных психологических деталей.

Приписав старушке — тете Симе — идейные шатания (вероятно, для психологического усложнения характера), Герасимова заставляет ее так сокрушаться о них: «И знаете, — уже во всем теперь сознаваться надо, — мелькнула у меня тут мысль на мгновение: «А зачем я ей все это говорила? Зачем отчитывала? Уж не лучше ли и впрямь было, чтобы мои девочки шелковыми чулочками забавлялись, чтобы были они — как бы вам сказать — помирнее, поглаже, попроще. Вот ведь как на старости лет меня пошатнуло. Но не скрою и того, что несмотря на муку и беспокойство точно легче на душе стало». Трудно предположить, что в своих шатаниях простая русская старуха дошла до того, чтобы желать явного зла своим племянницам и чуть ли не мечтать об их сожительстве с врагами.

Видимо, заметив сама, что многое в ее произведении будет вызывать недоумение, даже у незыскательных доверчивых читателей, падких на красивые слова и чувствительные сцены, Герасимова пытается оговориться, что ей де самой кое-что кажется неправдоподобным. Слово это назойливо мелькает на страницах повести. На месте знакомой дачки «зияла та пуста, в которую невозможно было поверить», которая была неправдоподобна», «то, что тетя Симе была жива, было еще допустимо, но то, что она, как видно, даже партизанила, было уже трудно, почти невозможно себе представить». Слова о том, что «Олю убивали» «не вызвали никакого реального представления», да и «все происшедшее и пережитое во время этого «счастливого» рассказа могло показаться странным, пришедшимся... сном».

Сны — нелогичны, и в этом отношении повесть Валерии Герасимовой может соперничать со сновидением. Однако выдавать такого рода произведения за художественное отображение действительности не совсем удобно. Мы далеки от того, чтобы обвинять Валерию Герасимову в создании карикатур на советских людей; изображенные ею персонажи настолько далеки от истины и распадаются на неприглядные друг к другу куски, что просто не вызывают «никакого реального представления». Мы даже можем допустить, что она искренно хотела написать хорошую повесть, она сделала все, чтобы и символическим заглавием и заключительной сценой заставить ее звучать в самом мажорном современном тоне, но мы не согласны признать, что ею руководило истинное вдохновение. И выбор ходкой темы, несмотря на полное незнание материала, и поспешное ее оформление, и убогий стандарт в изображении событий и героев, и стилистическая беспомощность, и растерянность убеждают нас в том, что перед нами всего лишь литературная забава. Но именно потому, что Герасимова затронула коренную тему нашего времени, забава эта вызывает не улыбку, а негодование.

ИЗ ИСТОРИИ СВЯЗЕЙ СОВЕТСКОЙ И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУР

ЗДЕНЕК НЕЕДЛЫ



Великая русская литература всегда была близка чехам. Произведения Пушкина еще при его жизни вошли в чешскую литературу. Уже тогда у нас с увлечением переводили и читали его. Пламенным почитателем пушкинского гения был чешский поэт Ф. Челаковский. С тех пор и до наших дней любовь к Пушкину неизменно жива в чешской литературе.

Гоголь в сороковых годах XIX века стал для чехов одним из любимых народных писателей. Много сделал для популяризации автора «Мертвых душ» знаток и любитель его творчества Карл Гавличек-Боровский. Творчество Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова и других великих русских реалистов также было для чешского читателя и писателя духовным слепком насущным.

Тесная дружба чехов и словаков с русскими расширяла эти связи далеко за пределы чисто литературных интересов. После Великой Октябрьской социалистической революции взоры чешского народа устремились к Советскому Союзу, к замечательным достижениям этой страны, ко всему, что отличает ее от старого мира.

Передовая чешская интеллигенция, в том числе и чешские писатели, была тесно связана с народом, с его интересами и чаяниями. Новая чешская литература, от самого своего зарождения и до наших дней, проникнута демократическим духом. Поэтому большинство чешских писателей с таким вниманием и любовью следили за ростом и культурными достижениями страны социализма.

Обо всем этом следует помнить, чтобы понять происхождение и причины тесной связи чехословацкой и советской литературы.

1

Октябрьская революция еще более повысила в Чехословакии интерес к русским классикам. В 1937 году, к столетней годовщине со дня смерти Пушкина, в Праге вышел новый перевод произведений великого русского поэта. Вид-

ный знаток и поклонник Пушкина и друг Советского Союза Ф. Таборский издал переводы неизвестных в Чехословакии революционных стихов Пушкина. Мятельные строки «Деревни» прозвучали в дни юбилея на многочисленных пушкинских вечерах и чтениях.

В советский период чехи по-настоящему оценили и других русских классиков. В превосходном переводе Таборского они заново узнали Лермонтова, который раньше в их глазах был заслонен гигантом Пушкиным. И Лев Толстой теперь стал близок чешскому читателю прежде всего как автор великого народного произведения — «Войны и мира».

Драмы А. Н. Островского раньше были сравнительно мало знакомы чехам. Сразу после Октября появились переводы «Бесприданницы» и «Грозы» (одновременно на чешском и словацком языках), затем «На всякого мудреца довольно простоты» и другие. Национальный театр поставил в 1919 году «Грозу», в 1925 — «Горячее сердце»; известный композитор Л. Яначек в 1921 году написал на текст «Грозы» оперу «Катя Кабанова».

И, наконец, о Горьком. Слава его в Чехословакии прочно связана с его популярностью в Советском Союзе. Разумеется, и до Октября чехи знали и любили Горького. Когда в 1905 году распространилась весть о его аресте, в Чехии прошла кампания протеста. Но классиком, подобно старым русским писателям-реалистам, Горький стал для чехов лишь после Октябрьской революции. Его начали чаще и систематичнее переводить. Трехтомник сочинений Горького был издан еще в 1902—1905 годах. Теперь в издании «Новой русской библиотеки» стало выходить собрание его сочинений, появилось много изданий отдельных его произведений, некоторые из них печатались сразу в двух издательствах. В 1928 году вышло «Дело Артамоновых», в 1930 — сборники рассказов. Еще раньше чешский читатель познакомился с прекрасными автобиографическими произведениями Горького — «Детство», «Мои университеты». Исключительно широко

распространение получили воспоминания Горького о Ленине. В 1921 году вышел чешский перевод горьковских «Воспоминаний о Толстом» и публицистических статей. Переведены в Чехословакии и многие драмы Горького. «Мещан» ставил пражский Рабочий любительский театр. Пьеса имела громадный успех в Праге и в провинции.

2

Передовые люди Чехословакии оценили советскую литературу как самую прогрессивную литературу в мире. Они внимательно следили, как прокладывает она пути в будущее. О советской культуре и литературе были прочитаны тысячи докладов и лекций.

Первым из советских писателей завоевал широкую популярность в Чехословакии Владимир Маяковский. В 1925 году Матезиус с исключительным мастерством перевел поэму «150 000 000», передав все особенности звучания подлинника. «Наш марш» прозвучал по-чешки почти так же воинственно, четко и энергично, как в оригинале. Глубочайшее впечатление произвел на чехов поэтический темперамент Маяковского, сила его слова, образов, идей. «Вот он — человек революции, человек нового мира, — говорили чехи. — Сколько в нем силы, по сравнению с немощью многих современных литераторов Западной Европы! Только новый мир мог выдвинуть такого поэта и такую поэзию».

В рабочей среде вскоре после 1918 года стали широко проводиться вечера советской поэзии. Исполнялись на них и блоковские «Двенадцать». Но особенно полюбили слушатели «150 000 000» Маяковского. Молодой чтец Роман Тума, ныне покойный, выступал в Праге с чтением этой поэмы на литературных вечерах и в рабочих клубах. Чтение обычно предшествовало вступительное слово автора этих строк. Тума с громадным подъемом наизусть читал поэму, блестяще подавая все звуковые эффекты стиха, сохраненные в переводе Матезиуса. Перед слушателями грохотали русские бури, гудела земля, били барабаны. Не только поэты находились под влиянием Маяковского, но и широкие круги читателей знали и любили его стихи. Громадную популярность приобрел «Левый марш».

Хорошо известен в Чехословакии Борис Пастернак. Вслед за поэмами Маяковского «1905 год» Пастернака был воспринят как революционное произведение, облеченное в современную поэтическую форму — а именно этого искали в советской поэзии чехи. Перевод «1905 года», тоже сделанный Матезиусом, появился в 1932 году. Творчество Пастернака привлекло к себе внимание чешских поэтов. В 1935 году Йозеф Гора издал сборник превосходнейших переводов стихов Пастернака «Лирика».

В поэзии Есенина чехов привлекало то, что было в ней советского, а отнюдь не декадентские настроения, которыми Есенин вызывал ин-

терес, например, у некоторых французских литераторов. На чехов не оказала никакого влияния «есенинщина», и не случайно они не перевели ни строчки из произведений типа «Исповеди хулигана». Зато прежде всего на чешский язык были переведены из Есенина «Русь советская» и другие стихи о советской жизни.

Илья Эренбург сначала завоевал себе место в чешской литературе как представитель публицистической линии советской литературы. Уже в 1924 году вышли в чешском переводе «12 трубок», затем романы «Трест Д. Е.» (под заглавием «Трест уничтожения Европы») и «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (перевод всех этих произведений был сделан Ф. Пишеком). Чешских писателей привлекал острый стиль Эренбурга и его сатира на Европу и предреволюционную Россию, а также образ самого Хулио Хуренито — скептика, каких тогда на Западе было множество. В дальнейшем не было года, чтобы в Чехословакии не появлялся перевод какого-нибудь из произведений Эренбурга.

Валентин Катаев обратил на себя внимание сатирической направленностью своих произведений. В Чехии имела успех его повесть «Расстратчики» (вышла в 1930 году в переводе М. Ванека и И. Горы).

Большинство произведений советской литературы, вышедших в чешских переводах, реалистически рисуют советскую действительность. Чешский читатель искал в них изображение той жизни, тех людей и дел, которые характерны для Советского Союза.

Серьезный интерес вызвал у нас Всеволод Иванов своими сибирскими повестями. В Чехословакии вышли переводы книг «Бронепоезд 14-69», «Голубые пески» и «Цветные ветра».

Александр Фадеев в своем «Разгроме» (вышел под заглавием «Гибель отряда Левинсона») развернул перед нашим читателем изображение гражданской войны, но политически уже гораздо острее, чем Вс. Иванов.

Не меньшую притягательную силу имели и советские произведения на мирные темы — о социалистическом строительстве, о советских героях труда. Большим успехом пользовались «Цемент» Федора Гладкова и «Колхида» Константина Паустовского.

В Чехословакии вышли крупнейшие произведения К. Федина: «Города и годы» — книга о войне и революции и «Братья», повествование о творческой судьбе композитора Карева, а также гротескная «Наровчатская хроника, написанная монахом Симоновского монастыря Игнатием в 1919 году».

Среди переведенных на чешский язык произведений советской реалистической прозы наибольшей любовью пользуются три книги: «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Петр I» Алексея Толстого и «Как закалялась сталь» Николая Островского.

«Тихий Дон» переводился тогда же по мере того, как та или иная часть его выходила в Советском Союзе. Переведены все четыре

части романа, причем последняя вышла уже в дни Мюнхена и оккупации Праги Гитлером. Переводчик Власта Борек не прервал своей работы, хотя ему пришлось затем покинуть Прагу и Чехию, скрываясь от гитлеровских шпионов. Успех «Тихого Дона» в Чехии был необычайным. Чешские историки не раз отмечали родство между казацкими станицами и гуситскими воинскими общинами, и в самом чешском народе всегда была жива симпатия к казацкой исконной борьбе за свободу. А главное, у Шолохова этот казацкий мир изображен в круговороте бурных исторических событий. Чехов захватывало также повествовательное мастерство Шолохова, самобытность его словесно-изобразительных средств. Слово у него всегда полно глубокой реалистической правды. И это особенно остро ощущалось в контрасте с искусственностью, характерной для части новейшей европейской литературы.

«Поднятая целина» Шолохова также органически вошла в чешскую литературу и стала у нас любимым чтением.

«Петр I» Толстого был сразу же переведен на чешский язык и нашел широкий круг читателей. Чехи любят исторический роман, у них самих есть богатая литература этого жанра, поэтому они живо интересовались романом Толстого. Кроме того, русская история была всегда близка чехам, как и все русское, а личность Петра особенно привлекала их. Петр посетил Чехию, привез оттуда в Россию чешских рабочих. Чехов интересовали как раз усилия Петра обновить Россию и его конфликт из-за этого с русскими сторонниками старины. В свое время чешский поэт Гашек написал драму «Царевич Алексей». Но роман Толстого представлял для чешского читателя сугубый интерес, как новое изображение Петра — великого русского реформатора и строителя.

Третьим автором, которого особенно ценят в Чехословакии, является Николай Островский. Судьба, личное мужество и героизм молодого писателя стали известны в Чехословакии. Островский создал живые типы революционных рабочих, готовых на любую жертву ради торжества их дела. Его книгу читали в Чехии не только интеллигенты, но и широкие слои народа.

Среди советских писателей, представленных в чешской литературе главным образом драматическими произведениями, прежде всего назовем Сейфуллину. В чешском переводе выходили и некоторые ее рассказы, но особенно известна она своей «Виринеей», которая шла с большим успехом в Виноградском театре в Праге.

Глубокое впечатление произвел в Чехословакии Всеволод Вишневский своей «Оптимистической трагедией». Пьеса всюду имела у публики бурный успех. Вызывали искреннюю симпатию совершенно новые для чешского зрителя образы советских моряков. Из истории русской революции и из знаменитого кинофильма чехам была хорошо известна эпопея

«Потемкина». Они знали также и об участии русского военно-морского флота в Октябрьской революции. Поэтому моряки «Оптимистической трагедии» встретили у чешского зрителя радужный прием. А идея пьесы до такой степени воодушевляла публику, что спектакль обычно кончался овацией в честь Советского Союза.

Еще больший успех имела «Гибель эскадры» Александра Корнейчука. Корнейчук вошел в чешский театр своим «Платоном Кречетом». «Гибель эскадры» была поставлена в 1938 году, в период Мюнхена, в напряженной до предела политической обстановке. Поэтому постановка пьесы Корнейчука так взволновала зрителей. Зал, переполненный рабочими, встречал одну сцену за другой горячими аплодисментами. Когда же в конце спектакля на сцене развернулись знамена Советского Союза, восторгам, казалось, не будет конца.

3

Связь между чешской и советской литературой не сводилась, однако, к фактам чисто литературным: она была и личной. Многие советские писатели посетили Чехию, и посещения эти давали иногда не меньше, чем выход книги на чешском языке.

Прежде всего это относится к приезду Вл. Маяковского в Прагу в апреле 1927 года. Популярность его в Чехии была велика не только среди писателей и художников, но и в самых широких кругах читателей. Известие о приезде Маяковского взволновало всю общественность. Маяковский посетил тогда Париж, Берлин, Варшаву.

В Праге выступление Маяковского на многолюдном собрании в одном из самых больших помещений города стало событием. Вечер был устроен «Обществом культурной связи с СССР»; на нем были представлены все слои населения, от видных чиновников до рабочих, которых явилось множество, чтобы приветствовать своего любимого поэта. И Маяковский не обманул надежд. Он блистал остроумием. Темой его вступительного слова было «Десять лет десяти советских поэтов». Затем Маяковский читал стихи других поэтов и свои собственные. Голос его, звучавший буквально как гром, был поистине голосом другого, неколебного и всемогущего мира. И когда он стал читать свой «Левый марш», все собрание онемело от восторга. Литературный вечер превратился в манифестацию дружеских чувств чехов к Советскому Союзу.

Маяковский обворожил чехов и в личном общении. В течение всего своего пребывания в Праге он был окружен молодыми чешскими поэтами и писателями, которые стали навсегда его верными друзьями. Маяковский побывал и в Освободженном театре — театре левой молодежи; одно только его появление возбуждало там неопишемую радость. Молодежь не успокоилась до тех пор, пока Маяковский не вышел

на сцену и не стал читать. Маяковский посетил чешских рабочих. Он был в «Кобленце», одном из крупнейших металлургических заводов Праги, и нетрудно представить, как горячо он был там принят.

В письме, помещенном в «Полном собрании сочинений» в виде статьи («Ездил я так») том II, стр. 386), Маяковский довольно подробно рассказывает о посещениях Праги. Он описывает собрание в Виноградском театре: «Мест на 700 человек. Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто так, потом просто так уходили, не получив места. Было около 1500 человек». В антракте он должен был подписывать чешское издание своей книги «150 000 000». Это у чехов нечто вроде страсти. «Подписывать всем — от министерских чиновников до швейцара нашей гостиницы». Он описывает и вечер в Освобожденном театре, и тот отклик, какой получило его выступление в пражской прессе. В числе ближайших друзей он называет кружок левых поэтов «Девятсил», в частности Гору, Неззала, Зейферта, Магена, Бьебла.

В самой Праге Маяковский написал статью «Немного о Чехии» (там же, стр. 395), чрезвычайно важную в политическом отношении, — о своем выступлении в «Кобленце», о своей беседе с тамошними инженерами и рабочими и о политическом положении в Чехословакии. «Чехословакия — одна из самых демократических, политически свободных стран. Коммунистическая партия здесь легальна, ее орган «Руде право» имеет тираж 15 000. У рабочих там свои балы в Большом зале «Люцерны». Там представление, там и фокстрот. На последнем коммунистическом балу было около 4000 человек. У коммунистов тут своя «Синяя блуза». Маяковский описывает одну ее постановку.

Посещали Чехословакию и другие советские поэты. Много друзей приобрел Есенин, который бывал в Чехословакии не раз, познакомился не только с Прагой, но и с деревней, чешскими горами, побывал в Словакии. Приезжали украинский поэт Тычина (один из первых советских писателей, посетивших Чехию), белорусский поэт Якуб Колас. На представлении своих пьес в чешских театрах побывали Сейфуллина и Корнейчук. Корнейчук близко сошелся с молодой Прагой — с актерами, поэтами, прочно вошел в их семью.

Необходимо особо отметить наши дружеские связи с тремя советскими писателями: Эренбургом, Толстым и Фадеевым. Илья Эренбург был в Чехословакии несколько раз. Он близко узнал страну, почувствовал красоту старой Праги, познакомился и с Прагой современной. Он видел Словакию, братиславские «Под веками», леса Тисовицы и Оравы, живописные ландшафты Детвы, слышал чешские и словацкие песни о Яношике, а главное — хорошо узнал народ и его культуру. Немного есть западноевропейских стран, о которых Эренбург говорил с таким волнением, как о Чехословакии,

бывшей несколько лет жертвой гитлеровской агрессии.

«В этот день я хочу обнять моих друзей, — с такими словами обратился Эренбург к чехам в годовщину национального праздника Чехословакии 28 октября 1941 года. — Я не назыву их имен: нас слушают палачи, — да и все чехословаки теперь мои друзья». И он вспоминает Прагу, Табор и Братиславу и предсказывает, что Чехословакия будет опять свободной, «и мы опять свидимся и запоем песни» («Война», 1942).

Алексей Толстой тоже был в Праге несколько раз. Свои дружеские чувства к Чехии, помимо горячих обращений к чешскому народу, он доказал еще тем, что заново перевел на русский язык текст «Проданной невесты» — самого народного из произведений чешского искусства — для постановки ее на сцене ленинградской оперы.

Александр Фадеев приехал в Чехословакию, когда уже близилась международная буря — за два месяца до Мюнхена, в июле 1938 года. Но именно благодаря этому визит Фадеева приобрел особенное значение. Фадеев видел Чехословакию в бурный период. Видел решимость чешского народа защищать свою свободу. Видел гнусную интригу Гейнлейна против Чехословакии и противогейнлейновскую манифестацию чешских рабочих в самом центре Судетской области — в Либереце. Он видел Чехию, какую она тогда была в действительности, и имел возможность убедиться, насколько лживо то, что кричала о ней гитлеровская пропаганда. По возвращении Фадеев рассказал обо всем этом советскому читателю в брошюре «По Чехословакии» (вышла в 1938 году). Эта брошюра была выступлением искреннего и горячего друга Чехословакии. Фадеев не раз на чешском языке обращался по радио к чехословацким слушателям. И чехи смотрят на Фадеева, как на близкого друга.

Все эти живые дружеские связи, естественно влияли и на литературные взаимоотношения Чехословакии и СССР.

В истории взаимоотношений чешской и советской литератур первой по времени и одной из самых интересных фигур был автор «Приключений бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек.

Гашек попал в плен на русско-австрийском фронте. После Октябрьской революции он вступил в Красную Гвардию, был комиссаром. К сожалению, этот период его деятельности еще мало исследован. Гашек писал обращения к чехам и другим народам, а также статьи и рассказы для разных журналов — венгерских и других. Но все это пока не собрано и не издано, хотя было бы, наверно, чрезвычайно интересно осветить фигуру Гашека — разоблачителя австрийской армии и активного бойца в рядах советских войск.

Между тем, в самой Чехии ширилось движение солидарности с Советским Союзом. Для чехословацкой культуры характерно, что в ней

развилась большая литература об СССР. Литературу эту, независимо от того, побывали авторы в Стране Советов или нет, создали прежде всего чешские поэты, увлеченные образами борьбы и созидания в Советской стране. Для этого в чешской истории была подготовлена почва. Уже Ян Неруда и Сладек живо сочувствовали пролетариату, а Святополк Чех своими «Песнями раба» побуждал чешских рабочих к борьбе за права народа.

Те же настроения мы найдем у Петра Безруча, в стихах еще молодого тогда С. К. Неймана. Такие традиции жили в чешской литературе из поколения в поколение. Поэтому на чешскую поэзию огромное влияние оказало то, что совершалось в России.

Чешские поэты почувствовали, что именно там бьется сердце всего мира, что именно там идет бой за счастье человечества. Чешская национальная мысль встретила с воплощением великих ленинских замыслов в России.

Это звучит в стихотворении «Советской России» пролетарского поэта Антонина Мацека, в стихах С. К. Неймана «Привет» и «Красные напевы» (1923 год). «Советская земля, здравствуй!» — восклицает Нейман. — «Учительница, защитница, надежда наша, страна будущего...»

Уже в начале двадцатых годов полным голосом звучит это восхищение Советским Союзом у самого младшего поколения чешских поэтов во главе с Юрием Волкером. «Будем говорить о великой России и мужественном Ленине», — пишет Волкер. Друг Волкера, теперь самый известный из этой плеяды, Витезлав Незвал написал тогда стихотворение о Ленине, где есть строки: «Мы были свидетелями эпохи, которая через сто лет покажется сказкой».

Влияние советской культуры чувствуется и в прозе. Роман Марии Майоровой «Самый прекрасный мир» (1923 год) не говорит прямо о Советском Союзе, но ясно, что именно из этого источника автор почерпнул свою веру в будущий лучший мир, которая звучит в конце романа. И не случайно роман этот был оценен тогда как лучшее произведение Майоровой.

Самый факт существования Советского Союза, его культурное строительство глубоко повлияли на дух и направление чешской литературы. С 1925 года чешские писатели начали знакомиться с Советским Союзом непосредственно. Тогда автор этих строк участвовал в праздновании юбилея Академии наук в Ленинграде и Москве. В том же году в Праге им было основано Общество культурной связи с СССР; Общество прежде всего направило в СССР делегацию, куда входили и литераторы во главе с Иозефом Горой. Затем был выпущен сборник «СССР», содержащий личные впечатления о советской стране (среди них была статья Горы о советской литературе). Далее, в 1927 году, к десятилетию революции, одновременно с многочисленными рабочими делегациями, в СССР была отправлена новая делегация Общества под моим руководством. Из литерату-

ров в нее входили ныне расстрелянный в Праге гитлеровскими палачами Владислав Ванчура, Иозеф Копта и профессор Пражского университета Вацлав Тилле.

Чешские поэты наконец познакомились конкретно с жизнью Советского Союза, с его быстрым развитием, со всем богатством новых явлений. Об этом пишутся очерки («Поездка в Москву» Иозефа Копты, 1928 год, и информационного характера книжка профессора Тилле), возникают новые по своему характеру литературные произведения. Иозеф Гора выпустил ряд стихотворных сборников: «Буйная весна», «Струны на ветру», «Трудовой день», в которых есть и стихи о Советском Союзе: «Ленинград», «В Москве» («Тихо прохожу по Красной площади, мимо гробницы Ленина и слышу, как бьется его живое сердце») и другие. Ярослав Зейферт в сборнике стихотворений 1926 года также воспекает Москву и Ленинград.

Чехи на примере собственной истории знали, что труд может быть не менее героичен, чем воинские подвиги. И это с невиданной дотоле силой доказал своим героическим мирным строительством народ Советского Союза. Это строительство захватило чешских поэтов не меньше, чем пафос гражданской войны, и героический мотив труда продолжал, не ослабевая, звучать у чехов в произведениях об СССР.

Характерны в этом смысле стихотворения Горы «Плуг» и словацкого поэта Яна Роба Поницана «Ударники» («Земля лежит перед нами, богатая хлебом и металлом, мы ощутили в жилах гигантскую силу, силу скалочную»), а также прекрасное стихотворение возглавляющего всю эту новую чешскую поэзию С. К. Неймана «Сталин и стахановцы». Стих Неймана гремит ударами молотов и гулом машин, как бы передавая мощь строительства, которое направляет воля Сталина. При этом раскрывается и доблесть советских людей.

Иозеф Копта в «Песне о ледоколе» прославляет подвиги советских завоевателей Арктики, а С. К. Нейман в «Парахотистках» воспекает отвагу девушек советской страны.

«Я знаю прекрасную страну, — пишет В. Незвал в своем «Приглашении к путешествию». — ...Это не страна золотых миражей. Это страна свободы. Там человек находит работу, там рабочий не знает голода. Давай посетим этот край. Только в стране миллионов — радость и красота».

Одно из лучших стихотворений, посвященных Советскому Союзу, — «Благодарность Советскому Союзу» — написано тоже Нейманом¹.

Сильное влияние советской культуры заметно и в нашей прозе. По образцу советских романов известный чешский писатель Иван Ольбрахт написал роман «Анна-пролетарка». Ставшее теперь классическим произведение Ольбрахта «Разбойник Николай Шугай» (есть

¹ Русский перевод см. «Интернациональная литература» № 11 за 1937 год.

русский перевод) также не чуждо влиянию советских авторов.

Чешские и словацкие прозаики ездили в СССР изучать советскую деревню. Словацкий писатель Петр Илемницкий, чех по происхождению, провел два года на Кавказе. Он написал книгу «Два года в Стране Советов» и роман «Дружный шаг» (1930) — из жизни кавказской деревни.

Ярослав Кратохвил несколько раз побывал в советской деревне и изобразил ее в двухтомном романе.

СССР были посвящены многочисленные журнальные статьи, брошюры и справочные пособия (первой вышла книга казенного гитлеровцами в Праге Йозефа Шрома).

В СССР ездил на длительный срок и Иван Ольбрахт. Его работа «Картины современной России» имела не только информационное, но и литературное значение.

На чешском языке опубликованы все основные произведения Ленина, «Основы ленинизма» и «Марксизм и национально-колониальный вопрос» Сталина и, наконец, «Краткий курс истории ВКП(б)». Следует упомянуть и чешскую биографию Ленина, содержащую также обзор

всего революционного движения в России (две части ее вышли в 1937 и 1938 годах) и представляющую собой до сих пор самое крупное в чешской литературе произведение о Ленине.

★

Можно утверждать, что ни одна западная литература не в состоянии отметить столь многочисленные и разнообразные связи с советской культурой, как литература чешская. В 1936 году Б. Вацлавек выпустил сборник «СССР в чехословацкой поэзии», где представлены двадцать два поэта (сорок восемь стихотворений). Двенадцать из этих стихотворений посвящены Ленину. Среди авторов — и поэты старшего поколения (Сова, Томан, Нейман, Гора), и целая плеяда молодых словаков и чехов (Поничан, Лакс и Новомесский).

Глубока в наши дни любовь всего чешского народа к братской Советской стране и его вера в нее.

Нет сомнения, что Отечественная война народов СССР, освобождающих нашу родину от немецкой тирании, родит новые произведения чехословацкой литературы, в которых еще прочнее закрепятся исторические связи наших братских народов.

БИБЛИОГРАФИЯ

СЛОВО ОТ ДУШИ*

★

Свыше тридцати лет выступает в литературе потомственный текстильщик города Иваново, выдающийся поэт-рабочий А. Н. Благов. Многие стихи его давно известны читателям, но особенно близки и дороги они трудящимся Ивановской области, с которой тесно спаяна личная и поэтическая биография Благова.

Когда читаешь небольшой сборник «Избранные стихи», выпущенный ивановцами в ознаменование шестидесятилетия своего поэта, — перед нами возникает своеобразная широкая поэтическая летопись труда и борьбы рабочего класса от мрачных лет царской реакции до наших светлых дней победы над гитлеровцами.

Стихи Благова подкупают простотой и задушевностью, ясно видимой большой жизненной правдой. Написанные в традиционной манере стихи эти могут показаться, на первый взгляд, чересчур старомодными, устаревшими. Но такой вывод был бы поспешен и несправедлив. Вчитавшись, легко обнаружить у автора истинное поэтическое чутье. Оно подсказало поэту обращение к истокам народной песни, столь доходчивой и понятной самым широким слоям народа. Этот выбор был особенно верен применительно к тому кругу житейских тем, которые составляют содержание его поэзии. В этом выборе сказалось понимание своего читателя, требующего ясности замысла и простоты выражения чувств. Благов сознательно отказался от книжной затейливости и формальной вычурности в стихах. В предреволюционные годы этот малоизвестный, еще непризнанный поэт бросил вызов модничавшим рифмоплетам, всяческим «кистам», и сознательно выбрал себе учителей среди мастеров классической поэзии. Во вступлении к поэме «Десять писем», написанной в 1915—1916 гг. (она не вошла в редактируемый сборник), читаем:

Сегодня модными стихами
Поэты многие форсят,
Простыми говорить словами
Они упорно не хотят.
У мастеров таких тепличных
Я, правду молвить, не учусь
И в формалисты не гожусь.
Куда уж мне из стен фабричных
Летать за ними на Парнас,
На поиски кудрявых фраз...

Благов навсегда остался верен своему стремлению говорить простыми словами. В этом он нигде не сфальшивил, за всю жизнь не изменил ни манере, ни существу своей поэзии.

У Благова есть своя тема, свой герой. Тема

его — рабочая доля, тяжкая и горестная в старые времена, высокая и радостная в годы революционного обновления жизни. Герои стихов Благова — его сотоварищи по труду, ивановские текстильщики. Поэт прекрасно знает, кровно чувствует их среду, быт, нравы, настроение.

В стихах Благова все эти мотивы запечатлены выразительно и точно.

Вот одно из ранних стихотворений — «Безработный» (1908 год). Оно столь типично для стихов Благова, посвященных прошлому, что его стоит привести.

Не жалко сил, не жалко пота,
Лишь за станки скорей бы встать,
Чтобы мучительной работой
Тоску голодную унять.

Но от владельцев их богатых
Один мне слышится ответ,
Один убийственный, проклятый:
Работы нет... работы нет...

И вновь закрыты эти двери...
Рассыпья бранью иль молчи:
Тебя понять, тебе поверить
Не могут трутни-богачи.

Сколько суровой правды высказано в этом маленьком стихе простыми словами. Глубоко-символична мгновенная фотография царской России, где на переднем плане бездомная фигура озябшего труженика, завистливо озирающего закрытые фабричные ворота.

Многим старым рабочим знакомо чувство трагической неприкаянности и голода, на который обрекала их злая воля заводчиков. Точно и лаконично сумел передать психологическое состояние безработного. Подневольный труд — мука. Он не сулит рабочему достатка и покоя, но еще мучительней безделие, оно морально гнетет рабочего человека, руки его тянутся к созиданию, и разум не может примириться с бессмысленной растратой жизни. И потому так больно, как удары судьбы, опаляют сознание страшные слова: «Работы нет... работы нет...»

Дореволюционные стихи Благова полны сетований на тяготы и обиды, в них обнажены язвы фабричного быта, описаны гнет и бесправие тружеников, горькая доля женщин. И все-таки в них нет жалости. Сквозь сдержанный стон пробиваются то луч надежды, то пламя протеста. Они указывают, что никакие оковы не смогут убить живую душу труженика. Ранние стихи Благова — картины безвозвратного минувшего. Вероятно поэтому составители

* А. Благов. «Избранные стихи», ОГИЗ, г. Иваново, 1944.

сборника включили в него всего два стихотворения, обозначенные дореволюционными датами, как бы сдавая остальные в архив. Напрасно! Стихи эти и сегодня волнуют нас, будят глубокое сочувствие к труженикам, ненависть ко всем мрачным силам бесправия и произвола над человеком. Стихи о прошлом призваны огрешить особую ценность завоеваний советской власти.

В прожитое взглянем мы без грусти.
В нежитое весело пойдем.

И поэт удивительно наглядно и горячо передает приметы человеческого счастья в любом, казалось бы, самом обыденном и незначительном их проявлении. Он чуток ко всему новому, что кладет свой отпечаток на поведение, быт и настроение трудящихся. Если до революции поэт был близок и дорог своим друзьям-работчим, как певец их печали и надежд, то после Октября читатели еще больше полюбили его за умение выразить восторг, наполнивший сердце работницы, овладевшей грамотой («Думы за станком»), за радостные стихи о революционном обновлении чувств («На фабрике», «Друзьям», «Жена», «Под гитару»), за умение рассказать о переживаниях старшего поколения бойцов революции («Поэт-старик»), за песни о светлом и просторном мире освобожденного труда.

Советская действительность овладела всем существом поэта. Смысл и ценность жизни раскрылись ему по-новому. Видя, как щедро окупались годы страданий и борьбы, поэт переживает общий подъем, как личное счастье:

И вот теперь на склоне лет
Я вижу жизнь,
Я вижу счастье,
Как после долгих дней ненастья
Горячий, солнечный привет.
В его лучах душа поэта
Весенним садом расцвела,
И мне милее старость эта,
Чем раньше молодость была!

Поэт молод душой, он чувствует себя ровесником славных дел нашей родины, и поэтому в последние годы стих его все чаще обращен к юному поколению патриотов, тружеников и бойцов советской земли.

«Молодую родину Советов только недруг может не любить», — пишет Благов. В его стихах выражена готовность всех трудящихся, как один, встать грудью на защиту родины.

Но когда ударит
Грозный час,
Командио-товарищ
Даст приказ.
От цветного ситца,
От машин
Выйдем на границу,
Как один!

(«Октябрьская песня ивановских ткачей»)

Наряду с лаской и сочувствием к друзьям — честным труженикам живет в поэте презрение к лодырям, рвачам и обывателям. Чувство рабочей гордости подсказывает ему веские слова обвинения тем, кто равнодушен к судьбе своего государства. Поэт понимает, что наплевательское отношение к общественному добру, нерачительность, непонимание своего трудового долга приводит к отщепенству, а изгой может стать игрушкой в руках врага («Вопрос»). Но зато с каким безмерным восхищением обращает он свой стих к доблестным героям труда, отважным бойцам фронта, воинам революционного подполья, юным соратникам и друзьям в сегодняшней грозной битве («Стахановцам», «Стихи о друге-поэте», «Вера Мялова» и др.).

Поэт славит силы нашей эпохи, осененной знаменем Ленина—Сталина:

Как время наше,
Молодо и ново
Горит живое
Сталинское слово!

(«Стахановцам»)

Стихи, написанные Благовым в дни Отечественной войны, передают внутреннюю уверенность народных масс в неминуемом разгроме фашизма, в неиссякаемых силах страны:

Родина чудесная моя,
Ты богата сушей и морями,
Ты сильна семьей трудовой,
Ты не раз встречалась с врагами,
Побеждала в схватке боевой.

(«Родина»)

Поэт гордится великим наследием прошлого, которое умножили советские люди («Наследство»). Он славит дружбу, крепкую в испытаниях («Мы крепкую дружбу везде сбережем»), он благословляет справедливое возмездие врагу:

Кровавой обиды врагу не простим,
За все мы отплатим, за все отомстим.
(«Поэту-бойцу» — Мих. Дудину)

Поэт показывает, что и в тылу труд каждого напоен мстью, которая помогает преодолеть личное горе, множит наши силы:

О нем, о родном вспоминаю:
Он пал за свободу и честь,
В добротную пряжу вплетает
Мою справедливую мсть.

Эти чувства сродни героическому советскому народу, отдающему силы, весь жар сердца на дело помощи фронту.

В стихах Благова много несовершенств. Нередко встречаются в них прозаизмы, общие места, художесные рифмы, стертые образы. На это указывает автор предисловия к сборнику, вместе с тем справедливо давая положительную оценку поэзии Благова. Мы присоединяемся к ней, потому что, как бы ни печалили нас отдельные шероховатости и неудачи, они не преграждают читателю путь к истинному ощущению автора. Верность наблюдений и правдивость чувства позволяют воспринимать книгу как слово, казанное от души.

О. Резник

БОЛГАРСКАЯ ПОЭЗИЯ*

(Страницы болгарского героического эпоса)



В серии «Славянская библиотека» Государственным издательством художественной литературы выпущена новая книжка «Болгарская народная поэзия». Сборник этот дает советскому читателю возможность ближе познакомиться с лучшими образцами героической поэзии болгарского народа в исторический момент, когда он взял в свои руки дело своего освобождения и вступил в войну против фашистской Германии на стороне Объединенных наций. Значение этой книги повышается тем, что вместе с образцами болгарской народной поэзии в ней публикуется статья акад. Н. С. Державина, которая поговому ставит вопрос о методе исследования фольклора славянских, а равно и других народов мира.

Впервые основные мысли этой статьи были сформулированы акад. Н. С. Державиным на одном из заседаний Славянской комиссии при Президиуме Академии наук СССР в сообщении «О методических установках изучения русского и славянского фольклора в связи с анализом былин об Илье Муромце и Крелевиче Марко».

Исследователи давно отметили, как существенную особенность фольклора, наличие в памятниках народного творчества многообразных элементов, восходящих к самым различным историческим эпохам. подчас очень отдаленным друг от друга. Элементы эти, будучи тесно связаны с весьма отличными системами мышления, возникнув на почве диалектически сменявшихся друг друга социально-экономических формаций, продолжают, однако, существовать в известных нам современных фольклорных текстах, где они сохраняются в качестве пережитков и напластований.

Однако гораздо легче было установить существование в фольклоре этих хронологически разнообразных элементов, нежели объяснить их происхождение. Исследователям приходится в этой области оперировать лишь более или менее вероятными догадками и гипотезами.

Предложенный акад. Н. С. Державиным этногенетический метод исследования фольклора исходит из марксистско-ленинской материалистической теории познания, выводы которой применяются к истолкованию явлений фольклора. На этой общетеоретической основе строится учение о стадиях развития мышления. К сожалению, сообщение с изложением основных положений этногенетического метода, сделанное акад. Державиным еще в начале 1943 г., до сего дня не опубликовано. Вступительная статья «Основные идеи и факты болгарской героической народной поэзии» является, таким об-

разом, первым появляющимся в печати опытом практического применения этого метода к истолкованию явлений устного народного творчества.

В болгарском фольклоре имеется значительная группа произведений (древние сказания, обряды, песни, сказки, народные баллады и др.), в которых фигурируют сверхъестественные существа. Таковы, в частности, вилы, самовилы, самодивы, юды и самоюды. Аналогичные явления представляют нимфы в античной мифологии и русалки в фольклоре восточных славян. Из произведений, которые специально развивают подобного рода сюжеты, в сборнике помещены две народные баллады: «Стоян и пиринская юда» и «Стана-самовила». Из них особенно примечательна вторая. В ней предстает надолго запоминающийся образ грозной самовилы, собирающей с «крестьян-кротовчан» дань людьми (молодицы, дети, юноши, девушки), которых она уводит с собой в горы.

Весьма характерно, что даже в этих, наиболее древних по происхождению, памятниках народного творчества, наряду с богатым мифологическим содержанием, весьма явственно дают себя знать мотивы народно-освободительной борьбы. От грозной самовилы и собираемой ею страшной дани народ освобождает «нищее дитя крестьянки Рады». С помощью хитрости ребенку удается получить от самой Станы-самовилы лук и стрелы, убить ее и вызволить томившийся у нее в плену народ. Отверток, в котором изображена смерть ненавистной народу самовилы, исполнен замечательной экспрессии и великолепно передает чувства, которые бушуют народ и находят себе естественный выход в убийстве самовилы.

Он ударил стройную Стану,
Он ударил Стану-самовилу,
Прямо в жаркое сердце ударил,
В сердце ей пустил стрелу из лука.
Закричала Стана, захлебнулась,
Захлебнулась черной своей кровью
И упала за смертью на камни,
А народ по домам разошелся.

В устном творчестве болгарского народа, как и в фольклоре других славянских народов, отвлеченные моральные понятия (Смерть, Горе, Счастье, Несчастье, Нужда и пр.) выступают в форме конкретно-образных олицетворений. Весьма распространен в болгарском фольклоре образ чумы. Публикуемые в сборнике народные баллады: «Отчего вся Босна потемнела?» и «Черная чума явилась» представляют характерные образы этого рода произведений. Они изображают чуму в виде «Черномазой злодейки-жницы», которая бродит с острой косой. Она гуляет в городах и селах, ходит по базарам, дорогам, заглядывает в горницы, является к колодцам. Пройдет черная чума, взмахнет

* «Болгарская народная поэзия». Вступительная статья акад. Н. С. Державина. М., Гослитиздат, 1944 г.

острою косою, и вслед за ней мгновенно все истлевает и навсегда пустеет...

Распространенный в болгарском фольклоре, а равно и в фольклоре других славянских народов, сложный и имеющий длительную историю образ Змея также представлен в сборнике. Удачный образчик этого сюжета дан в великолепной народной балладе «Стоян и Петкана», которая во вступительной статье характеризуется как «одна из лучших в этом роде баллад в болгарской народной поэзии».

Раскрывая происхождение подобного рода образов сверхъестественных существ в фольклоре южных, а также и восточных славян, акад. Н. С. Державин подчеркивает генетическую связь подобного рода представлений с давно пройденными стадиями в развитии мышления.

«Такова была наука древнего славянина, — пишет по этому поводу акад. Державин, — т.е. система его мышления, характерная для наиболее ранних ступеней развития производственных отношений в условиях примитивного народного хозяйства (земледелие и скотоводство) и патриархального общинно-родового строя».

Хронологически следующий и один из крупнейших в болгарской народной поэзии разделов составляют эпические песни о богатырях-юнаках, так называемые юнацкие песни. Последние возникают на совершенно иной исторической почве и отражают уже новый этап в развитии мышления. В произведениях этого рода гораздо легче и в значительно большей степени удастся прощупать конкретно-историческое зерно, легшее в основу фольклорного памятника. Последнее обстоятельство позволяет классифицировать произведения этого раздела по циклам, связать то или иное произведение с определенным историческим событием, историческим лицом. Так в болгарской народной поэзии особенно выделяются: Косовский цикл, примыкающий к нему цикл песен о Кралевице Марко, песни о юнаке Янкуле и другие. В центре этого рода фольклорных произведений стоит героическая личность, в значительной степени уже свободная от черт, сближавших ее с мифологическими существами, в частности от свойств сверхъестественного порядка. Это личность более оочеловеченная, но обладающая богатырскими качествами и совершающая бравные подвиги в интересах народа и во славу народа.

Акад. Н. С. Державин следующим образом объясняет появление в народном эпосе образа героя. «С наступлением феодальных отношений историческая жизнь народа начинает протекать в сложной и напряженной внутренней и внешней обстановке, выдвигающей на первый план — в качестве активной решающей силы — отдельную, мощную материально, а затем и морально, личность. В мышлении народа вырастает представление о герое, побеждающем врагов свободы народа, разорителей его хозяйства и грабителей его стад и продуктов труда, о герое-спасителе, воплощающем в себе идеальные представления народа о герое-богатыре, защитнике

народных интересов. Таков Илья Муромец русского богатырского эпоса, таков и Кралевиц Марко южнославянских болгарских и сербских героических сказаний».

Из числа песен о героях-юнаках старшего поколения в сборнике наиболее полно представлен цикл о Кралевице Марко. В этих сказаниях популярный герой южнославянского фольклора Кралевиц Марко обрисован чертами, которые во многом сближают его с богатырями русских былин. Особенно интересна в этом плане, пользующаяся большой популярностью в болгарском народе песня «Кралевиц Марко и Муса Кесенджия». Кралевиц Марко пьет вино из чарки в семьдесят ок¹. Его приготовления к поединку с Мусой Кесенджией изображаются приемами, которые нам хорошо знакомы по русским былинам:

Саблей в девять пядей опоясался
Да накинул тулупчик маленький,
На тулуп пошло тридцать медведей.
На ушко надвинул он шапочку
Из двенадцати матерых волков...

Очень близко напоминает также стилистические черты русского былевого эпоса картина поединка Марко с Мусой Кесенджией.

В некоторых вариантах песен в образ Кралевица Марко влетаются черты, роднящие его с сверхъестественными существами мифического Олимпа. В частности, ряд сказаний повествует о чудесном рождении Кралевица Марко, ведя его происхождение в одном случае от вилы, в другом — от Змея, а в третьем — от реки Вардара.

Объясняя наличие элемента сверхъестественного в эпической биографии Кралевица Марко, акад. Н. С. Державин устанавливает общее положение, имеющее важное принципиальное значение для понимания природы образа эпического героя вообще. «Образ эпического героя, — пишет акад. Н. С. Державин, — живет вместе с народом и находится в постоянном процессе творческого воспроизведения. Это воспроизведение заключается в том, что на основном первичном образе героя с течением времени наслаиваются один за другим пласты последовательно сменяющих друг друга культур и мышления народа и его международного культурного обмена. И, наконец, образ народного эпического героя поэтому всегда динамичен и всегда — комплексный образ». В свете этого положения отмеченные выше особенности чудесного происхождения Кралевица Марко оказываются «пережиточными отложениями древнейших народных космических представлений, восходящих своими истоками к самой первобытной, примитивной культурной стадии».

Значительный интерес представляют также песни о младшем поколении юнаков. В сборнике дано несколько художественных образцов этого рода. Некоторые из этих песен как бы перекликаются непосредственно с ак-

¹ Ока — посуда емкостью в три фунта жидкости.

туальнейшими событиями творящейся на наших глазах истории:

Песня «Турок шел лесом» передает один из трагических моментов из истории турецкого гнета, который в течение долгих мучительных пяти веков тяготел свинцовым кошмаром над юго-славянскими народами и навсегда оставил в их истории и сознании неизгладимый след. Песня живописует полную драматизма картину угона в турецкую неволю многих рабынь-полонянок из славянских земель. В пути турок изображает одной из невольниц Тодорке бросить своего сына Дамянчика. Вынужденная выполнить приказ порабощателя мать оставляет своего ребенка на дороге и на прощанье обращается к нему со словами, звучащими, как святой завет:

Сын мой, Дамян-воевода,
Вырастешь, на ноги встанешь,
Станешь могучим и храбрым,
Ты обойди все селенья,
Мать разыщи полонянку,
Вырви ее из полона
У басурманов проклятых.

И как бы прямым ответом на этот материнский завет звучит другая публикуемая в сборнике юнацкая песня «Стоян и невольницы». Узнав, что лесом прогнали треста закованных в цепи рабынь-невольниц, юнак Стоян, охваченный гневом и горем лютым, бросается в погоню, настигает «басурманов», всех их рубит и освобождает невольниц.

Еще более близкие ассоциации с отдельными моментами великой борьбы, которую ведут свободолюбивые народы мира с немецко-фашистскими порабощателями, вызывает раздел так называемых хайдутских песен. В этих песнях болгарский народ увековечил подвиги, полную героизма и самопожертвования борьбу, которую болгарские партизаны-хайдуты в течение нескольких столетий вели против угнетателей-иноземцев. Хайдутские (партизанские) песни, по определению акад. Н. С. Державина, представляют обширный цикл, «обильно насыщенный героическим содержанием, богатой боевой тематикой, замечательными эпизодами народно-освободительной борьбы, трогательным лиризмом и высоким патриотическим содержанием».

Публикуемые в сборнике несколько образцов хайдутских песен полностью оправдывают приведенную выше характеристику. Песня «Сеймен и мать Стояна» изображает смерть героя-хайдутка (партизана). Отряд конников-сейменов (карателей) проник в село. Один из них машет головой убитого юнака. Статной старухе, опознавшей своего сына Стояна, сеймен говорит:

Сын твой — молодчина,
А вырастишь другого
И пошлешь хайдучить,
Так казним другого.
Девять рот прошли мы,
По следам Стояна,
Девять раз цепями.

Храброго сковали,
Девять сабель острых
В битве иступили.

Зверская расправа с борцом за свободу народа и мстителем за его обиды, стремление устрашить народ и парализовать его волю к борьбе, невольная дань уважения врагов героизму и доблести павшего в неравной борьбе хайдутка, красота и моральное величие его подвига — все это передано в небольшой, глубоко западающей в душу песне, необычайно ярко выпукло и в то же время с исключительным лаконизмом.

Представляя собой одну из важнейших форм борьбы с иноземными порабощателями, хайдутство в то же время являлось мощным социальным движением, направленным против эксплуататорских элементов из своей же национальной среды. Этим обстоятельством объясняется наличие ряда хайдутских песен с интересной и четко выраженной социальной тенденцией.

В песне «Сиротка Генчо» бедняк Генчо стал перед серьезной жизненной дилеммой:

Какую избрать дорогу
Ему, сироте-бедняге?
Пахать ли поле чужое?
Водить ли чужих баранов?
Итти ль на поклон к богатым,
Итти ль к чорбаджиям¹ алчным?

После полосы раздумий Генчо решил, что он «в хайдутки пойдет», «бить басурманов» и «воевать за правду».

Стал Генчо скликать дружину
Юнаков храбрых и верных,
Что страха в боях не знают,
Что боли от ран не чувят,
Что смерти злой не боятся.
И вышел Генчо с дружиной,
С дружиной своей юнацкой
Гулять на Витош-планину,
Ловить чорбаджиев алчных,
Низанов ловить свирепых
И бить янычар проклятых.

Сюжеты других фольклорных памятников, опубликованных в данном разделе, свидетельствуют о насыщенности хайдутских (партизанских) песен богатым и разнообразным содержанием. Они, в частности, указывают на немаловажную роль героических женщин-патриоток в хайдутском движении.

Сборник «Болгарская народная поэзия» знакомит нас лишь с отдельными страницами богатого болгарского фольклора. Но «эти высоко патриотические страницы, обильно насыщенные героическим пафосом, производят сильное впечатление мощностью народного духа и непреклонностью народной воли к борьбе за свободу, воспитанных в болгарском народе веками его героической борьбы с насильниками».

После того, как были написаны эти строки вступительной статьи акад. Н. С. Державина,

¹ Чорбаджия — представитель эксплуататорских классов: барин, богач, хозяин.

произошли исторические события, которые блестяще продемонстрировали перед всем миром, что воля к свободе и способность бороться за нее в болгарском народе не иссякли. Воспользовавшись возможностями, которые открыли перед ним всемирно-исторические победы доблестной Красной Армии, болгарский народ взял, наконец, в свои руки собственную судьбу и ныне борется с подлейшим врагом всего передового человечества плечом к плечу со всеми свободолюбивыми нациями.



„НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ“*

Одной из характерных черт творчества Вс. Иванова является его умение заглянуть в самую глубину человеческой души и почти всегда найти там что-то хорошее и светлое. Это хорошее иногда чрезвычайно загромождено, далеко запрятано в человеке.

Писатель не раз показывал, как под воздействием благородных поступков окружающих человек очищается от всего поверхностного и дурного, а все, что есть в нем хорошего, выступает наружу.

В новом сборнике Вс. Иванова «На Бородинском поле» мы встречаемся с самыми разными советскими людьми. Если в старых рассказах писателя подлинно человеческое таилось в людях под спудом грязи и пошлости, порожденных их прежней жизнью, то в героях его новых произведений — молодых советских людях оно выступает явственно, широко, открыто. Характерной чертой для них — людей разных характеров и индивидуальностей — является чистота, благородство и человечность.

Однако не всегда прекрасные люди и чудесная жизнь советской страны обрисованы автором убедительно и правдиво. Умиление и нарочитое подчеркивание в отвлеченных рассуждениях того, что само собой вытекает из произведения, порой вредит правдивости изображения. И если по-настоящему трогателен и глубок образ врача в рассказе «Горе», душа которого полна страданий, оттого что не сумел он вылечить своего маленького пациента, и этот ребенок умирает, — то концовка рассказа, его мораль, нам кажется, звучит неискренне. Непосредственное впечатление от рассказа снижено мысленной тирадой доктора: «Но выстоим, — думал доктор, глядя в глаза крестьянину, который, как видно, думал такую же думу, — выстоим, подавим горе и если не себе, так другим дадим полное счастье, чтоб не умирали Сергунки! Ведь не понять этого невозможно. Вот мы трое — учитель, врач и крестьянин — стоим молча и молча понимаем друг друга. И разве это понимание не есть полная уверенность в том, что выстоим, что подлинное мужество победит и это горе — смерть ребенка, и другое, что придет к нам?» Эти слова объясняют то, что должно быть ясно из самого произведения,

* Вс. Иванов. «На Бородинском поле», «Советский писатель», 1944 г.

Знакомство с образцами болгарской народной поэзии помогает приблизиться и понять душу народа, проникнуться уважением к его героическому и многострадальному прошлому, верой в ожидающее его славное будущее. Этому в неmaßой степени содействует также сопровождающая сборник статья. Проникнутая уважением и любовью к болгарскому народу, она являет образец глубокой научности в сочетании с популярностью в лучшем смысле этого слова.

Лев Благинин

и таким образом превращают рассказ в иллюстрацию.

Рассказ «Мрамор», не будь он написан в реалистической манере, мог быть воспринят как милая сказка, в которой некоторая идеализация была бы естественной условностью. Но как произведение реалистического рассказа вызывает ощущение недоверия. Содержание рассказа заключается в том, что молодые советские студенты-геологи задумали совершить путешествие на Алтай и к стати разыскать там наилучшие породы мрамора для строительства Дворца Советов. Они дали телеграмму в районный центр о том, что едут добровольно на изыскания мрамора.

По приезде они прежде всего увидели в районной школе плакат: «Привет Дворцу Советов и его строителям», затем, зайдя в классы, студенты увидели образцы различных пород мрамора, которые приготовили для них школьники. Потом в школу начали свозить глыбы мрамора колхозники, едущие на базар, потом прибежали пионеры с образцами лучших пород мрамора. Одним словом, весь район только и занят поставкой мрамора эскумосантам-изыскателям, как будто у людей других дел нет. Восхищенные молодые геологи восклицают: «Удивительная, волшебная, сильная жизнь! Стоило только узнать, что для Дворца Советов, и без всякого распоряжения, почти без слов, без митингов, вышли и легли перед ними, искателями, замечательные редкие камни!» Но историки эти далеки от жизни, они призваны приукрасить реальную действительность, которая вовсе не нуждается в этом, и замазывают реальные трудности работы, исканий.

В военном рассказе «Быль о сержанте» серьезно и хорошо показан образ сержанта Морозова, который, выполняя задание, приносит знамя в штаб полка, преодолевая все испытания: встречу с немцами, погоню собак, соблазн зайти к больному отцу, наконец, сверхчеловеческую усталость и мучительное желание уснуть.

Однако и в новых рассказах Вс. Иванова не у всех людей хорошее, настоящее лежит наверху. Иногда и не сразу разгадаешь его. Так в рассказе «При Бородине» молодой крестьянин, хороший солдат и патриот Степан Карьин, присланный с рекрутами в корпус генерала Тучкова, где находится его отец, от смущения и стра-

ха перед отцом, не остыв еще от тоски по дому, начал жаловаться отцу на то, что перед его уходом пала корова Буренка. Отец, не поняв смуты в душе сына, «смотрел в печальное лицо сына и думал: «Какой это солдат? Оскорбился? что корова сдохла! Убыток, верно, большой, дак ведь нынче вся Расея пребует подпоры! На что выдумал жаловаться!»

Но сложность психологии русского крестьянина сказалась и у отца Карина. Глубоко в душе осуждая и презирая сына, он все же отправился к генералу Тучкову с просьбой написать, чтобы выдали им другую телушку. А генерал Тучков, слушая недостойные жалобы своего солдата, глядя на занимающееся зарево, с грустью думал: «Боже мой, какие грубые люди! Завтра — Бородино, решается судьба России, судьба наполеоновской Франции, меняется карта Европы, а он — русский мужик — о корове! Грифоны какие-то, не люди!»

Однако перед началом великого боя, наблюдая за сыном, понял отец Карин, что не о корове думает Степан, и генерал Тучков, посмотрев в глаза отца и сына Каринных, подшивавших сапоги возле костра перед битвой, понял, что не о корове они оба думают, а «думают обо всех коровах, которые пасутся на всей нашей земле, и о всех пастухах ее и о всех, кто возделывает землю и собирает плоды».

И доказательством того, что не о корове думали русские крестьяне, отец и сын Каринны, перед великим Бородинским боем с французами — была их смерть на поле брани, их тела, лежащие рядом с трупом генерала Тучкова на Бородинском поле.

В этом хорошем рассказе о русских людях 1812 года писателем очень верно передано, как за внешним поведением, за словами часто таятся в человеке совсем иные чувства и как часто ошибочным бывает поверхностное суждение о людях. Но все же хотелось бы, чтобы распознавание Каринным истинных мыслей и ощущений его сына возникало не только по интуиции. Точно так же и генерал Тучков почти безошибочно угадывает настроение Каринных.

В рассказе «Близ старой смоленской дороги» старуха Карина — жена старика и мать Степана — в день торжественной годовщины Бородинна встречается на параде великого русского поэта Василия Андреевича Жуковского и в жажде излить свое горе и тоску по погибшим начинает почему-то свой рассказ с буренки, павшей перед уходом Степана. И Василий Андреевич Жуковский, так же, как когда-то генерал Тучков, слушая старуху Карину, думает: «Ее муж и ее сын стояли на Бородинском поле. может быть, их даже ранило, а она из всего Бородинна помнит только, что незадолго перед боем у них пала коова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества?»

Однако когда на вопрос Жуковского, что стало с ее близкими на Бородинском поле, старуха опустила на землю и зарыдала, то увидел поэт, что старуха все понимала и все знала: «И из сердца Василия Андреевича слышалось

хорошее и ровное умиление». Широту образа старухи Каринной Вс. Иванов раскрывает и в последующем эпизоде встречи ее с солдатом, который просит дать ему напиток. Старуха отдала ему свою кринку с водой. Затем идет замечательный, полный скрытого смысла диалог. Солдат благодарит старуху и спрашивает: «Коров что ли пасешь? Паси, паси...» А старуха, прошедшая дальний путь для того, чтобы отслужить панихиду по погибшим на Бородинском поле родным, мучимая горем, изнывающая от жажды, с деланным радушием отвечает:

«Да за что спасибо, родной? Тебе спасибо, что не побрезговал».

Оба рассказа о Бородине сделаны хорошо. В обоих рассказах есть атмосфера Бородинского боя, историческая верность написанной автором картины. Во втором рассказе ярко переданы тоска, горе и одиночество старухи Каринной, которая мечется среди хоругвей, знамен, сверкающих штыков, которую отовсюду гонят, которой нет места среди этого пышного торжества в честь Бородинского боя, где отдали жизнь ее сын и ее муж. А тут же рядом стоит инюкня Маоня — вдова генерала Тучкова, и «на нее действительно благосклонно взглянул император».

В обоих рассказах найдены писателем характерные для русского народа черты поведения в самые значительные и решающие моменты жизни: отсутствие позерства, кичливости, любви к эффектам, склонность замыкать в себе самое святое и благородное. И все-таки, пожалуй, слишком нарочито акцентирует писатель внешнее бездушие и темноту людей из народа.

Почти все военные рассказы сборника «На Бородинском поле» построены на раскрытии исторической традиции, преемственности русского народа.

В рассказе «Слово о полку Игореве» бывший учитель, сержант Животенков, стоя на опушке леса в ожидании боя с немцами и глядя на расстилающееся перед ним поле, мысленно видит появление на коне князя Игоря. «Вперед, друзья, за землю русскую, за русскую волю, за весну русскую».

Тень исторических битв России, тень князя Игоря, тень Бородинна витает над боями с фашистскими варварами. Бородино 1812 года связано с Бородинном 1941 года. И по сюжету рассказы «Пои Бородине» и «Близ старой смоленской дороги» являются лишь преюдией к третьей повести «На Бородинском поле».

Произведение это связано с предыдущими не только местом действия, но и героями. В рассказе «Пои Бородине» герой — Марк Карин, (отец), герой «Бородинского поля» тоже Марк Карин, быть может, внук или правнук первого. Первый Марк Карин был простой неграмотный крестьянин и перед боем он говорил о корове и умирал он за родину, инстинктивно, почти бессознательно любя ее. Второй Марк Карин — сын известного профессора-танкостроителя. Сам он окончил лесотехнический институт, был лейтенантом и командиром батареи. Он старался понять правду войны, угадать ее музыкальный ритм. Его терзала мысль, «что в современной

войне важнее: храбрым быть или дисциплинированным? Позорны трусость и своеволие — знаю! Трусости не замечал. Своеволье измучило. И если нельзя его подавить, растоптать — не лучше ли умереть с честью?»

Образ Бородина 1812 года помогает ему бороться со своим своеволием. Представшая перед ним картина боя воинов-дедов на Бородинском поле, как святыня потрясает его.

Второй Марк Карьян сознательнее, образованнее: сложнее первого, но храбрость его, стойкость и патриотизм, эти качества дедов — в крови его. Героизм советского бойца переплетается с героизмом русского воина, и музыка истории звучит в гордых словах Марка Карьяна:

«— Не отдали Москвы...»

Все это верно, во всем этом есть правда русского народа. И все же следует предъявить большому художнику Вс. Иванову суровое обвинение. Он не сумел соблюсти меры в характеристике преемственности тоадиций. И подчас напоминание о Бородине 1812 года становится навязчивым, и кажется, не слишком ли увлекся далекой историей автор, и не заслонили ли русские воины советских бойцов, и не затмили ли древние сказания и цитаты из Карамзина подвиги советского народа.

Стилизация образов всех современных героев повести под образы русских народных героев нарушает гармоничность произведения и придает ему оттенок надуманности. В первую очередь это относится к образу Марка Карьяна. По существу своему в Марке Карьяне много характерного для советского молодого человека — и стойкость его, и горячность, и привычка к самокритическому анализу, и стремление перевоспитать себя, и даже оригинальная тяга к буйствам, к лесам, рожденная желанием подчинить себе природу. И поведение его на войне — это поведение советского командира, сознательно, дисциплинированного, хорошего товарища, человека беспрельдно храброго и чуткого к бойцам. Очень хороша сцена Марка с красноармейцем Батуллиным, который струсил. Марк, с трудом сдерживая ярость, посылает труса «за языком». И это распоряжение оказывается единственно правильным. Батуллин не только привел «языка», но и навсегда излечился от страха. Психологически правдив эпизод этот, и правдива радость и гордость Марка тем, что он не промахнулся, что он угадал сердце Батуллина.

Между тем типичность Марка Карьяна, молодого советского командира, нарушается рядом черт, стилизованных под народность. Надуманной кажется неоднократно подчеркнутая автором диковатость внешности Марка — «лесистого, удивительного человека», еще более дисгармонична его манера мыслить и говорить иносказательно, в стиле русской народной речи. Непонятно в этом образе могучей силы и могучих страстей выдуманное стремление возвыситься над всеми своей нравственностью, и отсюда изощренная история с мнимым преступлением отца в отношении семьи Фирсовых. Все это нарушает гармонию и реалистичность образа Марка.

Еще менее реален образ Настасьишки. Непонятно, откуда взялся у этой молодой работницы с ткацкой фабрики из Ногинска язык русских пияншечек времен Пушкина, язык, в котором пятичность и образность переплетаются с элементарной неграмотностью (несмотря на то, что она окончила семилетку). И откуда в ней сочетание ума и самородного таланта, любви к медицине с ненавистью к книгам и тягой к знахарству? Это не образ живой советской девушки Нasti Фирсовой, а какая-то стилизация под старинный облик русской девицы. Гармоничен лишь один образ, сделанный примерно в этом же стиле. Это образ врача Бондарина — талантливый человек, никому неизвестного изобретателя новых способов лечения, открытого, прямого, а порой и нетерпимого человека.

Этот образ целен в своем своеобразии и имел бы право на существование как единственный в произведении. Стилизованность же всей вещи (вплоть до фамилии подполковника, сына дворового, Хованского) делает язык повести нарочитым, а связь героев с их предками — участниками Бородинского боя — поверхностной. Слишком многое в языке повести не вяжется с советскими людьми и с нынешней войной. Так неуместным кажется слово «праведники» в отношении к советским бойцам и совсем неуместно звучит оно в устах сержанта Воропаева, бывшего краповишника. «Праведники» у него сейчас это те, кто знает правду войны, «люди, шагающие с правдой и мечтой в душе». Но в слове этого сейчас звучит скорее святость отшельников, чем героизм красноармейцев. Совсем не характерно, что красноармеец, уральский крестьянин, говорит о своей родине: «не кто-нибудь — Расаея: вон она какая просторная!» Надуманно звучат размышления и других крестьян-красноармейцев:

«...Один из нас думает необязательно, другой набирает поуже, но все мы гребем в одной лодке, к одному берегу — возьем Русь...» Это неправда. Не говорят и не думают красноармейцы «Русь, Расаея» о Советском Союзе. И не к чему приписывать им такие речи, ибо не в этом проявляется преемственность национальных традиций русского народа. В повести неестественно соединены ярко написанные боевые эпизоды, где показано подлинно советское поведение бойцов — серьезное, сознательное, в котором дисциплина сочетается с огромным чувством товарищества, храбрость с осторожностью, готовность умереть с ясным пониманием, за что они умирают, — и стилизация хаотических и речи героев под «Расаею». Это сильно снижает художественную ценность повести «На Бородинском поле».

Лучший в сборнике «На Бородинском поле» — рассказ «К своим». В нем еще раз раскрывается идея многих произведений Вс. Иванова — в каждом русском человеке есть настоящее, надо только уметь увидеть его, откопать и вытащить на поверхность. Оказывается, что и среди современных советских людей есть такие, в которых подлинно благородное загромождено не изжитыми еще мешанинами, собственническими, эгоистическими чертами,

Процесс переделки такого человека и раскрыт в рассказе «К своим». Это рассказ о том, как четверо бойцов во главе с политруком, следуя приказу об отступлении, пробираются к своим через леса и деревни, занятые немцами. Они укрываются от прочесывания, от «кукушек», борются с голодом, холодом, с усталостью и болезнями. Образы этих пяти совершенно разных по характеру людей нарисованы спокойно, скупой и выразительно. Замысловатый образный язык четырех бойцов в этом произведении не звучит стилизацией — их склонность к иносказанию выражает своеобразие их характеров и довоенного уклада жизни. И когда политрук Мирских, попадая под влияние их манеры разговаривать, сам начинает говорить иносказательно и этим становится им ближе и понятнее, то получается это естественно и убедительно.

В образе политрука Мирских, подпольщика-революционера, до войны — директора музея, волнует сочетание необычайной стойкости и воли с гуманностью и поэтичностью. Очень сильно сделана сцена, когда этот больной, несколько меланхоличный, задумчивый человек, в порыве ненависти высказывает из укрытия и начинает расстреливать немцев, увидев, как они добивают лежащих советских раненых. И в этом поступке Мирских — подлинная гуманность советского воина. Обаяние образа Мирских дано автором не только непосредственным раскрытием этого характера, а главным образом через бережное, трогательно-восхищенное отношение к нему бойцов. И хорошо, что отношения эти показаны замаскированно, несколькими выразительными деталями. Так например, одним штрихом писатель раскрывает существо и образа Мирских, и образа бойца Сосульки, и отношение Сосульки к политруку. Сосулька часто просил Мирских об отдыхе и во время отдыха рассказывал анекдоты, которые раздражали Мирских. «Кроме того ему казалось, что Сосулька не так-то уж устает и остановки придумывает для того, чтоб отдохнул политрук...» «...Поэтому Мирских во время остановок не садился, а стоял, стараясь дышать так же ровно, как и его спутники, он только прислонялся слегка к дереву. И так он стоял, задумчивый, высокий, стройный, готовый всегда к поединку, и они казались секундантами при нем. И в конце концов они завидовали приятной и нежной завистью его силе и выносливости». Поэтичность этого образа усугубляется тем, что даже после его смерти тень политрука витает над оставшимися бойцами и в конце как бы воплощается в образе деревенского парня Ивана, который при свете луны казался всем четверым тоньше, красивее и похожим на Мирских.

В образах четырех бойцов разных характеров, разных симпатий, навыков и темпераментов сохранены типические черты русского крестьянина — простота, спокойствие, серьезность в сочетании с чувством юмора, беспредельной выносливостью и героизмом. Но наиболее интересен среди них образ ополченца Подпаскова. В этом образе воплощена идея произведения, которую путанными словами, умирая, почти в бреду выразил политрук Мирских: «Картину

надо расчистить, можно услышать в ней новую увертюру».

Мирских не хотел оставить Подпаскова таким, каким он встретил его. А пришел Подпасков практичным, хитрым, эгоистичным мужичком, чьи мечты сводились к тому, чтобы получить медаль, стать председателем колхоза, заработать побольше денег и купить жене золотые часы. Когда вышел приказ об отступлении, Подпасков задержал всю группу бойцов, долго укладывавая свое имущество. И когда на язвительный вопрос политрука, не тяжело ли будет нести, Подпасков ответил: «Зачем тяжело? Ведь это мое», в этих словах сказалась вся психология этого человека. Однажды ночью, прячась в лесу от немецких «кукушек», отряд услышал вдруг звонкую партизанскую песню — «песня скрутила им души» и у каждого вызвала разную реакцию, различные мысли. Мирских плакал. Он слышал песню той партии, за идею которой когда-то сидел в тюрьме, он слышал песню победы этой партии и еще он плакал оттого, что был болен и так устал, что не мог петь вместе с ними. Семен Отдуж плакал потому, что в этой песне он слышал торжество справедливости и видел свою хорошую будущую жизнь. Сосулька подыгрывал партизанам на гармошке, Гнат Нередко думал о воинском смысле этой песни. А Подпасков вспомнил, что три месяца тому назад каменщик Герасим Петрович одолжил у него три рубля и не отдал. Но он был так растроган этой песней, что готов был простить каменщику его долг.

Когда пришел голод, первым начал жаловаться Подпасков. Он наступал на Мирских и требовал пищи. На замечание Гната Нередко, что надо «исполнять приказ, а не хныкать», Подпасков заявил, что приказ ему непонятен, ибо в нем есть все пункты, кроме «главного пункта о том, что их накормят». Но понемногу, не сентенциями и нравоучениями, а силой своего духа, благородством и высотой своей души Мирских «расчистил» Подпаскова. Умирая, политрук все чаще встречал взгляд Подпаскова, который, видя приближение смерти своего начальника и друга, горе и тоску своих товарищей, начал понимать, что главное в жизни — это побольше думать и заботиться о товарищах, и что невозможно жить, думая только о себе и своем хозяйстве. Великий перелом происходит в душе Подпаскова. И совершил он тогда героический для него поступок — он отдал все свои патроны (а их было у него больше, чем у всех, ибо он их ловко выменивал) политруку Мирских. Он сделал еще больше. Утром он исчез и так долго не возвращался, что товарищей начало беспокоить его исчезновение.

Только Мирских понял, что делается в душе Подпаскова, и короткая предсмертная речь его была следующей: «Подпасков принесет нам патроны». Действительно, Подпасков вернулся, когда засыпали могилу политрука Мирских, и бросил на могильный холм ящик с патронами.

В амбаре у одного крестьянина, где бойцы прятались от немцев, Подпасков заплакал, услышав гул советских бомбардировщиков. В нем появилось презрение к смерти, и он сам удив-

лялся себе. Он реже думал о доме, а думая, мечтал не о золотых часах на руке жены, а о ее лице. Письмо жене, которое Подпасков продиктовал в амбаре на случай гибели, великолепно выражает его духовное обновление: «Дорогая жена и детки. Пишу вам из отряда в немецком окружении, где мы сражаемся под руководством Гната Нередко. Во всяком случае фашисты будут уничтожены, враг будет разбит и победа будет за нами. С получением сего я буду мертвый, и пусть дети подрастут и сражаются с лютым врагом».

Так фронтовая жизнь, боевые друзья, политрук Мирских «расчистили» душу ополченца Подпаскова.

Вс. Иванов дает психологический анализ перерождения Подпаскова. Он не показывает этого процесса, не акцентирует отдельные детали и события, которые влияли на Подпаскова. Это и не нужно. И хорошо, что никто из товарищей, и главное, политрук Мирских никогда не поучали Подпаскова. Наоборот, ловкий, дисциплинированный, преданный боец Гнат Нередко часто с раздражением и укором глядел на Подпаскова, но, так как политрук Мирских ничего не говорил, молчал и Гнат Нередко. Вся обстановка, суровая дружба товарищей, скромный героизм их, опромная сила духа, гуманность и чистота политрука изменили психологию Подпаскова. Автором сделано это очень тактично, не навязчиво и поэтому особенно убедительно. В том, что произошло с Подпасковым, писатель увидел выражение силы советского государства. Война с фашистами с еще большей силой раскрыла таившиеся в наших людях прекрасные чувства любви к родине, готовность умереть во имя родины, чувства товарищества и гуманности. В этом движении жизни и отсталые люди освободились от скверны, от предрассудков и заблуждений.

Рассказ «К своим» ценен не только тем, что сделан он с большим мастерством, что суровая обстановка войны сочетается в нем с поэтичностью, что в образах героев, в картинах пейзажа, в отдельных деталях ощущается большой художник, — он ценен, главным образом, своей правотой, тем, что все происходящее в нем идет от жизни советской страны и в героях его подчеркнуты именно советские черты. И об этом свидетельствуют, прежде всего, их взаимоотношения. За внешней суровостью, равнодушием, подчас насмешкой в каждом из них та-

ится трогательная забота о товарище. Этому война научила даже Подпаскова, который, прячась в амбаре и услышав приближение немцев, первым делом прикрыл соломой Сосульку и прошептал приказ Отдужу: ложись, прикройся. Когда они подходили к деревне, занятой немцами, измученные голодом, не в силах больше идти кружным путем, то Гнат Нередко приказал им идти искать помощи у крестьян, а сам стал охранять и защищать оставшихся. Во взаимоотношениях советских бойцов с политруком сказало то новое, что характеризует уклад нашей армии, где абсолютная дисциплина и безусловный авторитет начальника — основа истинно товарищеских отношений. Когда бойцы замерзали в лесу, Сосулька начал борьбу с Мирских, чтобы согреть его. Все четверо полны забот о политруке. А политрук, в свою очередь, думает о каждом из них, старается угадать каждого, помочь каждому. Последняя сцена Мирских с Подпасковым, который отдает политруку все свои патроны, безмолвный диалог политрука и бойца: «А как же ты, товарищ? Ты отдал мне последние? — Ничего, товарищ, я ловкий, я найду. — Спасибо, друг» — свидетельствует об истинной дружбе начальника и подчиненных в Красной Армии. В рассказе подлинно советские — и другие люди: крестьяне, отец и сын, к которым попали четверо бойцов. Отец, рискуя жизнью, спас бойцов от немцев, а сын отбил у немцев коней и повез бойцов к своим.

«Иван думал об отце, о больной сестре, и о том, что эти голодные, оборванные люди напомнили ему о любви к родине, о необходимости защищать ее и что при взгляде на них, он решил уйти из дома «на ту сторону». Он гордился тем, что они доверились ему с первого взгляда, и он решил отплатить им тем же, не покидать их никогда».

Вот это внимание, любовь к товарищу, готовность отдать жизнь за товарища, самоотверженность в бою — черты, в которых воплощена любовь к родине, и есть характерное в советском народе.

К сожалению, далеко не все герои современных рассказов из этой книги о русских людях несут в себе ярко выраженные черты советских людей. В этом существенный недостаток мастерски написанной книги большого писателя Всеволода Иванова.

О. Грудцова

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, **А. Н. Толстой**,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 10/IV-45 г.
А 13083. 14½ печ. листов. Тираж 31.000. Зак. 403.

Типография «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл. 5.